

Мих. Осоргин

СИВЦЕВ
ВРАЖЕК





Е
НИАТОРА

ТОЧКАТ



Литературная
летопись
Москвы

Мих. Осоргин

СИВЦЕВ ВРАЖЕК



*Роман
Повесть
Рассказы*



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1990

ББК 84Р
О-75

Составление, предисловие и комментарии
О. Ю. АВДЕЕВОЙ

Рецензенты:

доктор исторических наук Н. М. ПИРУМОВА,
доктор филологических наук Н. А. ТРИФОНОВ

Осоргин М. А.

О-75 Сивцев Вражек: Роман. Повесть. Рассказы/Сост.,
предисл. и коммент. О. Ю. Авдеевой. — М.: Моск.
рабочий, 1990. — 703 с. — (Литературная летопись
Москвы).

Первый роман Михаила Андреевича Осоргина (1878—1942) «Сивцев Вражек» был издан, когда его автору исполнилось пятьдесят лет. Позади остались годы революционной деятельности, сотрудничества в «Русских ведомостях», работы в Книжной лавке писателей, борьбы с голодом в Комитете помощи голодающим, позади была Россия, единственная, страстно любимая, впереди — годы изгнания, освещенные чувством сыновнего долга перед страной, в которой родился.

М. А. Осоргин написал много прекрасных книг. Сейчас они возвращаются на Родину. В этот том включены роман «Сивцев Вражек», «Повесть о сестре», рассказы из книг «Чудо на озере» и «Повесть о некоей девице».

О 4702010200—145 87—89
М172(03)—90

ББК 84Р

ISBN 5—239—00627—X

© О. Ю. Авдеева. Составление, оформление,
предисловие, комментарии, 1990

«ЛАСТОЧКИ НЕПРЕМЕННО ПРИЛЕТЯТ...»

I

Михаил Андреевич Ильин (Осоргин — псевдоним писателя с 1907 г.) родился 7 октября 1878 г. в Перми. Его воспоминания о детстве были светлыми, их он призывал в самые трудные минуты, они помогали жить. Не будем рассказывать здесь о родителях писателя, никто не сможет сделать этого так, как сам он — не боявшийся открытости чувств, искавший и нашедший для отца и матери свои «лучшие слова». Автобиографические рассказы вошли в этот сборник, и читатель, к которому Осоргин прямо обращался в них: «Кто-то любящий, в кого я верю, чью ласковость чувствую, близкий ли, далекий ли, родной или незнакомый»¹, — поймет, какими прекрасными людьми были они — Андрей Федорович Ильин и Елена Александровна Савина.

Навсегда остались с ним доброта близких людей и картины природы, целиком заполнявшие его мир в детские годы: «Мы, тутошние, рождались в просторе, ковшами пили воздух и никогда не считали себя ни царями, ни рабами природы, с которой жили в веками договоренной дружбе, — писал Осоргин в предсмертной книге «Времена». — Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчитанными десятками, никогда не знавшими крепостного права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех скитаниях остаться простым, срединным, провинциальным русским человеком, не извращенным ни словным, ни расовым сознанием, сыном земли и братом любого двуногого»².

О временах «гимназической тужурки и студенческой фуражки» Осоргин вспоминал с иронией. Насмешливо, хоть и не зло, рассказывал он о годах учения в пермской классической гимна-

¹ *Осоргин Мих.* Чудо на озере. Париж, 1931. С. 42.

² *Осоргин Мих.* Времена. Париж, 1955. С. 11—12.

зи, которая давала лишь «одно преимущество: полное сознание, <...> что <...> каждый, не желающий остаться неучем, должен учиться сам»¹. Мальчик рано полюбил книги, рано пришло время поисков самостоятельной мысли, рано появилось желание писать. Он был гимназистом седьмого класса, когда газета «Пермские губернские ведомости» опубликовала его первую статью, а «Журнал для всех» под псевдонимом М. Пермьяк — первую беллетристическую вещь, рассказ «Отец». «В этом рассказе <...>, — вспоминал Осоргин о своих первых, еще наивных литературных опытах, — молодая девушка упала в воду и утонула, а ее отец сошел с ума и бегал с дикими возгласами по полям и лесам. В следующем рассказе предстояло матери зарубить топором своего грудного ребенка, а самой повеситься. <...> Началось!»²

В 1897 г. Михаил Андреевич поступил на юридический факультет Московского университета. С большой теплотой писал он позже о первых московских впечатлениях («Душа с ней сразу сроднилась, в Москве всякий находит родное...»³), и о полуничей жизни в студенческом квартале в районе Бронных улиц, и об университетских лекциях, где «учили быть людьми, а не стряпчими и аптекарями»⁴.

В студенческие годы началась постоянная журналистская работа, много писал для уральских газет, стал не только постоянным корреспондентом «Пермских губернских ведомостей», но и редактировал их, когда возвращался домой. Не оставался в стороне в дни студенческих волнений — был выслан на год в Пермь.

После окончания университета в 1902 г. началась адвокатская работа в Москве. Михаил Андреевич получил звание помощника присяжного поверенного Московской судебной палаты, присяжного стряпчего при коммерческом, опекуна при сиротском судах, был юрисконсультom Общества купеческих приказчиков, членом Общества попечительства о бедных. Работа была «не доходной, но веселой» — «куча малюсеньких дел, десятирублевых доходов, толстый с вензелем портфель»; «имею небольшие усы, фрак, жену, пишущую машинку, штемпеля: «копировано», «с совершенным почтением». Написал книжку «О вознаграждении рабочих за несчастные случаи»⁵. Такова была внешняя сторона его жизни до ареста в декабре 1905 г.

¹ *Осоргин Мих.* Времена. Париж, 1955. С. 43.

² Там же. С. 67.

³ *Осоргин Мих.* Благословенные дни//Русская земля/Под ред. А. Черного. Париж, 1928. С. 32.

⁴ *Осоргин Мих.* Посолонь//Памяти русского студенчества. Париж, 1934. С. 15.

⁵ *Осоргин Мих.* «Николай Иванович»//На чужой стороне. Берлин; Прага, 1923. № 3. С. 88.

Но было и другое, скрытое от посторонних глаз.

Героиня романа Осоргина «Свидетель истории» Наталья Калымова приняла внезапное, казалось бы, решение: «С сильными духом — против сильных оружием!»¹ Она ушла из дома «в ряды тех, кого одни называли преступниками, другие — святыми»², тех, кто шел убивать и умирать «во славу миража». Автор романа принадлежал к этому же поколению людей, молодость которых совпала с днями революции. Как и его героиню, Осоргина увлекла красота неравной борьбы. «Безрассудные — любили мы их за безрассудство»³, — писал он о погибших товарищах.

О своей революционной деятельности Осоргин рассказывал скромно: был «незначущей пешкой, рядовым взволнованным интеллигентом, больше зрителем, чем участником»; «больше, чем я сам, деятельное участие в революции пятого года принимала моя квартира»⁴. «Одним боком я примыкал к партии, но был в ее колеснице спицей самой маленькой, — с юмором вспоминал он, — больше писал и редактировал разные воззвания («Сорок лет прошло с тех пор, как даровали крестьянам волю, — и что же мы видим?.. Самодержавные палачи... Но уже близок час... Долой насильников...»). Шрифт моей пишущей машинки был забит воском: для ротатора работала. Забегали юноши и приносили свои прокламации для редакторских поправок («Мы, ученики старших классов... царящий произвол и деспотизм... забывая мозги... долой» — «Мы, фармацевты, как часть трудового народа... долой»). Служила моя квартира также для партийных рефератов, и в ней свои первые доклады читали «Непобедимый» (Н. Д. А.), «Жорес» (И. И. Ф.) и другие. Бороться с ними приходили яростные эсдеки и эсдечки («Предыдущий оратор, со свойственным ему красноречивым легкомыслием... мелкобуржуазное мышление...»). Помнится, и тов. Ленин, под кличкой Вл. Ильин, оказал честь моей квартире...»⁵.

Не только многолюдные собрания проходили в квартире начинающего адвоката, позже она стала местом заседаний Московского комитета партии социалистов-революционеров, была и явкой, и местом ночлега, и «временным пристанищем» оружия и «конфетных коробочек с бомбами». Впрочем, «деятельное участие

¹ *Осоргин Мих.* Свидетель истории. Париж, 1932. С. 231.

² Там же. С. 31.

³ *Осоргин Мих.* Венок памяти малых//На чужой стороне. 1924. № 6. С. 101.

⁴ *Осоргин Мих.* Девятьсот пятый год (к юбилею)//Современные записки. Париж, 1930. № 44. С. 268, 294.

⁵ *Осоргин Мих.* Николай Иванович//На чужой стороне. 1923. № 3. С. 91. Н. Д. А. — Николай Дмитриевич Авксентьев; И. И. Ф. — Илья Исидорович Фондаминский.

в революции» принимала не только квартира, но и дача Михаила Андреевича, где хранились «тюки отпечатанных на ротаторе воззваний и агитационных листков»: «Приезжал я «из суда» с полпудовым портфелем, а в нем — чистенький, блестящий типографский шрифт, прямо из словолитни, сложенный в плитки, но не брезговал и подержанным — типографчики доставляли. Набралось шрифта семь пудов»¹. Несколько месяцев скрывался у Осоргина бежавший из Сибири «Николай Иванович» (Петр Андреевич Куликовский), организатор крупных террористических актов, вместе с Каляевым и Савинковым участвовавший в покушении на великого князя Сергея Александровича, позже убивший московского градоначальника Шувалова.

Когда обострились противоречия в партии эсеров и из их среды стало выделяться крыло максималистов, Осоргин оказался в оппозиции к «партийному генералитету». Он не любил «партийных дрызг», у него бывали разные люди — и из центра, и из оппозиции, и вожди, и рядовые революции 1905 г. Среди них были и люди страшные, способные убивать не задумываясь, и идеалисты, которые, — в этом был ужас их положения, — не находили «иной красоты подвига, как «принесение себя в жертву благу народа» путем убийства и, одновременно, самоубийства»². Таким был и Петр Куликовский, и Владимир Мазурин, казненный в 1906 г. Он мечтал быть учителем, но стал максималистом, участником безумных террористических актов, организатором экспроприации Кредитного общества (на эти деньги подкармливали «политиков» в тюрьмах, в том числе и в Таганской, где в это время в одиночке сидел Осоргин). Таким был и Всеволод Лебединцев (Кальвино), «отзывчивый, пылкий, альтруист»³, участвовавший в покушении на министра Щегловитова, выданный Евно Азефом и тоже казненный. «Какая путаница для историков — какой материал для романистов!»⁴ — писал Осоргин. Позже, сначала в воспоминаниях, написанных в начале 1920-х годов, а затем в дилогии (в романах «Свидетель истории» и «Книга о концах») он пытался разобраться в происшедшем, показать трагическую противоречивость жизни людей, с которыми его свела судьба в годы первой русской революции.

В тюрьме, где Осоргин провел полгода, ожидая смертного при-

¹ *Осоргин Мих.* Николай Иванович//На чужой стороне. 1923. № 3. С. 92.

² *Осоргин Мих.* «Неизвестный по прозвищу Вернер»//На чужой стороне. 1924. № 4. С. 202.

³ Там же.

⁴ *Осоргин Мих.* Девятьсот пятый год//Современные записки. 1930. № 44. С. 299.

говора, он сохранял бодрость духа, был старостой на этаже, старался работать — перевел с французского книгу Э. Доллеанса «Роберт Оуэн»¹, читал, писал дневник, позже опубликованный. В мае 1906 г. чудом оказался на свободе — следователь выпустил под залог, не снесясь с жандармерией, уже приговорившей Осоргина к пятилетней ссылке; бежал в Финляндию, где тоже было небезопасно, поэтому и пришлось отправиться в дальний путь — через Хельсинки в Италию. Надеялся, что вернется через месяц, оказалось — через десять лет.

II

Осоргин поселился в местечке Сори близ Генуи, там на вилле «Мария» возникла эмигрантская коммуна. «Великая красота Средиземного моря — жидкая лазурь в малахитовой оправе, с оторочкой жемчужной пены... — вспоминал он. — А мы занимались статистикой безлошадных, Лавровым, Михайловским и параллелями между православием и социал-демократией»².

Просуществовав около двух лет, коммуна распалась. Осоргин отошел от эмигрантских кругов, опять, — как это было в его жизни не раз, — оказался в оппозиции. Е. А. Ляцкий писал об Осоргине Горькому 7 октября 1912 г.: «В эмигрантской среде против него существует какое-то предубеждение»³. Неприязнь была, и взаимная. О русских эмигрантах в Италии Осоргин писал не раз, даже в книге «Очерки современной Италии», посвященной совсем другим темам, не удержался от иронии, говоря о любви русских «водить компанию» при «полном неумении организовать на началах терпимости»⁴. «Какая жалкая картина! <...> Инциденты, оппозиции, контрпозиции, товарищеские суды, товарищеские сплетни, протоколы о нравственности, разоблачение предателей. <...> Гнилье, гнилье, гнилой воздух, ужасная зараза! <...> Кто выше залетел там, тот тем ниже упал здесь. <...> За границей я держусь подальше от них»⁵, — такова была жесткая характеристика, данная Осоргиным русской эмигрантской среде, которую он даже сравнивал с тюремной. В «Книге о концах» (1935) он остался верен этой оценке, утратившей в романе свою прямолинейную резкость, но оставшейся такой же горькой.

¹ Книга была издана в Москве в 1906 г.

² *Осоргин Мих.* Венок памяти малых//На чужой стороне. 1924. № 6. С. 193.

³ Литературное наследство. Т. 95. С. 505.

⁴ *Осоргин Мих.* Очерки современной Италии. М., 1913. С. 20—21.

⁵ *Осоргин Мих.* Призраки: Три повести. М., 1917. С. 18.

Италия для Осоргина была не музеем, а стала, — и это отличало его от многих русских эмигрантов, замкнувшихся в узкие кружки, — живой и близкой. В рабочем квартале Рима он вел общую с окружающими его людьми жизнь. В 1916 г., прощаясь с Италией, Осоргин писал: «Даже если забудется небо Италии, ее моря и пляжи — останется благодарная память о простых, добрых, бескорыстных и признательных людях, которых я встречал всюду <...> И откуда они брали эту приветливость и тонкость общения, эту внимательность подхода к чужому и не всегда понятному им душевному надрыву?»¹

Постоянный корреспондент газеты «Русские ведомости», Осоргин из номера в номер вел летопись жизни Италии. Рассказывая о больших и малых событиях в стране, он опубликовал более четырехсот статей и фельетонов. Наиболее значительными он считал серии статей о громких судебных процессах, итало-турецкой войне, славянских землях, Балканской войне 1912 г., о современной итальянской литературе². Много сотрудничал он в журнале «Вестник Европы», написал книгу «Очерки современной Италии», главы об Италии для «Истории нашего времени», издаваемой братьями Гранат. Осоргин занимался организацией экскурсий для народных учителей (более трех тысяч их посетило в те годы Италию). Он и сам много путешествовал («Города Италии были моими комнатами: Рим — рабочим кабинетом, Флоренция — библиотекой, Венеция — гостиной, Неаполь — террасой, с которой открывался такой прекрасный вид»³), без паспорта и виз объездил всю Европу, дважды был на Балканах.

Одна из книг Осоргина называется «Там, где был счастлив». В ней немало страниц, посвященных итальянским впечатлениям. В Италии прошла молодость, но тогда он был уверен, что главное в жизни еще впереди. Позже, в холодной и голодной Москве, вспоминая солнечную Италию, он все же называл ее «голубой тюрьмой»⁴.

Постоянность его мысли, «устремленной на северо-восток»⁵ — в Россию, отразилась в резкой полемике с М. Горьким (они познакомились еще в России в связи с работой в Обществе попечи-

¹ Осоргин Мих. Там, где был счастлив: Рассказы. Париж, 1928. С. 24.

² См.: Осоргин Мих. Автобиография // Русские ведомости. 1863—1913: Сборник статей. М., 1913. С. 129.

³ Осоргин Мих. Времена. Париж, 1955. С. 119.

⁴ Осоргин Мих. Из маленького домика. Москва, 1917—1919. (Ряга), 1921. С. 22.

⁵ Осоргин Мих. Итальянское письмо // Воля России. Прага, 1923. № 15. С. 45.

тельства о бедных). В 1913 г. Осоргин работал над статьей об отношении русских эмигрантов к амнистии, которая должна была последовать в результате династических торжеств, посвященных трехсотлетию дома Романовых (сам он под эту амнистию не попал). На Капри Осоргин встретился с Горьким, который тему «тоски по родине» сразу отклонил, сказав, что этой тоски не понимает и не признает в русских. «Он приводил мне в доказательство духоборов и своих земляков <...>, сделавшихся подлинными французами и говоривших: «А ну ее, вашу Россию!»¹ Горький просил не упоминать о нем в статье, говоря о своем желании «остаться в тени»². Последовало грустное письмо Осоргина, который пытался разрешить свои сомнения: «Вы не только меня не убедили, но, думается мне, не сможете убедить и самого себя. <...> У нас в России многого бояться: например — слова «патриот». <...> Почему же Вы сомневаетесь в естественности самой типичной и резко выраженной «тоски по родине» русского эмигранта, вырванного притом из родной почвы насильственно? <...> В том, что Вы ее понимаете,— я не сомневаюсь. <...> Наш космополитизм есть лишь красивая форма нашей страдающей гордости и нашей неоткровенности даже с самими собой»³. Горький ответил «суровой и лаконичной нотацией»⁴, он вновь повторил мысль «об отсутствии у русских чувства родины»: «Русскую же «тоску по родине» я рассматриваю как тоску по привычному месту, где жить проще, удобней, где можно жить с наименьшей ответственностью перед людьми. Тоска по привычному месту знакома и животным: собакам, кошкам»⁵.

Мысли Горького, сформулированные резко полемически, были продиктованы его политическими взглядами того времени, его отношением к обострившимся в России проблемам национализма и великодержавного шовинизма. Осоргин же руководствовался не политическими мотивами, а простыми человеческими чувствами, и убедить его в том, что у русских атрофировано чувство тоски по родине, не смог бы никто. «Я сам русский,— писал он Горькому с горечью,— но тоскую так, как не пожелал бы тосковать никому другому. Может быть, чувство это и не высокого калибра,

¹ Осоргин М. А. Русские эмигранты и «римский съезд» // Вестник Европы. 1913. № 7. С. 298.

² Письмо М. Горького к Осоргину от 3—16 марта 1913 г. // Архив М. Горького (Москва).

³ Письмо Осоргина к Горькому от 18 марта 1913 г. // Архив М. Горького.

⁴ Письмо Осоргина к Горькому от 25 марта 1913 г. // Архив М. Горького.

⁵ Письмо Горького к Осоргину (конец марта 1913 г.) // Архив М. Горького.

даже и вправду животное, но дело это не меняет. Да и неправда, не низкое оно, как не низко чувство любви к матери, также — животного происхождения»¹.

III

В 1916 г. через Францию, Англию, Норвегию, Швецию и Финляндию Осоргин приехал в Петроград. Он не был арестован, сыграли роль и заступничество авторитетного депутата Государственной думы В. А. Маклакова, и просто растерянность полиции в предреволюционные месяцы. Жил все-таки на полуполюгальном положении, что не помешало ему из Москвы отправиться в путешествие по Волге, побывать в Перми на открытии университета, съездить на Западный фронт. Осоргин продолжал свое сотрудничество в «Русских ведомостях». Его статья «Дым отечества» вызвала поток писем читателей, приветствовавших его возвращение.

Февральская революция застала Осоргина в Москве. «Помню момент перелома,— вспоминал он,— на обширном дворе Спасских казарм в Москве, куда пришла толпа; у солдат дрожали в руках винтовки, офицер не решался отдать команду. Нам ударил в грудь холостой залп, как могли ударить и пули. В тот же день человеческая река по Тверской улице — день общего сияния, красных бантов, начала новой жизни. В сущности, славен и чист был только этот день»².

Осоргин сотрудничал тогда в журнале «Голос минувшего», в газетах «Народный социалист», «Луч правды», «Родина», «Власть народа», редактировал литературное приложение к последней — «Понедельник». В московском писательском кооперативном издательстве «Задруга», где Осоргин (вместе с С. П. Мельгуновым, Н. А. Бердяевым, С. Н. Прокоповичем, Е. Д. Кусковой, О. И. Грузенбергом, Ф. А. Степуном) был членом товарищества, вышло несколько его книг, в том числе и две беллетристические — «Призраки» (1917), «Сказки и несказки» (1918). Роковые страсти, туманные намеки, несостоявшиеся встречи «Призраков» — это был этап творческого пути писателя, когда еще не были найдены ни свой язык, ни своя манера. Он прошел через поиски усложненной формы, чтобы потом от нее отказаться.

Осоргин принял участие в разборе материалов московской охранки, в 1917 г. выпустил книгу «Охранное отделение и его секреты». И хоть скоро он от этой работы отошел, саднящий след в душе остался надолго. Вспомним народовольца Данилова, одного

¹ Письмо Осоргина к Горькому от 25 марта 1913 г. // Архив М. Горького.

² *Осоргин Мих.* Времена. Париж, 1955. С. 139.

из героев «Книги о концах», который остаток жизни провел в архиве охранки, где в поисках написанного им когда-то прошения о помиловании «плавал в море величайшей грязи, разгребал руками горы нечистот, узнал многое о многих, чего и предполагать было невозможно и чего достаточно, чтобы потерять навсегда веру в человеческую порядочность»¹.

Во «Временах» — книге итогов — Осоргин так определил свое отношение к октябрьским событиям: «Революция последовательна и едина, и Февраль немыслим без Октября. Был неизбежен и был нужен полный социальный переворот, и совершиться он мог только в жестоких и кровавых формах. Я это знаю и принимаю фатально, как судьбу. Но чувство не могло никогда оправдать возврата к организованному насилию, к полному отказу от того, что смягчало в наших глазах жестокость минут переворота, — отказу от установления гражданской свободы (...). Менять рабство на новое рабство — этому не стоило отдавать жизнь»².

Книга «Из маленького домика», написанная в 1917—1919 гг., свидетельствовала о пережитых им минутах отчаяния. Осоргин рассказывал в ней о попытке выбраться из шумного города, «где до горла доходят ворохи газет, где все спешат — и все опоздали, все заняты, — а толку мало, все неврастеники, — а хотят учить здоровых»³, в тишину деревенского домика, чтобы «убережешься от заражения общественной истерией»⁴, попытаться разобраться в происходящем в это удивительное время, когда жизнь была «не то страшной сказкой, не то оскорбительной хроникой, не то великим прологом новой божественной комедии»⁵.

В главе об Октябре, названной «Га га — симфония», возникает блоковский образ солдата с девушкой. У солдата глупые и добрые глаза, курносая девушка поет песенку, но любить их Осоргину кажется уже невозможным: «Мне они страшны, солдат с девушкой»⁶. Он не может забыть о другом солдате, отбивавшем ручкой пулемета такт песенки про двух приятелей: «Вот Фома пошел на дно, а Ерема там давно». Мысль о России, где «заблудилась и летает какая-то шальная пуля, выпущенная октябрьским пулеметчиком», где «нет способа так жить, чтобы пуля эта вам не грозила»⁷, — не раз появится в его статьях, потом попадет и на страницы романа «Сивцев Вражек».

¹ *Осоргин Мих.* Книга о концах: Роман. Берлин, 1935. С. 232.

² *Осоргин Мих.* Времена. Париж, 1955. С. 138—139.

³ *Осоргин Мих.* Из маленького домика. (Рига), 1921. С. 3.

⁴ Там же. С. 32.

⁵ Там же. С. 3.

⁶ Там же. С. 43.

⁷ *Осоргин Мих.* Тем же морем//Современные записки. 1922. № 13. С. 217.

В первые послереволюционные годы Осоргин был первым председателем Всероссийского союза журналистов, товарищем председателя Московского отделения Союза писателей, первый устав Союза был написан совместно Осоргиным и М. О. Гершензоном.

Когда в августе 1918 г. частная периодическая печать была ликвидирована, «писательская группа, сплоченная узами давнего приятельства и работой в «Понедельнике»¹, решила основать небольшую книжную лавку и «вести ее исключительно своими силами, чтобы быть около книги и, не закабалая себя службой, иметь лишний шанс не погибнуть от голода»². Такая работа была непривычной, но она спасала «от перспективы плясать под казенную дудочку»³ — для независимого Осоргина это соображение было решающим. Возникла группа пайщиков, в которую вошли искусствовед П. П. Муратов, поэт В. Ф. Ходасевич, молодой прозаик А. С. Яковлев, историк литературы, переводчик и исследователь творчества Бальзака Б. А. Грифцов, позже к ним присоединились Б. К. Зайцев, который «отвратительно упаковывал книги и очаровательно беседовал с покупателями»⁴, философ Н. А. Бердяев, историк А. К. Дживелегов. Однако главным лицом в лавке, по свидетельству современников, был Осоргин⁵.

Лавка, расположившаяся в Леонтьевском переулке, числилась при Союзе писателей, все пайщики были членами Союза, трое входили в президиум, а Б. К. Зайцев был его председателем. Это обстоятельство потому имело значение, что охраняло лавку от грозившей частным магазинам и библиотекам «муниципализации», а на самом деле ликвидации.

Осоргин вспоминал: «Осложнившаяся жизнь выбрасывала на рынок целый ряд старых библиотек, которые мы скупали, стараясь давать своему брату-писателю и ученым максимальную плату»⁶. Но Книжная лавка писателей имела, конечно, не коммерческое значение, она была важным живым литературным общественным центром. «За прилавками у нас велись философские и литературные споры, в которых принимали участие и клиенты завсегда-тай,— писал Осоргин.— Было тесно, дымно от печурки, тепло от

¹ *Осоргин Мих.* Книжная лавка писателей//Новая русская книга. Берлин, 1923. № 3/4. С. 38.

² Там же.

³ *Осоргин Мих.* Листки//Последние новости. Париж, 1925. № 1578. 17 июня.

⁴ *Осоргин Мих.* О Борисе Зайцеве//Последние новости. 1926. № 2087. 9 декабря.

⁵ *Бердяев Н.* Самопознание/Опыт философской автобиографии. Париж, 1946. С. 255.

⁶ *Осоргин Мих.* Книжная лавка писателей//Новая русская книга. 1923. № 3/4. С. 38.

валенок, холодно пальцам от книг, весело от присутствия живых людей и приятно от сознания, что дело наше ч любопытно, и полезно, и единственно не казенное, живое, свое»¹.

Возникло при лавке характерное для тех лет, когда не было возможности печататься, рукописно-автографическое издательство: писатели сами переписывали, иллюстрировали и сшивали свою книгу. Рассказывая об уникальной коллекции рукописных книг, изготовленных в лавке (их было около двухсот), В. Г. Лидин вспоминал, в частности, о книге Осоргина «Похвала березовым дровам», написанной автором на бересте².

В лавке собирались члены Религиозно-философского общества, проводились заседания италофильского кружка «Студио Италиано», на которых, как вспоминал Осоргин, «холод не мешал возрождать любимые образы и делиться тем, что дала нам близость общей любовницы — Италии»³. Сюда, в студию, за несколько месяцев до смерти приезжал читать свои стихи А. Блок.

Работая в лавке, Осоргин собрал исключительную по ценности библиотеку русских книг об Италии, он много переводил с итальянского: пьесы К. Гольдони, Л. Пиранделло, Л. Къярелли. По просьбе Е. Б. Вахтангова он перевел пьесу К. Гоцци «Принцесса Турандот», которая с огромным успехом шла именно в этом переводе.

Одна из самых трудных страниц московской жизни Осоргина — история его участия во Всероссийском комитете помощи голодающим, существовавшем чуть больше месяца. Однако именно эта недолгая деятельность стала причиной очередного трагического перелома в судьбе писателя.

О московском меню, которое позволяла Осоргину иметь доля пайщика в Книжной лавке писателей, он вспоминал не раз: «суп из картофельных очисток», «жаркое из покойной извозчицъей лошади», «пшенка на колесной мази», «селедка, копченая в самоварной трубе», «наш хлеб 1921-го года, в котором ценнейшей примесью была лебеда»⁴. Но для жителей многих областей России и эти кушанья стали недоступной мечтой. По подсчетам историка Ю. А. Полякова, в 1921 г. голодало не менее 20% населения страны и более 25% всего сельского населения⁵, число жертв исчисля-

¹ Осоргин М. Книжная лавка писателей//Новая русская книга. 1923. С. 39.

² См.: Лидин В. Друзья мои — книги: Рассказы книголюбам., 1976. С. 8.

³ Осоргин М. О Борисе Зайцеве//Последние новости. 1926. № 2087. 9 декабря.

⁴ Осоргин М. В тихом местечке Франции. Париж, 1946. С. 201.

⁵ См.: Поляков Ю. А. 1921-й: победа над голодом. М., 1975. С. 14, 19—20.

лось миллионами. За границей ужасались слухам о случаях людоедства, но те, кто побывал тогда в Поволжье, где деревни вымирали полностью, говорили не об отдельных случаях, а о явлении, ставшем распространенным: «Объективно, издали это — неопишуемый ужас (<...>). А на месте, это — быт, естественное разрешение продовольственного вопроса. Нужно уметь близко жизни в глаза смотреть»¹.

29 июня 1921 г. М. Горьким было внесено на рассмотрение Политбюро ЦК ВКП(б) предложение о создании Всероссийского комитета помощи голодающим. Л. Б. Каменев и М. И. Калинин обратились с призывом о добровольном объединении общественных усилий для борьбы с голодом. Комитет помощи голодающим был образован 21 июля 1921 г. и разместился в одном из особняков на Собачьей площадке. Он существовал параллельно с Центральной комиссией помощи голодающим при ВЦИК. Возглавил комитет Л. Б. Каменев, его заместителем стал А. И. Рыков. В него вошли А. М. Горький, К. С. Станиславский, А. И. Сумбатов-Южин, Б. К. Зайцев, П. П. Муратов. Большинство членов комитета составляли кооператоры и специалисты по сельскому хозяйству — агрономы, экономисты, статистики. Среди них были экономист А. В. Чаянов, профессор Н. Д. Кондратьев, позже вместе с Чаяновым репрессированный по делу мифической «Трудовой крестьянской партии», председатель правления сельскохозяйственных кооперативов П. А. Садырин, ректор зоотехнического института М. М. Щепкин, председатель московского общества сельского хозяйства А. И. Угримов, а также известные врачи, толстовцы, имевшие большой опыт помощи голодающим (П. И. Бирюков, В. Ф. Булгаков, А. Л. Толстая), представители религиозных сект, обладавшие широкими международными связями. Патриарх Тихон благословил деятельность комитета и обратился к верующим с воззванием о помощи голодающим. Поддерживала комитет Академия наук. Его членами стали президент академии А. П. Карпинский, вице-президент В. А. Стеклов, академики В. Н. Ипатьев, А. В. Ферсман, Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург и другие. В комитет вошли люди разных политических убеждений. Видное место в нем занимали Е. Д. Кускова, бывшие министры Временного правительства С. Н. Прокопович и Н. М. Кишкин. Существовала при комитете и ячейка коммунистов, состоявшая из двенадцати человек, среди которых были М. М. Литвинов, Л. Б. Красин, Н. А. Семашко, А. В. Луначарский и другие. Они обязывались следить за тем, чтобы эта организация не использовалась в контрреволюционных целях.

¹ *Осоргин Мих.* Тем же морем // Современныя записки. 1922. № 13. С. 223.

Комитету помощи голодающим, «опиравшемуся лишь на нравственный авторитет образовавших его»¹, удалось быстро объединить людей, он пользовался доверием, поддержкой и русской общественности, и иностранных организаций: «Нескольких дней оказалось достаточно, чтобы в голодающие губернии отправились поезда картофеля, тонны ржи, возы овощей из центра и Сибири, (...) в кассу общественного Комитета потекли отовсюду деньги, которых не хотели давать Комитету официальному»².

Осоргин редактировал газету комитета «Помощь», но успел выпустить только три номера. Работа комитета была прервана внезапным арестом его членов в конце августа 1921 г. Им были предъявлены политические обвинения, которые формулировались весьма туманно.

Письма В. И. Ленина свидетельствуют, что комитет, пренебрежительно называемый им «Кукиш» (по фамилиям Кусковой и Кишкина), был обречен еще до своего официального создания. В активности членов комитета Ленин видел угрозу контрреволюции, и его точка зрения поддерживалась многими видными деятелями партии. «Милая моя Семашка! (...) — писал Ленин 12 июля 1921 г. — Не ревнуйте к Кусковой (...). От Кусковой возьмем имя, подпись, пару вагонов от тех, кто ей (и эдаким) сочувствует. Больше ни-че-го. Не трудно, ей-ей, это сделать»³.

Письмо Ленина к И. В. Сталину и всем членам Политбюро ЦК РКП(б) от 26 августа 1921 г., в котором он призывает «не колебаться» в решении дальнейшей судьбы комитета, проливает еще больший свет на причины его быстрой гибели.

Фритьоф Нансен, который в июне 1921 г. от имени Международного Красного Креста вел переговоры с Советским правительством о посылке продовольствия в Петроград при условии установления надзора за распределением продуктов, — и с этим условием Ленин согласился, — решил назначить своими представителями членов Комитета помощи голодающим. Ленин был оскорблен этим «наглейшим предложением» Нансена. Кроме того, «некий Рунов», как называет его Ленин (Т. А. Рунов был одним из организаторов московской Выставки достижений сельского хозяйства в 1921 г.), сообщил А. И. Рыкову, в свою очередь проинформировавшему Ленина, что «Прокопович держал противоправительственные речи» на одном из собраний комитета. Эти обстоятельства и вызвали ленинский приказ:

«Прокоповича сегодня же арестовать по обвинению в проти-

¹ Осоргин Мих. Времена. Париж, 1955. С. 161.

² Там же.

³ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 24.

воправительственной речи (на собрании, где был Рунов) и продержать месяца три, пока обследуем это собрание тщательно.

Остальных членов «Кукиша» тотчас же, сегодня же выслать из Москвы, разместив по одному в уездных городах по возможности без железных дорог, под надзор.

Ей-ей, ждатель еще — ошибка будет громадная. Пока Хансен не уехал, дело будет сделано; Хансену поставлен будет ясный «ультиматум». Игре (с огнем) будет положен конец.

Напечатаем завтра же пять строк короткого, сухого «правительственного сообщения»: распущен за нежелание работать.

Газетам дадим директиву: завтра же начать на сотни ладов высмеивать «Кукишей». Баричи, белогвардейцы, хотели прокатиться за границу, не хотели ехать на места. Калинин поехал, а кадетам «не вместно». Изю всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев»¹.

Осоргин, один из участников этой, по формулировке Ленина, «игры с огнем», резко отметал подозрения о политических целях членов комитета. «Никто из нас (...), — писал он, — не задавался политическими заданиями. Совесть не позволила нам остаться зрителями в такой страшный момент народного бедствия (...). Одно жалко, что мы не продержались дольше и не смогли спасти хоть тысячу, хоть сотню лишнюю людей от смерти и людоедства (...). И история, если она беспристрастна, многое простит большевикам, а этого не простит»².

Дневник, написанный в царской тюрьме, Осоргин закончил словами: «Еще поживем, еще поспорим. Еще много, много раз посидим в тюрьме»³. К несчастью, эта шутка оказалась пророческой. Арест за участие в Комитете помощи голодающим стал уже третьим. За плечами была не только Таганская тюрьма, но и арест в 1919 г., когда Осоргин попал на Лубянку, в «Корабль смерти». Арест был случайным, освободить его тогда приехал вместе с поэтом Ю. К. Балтрушайтисом председатель Моссовета Каменев. Осоргин вспоминал: «Маленькое недоразумение, — поясняет Каменев, — но для вас, как писателя, это материал (...). За пять дней в «Корабле смерти» я, действительно, мог собрать кое-какой материал, если бы сам не чувствовал себя бездушным материалом»⁴. И вот опять — Лубянка, особый отдел ВЧК, внутренняя тюрьма. В сырой, зацветшей зеленью камере с замазанными окнами, без

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 141—142.

² Осоргин Мих. Тем же морем // Современные записки. 1922. № 13. С. 224.

³ Осоргин Мих. Картинки тюремной жизни: Из дневника 1906 г. // Русское богатство. 1907. № 12.

⁴ Осоргин Мих. Времена. Париж, 1955. С. 149.

книг, без прогулок, где кормили «похлебкой из гнилой и червивой воблы, давая на «второе блюдо» остатки этой воблы»¹, Осоргин просидел два с половиной месяца: «Я совсем опух, отек, кашлять стал: и вообще в те дни надломил надолго здоровье»². На этот раз хлопоты друзей оказались тщетными. Не помогло и заступничество А. В. Луначарского. Н. А. Бердяев вспоминал: «Глава государства, Калинин, сказал нам изумительную фразу: «Рекомендация Луначарского не имеет никакого значения, все равно, как если бы я дал рекомендацию за своей подписью,— тоже не имело бы никакого значения; другое дело, если бы тов. Сталин рекомендовал»³.

Совершенно больного отправили Осоргина в ссылку в Царёвококшайск (ныне Йошкар-Ола), но доехать туда он не смог. Разрешили остаться в Казани. И хоть считался «контрреволюционером» и подвергался обыскам, все же и там находил интересные дела: занимался устройством книжного магазина, редактировал «Литературную газету» (не подписываясь и скрывая свое участие в ней), был частым гостем в Казанском университете.

Весной 1922 г. Осоргину было разрешено вернуться в Москву. «Последнее русское лето» он провел в деревне Барвихе Звенигородского уезда. Увидев возле своей избы машину с чекистами, скрылся, добрался до Москвы, несколько дней провел в больнице, принадлежавшей его другу, а позже тестю А. И. Бакунину, но, не видя выхода, сам отправился на Лубянку. Там ему был объявлен приговор: высылка с обязательством покинуть пределы РСФСР в течение недели, а в случае невыполнения — высшая мера наказания. Высылали на три года, на больший срок не полагалось, но с устным разъяснением: «То есть навсегда»⁴. На прощанье следователь предложил в очередной раз заполнить очередную анкету. На первый ее вопрос: «Как вы относитесь к Советской власти?» — Осоргин ответил: «С удивлением»⁵.

О том, каковы были причины высылки, он не знал, как не знаем о них и мы. Конкретные причины были и не нужны. Осоргин писал: «Следователя, которому было поручено дело о высылке представителей интеллигенции, который всех нас допрашивал о всяком вздоре, кто-то спросил: «Каковы мотивы нашей высылки?» Он откровенно и мило ответил: «А черт их знает, почему они вас

¹ *Осоргин Мих.* В тихом местечке Франции. Париж, 1946. С. 69.

² *Осоргин Мих.* Чтобы лучше ощущать свободу (Из «Воспоминаний») // На чужой стороне. 1924. № 8. С. 119.

³ *Бердяев Н.* Самопознание. Париж. 1949. С. 255.

⁴ *Осоргин Мих.* Как нас уехали // Последние новости. 1932. № 4176. 28 августа.

⁵ *Осоргин Мих.* Времена. Париж, 1955. С. 182.

высылают!»¹. Можно предположить, что причиной могла быть и связь с эсерами (в прошлом), и участие в Комитете помощи голодающим, и многолетние дружеские и деловые связи с Бердяевым (последнее лето 1922 г. они даже провели вместе на даче). О Бердяеве и других участниках сборника «Освальд Шпенглер и закат Европы» Ленин писал Н. П. Горбунову 5 марта 1922 г.: «Это похоже на «литературное прикрытие белогвардейской организации»².

Осоргин не раз обвинял Троцкого в том, что тот поддержал своим авторитетом идею о высылке. Однако совершенно ясно, что высылка была продиктована общегосударственной политикой. В мае 1922 г. Ленин, предложив заменить расстрел высылкой, принял решение: «Надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)...»³. О необходимости подготовки высылки за границу писателей и профессоров Ленин писал Ф. Э. Дзержинскому 19 мая 1922 г.: «Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу»⁴. Ленин предложил и подробный план действий: «Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ»⁵. Сам Ленин назвал «кандидатов на высылку» и обязал членов Политбюро внести в это дело свою лепту.

План этот выполнили: за границу высылались все новые партии представителей московской и петроградской интеллигенции. На пароходе в Германию отправился в путь и Осоргин.

Он вспоминал позже о недоумении следователя при его заявлении о нежелании уезжать: «Ну как же это, не хотеть за границу»⁶. Не только для Осоргина, для многих высланных, все мысли, планы, труды которых были нерушимо связаны с Россией, отъезд был трагедией. Жизни ломались — казалось тогда — с бессмысленной жестокостью. В свете происшедшего позже стало ясно, что участь высланных могла быть и хуже. Но в те дни осени 1922 г. была только боль, обида, отчаяние. О последних мгновениях,

¹ *Осоргин Мих.* Тем же морем//Современные записки. 1922. № 13. С. 218.

² *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 54. С. 198.

³ Там же. Т. 45. С. 189.

⁴ Там же. Т. 54. С. 226.

⁵ Там же. С. 265.

⁶ *Осоргин Мих.* Как нас уехали//Последние новости. 1932. № 4176. 28 августа.

когда еще был виден «отплывающий берег России», Осоргин писал: «Удивительно странное чувство в душе! Словно бы, когда она тут, на глазах,— не так страшно за нее, а отпустишь ее мыкаться по свету — все может случиться, не углядишь. А я ей не няня, как и она мне не очень любящая мать. Очень грустно в эту минуту»¹. Берег исчез, и, присоединившись к своим спутникам — товарищам по несчастью, Осоргин предложил тост: «За счастье России, которая нас вышвырнула!»²

IV

Осоргин прожил зиму в Берлине. «Я очень благодарен Германии за гостеприимство, но ее язык и профили Берлина мне не нравятся»³, — писал он. Ездил в Италию, читал лекции, работал над рассказами об особом мире итальянских портовых кабачков для альбома рисунков Бориса Григорьева, «очаровательно злых», по определению С. Маковского. Рассказы же Осоргина были не злыми, а просто грустными. «Мы люди случайного плавания, шхуны без компаса с обломанными мачтами и свихнутым рулем»⁴, — эти слова передают его настроение. Не пришлось по вкусу и Италия, где к власти уже пришел Муссолини: «Впервые почувствовал себя в Риме чужим человеком»⁵.

Осенью 1923 г. Осоргин уехал в Париж.

Отношения Осоргина с русской эмиграцией складывались не просто. Ф. А. Степун так рассказывал о тяжелой психологической ситуации, в которой оказались высланные из России: «В целом ряде своих встреч с эмигрантами меня бесконечно поражала одна, для очень многих эмигрантов глубоко характерная, черта. Они встречали меня как только что приехавшего из России с явной не только ко мне, но, прежде всего к России относящейся привязью и даже любовью (<...>). Но такое отношение ко мне часто как-то внезапно нарушалось при первых же моих словах о России. Достаточно было (<...> отметить то или другое положительное явление новой жизни (<...> как мои слушатели сразу же подозрительно настораживались и даже странным образом... разочаровывались. Получалась совершенно непонятная картина: любовь, оче-

¹ *Осоргин Мих.* Тем же морем//Современные записки. 1922. № 13. С. 216.

² Там же. С. 217.

³ *Осоргин Мих.* Итальянское письмо//Воля России. 1923. № 15. С. 36.

⁴ *Григорьев В.* Voui voui au bord de la mer. Берлин, 1924. С. 31.

⁵ *Осоргин Мих.* Итальянское письмо//Воля России. 1923. № 15. С. 37.

видная, патриотическая любовь моих собеседников к России явно требовала от меня совершенно недвусмысленной ненависти к ней (...). Нет, я волновал и отталкивал моих собеседников не совершенно чуждою мне защитой большевиков как власти, а защитой моей веры, что, несмотря на большевиков, Россия осталась в России, а не переехала в эмигрантских сердцах в Париж, Берлин и Прагу»¹.

Таким же было и мнение Бердяева, чья первая встреча с представителями эмиграции кончилась в буквальном смысле скандалом: «Я был в ярости и так кричал, что хозяйка квартиры заявила, что вызовет полицию»². «Атмосфера была насыщена не только реакцией против большевистской революции, она была реакционной вообще, по самым первоначальным эмоциям»³, — подчеркивал он.

Степун писал об «эмигрантщине» как недуге, поразившем многих русских, оказавшихся за рубежом, при котором ощущение причиненного революцией непоправимого страдания заслонило весь мир. Среди людей, избегших «эмигрантщины», одним из первых он называл Осоргина.

Осоргин был готов к тому, что его встреча с зарубежными соотечественниками будет «несозвучной». Он говорил о разнице мировосприятия у сразу уехавших и тех, кто был вместе со своим народом в революционные годы, кто видел ростки новой жизни. «Ни от России, ни от революции мы не отрекались и не отречемся. От бед и несчастий российских никакой «нечаянной радости» не ждали и не ждем. Россию настоящую, страдающую, всю целиком, с ее язвами и ее пробуждающейся жизнью любим не меньше предполагаемой «будущей»⁴, — писал он.

Статья Осоргина, соскучившегося по работе, по свободному слову, когда нет надзора, нет «тупого, идиотского глаза (...) желающего читать мысли, еще не умея читать по-печатному»⁵, во многом отличались по настроению, по тону, по мыслям от других материалов эмигрантских газет и журналов.

«Вместо «Писем русского путешественника» я преподношу вам трактат «О любви к отечеству и народной гордости»⁶, — писал Осоргин. Наперекор русским эмигрантам, которые «плачут, жалуются,

¹ *Степун Ф.* Мысли о России // Современные записки. 1923. № 17. С. 364—365.

² *Бердяев Н.* Самосознание. Париж, 1949. С. 269.

³ Там же. С. 272.

⁴ *Осоргин Мих.* Встреча // Дни. Берлин, 1923. № 105. 4 марта.

⁵ *Осоргин Мих.* Тем же морем // Современные записки. 1922. № 13. С. 216.

⁶ *Осоргин Мих.* Итальянское письмо // Воля России. 1923. № 15. С. 45.

просят», он говорил о своем символе веры: «На вопрос, кто вы, нужно отвечать не «извините, я русский», а просто «русский»¹. «Правительство русское, вышвыривая за пределы отечества, предупредительно снабдило меня заграничной паспортной книжкой в красной обложке, где, с одной стороны, сказано, что обладатель этой книжки изгнан из пределов Советской России, с другой же стороны, предлагается казенной формулировкой пролетариям всех стран соединяться. Было бы поистине малодушным менять такой интересный паспорт на «белый» и настаивать на своей безотечественности и своем бесподданстве! Нет, я русский, сын России и ее гражданин! Я желаю нести ответ за нее, за ее «чуждачества», за природные качества ее народа и выходки ее правителей»². Забегая вперед, скажем, что Михаил Андреевич сохранил советское гражданство и советский паспорт до 1937 г., когда в советском консульстве произошел крутой разговор и разрыв³. Последние пять лет он прожил без всякого паспорта.

«Обида — плохой советчик, тоска — несправедливый судья», — писал Осоргин. И он умел подняться над собственными обидой и горем, не затенить ими любви к России: «Ту огромную землю и тот многоплеменный народ, которым я в благодарность за рожденные чувства и за строй моих дум, за прожитое горе и радость дал имя родины, — никак и ничем у меня отнять нельзя, ни куплей, ни продажей, ни завоеванием, ни изгнанием меня — ничем, никак, никогда. Нет такой силы и быть не может. И когда говорят: «Россия погибла, России нет», — мне жаль говорящих. Значит, для них Россия была либо царской приемной, либо амфиатром Государственной Думы, либо своим поместьем, домиком, профессией, верой, семьей, полком, трактиром, силуэтом Кремля, знакомым говором, полицейским участком, — не знаю еще чем, чем угодно, но не всей страной его культуры — от края до края, не всем народом — от русского до чукчи, от академика до кликуши и деревенского конокрада. У них погибло любимое, но Россия вовсе не «любимое». Любит ли свое дерево зеленый листок? Просто — он, лишь с ним связанный — лишь ему принадлежит. И пока связан, пока зелен, пока жив — должен верить в свое родное дерево. Иначе — во что же верить? Иначе — чем же жить!»⁴

¹ *Осоргин Мих.* Итальянское письмо//Воля России. 1923. № 15. С. 41.

² Там же. С. 35.

³ Т. А. Осоргина писала об этом: «Возобновление (советского паспорта.— О. А.) оборвалось в тот день, когда консул поставил ему на вид, что он не в линии советской политики». (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 6. Париж, 1988).

⁴ *Осоргин Мих.* Россия//Дни. 1924. № 584. 8 октября.

Осоргин понимал, что его позиция не вписывается ни в какое «полное собрание обязательных мнений» — ни в эмигрантское, ни в советское: «Жег себя с двух концов».

Он никогда не стремился попасть «в тон общему эмигрантскому хору». Многие мысли, которые Осоргин упорно отстаивал, были встречены в штыки. Это относится к его иронической оценке политической роли русской эмиграции 1920-х годов: «Герцен отлил свой колокол из той меди, которую ему прислала Россия. Нет у нас пока меди взаимного понимания. Колокола нет еще; есть только... свободно привешенный язык»¹. Его слова о необходимости «духовного сближения с новой Россией», о «духовном слиянии», о «духовном возвращении»² вызвали бурю в эмигрантской прессе. Не принималось и его убеждение в единстве и неделимости русской литературы: «Алданов, Булгаков, Бунин, Горький, Замятин, Куприн, Леонов, Ремизов, Федин — все они наши...»³

Степень неприятия могла быть разной — от скрытых укулов Г. В. Адамовича, изображавшего Осоргина капризно-непослушным, спорящим ради спора, «задорным писателем»,⁴ до «плещущих в лицо ядом»⁵ А. Ф. Керенского, М. В. Вишняка, И. И. Бунакова и других. «Нужно было длительное внедрение советского шаблона в эмигрантскую печать, чтобы пишущие научились браниться парестантски: хором и этажами»⁶, — иронизировал Осоргин по поводу единодушия эмигрантской печати в оценке одной из его статей. Когда Павел Николаевич Милюков вынес приговор: «Будь навсегда одиночкой»⁷, — Осоргин не испугался и этого: «Откуда П. Н. догадался о моих вкусах? Вспоминаю, как, сидя в «общей», я всегда просил, чтобы меня перевели в одиночку; это спасает от заражения истерией, кликушеством и другими эпидемическими болезнями. И гораздо лучше думается и работается»⁸.

Одиноким Осоргин не был. Находил общий язык с молодыми писателями, умел поддержать, посоветовать. Поэт В. Л. Андреев, прозаики Гайто Газданов, Ив. Болдырев (И. А. Шкотт), В. Б. Со-

¹ *Осоргин Мих.* Взаимное понимание // Последние новости. 1923. № 1122. 19 декабря.

² *Осоргин Мих.* Требуется ланцет // Последние новости. 1925. № 1691. 28 октября.

³ *Осоргин Мих.* Советская литература // Последние новости. 1930. № 3319. 24 апреля.

⁴ Современные записки. Париж, 1930. № 5.

⁵ *Осоргин Мих.* Самоубийственная страничка из... // Последние новости. 1925. № 1714. 24 ноября.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

⁸ Там же.

синский, В. С. Яновский, Б. Темиряев (Ю. П. Анненков) — были среди тех, кому много помогал Осоргин. Он редактировал серию книг «Новые писатели» и содействовал выходу нескольких удачных книг литературной молодежи. Влияние Осоргина «среди эмигрантской молодежи левого уклона»¹ отмечал Горький. Философ и социолог Г. Д. Гурвич писал об этой важной черте духовного облика Михаила Андреевича: «Осоргин был самым молодым по духу представителем русской эмиграции, и эта вечная его молодость делала из него вождя не только всей русской литературной молодежи за границей, но и вообще русской молодежи в эмиграции»².

Осоргин мечтал о возвращении на родину, и мечта эта не оставляла его до конца дней, но он понимал, что она неисполнима. Это был человек, живущий с открытыми глазами, никогда не пытавшийся, примерив розовые очки, пойти на сговор с собственной совестью. Он видел изъяны в нравственном состоянии советского общества. И то, что происходило со многими близкими в прошлом людьми, было им названо коротко и горько: потеря чести. «Пришли новые времена, в корне изменились понятия,— писал Осоргин,— был в особый почет возведен открытый и тайный донос, завидовали тем, кому удалось поправить свои дела и отвлечь от себя подозрения покаянным письмом, напечатанным в газетах. Отрекались от партий, от прежних друзей и единомышленников, от происхождения, от научных взглядов, от гнилой идеологии, от художественных прозрений,— и в эти отречения вкладывали все силы страсти, все красноречие, всю поэзию, весь талант людей, сознательно, наперегонки валящихся в нравственную пропасть»³.

После смерти Осоргина были опубликованы его письма 1936 г.— «Старому другу в Москве». Защищая гуманистические идеалы, которые в Советской России считались несвоевременной «абстракцией», а порой и просто пережитком, Осоргин обращался к будущим поколениям, призывал отделять вечное и подлинно человеческое от сиюминутно выгодного. Вот небольшая выдержка из этого принципиально важного для понимания основ мировоззрения Осоргина письма: «Ты пишешь: «Гуманизм в наше время неизменно должен вырождаться в слезливую слащавость, сентиментальность или ханжество. Время сейчас боевое, а на войне, как на войне, надо занимать место по ту или иную сторону баррика-

¹ Письмо Горького во Всероскомдрам от 13 января 1936 г.// Архив М. Горького.

² Гурвич Г. Д. Памяти друга//Новый журнал. Нью-Йорк, 1943. № 4. С. 357.

³ Осоргин Мих. Книга о концах. Берлин, 1935. С. 233—234.

ды». Я отвечаю на это, что пусть он лучше вырождается в сентиментализм, чем в свою противоположность — в отрицание человеческой личности <...>. Мое место неизменно — по ту сторону баррикады, где личность и свободная общественность борются против насилия над ними, чем бы это насилие не прикрывалось, какими бы хорошими словами не оправдывало себя <...>. Ограничение гуманистической идеи «условьями времени» есть, по существу, чистейший либерализм и оппортунизм <...>. Мы же, революционеры, просто и без ограничений говорили, что человек должен быть свободным, совесть его не стеснена, личность его — неприкосновенна, жилище его недоступно наглому вторжению, право на труд обеспечено, продукт этого труда не должен принадлежать капиталисту, как и продукт обрабатываемой им земли. За это люди боролись и умирали. И это были не сладенькие гуманисты, а истинные гуманисты, пусть наивные. Кое-чего эти люди добились, и теперь удовлетворенный обыватель, ссылаясь на «обстоятельства времени», просит их пообождать с дальнейшим, а несогласных переводит в разряд «искупительных жертв» ...»¹

Нет, Осоргин не судил огульно, понимал трагическую противоречивость жизни тех, кто, как покончивший с собой в 1926 г. Андрей Соболев, отмечая страшное и жуткое, принял новую Россию. «Неужели Вы думаете, что, приняв на себя большую тяжесть, мы в то же время ослепли и оглохли,— писал Осоргину Соболев.— Мы надрываемся, быть может, даже надорвались уже, но это только потому, что не хотим быть бесчестными, и каждое маленькое право на честность покупается огромной болью»².

Осоргин всегда старался быть объективным. Можно только удивляться его вниманию и проницательности, потому что не было в России сколько-нибудь заметного литературного явления, которое бы он не заметил. Не ставя перед собой такой задачи, он создал, по сути дела, историю советской литературы 1920-х годов, более полную и интересную, чем та, которую долгие годы имел советский читатель. Оценку художественных достоинств книги он никогда не ставил в зависимость от политических взглядов ее автора. «Помню старого народовольца, который в своей защитительной речи на суде говорил, что «даже в прокуратуре может оказаться живой искра Божия»,— писал Осоргин о герое книги Н. Огнева Косте Рябцеве.— Я тоже смею говорить, что может она оказаться и в председателе комсомольской ячейки»³.

¹ Cahiers du Monde Russe et Soviétique. Vol. XXV (2—3). April—Septembre. Paris 1984.

² Осоргин Мих. Трагедия писателя // Последние новости. 1929. № 3100. 17 сентября.

³ Осоргин Мих. По полям словесным // Последние новости. 1927. № 2318. 28 июля.

«Всякое новое слово из России, всякий намек на пробуждение в ней независимой писательской мысли, всякое чисто литературное достижение, независимо от его политической окраски, мы не только приветствуем, но и считаем вкладом в литературную сокровищницу России, оставшуюся для нас общей»¹, — подчеркивал Осоргин. Он говорил «мы», но в литературной эмигрантской среде его взгляды разделяли далеко не все. «Какое вы имеете право писать о талантливости Маяковского?» — «Но раз я считаю его талантом, и большим». — «Все равно нельзя говорить, потому что он мерзавец»², — об этом споре с И. А. Буниним Осоргин рассказывал Горькому.

Не было единомыслия и с Горьким. Для Осоргина непереносимо было мнение Горького, что объективные отклики в эмигрантской печати могут повредить советским писателям³, хотя житейский опыт подтверждал это. Так, рапповский критик В. Волин, узнав, что Бориса Пильняка хвалил Осоргин — «небезызвестный враг Советского Союза, пролетарской революции и коммунизма»⁴, призывал сделать из этого соответствующие оргвыводы. Но молчать, смирившись с клеймом «врага», для Осоргина было невозможно. «Ни тамошнее, ни здешнее отношение не остановит меня, если я захочу что-нибудь откровенно высказать»⁵, — этому решению он оставался верен всю жизнь.

V

С юных лет Осоргин не рассчитывал на чью-либо помощь и всю жизнь оставался большим тружеником. Он много печатался в берлинских, пражских, рижских, парижских журналах и газетах, постоянно сотрудничал в издаваемых в Париже П. Н. Милюковым «Последних новостях», газете популярной, но далекой Осоргину по духу. «Если б Михаил Андреевич сотрудничал лишь в изданиях, его взгляды разделяющих, то писать ему было бы негде»⁶, — метко заметил М. А. Алданов.

В «Последних новостях» Осоргин регулярно публиковал литературные заметки, политические обзоры, публицистические

¹ *Осоргин Мих.* Российские писатели о себе // *Современные записки.* 1924. № 21. С. 375.

² Письмо Осоргина к Горькому от 6 марта 1925 г. // *Архив М. Горького.*

³ Там же.

⁴ *Литературная газета.* 1929. № 24.

⁵ Письмо Осоргина к Горькому от 6 марта 1925 г. // *Архив М. Горького.*

⁶ *Алданов М.* Предисловие // *Осоргин Мих.* Письма о незначительном. 1940—1942. Нью-Йорк, 1952. С. 16.

статьи, много фельетонов («Пока клоун не повесился, принято считать его весельчаком»¹, — шутил он). Предпочитал пользоваться псевдонимами: Робкий человек, Непонятая женщина, Обитатель, Провинциал, Оптимист, Observer (Обозреватель), Старый книгоед, Книжник, А. Зацепа и др., заметок в газетах порой и вовсе не подписывал.

Работа в газетах удовлетворения не приносила. «Я знаю, что та капля литературных возможностей, которая мне отведена, — писал он М. Горькому, — залита ведрами вынужденной публицистической, газетной, тридцатилетней работы, губительной для всякого, кто мечтает раскопать в себе художника. Это проклятие я чувствовал всю жизнь» (23 октября 1924 г.); «Я сейчас пишу все, кроме того, что хотелось бы: сижу над кучами мелких газетных заметок, которых не хочется даже и подписывать. Право писать день «для души» приходится покупать месяцем работы «для дела». Впрочем, — так было всегда и новости в этом нет» (18 января 1929 г.)².

Работой «для души» для Осоргина стало в те годы осуществление замысла его первого романа, который родился еще в Москве. В один из октябрьских вечеров 1917 г. Осоргин вместе с известным композитором и виолончелистом был гостем старой пианистки. В пустой квартире стоял только рояль: накануне все имущество хозяйки, заработанное многолетними уроками музыки, было реквизировано. Рояль забрать не успели, но обещали за ним вернуться. «Она не возражала — это было бесполезно, но не могла отказать себе в удовольствии ответить им, что самого ценного она им все-таки не отдаст (<...>): «Мой ум, мои знания, мой музыкальный талант — это останется мне (<...>). Вы заберете все и уйдете такими же бедняками, какими сюда пришли, а я, всего лишившись, останусь такой же богатой...»³.

Осоргин вспоминал, как утром шел вместе с композитором, который, дрожа от холода, обнимал свою виолончель: «Я тоже нес домой сокровище, полную чашу, которую не хотел расплескать, — идею романа, в котором какая-то роль будет отведена и моему спутнику. Но только спустя три года, в казанской ссылке были написаны его первые строки. В чужом городе я окрестил свой первый большой роман именем одной из замечательных улиц города родного: «Сивцев Вражек»⁴.

Когда речь идет об этом романе, слово «первый» звучит стран-

¹ Зацепа А. <Осоргин М. А.> Разговоры о малом // Последние новости. 1929. № 2918. 19 марта.

² Архив М. Горького.

³ Осоргин Мих. Времена. Париж, 1955. С. 136.

⁴ Там же. С. 137.

но, не имея своего традиционного смысла, обычного в применении к другим писательским судьбам. Роман был издан в 1928 г., когда Осоргину исполнилось 50 лет. Сколько уже было в его жизни подъемов и спусков, сколько раз казалось, что земля рушится под ногами. И все, что было им пережито, продумано, прочувствовано, весь огромный жизненный опыт он вложил в эту книгу.

«Сивцев Вражек» — роман о трагедии русской интеллигенции в переломные, смутные времена, когда интеллигенция и народ слились воедино, жили общими радостями и общими трудностями. «Мы, литераторы и ученые, — писал Осоргин, — за последние годы сами были башмачниками, торговцами, чистильщиками снега, землекопами, землепашцами, портными, чернорабочими, нищими. Философы торговали за прилавком и выносили поганые ведра, писатели продавали селедку и «пакеты против вшей», профессор пилили дрова и чистили картошку, адвокаты мыли солдатское белье, артисты закапывали «жмуриков» (покойников), все научились таскать и мыть тюремную «парашу», подтирать полы в арестантских уборных <...> — испытали все...»¹

Осоргин писал Горькому 23 октября 1924 г.: «Я — чистой воды скептик и пессимист, и только неисчерпанная животная радость мешает мне ликвидировать в себе человека. Это должно сказываться в писании, как сказывается в жизни, ставшей для меня совершенным мучением. К счастью, любовь нелогична, и легкий воздух, красота чужой души, даже веточка хвои — толкает обратно в жизнь, к ее приятию вопреки голосу рассудка и наперекор страстному призыву в небытие»². Столкновение этих двух начал читатель почувствует в книге.

Осоргин видел противоречия своего времени и сумел их показать. Жестким, суровым пером человека, не примирившегося с Богом (как говорил Б. К. Зайцев³), с судьбой (скажем мы), — написаны страницы о жизни и смерти Астафьева и его палача. А рядом возникают нежные, изящные черты Танюши, картины, исполненные мягкости и лиризма, написанные «акварельными красками».

Критики писали об иронии и горечи Осоргина, были в романе и мрачные предвидения. В главе «Опус 37», повествующей о последней музыкальной пьесе композитора Эдуарда Львовича, — «клубке трагической неразберихи», «странице преступной», — возникает цифра, которая стала страшной для миллионов советских людей. Трагическое совпадение.

¹ *Осоргин Мих.* Встреча//Дни. 1923. № 105. 4 марта.

² Архив М. Горького.

³ *Современные записки.* 1928. № 36. С. 533.

Но ощущения безысходности в романе нет — надежда жива. После самой суровой зимы наступает время прилета ласточек, возвращающихся из своей «вынужденной эмиграции». «И Танюша, и ласточки, образы мягкости и молодости, кажется, единственное, что может автор противопоставить свирепости жизни (<...>), — отмечал Борис Зайцев. — Раз он видит в молодости, любви, в душевной красоте и благообразии некоторое утешение, то уж не так все отвратительно в нашем мире»¹.

В начале работы над романом Осоргин писал: «Перетасовка классов, состояний, обмен золота на бумажки, сумерки богов и заря новых идолов, великая катастрофа... Кто-то наступил ногой на муравейник, а лес стоит, лес шумит, и ни один листок не шелхнулся от всеединого вопля муравьиного»². Эта мысль, звучащая во всей книге Осоргина, привлекла внимание Горького и заняла ключевое место в его отзыве о романе. Письма Горького к Осоргину исчезли во время второй мировой войны, но в архиве Горького сохранились черновики его писем, посвященные роману «Сивцев Вражек». К первому письму Горький, стараясь точнее сформулировать свою мысль, написал четыре черновых варианта — один этот факт говорит о внимании и к роману, и к его автору. Одобря «внушительный и огромный», «соблазнительный и человечески дерзкий» замысел книги — «изобразить нашу русскую трагедию, как одну из сцен непрерывного Вселенского террора», Горький говорил и о скрытой «опасности умаления и унижения человека (<...>), ибо на фоне драм «космических» наши человеческие драмы как будто теряют свое значение, тогда как, на мой взгляд, смерть Ан. Франса и даже В. Брюсова должна быть значительно гибели целого стада звезд и всех мышей нашего мира»³. Строй размышлений Осоргина, который, по мнению многих критиков, напрасно навязывал человеку «родство с муравьями, мышами, в лучшем случае, — ласточками»⁴, вызывал сомнения и у Горького. Подводя итоги этой полемики, Осоргин отвечал Горькому: «Человек — это то центр мира, то ничтожная песчинка. Нужно найти какой-то тон, нужно поймать какую-то любовную ноту, которая должна эту «песчинку» возродить внезапно в высокое достоинство Человека»⁵. Не раз повторяя мысль об относительности «великого и малого», о непрочности и зыбкости человеческих представлений,

¹ Современные записки. 1928. № 36. С. 533.

² Осоргин М. И. Тем же морем // Современные записки. 1922. № 13. С. 214.

³ Архив М. Горького.

⁴ Современные записки. 1928. № 36. С. 532.

⁵ Письмо Осоргина к Горькому от 23 октября 1924 г. // Архив М. Горького.

Осоргин подчеркивал: «Мудр только тот, кто не считает себя и свое — центром вселенной, кто изучает прошлое и работает для будущего»¹.

В 1930 г. Осоргин закончил «Повесть о сестре». Старшая, любимая сестра Михаила Андреевича — Ольга Андреевна Ильина-Разевиг — умерла, когда он жил в Италии. «Вести о смертях, — писал Осоргин, — так часто получались в моем земном раю, среди роз, лилий, пальм и кипарисов, что я к ним привык — да не оскорбит это слово более чуткого сердца. Наши тогдашние сердца загубели и покрылись мозолями от частых прикосновений смерти: где-то в глубине откладывалось горе, но наружу не выходило»². Ночью, спустившись к скалам, он собрал в букет «зеленые листики на тонких, прочных нитях, растущие веером»³. Итальянцы называют их «волосами Венеры». Тогда букет был единственно возможной для него данью памяти сестры, позже ею стала книга.

Есть в героине Осоргина и в книге о ней загадка неброского очарования, «какая-то своя ценность, как в картине старого мастера». Это повесть о женщине прелестной и даровитой, но несчастливой. У нее «был муж, были дети, был дом, было хозяйство, но не было семьи», ее дом стал «холодным домом», ее уделом — духовное одиночество. В этой женщине, соблюдавшей все законы и заповеди, все правила и установления, чувствовался «скрытый огонь», «непокорная душа», «внутренне сгоравшая в бунтарстве». Но она, «более способная на жертву, чем на сопротивление»⁴, не нашла ни применения своим способностям, ни обыкновенного человеческого счастья. И не пыталась переломить судьбу. В ее душевном облике, чистом и цельном, писатель видел «красоту утраченной женственности».

Критики отмечали, что героиня Осоргина — женщина рубежа веков, промежуточной эпохи. В ней нет прежней покорности, но нет и самостоятельности. Она как бы останавливается на половине пути: уничтожив семью, продолжает в ней оставаться; мечтая найти свое дело, не ощущает серьезной потребности в самостоятельной работе. И все же не в принадлежности определенной эпохе сила этого образа — такие женщины были и будут во все времена. Привлекательность его в художественном решении, найденном Осоргиным, в ненавязчивости повествования без точных объясне-

¹ Осоргин Мих. Великое и малое//Восход. Париж, 1933. № 6. С. 69.

² Осоргин Мих. Сестра//Последние новости. 1928. № 2824. 15 декабря.

³ Там же.

⁴ Там же.

ний и определенных толкований. «Образ остается живым и понятным, сохраняя нежную неясность очертаний»¹.

В 30-е годы вышли в свет два романа Осоргина «Свидетель истории» и «Книга о концах», повесть «Вольный каменщик», посвященная жизни русской эмиграции, и три сборника рассказов, опубликованные в Париже, Таллинне и Софии.

В эту книгу включены два очень разных цикла рассказов Осоргина.

Рассказы из книги «Чудо на озере» написаны просто и искренне. Литературный критик К. М. Мочульский говорил о «приеме наивного рассказчика»², которым пользовался Осоргин. Но вряд ли доверительная интонация писателя была лишь литературным приемом, стремлением создать «иллюзию простоты и правды»³. Рассказы Осоргина о самом важном в жизни человека написаны с сердечным чувством и душевной болью, подлинность которых не вызывает сомнений.

«Нет ничего труднее спокойной простоты — основы поэзии»⁴, — писал Осоргин. В статье «О простоте» он говорил и о своем пути: «Почти каждый писатель начинает со стихов, с непростого, с вычурности. Развиваясь и созревая, он переходит к вымученной прозе (пышные эпитеты, надуманные образы, искусственная перестановка слов и др.), пока не приблизится — если дано ему — (...) к высокой простоте...»⁵

Главным для Осоргина была не игра словами, а глубина, значительность, достоинство мысли. Его рассказы по форме просты, но в этой простоте есть что-то высокое и утешительное, есть гармония.

Любимым чтением Осоргина были книги по фольклору, по библиографии, из которых он извлекал материалы для «Заметок старого книгоеда», и языковедческая литература. «Без нее, прожив за границей 17 лет, я бы, вероятно, потерял русский язык»⁶, — писал он Горькому 31 марта 1930 г.

Осоргин считал, что формальные достижения в литературе невозможны без глубокого знания языка. Он призывал молодых русских писателей, живущих за рубежом, проявлять «удесятеренное внимание» к языку: «Чувство, талант, наблюдательность —

¹ Сазонова Ю.//Современные записки. 1931. № 45. С. 509.

² Мочульский К.//Современные записки. 1931. № 46. С. 494.

³ Там же.

⁴ Осоргин Мих. Куприн//Последние новости. 1930. № 3354. 29 мая.

⁵ Осоргин Мих. О простоте//Новая газета. Париж. 1931. № 4. 15 апреля.

⁶ Архив М. Горького.

все это окажется напрасным, если словарь писателя скуден и дух слов и оборотов ему чужд (...). Если для парижского обихода неважно, когда курица клохчет, а когда кудахтает,— то, для литературного языка каждая утрата синонима грозит гибелью»¹.

Для самого Осоргина языковедческие исследования стали важной частью его литературной работы. Они, вероятно, были и одним из стимулов в создании блестящего цикла «Старинных рассказов» с их тонкой, изящной стилизацией. Слова Осоргина о «преlestи старых слов, которыми чувства выражаются лучше, чем если писать по-нынешнему»²,— относятся и к его «Старинным рассказам». Рецензент справедливо отмечал: «Совершенно недостаточно щегольнуть набором старинных слов, чтобы читатель почувствовал старину или старый язык. Необходимо ощущение этих слов как живых и то проникновение в их глубину, какое дается только при большой любви»³.

У Осоргина любовь к своему языку и своей истории соединялась с любовью к человеку. Простоватый монастырский служка Акакий, восторженно прислушивавшийся к чудному перезвону; безобразная карлица Катька, горе мыкавшая при дворе Анны Иоанновны; солдатский сын Вася Рудный, забитый до смерти за то, что нашел тетрадку с непонятным для начальства рассказом о богах Древнего Рима; «армофродиты», живые экспонаты петровой Кунсткамеры; крепостной волосочес Онисим, заточенный в шкаф, чтоб никто не узнал тайну его облысевшей хозяйки,— этот ряд героев «Старинных рассказов», маленьких людей, которые, оказавшись на самом дне жизни, сохраняли человеческие чувства и душу, был не случайно выбран Осоргиным. И в пыли исторических источников он искал следы конкретного, живого, страдающего человека. «И в старобытности, и в современности,— писал он,— было и есть только одно чудо: чудо человеческой души...»

VI

В последнее десятилетие жизнь Осоргина делилась между старым кварталом левобережного Парижа, «царством книг, рукописей, писем, гравюр, портретов и маленьких вещичек, загрузивших письменный стол»⁴, и местечком, названным в честь покровитель-

¹ *Осоргин Мих.* Дела литературные//Последние новости. 1928. № 2689. 2 августа.

² <Осоргин Мих.> Заметки старого книгоеда//Последние новости. 1928. № 2772. 24 октября.

³ *Савельев С.*//Русские записки. Париж, 1938. № 11. С. 193.

⁴ *Осоргин Мих.* В тихом местечке Франции. Июнь — декабрь 1940 г. Париж, 1946. С. 15.

ницы французской столицы святой Женевьевы, где его трудами на месте пустыря и мелколесья был разбит сад.

Стремясь «уйти как можно дальше от всякого участия в жизни политической»¹, Осоргин писал о единственно возможном для него теперь счастье: «Зарыться в книги или цветочные клумбы, быть в молчаливом, но таком достойном обществе не живших людей, немых животных и растений — то, что французы, применяясь к своему изысканному вкусу, называют башней из слоновой кости <...>, а мы, русские, чуждаясь замков, именуем кельей под елью. Ни в ком не нуждаться, никому и ничему не быть помехой. Может быть, это — усталость, но, во всяком случае, не слишком дерзкое к жизни требование»².

Но и это счастье, эта, с таким трудом, с такими душевными усилиями созданная осмысленная жизнь были утрачены. Началась вторая мировая война. Положение Осоргина — «в чужой стране, которую хочет раздавить страна чужая»³, — с каждым днем становилось все опасней. В июне 1940 г. Осоргин и его жена вынуждены были бежать из Парижа. Они отправились в Шабри, «тихое благодатное местечко» срединной Франции, где уже обосновались их русские друзья. Городок стоял на реке Шер, которая разделила свободную и оккупированную зоны Франции. Настроение было тяжелым: «Думать бесполезно, потому что ничего не придумаешь. Бесполезно желать. Бесполезно мечтать. Всего бесполезнее считать что-нибудь хоть сколько-нибудь полезным <...>. Липкая, непросыхающая Тоска. С потолка спускают такие противомушнные липкие бумажки. Мухи гибнут. Человек, сев па такую бумажку, остается жив. Но это не жизнь»⁴.

Осоргины пытались вернуться в Париж, но там их ожидал новый удар. «В моей долгой жизни,— писал Михаил Андреевич,— время от времени зачеркивается все прошлое, вся его внешняя обстановка и весь его внутренний смысл, сколько-нибудь с ней связанный; и тогда жизнь начинается сызнова, с первого камня нарастающих стен»⁵. Парижскую квартиру Осоргины нашли опечатанной, библиотека и архив Михаила Андреевича («тысячи писем близких и далеких, живых и умерших людей, преимущественно писателей рубежа двух веков, собранные за 35 лет моих блужданий»⁶) — были вывезены.

¹ *Осоргин Мих.* В тихом местечке Франции. Июнь — декабрь 1940 г. Париж, 1946. С. 24.

² Там же.

³ Там же. С. 21.

⁴ Там же. С. 54.

⁵ Там же. С. 81—82.

⁶ Там же. С. 86.

Чтобы сохранить свободу, надо было вновь бежать. Последние два года жизни Осоргин провел в Шабри. Несмотря на трудный быт военных лет и усиливавшуюся давнюю болезнь, он продолжал много работать. Тоску побеждало творческое, созидательное начало его характера. «Трагедия неразрешимого, предстояние пропасти, это и есть, по-видимому, самое в нас человеческое, самое высокое, и, действительно, загадочное, мистическое (...), — писал Осоргин А. И. Бакунину 26 января 1941 г.— Отвергнув нравственный абсолютизм, приняв его ненаходимость, можно слишком себя распустить, сделаться беспринципным (...). Следовательно, какой-то критерий правды, какая-то настроенность, направленность к ней должна у человека быть. Что-то он должен для себя строить, а не успокаиваться на разрушении. Нужно не искать пропасть, а лишь знать, что она на пути неизбежна, и не к ней стремиться, а через нее к недостижимому, но манящему»¹.

Стремясь быть полезным, он безуспешно добивался разрешения посещать лагеря военнопленных, много усилий тратил на работу в созданном в Ницце Обществе помощи русским, отправляя продуктовые посылки нуждающимся литераторам.

В Шабри были написаны две публицистические книги: «В тихом местечке Франции» и «Письма о незначительном», изданные после его смерти. Они были составлены из корреспонденций, которые Осоргин, подвергая себя большой опасности и почти без надежды на получение его писем друзьями, отправлял в Америку — «как прощальный привет». Последнее из писем было послано за месяц до смерти.

Книги эти — не только интересный исторический источник, но и яркий человеческий документ, свидетельство наблюдательного, умудренного жизнью человека. В эти же годы были завершены и «Времена» — лучшая книга Осоргина, одна из вершин русской мемуарной литературы. «В этой повести превосходно все, и я жалею, что не могу процитировать из нее целые страницы»², — писал М. А. Алданов.

Умер Михаил Андреевич Осоргин 27 ноября 1942 г. в Шабри. Там и похоронен.

* * *

Осоргин несколько раз просил Горького помочь ему напечатать книги в Москве.

1926 год: «Решительно не хочется, безнадежно сложив руки,

¹ Cahiers du Monde Russe et Soviétique. Vol. XXV (2—3). April—Septembre. Paris, 1984.

² Алданов М. Предисловие // Осоргин Мих. Письма о незначительном. Нью-Йорк, 1952. С. 18.

пропадать здесь <...>. В царские времена я прожил в эмиграции десять лет, но перо мое оставалось в России,— как и других, как и Ваше. Сейчас приходится писать для эмиграции <...>. Скажем — таков рок; но я вовсе не хочу почтительно склоняться перед роком».

1929 год: «Вот вы меня иногда хвалите. Помогите мне как-нибудь и что-нибудь издать в России; к изданию книг здесь я совершенно равнодушен, даже к переводу романа на разные языки. Хотел бы печататься только в России».

1935 год: «...Невыносимо обидно совсем не быть читаемым на <...> родине! Или вы находите меня враждебным СССР писателем? И совершенно ненужным? Я этого не думаю. И к шестидесяти годам жизни я подхожу с ощущением жестокой и напрасной обиды»¹.

Обиды этой никогда не избыть. Михаил Андреевич умел отметить мысли о себе. «Мое счастье не в том, чтобы я, чтобы мы увидели Россию возрожденной и свободной,— писал он,— а в том, чтобы таково было ее будущее»².

Старик орнитолог, герой романа «Сивцев Вражек», успокаивая внучку, говорил, что весной «ласточки непременно прилетят». Осоргин утешал себя тем, что и для его книг наступит время действия вечных законов жизни. Как каждый год возвращаются домой ласточки, так рано или поздно придут люди, которые снимут с полки старые книги.

Время возвращения книг Михаила Андреевича Осоргина пришло.

О. Ю. АВДЕЕВА

¹ Архив М. Горького.

² Осоргин Мих. Тем же морем//Современные записки. 1922. № 13. С. 225.

СИВЦЕВ ВРАЖЕК

Роман

Часть первая

ОРНИТОЛОГ

В беспредельности вселенной, в солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле ученый-орнитолог Иван Александрович. Свет лампы, ограниченный абажуром, падал на книгу, задевая уголок чернильницы, календарь и стопку бумаги. Ученый же видел только ту часть страницы, где изображена была в красках голова кукушки.

Не ученые мысли бродили в его голове, а простая житейская о том, сколько лет ему осталось жить. Унесла его эта мысль в глубь леса, где кукует кукушка, и сколько прокукует — столько и жить осталось. Таково народное поверье, и не глупее оно всякого другого предсказания. Ошибается кукушка, как ошибаются и врачи. И ни один врач не может предсказать, когда человека задавит трамвай.

Широколицый, русейший, седобородый профессор умирать не хотел, а смерти не боялся только потому, что в юности и в старости был мужчиной и умницей. Он был известен в ученом мире и свою науку любил по-особенному; была красота в его науке: окраска перьев, пенье, природа, рождение весны, прощанье с летом. Поэзия была в его науке. Каждую птичку он знал и за это знание свое — любил. И умирать профессор орнитологии не хотел; еще и еще хотел жить. Но сколько же лет жизни обещает ему бессемейная, беспечная птица кукушка?

Кукушка прокуковала три раза. Профессор улыбнулся; суеверным он не был и к своим часам привык. Книгу закрыл, заложив бумажкой. Зевнул — хороший признак. На старости лет страдал он бессонницей. Встал, поясницу помял пальцами, опять зевнул — и, потушив лампу, вышел в спальню.

Через час, когда полная тишина окутала дом и кушקה прокуковала четыре, — из-под книжного шкапа выползла мышь и стала прислушиваться. Кажется — все благополучно, все спят, кошачьего глаза не видно. Мышь пошевелила хвостиком, передернула ноздрями и отправилась в путь.

Путь лежал через спальню профессора, под дверь другой спальни — в столовую. Такова малая вылазка, за крошками. Более длинное путешествие — в кухню; оно очень опасно (кошка). И лучше начать его через другой ход — из-за сундука в коридоре. Там тоже дырка в полу.

Видела мышь только ближний кусочек пола и очертания дальнейших предметов, ровно настолько, чтобы не сбиться с пути. Если бы видеть так, как видит кошка!

Добежав до двери, мышка пропустила в щель жир и убедилась кончиком хвоста, что пролезла. Опять остановка — и легкая тревога. Орнитолог спал по-стариковски, беспокойно. Во сне говорил: «Что? Почему? Ах, это все равно!» Но вот дышит ровно, спит.

Всю жизнь так и убил на свою науку. Птицу узнавал издали по перышку, по силуэту, по тихому щебету, — а людей узнавал ли с той же легкостью? По щебету облюбовал себе подругу жизни. Вылупились птенчики — три птенца. Оперились, выросли, отлетели. А теперь тут, за стеной, внучка — осталась без родителей.

Старуха жива — бывалая щебетунья, прожившая с птичьим ученым все сорок лет. Птицу так не выберешь, как выбрал человека! Но, конечно, было в жизни всего; особенно в молодые годы...

Опять старик пошевелился во сне, и юркнул серый комочек под дверь в соседнюю спальню.

Было здесь душно. Кровать стояла огромная, вся в подушках, и угол одеяла опустился. Спала на кровати, будто детка, калачиком, седая маленькая старушка, жена профессора. На столике стакан воды, порошки и конфеты в бумажке. И кресло стояло покойное, просиженное. И пахло лавандой и прошлым.

Здесь было так нестрашно, что мышка неторопливо прошла по ковру, остановилась, присела, задумалась.

Здесь было покойно, как нигде, и, как нигде, безопасно. Дышала старушка совсем неслышно, и снилось ей простое и неинтересное. Спала со сжатыми губами, а зубы лежали в стакане с водой.

Но зато дальше на пути была комната, которую можно и лучше пробежать быстро и без остановки. Страшная комната, гулкая и нежилая. В запахе спален есть умиротворяющее, житейское; но страшен зал с большими окнами и далекими силуэтами.

В круге зрения мышки блеснуло — и она отпрянула. На тонкой мордочке заработали ноздри и усы. Не так страшно: только стеклянные подножки рояля. Но, Господи! В таком огромном мире все страшно мышке серой и беззащитной!

Маленькая мышка и огромный рояль, способный грянуть всеми струнами и оглушить. Рояль этот был господином дома. Профессор играл: «Вот, хотите, я изображу вам соловья; сначала так: фью-и, фью-и; тут низко: фуррр... и трель... а вот как щелкает — никак необразишь!» Его жена, старушка Аглая Дмитриевна, играла очень хорошо, но упросить ее трудно. «Ну, руки у меня стары, еле двигаются». Танюша — будущая артистка; и сила у нее есть, и влечение к музыке, и способности. Танюша учится в консерватории. На маленьких концертах выступает без страха. Но живет рояль полной жизнью только тогда, когда приходит вечером профессор Танюши Эдуард Львович. Тогда действительно... И бывает это почти каждое воскресенье. Долго не спят мыши в подполье в те вечера. И ночью не выходят на разведки.

Эдуард Львович — пожилой человек, некрасивый, неинтересный собеседник, но пианист удивительный. И композитор. Любит сладкие сухарики к чаю. Никогда в жизни не пил водки. Станный немного человек.

А мышка тем временем уже возвращается из столовой. Крошки нашлись, и немало. В коридор мышка заглянула было, но там стукнуло — и пришлось бежать. В столовой все обшарила. Опять теперь через залу и спальни — за книжный шкаф, в дырочку и домой. Светает. В темноте страшно, при свете еще страшнее. Всегда страшно.

Серым комочком пробежала вечный страх по комнатам профессорской квартиры, и никто его не заметил. Никто не знал, что целая мышиная семья помогает червяку точить деревянные скрепы пола и прочные, но не вечные стены. Охлаждается земля, осыпаются горы, реки мелеют и успокаиваются, все стремится к уровню, иссякает энергия мира — но еще далеко до конца.

Мышиный хвостик на мгновение задержался наружу — и исчез.

Кукушка прокуковала шесть раз. Профессор заскрипел кроватью. Солнце задело занавеску окна.

Вместе с ним к окну подлетела ласточка, сегодня прилетевшая из Центральной Африки на Сивцев Вражек.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Родилось утро — в белой сорочке румяное утро. Молочными крыльями забило в окна. И тогда щелкнула задвижка и окно распахнулось. Танюша, щурясь, столкнулась с утром, и холодок залился за рубашку. На цыпочках, вприпрыжку, отбежала обратно к постеле — еще понежиться, счастливая, что день будет сегодня хороший.

Ранним утром, при окне открытом — какие думы у девушки в шестнадцать лет? Первая — день хороший, вторая — сегодня воскресенье. Вместо третьей думы — беспричинная улыбка. Затем заботы: позвонить Леночке, чтобы вечером непременно пришла. И понежиться в постели хорошо, и облиться холодной водой тянет. Напившись кофе, разобрать новые ноты. Вечером будет играть смешной и милый Эдуард Львович.

Внучка деда своего, птичьего профессора, сразу заметила, что прилетели ласточки. Непременно сказать дедушке. Вчера их еще не было — значит, сегодня первый день настоящей весны.

Колокола, колокола, шум проснувшейся улицы и ласточкино «чирр». Жизнь впереди длинная-длинная. И тонкими пальцами (ногти обрезаны низко, как у музыкантши) погладила круглеющий скат плеча, с которого упала рубашка. Потом сразу ноги на коврик — и побежала к зеркалу, посмотреть на лицо. «Вовсе я не безобразная!!»

В шестнадцать лет девушка знает свои глаза и делает презрительную гримаску; но зеркало еще не говорит ей о тайне голого плечика. Через минуту — холодно, ни для кого отразило оно руку, поднявшую кувшин, и струю, облившую тело, — разве для ласточки, которая пролетела мимо окна. И деловито, крепко делало свое дело мохнатое полотенце. И вот Танюша готова.

На стене висит фотография картины, где люди на диване слушают музыку.

Пока пришита пуговка — уже девятый час. Будить дедушку — привилегия Танюши. Она стучит в дверь:

— Дедушка, вставайте! Чудесный день и новость: прилетели ласточки.

— Алло, Танюша, встаю, встаю...

— Как вы спали?

— Хорошо; ты как?

— Тоже хорошо. Ах, дедушка, какой день! Я велю подавать кофе.

В этот день во многих домах московских распахнулись утром окна и выглянули из них лица молодые, старые, заспанные, свежие; щурились, слушали колокольный воскресный перезвон. Сыпалась старая затвердевшая замазка с прилипшей к ней ватой, вынимались и выливались стаканчики кислоты, подметался подоконник, и крошки сора падали за окно. В верхние этажи солнце, воздух и колокола влетали полновесными клубами и дробились о стены, о печку, о мебель. У верующих было на душе пасхально, неверующим весна принесла животную радость.

На дворе выбивали ковер, на окне в кухне кухарка поставила ящик с землей и натыкала проросших луковиц.

На углу Малой Бронной студент покупал моченые яблоки и шел домой в Гирши, локтем прижимая распавшиеся листы римского права. Под Каменным мостом мальчик, вода языком по углу раскрытых губ, забрасывал нитку с булавкой и думал о том, что вдруг схватит большая; ноги перепачкал по колено.

Звенел трамвай неистово и напрасно, и городской белой нитяной перчаткой законополагал движение двух пролеток и одного ломовика.

В этот день семинарист, уже полгода думавший о самоубийстве, решил отложить еще, а женщина-врач, одинокая и некрасивая, краснея, купила недорогую шляпу, все равно какую; однако сегодня ее не надела, а вышла в старой, так как с юности выработала в себе сильную волю. Термометр Реомюра с улыбкой играл на повышении.

Это был вообще — замечательный день.

КЛАДБИЩА

Но есть окна, которые никогда не открываются; иные за решетками, как в тюрьмах. Через стекла, всегда пыльные, тусклый свет падает на шкапы и регистраторы, набитые бумагами.

В Париже, в Берлине, в Лондоне, где весна наступила раньше, она опасливо обошла старые здания, не бросив луча света в окна дипломатических архивов. Умнейшие мужья, полиглоты, умевшие мыслить шифром, стерегли эти кладбища исписанной бумаги, чертежей и негативов.

Солнце думало, что жизнью земли руководит оно. Вся человеческая жизнь рисовалась ему лишь воплощением энергии его лучей. Оно населило Полярный север высшими формами органического мира; когда пришло время, оно создало страшную катастрофу живущего, убило высокую культуру полюсов и развило отсталую экватора до совершеннейших форм. Оно смеялось над стараньями земных организмов приспособиться, над их борьбой за существование, мало влиявшей на улучшение породы и облегчение жизни. Все, что делал полип или человек, — было делом его, солнца, было его воплощенным лучом. Ум, знание, опыт, вера, как тело, питание, смерть — были лишь превращением его световой энергии.

Но маленький, страдавший насморком, зашитый в полосы материи на пуговках человек, защитившись от солнца стенами, впустив лишь нужный пучок света по проволоке в запаянный стеклянный стаканчик, пробовал вершить свою жизнь по-своему. Он макал перо в чернила, писал, шептал и приказывал.

Из стоп исписанной бумаги создавались гекатомбы. По проволокам текли правда и ложь, месились, подогревались и создавали факт, мотив, причину, повод. Мозг человека боролся с солнцем, стараясь подчинить живущее мертвой воле. Огораживал забором кусок земли, стенами город, границами государство, цветом расу, традициями национальность, современностью историю, политикой быт. Хитрый и пытливый мозг строил пирамиду из живых и трупов, взбирался по ней до верхней точки — и рушился вместе с нею.

Солнце смеялось над ним, он смеялся над солнцем. Но последним смеялось всегда оно. С непостижимой для ума человека силой солнце швыряло на землю снопы

энергии, рожденной в электромагнитном вихре. Как таран, падали его лучи на землю — и рушилось все, что человек считал созданием своего ума, создавалось все, что только могло быть созданием солнца.

Молчаливейший, в себе самом замкнутый чиновник разобрал слово за словом зашифрованное письмо и перевел на рублинную, точную немецкую прозу. Посланник прочел, усмехнулся, одобрил, так как в письме одобрили его.

Посланник думал, что знает все, что знают высшие сферы Берлина, но знал он только большую часть. Высшие сферы Берлина знали все, кроме того, что знал маленький сербский гимназист. Гимназист же знал очень мало, почти ничего. Он был отравлен капелькой национального яда, был честен, пылок, искренен и истеричен. Он учился стрелять в цель, нарисованную на внешней стене курятника. Это могло дорого обойтись пестрым курам и их крикливому паше; но, по счастливой случайности, пули ни разу их не задели.

Когда маленький серб научился хорошо стрелять, он решил сделаться национальным героем. Для этого нужно убить врага нации — иного способа стать героем не придумано. А так как много маленьких сербов училось стрелять в цель на стене курятника, то одному из них судьба непременно должна была послать новую цель — грудь австрийского эрцгерцога.

Этого могло и не случиться. Но тогда случилось бы что-нибудь другое. Что бы ни случилось — в архивах за пыльными окнами на все был готов ответ. Солнце творило историю, человек писал к ней комментарий, но творцом истории считал себя. Поэтому он окружил себя стенами и не распахивал окно даже весной. Кладбище бумаг и секретов, добытых дружбой и шпионажем, он считал сигнальной станцией мира и пульсом страны.

Таких кладбищ было много, больших и малых; ими гордились страны, властители и народы.

И хотя в беге веков и кружении туманностей сплоченная сила всех этих кладбищ значила не больше, чем: придет ли Леночка вечером слушать музыку на Сивцев Вражек, — но в жизни Леночки и Сивцева Вражка, как в жизни всех, кто пашет, пишет, сеет и любит, кто жил вчера и будет жить завтра, была огромной и решающей роль бумажных кладбищ.

И в тот момент, когда девушка шестнадцати лет рас-

пахнула окно и увидела первую ласточку,— искра радиостанции чиркала воздух, хитрым червячком вилась мысль в мозгу дипломата, курица на нашесте наклонила случайно голову и избегла пули гимназиста, перо газетчика надувало пузырь национальной гордыни.

По сырой и тучной земле, забивая копыта, лошадь тащила плуг.

Легким движением рычага рабочий опрокинул в форму ковш расплавленного металла.

Набухли почки молодой березы. Зеленела трава.

Но тот, кто шел за плугом, еще не знал, что на зеленой лужайке, близ подрезанной снарядом березы, он падет, распластанный и оглушенный остывшим и вновь разгоряченным металлом. Не знал этого никто. Это было неважно. И осталось бесследным.

На бумажных кладбищах кресты заменены цифрами. В округленных цифрах исчезают лишние единицы. Того, кто шел за плугом, не было и не будет; нет ни рабочего, ни березы, ни подрезавшего ее снаряда.

Живое исчезло в округлении цифр.

КОСМОС

Вечером окна домика на Сивцевом Вражке были гостеприимно освещены.

Подходя к крыльцу, Эдуард Львович поднял голову и увидел красные гардины зала. Ему стало тепло и приятно. В музыкальные пальцы, озябшие в карманах легкого пальто, возвращалась кровь и подвижность. Он сегодня запоздал и застал всех в сборе, в столовой, за чаем.

У самовара Аглая Дмитриевна, в очках, с большой старинной брошью; старый профессор спорил с молодым другом, тоже профессором, физиком Поплавским. Танюша и Леночка слушали.

У Леночки круглые глаза на розовом круглом лице. Когда Леночка слушает,— она удивлена; когда удивлена,— у нее поднимаются брови и раскрывается пуговка рта. Танюша умеет слушать, одновременно всматриваясь в говорящего и думая о нем, об его собеседнике, о себе самой, о смешном удивлении Леночки, о том, как много нужно и хочется знать.

Есть и еще гости: почтительный и неприятно умный

студент Эрберг и дядя Боря, старший сын орнитолога, с женой,— оба они люди незаметные.

Эдуард Львович вошел, потирая руки. Его обычное место — по левую руку Аглаи Дмитриевны — ждало его. Вообще — все было в порядке, как установилось за два-три года знакомства.

Пили чай. Физик Поплавский говорил с профессором об опытах Майкельсона и Мореля и о сдвиге световых волн. Орнитолог высказывал опасение: не беспомощна ли физика?

— Ваш светоносный эфир подозрителен! Слишком многое приходится прилаживать и приспособлявать. Вы, физики, в тупике.

Поплавский тупика не отрицал,— но разве это колеблет науку? Подождем завтра!

После чаю перешли в зал. На широчайшем диване приютились профессор, дядя Боря и Танюша. Аглая Дмитриевна в своем кресле под лампой — с вязаньем в руках. Леночка удивленно на стуле. Поплавский в самом затененном углу. Жена дяди Бори где-то незаметно.

Эдуард Львович играл где-нибудь ежедневно, но лучшим днем его было воскресенье в семье орнитолога. И он волновался. Эдуард Львович не был стар, но казался стариком: лысый, с длинными, незачесанными космами на затылке и висках. Один глаз его плохо видел. Эдуард Львович горбился, смущался своей некрасивостью и часто потирал руки.

Сел у рояля, но сейчас же вскочил и долго перевинчивал стул, устанавливая его на нужном от клавиш расстоянии. Взял аккорд, пробежал по клавишам и опять забеспокоился, оглядел крышку рояля, заглянул под него. Забеспокоилась и Танюша, бросилась помогать. Оказалось — конец ковра попал под ножку рояля. С помощью дяди Бори вытащили. Опять аккорд — хорошо.

Вместо «л» Эдуард Львович выговаривал нечистое «р». И сказал:

— Я бы хотел попробовать сыграть... но только если вы хотите срушать... но могу и что-нибудь другое...

Поняла Танюша:

— Сыграйте, Эдуард Львович, свое, про что вы говорили тогда. Оно готово?

— Готово ли — как сказать... Я уж не знаю. Но ведь это почти импровизация. Я называю это... можно назвать «Космос».

Физик отозвался:

— Космос, это... интересно. Именно музыка только и могла бы вполне...

Леночка сидела удивленная. Эдуард Львович смущенно попросил:

— Я порагар бы ручше немного меньше света...

Танюша гасит огни. Остается только лампа, освещающая рукоделье старухи.

И Эдуард Львович играет.

Леночка удивленно смотрит на пальцы композитора, мелькающие в полутьме по клавишам, на его голову, то откинутую, то припадающую. Леночка слушает звуки в их отдельности и в их слиянии и думает, что это непохоже на мелодию, на танец, на увертюру оперы. Думает и о том, что Эдуарда Львовича называют гениальным, и о том, что его левый глаз косит, и о том, что вот она, Леночка, слушает игру гениального человека. Собрать и вместить свои мысли в одно целое Леночка никак не может, и брови ее удивленно поднимаются.

Дядя Боря хмур. Он — инженер, но неудачник. У него некрасивая, старообразная жена. Он многого не знает, в том числе и музыки. Бетховен, Григ — все это слышал, имена, — но как различать? Скрябин — диссонансы. Почему то, что играет Эдуард Львович, называется космосом? Космос — это что-то астрономическое... Было бы хорошо, если бы все, превышающее уровень мышления дяди Бори, оказалось выдумкой и вздором. Тогда дядя Боря вырос бы и стал величиной. И вообще... почему паровые котлы ниже музыки? Что они смыслят в паровых котлах! И болезненно сознает дядя Боря, что именно музыка выше паровых котлов и что это его, дядю Борю, принижает, делает несчастным, неинтересным.

Старый орнитолог полулежит с закрытыми глазами. Звуки носятся над ним, задевают его крыльями, уносятся ввысь. Иногда налетают бурной стаей, с гомоном и карканьем, иногда издали поют мелодично и проникающе. Это не на земле, но близко над землею, не выше облака и полета жаворонка. Не страшен космос Эдуарда Львовича! Да и не так сложен, даже не экзотичен: русская природа. Но как хорошо! Старость спокойная, диван, милая внучка, доступность высшего, что зовется искусством. Я — профессор, я известен, я стар, я не хочу умирать, но, конечно, я могу умереть спокойно, как живший, исполнивший, уверенный, уходящий. Звуки —

как цветы, музыка — пестрый луг, леса, водопады. Смешной он, Эдуард Львович, но он мастер и он чувствует многое, что другим дается наукой, мыслью, старостью.

В мировых пространствах, среди туманностей, вихрей, солнц, носится остывшая планета — лампа Аглаи Дмитриевны. Старуха слушает, вяжет, не спуская ни одной петли. Слушает с удовольствием, думает о том, что в самоваре осталось мало воды, а угли еще горячие. Но Дуняша догадается. Эдуард Львович прекрасный музыкант и отличный учитель. Танюше шестнадцать лет, пусть учится. Но все равно — выйдет замуж, и это главное. С музыкой выйдет лучше. А свои исторические науки тоже пусть кончит, торопиться некуда. Танюша — сирота, но счастлива та сирота, у которой живы и благополучны дедушка и бабушка. Однако он долго играет. Аглая Дмитриевна посмотрела поверх очков и чуть было не спустила петли.

В самом темном углу на мягком стуле профессор Поплавский думал о своем. Мироздание — огромно, но для понятия о нем нужно представить атом. И атом — не последнее. Эдуард Львович хочет постигнуть мироздание силами музыки, семью ее основными тонами, — но художественной догадкой знания не заменишь. Семь цветов спектра дают больше, и вот мы взвешиваем точными весами горящую массу далекой звезды, определяем сложный состав небесного тела, устанавливаем его возраст. Но, может быть, музыка права, так как идет тем же путем постижения и приводит к той же иллюзорности мироздания. Астроном изучает вселенную. Какую? Ее в этом виде уже нет! В телескоп мы видим прошлое звезд, планет, туманностей. Солнце было таким... восемь минут назад, звезда была такой — тысячелетие тому назад, другая звезда — десять, сто тысячелетий. Великая иллюзия! Но играет он, Эдуард Львович, прекрасно. Музыка велика тем, что ей не приходится оперировать словами, цифрами, что она не переводится на несовершенный язык. Может быть, в этих звуках космоса нет, но переведи их на язык слов и цифр... и получится... эвклидова геометрия.

ТАНЮША

Танюша сидела на диване, подобрав ноги и головой прижавшись к плечу дедушки.

Сначала впивалась в звуки, потом унеслась в гармонию. Маленькой горячей точкой носилась в безвоздушном пространстве, окруженная вечными, безответными вопросами звезд, планет, гуманностей, житейским, возросшим до вселенного, вселенным, упавшим до мелочи быта.

Космоса в музыке не искала: просто вбирала ее в душу и рядом с ней — в ее орбите — жила. Отдала работе несознанной мысли и свое легкое тело, и душную теплоту дедушкиного плеча, и полумрак залы, и колебанье звуков.

Большую комнату заполнила образами и видела рождение их под потолком, хоровод вокруг лампы, срывы встреч случайных и размеренный танец. Летала с ними — за пределами стен. Дыша — открывала рот, чтобы не мешать слуху. Послушно принимала в складки ума новые тюки нераспакованной мысли — запасы сырья, к обработке которого после-после, с утренней силой приступит. Не боялась, — но знала, что будет трудно, была рада и серьезна.

Космос? Его Танюша не видела; он — цельность и завершение, она — на пороге жизни, едва за пределами хаоса, из которого вышла ребенком. Она только начала собирать крупички реального знания, вся была в мире вопросов, первых ощущений, важнейших, дробящихся, противоречивых. Жадно тянулась к ясному, к аксиоме, не принимала теорий, негодовала на двойное решение, не нуждалась в вере. Знала, что все это важно, даже щекочущий волос дедушкиной бороды, — но было так некогда, так много было работы, что делала мыслью прыжок от деталей (о них подумает потом) к гигантскому общему, от мятой складки скатерти — к сладкому и страшному «зачем жизнь?» и особенно «как жить?». Однажды уже додумалась: что цель жизни — в процессе жизни; и потом мучилась: верно ли? Не оскорбила ли цели? Не унизила ли смысла существования?

Однажды, в разговоре с дедушкой, Поплавский сказал, что три точки в одной линии зрения могут не дать прямой, что это относительно. Не поняла вполне, но взволновалась: как же быть тогда с тем, что уже считала решенным, чем проверяла свои выводы? Как дедушка может усмехаться и быть спокойным — ученый дедушка? Разве он знает что-то большее? Когда Поплавский говорил о своих смешных точках, у него даже глаза стали

грустными. А дедушка, который должен же понимать и который тоже знает, был совсем спокоен и шутил:

— Не говорите вы при Танюше о таких ужасах! Она спать не будет.

И действительно, Танюша в тот вечер долго не засыпала, хотя думала и не о точках, а вообще о том, как же быть, если ничего совсем-совсем верного нет?

— И тогда же — попутно — догадалась, что есть люди, берущие готовое и строящие на нем счастье, и есть люди, которым счастья построить не на чем, так как почва под ними всегда дрожит от сменяющихся вопросов. Дедушка из первых; но может быть, эти первые знают что-то еще высшее, выше вопросов, не поколебимое ничем? И, однако, пытливым умом была со вторыми.

И чутко, ухом музыкальным лаская дробь звуков, сливая их в целое, порою — сама пианистка — видя их в пяти нитях нотной бумаги, — слушала Танюша странную и сильную импровизацию своего учителя и думала свое, мелкое, бытовое, житейское — и великое, не разрешимое для мягких еще мускулов сознания. Ее мироздание лишь строилось.

Сейчас Эдуард Львович кончит — совсем почти мелодией. Все, что искал и что высказывал, — свел к немногим простейшим звукам. Неужели для него это так ясно? Кончил — и все молчат. Встал, потер руки, посмотрел на лампу виноватыми глазами, и Аглая Дмитриевна поверх очков одобрила, сказавши:

— Уж так хорошо, что и не знаю. Заслушалась я вас!

Вышло это у нее просто. Другие думали, что сказать; но сказать было нечего. И Танюша, очнувшись, вздохнула.

LASIVS FLAVVS

На заре светлого дня в землю черную, поспевшую для посева ангел жизни бросал семена.

Выходило солнце, и дрожащее ожиданием семя заволакивалось теплым паром, набухало, лопалось и выпускало сочный белый росток и нитку корня.

Корень стремился вглубь, искал сытной влаги, цеплялся за жирные частички земли; росток напрягал все силы, чтобы выпрямиться, открыть зеленый лист и распластать перед солнцем.

А когда заходило солнце, ангел смерти выносил на

поля лукошко с сорными травами и среди новых зеленых всходов бросал семена зла и раздора. К утру и их зеленый обман пригревало бесстрастное солнце, и человек радовался богатым всходам засеянных полей.

Несуществующий великий обещал в тот год победу ангелу смерти. И когда вытянулась и заколосилась первая травка, на нее поспешно взобрался муравей *Lasius flavus*¹. Это не был охотник за травяными тлями. Муравейник на опушке леса имел прекрасные стада тлей и был обеспечен их сладким молоком. Но известили лазутчики, что в окрестностях неспокойно, что грозит муравьиной республике нападение охотничьих племен *Formica fusca*², которые уже перебежали насыпь строящейся железной дороги и стягивают свои силы у поворота поля. Страшен был не бой—страшно было грозящее рабство. И это в момент, когда крылатые самки уже вернулись с первого вылета бескрылыми и готовились стать матками новых рабочих поколений.

В июльский зной загорелась первая битва. Стальные челюсти впивались в щупальцы и ножки противника, срезали их одним напряжением мускулов, тела свивались клубком, и сильный перегрызал талию слабейшему.

Там, где сходились армии, песочная дорожка покрывалась огрызками ног, обломками челюстей, дрожащими шариками тел. А по обходным дорожкам грабители спешно тащили куколок, обеспечивая себя будущими рабами. Иной проголодавшийся воин забирался в стойла врага и жадно выдаивал упитанную, породистую тлю; а минуту спустя уже извивался на земле в мертвой схватке с пастухом, защищающим собственность своего племени.

Шел бой до самого заката, и уже окружен был муравейник все прибывавшими армиями бледно-желтого полевого врага. Но случилось то, чего не могли предвидеть лучшие из муравьиных стратегов.

Здрожала земля, надвинулись гудящие тени, и внезапно муравейник был снесен неведомо откуда пришедшим ударом. На дорожках все спуталось, и враг с врагом в неостывшей схватке были раздавлены невидимой и неведомой силой.

Рядом никла и затаптывалась трава, песчинки вдавливались в муравьиное тело и от стройных армий не

¹ Рыжий (лат.).

² Муравей темный, черно-бурый (лат.).

оставалось и следа. В пространствах, не ведомых даже острейшему муравьиному уму, быть может, в чуждом ему измерении, как невидимая гроза, как мировая катастрофа, прошла божественная, неотразимая, всеуничтожающая сила.

Погибли не только муравьиные армии. Погибла полоса посевов, примятых солдатским сапогом; поникли пригнутые к земле и затоптанные кустики вереска, миллионы живых и готовившихся к жизни существ — личинок, куколок, жучков, травяных вшей, гнезда полевых птиц, чашечки едва распустившихся цветов, — все погибло под ногами прошедшего опушкой отряда. А когда тут же, вслед за пулеметной командой, утомленные лошади провезли орудие, — на месте живого мира осталась затоптанная полоса земли с глубокой колеей.

И долго еще ковылял по ставшему пустыней живому божьему саду чудом уцелевший муравей-лазутчик пастушеского племени *Lasius flavus*, не находя более ни друзей, ни врагов, не узнавая местности, затерявшийся, несчастный, малая жертва начавшейся катастрофы живущего.

Как было приказано, отряд остановился в деревушке. Лаяли и с визгом убежали собаки, солдаты с ведрами и манерками потянулись к реке, хриплый голос говорил слова команды, кудахтали потревоженные куры, и ночь опустилась над землей, не запоздав ни на секунду времени.

И загорелись в небе звезды миллиардолетним светом.

ПЛАНЫ

Программа ласточки, прилетевшей на Сивцев Вражек из Центральной Африки и жившей над окном Танюши, была в общих чертах выполнена. Птенцы вывелись, окрепли, научились летать и были готовы к самостоятельной жизни. Забот теперь было мало, интерес к жизни не так могуч, и главные устремления ласточки и всего ласточкиного народа сводились к усиленному питанию, чтобы выдержать осенью обратный перелет. Искренне упивалась жизнью только молодежь, еще чуждая страстей, веселая, готовая целый день шнырять, гоняться за мухами, болтать вздор на телеграфной проволоке и на закате ловить в выси лучи уходящего солнца, когда внизу ползут уже сумерки.

Программа жизни неприятно умного студента Эрберга была сложнее. Он кончал университет, имел в виду остаться при нем по специальности (государственное право) и жениться по чувству и с расчетом. Так как торопиться было некуда, то он мог хорошо и внимательно присмотреться, прежде чем выбрать себе жену среди молодежи профессорских семейств. Одной из кандидаток на счастье была Танюша. Поэтому студент Эрберг посещал воскресенья профессора орнитологии; но, держа Танюшу в резерве, студент Эрберг продолжал неспешно осматриваться, вполне уверенный, что недостатка в выборе не будет.

В июле была объявлена война. Среди полумиллиарда людей житейские планы которых она поколебала, был и неприятно умный студент Эрберг, только что сдавший государственные экзамены. Как все умные люди, вкусившие от мудрости государственной науки, он считал, что война не может продолжаться дольше двух-трех месяцев. Поэтому, не спеша портить свою карьеру и обеспечивать себе место в гражданском тылу, он поступил в школу прапорщиков. Форма ему шла, офицерская пойдет еще больше. Вынужденный отдых от умственных занятий был необходим. Военная муштровка укрепляла тело. Эрберг сразу научился печатать ногами, рапортовать, держать пояс подтянутым и в полном порядке укладывать на ночь одежду. Он был высок ростом и в ученье стоял фланговым.

Больше всех в Эрберга была влюблена горничная Дуняша, брат которой был на войне с первых дней. Эрберг, как будущий офицер, казался ей существом высшим, недосягаемым; он и был им для Дуняши, и она краснела пятнами от подбородка до кончика ушей, помогая ему снимать юнкерское пальто. И Дуняша же первая заметила, что с Эрберга не сводит Леночка круглых удивленных глаз. И понятно — он красив, значителен и о военных операциях говорит с тою же уверенностью, как раньше говорил о театре Станиславского и вопросах международного права. Но в форме он милее, моложе, ближе сердцу простой девушки.

Если бы Танюша знала, что она — одна из избранниц Эрберга, она бы его боялась; но Эрберг ничем ее от других не отличал, разве — ласковой почитательностью и особым вниманием к старушке Аглае Дмитриевне. Это последнее Танюше нравилось, и к Эрбергу она относи-

лась хорошо. Интересов его не понимала и не разделяла. Но все же молодец, что не захотел укрыться в тылу, как другие, а записался в прапорщики. За это Эрберга в профессорском доме все одобряли, и Танюша была довольна: это — ее знакомый. О Леночкиных чувствах немного догадывалась, — но время было такое, когда мало думалось и говорилось о личном, о чувствах, даже о музыке: война захватила всех, об ином и говорить было как-то странно.

У Эрберга была мать, уже пожилая: ее он никому не показывал — или не приходилось, или расчета не было. Покойный отец был из рижских немцев, а мать из московских мещан, совсем незначительная. И у матери были планы: пускай все будет в жизни так, как хочет ее замечательный сын. Ведь раньше было в жизни так, как хотел его отец, — и дурного не вышло. Мужчины знают больше, чем догадываются женщины. И она носила наколку, вела хозяйство и заботилась о чистоте наброшенных на кресла плотных, добротных вязаных салфеточек.

Эрберг целовал матери руку. Если бы поцеловала она ему — было бы и это просто и естественно. Когда он выходил, мать не спрашивала, куда он идет и когда вернется. Если нужно — скажет и сам.

В планах ласточки был беспокойный, беспутный перелет; в плане Эрберга — прочность и корень. Когда Эрберг пил чай, он ставил свой стакан на середину блюдечка верной, спокойной, красивой рукой.

ВРЕМЯ

В подвальном помещении под кабинетом ученого-орнитолога, в том месте, где в фундаментальную стену упиралась балка, было на стене зеленоватое пятно, покрытое пухом белой плесени. На сыром каменном полу насыпался небольшой валик мельчайших перегнивших кусочков дерева и сырых пылинок извести.

В глазах мышки это пятно было как бы гобеленом. Его грибной рисунок был замысловат, тонок и многотонен. Тысячи поколений работали над ним. Выпоты сырой гашеной извести пробуждали жизнь в промежутках кирпичной кладки, под слоем штукатурки. Без общего командования, как бы без плана шла работа разрушения.

Микроскопические существа, любя и питаясь по-своему, вспахивали и уваживали грибное поле. Они гибли, выделяли тепло и возбуждали деятельность жирной грибки, возраставшей дремучий лес стройных пальм, вислых ив и цепких фантастических лиан.

Та же непрестанная жизнь и непрерывная, без часов и минут отдыха, работа согревала деревянную балку. Мягчайший, мельчайший червячок с прочной стальной головой сверлил ходы сквозь волокна дерева; уставши — окукливался, становился жучком, клал яичко, умирал. Новый червячок прокладывал новый путь, чертя в древесной мякоти условный рисунок. И мертвое, холодное дерево, когда-то страстно сосавшее землю, когда-то пластавшее зеленый лист к лучам солнца, — вновь согревалось, дышало теплом миллиона гнезд и мастерских, мечтая о возврате в землю и новом воскресении в живящих соках.

И, деловито, упрямо, блестя шариком глаз, напрягая мускулы хвоста, серая мышка зубами и коготками отламывала щепочки от толстой доски пола. Эту работу начали ее предки. Был сделан точный инженерный расчет расстояний и направления. Расчет уже забыт, но следы зубов и когтей указывали верный путь... Упираясь задними лапами в неровность стены и мякоть щепня, мышка сразу делала два дела: продолжала культурную работу поколений и стачивала слишком быстро росшие зубы.

Шум извне спугнул труженицу подполья. По булыжной московской мостовой переулка, громыхая, проехала телега. Со стены упало несколько чешуек; неубранным сором завалило ход червяка. Лопнула в балке истлевшая ворсинка дерева. Старый особняк профессора задрожал и накренился на несколько линий, незаметно даже для зоркого мышиноного глаза. Непросохшая капля вчерашнего дождя залилась между камушком и внешней стеной. На крыше дома лопнул ржавый гвоздик, державший лист кровельного железа. Ласточка под окном выпорхнула из гнезда, продержалась в воздухе, осмотрела глиняные скрепы своего сооружения и, успокоившись, вернулась к оставленным яичкам. Ее дом был нов и крепок.

Профессору понадобилась справка; долго перелистывал толстый немецкий том, потом вспомнил, что в прежних своих работах уже приводил эти цифры. Выдвинул из регистратора коробку, вынул рукопись давнишней ра-

боты, стал искать, удивился прежнему выводу: новые данные меняют его. Рукопись была того же формата, как и новая, недавно начатая; и те же линейки бумаги. Но старая бумага пожелтела. И почерк профессора, прежде крупный и уверенный, помельчал, стал неровным, скосился направо. Профессор этого не заметил. Со стены глянула на него молодая жена в платье с буфами на плечах, тонкая в талии, улыбнулась, — но и ее он не заметил.

Рядом в комнате старушка вынула из стакана и насухо вытерла челюсть. Вставила, пожевала, приладила и посмотрела в зеркало: впадины щек растянулись, изгладись. Вздохнула и поправила чепчик.

Танюши дома не было. Танюша сидела в большой полупустой аудитории и внимательно слушала лекцию. Профессор с осторожностью, боясь быть слишком крайним, подкапывался под теорию прогресса. Его критический ум требовал круговорота истории. Уходя в глубь веков, он рисовал красивую картину исчезнувшей культуры Востока. И перед удивленной Танюшей, пережившей свою шестнадцатую весну, народы Средиземноморского побережья, культуре которых ее учили изумляться в гимназии, — лишь изживали или реставрировали обломки культуры древнейшей, созданной народами, ранее их пришедшими в мир.

Из глубины веков вставала величественная религиозная система, охватившая своей дисциплиной все стороны жизни, проникавшая и интересы духа, и мелочи быта, заполнявшая всю жизнь человека.

Под наслоениями греческой науки и философии, внезапно лишенными оригинальности, проглядывал Вавилон, сияла высокая мысль египтян, иранцев, индусов. Непрерывность исторического развития пресекалась гибелью культур и завершенностью процессов.

В старом профессоре это рождало пессимизм и горечь мысли; в юных душах рождалось иное: восторг перед прошлым, уважение к отдаленному предку, не просто человекоподобному, а мыслителю, поэту, великому политику.

Из развалин древности пробивался новый источник жизни, мысль стремилась к новому возрождению.

Но и старому и юным одно было ясно: крушение ценностей, хотевших быть абсолютными, шаткость здания сегодняшнего быта, близость грозы, сгустившейся над новым Вавилоном.

Танюша слушала профессора, внимательно наблюда-
ла, как с носа его постоянно спадало золотое пенсне, гля-
дела в прошлое, чувствовала будущее и росла. На нежном
мозге быстрыми штрихами зачеркивались записи детской
думы и простых верований, каракульки ребяческих днев-
ников исчезали под скорописью новых слов, и капал де-
готь мысли в мед сердца.

Танюша слушала, и рот ее был полуоткрыт.

СОЛДАТЫ

С барским особнячком на Сивцевом Вражке очень
малым был связан брат Дуняши, Андриюша, рядовой Кол-
чагин, пехотинец.

Этот жил до призыва в деревне, а война застала его
на двадцать третьем году жизни. Не оглянувшись, как ока-
зался в окопах, а скоро снялись и начали отступление.

Впрочем, шли ли вперед, шли ли назад,— рядовой Кол-
чагин не знал. Неприятеля близко не видал, а только
ухом слышал. Из-за чего война — понять не мог, а что
приказывали — делал аккуратно. Был вынослив, пищей
доволен. Как неженатый и без своего хозяйства, по де-
ревне скучал меньше других. Утомившись — спал; мог
и выпить, когда было на что или когда угощали. Офице-
ров, которые не дрались, уважал; которые дрались — еще
больше, считая именно их настоящими.

Таких же, как он, были еще тысячи и еще миллио-
ны — постарше, помоложе, поглупее, подогадливее. В мас-
се они были великой военной силой, по отдельности —
Иванами, Васильями, Миколаями из деревни Вытяжки
близ села Крутояр. Верст за тысячу и за две от их де-
ревни были местечки с каменными стройками и богатыми
запасами навоза: Блаукирхе, Иоганнисвальд. Солдаты из
этих местечек носили медные каски, были грамотнее, по-
нимали больше и лучше маршировали. Но, грозное вой-
ско — вместе, по отдельности они были Гансами, Виль-
гельмами, мелкими хозяйчиками, батраками, рабочими.
Еще дальше к западу жили и ушли на фронт Жаны и
Базили из местечек Масси и Бьевр; южнее — из живо-
писного прибрежного Пьеве ди Каstellо и горного Рок-
ка ди Сант Антонио, где женщины провожали молодых
Джованни, Джузеппе и Базилио. Новобранцы, особенно
при женщинах, держали себя браво и героически; в ду-

ше же их была безмыслица, прикрытая робким недоумением. Но было придумано много простых, легко произносимых слов и довольно красивых оборотов речи, одинаковых на всех языках, для замены и облегчения мысли. Придумываньем таких слов были заняты адвокаты с малой практикой, старавшиеся через журнализм попасть в парламент. В том, что все это хорошо, честно и даже умно, были искренне уверены многие хорошие, честные и умные люди, и это придавало настоящий вес войне и патриотизму.

Под зданиями дипломатических кладбищ были проложены канализационные трубы, по которым гадкая жидкость текла в центральную клоаку, а оттуда на поля орошения, где росла прекрасная цветная капуста. Таким образом, путем тщательной очистки чиновная ложь и мерзость на последнем этапе превращалась в красоту храбрости и чистую слезу. Люди же ограниченные говорили о простом обмане, что было несправедливо: обман был очень сложен и величественен. Поэтому люди с узкими лбами стали пораженцами, мудрые же отошли от жизни, одни — на долгие годы, другие — навсегда.

Между теми, и другими, и еще третьими, и четвертыми, и всеми остальными разница была так мала, так незаметна, что судьба решила, не копаясь в мелочах и из опасения возможной ошибки, всем им уготовать одну и ту же участь. Она взмахнула бичом и на всех телах оставила красный, неподживающий рубец.

Да. Но дело в том, что было нечто гораздо важнее таких рассуждений, а именно вопрос о рубашке и штанах. С казенными как-то сразу вышла заминка, а походных бань и совсем не было. Иметь же свою, домашней работы рубаху — это совсем особенная вещь, этого в двух словах не расскажешь, но разумному и так понятно. Если баня была светлой Пасхой, то рубашка — воскресным днем, вроде воздуха после душевной барачной землянки. Поэтому Андрей написал Дуняше письмо, которое прошло нужную цензуру, дошло до кухни на Сивцевом Вражке и попало в столовую профессора.

Читала письмо Танюша, обсуждали все, а Дуняша старалась прикинуть, сколько обойдется послать братану рубашку, если сошьет ее она сама.

После обеда в кухню пришла Танюша и дала Дуняше денег, гораздо больше, чем было нужно, сразу на две рубашки и на штаны. Танюша стеснялась, а Дуняша

была бы рада, если бы только могла понять, почему господа дали ей денег на нужду брата? Жила давно, считала их добрыми, дарили часто, очевидно ценя ее службу. А почему дают на рубашку Андрюше, не так понятно. И Дуняша взяла как подарок себе.

Теперь стало проще. Дуняша купила добротной материи, шила вечерами, сшила и послала. Танюша узнала ей, как переслать Андрею на фронт, сама все написала. Написали и письмо. И было Дуняше так странно, что вот из этой кухни пойдет и письмо и рубашка прямо на фронт, где Андрюша стреляет в немцев.

Так и случилось. Прошло с месяц, и опять почтальон принес солдатскую весточку: Андрей рубашки получил, как раз впору; с неприятелем же мы скоро справимся. Ганс писал то же своей жене в местечко Блаукирхе. Но лучше всех написал письмо красавчик Джованни из Пьеве ди Каstellо — своей невесте. Он посылал ей *mille basi*¹ и в самом конце приписал: «*L'amour è invincibile, come la forza italiana*»².

Впрочем, его отряд стоял пока в окрестностях Вероны. Но не в том дело. Открытка была красива, а в левом углу — Савойский герб. Розина показала подруге, и обе были в восторге.

Ложась спать, Розина письмо положила под подушку. И заснула она только после долгих вздохов. В своей деревне она считалась самой красивой девушкой.

У ТАНЮШИ

В день рождения Танюши (семнадцать лет) Сивцев Вражек до утра слушал музыку, но не Эдуарда Львовича, а приглашенного тапера. В доме профессора, таком штатском, таком солидном, впервые появилась военная молодежь, и сразу много, — офицеры, больше юнкера, и только один Белоушин — вольноопределяющийся. Дуняшин брат Андрей был в отпуску, на побывке после легкой раны, и помогал ей прислуживать. Он говорил Дуняше:

— Здесь што! У нас на фронте, в штабе, не так еще отплясывают. И музыка — всем музыкам музыка, потому што полковой оркестр. А здесь што!

¹ Тысячу поцелуев (*итал.*).

² «Любовь, как итальянская мощь, непобедима» (*итал.*).

Перед офицерами Андрей стоял навытяжку, к юнкерам становился боком, вольноопределяющегося совсем не замечал, когда подавал чай.

Самым блестящим офицером был Стольников, совсем молодой офицер, но уже поручик, произведенный на фронте. Здоровый, стройный, загорелый, умница, неплохой танцор. Лучше его танцевал только Эрберг, еще юнкер, но уже перед выпуском. Если сердце Леночки колебалось, то только Стольников мог отвлекать его внимание от кумира давнего. Стольников был прямее и проще, но Эрберг привлекал серьезностью и загадочностью. Леночке на вечере в Сивцевом Вражке было весело, и ее брови меньше обычного удивлялись.

Стольников на днях возвращался на фронт — с охотой. В Москве он был по делам, командированный по закупке лошадей. К фронту он уже привык, здесь чувствовал себя гостем. Он был артиллерист, нанюхался пороху, имел, что рассказать, сжился с батареей. Ему казалось, что жизнь сейчас там, а не здесь. Но и здесь хорошо, когда весело, когда не говорят пустяков о войне, которой не понимают.

Эрберга скоро могли отправить на фронт. Теперь уже всем ясно, что война затянется.

Были студенты: медик Муханов, юристы Мертваго и Трынкин, естественник Вася Болтановский. Этот — большой приятель Танюши, энтузиаст, верующий, театрал, любитель музыки. По мнению Васи, с которым Танюше было легко и свободно говорить, мир немножко сошел с ума, но это не беда, а очень интересно.

— Мы увидим такие вещи, такие события, что сейчас и не придумаешь. Очень интересно сейчас жить, Танюша!

Вася Болтановский был любимцем старого орнитолога, который знал отца Васи таким же пылким и жизнерадостным студентом. Васю единственного профессора, со всеми изысканно, по-старинному вежливый, назвал на «ты», любя брал за вихор и отечески ласкал.

— Жить, милый мой, всегда интересно, и никаких для этого особенных событий не требуется, а уж вернее — наоборот. Такие-то события только мешают внимательно читать книгу природы. Ты вот естественник и должен это лучше других знать. Войну лучше в микроскоп разглядывать, разницы никакой нет. А уж жить лучше в мире.

Вася возражал:

— В микроскопе козявка, а тут человек. И я не о войне одной говорю. Тут, профессор, весь мир вверх тормашками... Не успеет война кончиться — такие начнутся дела... прямо жутко и весело.

— Жутко, да не больно весело. Убьют тебя — матери твоей не больно весело будет. Нельзя, Вася, так говорить! Ты кровь учти, кровь. Цена какая!

Вася задумчиво говорил:

— Да. Это — да. Вот с этим мириться трудно. Если бы не кровь...

Медик Муханов, еще не сдавший курс остеологии, вставлял солидное мнение:

— Без крови, профессор, операции не бывает.

На что получал от профессора, не любившего медицины:

— Ну, положим, бывают операции и без крови; если вы себе челюсть свихнете, вас врачи резать не станут. А главное — живет весь мир существ без медицинских операций, живет не хуже нашего, и гордиться нам нечем. Насильственных вторжений в мировую эволюцию природа вообще не терпит; она мстит за это, и жестоко мстит.

Танюша думала, что дедушка прав лишь постольку, поскольку он — добрый и поскольку убийство человека отвратительно. Но ведь война не совсем простое убийство, и разве существует мирная эволюция природы? И там скачки, и там войны, революция, борьба. Дедушке хочется, чтобы все было просто, мирно и хорошо. Но в действительности бывает совсем не так.

Но тут уже начинался вопрос, на который ответа Танюша не имела.

О войне было мнение и у Дуняшиного брата Андрея. Он излагал его на кухне Дуняше в таких выражениях:

— Человека я наверное убивал, хотя и не своими руками, а, конечно, пулей. А доведется — и штыком пропору. И, однако, я не убиец, а я воин. Воюем же мы, Дунька, для причин государства, а не для себя. Мне на немца вполне наплевать, хоша я его и должен ненавиждать, так как через него страдаю по долгу присяги. Приказывают — и идем без сопротивления для принятия ран и даже смерти. А чтобы хотеть мне войны — я ее хотеть не могу, а совсем даже не желаю, прямо тебе го-

ворю. И, главное дело, — вши! Почему я их кормить должен? А между прочим, кормим. Это надо понимать.

На вопрос же профессора: «Когда вы немцев победите?» — Андрей ответил молодцевато:

— Так точно, обязательно скоро их прикончим во славу отечества. Иначе невозможно.

И покосился на молодого боевого офицера. Тот сказал: «Молодец, пехота!», а Андрей выпалил:

— Рады стараться, ваше благородие!

Все рассмеялись, юнкера позавидовали, а Леночка окончательно решила, что сегодня Стольников интереснее Эрберга.

Андрей, проходя в переднюю, как бы невзначай задел локтем вольноопределяющегося. Дуняше же на кухне заявил:

— Только один и есть наш, заправский; а которые прочие — так, шаркуны, пороху не нюхали.

ТАПЕР

В углу гостиной, на низком кресле, некрасиво подобрала ноги и сильно горбясь, сидел Эдуард Львович, нечаянно забытый всеми и, конечно, самый неинтересный в этот день человек. Он невольно морщился, слушая, как тапер барабанил по клавишам рояля, и душою болел за инструмент.

Он не мог не прийти на вечер Танюши в такой ее торжественный день (семнадцать лет!). Теперь можно было бы и уйти, не ожидая ужина, но Эдуард Львович не решился.

Из своего уголка он видел мелькавшее платье Танюши, иногда ее прекрасную русскую головку с гладко зачесанными волосами. Таня расцветает и должна стать крупной и красивой женщиной. Она очаровательна не одной юностью: она по-настоящему хороша. Она так же хороша, как жалок и некрасив сам Эдуард Львович. Она молода, он — скорее старик. Он талантлив, и это не дает ему ни перед кем преимуществ. Даже Вася Болтановский, курносенький, вихрастый, смешной, имеет шанс перед Эдуардом Львовичем, потому что Вася Болтановский молод и смел. Он обнимает Танюшу за талью и кружит по зале. И Танюша близко дышит на Васю. Тапер барабанит по клавишам, и это мучительно.

Вошли в гостиную студент Мертваго, тонкий, старообразный, бритый, и с ним барышня, фамилии которой Эдуард Львович не знал, так как ее просто называли «невестой Мертваго». Она была лишь годом старше Танюши, но уже казалась молодой дамой: спокойная, изысканно одетая, говорили — богатая. Студент Мертваго кончал университет в будущем году. Значит, через год он наденет фрак и будет говорить: «Господа судьи и господа присяжные заседатели», а по вечерам перелистывать деловые обложки с фамилией патрона. Призыв его не коснется — единственный сын. Ему везет, студенту Мертваго!

Но ему Эдуард Львович не завидует. В сущности, и Васе он завидует только сейчас, когда тот танцует с Танюшей. Эрбергу — гораздо чаще и больше. Эрберга Эдуард Львович немного боится: Эрберг умен и расчетлив. Но как странно, что он будет офицером и пойдет на войну. Может быть, Эрберг просчитался?

Профессор отыскал композитора:

— Хорошо это, когда молодежь веселится! Шли бы и вы танцевать.

Эдуард Львович потер руки:

— Да. То есть нет. Я уже не могу! Но я смотрю с удовольствием.

— Танюша у нас растет!

«У нас» приобщало к семье и Эдуарда Львовича. Понятно: он музыкальный воспитатель Танюши. Эдуард Львович покосился на бороду профессора и увидел широкую и радостную улыбку. И тогда он решил, что сейчас уйдет домой. Но никак не мог найти фразы на эту тему и не знал, своевременно ли об этом говорить. И только еще раз потер руками. В эту минуту тапер неприлично сфальшивил и оборвал танец.

Профессор перевел глаза на будущих супругов Мертваго, подошел к невесте, похлопал по плечу студента, не придумал для них ничего, кроме: «Ну, так как же? Ага, ну-ну» — и грузно направился в столовую, где Аглая Дмитриевна строго осматривала приборы: все ли на месте, верен ли счет, разложила ли Танюша бумажки с фамилиями. С собой Танюша выбрала посадить Васю и Эдуарда Львовича. Старики не ужинали. Однако профессор, подойдя к столику, выпил полрюмки водки и закусил грибком. Это согрело его и развеселило. С некоторой завистью взглянул на накрытый стол, вспомнил

о катаре, сказал жене: «Ну, бабушка, ты захопота-лась», поцеловал ее сморщенную руку и хотел пройти в кабинет. Но на пороге остановился и вернулся. Опять подошел к старушке:

— Смотрел я, бабушка, на Танюшу нашу. Танюша-то, знаешь, ведь растет у нас, а?

Аглая Дмитриевна посмотрела на мужа, считая в памяти, сколько не хватает вилок. Профессор похлопал ее по щеке, и бабушка забыла счет. Профессор опять сказал:

— Семнадцать, а? Не шутка! Танюше-то нашей. Внучке-то!

И тут доброе лицо Аглаи Дмитриевны озарилось улыбкой. Может быть, вспомнила, что и ей было семнадцать; может быть, вспомнила, сколько нужно еще вилок. И смотрели друг на друга, старенькие такие. И вдруг из глаз профессора, прямо на бороду, упала капля. Смущенный, зашпешил, зацепился пуговицей скюртука за старухино кружево, сказал:

— Э-тэ-тэ-тэ, какая штука! А я сейчас грибком, знаешь, закусил.

И оба, совсем маленькие старикашки, вытирали друг другу глаза. У Аглаи Дмитриевны ротик собрался в морщины, а капля с бороды птичьего профессора попала на скюртук; бабушка замочила в ней руку.

В обход залы, тайком через столовую бочком в переднюю выбрался Эдуард Львович. Там долго, волнуясь, искал свое пальто в куче шинелей — рыжеватое пальто на клетчатой подкладке. Потом приоткрыл дверь в кухню и униженно попросил:

— Дуняша, вы бы не отказари запереть за мной двери?..

— А что, барин, ужинать не останетесь?

— Да. Нет, брагодарю вас...

И до самого поворота за угол энергичный тапер преследовал робкого композитора.

ВИДЕНИЯ

Солдат Андрей Колчагин, Дуняшин брат, был ранен на войне — очень легко. Пуля чиркнула по его голове, сорвала кусочек белобрысой щетины и улетела дальше; может быть, зарылась в землю, а может быть,

в чье-нибудь сердце. Они шли тогда в атаку занимать австрийский окоп. Ничего, заняли. Но Андрея Колчагина подобрали санитары, так как он упал, не то от потери крови, не то от контузии.

Рана зажила скоро, а в лазарете Андрей лежал больше из-за головной боли: не давала она ему покоя. Иной раз выл, иной раз не мог пошевелиться. А как полегчало, получил отпуск. И в Москве, на отдыхе, совсем поправился. Жил нигде, спал у Дуняши на кухне, а она в своей комнате. Питался же с профессорского стола и очень был благодарен. В чем мог, помогал по хозяйству, ходил по поручениям. Отпуск имел месячный.

Одно осталось от болезни — неровный сон, иногда кошмары. Особенно если выпивал лишнее. Вообще же Андрей Колчагин не пьянствовал, так — иногда, в праздник. Да и вина в продаже не было, значит — от случая к случаю.

Проснулся Андрей ночью от своих слов; ясно и браво сказал: «Так точно». И колотилось в левом боку о тонкий тюфяк на полу, как пулемет: не скорей, не тише и так же громко. И сон сразу улетел.

Он уже к этой болезни привык. Лежал между сном и несном, о чем-нибудь думал. В лазарете вот так лежал рядом с вольноопределяющимся, из господ, и чего только тот не наговорил Андрею: голова замечательная, до всего дошел! И насчет жизни, и про войну — что может ее совсем и не нужно, и про разные обманы, — про все говорил смело, потому что у него отрезали ступню и ему все равно было — нечего жалеть. По тому самому Андрей ему и не очень доверял, тем более что из господ, бывший учитель. Но слушать — слушал.

Теперь Андрей, лежа один, ничего из этих разговоров не мог припомнить; только вот одно, что, может, войны никакой и не нужно, а только обман. Голову солдату морочат. И вши на фронте едят до невозможности. Все это, однако, за отечество. А почему бани нет? И так затявкает пулемет, — вот как сейчас на левой стороне, под боком: ту-ту-ту...

Затем думал Андрей о сапогах; и вообще о сапогах, и о новых и франтовских в особенности. Вспоминал разные сапоги, какие видал. За офицерские сапоги (носить в тылу на праздниках) отдал бы он, пожалуй, пол-отпуска. Однако в окопах они совсем ни к чему.

Затем о кухне думал, но немного. Что мыши бегают,

что Дуняша во сне сопит носом, что жареным луком пахнет и что не хочется встать и пойти до ветру. А пулемет под боком выводил свою песню, и на лбу Андрея был пот. Что это за болезнь такая, не проходит?

Отчего-то начал думать про своего ротного,— и уж до чего же его не любят солдаты! Другие офицеры — туда-сюда, всякие бывают, а вот ротный — зверь и совсем не человек. В деле храбрый, ничего против него не скажешь, ничего и не боится, а вот в ученье или так — ну не человек, а как волк! Один глаз раскосый, орет па всякого и дерется. Нет хуже офицера, который дерется зря, от злости.

И вот тут начался у Андрея кошмар. Будто ротный бьет Андрея, и будто Андрей его тоже бьет. А бьет ни по чему, по воздуху, никак попасть не может. И страшно Андрею, и уж никак нельзя остановиться, все равно пропадать, так уж было бы за что. У самого теперь от злости в груди скачет, из гимнастерки выскакивает. Левою рукой Андрей впихнул обратно сердце, держит, а правой в морду ему, в морду, промежду глаз раскосых,— и все мимо. Выходит — пропадать приходится ни за что; это ему всего обиднее: так и не отведешь душу на офицерской морде с усами. А у ротного кривой глаз еще смеется; никогда раньше не смеялся.

Попробовал Андрей проснуться — слава тебе Господи! Ничего нет, и, однако, стоит он перед взводным, а тот его деревянной ложкой по левому боку: раз-два, аз-два, аз-два; ложка-то казенная, насквозь и прошла. Больно не больно, а обидно. И опять растет злость у Андрея, и опять перед ним ротный, и та же скверная история. Схватил его Андрей за горло, под воротником, мнет,— а горло мягкое, как тряпка, ничего не выходит. Ротный вращает глазом, а из горла сипит: «Расстреляю тебя, сукинова сына». Хватъ рукой за ложку и выдернул ее из Андрея вместе с мясом. Ахает Андрей и просыпается — опять весь в поту.

Перелег на другой бок. Сосед, вольноопределяющийся, прижал ноздрю, сморкнул и говорит простым голосом: «Вся война ни к чему, а ротного мы сейчас будем на куски». Взял простыню, будто это ротный, и начал рвать и складывать, рвать и складывать. И подумал Андрей: «Вот то-то, сам ты — барин, тебе всё игрушки». Тут зашвистало, и — чирк его, Андрея по голове. Закричал он нехорошее выражение и проснулся опять, уже теперь совсем проснулся.

Было за окном светло. Большая муха звенела в стекло, а голова у Андрея побаливала. Из крана помочил затылок, так и фельдшер советовал, прогулялся до ветру, — а на будильнике часов шесть — седьмой. Решил Андрей больше не ложиться — все равно скоро подыматься. Натянул штаны, накинул гимнастерку и вышел за ворота, где дворник подбирал на мостовой на скребку и сыпал в ящик. А Андрей смотрел, без особого любопытства, но с сочувствием. Хотя был он кавалер, но в дворницкой работе ничего низкого не видел.

Потом постояли, покурили. Дворник сказал:

— Нынче рано поднялся.

— После лазарета сна нет настоящего.

— Сколько дён осталось?

— Завтра последняя неделя пойдет. И опять вшей кормить.

— А как, охота, неохота?

— Чего ж, и там люди. Вот только кабы знать — может, вся эта и война ни к чему.

Дворник, двадцать лет служивший при доме, подумал и авторитетно заметил:

— Это брат, дело не наше. Нам этого знать нельзя.

А как в Расее неприятель, то, значит, и воевать приходится.

Андрей сказал:

— Кровь-то, чай, наша.

— А что такое наша кровь? Кому тебя нужно? Скребком да и в ящик. На том свете разберут.

Голова Андрея побаливала. Все же пошел принести Дуняше охапку дров для плиты.

День был понедельник — тяжелый день. Туго просыпались на Сивцевом Вражке.

DE PROFUNDIS¹

Сталь, медь, чугун — таково его крепкое, холеное тело. Его ноги скруглены в колеса, в жилах пар и масло, в сердце огонь. Он стоит неподвижно.

Затем он охает всей грудью и кашляет короткими срывами. Дрогнул он — дрогнула, звякнула, ожила вся

¹ De profundis — начало покаянного псалма «Из глубины воззвах», который поется при отпевании по католическому обряду (Псалтырь, 130, 1—2). В более широком смысле — молитва над умирающим, отходная (лат.).

цепь вагонов. Над ним клуб дыма, в его груди копошится его нянька, паразит и ласкатель — чернолицый, промасленный кочегар. Еще пищи огню, которым он дышит! И вот он уже далеко.

Громадный, круглогрудый, мощный,— вдали он превратился в головку гусеницы, ползущей по земле. Он приручен и деловито тянет за собой все, что доверено его силе. Охает, насвистывает, спешит, боится потратить лишнюю минуту, улетающим гулом встречает на пути таких же вечных тружеников, везущих свою долю. Все они — железные рабы человека.

В теплушке, перегруженной живыми телами, он увез на фронт рядового Колчагина. Теперь везет в классном вагоне молодых офицеров; среди них расчетливый, неприятно умный Эрберг, в новенькой форме, серьезный, всегда загадочный для влюбленных Леночек. Эрберг смотрит на стрелки часов и считает стуки поезда.

Две минуты верста — медленно! Окна бегут мимо столбов с пометкой. Большой столб и четыре промежуточных камня с меркой пройденных сажен. Ти-та-та, та-та-та. А что, если Эрберг не вернется? Расчетливый юноша, вы знаете свою судьбу? Пуля знает свой путь, человек идет грудью ей навстречу, не видя ее полета. А что, если Эрберг вчера в последний раз видел Москву, — и башни кремлевские, и Сивцев Вражек? Ти-та-та, та-та-та. Как это странно! А ведь возможно! Эрберг спрятал часы и застегнул френч.

Толчок. Прирученный гигант остановился, хлебнул воды, разжег новый огонь, вздохнул паром. В вагоны и теплушки спешно карабкались солдаты; за плечами ранцы, в ранцах домашние сухари, у кого и нога баранья. И куда спешить! Ведь там убьют! Вот здесь едет в классном вагоне офицер, — а там поле, над полем небо, на поле тело, прорванное осколком; и то тело ехало так же, тем же путем и с надеждами теми же.

Солдат, швырнув в теплушку ранец, карабкался левой коленкой, а правая нога болталась, такой неуклюжий, чистый мужик! Эй, смотри не опоздай, служивый, с побывки! Поторапливайся, доживай деньки! Получай Георгия за храбрость и ведро извести на гнилые раны, чтобы и рот залепило, чтобы и на том свете не жалобился; сверху бугор земли и общая солдатская панихида. А ранец? А куда же денут твой ранец? Гложи скорее баранью ногу, — эх вы, солдаты, головы бараньи! Но вот

ведь и умный человек, расчетливый барин, едет в одну с вами сторону и везет вас один паровоз. Может быть, мир и действительно сошел с ума? И опять тронулся поезд.

Паровоз отвез этих, а назад вернулся с грузом нежным: коверканные тела человечьи. На десять человек — пятнадцать ног; хватит! У кого дырочка в спине, пониже лопатки, — насквозь, под соском вышло. Кашляет — значит жив. А тот слепой — значит тоже жив; зрячих на земле не осталось.

Входят в поезд дамы с красными крестами, несут чай, махорку, цветы. И тому, что с дырочкой в груди, достался букетик полевых колокольчиков — за чин его офицерский, за молодость и отвагу. А вдруг бы он вскочил и из последних сил — стал душить, душить, бить костылем по красному кресту, по здоровым женским грудям, плюская их деревянным молотом: это за букетик-то! Но улыбаются раненые: у сестер на губах умиление и мед. А так мало меду вкусили молодые войны, которых везет обратно поезд!

Сбыл их, сбросил на конечной станции, — и назад, без усталости. Теперь тащит груз немалый: пулеметы — убивают, противогазы — чтоб не убили, снаряды — убивать, медикаменты — чтобы не умереть, бомбометы — убивать, повозки — для раненых... Что еще? Мясорубки где же? Чтобы в одном котле порубить и прожарить сквозь железное сито вместе ивановы мозги и петровы сердца? Где сера и смола, чтобы сделать факелы из людских туш, — жить будет светлее? И еще железная кошка с круглыми когтями: заводить в глазные впадины и рассаживать черепную коробку в осколки и клочья. Вместо них везут бинт — перевязывать малую царапину: бедный солдатик щепал лучину и напорол мизинец; занозу вынули, йодом, ватки, сверху бинтом — получилась куколка. А если он возропщет? И вы думали, что солдаты останутся на фронте, когда повеет в воздухе свежим? Да! Мир сошел с ума! От ума приключилось ему злое горе. Но не всякий обязан быть умным: захотелось в царя дураку.

Довез и эту кладь. Везет назад вагон почтовый — от Миколая Дарье с поклоном и всем соседям: «А я ничего, здоров». Письмо бежит на колесах, а тот, что писал письмо, кричит вдогонку из-под земли: «Стой, подожди, я помер». К Дарье от Миколая новый приказ: долго жить. А сам Миколай жил недолго, очень недолго, — зарыл в землю по двадцатому году.

Есть и от Эрберга два письма, одно — матери, другое — на Сивцев Вражек. «В деле еще не был, но вообще обо мне не тревожься. Все это не так страшно, как кажется».

И Танюше: «Мой привет Вашему дому. Часто вспоминаю Ваши музыкальные воскресенья. Все это кажется таким далеким... И полон надежды еще не раз услышать, как...»

Полон надежды? О Эрберг! О расчетливый Эрберг, вы слышите гудящий свист, — вам еще это не знакомо? О Эрберг, отклонитесь в сторону, бегите, Эрберг! Бросьтесь на землю, закопайтесь в нее головой, глубже, глубже. Чего вы стыдитесь: солдаты так делают. Ваша поза может стоять жизни, а ведь вы расчетливы. Недолет? Да, но вот опять гудящий свист! О Эрберг!

В тот день на Сивцевом Вражке Эдуард Львович играл «De profundis».

ОТЛЕТ ЛАСТОЧКИ

Невысоко в небе тучкой летели ласточки из России в Центральную Африку — только на зиму, чтобы там переждать холод и опять вернуться.

Родиной их была Россия, она же и страной любимой. На ее полях, под окнами было лучшее: пища, приют, любовь; на чужой стороне только отдых. Но на родине слишком мало солнца было зимой, сердце ласточки могло обратиться в кусочек льда; и слишком губительно жгло солнце летом в Центральной Африке — как бы не сгореть от его ласки. Были и другие причины перелета белогрудых птичек, но человеку о них знать не дано, даже тому старому профессору, над окном которого осталось прочное гнездышко из московской глины.

И по пути видели ласточки со своих высот:

по зеленому фону — нити рек и прохладные пятна озер; как кучки мусора — города и городочки, и вокруг них реже лес, скуднее зелень полей, точно дыма и грязи их чуждается природа, уходит подальше.

Еще видели — низко пролетая — спокойного пахаря за спокойной лошадей и за ним след поднятой земли.

Еще видели быстрый бег поезда по двум нитям железа и ход автомобиля по серой укатанной дороге, — но лет ласточек был быстрее.

Еще видели, как огромным червяком ползли отряды солдат с двух сторон к одной границе, где была взрыта земля и где червяки таяли и исчезали.

Случилось, что в небе появилась птица небывалой величины и грозно и нудно гудевшая, а вокруг нее мячиками скакали белые и желтый клубочки. В один из таких желтых клубочков, отставших в небе от чудной птицы, влетели несколько ласточек и тотчас, сжавши крылья, комочком упали к земле. И ближние к ним отуманили головки ядом, который человек послал в небо.

Но все это только мелькнуло при быстром лете; с высоты же земля была прежней, и мало на ней заметен человек. Только зелень и серь полей исчертил он прямыми чертами, разметил малыми квадратами.

Летели ласточки над морем и сверху видели море до самого дна. Как малый листок на пруду, ветром гонимый,—плыли по морю корабли, один за другим, и малость их на огромном море говорила не о могуществе, а о ничтожестве человека. На один корабль опустились в пути усталые птички. Было темно, глаза их не видели.

Когда утром ласточки поднялись, чтобы лететь дальше, в глубинах морских появилась странная, неуклюжая рыба, подплыла к кораблю, поднялась на поверхность, выплюнула и погрузилась обратно. Тогда содрогнулся воздух с такой силой, что едва не перебил крылышек пернатым путникам. А затем корабль накренился и тихо пошел ко дну. Все ласточки видели, но не поняли, да и не задумывались, зачем рыба потопила полный людей корабль, мирно шедший по морю.

Затем летели ласточки над песками, зная, что цель их близка, и считая свои потери.

А потери их были страшны. Проводник завел их в пути отдохнуть на берегу Сицилии. И вот с ночи вышли на берег люди с корзинами, сетями и палками и стали избивать малых птичек. Много тогда погибло. Мягкие, вялые птичьи трупки уносили с берега корзинами; многих потоптали и оставили чернеть на песке, когда уцелевшие птички улетели на рассвете. К страшному делу людей отнеслись ласточки, как отнеслись бы к урагану или подкрававшемуся невзначай убийце-морозу: кто спасся, тот благословлял жизнь и воспевал солнце.

И на пути ласточек блеснул первый оазис, встреченный их веселым «чиррр»...

УХОД ЧЕЛОВЕКА

Когда ласточки улетели с берега Сицилии, оставив много мертвых растоптанных соплеменниц, — одна из несчастных, с подбитым крылом, не могла следовать за стаей. Здоровым крылом она била воздух, подбрасывая от земли усталое тело и вытягивая шею в сторону полета подруг. Ее «чиррр» было неслышным шепотом, ее страданье к сумме мирских страданий не прибавило ничего.

Когда солнце поднялось выше, ласточка затянула глаза синеватым пологом и стала часто глотать горячий воздух. Когда снова склонилось солнце — ласточка умерла. Это была — та самая, что под окном дома на Сивцевом Вражке три весны подряд устилала новым пухом старое гнездо. Та, что видела человеческую девушку Танюшу с кувшином в руках над голыми плечами, что слаще щебетала для старого профессора, чем кукует его кукушка. Это была та ласточка, что склонула под самой крышей точившего балку червяка.

И лежал в лощине, поодаль от искрошенного снарядами леса, в ста верстах от своей границы, но на чужой земле — как будто не вся земля наша! — тяжело раненый человек в форме прапорщика. Осколок шрапнели пробил ему грудь, засорив рану клочком бумаги, где красное залило синий штемпельный оттиск и ненужное больше слово «Эрберг».

Он был еще жив, неприятно умный в жизни и расчетливый человек. Но уже не был больше расчетлив и был близок к мудрости. Одним неконтуженным глазом смотрел в мутное от слезы, воспаленное небо, пальцами целой руки скреб в корнях трав. Ухо его ловило стон, слышимый близко, знакомый, свой; а потом стон переходил в хрип, в груди булькало, и чужое тело охватывал уже не первый холод. Было ли живо сознание — знал только тот, чье имя застряло в слипшейся ране.

Мышь, высунув из норы голову, повела усами и скрылась, учуя недоброе. Недоброе могло быть хищной птицей, могло быть голодным волком. Сегодня и птицы и волки будут сыты.

Жук с золоченой спиной, точно и он в офицерском чине, вяло и без дела прополз мимо. Он искал, куда

спрятаться на зиму, думая, что выживет; но его часы были сочтены.

Солнце взошло, поднялось, посмотрело хмуро и плавной малой дугой ушло под землю, оставив красный след.

У Эрберга была в Москве мать, старая и робкая женщина. Она не знала, что матерью ей осталось быть не больше часа.

Все это было просто, одинаково нужно и не нужно. В учете утрат мира — нуль, в учете жизни одного — всё. Но всё — пока последнее дыхание еще колеблет воздух над сухими синими губами.

И вдруг из точки, где спряталось живое сознание, борясь за себя и не желая гасить свой светильник, — вспорхнула мысль и ласточкой унеслась к небу. Центр мира перестал быть центром; мир потерял опору, закружился и унесся за мыслью. В то же время с легким треском электрической искры в одной бывшей жизни мгновенно порвались все нити мечтаний, сомнений, привязанностей, и все стало ясно, и все стало просто, и мягко зашелестели бристолевские листочки распавшегося карточного домика.

Проще и лучше, чем стало теперь, не мог бы придумать мудрейший человеческий ум. Оставалось только убрать, скрыть землей, общим покровом, оболочку житейской гордыни, тело без имени, рану без боли, бурый кусочек бумаги без реального значения.

Тогда зажглась в небе звезда, оглянула поверхность земли, нашла лежащее тело Эрберга и отразилась в его открытом мертвом глазу, — отразилась бледно и нехотя, как бы по долгу службы и уважения к ушедшему из жизни. Скоро звезду — до завтра — закрыло облако.

САМЫЙ НЕРАЗУМНЫЙ ЗВЕРЕК

Возможно, что военные историки уже установили или могут установить, по чьей команде и чьим легким движением пальцев взвился и разорвался в небе первый снаряд мировой войны.

Возможно, что первый выстрел был слабым ружейным; быть может, это был залп — и нельзя решить, как звали первого братоубийцу.

И точно ли выкупалась в свежей крови первая пуля и раздробил кость осколок первого снаряда или они, про-

летев положенное, смущенно зарылись в землю? Какое бесценное поле для изысканий! Сколько дал бы за этот малый свинец и чугун американский коллекционер!

Как имя первой осиротевшей матери? Поставлен ли ей памятник с фонтаном — фонтаном слез? В чьем альбоме красуется марка первого письма, написанного солдатом с фронта? И первый стон раненого записан ли граммофоном? Веревкой ли задушено или камнем придавлено первое открытое, вслух брошенное проклятие?

Отныне, впредь на много лет, ничья ищущая мысль, ничье живописующее перо не запашет и не взрастит поля без красных маков войны.

Отошло в далекое прошлое время василька и полевой астры. Земля дышит злостью и сочит кровь.

Там, где не растет красный мак, — там спорынья на колосе и красный гриб под шепчущей осинкой. Багряны закаты на море, пылающими струйками стекает кровь по столбам северного сияния. И воспоминанье не черной мухой, а насосавшимся клопом липнет к нечистой совести.

А между тем — все это не так, природа не изменилась. В тот день, когда началась европейская война, ни одна травинка в поле, ни один белый цветик, росший зачем — неведомо, не взволновался величиной минуты, ни один горный ручей не ускорил светлого бега, ни одно облачко не пролило лишней слезы.

Аисты, не найдя старых гнезд в разрушенных домах, несут детей в соседние села. Яблоко, зарумянив одну щечку, подставляет солнцу другую. Слеп крот, юрка мышь, еж колюч. Неведомо нам почему — пчела точно знает ближний путь по воздуху и жук гудит басовой струной.

«Что со мной?» — говорит, набухая, горошина. «Ух, как трудно!» — поднимает глыбу земли горбатый, сочный росток. «Шутка сказать — мы!» — заявляет белый гриб, дождем умываясь. «И мы!» — ему вторит бледная поганка. А купол неба раз навсегда истыкан золотой булавкой.

Лопнула куколка бабочки, и выполз мотылек с прищипанными крыльями.

На одной и той же улице умер человек, не отложив дня смерти до развязки событий, и родился младенец, не испугавшись будущего. И в семьях их эти случаи были событием большим, чем великая война.

И вот что еще случилось. Огромным гусиным пером

на огромном свитке, беглым полууставом, старуха писала историю. Когда раздался первый залп, перо дрогнуло и уронило кровавую каплю. Из капли побежал дальше вьющийся чернильный червячок, как малая змейка, а седая косма старухи, упавшая на пергамент, размазала каплю на целый локоть свитка.

Когда старуха заметила, что поймала прядь волос, обсосала сухим языком и закинула за ухо. А чернильный червячок бежал дальше, кривляясь, теряя кусочки на запястье, забираясь под строку, раскидываясь скобкой над полууставом. И лгал, белил грех, чернил подвиг, смеялся над святым, разводил желчь слов слезами крокодила. А дьявол за спиной старухи ловил перо за верхний кончик, щекотал старухину жилистую шею, шептал ей в ухо молодые соблазны, потешаясь над ней, как малый ребенок.

Шамкая ртом беззубым, отмахиваясь от дьявола свободной рукой, старуха писала и думала, что пишет правдивую историю. Может быть, так и было. Под утро запел петух, дьявол сгинул, а старуха заснула над красно-грязным свитком пергамента.

Был у старухиной кошки малый серый котенок — плод любви на соседней крыше. Когда старуха заснула, он прыгнул ей на колени, оттуда на стол. На груди пожелтевших от времени бумаг еще догорал светильник. Котенок услышал старухин храп, удивился, нагнул набок мордочку и лапкой тронул старуху за усатую губу.

Как раз в тот момент старуха видела во сне ровную дорогу. На середине пути дорога была перетянута колючей проволокой. Старуха не заметила и на всем ходу напоролась на колючку верхней губой. Тогда она взмахнула во сне руками, котенок шарахнулся в сторону и опрокинул светильник.

Вылилось масло, вспыхнул пергамент; но сгорел он не весь. Люди мудрые, люди ученые, каждый по-своему, все по-разному, подберут позже слово к слову, уголек к уголку. Пропал только верхний кусок свитка, на котором крупными буквами вывела старуха: «Кто виноват». И это на века и века будет предметом спора.

Котенок же от испуга проголодался, побежал к блюдецке и стал лакать молоко, вымочив всю мордочку. Затем, облизываясь, сел посреди комнаты и стал думать о том, что скучно бывает и в молодые годы.

Это был самый неразумный зверек подлунного мира.

СЛУЧАЙ С ЧАСАМИ

В старых и любимых часах профессора — часах с кукушкой — давно уже развинтился винток, на котором держался рычажок, сдерживающий заводную пружину.

В два часа ночи, как всегда, орнитолог перетянул обе гири — темно-медные еловые шишки — и пошел спать. Винток покосился и ждал.

К трем часам зубчатое колесо едва заметным поворотом накренило винток, и он выпал. Пружина сразу почувствовала неожиданную свободу и стала раскручиваться; от колеса — ни малейшего сопротивления. Стрелки тронулись и быстро забегали по циферблату, а кукушка, не успев раскрыть рта, в испуге замолкла.

Пока все в доме спали, время бешено летело. Вихрем порошились со стен дома чешуйки штукатурки, лопались скрепы крыши, червячки, мгновенно окукливаясь, делаясь жучками, умирая, размножаясь, точили балку. Постаревшая кошка во сне проглотила сотню мышей, проделавших в полу десятки новых ходов. Ласточка, уже не та, уже другая, не вынув из-под крыла головки успела дважды побывать в Центральной Африке.

Уже у самой постели бабушки Аглаи Дмитриевны стояла тень в старом саване, косясь на приоткрытую дверь орнитолога, — и румянцем молодой крови оделась грудь спящей Танюши.

На всех фронтах ураганным огнем сметались окопы и жизни. Мяч удачи, храбрости и стратегии летал от врага к врагу. Слезы, не просыхая, образовали ручеек, к которому спускались солдаты с манерками. Валами росли братские могилы, и мертвец бесстрастно дремал на груди мертвеца, которого вчера, не целя, не зная, убил поворотом ручки пулемета.

Когда от залпов вздрагивала земля, — кости Ганса плотнее прижимались к костям Ивана, и череп с улыбкой спрашивал:

— Мы в безопасности, враг Иван? Наш блиндаж — самый верный.

А Иван отвечал, стуча зубами:

— Двум смертям не бывать, враг Ганс!

И оба, в холоде уютной могилы, смеялись над теми, кого поблизости в окопах лениво ест серая жирная вошь.

Просто и немятежно было тем, кто уже использовал привилегию не жить. Остальные с растущим ужасом смот-

рели, как душными газами оседает на землю багровый туман будущего, и спешно, боясь опоздать, толкаясь жесткими локтями, бросались на пищу, искали любви, прижимались и рождали потомков, для которых игралась эта великая человеческая комедия.

Исчерпав энергию пружины, часы с кукушкой остановились. Но было уже поздно: ни один человек не может вернуть прошлого. Завтра старый профессор встанет еще постаревшим, не зная, чем объяснить такую слабость: припадком катара? Аглая Дмитриевна в положенный час не оставит постели, а мужу скажет:

— Я полежу нынче. Что-то неможется мне, милый мой. Пошли-ка ко мне Танюшу.

И она уже больше не встанет и не будет сидеть в столовой за самоваром. Когда в воскресенье придет Эдуард Львович,— приоткроют дверь в спальню Аглаи Дмитриевны, чтобы и она могла послушать музыку.

Два года, пробежавшие так быстро, потерянные бабушкой,— приобретены внучкой. И, занеся кувшин над голым плечом, Танюша заметит его здоровую округлость и кинет беглый стыдливый взгляд на окно: не видят ли ласточки? Вытираясь новым мохнатым полотенцем, она потянется, напряжется и вздрогнет от нового для нее ощущения силы и желания. И бесстрастное зеркало, изучившее каждую черточку девочки-девушки Танюши, отметит в записях своей зеркальной памяти:

— Числа такого-то родилась женщина.

Под утро дворник Николай, с побелевшими висками, вышел на улицу с метлой и скребком. Перекрестился, посмотрел на небо, деловито перевел взгляд на мостовую, зевнул и начисто усердно подмел вдоль всей стены пыль и чешуйки осыпавшейся штукатурки.

В доме все еще спали; работали только он и ласточка. Но уже дребезжала телега зеленщика, ехавшего на Арбатскую площадь.

ДЯДЯ БОРЯ

За годы мирной жизни каждый нашел свою клетушку, прочно врос в ее стены и выставил на ней свой номер, по которому его и можно было найти. Каждый талант вывешался и вымерялся. От массы отделилась кучка избранных,— и был кучке избранных особый почет.

Поэта отметил перст музы, ученого — признание неучей, артиста — шепот толпы. Головой выше плотника — архитектор, маляр перед художником — пигмей. На одном дереве росли два яблока, но солнце зарумянило одно, червь точил другое. Приказал Господь приказчикам разложить по прилавку жизни человеческий товар — лицом показать: сверху лучшее, под низ поплоче. Ина бо слава солнцу, ина тусклой оплывшей свече.

Но жизнь взбаламучена войной — и все изменилось. Кому нужен космос Эдуарда Львовича? Кому — старый ум птицеведа? Пошатнулось мироздание, птицы разогнаны грохотом орудий. Отврати напряжением глубокой философской мысли полет пули! Рассей чистой поэзией удушье газов! Чугун и медь жаждут безымянного мяса, — не время взвешивать мозг. Слава тому, кто нужен сегодня, только на сегодня, новому богу — единому богу войны. И вот тут-то большим человеком стал дядя Боря, сын профессора орнитологии.

Дядя Боря, не отличавший Шопена от Скрябина, дядя Боря, терпимое ничто, рядовой инженер-механик, не хватавший звезд. Ага! Теперь он понадобился, дядя Боря!

Он вставал с первым светом и был на фабрике ко второму свистку. Там, где раньше штамповали пуговицы, — теперь он делал полевые телефоны. Вместо плужных ножей теперь он варил иную сталь. На Каме повыше Перми он строил подъездной путь до завода суперфосфатов — не ко благу земледелия, оно подождет: в жертву удушливому богу войны. Вместо швейных шпυлек он сверлил пулеметный ствол.

Дядя Боря был многолик, был везде, по всей России, во всех странах, всюду — первый, нужнейший человек. Нужнее его был только тугоголовый, с волосатой грудью, с бычачьей шеей высокий генерал прусских войск да два-три опытных, давно приспособленных шпиона. Впрочем, еще врач, смелый молодой хирург, корнавший до колена ногу с оторванной ступней. Но это лишь для совести нашей — нельзя же жить совсем без совести. Дядя Боря, как и генерал, нужен был для главного: для убийства.

Дядя Боря никого никогда не убил. Собственно говоря, подлинный дядя Боря, Борис Иванович, сын профессора, скромно делал свое дело — руководил работой большого завода, являясь утром, уходя к ночи, загляды-

вая на завод и в праздник. Но он стал теперь выше тех, кто слушал импровизацию Эдуарда Львовича при полупотушенном свете. Стал надолго выше их всех, взятых вместе, теперь ведь уже неважно, подлинно ли прямая линия — ближайшее расстояние!

Внезапно выросли люди, которых недавно никто не знал и не хотел признавать. Не те — пушечное мясо (их и сейчас признавали лишь в цифрах), а рангом выше, хотя тоже простые, недалекие, невзрачные, но деятели. Была сейчас их пора; все догадались, что только они и суть настоящие люди.

Дядя Боря, уже почтенного возраста человек, носил теперь френч и стал моложе. Дядя Боря обрил бороду, но оставил полуседые усы. Танюша говорила:

— Дядя Боря, вы стали таким интересным, что я опасаясь за сердце Леночки.

Жена дяди Бори хмурилась, но он был доволен. Он был даже весел. В общем разговоре он не уклонялся, не отходил на второй план. Он выжидал и вставлял слово: и все видели, что дядя Боря не просто имеет мнение, а знает. Раньше просто не догадывались, о чем говорить с дядей Борей — не о паровых же котлах. И придумывали что-нибудь вроде паровых котлов, но доступное и всем остальным и всем одинаково неинтересное.

Дядя Боря стал нужен многим и по очень многим делам. Это именно он устроил юриста Мертваго, который только что женился, в Земгор. Мертваго называли теперь земгусаром, но все-таки форма его напоминала военную. Дядю Борю видали в обществе крупных коммерческих тузов; быть может, те старались обойти кругом и использовать видного инженера; могло дело идти о поставках или в этом роде. Но ни в ком никогда не могло возникнуть сомнений в честности дяди Бори, именно этого дяди Бори, сына орнитолога, дяди Танюши. Другие дяди Бори, делая дело общее, делали дело и свое. Было время такое, когда интерес личный часто совпадал с интересом государственным и общественным. В мирное время это бывает реже, хотя тоже бывает.

Когда по воскресеньям Эдуард Львович играл, дядя Боря, во френче, без бороды садился теперь близ лампы Аглаи Дмитриевны и сидел освещенный, слушая с удовольствием Скрыбина, которого он принимал за Шопена.

Однажды, когда Эдуард Львович кончил одну из своих импровизаций (ту, где жизнь звуков гаснет сама и

слышно, как она угасает), дядя Боря первым громко сказал:

— Чудесно! Вы сегодня в ударе, Эдуард Львович. Очень приятно слушать. А все же надо идти: фабрика меня ждет. У нас сейчас и воскресенья, и ночные работы. Гоним на всех парах!

Попрощался и вышел. И больше никто ничего не сказал Эдуарду Львовичу. И больше Эдуард Львович в тот вечер не играл. Так, говорили о разном и разошлись рано.

Ложась спать, Танюша думала об Эдуарде Львовиче. И в первый раз ей пришло в голову:

— Любил ли кого-нибудь Эдуард Львович? Ведь он не был женат.

И еще подумала:

— Какой он несчастный!

У Танюши была поверх большой еще маленькая подушечка, думка, с кружевной оторочкой. Танюша положила на нее голову, немного вбок, так, что ухо вмялось в легкий пух. И заснула.

ЦАРАПИНА

Друг детства Танюши, любимец орнитолога, Вася Болтановский окончил университет. Сдав последний экзамен, он забежал домой, умылся и посмотрел на себя в зеркало.

За время экзаменов похудел, зато глаза веселые. Как был, так и остался вихрастым. Усы ничего, бородка дрянь, совершенная дрянь. Пиджак тоже дрянь — единственный штатский наряд Васи. А экзамены — черт побери — все-таки кончены; с ними и студенчество кончилось. Это — здорово! Вася попробовал покрутил ус, но в зеркале получилась полная чепуха. Он немножко смутился.

Делать аб-со-лю-тно нечего. Как-то сразу стало нечего делать. Вася оставлен при университете, значит, впереди работы много. А пока — решительно нечего делать, нелепость какая! Не заказать ли визитные карточки? Или сбрить бороду?

Вася закрыл рукой бородку до губ; получилось ничего себе. После экзаменов осталось ощущение нечистоты какой-то, чернильно-книжной пыли. Маникюр сделать? Ну, это уж ерунда, а вот бороду...

Парикмахер, намылив Васе физиономию, рассудительно заметил:

— Действительно, по качеству лица — ни к чему бородка. Подбородок же у вас явственно с ямочкой, и скрывать не приходится; в известном смысле украшенье. Головку повыше-с, еще немножечко! С фронта как будто о победах слышно...

Обедал Вася в столовой Троицкой, в конце Тверского бульвара. Всех знал, кто там обедает. И горбатенького господина с кокардой, и армянку из консерватории, и несчастных супругов, начинавших шепотом ссору за вторым блюдом, и приват-доцента с галстухом фантази. И конечно, Анну Акимовну, которая, сидя у окна налево, съедала за обедом десять ломтей хлеба.

Съев борщ, Вася попросил поросенка, но только, если можно, окорочок. Дали окорочок, заливной, к нему хрен в сметане. Выпил Вася и кувшинчик хлебного квасу. Съел и кисель с молоком, — все по-праздничному. Когда обтирал губы салфеткой (своей, на кольце метка), вспомнил, что борода сбрита. Так приятно — гладко! И свежесть за ушами — простири парикмахер.

И по бульварам Вася зашагал к Сивцеву Вражку. Помахивал толстой тростью, смотрел на встречных со смелой радостью. Ибо сегодня Вася — настоящий, окончательно взрослый человек. Встречных студентов жалел любовно: сколько им еще трепаться!

На повороте с бульвара встретила приятная барышня, подарила взглядом. Вася тоже подарил — и заторопился на Сивцев Вражек, чтобы скорее увидеть профессора и... Танюшу. Впрочем, профессора сейчас дома нет, он все еще экзаменует.

Милый особнячок. А и стар же ты! Раньше Вася не замечал, а сегодня, сбрив бородку, сразу заметил. Стоял особнячок профессора прямо, — а как будто и слегка вкось. Ворота явно покосились. И много облупилось штукатурки.

Танюшино окно наверху, оно открыто. И Вася, отступив на середину дороги, запел плохим тенорком:

— Ви ро-за, ви ро-о-о-за...

Танюша выглянула в окно:

— Идите, Вася, я открою. Сдали?

— Сдал все. Свободный гражданин.

— А борода где? Зачем это вы?

Вася подумал: «То есть как зачем?» — и подошел к крыльцу. Дверь открылась, и Вася тотчас догадался, что он с самых юных лет отчаянно и окончательно влюблен в Танюшу, и бесповоротно, что, впрочем, и неудивительно, так как лучше, милее, ближе и красивее ее никогда никого на свете не было и не будет. Если раньше это как-то не приходило ему в голову, то сейчас в этом не остается сомнений. Упасть на колени и вползти за Танюшей вверх по лестнице, или что-нибудь в этом роде выразить как-нибудь. Она такая строгая, белая кофточка, воротничок, а он умирает от любви.

Когда Танюша, протянув руку, сказала: «А знаете, Вася, так вам гораздо, ну гораздо лучше!» — Вася совсем переполнился чувством, сел на ступеньку лестницы и заявил, что дальше он — ни шагу не двинется, что или Танюша погладит его по голове, или он тут же умрет немедленно.

Она не погладила, он не умер, и оба поднялись наверх в Танюшину комнату. Здесь стало полегче. Зеркало посмотрело на Васю без его жалкой бородки и подумало: «Эге, а ведь он действительно влюблен».

— Как бабушка?

— Бабушке сегодня лучше, но вообще плохо.

— Профессора еще нет?

— Дедушка на экзаменах. Вы его непременно дождитесь, он о вас спрашивал. Что вечером делаете?

Хорош вопрос! Васе вообще нечего делать, ни вечером, ни все лето.

— Ничего не делаю.

— Останетесь у нас? Оставайтесь, я сегодня тоже свободна.

Вошла кошка. Вася схватил ее за шиворот, поднял к лицу и кошка оцарапала его свежебритый подбородок. Вася бросил кошку, обтерся платком и сказал:

— Вот проклятая зверуха! Танюша, а я люблю вас, прямо как собака...

И покраснел, не зря подумав, что сказал глупость. Сказать бы просто: «Я вас люблю», а тут зачем-то припел собаку.

Всегда правдивый, он поправился:

— Таня, я собаку припел тут зря. А я просто, без собаки, действительно до чертиков...

Вышло еще нелепее. Но, конечно, если бы хотела понять — поняла бы. Но она сказала спокойно:

— А вы лучше одеколоном... Покажите-ка. Да она вас сильно оцарапала! Ну и сам виноват...

Не сбрей бороду Вася Болтановский — незаметна была бы царапина. Вот нашел время бриться! И больно. Любовь Васи начала утихать.

Сели рядышком на кушетке. Говорили о том, как каждый проведет лето. Пожалуй, из-за бабушкиной болезни придется остаться в городе. Вспоминали об общих знакомых, кто сейчас на войне. Эрберг погиб давно — был первым близким из убитых. Были и еще. И сейчас на фронте много старых друзей. Стольников редко, но все же пишет, — хороший он, Стольников! Леночка — сестра милосердия, но не на фронте, а в Москве; летом на дачу тоже не едет. Леночка много говорит о раненых и влюблена в нескольких докторов. Белый костюм с красным крестом к ней очень идет.

— Знаете, Вася, а я бы не могла. То есть могла бы, конечно, но это... как бы сказать... как-то не для меня... я не знаю.

Танюша сегодня серьезная; тоже устала от экзаменов. Сошли вниз, в столовую. Вернулся профессор, проголодавшийся, обнял Васю, поздравил. Пока дедушка обедал, Танюша, по просьбе больной старухи, лежавшей в спальне, сыграла ее любимое. Бабушка угасала без больших страданий, даже без настоящей большой болезни, но как-то так, что всем был ясен ее скорый конец. Силы жизненные в ней исчерпались, потихоньку уходила. Насколько можно — к этому даже привыкли. За месяцы ее болезни сильно стал горбиться и профессор, но крепился.

Вечером к Танюше зашла подруга, консерваторка. Вася гадал им:

— На сердце трефовая восьмерка, а скоро получите червонное письмо.

Консерваторка была довольна, она ждала письма.

После Танину подругу провожал домой. И, оставшись один, не знал, в кого же он, собственно, влюблен, в Танюшу или в ее приятельницу? Все-таки решил: в Танюшу! Хотя это странно — ведь с детства ее знает, совсем были как брат с сестрой. Но, решив, опять пожалел, что приплел зачем-то собаку: «От смущения!»

Вернулся домой, в Гирши. На столе груды книг и немытая чашка. В остатках жидкого чая — несколько мух и желтый окурочек. Завтра нужно отдать прачке белье.

И вообще нужно куда-нибудь на лето уехать. К родственникам решил забежать завтра; надо все же.

И внезапно,— как днем будто бы любовь к Танюше,— встала перед ним жизнь. Юность кончена — начинается путь новый и трудный. Может быть, и правда — понадобится попутчица жизни? Кто же? Танюша? Друг детских лет? Подумал о ней теперь уже с настоящей нежностью. Подумал и самому себе признался с удивлением, что Танюши он совершенно не знает. Раньше знал — теперь не знает.

Это было открытием. Как это случилось? И еще одно: он все еще мальчик, а Таня — женщина. Вот что проглядел он за книгами!

От смущенья хотел потрепать бородку,— но был гладок подбородок, а на нем царапина.

Не любить Танюши нельзя, ну а любить ее по-особенному, как в романах, ему, Васе Болтановскому, тоже нельзя. Ну как же это может быть; даже как-то нехорошо, неудобно!

Это было очень грустно. Тогда он взял книжку и зачитался, пока не стали слипаться глаза.

Вася Болтановский был обладателем счастливой способности: он спал, как сурок, и просыпался свежим, как раннее утро. Поэтому он любил жизнь и не знал ее.

ЗА ШТОРАМИ

На стуле у двери сидела кошка, вчера оцарапавшая бритый подбородок оставленного при университете. Не цапай за шиворот! Кошка облизывалась и скучала. Вышла крупная ночная неудача: старая крыса, знаменитая старая крыса подполья, ушла от ее когтей.

Ушла сильно помятой. Уже была в лапах... и как это только могло случиться? Никакого вкуса в старой крысе нет, и не в том дело. Но как это могло случиться? В кошке было оскорблено самолюбие охотника. В таких случаях она скучала, зевала и глаза ее тухли: глаза, обычно горевшие в темноте зеленым светом.

Устроившись удобно, но не подгибая передних лап, чтобы оставаться в боевой готовности, кошка стала дремать, оставив бодрствовать только уши. До света еще час-два.

Старая крыса все еще дрожала от пережитого ужаса.

Забившись в самую тесную щель подполья, она зализывала раны. Не самые раны опасны,— но нельзя, чтобы их заметили молодые крысы. Будут следить, ходить по пятам и при первой слабости загрызут. Вот что всего опаснее. Не пощадят седых волос и облысевшей спины. Проклятая ночь выдалась сегодня!

Над постелью Аглаи Дмитриевны наклонилась длинная худая фигура в сером. Протянула руку и острым ногтем надавила под одеялом сосок дряблой груди. Бабушка ахнула и застонала от боли.

Смерть постояла у постели, послушала старухин стон и отошла в уголок. Вот уже второй месяц она дежурит у постели Танюшиной бабушки, оберегает ее от соблазна жизнью, готовит к приятию пустоты. Когда засыпает сиделка, смерть подает старухе пить, прикрывает ее одеялом, любовно подмигивает ей. И старушка, не узнавая смерти, слабым голосом говорит ей: «Спасибо, роденькая, вот спасибо!»

А когда старуха засыпает, смерти хочется поозорничать: откинет одеяло, щипнет старуху в бок, костяшками ладони закроет ей рот, чтобы стеснилось дыханье. И тихоноcko смеется, всхлипывая и обнажая гнилые зубы.

К утру смерть тает, забивается в складки одеяла, в комод, в щели окон. Если кто-нибудь быстро откинет одеяло или выдвинет ящик комода,— все равно не найти ничего, кроме соринки или мертвой мухи. Днем смерти не видно.

Старую крысу окружили молодые: смотрят черными шариками, слушают ее повизгивания. Она скалит зубы, и дрожит ее длинный хвост. Пошевелится — и полукруг крысенят сразу делается шире; боятся старой: есть еще в ней сила. Но глаз не отводят, смотрят на залезанную шерсть, где видно красное, откуда сочится капля.

Слышит визг крысы и кошка и шевелит ухом. Но все тихо, все в доме спят. Крысы напуганы, не выйдут сегодня.

Старуха тянется рукой к ночному столику, к стакану с кисленьким питьем. Костлявая рука помогает, и на минуту сталкиваются два сухих сустава — старухи и ее смерти. Идет по руке холодок.

— Ох, смерть моя,— стонет Аглая Дмитриевна.

— Здесь я, здесь, лежи спокойно,— говорит худая в сером.

И утешает старуху:

— Ничего там нет, и бояться нечего! Свое время отжила, чужого веку не заедай. В молодые годы веселилась, танцы танцевала, платья красивые носила, солнышко улыбалось тебе. Разве плохо жила? А старик твой — разве не счастлива с ним была? А дети твои — разве не было от них радости?

— Сына-то ты рановато прибрала, отца Танюшиного, — жалуется Аглая Дмитриевна.

— Сына прибрала, понадобилось; а зато внучку оставила вам, старикам, на радость и утешенье.

— А как же ей жить без нас? Тоже и старик не вечен.

— Ну, старик еще поживет, старик крепкий. Да и она совсем стала большая. Девушка умная, не пропадет.

— А мне как без него на том свете? А ему как без меня на этом оставаться? Сколько вместе прожили.

Тут смерть смеется, даже всхлипывает от удовольствия, но беззлобно:

— Вот о чем думаешь! Тебе какая забота — лежи в могиле, отдыхай. Обойдутся и без тебя, ничего. От больной-то, от старой, какая радость? Что от тебя, кроме помехи? Пустяки все это!

Слышно, как в кабинете кукушка кукует четыре раза. За окном, пожалуй, светло, но закрыто окно тяжелыми шторами.

— Ох, смерть моя, — стонет Аглая Дмитриевна.

— Подушечку поправить надо, — говорит сиделка. — Все сбилось.

Поправляет подушки и опять садится дремать в кресле у постели.

Проник свет в подвал. Крысенята разбрелись по закоулкам. Задремала и старая раненая крыса. Кошка на окне лениво ловит большую сонную муху. Поприжмет и оставит; та опять ползет. Время летнее — уже совсем светло.

Видит Танюша под утро третий сон: и опять Стольников, веселый, довольный, смеется.

— В отпуске? Надолго?

Стольников радостно отвечает:

— Теперь уж навсегда!

— Как навсегда? Почему?

Стольников протягивает руку, длинную и плоскую, как доска; на ладони красным написано: «Бессрочный отпуск».

И вдруг Танюше страшно: почему «бессрочный»? А недавно писал, что скоро повидаться не придется, так как от командировки отказался: «Сейчас уехать с фронта нельзя, да и не хочется; время не такое».

Стольников вытирает руку платком; теперь рука маленькая, а красное сошло на платок. Танюша просыпается: какой странный сон!

Только шесть часов. Танюша закинула руки и заснула снова. Полоса света через скважину в шторах пересекла яркой лентой белую простыню и столбиком стала на стене над постелью. Отбился волос и лежит на подушке отдельно. На правом плече Танюши, пониже ключицы, маленькое родимое пятно. И ровно, от дыханья девушки, приподымается простыня.

ПЯТАЯ КАРТА

Стольников нащупал ногой выбитые в земле ступени и спустился в общую офицерскую землянку под легким блиндажом. Внутри было душно и накурено. На ближней лавке доктор играл в шахматы с молодым прапорщиком. У стола группа офицеров продолжала игру, начавшуюся еще после обеда. Стольников подошел к столу и втиснулся между играющими.

— Ты два раза должен пропустить, Саша. Ты играть будешь?

— Буду. Знаю.

Когда круг стал подходить к нему, он, потрогав в кармане бумажки, сказал:

— Все остатки. Сколько тут?

— Вам сто тридцать, с картой.

— Дайте.

Глаза играющих, как по команде, переходили от карты банкомета к карте Стольникова, который сказал:

— Ну-ну, дайте карточку.

— Вам жир, нам... тоже жир. Два очка.

— Три,— сказал Стольников и протянул руку к ставке.

Карты перешли к следующему.

Война прекратилась. Вообще исчезло все, кроме поверхности стола, переходящих из рук в руки денег, трепаной «колбасы» карт. Никогда Стольников не был студентом, не танцевал на вечере Танюши, не превращался

из свежего офицера в боевого капитана с Георгием, не был вчера в опере и не вернется в тыл. Табачная завеса отрезала мир. Закурил и он.

— Твой, Саша, банк.

— Ну вот вам, ставлю весь выигрыш. Для начала... девятка. Не снимаю. Вам тройка, мне — опять девять. В банке триста шестьдесят. Тебе — половина, вам сто; тебе, Игнатов, остатки? Эх, надо бы еще раз девятку... Ваша... нате берите.

Стольников передал «машинку», сделанную из гильзовой коробки «Катыка». Играли десять человек, теперь придется ждать. Глаза всех перешли на руки его соседа слева. Уши слышали:

— Чистый жир... вот черт! По шести! — Нет, у нас только по семи. Снимаю половину. Куда ты зарываешься! То есть ни разу третьей карты! — У меня и второй не было... Надо переломить счастье.

Ломали счастье, бранили «гнилую талию», пробовали пропустить два банка, рассовывали бумажки по карманам френча (на крайний случай). Приходила четвертая карта — и человек возвышался, делался добрее, лучше, соглашался дать карту на запись. Затем в три больших понта его деньги утекали, и он нервно щупал отложенную «на крайний случай» бумажку.

Прапорщик в конце стола пропускал и банк и понт. К нему уже не обращались.

— Прогорел?

— Начисто.

— Это, брат, бывает. Полоса такая.

— У меня всегда такая полоса.

Но не уходил. Смотрел. Как будто счастье могло свалиться на голову и неиграющего. Или... кто-нибудь разбогатеет и сам предложит займы; а просить не хочется.

Стольниковов везло.

— Мне второй день везет. Вчера в деле, сегодня в картах.

При словах «в деле» на минуту все очнулись, но голько на минуту; и это было неприятно. Никакой иной жизни, кроме этой не должно быть.

Вошел солдат, сказал:

— Гудит, ваше благородие.

— Немец? Иду. Ведь вот черт, как раз перед моим банком.

— Задайте ему жару, Осипов!

Артиллерист вышел, и никто не проводил его взглядом. Когда он выходил из двери, снаружи послышался давно привычный шум далекого мотора в небе. Через несколько минут гроыхнуло орудие.

— Осипов старается. И чего немцы по ночам летают?

Бухнуло. Это был ответ немецкого летчика. Но Осипов уже нащупал врага на небе: слышно туканье пулеметов. Бухнуло ближе. Все подняли головы.

— А ну его к... дай карточку. Семь. Продавай банк, а то сорвут после семерки. Ну, тогда дай карточку...

Бухнуло с страшной силой совсем рядом с землянкой. Опрокинулась свечка, но не потухла. Офицеры вскочили с мест, забирая деньги. С потолка посыпалась сквозь балки земля.

— Черт, едва не угодил нам в голову. Надо выйти посмотреть.

Стольников громко сказал:

— Банк, значит, за мной, я недодержал!

Офицеры высыпали наружу. Прожектор освещал небо почти над самой головой, но полоса света уже отклонялась. Орудие грохотало, и пулемет трещал беспрерывно. Офицер постарше сказал:

— Не стойте кучкой, господа, нельзя.

— Он уж улетел.

— Может вернуться. И стаканом двинет.

Яма от взрыва была совсем рядом. К счастью, жертв никаких, немец напугал впустую.

Стольников вспомнил, что папиросы кончились, и пошел к своей землянке. Дойдя до нее, остановился. Небо было чисто на редкость. Луч прожектора проваливался в глубину и теперь вел врага обратно — едва светлеющую точку на темном фоне. Бухнуло снова — первую ногу чугунную поставил на землю небесный гигант. Близко упал стакан ответного выстрела.

— Почему нестрашно? — подумал Стольников. — А ведь легко может убить! В деле — да, там жутко; но там и думать некогда. А эти игрушки с неба...

Затем он вспомнил:

— А банк за мной. Четыре карты побил. Оставляю все. Хорошо бы побить пятаку... Это будет здоровый куш!

И ему представилось, как он открывает девятку. Невольно улыбнулся.

Когда ударил последний подарок немца, офицеры инстинктивно бросились к блиндажу. Слушали у двери,

как удаляется шум мотора и замирают пулеметы. Потом все стихло, и они вернулись к столу. По-видимому, немец, отлично нащупав расположение запаса, все же сыграл впустую, только молодых солдат напугал.

— Осипов вернется. Где ему подстрелить эту птицу!

— Слишком высоко летел.

— Сядем, что ли? Чей банк?

— Стольников. Он четыре карты побил.

— А где Стольников? Будем его ждать?

— Надо подождать.

Кто-то сказал:

— Он за папиросами пошел, сейчас вернется.

Вбежал вестовой — к доктору:

— Ваше высокоблагородие, господина капитана Стольникова ранили.

И, опустив руку от козырька, первому выходящему прибавил потише:

— Ножки им, почитай, совсем оторвало, ваше благородие! Немечкой бонбой...

МИНУТА

Темная ночь окружила домик и давит на старые его стены. Проникла всюду — в подвалы, под крышу, на чердак, в большую залу, где у дверей сторожит кошка. Полумраком расплзлась и по бабушкиной спальне, освещенной ночником. Только Танюшино открытое светлое окно пугает и гонит ночь.

А тихо так, что слышно тишину.

С ногами в кресле, закутана пледом, Танюша не видит строк книг. Лицо ее кажется худеньким, глаза смотрят вперед пристально, как на экран. На экране тихо проходят картины бывшего и не бывшего, с экрана неподолгу смотрят на Танюшу люди и чертит рука невидимые письмена мыслей.

Мелькнул Вася Болтановский с поджившей царапиной, Эдуард Львович перевернул ноты, Леночка с красным крестом на белоснежном халате и дугой удивленных бровей под косынкой. И фронт: черная линия, шинели, штыки, неслышные выстрелы. Рука на экране чертит: давно не было писем от Стольникова. И сама она, Танюша, на экране: проходит серьезная, как чужая.

И опять туман: это — усталость. Закрывает глаза, откры-

ла: все предметы подтянулись, стали на прежние места. Когда пройдут минуты и часы молчания — что-то родится новое. Может быть, стук пролетки, может быть, крик или только шорох крысы. Или в переулке хлопнет калитка. И мертвая минута пройдет.

Снова на экране Вася с бритым подбородком. Он ломает спичечную коробку и говорит:

— Принимая во внимание, что вы, Танюша, все равно выйдете замуж, интересно знать, вышли ли бы вы за меня? Раз, черт возьми, все равно выходить.

Щепочки летят на пол, и Вася их подымает по одной, — чтобы не поднять сразу головы.

— Ну а нет, Танюша, серьезно. Это до глупости интересно...

Танюша серьезно отвечает:

— Нет.

Подумав еще прибавляет:

— По-моему — нет.

— Так-с, — говорит Вася. — Ясное дело. Здоровая пощечина, черт возьми! А почему? Мне уж-ж-жасно интересно.

— Потому что... как-то... почему за вас, Вася? Мы просто знакомы... а тут вдруг замуж.

Вася не очень естественно хохочет:

— А вы непременно за незнакомого? Это ловко!

Вася ищет, что бы еще поломать. От коробки осталась одна труха.

Танюша хочет пояснить:

— По-моему, замуж, — это — кто-то является... или вообще становится ясным, что вот с этим человеком нельзя расстаться и можно прожить всю жизнь.

Вася старается быть циником:

— Ну, уж и всю жизнь! Сходятся — расходятся...

— Я знаю. Но это — если ошиблись.

Вася мрачно ломает перышко:

— Все это — суета сует. Ошиблись, не ошиблись. И вообще — к черту. Я-то лично вряд ли женюсь. Свобода дороже.

Танюша ясно видит, что Вася обижен. Но решительно не понимает, почему он обижен. Из всех друзей он — самый лучший. Вот уж на кого можно положиться.

Вася тает на экране. Тень «того, кто является», скользит в тумане, но не хочет вырисоваться яснее. И было бы бесконечно страшно, если бы явился реальный образ,

с глазами, носом, может быть, усами... И был бы он совсем незнакомый.

И вдруг Танюша закрывает глаза и замирает. По всему телу бежит холодок, грудь стеснена, и рот, вздрогнув, полураскрывается. Так минута. Затем кровь приливает к щекам, и Тапюша холодит их еще дрожащей рукой.

Может быть, это от окна холодок? Какое странное, какое тайное ощущение. Тайное для тела и для души.

Экран закрыт. Антракт. Танюша пробует взяться за книжку:

«Приведенный отрывок достаточно красноречиво...»

Какой «приведенный отрывок»? Отрывок чего?

Танюша листает страницу обратно и ищет начальные кавычки. Она решительно не помнит, чьи слова и с какой целью цитирует автор.

На лестнице шаги сиделки:

— Барышня, сойдите к бабушке...

СМЕРТЬ

В подполье огромное событие: старая крыса не вернулась. Как ни была она слаба, все же ночами протискивалась в кладовую через отверстие, прогрызенное еще мышиным поколением, теперь совершенно исчезнувшим из подполья.

В кладовой стояли сундуки, детская колясочка, были грудой навалены связки старых газет и журналов, — живы никакой. Но рядом, через коридор, была кухня, под дверь которой пролезть не так трудно. В другие комнаты, особенно в ту, большую, крыса не ходила, помня, как однажды уже попала в лапы кошке.

На заре старая крыса подполья не вернулась. Но чуткое ухо молодых слышало ночью ее визг.

Когда утром Дуняша вынесла на помойку загрызенную крысу, дворник сказал:

— Вон какую одолел! Ну и Васька! Ей все сто годов будет.

Годами крыса была моложе человеческого подростка. Возрастом — заела век молодых.

К кофе никто не вышел. Профессор сидел в кресле у постели Аглаи Дмитриевны. Сиделка дважды подходила, оправляла складки. Танюша смотрела большими удивлен-

ными глазами на разглаженные смертью морщины восковой бабушки. Руки старушки были сложены крестом, и пальчики были тонки и остры.

Сиделка не знала, нужно ли вставить челюсть,— и спросить не решалась. А так подбородок слишком запал. Челюсть же лежала в стакане с водой и казалась единственным живым, что осталось от бабушки.

По бороде профессора катилась слеза; повисла на завитушке волоса, покачалась и укрылась вглубь. По тому же пути, но уже без задержки, сбежала другая. Когда дедушка всхлипнул, Танюша перевела на него глаза, покраснела и вдруг припала к его плечу. В этот миг Танюша была маленьким молочным ребенком, личико которого ищет теплоты груди: в этом новом мире ему так страшно; она никогда не слушала лекций по истории, и мысль ее лишь училась плавать в соленом растворе слез. В этот миг ученый-орнитолог был маленьким гномом, отбивавшимся ножками от злой крысы, напрасно обиженным, искавшим защиты у девочки-внучки, такой же маленькой, но, наверно, храброй. И полмира заняла перед ними гигантская кровать нездешней старухи, мудрейшей и резко порвавшей с ними. В этот миг солнце потухло и рассыпалось в одной душе, рушился мостик между вечностями, и в теле — едином, бессмертном — зачалась новая суетливая работа.

У постели Аглаи Дмитриевны остались два ребенка, совсем старый и совсем молодой. У старого ушло все; у молодого осталась вся жизнь. На окне в соседней комнате кошка облизывалась и без любопытства смотрела на муху, лапками делавшую туалет перед полетом.

Событие настоящее было только в спальне профессорского домика в Сивцевом Вражке. В остальном мире было все благополучно: хотя тоже пресекались жизни, рождались существа, осыпались горы,— но все это делалось в общей неслышной гармонии. Здесь же, в лаборатории горя, мешалась мутная слеза со слезой прозрачной.

Только здесь было настоящее:

Бабушка умерла любимой.

...земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, яко же повелел еси, создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, амо же вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуия...

НОЧЬ

Два крыла распластала ночная птица над домом старого вдового птичьего профессора. И закрыла звездный блеск и лунный свет. Два крыла: оградить его от мира, почтить великую старикову печаль.

В кресле, удобно просиженном, в ореоле седин, затененных от лампы,— и тихо-тихо кругом, от здешней думы до границ Мира,— сидит старый старик, на тысячи лет старше вчерашнего, когда еще слабым дыханьем цеплялась за жизнь Танина бабушка, Аглая Дмитриевна. А в зале, где блестящими ножками смотрит рояль на у гроба горящие свечи, ровным внятным голосом, спокойным ручьем льет монахиня журчащую струю слов важных, ненужных безмолвной слушательнице под темной парчой. И плотно придвинут к носу подбородок покойной.

Весь в памяти профессор, весь в прошлом. Смотрит в глубь себя и почерком мелким пишет в мыслях за страницей страницу. Напишет, отложит, вновь перечтет написанное раньше, сошьет тетрадки крепкой суровой ниткой,— и все не дойдет до конца своей житейской повести, до новой встречи. Не верит, конечно, в соединение в новом бытии,— да и не нужно оно. А в небытии уже скоро оно будет. Считаны годы, дни и часы — и часы, и дни, и годы уходят. Ибо прах ты — и в прах возвратишься.

Стены книг и полки писаний,— все было любимым и все плод жизни. Уйдет и это, когда «она» позовет. И видит ее молоденькой девушкой,— ямочкой на щечке смеется, кричит ему поверх ржаной полосы:

— Обойдите кругом, нельзя мять! А я, так и быть, подожду.

И пошли межой вместе... а где и когда это было? И чем — не светом ли солнечным так запомнилось?

И вместе шли — и пришли. Но теперь не подождала — ушла вперед. И опять он, теперь стариковской походкой, обходит полосу золотой ржи...

Вошла Танюша в халатике и спальных туфлях. Нынче ночью не спят. Ночная птица над домом огородила деда и внучку от прочего Мира. В этом маленьком мире печаль не спит.

— Без бабушки будем теперь жить, Танюша. А призывкли жить с бабушкой. Трудно будет.

Танюша у ног, на скамеечке, головой у бабушки на коленях. Мягкие косы не заколола, оставила по плечам.

— Чем была бабушка хороша? А тем была хороша, что была к нам с тобой добрая. Бабушка наша, бедная.

И долго сидят, уж выплакались за день.

— Спать-то не выходит, Танюша?

— Мне, бабушка, хочется с вами посидеть. Ведь и вы не спите... А если приляжете, хоть на диван, я все равно около посижу. Прилегли бы.

— Прилягу; а пока ссиделся как-то, может, так и лучше.

И опять долго молчат. Этого не скажешь, а вдвоем мысль общая. Когда через стены доносится журчанье словесных монахини струй,— видят и свечи и гроб, и дальше ждут усталости. Так добра к ним обоим была бабушка, теперь лежащая в зале, под темной парчой,— и вокруг пламенем дрожащие свечи.

Входят в мир через узкую дверь, боязливые, плачущие, что пришлось покинуть покоящий хаос звуков, простую, удобную непонятливость; входят в мир, спотыкаясь о камни желаний,— и идут толпами прямо, как лунатики, к другой узкой двери. Там, перед выходом, каждый хотел бы объяснить, что это — ошибка, что путь его лежал вверх, вверх, а не в страшную мясорубку, и что он еще не успел осмотреться. У двери — усмешка, и щелкает счетчик турникета.

Вот и все.

Сна нет, но нет и ясности образов. Между сном и несном слышит старик девичий голос по ту сторону последней двери:

— Я подожду здесь...

Пойти бы прямо за ней, да нельзя рожь мять. И все залито солнцем. И спешит старик узкой межой туда, где она ждет, протянув худые руки.

Открыл глаза — и встретил большие, вопрошающие лучи глаза Танюши:

— Бабушка, лягте отдохните!

САПОГИ

Дворник Николай сидел в дворницкой и долго, внимательно, задумчиво смотрел на сапоги, лежавшие перед ним на лавке.

Случилось странное, почти невероятное. Сапоги были не сшиты, а построены давно великим архитектором-сапожником Романом Петровым, пьяницей невероятным, но и мастером, каких больше не осталось с того дня, как Роман в зимнюю ночь упал с лестницы, разбил голову и замерз, возвратив куда следует пьяную свою душу. Николай знал его лично, строго осуждал за беспробудное пьянство, но и почтительно удивлялся его таланту. И вот сапоги Романовой работы кончились.

Не то чтобы кончились они совсем неожиданно. Нет, признаки грозящей им старости намечались раньше, и не один раз. Три пары каблуков и две подошвы переменял на них Николай. Были на обеих ногах и заплаты в том месте, где на добром кривом мизинце человека полагается быть мозоли. Одна заплата — от пореза сапога топором; Николай едва не отхватил тогда полпальца, да спасла крепкая кожа. Другая заплата на месте, протершемся от времени. И каблуки и подошвы менял еще сам Роман. В последний раз он поставил Николаю на новый каблук такую здоровенную подкову, что обеспечил целостность каблука на многие годы вперед. И в подошвы набил по десятку кованых гвоздей с толстыми шляпками, а сбоку приспособил по чугунной планке. Стали сапоги пудовыми, тяжелыми, громкими, — но с тех пор о сносе их Николай забыл думать.

И как это случилось — неизвестно, но только пришлось однажды в день оттепели сменить валенки на сапоги. Николай достал их из ящика близ печки, где они лежали, аккуратно с осени намазанные деревянным маслом, чтобы не треснула кожа. Достал — и увидел, что подошва на обеих ногах отстала, на одной совсем, на другой поменьше, а среди гвоздяных зубьев была одна труха, и была дыра сквозная. Николай погнул подошву — и дыра пошла дальше, без скрипу. И тут он увидел впервые, что и голенище так изнашивается, что просвечивает, а тыкнешь покрепче пальцем — получается горбик и не выправляется.

Снес их к сапожнику, Романову наследнику, но наследнику мастерской, а не таланта. Тот, как увидел, поднеся к свету, сразу сказал, что больше чинить нечего, кожа не выдержит. Николай и сам видел это и никакой особенной надежды не питал.

— Значит — конченное дело?

— Да уж... и думать не стоит. Пора о новых подумать.

Николай вернулся с сапогами, положил их на лавку и не то чтобы загрустил, а крепко задумался.

Думал о сапогах и вообще — о непрочности земного. Если уж такая пара сносилась — что же вечно? Издали посмотрел — как будто прежние сапоги, и на ногу зайдут привычно и деловито. Ан нет — это уж не сапоги, а так, труха, негодная и на заплаты, не то что на дворницкую работу. А ведь будто и подкова не совсем стерлась, и гвоздь цел; внутри же и он ржавый.

Пуще всего поражала Николая внезапность происшедшей безнадежности. Ставя последнюю заплату, сапожник головой не качал, гибели не предсказывая, просто показал пальцем, что вот отселе и доселе наложит, пришьет, края сгладит. Это была обычная починка, а не борьба с гибелью. Была бы борьба — и утрата была бы проще. А так — полная гибель пришла внезапно.

— Видать — внутри оно гнило. И гвозди проржавели, и кожа сопрела. А уж аккуратно. И, главное дело, работа не простая, а Романова, знаменитая. Ныне так не сошьют.

Пока заправлял в лампе фитиль, все думал, и не столько о том, что вот нужно новые шить, сколько о бренности земного. Кажется — ничем не сокрушишь и снаружи все ладно. А пришел день, ветром дунуло, дождем примочило, — внутри труха, вот тебе и сапоги. И все так! И дом стоит, стоит — и упасть может. И с самим человеком то же самое.

Зашел повечеру соседний дворник, тоже уже пожилой, непризывной. Рассказал ему Николай о сапогах. Посмотрели их, поковыряли.

— Делать тут нечего. Новые надо. Выкладывай денежки. Сейчас такого товару и в заводе нет.

— Справлюсь. Не денег жалко — работы жалко. Работа была знаменитая.

Покурили. Сразу стало в дворницкой дымно, кисло и сытно.

— Тоже вот, — сказал Федор, — все дела сейчас непрочны. И тебе война, и тебе всякий непорядок. Нынче постовой докладывал: и что только делается! Завтрашний день, говорит, может, нас уберут. И на пост, говорит, никто не выйдем, будем дома сидеть, чай пить.

— Слыхал.

— А уж в Питере, говорит, что делается — и узнать нельзя. Может, и царя уберут. А как это без царя? Непонятное дело.

— Как же можно, чтобы царя отставить,— сказал Николай и опять посмотрел на сапоги.— Не нами ставлен.

— Кто его знает, время нонче такое. И все от войны, от нее.

Выходя из дворницкой, Федор еще раз ковырнул пальцем самый плохой сапог, покачал головой:

— Капут дело!

— Да уж сам вижу,— недовольно сказал Николай.

По уходе соседа бросил сапоги в ящик и хмуро слышал, как стукнула подкова о дерево. Хорошо еще, что валенки были обшиты кожей. В сенях взял скребок и и вышел на вечернюю работу.

«ПЛИ!»

Вася Болтановкий рано, в начале десятого, звонил у подъезда дома на Сивцевом Вражке. Отворила Дуняша с подоткнутым подолом и сказала:

— Барышня и барин в столовой. На ведро, барин, не наткнитесь, я полы мою.

Танюша встретила:

— Что случилось, Вася, что вы так рано? Хотите кофе? Ну, рассказывайте.

— Многое случилось. Здравствуйте, профессор. Поздравляю вас: революция!

Профессор поднял голову от книги:

— Что нового узнал, Вася? Газеты нынче опять не вышли?

Вася рассказал. Газеты потому не вышли, что редакторы всё торговались с Мрозовским. И даже «Русские ведомости» — это уж прямо позор! В Петербурге же переворот, власть в руках Думы, образовалось Временное правительство, говорят даже, что царь отрекся от престола.

— Революция победила, профессор. Точные известия. Теперь уж окончательно.

— Ну, посмотрим... Не так все это просто, Вася.

И профессор опять углубился в свою книжку.

Танюша охотно согласилась пойти прогуляться по Москве. В эти дни дома не сиделось. Несмотря на еще ранний для Москвы час, на улицах народу было много, и видно — не занятого делами.

Танюша и Вася пошли бульварами до Тверской, по

Тверской до городской думы. На площади стояла толпа, кучками, не мешая проезду; в толпе немало офицеров. В думе что-то происходило. Оказалось, что пройти туда было свободно.

В продолговатой зале за столом сидели люди, явно нездешние, недумские. От входящих требовали пропуск, но так как пропусков не было, то процеживали публику по простым словесным заявлениям. Вася сказал, что он «представитель прессы, а про Танюшу буркнул: «Секретарь». Было ясно, что и за столом подбор лиц довольно случаен. Однако на вопрос: «Кто заседает?» — отвечали: «Совет рабочих депутатов». Сопещание было не очень оживленным; какая-то растерянность сдерживала речи. Смелее других говорил солдат со стороны, которого, впрочем, также именовали «делегатом». Солдат сердито кричал:

— О чем говорить? Нужно не говорить, а действовать. Идем к казармам — и всё. Увидите, что наши примкнут. Чего еще ждать! Привыкли вы в тылу зря разговаривать.

Вышли небольшой толпой. Но уже у самого входа она разрослась. Кто-то, забравшись повыше, говорил речь к публике, но слова доносились плохо. Чувствовалась обычная обывательская радость. Ободряло только присутствие нескольких солдат и офицера с пустым рукавом шинели. Небольшая группочка двинулась в направлении Театральной площади, за ней толпа. Сначала озирались по сторонам, не появятся ли конные, но не было видно даже ни одного городского. Толпа разрослась, и с Лубянской площади по Лубянке и Сретенке шло уже несколько тысяч человек. В отдельных группах затягивали «Марсельезу» и «Вы жертвою пали», но выходило нестройно; своего гимна у революции не было. Пришли к Сухаревке, но в виду Спасских казарм толпа опять поредела; говорили, что из казарм будут стрелять.

Вася и Танюша шли с передними. Было жутко и занято.

— Вы, Таня, не бойтесь?

— Не знаю. А будут стрелять?

— Не знаю. Я думаю — не будут. Ведь там уже знают, что в Петербурге революция победила.

— Почему же они не выходят, солдаты?

— Ну, вероятно, еще не решаются. А теперь, когда увидят народ, выйдут.

Ворота казарм были заперты, калитки отворены. Здесь

чувствовалась нерешительность, а может быть, был отдан приказ — не раздражать толпы. Поговорили с часовым. К удивлению передних, часовые пропустили, и часть толпы, человек в двести, вошла во двор казарм. Остальные благоразумно остались за воротами.

Только несколько окон в казармах было отворено. В окнах видны были солдаты, в шинелях, с возбужденно любопытствующими лицами. Солдаты были заперты.

— Выходите, товарищи, в Петербурге революция. Царя свергли!

— Выходите, выходите!

Махали листками, пытались добросить листки до окон. Просили выслать офицеров для разговора. И, посылая солдатам дружеские и бодрые улыбки, сами не знали, с кем говорят: с врагами или с новыми друзьями. Боязливо порхало недоверие из окон и в окна.

Казарма молчала.

Подошли толпой к дверям. Внезапно двери распахнулись, и толпа отпрянула, увидав офицера в походной форме и целый взвод солдат со штыками, занявший лестницу. Лица солдат были бледны; офицер стоял как каменный, не отвечая на вопросы, не произнося ни одного слова.

Было странно и нелепо. Шумной толпе позволяют кричать на дворе казарм, и кричать слова страшные, новые, бунтовские, соблазняющие, — но солдаты не выходят. Из некоторых окон кричат:

— Заперты мы. Не можем выйти.

Из других доносятся скептические возгласы:

— Ладно, болтайте! Вот как разнесут вас пулеметами — вот вам и революция.

Как бы в ответ из боковой двери быстро, один за другим, винтовки на весу, выбежал взвод солдат и цепью стал против толпы. Командовал молоденький офицер. Было видно, как у него трясется подбородок. Солдатская молодежь была бледна и растерянна.

Почти в тот же момент раздалась команда:

— Пли!

И залп.

Танюша и Вася стояли впереди, прямо перед дулами ружей. Оба, ухватившись за руки, невольно отпрянули. С боков толпа рассыпалась и побежала к воротам. Кто был в центре — попятиться и прижалась к стене.

— Пли! Пли! — еще два залпа.

Взволнованным, почти плачущим голосом, дрожа нерв-

ной дрожью, Вася бормотал, стараясь заслонить собой Танюшу:

— Танюша, Танюша, они стреляют, они стреляют в нас, в своих, не может быть, Танюша.

Бежать было некуда, либо убьют, либо случится чудо.

Когда залпы прекратились, Вася огляделся: ни стонов, ни раненых, ни мертвых. Была минута гробового молчания. Только от ворот доносились крики: там разбежался народ.

И вдруг — визгливый, тоненький голосок одного из мальчишек, которые всегда и всюду бегут перед толпой:

— Холостыми, паляют, холостыми!

И, выскочив вперед, мальчишка стал кривляться перед солдатами:

— Холостыми, холостыми палаете!

Вслед за ними к солдатам подбежали несколько рабочих, стали хватать их за винтовки, спутали их цепь, что-то кричали им, в чем-то убеждали. Кое-как, повинувшись окрику офицера, те отбились от толпы и исчезли в подъезде.

Начался снова шум, крики в окнах, снова с улицы в ворота хлынула толпа:

— Выходите, товарищи, выходите к нам!

Танюша стояла, прижавшись к стене казармы, и дрожала. На глазах ее были слезы. Вася держал ее за руку:

— Танюша, милая, что же это такое! Какой ужас! Какой вздор! Как же это можно — сегодня стрелять. Правда, холостыми, но разве можно. В народ стрелять! Танюша!

Все еще дрожа, она потянула его за рукав:

— Вася, пойдем отсюда. Мне холодно.

Держась у стенки, они быстро вышли со двора казарм, миновали шумную толпу, молча, под ручку, дошли обратно до Сретенки и сели на первого встречного извозчика:

— На Сивцев Вражек.

Танюша вынула платок, вытерла глаза и, улыбнувшись, виновато взглянула на Васю:

— Не сердитесь, Вася.

— Да разве же я...

— Нет, а только я очень взволновалась. Я в первый раз...

— Я и сам расклеился, Танюша.

— Знаете, Вася, мне почему-то стало грустно-грустно. Мне не было страшно, даже когда они стреляли. Но у них такие несчастные лица, у солдат, что мне было жалко весь

мир, Вася. Совсем не звери, а жалкие люди. И так стыдно...

— Они не виноваты, Таня.

— Я и не виню, но... как это ужасно, Вася, когда толпа и когда люди с ружьями. Я думала, что революция — это героическое. А тут все боятся и не понимают...

И прибавила, помолчав:

— Знаете, Вася, мне не нравится ваша революция!

«ЧУДО»

Его ноги округлены в колеса, в жилах пар и масло, в сердце огонь. Он работает эти годы для крови, только для крови, но сам он чист и светел: позаботились, оттерли до блеска все его медные части и номер. Он привез сегодня живой остаток того, кто был в прежнем мире молодым офицером Стольниковым, не угадавшим пятой карты.

Уже не с прежним рвением, как-то больше по-казенному встречают светские сестры раненых на московском вокзале. Уже не театр: бытовое дело. Подходят, заговаривают больше с офицерами. Но к Стольникову не подошли: со страшным обрубком возится его денщик Григорий, помогая уложить его на носилки.

Старший врач сказал младшему врачу:

— Чудо, что этот... жив. И ведь выживет!

Доктор хотел сказать: «Этот человек», но не договорил: обрубок не был человеком. Обрубок был обрубком человека.

Григорий, когда приехали, хотел нацепить на грудь Стольникова Георгиевский крест. Но тот покачал головой, и Григорий сунул крестик в коробку, а коробку за пазуху.

Родных не было, знакомые не встретили — не знали. Никого Стольников не известил. И был он слаб, хоть и был «чудом». Полгода пролежал в госпитале маленького городка, боялись везти. Теперь он выживет.

Его перевезли в госпиталь. И там врачи удивились «чуду». Ни один не решился утешать безногого и безрукого офицера. Молодые врачи подходили убедиться, что кости колена затянулись синим рубцом, а остаток правой плечевой может шевелиться. Не зная зачем, все же массируют. Стольников смотрел на их лица, на их усы, проворные руки. Когда уходили — смотрел им вслед; вот идут на ногах, как ходил и он: раз-два, раз-два...

Ему, как «чуду», дали отдельную каморку. Всегда при нем был Григорий, уволенный вчистую; призывной его возраст истек.

Из старых товарищей, университетских, навестили двое; обоим был благодарен, но сказал, что больше не нужно приходить, что пока ему людей видеть не хочется. Поняли. Да и им тяжело было: о чем говорить с ним? О радостях или тягостях жизни? О будущем? От Танюши передали цветы. Он сказал:

— Передайте: спасибо ей. Когда полегче будет, я извещу ее. Меня отсюда скоро выпишут, нечего лечить. Здоров. Где-нибудь поселюсь... вот с Григорием. Тогда приходите.

Он лежал еще месяца три. Он был «здоров», даже располнел. Доктора говорили: «Чудо! Смотрите, как он выглядит. Вот, натура!»

И Стольников выписался из госпиталя. В студенческом квартале, в переулке Бронной, Григорий снял ему и себе две комнатки. И был при нем нежной нянькой.

Что их связывало? Беспомощность одного — бездомность другого. Оба узнали что-то особенное, простоватый солдат и офицер-обрубок. Они подолгу говорили вечерами. Больше говорил Стольников, а Григорий слушал. В темноте чиркал спичкой, всовывал папиросу в рот Обрубка, ставил ему под голову блюдечко для пепла. Сам не курил. А то Стольников читал вслух, а Григорий, набожно слушая непонятную книгу, по знаку переворачивал страницы. Понемногу Стольников сам научился делать это карандашом с резинкой, своей «магической палочкой», которую он забирал в рот. Вслух прочел Григорию почти всего Шекспира. Григорий слушал удивленно и важно: странные образы, непонятные разговоры. Понимал по-своему.

Как ребенок, Обрубок учился жить. Мозг его вечно был занят изобретениями. Он придумал установить над изголовьем наклонную лесенку — подыматься на мускулах шеи; без этого тело перевешивало обрубки ног, — хотя подыматься ему было ни к чему. Со стеной полочки он умел брать ртом папиросу и, держа ее в зубах вместе с «магической палочкой», надавливать пуговку прикрепленной к полке зажигалки и закуривать. Он учился этому больше недели, однажды едва не сгорел в постели и научился.

У Стольникова были небольшие средства, хватавшие для такой жизни. Он купил себе кресло на колесах и придумал сам доступный ему двигатель, — но лишь в преде-

лах комнаты; в том же кресле Григорий вывозил его на прогулку по Тверскому бульвару и на Патриаршие пруды. Он завел себе пишущую машинку и научился писать, держа во рту изогнутую палочку с резинкой и передвигая каретку рычагом, приделанным к креслу у левого плеча. Сердился, что бумагу вставлять должен все же Григорий, велел склеить длинные листы, писал плотными строчками. Весь стол его был уставлен коллекцией странных, им изобретенных приборов, изготовленных либо Григорием, либо мастером — по заказу. Молчаливо надевал Григорий Обрубку на голову обруч с приспособленными ложкой и вилкой, и движением кожи лба Обрубок учился пользоваться этими сложными для него орудиями. Воду и чай пил через соломинку. Часто, видя его усталую беспомощность, Григорий говорил:

— Да позвольте, ваше благородие, я вас покормлю. Зачем зря надрываетесь?

— Подожди. И не зря! Жив — значит надо учиться жить. Понимаешь?

Деловые их беседы были кратки.

У Обрубка не было протезов. Врачи признали их бесполезными:

— Если хотите — для украшения. А так... За границей еще можно достать, и то только для правой руки; для нее есть кое-какая надежда...

Но для украшения он мог надеть френч с заполненными рукавами.

Он хотел надеть его, когда ждал первого визита Танюши. Но раздумал и на первый раз принял ее, оставаясь в постели.

И Танюша, которая знала точно о несчастье Стольников, удивилась:

— Какой у него здоровый вид, хоть и лежит неподвижно.

С Танюшей зашел навестить молодого человека и старый орнитолог. Они сидели недолго. Уходя, Танюша обещала прийти, когда он ее опять позовет.

Дома она долго плакала, вспоминая свой визит, — а плакала Танюша редко. Стольников не был для нее ничем, — лишь случайным и недавним знакомым. Но, конечно, он был самым несчастным человеком из всех, кого она знала и могла себе представить.

Ложась спать, полураздетая, она подошла к зеркалу и увидела прекрасные руки, легко закинувшиеся, чтобы

заплести волосы в толстую косу. В руках была жизнь, и молодость, и сила. Какое счастье иметь руки! И вдруг, представив себе синие шрамы над отпиленной костью, Танюша вздрогнула, отпрыгнула, упала лицом в подушки и зарыдала от жалости, от страшной жалости к Обрубку, которой ему нельзя высказать. Это хуже, чем видеть мертвого... раздавленный жизнью и еще копошащийся под нею человек.

— Он, конечно, меня ненавидит; он должен ненавидеть всех...

С ФРОНТА

От вокзала, мимо Смоленского рынка, по Арбату — одним потоком, а дальше, расцепляясь в ручьи малые, и утром, и днем, и ночью, шли тени солдатской рвани, неся с собой грязь траншей, котомки невымытых рубах, позванивая чайником о приклад ружья. Шли тротуаром, врасыпную, частными гражданами, не пытаясь строиться. Войну с фронта несли вглубь, но думали не о ней, а о деревне.

Лиц не было. Были шинели и гулкие сапоги. Лица исчезли в небритых щеках, ушли во впадину глаз, в бессонное, в совесть дезертира, в тупое упрямство не хотевшего оглянуться. Так и шли, никогда не оглядываясь, не зная дороги, не разговаривая, но и не теряя спины переднего. Шли по вехам, стадно, пока не терялись в переулках. Тогда передний спрашивал дорогу у дугливого прохожего, остальные тупо тянулись за ним.

И снова скоплялись в преддверии, в залах, на перроне вокзалов, привычно, как в траншее, готовые ждать, пока молчаливая команда не бросит их в атаку на поезд, дальний, ближний, дачный, куда бы ни шел, только бы вперед, ближе к дому, а иные, махнув рукой на все, всасывались в город, плодя в нем тревогу и большую траншейную вошь.

Одни были с ружьями, другие бросили или продали надоевшее бремя, и только у пояса болтался в ножнах штык, который мог пригодиться в хозяйстве. И, встретив на ходу в городе свеженького юнкера, печатавшего чищенным сапогом, смотрели недолго и удивленно, не трудя отупелого и уставшего мозга.

Ни с кем не прощаясь, свернул солдат с Арбата направо в переулок, поправил за спиной ружье, дулом вниз, с привязанным штыком, поправил и фуражку и зашагал

быстрее. Дорогу, видно, знал. Дальше, по Сивцеву Вражку, шел молодцем, хотя видна была большая усталость на небритом и грязном лице. Свободной рукой толкнул калитку,— да оказалась на запоре, а за калиткой залаяла собака. Раньше пса не было. Постучал кулаком крепко, увидел звонок, позвонил. И не то смущенно, не то с деланой отвагой встретился опухшими глазами с суровым взглядом дворника Николая.

— Чего надобно? — сурово спросил дворник.

— Товарищу Николаю почтенье. Не признал разве?

— Дуняшин братан, что ли?

Дворник взгляделся недоверчиво. Были уже сумерки.

— Он самый, рядовой Колчагин, серый герой в отставке. Опять к вам на постой.

Поздоровались. Но смотрел Николай неодобрительно.

— Что ж так, или воевать кончил?

— Не век воевать.

— Убег, что ли?

— Так точно. Начальства не спрашивал. Какая была война — покончили ее.

— Та-а-к. В деревню?

— Обязательно в деревню отдохнувши. В дороге цельный месяц намаялся.

— Та-ак.

Дуняша и обрадовалась и испугалась. Очень уж страшен был с дороги любезный брат.

— Кухню-то мне всю натопчешь. А ружье на што с собой приволок? Ружье-то казенное?

— Теперь не разбирают, что свое, что казенное. А вот бы мне, Дунька, в баню обязательно надо.

— Баню топили нынче, словно тебя ждали. Белье-то есть?

— Найдем. Сам вымою, лишь бы баня. А то натащу тебе зверья.

Баня при особнячке была своя, как во всяком хорошем старом хозяйстве. И до позднего вечера не выходил из бани рядовой Колчагин. Мылся, стирал, сушил. И котомку с собой захватил. Чай пить явился красный, распаренный, повеселевший, в новой гимнастерке офицерского покроя.

— Гимнастерка действительно хороша! При расставанье досталась. Насекомое же, Дуня, я все повыветрил паром. Баня у вас настоящая, век бы в ней сидел. Конечно, господа живут не по-нашему.

Узнал от Дуняши про смерть старой барыни.

— Что ж, старуха была. А мы на фронте молодыми гибли и от неприятеля и от болезни на пользу одного капитализма.

— Это кто ж?

— А уж я знаю кто. Этого обмана с нас довольно!

А впрочем, просил сестру соседям про приход его не болтать. И на расспросы Дуняши отвечал уклончиво:

— Чего ж было оставаться? И войны никакой нет...

Спать лег на лавку и заснул сразу.

Дуняша, убирая со стола, задела рукавом кран потухшего самовара. Из крана тонкой струйкой на пол полилась вода, разошлась ручейками, отыскала щели в деревянному полу, залилась, исчезла... Кошка, подняв голову, долго смотрела, пока вода лилась из крана, но, замочив лапку в натекшей луже, брезгливо отряхнула и отошла.

Когда Дуняша вернулась в кухню из своей комнатки, самовар был пуст. Рядовой дезертир Колчагин тяжело всхрапывал.

У ПАМЯТНИКА

— Нынче гулять, ваше благородие, как бы дождя не было.

Прежде чем выкатить кресло из тупика на улицу, Григорий набросил на плечи Обрубка короткий плащ.

— Не нужно, Григорий, тепло.

— Я к тому, ваше благородие, что погоны: как бы чего не вышло.

В те дни срывали с офицеров погоны. Ужель и калеку обидят? Но народ темный, и Григорий побаивался.

— Не нужно, Григорий, оставь.

Кресло на высоких колесах въехало на бульвар. Против Богословского переулка кружком стояла толпа, а в центре господин в очках, худой и остробородый, спорил с солдатом. Солдат доказывал об окопных вшах, господин говорил о Франции и Англии. Кругом слушали внимательно.

На кресло Стольниково покосились, проводили взглядом и опять стали слушать, протягивая шеи через передних: словам верили меньше, лицу больше. Один слушатель полугромко заметил:

— Вон их сколько, калеченых!

Навстречу Обрубку няня катила детскую колясочку,

где из белого капора таращила голубые глазки девочка. Когда обе коляски поравнялись — встретились два взора, детский и взрослый. Но Обрубок не улыбнулся.

Чем ближе к Пушкину, тем больше кучки вокруг спорящих. Говорили о земле, об учредительном собрании, о партиях, но больше о фронте. И доносились фразы:

— ...а которые окопались в тылу...

— ...почему я должен проливать...

— ...а почему я могу знать, что вы есть за человек? Солдатскую форму всякий может...

— ...тоже и ученые нужны, для просвещения. А только...

Самая большая толпа, как всегда, была у памятника. Говорил офицер на костыле и с перевязкой. Фуражку его пустили по толпе, и все доверчиво давали на инвалидность. Сбоку, перед лавочкой, стоял столик, и сидевший за ним сыпал кредитки в шкатулку. Подходили и жертвовали, сами иногда не зная, на что и кто собирает.

Перед креслом Обрубка толпа расступилась, и Григорий подвез его почти к самому памятнику. Оратор, уже охрипший, показывал толпе на Стольниково и, вытирая пот, кричал:

— За что вот такие, — вон, глядите, — проливали кровь? Чтоб отдать теперь Россию немцам? Нет, граждане, мы этого не допустим!

Было видно по штанине, что нога оратора забинтована. Красный, недавний шрам был на левой скуле, и, когда он открывал рот, кожа на шраме натягивалась и лоснилась. Когда он кончил, его сменил штатский в очках, и толпа придвинулась ближе с интересом. Через минуту она уже гудела, так как штатский говорил против войны. Кто-то крикнул:

— Постыдился бы! Вон тут офицер безрукий-безногий. Штатский кричал:

— Вот потому-то и довольно...

Но на него наседали. Два матроса и солдат кричали на толпу:

— Свободу слова, товарищи, так нельзя!

Обрубок повернул голову, вцепился зубами в погон, оторвал его и сказал наклонившемуся Григорию:

— Сними. И тот, оба сними. И брось ему.

— Кому, ваше благородие?

— Тому, черному, который говорит. Брось ему в рожу!

Григорий исполнил приказание, и погоны шлепнулись о грудь оратора. Толпа завывала, и черный исчез вместе с солдатом и матросами.

Теперь обступили кресло Стольниковова. Кричали ему: «Правильно!» Какая-то дама визжала непонятное и убеждала всех идти и бить немцев. Сестра милосердия с кудряшками стала рядом с Григорием, взявшись за ручку кресла, и знаками, — ее голоса слышно не было, — приглашала снять шапки перед искалеченным офицером. Передние сняли, задние напирали. Кто-то крикнул:

— Тише, граждане, он будет говорить!

И действительно, толпа смолкла и круг раздался. Стольников обвел толпу взглядом и в наступившей тишине ясно и отчетливо сказал:

— Говорить мне вам нечего. Вы — рабы, а тот, черный, что говорил против войны, может, и мерзавец, а он прав. К черту вашу войну! Григорий, вези меня отсюда!

Передний ряд расступился. Сестра милосердия оставила ручку кресла. В задних рядах не расслышали, но закричали: «Правильно, верно, спасибо, господин офицер!» Господин с бородой объяснял своей жене: «Совсем больной человек, калека; разумеется, он озлоблен». И только один солдат с расстегнутым воротом гимнастерки, в восторге и задыхаясь, кричал:

— Получили вашей матери! Тоже теперь и они понимают, как ноги им окромсали. Хо! Вот так здорово!

И, вытянув из кармана горстку, принялся за семечки. За левым ухом у него торчала папироса.

Веселого солдата звали Андрей Колчагин.

ДВОРНИК

Был октябрь бесснежен. Ночью подмерзало, днем таяло. Перед самым светом дворник выходил из калитки профессорского дворика со скребком и скошенной набок метлой. Мел долго, чисто и, уходя, смотрел недружелюбно на запущенный тротуар и на мостовую соседей. И думал о том, что со всеми этими слободами стал народ лентяй. На дворе свет, а улица неметена.

Зеленщик остановился на минуту поболтать со старым знакомым и земляком. Скрутили по собачьей ножке, покурили. Лошадь косилась на окна.

— Старый-то барин живет, ничего?

— Живет. Убивался, конечно, да по привык. Со внучкой легче. Без ей плохо бы было.

Зеленщик профессора: знает хорошо. Знает лет двадцать. Это он и дворника им поставил, однодеревенца.

— На базаре разговоры,— сказал зеленщик, смотря в сторону.— Особенно солдат пришлый. «Ружьев,— говорят,— ни по чем не отдадим».— «А в кого стрелять?» — «В кого,— говорят,— приведется, в бар».— «А потом что?» — «А потом,— говорит,— войну навсегда прикончим и станем землю отымать».— «Да ведь ты покончил свою войну, убег!» — «Что ж,— говорит,— что убег. Нынче свобода! А вшей-то я даром, что ли, кормил?»

— Народ темный,— сказал дворник.

— Это конечно, что темный. А сила в их есть, вон их сколько с вокзала тянется. И идут, и идут, и днем идут, и ночью идут. Поди, на фронте ничего не осталось. Пока до деревни дойдет — жить ему надо. Ну, их и мутят.

— Кто мутит-то?

— Ораторы у них. На каждой площади собрания. Чтобы буржуев уничтожили и чтобы всю власть. А он слушает да на ус мотаает.

Лошадь опять покосилась на окна. Зеленщик дернул вожжой.

— Так я думаю, что миром не кончится это дело. Это кабы прежде, а нынче порядку некому наводить. И опять же с ружьем они.

— Наше дело сторона,— сказал дворник.

Зеленщик промолчал. Докурили. Попрощались до приятного. Тронулась телега на Арбатскую площадь.

Выглянуло было солнце зимнее, но в белом молоке исчезло. Хлопнуло несколько калиток на Сивцевом Вражке, запахло дымом. Зябко засунув руки в рукава солдатской шинели, прощелкал каблуками человек писарского вида, с картонной папкой под мышкой. Дворник долго смотрел ему вослед, туго думая, чья возьмет: барская ли сила или бунтарь, солдатчина. Пройдя в ворота, осмотрел и их: хотя починки и требуют, а простоять могут еще годы. Подумал: «Сказать барину, хорошо бы какого пса завести, на случай воров. Много народу теперь шляется бездомного, а сторожат улицу плохо. Ему дежурить, а он спит либо пьян. И полиции нет. И вообще время ненастоящее, тревожное».

Ушел в свой дворницкий флигель в большой задумчи-

вості, с лицом строгим, монашеским. Печка разгорелась. Чай пить дворник ходил в кухню, к Дуняше.

И застучал по черной лестнице гвоздастыми, вечными сапогами.

Был одинокий, пожилой, ближе к старости. Хмурый. Ума тугого и прочного. Входя в кухню, крестился широким крестом, здоровался словами, за чай садился молча, разглаживая усы, чтоб не мешали. И крошки хлеба собирал на ладонь, а как накопятся — в рот.

— Как барин встанут, покличь меня, Дуня. Хочу насчет собаки поговорить.

— На што тебе собака? Еще ее кормить!

— На то, чтобы стерегла дом. Вон сейчас время какое.

— Ворота-то на запоре.

— Ворота... Этот запор по прежнему времени хорош был, а нынче и через ворота. Народ пришлый, того и гляди залезут. А собака, она залает, все же острастка. Ты, как проснется, покликай.

— Ладно, покликаю.

Допил вторую, перевернул чашку, усы вытер клетчатым платком.

— Дровец принести ль?

— На две печки. Столовую нынче не топим, и так жарко.

И опять затопал подковами новых сапог по кухонной лестнице:

— Эх, снегу все нет! А пора быть снегу.

На минуту в дворницкой душе промелькнула деревенская картинка: поля, пашни, лес — всё под глубоким снегом. Чистый, не забитый полозьями, не мешанный с землей и навозом. Снег — друг, не пачкотня.

На минуту промелькнула, — и снова стала городской душа степенного дворника старого профессорского особняка на Сивцевом Вражке.

ЗАВИСТЬ

— Почему он не идет, Григорий?

— Придут еще, ваше благородие, час ранний.

— А как он доберется? Приведут?

— Сами найдут дорогу. Через два крыльца живут. Они и в лавочку, бывало, сами один ходят.

Поручик Каштанов, ослепший на войне, пришел толь-

ко в девятом часу. Григорий, заслышав шаги и голос, вышел и довел слепого до стола Обрубка.

— Ну, где ты тут, друг Саша, пребываешь?

— Здесь, здравствуй.

И Стольников прибавил:

— Опять зря руку протягиваешь. Нечего мне тебе подать.

— Ладно. Оба мы хороши. Оба лучше.

И, дотянувшись на голос, похлопал Обрубка по плечу.

Сначала они молчали. Курили. Григорий поил чаем. Стольников был возбужден и не сводил глаз с приятеля: перед ним был человек, быть может такой же несчастный, как и сам он (неужели это возможно?!). Человек, не видящий мира, его красок, его влекущих очертаний. Стольников видит мир,— но не может обнять его. Каштанов может обнять мир,— но не видя, что и кого обнимает. В эту минуту «мир» казался Стольникову женщиной.

Для начала говорили не о себе, а о событиях, об общих друзьях по батарее. А когда Григорий ушел в свою комнату, скоро перевели разговор на свои бедствия,— и спеша, полусшепотом, смущаясь, но и перебивая друг друга, соперничая размерами ужасного горя своего, высказывали друг другу все, что передумали поодиночке, в долгие ненужные дни одного, в вечную ночь другого.

Скороговоркой, хватая себя за виски и беспорядочно шаря руками, шептал слепой Каштанов:

— Вот ты говоришь — ноги, руки... а зачем они мне! Куда идти, что мне делать этими руками? Ты знаешь, Саша, ведь ничего нет, одна темнота, и звуки из темноты, голоса, шум, музыка, смех,— и всего этого, Саша, нет, только сны, а взаправду нет. Ты и дома, и за окном видишь, тебя по улице возят,— а для меня этого нет, одна ночь. Вот ты говорил: ноги свои чувствуешь. Я тоже свет чувствую — каким знал. Перед глазами дома, люди, женщины, так бы к ним и кинулся,— а нет их, Саша, совсем нет, в ночи утонули. Когда я знаю, что темно, вечер — мне легче. А когда на лице чувствую солнце, и греет оно,— вот когда, Саша, совсем невыносимо. Оно меня ласкает, а я его проклинаяю за слабость его: почему не разгонит оно эту темноту вечную.

Перебивая, Стольников тем же шепотом,— точно тайна у них,— кричал:

— Это, Каштанов, лучше. Вот ты не видишь и гово-

ришь: нет ничего. А я вижу, знаю что есть,— только не для меня. Ты сам в лавочку ходишь, до меня один добрался, а меня Григорий в коляске возит и кормит с ложки. Ты пойми — разве я человек? Ты хоть ночью со всеми равен, — я никогда. Ты можешь женщину обнять...

— Да ее же нет, Саша, ведь глазами-то я не увижу ее, какая она!

— Знаю, что не увидишь, а все же обнять можешь. А я вижу, и полюбить могу, я, может быть, Каштанов, люблю даже, давно люблю,— а коснуться не могу, за руку не могу взять. Я ей противен, Каштанов, я ведь не человек, а синяя культяпка, обрубок, недоразумение. Я мочиться сам не могу, черт меня... возьми меня черт... Вот я реву, а мне и слезы согнать нечем, я головой трясти должен. Мне они в нос текут, черт их, черт, черт...

Он всхлипывал и мотал головой. И тогда Каштанов вставал, вынимал платок, ощупью отыскивал лицо Стольниково и вытирал ему глаза:

— Ты, Саша, успокойся.

Молчали. Но недолго. С первых слов снова пробуждался страстный спор, и опять Каштанов, захлебываясь, громко шептал:

— Все это, Саша, так, я знаю. Только вот что я тебе скажу, Саша. Я вот порой не только ноги-руки, а всего себя отдал бы за одну только минуточку, чтобы только глазами увидеть. Ты говоришь — любишь, а ты знаешь ли, как я любил, и она жива, существует, однажды была у меня, я и голос ее слышал,— каждую нотку знаю. У нее, Саша, глаза были... что я говорю — были... ну да, для меня были, а теперь нет, синие-синие, удивительные глаза. И вот, Саша, их нет больше — для меня нет. Ты говоришь — обнять, а мне нужно глазами обнять, хочу улыбку видеть, а так мне каждое слово кажется обманом и ложью, и никого мне не надо. А солнышко я тоже обнимать должен? И еще есть на свете море, дали, леса есть, красота есть, картины есть,— а где это, Саша? Все дьявол съел. Ты пойми! И ни рук, ни ног мне не надо, ни к чему. Так вот ногтями вцепился бы и содрал эту заслонку...

— Ты, Каштанов, можешь вылечиться. Вон я читал — есть приспособление, к вискам, какие-то глазные нервы возбуждаются...

— Ты мне не ври! Ты зачем говоришь это? Ведь у меня оба яблока вынуты, одни ямы остались!

— Кто знает, может быть, еще изобретут.

— Изобретут, да! Уж скорее тебе протезы.

— Так что же, я буду железными палками обнимать, грудь ласкать? Да?

И дальше, о чем бы ни говорили,— они кончали одним: женщиной, которой не мог видеть один, которой не мог обнять другой. Они были молоды — обрубок и слепой. И они говорили, пока в душе их не вырастала дрожущая злоба и зависть друг к другу, злоба слепца к обрубку, зависть обрубка к слепцу. Они ревновали друг к другу женщину, которой не было, которая не хотела их знать,— изумительную красавицу, с синими глазами и нежной кожей.

Приходил Григорий и видел их искаженные лица, слышал злые речи, старался унять их словами:

— Ваши благородия, соседи спят, опять ругаться будут. Час поздний, ваши благородия.

Он отводил домой Каштанова и, вернувшись, укладывал в постель ослабевшего и беспомощного Стольниково, — жалкий остаток того, кто был красивым и смелым офицером, приветливым товарищем и неплохим танцором.

Лишь три года прошло с того дня, как он в последний раз весело танцевал у Танюши в день ее праздника — начала ее осьмнадцатой весны.

ОКТЯБРЬ

Надо было летать в эти дни октября белым мушкам и мотылькам, устилая дорогу слой на слой. Надо бы детям кидаться снежками, чтобы красными были пальчики и за воротом мокро и чтобы пряно пахло мехом шубки, когда вывесит ее мама сушить ближе к печке. Надо бы от глаз к губам перепрыгивать смешливой радости, какую дает первый пушистый снег, чистый, вкусный, деловитый и ласковый.

Но снега все не было. А летали в те дни над Москвой свинцовые шмели, вдоль улиц, поверх крыш, из окон наружу, снаружи в окна. И кидались люди страшными мячиками, от взрыва которых вздрагивали листы железа на особнячке Сивцева Вражка.

Начался свинцовый снег на Тверском бульваре. В обычный час, утро проведя в лаборатории университета, Вася Болтановский зашел в столовую Троицкой, что окнами выходила на бульвар. Сел у окна, где садился обычно, а на столике рядом с тарелкой положил салфетку с меченым кольцом. Давно налаженная жизнь катилась по рельсам на малых притершихся колесиках, и хоть сильно подорожал заливной окорочок, все же в день воскресный подавали блинчики с вареньем и клюквенный кисель, островками лиловевший в молочном озере. Было тревожно, но жизнь упорно хотела продолжаться.

После супа с клецками — буженина с картофельным пюре. А когда Вася Болтановский корочкой хлеба обтер остаток соуса, в конце бульвара, против дома градоначальника, началась стрельба. Из окна в перспективе бульвара видны были бежавшие по аллее фигуры прохожих ли, или жаждущих нового строя, или защитников старого. В столовой спешили с блюдами. Вася допил сухарный квас и вышел на бульвар. Свинцовые шмели, вылетев из гнезда, уже носились по бульвару без толку и без назначения. И скоро первый долетевший цокнул в оконное стекло знаменитой студенческой столовой.

Не было снега в аллее бульвара, и темнеть стало быстро. Теперь уже в разных частях города залпами громыхали невидимые ружья. Кто-то стрелял в кого-то, но уж, конечно, — брат в брата. За ружьями пулеметы, за ними орудия. Вечером, и всю ночь, и пять дней кряду сжавшийся в комнатах своих обыватель слушал пальбу орудий и туканье пулеметов. Свинцовый страх обметал крыши, ища врага, залетал в окна, рябыми делал внешние стены домов.

В первую же ночь светло стало у Никитских ворот: загорелся дом, запиравший устье бульвара, и дотла сгорела столовая Троицкой, где днем Вася ел буженину с картофельным пюре; не успев загореться, истлела салфетка и, обуглившись, треснуло деревянное кольцо с меткой.

Догорел этот — занялся пламенем другой громадный дом на внутреннем проезде бульвара, и бледное утро увидело на месте жилого дома — почерневший, дымящийся колизей, на который некому еще было любоваться.

Из горевших и обстрелянных домов выбегало довольство и в ужасе шарахалась нужда,— и оба попадали под огонь пулеметов. С каждым выстрелом — ближе к победе, меньше врагов. Из отельчика в доме, где была и столовая, выползли и заметались с узлами десять старух; одни убежали, прикрывшись шалью от свинцового дождя; другие умерли со страху; третьи наглотались пуль и сгорели,— ближе стала свобода. Горсть молодых солдат из углового дома стреляла в горсть молодых юнкеров напротив; кого убили, кто успел проскользнуть вдоль стены и скрыться,— еще на миг приблизилось гадаемое царство братства и равенства.

Закинув руки и отбросив ружье, лежал на дороге убитый солдат, смеясь зубами небу; он так и не узнал, за чью правду пал и какая сторона причислит его к падшим своим героям. А под прикрытием уступа ворот покашливал и плевал кровью белый мальчик в папаше, перед тем стрелявший из ружья, весело и задорно, все равно в кого и куда, и по юнкерам, и по всякой скользящей тени, и по брату, и по бабушке, больше мимо, шлепая пулю о штукатурку дома, — а теперь сам с пулей в легком, уже не жилец, — прощай, бедный глупый мальчик! — И еще на шаг ближе подошла свобода.

За крепкими стенами, в комнате окнами не на улицу, совещались, обсуждали, договаривались, командовали, распоряжались люди штатские, не умевшие спускать курок и заряжать пулемет лентой. Но не в них была сила и не в них было дело. То, чему быть надлежало, решала случайность да веселая пуля, ставшая лишней для ушедших с фронта. Еще был Кремль, был Арсенал, было еще Александровское училище,— и был сумбур и склока людей, которые всегда правы и которые побеждают только тогда, когда идут не рассуждая и без мысли. Но то и было страшно, что под воздушным сводом пуль и шрапнели клубилась, блуждала и путалась мысль, только вчера повывезшая из черепных коробок,— спорила, терялась, отчаивалась, догадывалась и путалась в нитях чужой мысли.

Победить должен был тот, кто привык не думать, не взвешивать, не ценить и кому терять нечего. Он и победил. Люди в штатском, посовещавшись, вынесли резолюцию: «Победили мы». И, отогнав победителя, заняли в умершем городе командующие высоты.

Все это было правильно и справедливо; так же на их месте поступили бы их штатские противники.

Вася Болтановский жил в Гиршах на Бронной, во втором корпусе дома. Из его окна ночью видно было зарево пожара, и, как и все, Вася не спал. Иногда ему казалось странным и неестественным, что вот он, молодой, не трус, не апатичный,— сидит дома, не пристав ни к какой стороне. Минутой позже думалось: да ведь ничьей стороны и нет, это просто — разыгравшаяся стихия, пожар от случайно брошенной спички. И затушить его нечем. Выйти на улицу без оружия? Зачем? Достать оружие и стрелять? В кого? Из двух правд — в которую? Но разве могут быть две правды? Не две, а много; у природы одна правда, у человека — другая, противоречащая в корне правде природы. И еще иная, совсем иная у другого человека. Каждый бьется за свою — такова борьба за существование. Но вон тот идет умирать за других — вопреки личной своей выгоде. Есть своя правда и в корысти и в самопожертвовании. С кем же он, Вася, лаборант университета и Танюшин приятель? Ни с кем из мечтающих о власти. Его правда в том, чтобы можно было серьезно работать и чтобы Танюша была счастлива. Это уж действительно искренне.

Под утро Вася заснул, но рано проснулся, разбуженный выстрелами близ самого дома. Это была случайная, беспорядочная стрельба, может быть, преследование, может — простое озорство. Кому нужно стрелять в мирном студенческом квартале!

О занятиях сегодня невозможно и думать. Разве попытаться пробраться боковыми улицами до лаборатории?

В девятом часу Вася вышел, метнулся к Никитским воротам, но стрельба заставила его повернуть обратно. Тогда он пошел в сторону Садовой и Скарятинским переулком пересек Большую Никитскую. На Поварской не было ни одного человека, и любопытство потянуло Васю пройти до Бориса и Глеба, а то и до Арбатской площади. Но едва он подошел к устью Борисоглебского переулка, как дрогнул воздух от взрыва снаряда, сбившего часть купола на церкви. Вася ахнул, пробормотал: «Ну что же это делается, что делается!» — и прибавил шагу, свернув в переулок. Он, собственно, и не разобрал, что случилось, но напуган был основательно. На Собачьей площадке было покойно, и хомяковский дом хмурился

степенно и солидно. Теперь, в сущности, оставалась последняя попытка — пройти к университету Арбатом. Дойдя до угла Арбата, Вася остановился и с любопытством стал смотреть налево, откуда доносились частые выстрелы. Попытаться?

Нужно было быть глубоко штатским и полным неведения лаборантом, чтобы покойно стоять и не замечать жужжания пуль. Никто Васи не остановил, и ему не могло прийти в голову, что в него стреляют вдоль улицы. Локтем, по студенческой привычке, прижимая книжки, он тихонько перешел Арбат. Он не знал, что из-за опущенных занавесок в домах на него с удивлением и испугом глядели обыватели, а пуля в трех шагах от него расплущилась о булыжник мостовой. Нет, идти по Арбату все же жутко, да и пройдешь ли площадь; там близко Александровское училище, где уж, наверное, идет бой. И притом — так привычно и просто обогнуть Ниолу в Плотниках и выйти на тихий и уютный Сивцев Вражек, где в старом профессорском особнячке, должно быть, еще не отпили кофе, а то Дуняша разогреет. Ничего сегодня не выйдет из занятий.

Утро явно потеряно. Но можно это утро выиграть в другом. Кстати, есть о чем потолковать и с профессором, который, конечно, сидит дома. С Танюшей поделиться впечатлениями. Хотя — впечатлений не много, просто — муть какая-то, вздор.

Вася позвонил и, заслышав шаги на лестнице, приятно улыбнулся.

В ПРОСТЕНКЕ

Ржавчине, медленно глодавшей железо крыши, червячку, точившему балку, крысам, строящим новые ходы для дерзких ночных набегов, сырости, плесени, миллиарду мельчайших, невидимых существ, во имя любви, размноженья и права на жизнь колебавших устои особняка на Сивцевом Вражке, — очень в эти дни помогала дрожь, обуявшая Москву, воздушная дрожь от малых пуль и смеявшихся над трусостью снарядов. Вдрагивали оконные стекла, шатая подсохшую замазку, лопался малый гвоздочек, сыпались чешуйки старой краски, терял соринку кирпич, жирными кусками падала обратно вниз, в печку, доверху облепившая трубу сажа. Ни для кого

не заметно — лишь для крохотных созидателей и разрушителей, работавших нынче без усталости и отдыха.

Не видна на старом лице новая мелкая морщинка. Высоко над крышей, разрезая воздух, пролетел снаряд, пущенный с Воробьевых гор наудачу, плохим прицельщиком, — и болезненно пригнулся к земле мирный профессорский домик, зажмурился, прищурился, затаил дыхание, потом расправился, — и еще одной морщиной больше. Но не видно и не слышно никому, — только за обоями легкое шуршанье. Может быть, забрался таракан из кухни.

Профессор сказал:

— Домой, Вася, не ходи; мы тебя не пустим. И нам с тобой спокойнее. Кончится завтра стрельба — вот и пойдешь.

— Я не боюсь, профессор.

— Бояться что ж молодому человеку. А зря рисковать не к чему. У вас там, у Никитских ворот, самое пекло. А главное — нам окажешь услугу. Нам с тобой веселее. И мне и Танюше.

Леночка телефонировала с Чистых прудов, где жила:

— У нас тут ужас. Стреляют на почте. Говорят, что и телефонную станцию окружили.

Телефонная барышня, повторив номер, спрашивала:

— Из какой части города звоните? Что у вас?

— Из Сивцева Вражка. Здесь тихо. А у вас?

— У нас ужас! Не знаем, что будет. Позвонила.

Но во многих районах телефон уже не действовал.

— Хотите, Вася, пройти наверх ко мне? Дедушка пойдет работать.

Профессор не нарушал давнего хода жизни — работал до позднего часа, окружив себя атласами, табличками, вглядываясь в оперенье горлинки на меловой бумаге, внося поправки в устаревшую классификацию. Костяным ножиком разрезал листы английского журнала, все же как-то дошедшего, миновав границы, спускал со лба очки, бежал по строчкам носом, отмечал на полях карандашиком. Все это так важно: перелет, пенье, маленькие яички с серыми крапинками, загнутый клюв, яркий глазок на крыльях... Все это очень, очень важно, это вечное и для вечного.

А в крышу едва слышно твякнула пуля, совсем шаль-

ная и пьяная, залетевшая то ли с Арбата, то ли со Смоленского рынка.

— Я пойду, а вы, молодежь, посидите. Тебе, Вася, спать приготовят в бабушкиной комнате, а то в зале, где хочешь. Таня скажет.

— Скажу, дедушка, вы идите. Мы у меня еще посидим.

— Все же, Танюша, не садитесь у самых окон. Кто его знает. Лучше в простенке.

— Хорошо, дедушка.

Попрощавшись, прошли к Тане наверх. Тут хорошо было и поговорить и помолчать.

— Чем все это кончится, Вася?

— Ну, Кремля не возьмут. А там Арсенал.

— А если возьмут?

Говорили, перебирали слухи. Танюша думала: «Странно. Вот Вася не трус, а ему точно все равно, как посторонний. Другой бы...»

Кто другой? Бегло перебирала в памяти знакомых, военных и штатских, живых и умерших. Дрался ли бы Эрберг? Возможно. А Стольников, если бы он... Конечно! Несчастный, что он сейчас переживает! Но она не могла бы — слишком нетронутой душой — вместить того, что переживал в эти дни Обрубок.

Вася курил, и Танюша ненадолго открыла форточку. Донесся стук недалеких выстрелов. Тук-тук-тук... Это, кажется, пулемет.

Прислушиваясь, замолчали. Сидели на диване, близко. Танюша думала о революции. Вася думал: «Знаю, что я ее люблю. И что она ко мне только дружески ласкова. И что я ее все-таки ужасно люблю. Что же, так это и будет?»

С этой думой поднял глаза на Танюшу и внимательно посмотрел.

— Что, Вася?

— Нет, ничего.

Танюша встала и притворила форточку:

— Брр... какой холод сегодня.

— Да, а снегу все нет. А уж октябрь кончается.

Октябрь кончался. Но начинался долгий, великий и мучительный Октябрь.

Снег выпал только тогда, когда к концу пятого дня смуты московской перестали летать свинцовые шмели. Снег выпал наутро дня шестого — хлопьями, необиль-

ный, смущенный, но нужный всем. Забелил изрешетенные крыши, белой простыней покрыл неубранный труп, подморозил и запудрил кровь на мостовых, на дворах.

Сразу в Москве стало тихо. Боязливо выглянул обыватель, но любопытство потянуло. Любопытство и нужда: кончились запасы хлеба, съестного, керосину, дров. Жить-то все равно как-нибудь нужно. Плечом прокрадывался в полуоткрытую дверь магазина.

И встречный спрашивал знакомого встречного:

— Кто же верх-то взял?

— Говорят, они, большевики.

— Что же будет?

— А что будет. Долго не продержатся. Придут войска — наведут порядок. Разве же это возможно — во всей Москве стрелять! Дожили до чего.

— Булочная-то наша открыта ли?

— Открыта. А то со двора пройдите.

Озираясь круглыми, любопытными глазами, жмясь ближе к стенам домов, через улицу — горбясь и мигом, шли каждый по своему делу, готовые сейчас спрятаться в подъезд, в переулочек, за тумбу.

И если было, что радовало глаз, то только — чистый, еще не затоптанный, бодро холодящий снежок запорошивший напуганную и усталую за эти дни обывательскую Москву.

11 УЛЯ

Эдуарду Львовичу никогда не приходило в голову, что можно было купить новое одеяло, которое, дотрагиваясь до подбородка, подвертывалось бы и под ноги.

Неудобство слишком короткого одеяла он испытывал всегда, но боролся с этим только сомнительными средствами: прикрывал ноги своим стареньким пальто на клетчатой подкладке. И не от скупости, а просто по недогадке. Бедности Эдуард Львович не испытывал, жил скромно и мог много тратить на ноты и книги по музыке; впрочем, еще посылал деньги в Ригу тетке, которой не видал двадцать лет, — высылал по традиции и по привычке, так как начал высылать еще при жизни матери.

Одеяло плохо прикрывало ноги, и спать приходилось на боку, согнувшись. Одно ухо слушало, как в подушке отдается пульс, а другое слушало стук пулемета на ули-

цах: тук-тук-тук-тук. Смысл пулеметной стрельбы был Эдуарду Львовичу совершенно и окончательно чужд (это не из его мира), но ритм был как раз его областью. Одеяло медленно сползало с ног, и холодок делал сон беспокойным. Тогда Эдуард Львович во сне шевелился, жесткие волоски непобритой щеки скрипели по полотну подушки.

Ритм пульса и ритм пулемета не совпадали; требовалось примирить их, уложить в порядке и системе на нотной бумаге. И вот тут начиналась мучительная путаница. Черные нотки, большеголовые, с хвостиками, разбегались по всему миру. Часть их рассаживалась по холмикам, по крышам и чернела на горизонте аллеями и телеграфными столбами. Другая часть ползала по одеялу, цапаясь за нити нотной бумаги, дергая их, как струны, забираясь не в тот ключ, кидаясь из мажора в минор. Эдуард Львович старался ласково подманить их, прикрывал крышечкой легато, но черные головастики брыкались хвостами, вырывались и опять разбегались — одни по холмикам, другие по складкам одеяла.

Эдуард Львович ясно понимал, что невозможно достигнуть полного примирения тех, на горизонте, с этими, на одеяле. О какой-нибудь мелодии не могло быть и речи. Прекрасно, пусть будут диссонансы; можно и на них построить музыкальную идею, — но непременно должен быть смысл, единый и обязательный для всех закон гармонии. И вот в ответ он слышал только раскатистый смех пулемета и жалобный стук в подушке. Примирение, по-видимому, невозможно.

Но с чьей же стороны затруднение? Те, на холмах, поразительно равнодушны и устойчивы. В них есть что-то мертвое — как кладбищенские кресты на фоне неба. Привычный ранжир, все головки в одну сторону; все это, почти исключительно, четверти и восьмые. Совсем иное те, что окружили подушку непрерывным неровным туканьем, не поддающимся учету. Там — бытовая устойчивость, здесь — суматоха, брожение. Эдуард Львович попробовал поймать одного живчика за двойной хвостик, но промахнулся, и рука его непомерно вытянулась в пространство. Тогда он приподнялся на цыпочки, стоя босыми ногами на снежном холме, и стал дирижировать хором нотных головастиков: быть может, они поддадутся.

К удивлению Эдуарда Львовича, хор оказался пре-

красным. Свободно отделившись от земли и плавно размахивая руками, Эдуард Львович летал вдоль огромных, нескончаемых нотных заграждений, от горизонта к горизонту, и все более убеждался, что режущие ухо диссонансы были лишь вблизи, а с высоты, в отдалении, все звучало великой гармонией, изумительным хором и совершенной музыкой. Ему захотелось вовлечь в хор самые отдаленные инструменты, едва видимые на горизонте. Но он не успел спуститься к ним со страшной своей высоты: раздался звон, и композитор потерял равновесие.

Эдуард Львович проснулся и не мог понять, какой звук разбудил его. Оттянув одеяло к ногам, он некоторое время прислушивался: может быть, позвонили в передней? Но все было тихо. Да и звон был — скорее — как от разбитого стакана. Подумал о своем сне: изумительный сон. Особенно любопытно в нем, что слияние и гармония таких несогласных, по-видимому, ритмов оказываются возможными. В этом — глубокий смысл. Надо подойти издали и с высот. Возникла как бы идея новой странной композиции, трудной, но возможной. Понять, представить возможно, — ну а воссоздать?

Тянуло холодком. Эдуард Львович поправил в ногах пальто, согнулся совсем калачиком, скрипнул по подушке небритой щекой и старался не шевелиться, чтобы согреться. Холодком тянуло, и воздух стал как будто свежее. Нотки исчезли, исчезли и холмики, но туканье пулемета стало еще чаще и отчетливее. Однако ухо уже привыкло к нему. И Эдуард Львович заснул.

Когда стало светать, в верхней части окна, в обеих рамах обнаружили дырочки в стекле, а от дырочек шли кругом лучи. Рассвело еще, и новая дырочка обнаружилась в обоях, на стене против окна. Обои вокруг дырочки припухли от распыленной штукатурки.

Никто в окно не метил. Октябрьские пули летали всюду, не очень заботясь о цели. Зачем-то одна из них, самая бесполезная, но и безвредная, залетела в комнату композитора, нарушив на минуту его музыкальное сновидение.

КАРЬЕРА КОЛЧАГИНА

На шестой же день забежал в кухню особняка Андрей Колчагин. Был небрит, красен, весел, хоть и вздрагивал, — за эти дни поистрепался. Пришел с ружьем и набитой

сумкой. В мешке нашлась колбаса, круг сыру, большой ком масла, к которому крепко примерзла газета. Еще какая-то рухлядь, которой Дуняше не показал. Впрочем, дал ей будильник, початый пузырек одеколона и шелковую кофту с узкими рукавами и кружевом.

— Это что ж, откуда у тебя?

— Нашел. Ящик на дворе разбился.

— На што ж мне, на меня и не налезет! Это барыни носят.

— Барыням нынче, Дуняшка, капут пришел. И барыням и баринам. Наша власть одолела.

— Ты где ж был? Ужли стрелял?

— Ясное дело. В самом был сраженье. Телефонную брали.

— Кто брал-то?

— Кто. Мы и брали, большевики.

— Нешто ты с ими?

— С кем больше? С народом мы! Против юнкарей и всей буржуазии. Теперича им крышка, наша взяла.

— Не пойму я что-то, из-за чего стреляют. Смута одна.

— Тебе и понимать нечего. Ты бери кофту и духи бери. Теперь этого добра мы можем сколько угодно.

— Чужое, поди?

— Чужое. Разговаривай! И дура же ты, Дунька. Деревня.

Однако господам — сказал — лучше не показывать, не их дело. Так и сказал: «Господам». Других слов еще не было, не знал точно, буржуи ли живут в особняке, где кухня всегда была ему ласковым приютом.

Пробыл недолго, ночевать не остался, даже в бане не был, — а как раз топили. Уходя, захватил и ружье, нацепив на плечо дулом вниз. Сумку тоже захватил с собой, но пустую: содержимое запер в свой сундучок.

По улице шел Андрей Колчагин шагом уверенным. Из-под фуражки выбился у него клоч волос, по-казацки, хоть и был он пехотой. Встречные, прохожие, смотрели на него недружелюбно и с опаской; он на них не смотрел. Чувствовал себя Андрей Колчагин не простым человеком, солдатней, а значительным, вроде героя, — как раньше было в деревне, перед отправкой на фронт.

Прошел прямым путем в Чернышёвский, к воротам совдепа, где уже много солдат без толку толпилось, — у всех за плечами ружья дулом в землю. Здесь переки-

нулся словом, выкурил папиросу, справился, как пройти с бумажкой, через какой подъезд. Встретил некоторых, что вместе с ним брали телефонную; но у них бумажки не было. Протолкался, подождал в очереди, добился все-таки. Держал себя не по-простацки, а без боязни, боевиком; и слова говорил подходящие.

За столом, в комнате кислой и дымной, сидел, вписывал, ставил печать человек жидкий, черноватый, в пиджаке, но не робкий. Покрикивал на солдатню. На Колчагина не глядя, вписал его фамилию на бумажку, хлопнул печатью, сказал:

— Вот, товарищ, отправляйтесь по назначению.

— А куди идти-то?

— Написано. На Хамовниках будете. Кто следующий?

Пришлось шагать обратно. Бумажку с печатью сунул Колчагин за обшлаг.

В Хамовниках, в большом занятом цоде, была толкотня и полная неразбериха. И не узнаешь, кто тут главный, кто командир и чем командует. Солдаты сидели в креслах, на столах, на подоконниках, и паркет был заплеван и забросан окурками. Кто покрикивал на других, того и слушали.

Колчагин прошел по комнатам, ища, кому вручить свой новый документ, — и не нашел. Было таких же ищущих еще несколько. Тогда Колчагин взял у них бумажки, сверил, небрежно бросил им: «Ладно, все в порядке; подождите». И затем стал уже спрашивать бумажки у всякого нового пришедшего. И вдруг почувствовал себя вроде как бы начальством. Власть не было — нужно власть налаживать. Налаживать власть стал Андрей Колчагин. И все поняли, что так и быть должно. Теперь к нему обращались уже с некоторым почтением, как к старшему.

Затем приехал на дребезжащей машине какой-то штатский, влетел в первую комнату, крикнул: «Здравствуйте, товарищи, сейчас все будет», — но ему никто не ответил. Он заметался, перекладывая свой портфель со стола на стол, искал чернильницу и явно не знал, что делать дальше. Вот тут-то и выступил Андрей Колчагин, спокойный, в фуражке, с папиросой в зубах:

— Мандаты проверены, товарищ. Все в порядке. Сейчас выставим охрану, а то всякий пройдет сюда без надобности. И двери прикажу на замок, без особого пропуска не лезть.

Приезжий очень обрадовался, даже не сумел сважничать и разыграть начальство. Было ясно, что начальство уже родилось в лице Андрея Колчагина.

Все были голодны. Колчагин выбрал пятерых, послал «раздобыть». И бумажку им выдал; сам писал плохо, но нашелся более грамотный, которому Андрей и приказал быть как бы писарем. Подписывал же сам: «Начальник команды товарищ Колчагин».

Раздобыли в арбатском магазине, который пришлось вскрыть на нужды борцов, только некому было вручить расписку, так как хозяина не оказалось. Притащили в мешках: большой круг сыру, какая нашлась колбаса, много масла, разные коробки. Колчагин принял, все велел запереть в комнату. Потом выдавал сам для дележа. И в свой мешок тоже поклат на случай — сколько вошло.

Кто ушел, кто остался. Спали тут же, не раздеваясь, на полу. Колчагину предоставили диван. И понятно: начальство, трудилось больше других. Ложась спать, Андрей сначала проверил охрану и назначил смену.

Поутру на другой день опять приехали какие-то организаторы, толклись на месте, говорили о пишущих машинках, отмечали на дверях комнат, передвигали столы, уходили, приходили. Колчагин неизменно сопровождал их, помогал двигать столы, записывал что-то себе на бумажку, а по уходе их садился за письменный стол в первой комнате, смотрел зорко и покрикивал на входящих. Люди сменялись — Колчагин оставался.

Так потекли дни. В комнатах заскрипели перья, в приемной толкалась сначала солдатня, потом появились и обыватели, напуганные, нерасторопные. Сюда свозили вещи, сюда приводили арестованных, отсюда летели приказы от имени Хамовнического совдепа, — но ничто не могло произойти без ведома и санкции Андрея Колчагина, которого звали комендантом. Никто его не ставил, не выбирал, не утверждал в звании. Колчагин был необходим, естественен, неизбежен. И когда проситель, обойдя все комнаты, терял последнюю надежду, — ему говорили:

— А вы, товарищ, обратитесь-ка лучше к товарищу коменданту.

И проситель робко стучал в «кабинет коменданта», где за столом пил чай с сахаром и булкой известный во всем хамовническом районе товарищ Колчагин, власт-

ный, толковый и не знающий сомнений. Иных направлял, другим решал дело сам, выдавая бумажку с подписью и собственной своей комендантской печатью.

НОЧИ ОБРУБКА

Страшнее дней были ночи Обрубка. Часто в эти кошмарные ночи, между сном и явью, мерещился ему последний бунт калек и уродов.

На низких колясочках, с деревяшкой в каждой руке, чтобы упираться о землю, — черепашьим вихрем летят обрубки войны к войне новой. А он, совершеннейший из обрубков, чудо хирургии, — чудом же мчится впереди всех за командира. За ним слепые, скрюченные в рог, лишенные лица, глухие, немые, отравленные, сонные — взводы георгиевских уродцев.

Революция новая, небывалая, последняя: всех, кто еще здрав и цел, окорнать в уродов, всех под один уровень! Зубами отгрызть уцелевшие руки, колесом проехать по ходящим ногам, наколоть видящие глаза, отравить дышащие легкие, громом протрясти мозговые коробки. Всех под одну статчу!

И женщин! Дайте нам женщин-обрубков, таких же, как мы. С руками и ногами целыми, с глазами видящими и лживыми, они будут презирать нас и отталкивать. Пусть они будут обрубками: мы оставим им только груди. Мы будем сползать и соединяться без рук и без ног. И пусть родятся у нас такие же дети.

Все перестроить! Пусть одеждой человеку будет мешок, а работать он будет зубами. Только слепым и безумным оставить право иметь конечности, — пусть водят и носят других калек. Не все ли равно: разве не водили нас и раньше слепые и безумные? Если захотят того глухие и немые — всем здоровым вырвать языки и проткнуть уши каленой иглой! И старым, и детям, и девушкам.

Пусть будет тишина в мире, придумавшем боевые марши и гимны, барабанный бой и грохочущее орудие.

Кошмар, кошмар: из отрубленных ног костры на площадях. Вокруг костров быстрой каруселью летят коляски безногих, — бунт безногих, шабаш уродов, — а безумные бросают в огонь ненужные больше книги, стулья, рояли, картины, обувь, главное — обувь, и еще перчатки, обру-

чальные кольца — весь хлам, нужный только целым, которых больше нет и не будет. Теперь вы поняли!

Высшая красота — рубец и культяпка. Кто больше изрублен и изрезан — тот всех прекрасней. Кто смеет думать иначе — на костер. Вымарать на иконах и на картинах руки и ноги, изуродовать лица, чтобы прежней красоты не оставалось и в памяти. Опрокинуть и разбить в музеях античные статуи, оставив только мраморные торсы да бюсты с отбитыми носами. Воздвигнуть на больших площадях копии ватиканского торса Геркулеса, — единственная достойная статуя, идеал красоты повоенной!

Миром будет править синяя блестящая культяпка. А провалится мир — туда ему и дорога!

От кошмарных дум и снов Обрубок стонал протяжно и мучительно. Перебирая мускулами спины, старался перевернуться на бок. Он умел делать это с налету, резким движением, головой упираясь в подушку и помогая себе сильной шеей; но иногда, не рассчитав движенья, падал на живот и, измучившись, плакал, как ребенок. Чтобы поправиться, долго раскачивался, опять напрягал шею и копошился в яме мягкого тюфяка. Отдышавшись, закрывал глаза, — и тогда кошмар начинался снова, в полуживе-полусне его мучительной ночи.

Думать о другом? О чем? Вспоминать о прошлом, когда можно было на этих ногах обойти весь мир, этими руками обнимать и отталкивать, когда было все доступно, игра и борьба, поход и вальс, жест и работа? Когда можно было... можно было почесать плечо, не делая для этого трудных и утомительных движений головой, чтобы хоть достать подбородком? Ему казалось, что еще никогда и ни у кого не чесалось так сильно плечо, и с холодным ужасом думал: а вдруг, как не раз бывало, зачесется бок или грудь? Позвать Григория? Бедный Григорий! Что бы он дал, Обрубок, чтобы стать таким «бедным», с руками и ногами, — пусть пожилым и полуграмотным солдатом. Кем угодно, на какой угодно грязной работе. Каторжником — да, и каторжником. Даже шпионом! Любая жизнь лучше его жизни.

Ему вспомнились постоянные большие и напрасные споры его с соседом, Каштановым, потерявшим на войне зрение. И теперь он находил тысячу новых доводов и доказательств тому, что жизнь слепому во много раз легче, что все же она — настоящая жизнь, полная возмож-

ностей. Ночью, вот сейчас, в темноте, Каштанов равен всем другим. Он лежит удобно в постели, может встать, налить в стакан воды, выпить, крепко потянуться, опять заснуть. Может спать не один и не видя — ласкать. И этот счастливец смеет жаловаться, смеет сравнивать!

Упершись затылком в подушку, Обрубок приподнял спину, изогнул тело и стал медленно и напряженно опускаться с протяжным, сквозь зубы, сдавленным звериным, волчьим воем.

В соседней комнате скрипнула кровать и зашлепали босые ноги Григория:

— Али не можется, что стонете? Может, надо что?

Попойл водой, из столика вынул плоское суденышко, долго возился с калеченым, как с ребенком, поправил постель, укутал, дал покурить, поставил блюдечко для пепла, — все при свете ночника. Посидел рядом, на самой постели, рукой скрывая зевоту.

— Что же, Григорий, так всегда и будешь за мной ходить?

— А что ж, ужель вас оставлю! Мне жить хорошо, только бы вас утешить. Не стоит об этом думать, ваше благородие. Меньше думаешь — лучше спится.

— Ты и вправду веришь в Бога, Григорий? Или только так говоришь, стараешься в него верить?

— В Бога я верю, как же не верить в Бога.

— Добрый он, твой Бог?

— Добрым ему не к чему быть. Он строгий.

— А зачем он меня искалечил, твой Бог?

— Как можно, ваше благородие, это ж не Господь, а люди! Их это дело.

— А он позволил людям.

— Значит, свои у его соображения, нам о том знать не дано. Вам, ваше благородие, смириться надо, такая уж вам судьба.

— Ну, хорошо, Григорий, я смирюсь. Иди спать.

Григорий зевал и закрепывал рот.

— Если что опять нужно — покликайте, а напрасно себя не мучайте.

— Спасибо, Григорий, иди.

Думал о Григории и его строгом Боге, имеющем свои соображения. О верующих, могущих смириться в любом несчастии. И странно — им не завидовал. Только им, единственным, и не завидовал. И в себе такой веры не находил и не искал. Обман!

Но, о них думая, затихал и вправду смирялся, позволяя сну мягкими руками коснуться глаз. И во сне видел себя здоровым, не спешащим использовать свое здоровье — свои цельные руки и ноги, свою молодость. Видел женщину — шутил с ней.

Обрубку еще не было тридцати лет. В этом возрасте перед человеком вся его жизнь. Но Обрубок не был человеком...

ОБЕЗЬЯНИЙ ГОРОДОК

Замкнутым кругом вырыли ров, сделав внешнюю стену отвесной. Получился островок, выхода с которого не было.

Посреди острова высокое сухое дерево с голыми ветвями. На них обезьянам удобно заниматься гимнастикой.

Под деревом домики с окнами, чердаками, крышами, — совсем как человеческие. Хорошие качели. Бассейн с проточной водой, а над ним, на перекладине, подвешено на веревке кольцо. Все для удовольствия.

Огромной семье серых мартышек жилось привольно. Плодились, размножались, наполняли городок.

Смотритель зоологического сада рассчитал правильно: обезьяний городок пользовался большим успехом у публики. Мартышкам бросали орехи, хлеб, картофель, любили их фокусами, смеялись над их любовью и семейными раздорами.

Смотритель решил переселить в городок и рыжую породу. Добавили домик, крышу сделали покрепче. Новые граждане были чуть-чуть покрупнее, мускулами крепче, нравом озорнее.

Сначала все шло хорошо. Были, конечно, драки, но без драк не бывает прочной общности. Затем выяснилось соотношение сил и началось расовое засилие.

Был среди рыжих один — чистый разбойник. Сильный, ловкий, злой, командир среди своих, он стал истинным бичом серых. Не пропускал случая задеть, куснуть в загривок, цапнуть за ногу.

Сначала побаивался тронуть самку-мать, возле которой суетился голый, тоненький живчик. Но кончилось тем, что белыми острыми зубами, ловко подкравшись, тяпнул нежного младенца и спасся на дерево от разъяренной матери.

Проделка рыжим понравилась; они почувствовали свою силу. И тогда же в обезьяньей душе серых впервые родилось сознание предопределенности, грядущей неминуемой гибели их патриархального племени.

Серый страх поселился в обезьяньем городке. И скоро худшие ожидания оправдались.

Рыжий засильник скучал. Все одно и то же, все одно и то же. Даже никакого серьезного сопротивления. После того как он, загнав робкую жертву на край ветки, заставил ее сделать неудачный прыжок вниз (серый сломал заднюю руку),— никто из серых больше на дерево не лазил. Отнимать пищу тоже скучно — и надоело, и не к чему, своей достаточно. Нужно что-нибудь особенное.

От скуки рыжий делал стратегические обходы, высматривал кучу дрожащих обезьянок, бросался прямо с крыши домика в самую гущу, цапал за загривок кого попало, потом садился поодаль, почесывая бок, и белыми зубами дразнился и издевался над трусами. Те вновь скучивались поодаль, уставив на него близкие глазки и стуча зубами. Куда бы он ни упрыгивал,— все как по команде повергывались в его сторону, зорко наблюдая за его движениями и готовясь в нужный момент отпрыгнуть. Когда он отходил далеко или спал дома,— они решалисьлизывать раны, глотать морковку, искать друг у друга блох и, наскоро и несмело, любить друг друга. Жизнь, хоть и ставшая невыносимой, должна была продолжаться. Но это была жизнь обреченных.

Однажды, когда рыжий скучал от безделья, один из серых рискнул позабавиться: прыгнул в кольцо над бассейном и стал качаться. Рыжий заметил, тихо спустился в ров, обошел понизу обезьянью усадьбу, нацелился, внезапно появился у бассейна, поймал серого за хвост и быстро сдернул его в воду.

Серый поплыл к краю,— но враг его был уже там; поплыл к другому,— но и здесь не удалось выйти. Едва он цеплялся за край, рыжий засильник крепкой рукой ударял его по маковке головы и окунал в воду.

Вот наконец новая и интересная забава. Серая жертва обессилела и, погружаясь в воду, пускала пузыри. Когда, в последний раз, мокрая обезьянья головка появилась у края, рыжий, уже без особого увлечения, лишь легким щелчком, погрузил ее в бассейн и подержал недолго. Теперь всплыли только пузыри. Издали на эту

шалость рыжего смотрели дрожащие серые обезьянки, скаля зубы и поджигая хвосты.

Рыжий подождал, обошел еще раз бассейн, задорно выгнул спину, потом отошел, присел, оскалил зубы, отряхнул мокрую руку и, найдя турецкий боб, принялся его чистить. Забава окончилась, и опять стало скучно.

Но в общем, опыт ему понравился, и бассейн стал чаще привлекать его внимание. Теперь он уже сам загонял сюда новые жертвы. Когда ему удавалось схватить крепкими зубами зазевавшегося серого, он подтаскивал его к бассейну, отбиваясь зубами от судорожных рук, и быстро сталкивал в воду. Топил не торопясь, давая жертве немного отдышаться, лукаво отходя к краю и возвращаясь вовремя, чтобы погрузить голову слабого пловца, играл, забавлялся, прыгал в кольцо, качался и вновь подоспевал вовремя. Утопив, скучал, растягивался на крыше домика, забирался на дерево и сильными мускулами сотрясал большие сухие ветви.

Серая колония убывала. Страх перешел в безнадежность. Примеру главаря следовали и другие рыжие, нападая врасплох на исхудавших, облезлых, растерянных, дрожащих обезьянок, забираясь в их дома, выгоняя их наружу, отнимая пищу, перегрызая руки, вырывая ключьями шерсть. Серая колония таяла — рыжая плодилась и благоденствовала.

Смотритель зоологического сада слишком поздно заметил исчезновение серых, — лишь когда воду спустили для чистки бассейна. Сторожем досталось. Оставшихся серых переселили из вольного городка в особую клетку. Здесь их откормили, а к клетке привесили дощечку с их латинским названием. Разрешили жене одного из сторожей поставить рядом столик с пакетиками турецких бобов. Это давало сторожике небольшой постоянный доход, особенно по воскресным дням, а саду — экономию на пропитание обезьяньего племени.

Глядя на пополневших мартышек, невозможно было установить, вспоминают ли они об обезьяньем вольном городке, своей утраченной отчизне. Близко поставленными глазками они смотрели на публику, принимали подающие, скалили зубы и, не стесняясь людей, делали на глазах всех то, что полагается делать человеческому подобию.

ИНВАЛИДЫ

Сегодня с утра к Стольникову забегали защитные шинели с пустыми рукавами, стучащие деревянные ноги и возбужденные лица со страшными шрамами. Обрубок внезапно стал их общепризнанным вождем, хотя было у них подобие своей организации — Союз инвалидов — и хотя из двух требований, с которыми решили они выступить, первое («Война до победного конца») не находило в нем сочувствия. Вторым была помощь инвалидам великой войны: но и об этом мало думал Стольников. Его волновала только мысль об открытом выступлении безруких, безногих, изуродованных людей. О них забыли — их слово теперь обязаны выслушать. И чем громче, чем резче, чем злее и настойчивее прозвучит оно, — тем лучше.

Было решено, что его, как совершеннейшего из инвалидов, понесут впереди в кресле, поставленном на высокие носилки. Остановится процессия перед домом Совета депутатов, и там будут сказаны речи.

К двум часам собрались кучками на Тверском, расселись на лавочках, потоптались у Пушкина, бродили по площади. Когда принесли Стольникова, все подтянулись к нему. Знамя было одно: красное, Союза инвалидов.

Получилась толпа сотни в три. Носилки с креслом несли трое посильнее; четвертым был Григорий. Рядом шли безрукие и на костылях. Вели под руку нескольких слепых, в том числе и Каштанова. В толпе белелось много повязок.

По самому тротуару, припадая на одну ногу, ковылял страшный солдатик, у которого не было лица: на блестящей коже чернели лишь глаза без ресниц и без бровей, буравились дырочки носа и висел сбоку клочок путаной бороды.

Когда процессия остановилась, на балкон дома Совета депутатов вышло пять человек. Один, блондин с бородкой, похожий на интеллигентного купчика, полный и уверенный в себе, перевесился дородным телом через перила балкона и замахал рукой. Четверо облокотились на перила, без особого любопытства разглядывая толпу уродцев. Была эта картина не новая.

Из толпы инвалидов кричали нестройным хором. Слышались слова «до победы», «позор», «мы требуем», некоторые махали листками, но видна была плохая орга-

низованность выступления и несогласованность желаний пришедшей толпы.

Блондин на балконе опять махнул рукой и начал говорить. Голос его был хрипл, очевидно надорван постоянными речами; сегодня он говорил с балкона уже в шестой раз — шестой толпе солдатских шинелей. И речь его была заучена, одна для всех, различались только обращения. Сейчас он говорил к «товарищам-инвалидам империалистической бойни». Слова ударялись о памятник Скобелеву, с которого только что сняли бронзовые фигуры, пролетали дальше и терялись в низких сводах гауптвахты. Прохожие задерживались ненадолго, — к демонстрациям у Совета давно привыкли, слова с балкона давно были известны. Внимание привлекало только кресло Обрубка, возвышавшееся над толпой.

Стольников, покачиваясь при неловких движениях носилок, не отрывая глаз смотрел на здорового, двурукого, двуногого оратора. Привязанный к креслу, он ярче обыкновенного чувствовал свое бессилие, свою неспособность к жесту, сейчас так ему необходимому.

В середине речи оратора начали прерывать; к концу гул голосов совсем заглушил его слова. Те, что стояли ближе к носилкам Обрубка, засучили рукава и совали к балкону синие культипки рук, другие махали костылями и кричали с надрывом. Непонятное кричали и слепые. Солдат без лица вышел вперед и мычал: он был нем.

Оратор выкрикнул последнее, рукой показал куда-то вдаль и вверх, утер губы платком и попятился к двери; за ним вышли и другие.

Нужно было что-то делать, а что именно — никто точно не знал. Делегаты с листом требований вернулись; лист у них взяли, но самих в здание Совета не пустили. У входа в Совет стояли молодые солдаты с винтовками, другие были расставлены на тротуаре и прогоняли оставившихся прохожих. Из подъезда вихрем вылетел юноша в военной форме, одетый чище других и лучше затянутый кушаком, очевидно — командир, перебежал тротуар и, не подходя близко к голове процессии, закрычал:

— Проходите, товарищи, расходитесь, довольно! Нельзя занимать площадь.

Вернулся и вывел наряд, занявший весь тротуар перед домом.

Толпа инвалидов потопталась на месте, но крайние,

поздоровее, уже пятились. Те, что несли знамя, двинулись в сторону улицы.

В этот момент, покрывая гул толпы, раздался резкий и дикий, почти нечеловеческий крик, сорвавшийся в визг:

— Разбойники! Р-р-раз-бой-ни-ки!

Носилки покачнулись. Быстро, свободной рукой, Григорий подхватил падавшее с кресла тело Обрубка, сломавшего легкую перекладину, которая его сдерживала. Из толпы бросились помочь. Почти вплотную подбежал и начальник караула с двумя солдатами.

— Убрать! Уноси его отсюда, пока хуже не будет. Товарищи, слышали приказ: расходись немедленно!

Обрубок был без чувств. Григорий, передав свой край носилок, подвязывал ручки кресла, обматывая той же веревкой грудь Обрубка и спинку кресла. Затем, толкнув в бок парня с перевязанной щечкой, державшего передний край носилок, глухо скомандовал:

— Айда, заноси край. Нечего тут проклажаться.

Толпа смолкла и быстро двинулась. Только часть пошла за Стольниковым; другая, перегоня свернутое знамя, рассыпалась в противоположную сторону Тверской.

— Как бы чего не вышло,— сказал инвалид, шагавший рядом с Григорием.— Они, брат, не посмотрят, что он безногий-безрукий. Главное дело, что офицер... Этакое им крикнул.

— Чего с него взять,— буркнул Григорий.— Все уже взято.

И, поторапливая носильщиков, он одним насупленным, суровым взглядом заставлял толпу встречных и любопытных сворачивать с пути странной процессии.

Обрубок очнулся, отыскал глазами Григория, затем снова опустил голову и до самого дома не открывал глаз. Только при неловких движениях носилок лицо его вздрагивало болезненно.

КРУГ СЖИМАЕТСЯ

Сегодня Дуняша вытопила печь в гостиной, где теперь стоит рояль, занимая полкомнаты. Зал и столовая заперты. Танюша переселилась в бабушкину комнату, рядом со спальней дедушки. Второй этаж не отапливался, так как дрова достаются с трудом. В последний раз ез-

дили за дровами вместе Николай и Дуняша, а подводу дал зеленщик. Привезли березовых, сухих, отличных, а откуда — это уж секрет Николая, зря болтать нечего. По дороге какие-то пробовали остановить подводу, но Николай отстоял:

— Везу себе, свои кости греть. Отымай у других, а не у рабочего человека. Меня, брат, не испугаешь! Я сам совдеп.

И ничего, пропустили.

Эдуард Львович играл Шопена. Играл спокойно, не дергаясь. Танюша, хозяйка особняка, разливала чай. Орнитолог не на диване, а в глубоком кресле. Был и Поплавский, худой как тень, — очень ему тяжело жить. Конечно, и Вася Болтановский, каждодневный теперь гость; да и не гость, а свой человек. Из новых знакомых — Алексей Дмитриевич Астафьев, философ, приват-доцент. С ним Таню познакомил Вася, а старый профессор знал его немного по университету и одобрял. Только мужчины; даже Леночки не было; Леночка перед самой революцией вышла замуж за доктора.

Чай был настоящий, из старых запасов; хлеб белый, из муки, которую привезли из деревни Дуняше. Сахар пайковый — еще выдавали иногда.

Профессор думал о том, что вот нет в углу лампы, освещавшей седую голову и чепчик бабушки и ее рукоделье. Потом переводил глаза на Танюшу и видел, что Танюша, заменившая бабушку за самоваром, стала, пожалуй, совсем взрослой. Уверенная, заботливая, задумчивая; даже слишком задумчивая, — в ее годы можно бы и легкомысленнее быть, но только, конечно, не в такое время; сейчас беззаботных нет. А Вася все на нее смотрит, все смотрит. Славный паренек Вася, да только вряд ли Танюша отметит его особо; мальчик он хоть и хороший, а не по Танюше. Совсем другой человек ей нужен.

Поплавский сказал:

— И тепло же у вас. И уютно, еще уютнее прежнего. У меня дома настоящий мороз; я в одной комнате заперся, а в столовой с потолка свесились сталактиты; у нас водопровод лопнул.

Эдуард Львович потер руками и подумал, что ведь у него тоже холодно. Правда, есть печурка, но обращаться с ней очень трудно, даже если дрова наколоты на маленькие кусочки и положены рядом. Подумал Эду-

ард Львович, но ничего не сказал: это не из его области разговор. Главное, есть у него рояль. А ведь у некоторых отобрали. Опять поежился и потер руками.

Танюша спросила Астафьева:

— А вы где живете, Алексей Дмитрич?

— Я живу на Владимиро-Долгоруковской. Дом у нас сейчас заселен рабочими, а из буржуазных элементов только я остался. Пока не трогают, но, вероятно, выселят и меня. Шумно у нас, а любопытно.

Вася рассмеялся:

— Чего же любопытного, когда у вас все отобрали.

— Ну, что ж за беда. Да и не все, книги остались.

— Без полок?

— Полк осталось мало. Но я их сам сжег; холодно-вато было.

— И книги отберут.

— Может быть, отберут. Я не так уж и огорчусь.

— А как работать?

Астафьев улыбнулся, не сразу ответил:

— Работать... Конечно, по-прежнему работать будет невозможно; да и теперь нельзя. Но ведь... и нужно ли?

На него смотрела Танюша, и он продолжал:

— Философия стала уж слишком очевидной роскошью. Как и вообще наука. Для себя самого — да, а для других — не знаю. Чему учить других, когда жизнь учит лучше всякого философа?

Танюша подумала: «Что это он, иронизирует или кокетничает парадоксами?» Поплавскому стало грустно от таких слов. А старый орнитолог беспокоился:

— Как же тогда, делать-то что же, улицу мести? Мудрость, веками накопленная, не может же вдруг, в один день стать ненужной.

Астафьеву очень не хотелось возражать. И вообще говорить не хотелось. Было так уютно в старом особнячке, так тепло и старинно. И так хорошо от музыки Эдуарда Львовича и от чая, налитого руками Танюши. Но нужно ответить.

— Видите, профессор, вот ваша область, естествознание, она такая, ну, безошибочная, что ли. А философия ведь даже и не наука, хотя и зовется наукой наук. Ее рождает роскошь жизни или усталость от жизни. Она — пирожное. И еще она — насмешка. И еще она — уход. Жизнь же сейчас такова, что если он нее отойдешь на минуту — она от тебя уйдет на дни. Кто хочет выжить,

тот должен за нее цепляться, за жизнь, карабкаться, других с подножки сшибать,— как в трамвае.

— Тоже и это — философия,— сказал профессор.— Печальная, конечно.

— Да нет, почему печальная. Просто подошли мы ближе к природе. Быт огрубел и упростился; должно и бытие ему соответствовать.

Поплавский вставил:

— Ну, бытие не грубеет. Бытие, напротив, тоньше становится. Мы сейчас глубже чувствуем. Быт идет сам собой, а жизнь духовная...

— Думаете, сложнее становится? А я не думаю. Обыватель от усталости становится немного философом, а философ — обывателем; оба циники. От этого бытие не выигрывает. А главное — все это не нужно, как прежде было нужно. Сейчас важнее сохранить и развить мускулы, а книги — зачем книги, разве что популярные брошюры, учебники, пожалуй, сказки — для отдыха.

И Астафьев улыбнулся так, что можно было принять его слова за шутку, а можно и за серьезное.

Эдуард Львович обвел всех близорукими глазами и на редкость уверенным голосом, картавя, сказал:

— Хотите рп, я сыграю что-нибудь крассическое?

Пока он играл, Астафьев смотрел на Танюшу, которая, стараясь не стукнуть ложечкой, мыла чашки. Астафьев думал: кто она такая? С детскими еще чертами лица — взрослая женщина.

Танюше шел двадцать первый год. Она была стройна и красива. Лицо очень строгое, почти холодное,— хотя и очень русское. Улыбка, наоборот, цельная, несдержанная, согревающая. Когда улыбка сбегала с лица Танюши, на минуту на лице оставался румянец и ласково играли глаза. Затем опять рождалась Диана. Вечером серые глаза Танюши казались темными и синими. Волосы гладко зачесаны над большим лбом. Танюша была из породы тех немодных женщин, которые не могут сделать изящного движения и которым не приходится думать, как держать руки или как наклонить голову. Такой она была на людях, в обществе. Иноу она была одна: глаза раскрывались шире, на лбу появлялась легкая складочка, и Танюша становилась хрупкой и испуганной девочкой, которая не знает, куда ей идти, у чьей двери постучаться, у которой на всем свете нет никого, кто мог бы указать и посоветовать. Танюша смотрела в окно и

видела серое небо; она брала книгу, на страницах которой не было ответа. Она вздыхала, и кофточка казалась ей тесной. Тяжелые волосы оттягивали голову. Все предметы в комнате, давно знакомые, смотрели на нее равнодушно и слишком логично. Тогда она шла к дедушке и прижималась к его жесткой щеке. Дедушка гладил ее и думал: «Что будет с моей Танюшей?»

Эдуард Львович играл сегодня с особой уверенностью и, когда играл, знал определенно, что люди растерялись, а истина известна только ему, Эдуарду Львовичу. Только он обладает вполне несомненным. И несомненного отнять нельзя. Несомненное — музыка, мир звуков, власть звуков, композиция. Он ударял пальцем по клавише, и клавиша отвечала так, как он хотел и требовал.

За окнами падал снег. Ни лошади, ни пешехода не было на Сивцевом Вражке.

В Хамовниках, в большом доме с освещенными окнами, суетились люди в гимнастерках, в кожаных куртках, в солдатских шинелях. Выходили группами, садились в автомобили и летели быстрее нужного. Пока Эдуард Львович играл, неуклюжий солдатский палец выводил буквы его фамилии и прикладывал печать. Музыка, композиция несомненны и неотъемлемы. Но рояль — вещь, которая может быть отнята с еще большей легкостью, чем отнимают сейчас жизнь. И притом рояль очень нужен для рабочего клуба.

Вписав в бланк мандата фамилию композитора, тот же палец, уже гораздо свободнее и увереннее, даже несколько игриво, подписал внизу и собственное имя с красным росчерком:

«Андрей Колчагин».

И поставил печать.

ВЕЩЬ

Выходная дверь с треском захлопнулась, но с лестницы еще доносились голоса, а струны рояля при толчках звучали удивленным баском.

Комната выходила во двор, и как грузили рояль на подводу, Эдуард Львович не видел.

Однако один из реквизиторов вернулся, постучав — вошел и утешительно повторил Эдуарду Львовичу:

— Значит, вы, гражданин, особенно не волнуйтесь.

Если окажется, что у вас исключительное право от учреждения по музыке, тогда обратно получите, не этот, так другой. А против декрета мы не можем, и рабочие клубы в высшей степени нуждаются в музыкальных фортепьянах; всякому мы оставлять фактически не можем, так что ясное дело. А зря волноваться нечего, никто вас не обидит, и все идет на нужные потребности страны. Вы даже должны, как образованный человек, радоваться. А впрочем, можете жаловаться.

И ушел.

Хотя Эдуард Львович ел, пил и спал, как все остальные люди, но от этих остальных людей он отличался тем, что как-то мало замечал, что он ест и пьет, а спать он ложится потому, что играть ночью нельзя,— спят остальные люди. Кроме того, у остальных людей были еще малопонятные Эдуарду Львовичу интересы: семейные, деловые, политические. По нотах жизни своей они разыгрывали опусы, весьма чуждые композитору и как-то не вполне подчиняющиеся контрапункту. Вероятно, все это было нужно, но уж, во всяком случае, можно было обойтись и без этого при наличии того всеобъемлющего и всеисчерпывающего, которое зовется музыкой.

Это доказано и опытом. Эдуарду Львовичу уже за пятьдесят лет, у него не было ни семьи, ни других привязанностей, а если и было что-то подобное в молодости, то теперь все это уже давно претворено в звуки и легко укладывается в пять строк нотной бумаги. И уж, конечно, Эдуард Львович не заметил, как он из обыкновенного, как хроматическая гамма, человека, хотя и с абсолютным слухом, сделался — гражданином.

Когда человек, назвавший Эдуарда Львовича гражданином, ушел, на полу остались пятнышки пыли в тех местах, где раньше были ножки рояля, а от пятнышек, как колеи на полу, шли к дверям три светлые ленты. А на этажерке ноты, вдруг ставшие ненужными, в особенности рукописные, в большой старой папке.

И еще осталась в комнате никому на свете не нужная, старая, подержанная вещь — сам Эдуард Львович. Вещь стояла среди комнаты, потрогала себя рукой за редкие волосы на висках и посадила себя на стул у стены. Круглый же табурет с повышающимся сиденьем стоял пустым среди комнаты, и сестра на него было бы теперь как-то странно: неизвестно, куда обратиться лицом; совершенно безразлично.

С полчаса вещь просидела так, вполне сознавая важность случившегося, но путаясь в деталях, а главное, не понимая, что же нужно теперь делать. Был даже момент, когда вещь улыбнулась и подумала: «Это же ведь не может быть! Вероятно, это что-нибудь из той, из их жизни, не имеющей отношения. Нельзя же предположить, что вдруг действительно кто-то зачем-то мог отнять и увести... ну, почти что... то есть не почти что, а именно... душу,— взять ее и увести на подводе? Ведь невозможно же без инструмента не только обработать, но и наметить в главных чертах симфонию или даже небольшой романс, и вообще — ну ведь нельзя же жить на свете без инструмента, как же это так? Что же тогда останется?»

Это было настолько нелепо и похоже на шутку, настолько невероятно, что вещь, сидевшая на стуле у стенки, попробовала улыбнуться; затем она на минуту закрыла глаза. Немедленно же три светлые ленточки на полу исчезли, на пятнышки пыли встали ножки рояля, и все вернулось. Открыв же глаза снова, вещь опять увидела пятнышки и полоски к выходной двери.

И вот тут из дальнего уголка памяти, из старой нотной тетрадки, где все записи пожелтели и полустерлись, позабытым мотивчиком внезапно выглянула мысль, что подобный случай уже был однажды. И подробности: тоже вынесли предмет вроде ящика и тоже на его месте осталась незаполненная пустота. Ящик поменьше и полегче, узкий. Ящик был гробом, а лежала в нем мать Эдуарда Львовича, сожигатель всей его жизни, почти до самых седых его волос.

Но была и разница. Какая же была разница?

Во-первых, тогда Эдуард Львович вышел из комнаты вслед за ящиком и шел за ним по улице до могилы. Ящик опустили в землю. Потом... потом Эдуард Львович вернулся домой, и квартира (тогда у него была своя, никем не оспариваемая квартира) показалась ему пустой. И вот тут... произошло что-то примиряющее, утешит... ну да. Он сел за рояль и стал играть. И играл до сумерек. И играя — забыл о потере. И каждый раз, как он чувствовал наступившую в жизни пустоту,— он заполнял ее звуками рояля.

А теперь? И вот тут мысль мучительно путалась и терялась. Разумный Эдуард Львович исчезал, а на стуле оказывалась ненужная вещь, старая и выцветшая, называющаяся гражданином.

Экономическая печурка потухла, и ноги Эдуарда Львовича стали зябнуть. Сначала он хотел снова затопить печурку, но понял, что теперь это совершенно ни к чему. Тогда надел свою рыжую шубенку, валенки, шапку и, осторожно ступая, чтобы не наступить на вытертые на паркете ленточки, вышел из дому.

Тусклым огоньком теплилось в памяти, что идти нужно вслед... за этим ящичком, в котором вложено все содержание жизни. Нужно за ним идти, так как можно пожаловаться. Но куда за ним идти? Какой улицей? В каком направлении?

В тот раз его несли за Дорогомилловскую заставу. Потом по дороге, в ворота и в глубину налево, маленькая могила за решеткой; и там у могилы лавочка.

Эдуард Львович сильно устал, но нашел могилу легко,— знакомая могила. Даже соседние могилы были знакомы. Так хорошо было встретиться, опять быть в кругу таких простых, тихих и приятных... действительно, точно друзья. С того раза, однако, прошло... Эдуард Львович считал... уже лет... уже лет пятнадцать или уж шестнадцать. Какая уютная эта могила — его матери,— хотя такая простая. И он присел на лавочку.

Глубокой старушкой умерла его мать. Теперь же и сам он почти старичок. Волос мало и волосы седые. Когда волос было больше и они седыми еще не были, то случалось... вот тут опять из старой нотной тетрадки украдкой зазвучали мотивчики... случалось, что было на что пожаловаться матери,— на первые неудачи, на равнодушные публики, на непонимание критики,— разные были тогда обиды, и тоже немалые... но, конечно, не такие, такой никогда еще не было. И если он теперь... если, например, он и теперь пожалуется своей родной матери (потому что ведь теперь обида новая и несносная), то она его, во всяком случае, поймет; другие, остальные люди, может быть, и не поняли бы, но мать — старый друг! Она поймет!

В валенках плохоньких, подшитых на пятке кожей, в шубенке трепаной, снявши шапку, на гражданина не похожий, но очень похожий на ненужную и подержанную вещь,— седой, никому не нужный и теперь человек сполз с лавочки в снег на коленки и, обжигая лысину о железо решетки, стал плакать, по-ребячьи всхлипывая. На кладбищах нужно плакать по другим,— а он по самому себе, так как его обидели, отняли у него игруш-

ку всей жизни. Бедный такой, точно маленький, а сам уже старичок. И, как ребенок, все слова забыл, а помнил и повторял только одно коротенькое словечко «мама»,— других слов не было. Вытирал нос рукавом, а обильные слезы буравили дырочки в снегу и застывали светлой сосулькой на завитушке решетки. Сквозь туман слез он смотрел на дырочки и на сосульку, а всхлипывания свои укладывал на ноты, ставил форшлаг, отделяя черточкой, помечал паузой на три четверти.

Когда все слезы кончились, встал, огляделся, смущенно улыбнулся, поклонился могиле вежливым поклоном, потоптался, как в передней, перед уходом из гостей, и пошел к выходу, проваливаясь в сугробах нечищеного кладбища...

Пошел к дому,— и долго плелся по улицам, шаркая валенками, уступая дорогу прохожим, стараясь от холода спрятать лицо в мездру воротника.

Дома его ждала комната, не согретая печуркой. В комнате было темно, и не видно ни пятнышка пыли, ни полосок па паркете. Вещь осторожно приоткрыла дверь, вошла, нащупала в темноте стул у стенки и села.

БРОНЗОВЫЙ ШАРИК

Танюша навестила Стольников. На этот раз он принял ее сидя в кресле. На нем был френч с напрасными рукавами. Кресло — у стола, где разложены «изобретения», и посередине — бронзовый шарик на листе темно-зеленой бумаги.

Танюша, войдя, сразу опять почувствовала ту неловкость, которая удерживала ее от второго визита. Как-то странно даже войти: нельзя подать руки. Может быть, нужно поклониться. И, конечно, нужно смотреть просто, приветливо и весело. Нужно сделать лицо — это все труднее. И она покраснела еще на пороге.

Ясно понимала Танюша, что не нужно спрашивать ни о здоровье, ни «как поживаете», что нужно непринужденно говорить самой о чем-нибудь и о ком-нибудь, рассказывать, развлекать. Но это так трудно. И обрадовалась, когда Стольников заговорил сам. Он сказал:

— Приятно, очень приятно мне видеть вас, Танюша. Я называю вас Танюшей по-прежнему, хотя вы совсем большая стали; но я-то стал зато вроде как бы старик,

хотя Григорий и называет меня малым ребенком. Как же ваши занятия, Танюша?

Она стала рассказывать и заметила, что он почти не слушает, а думает о своем. Она спросила:

— Вам что-нибудь нужно? Помочь вам чем-нибудь?

— Пожалуй, мне покурить хочется. Возьмите папиросу и суньте ее без стеснения прямо мне в рот. Вот так, спасибо, а пепельницу Григорий прямо передо мной ставит.

— Это что за шарик у вас?

— Шарик... Да, это замечательный шарик.

И вдруг, с изменившимся лицом, он заговорил быстрым шепотом:

— Шарик этот, Танюша, может все изменить и перевернуть, все вернуть... Вы не верите в чудо? Я в такое чудо верить могу, ведь я сам, говорят, чудо, чудо хирургии и выносливости. И вот я смотрю на этот шарик и жду... он должен зашевелиться. И он, Танюша, зашевелится, я его заставлю, взглядом заставлю.

Она не поняла, но Обрубок и не смотрел на нее.

— Должна быть такая сила, понимаете, выработаться сила. Сначала пустяк— действие на шарик, чтобы покатился; а если это будет, тогда, вы понимаете, в дальнейшем будет все возможно, только нужна гимнастика воли. Если заставлю, тогда мне не нужно рук и ног, я и без них буду сильнее многих и всех,— понимаете.

С напряженными мускулами лица, слегка раскачиваясь, он фиксировал шарик взглядом, как бы толкая его мыслью. Папироса упала в подставленную пепельницу. И так же напряженно, широко раскрыв глаза, полная жалости и жути, смотрела на него Танюша и испуганно думала: «Что же делать, Господи, что же делать! Он помешался, он совсем болен».

На минуту закрыв глаза, Стольников как-то сразу успокоился, улыбнулся своей прежней, давней улыбкой, прямо взглянул на Танюшу и сказал:

— Нет, Танюша, вы этого не думайте, я не сумасшедший. Тут совсем другое. Тут единственный исход, спасенье единственное. Моя жизнь, вы понимаете, несладка. Но если надо жить— надо ее, жизнь, создать терпимой; а такая, теперешняя, нетерпима. Так жить непереносимо мне, Танюша. Либо верить, либо не верить. Мой шарик не такое уже безумие. Безрукие пишут ногами, безногие передвигаются при помощи рук, глухие слушают

трубкой, слепые учатся видеть при помощи каких-то инструментов. Все это — чудеса не меньше моего чуда, которого жду я. Я ведь тоже многого добился: я вот могу есть суп ложкой и сам в постели закурываю. Бесконечно многого можно добиться. Писать ртом совсем просто. Но хочу я добиться бесконечно большего, потому что и несчастье мое бесконечно большое. Есть области духа, нам еще мало ведомые, но реальные, а не гадаемые. Можно устраивать взрывы на расстоянии, без проводов. Можно в Европе слышать голос из Америки. Говорят, можно будет управлять полетом аэроплана без пилота. Это все, конечно, чудеса. Это — техника; а в области духа чудес должно быть больше. Факиры тоже не все шарлатаны. И не таких уж чудес я хочу. Я не скалу хочу двинуть, а легкий шарик. Человек — источник огромной силы: изучить ее нужно и направлять ее. Нет, Танюша, я не безумный.

— Я и не думала...

— Нет, вы именно подумали, я знаю. Я вообще многое чувствую острее, чем другие, чем здоровые... целые люди. Но не в том дело. А дело в том... Но вот... хотите, Танюша, взгляните на меня.

Она подняла глаза и встретила его опять изменившийся взгляд, сразу словно и пронизательный, и далекий, нездешний. Опять в темных больших глазах Обрубка, в глубине их, в зрачке, искоркой горело то, что Танюше показалось безумием.

— Вы не бойтесь, вы смотрите. Теперь смотрите сюда, на шарик, и вот смотрите... пристальней... вот... вот...

Танюша замерла. И вдруг случилось непонятное, странное своей простотой и неожиданностью: бронзовый шарик качнулся, покатился в сторону Танюши, докатился до края стола и со стуком упал к ее ногам. Танюша вскрикнула, отшатнулась, вскочила и отбежала к двери. Опомившись, она оглянулась и увидела откинутую назад голову Обрубка. Его глаза были полуоткрыты и казались белыми. В комнату вошел Григорий:

— Что вы, барышня? Или плохо им?

Увидав, в каком состоянии Обрубок, Григорий покачал головой:

— Бывает это с ним. Опять своим шариком забавлялся. Эх, барышня, какой они человек несчастливый. И день, и ночь вот так маются. Вы идите, барышня, я тут сам

управлюсь, это пройдет у него. Скоро отойдет, я знаю, тревожить не нужно. А вам тут быть неудобно.

Танюша вышла, едва держась на дрожащих ногах. То, что случилось, было так странно и так ужасно. Показалось ей — или и правда? Или он толкнул столик? А как он был бледен и как безумны были его глаза. Это — самое страшное, что видела Танюша в своей жизни.

Морозный воздух улицы вернул ей силы. Миновав Бронную, Танюша быстрой походкой пошла в сторону консерватории. Если бы она встретила кого-нибудь из знакомых, она не узнала бы.

ВИЗИТ

К Стольникову пришли под утро и стуком в дверь подняли Григория:

— Вы, гражданин, кто?

Григорий, хоть и понял, хмуро ответил вопросом:

— А вы сами кто такие? Чего вам нужно?

Четверо стояли с ружьями, а спрашивал пятый, в кожаной куртке, с красным бутафорским бантом. Махнул у Григория под носом наганом:

— Мы вот кто. Офицер Стольников который тут?

— На что вам его? Спят они. Не к чему их беспокоить.

— Ты что же, денщик его, что ли?

— Денщик.

— И тебя заберем. Денщиков, брат, нет больше, коли не понимаешь. Ну, поворачивайся.

И ввалились в спальню Стольникова.

Григорий смотрел мрачной тучей. Не испугался ни сколько — видал всякие виды.

Обрубок лежал под одеялом, повернув голову к вошедшим. Он проснулся от стука, понял и теперь смотрел на вошедших молча, нахмурив брови. В глазах была злая насмешка.

— Вы, что ли, офицер Стольников? А ну, вставай, не стесняйся, здесь баб нет.

Григорий мрачно и раздельно сказал:

— Спроси сначала, могут ли они встать. Не знаете сами, куда идете. Разве это полагается инвалидов беспокоить?

Черная куртка прикрикнула:

— Ты, товарищ денщик, не очень разговаривай; заберем и тебя без предписания. Подымай своего барина. Мандат у нас имеется. Без разговоров, граждане, документы свои предъявите.

Стольников тихо произнес:

— Дай им документы, Григорий.

— Вы что же, инвалид? — спросил черный.

Стольников не ответил, смотрел черному в глаза насмешливо.

— Спрашиваю — надо отвечать! И в постели нечего прохладиться. Предписано доставить вас, а уж там разберут, чем больны. Это дело не наше.

Солдаты смотрели с любопытством. И лицо, и голос лежащего офицера были особенными. И видели, что начальник наряда смущен, хоть и старается держать тон.

Отдавая документы, Григорий сказал тихо:

— Без рук, без ног они. Нечего вам с ними делать.

Начальник наряда промычал:

— Дело не мое. Есть приказ доставить. И никаких не может быть рассуждений. Ходить-то может он?

— Ежели говорю, без рук, без ног.

— Мне все одно, хоть без головы. Приказ ясный, значит, не о чем говорить. Смотри, как бы и тебя не забрали.

— Меня нельзя, я за ним хожу.

— Нянька? Тоже — солдат называется.

— Уж какой есть, тебя не спрашивал.

— А ты, товарищ, не дерзи, управа найдется. Ладно, подымай своего барина.

Стольников, сверкнув глазами, сказал громко:

— А ты, хам, на войне-то воевал? Или только с офицерами воюешь?

Черный вспылил:

— Забирай его, ребята, как есть, нечего смотреть.

Ни один солдат не двинулся.

Тогда черный, держа в руке наган, подошел к постели Стольникова и закричал:

— Встать!

Встретил насмешливый взгляд. Стольников не шевельнулся.

Черный в бешенстве схватил край одеяла и сдернул с лежащего. В прорез рубашки глянул лоснящийся рубец плеча; другой рукав был подвернут под спину, а

вся рубашка — под бедра. Не дрогнув мускулом лица, Обрубок только впился в лицо черного.

Тогда сказал Григорий:

— Что ж это, братцы, делается! Разве так можно!

Один солдат стукнул прикладом и проворчал:

— Эй, брось его, пушай лежит. Какая в нем безопасность.

Другой поддержал:

— На кой он кому нужен. Видишь — инвалид полный.

Григорий подошел к постели, плечом отстранил черного и накрыл офицера одеялом. Обрубок лежал, закрыл глаза. Левая щека дергалась. Зубы стиснул.

Черный, не зная, что делать, закричал на Григория:

— А ну ты, товарищ, забирай свое барахло и собирайся. Айда, шевелись. Это у вас что тут за машина? Забирай, ребята, машину, велено для канцелярии. Протокол составим и айда. Вы, гражданин инвалид, до расследования останетесь дома, под арестом. Мое дело сторона, мандат имеется. А ты собирайся, денщик. Тебе там покажут, как офицера укрывать.

Григорий сказал решительно:

— Я не пойду. Тащи силой, коли на тебе креста нет. Воины!

Черный поднял наган, навел на Григория:

— Это видал? Скажи слово!

Но руку его резко отвела другая рука. Молодой солдат, покраснев до белесых волос, угрюмо буркнул:

— Оставь! Говорю, не замай. Машинку, коли надо, забирай, а его оставь. Не туда попали. Один на войне изрублен, а другой за ним ходит. Чай, не звери мы. Айда, собираться будем.

Черный совсем присмирел, сунул револьвер:

— Это дело не ваше, товарищи; я тут отвечаю один, а ваше дело исполнять.

— Ладно, очень тоже не начальствуй. Говорю — забирай машину, и будет.

И остальные застучались:

— Верно; здесь, товарищ, дело совсем особое. Также понимать нужно.

Черный совсем присмирел, сунул револьвер в кобуру, повернул к двери:

— Ну, там который-нибудь, прихвати машину.

— Ладно.

Четверо повернули головы к Стольникову и, смотря вбок, один за другим козырнули:

— Счастливо оставаться!

Молодой задержался, подошел к пишущей машинке, потрогал, опять покраснел:

— А ну ее к лешему, на кой она! Пуцдай остаетя.

И к Григорию:

— Ты, товарищ, ничего не беспокойся. Тоже и мы люди.

Затем к Обрубку — фронтом:

— Счастливо оставаться, ваше благородие!

И вышел, стуча сапогами.

КОНЦЕРТ

Дуняша в теплом платке поверх кофты и в валенках, Танюша в старых ботиках и серой меховой шапочке. Последние морозы. Город замерз. Только бы дотянуть до весны — там будет легче.

На дверях совдепа много всяких объявлений, отстуканных на испорченных ремингтонах. Лент нет, и печатают копировальной бумагой.

Печати огромные, а подписи рыжие, смешанными чернилами. Комендант принимает дважды в день. Что за должность: комендант? Подпись крупными каракулями: «Колчагин». И росчерк ржавым пером.

— Кого вам?

Пропустили. Однако пришлось обождать. На счастье, вышел сам, увидел, сказал: «Пожалуйте, я сейчас». И очень строго на кого-то прикрикнул:

— А вы зря ходите, гражданин, раз сказано бесповоротно!

Даже Дуняша присмирела. Танюша смотрела с любопытством: вот он, живший у них на кухне, а сейчас начальство. От него зависит судьба Эдуарда Львовича и, верно, еще многих людей.

В «кабинете» своем Колчагин стал иным. Со смущением поздоровался, видимо, волновался:

— Уж простите, что обождали. Верно, дело до меня? Вот, Татьяна Михайловна, где довелось встретиться. Конечно, сейчас время такое. Порядки наводим новые. А вы присядьте, может, чайку выпьете. Ты, Дуня, тоже садись, давно тебя не видал. Сейчас прикажу чай.

— Нет, не нужно, мы ведь по делу, а вас другие ждут.

— Подождут, неважно. Там все больше по напрасным делам. Конечно, решать приходится.

Не знал, как держать себя Дуняшин брат; суетился, но и важности терять не хотел. А Танюша не знала, как называть его. Раньше звала Андреем. Выручила Дуняша.

— Андрюша, пошто у барина, у Эдуарда Львовича, у учителя-то барышни, рояль отняли?

Танюша объяснила. Андрей, хоть и сам подписывал бумагу, не помнил, о ком разговор.

— Нельзя ли ему обратно отдать? Он композитор и профессор консерватории. Ему нельзя без инструмента. Что же ему делать?

Андрей вспомнил:

— Который косой, у вас все играл?

— Ну да, он.

— А кто ж отнял?

Навел справку. Узнал: для рабочего клуба. Но рояль еще не отправлен, а клуб еще не открыт. Вызвал кого-то по телефону, главное, чтобы показать деловитость. Покричал в трубку, похмурился, вышел из комнаты:

— Сейчас узнаю и прикажу.

Видимо, рад был, что может сделать властно и быстро. С четверть часа где-то пропадал, хлопотал, вернулся:

— Можно будет восстановить. Конечно, музыкант, дело совсем особое. По недоразумению у него отобрали.

Дуняша для крепости намекнула:

— Ты уж постарайся, Андрюша, для Татьяны Михайловны. Она тебе рубашки на фронт посылала.

— Так я что ж, обязательно. Сам с вами и на склад поеду. Это дело особое, по ошибке, за всем не усмотришь. Времена сейчас, конечно, другие, но мы против граждан ничего не имеем, различаем. Вы, Татьяна Михайловна, будьте покойны, и ежели у вас в доме какое недоразумение, придут там, или реквизиция, — обязательно ко мне, и будьте покойны.

Опять вышел — бумажку написал, печати. Приказ, одним словом.

— Пожалуйста, на склад поедem. Я уж сам для верности.

Вышли. Ждал у ворот автомобиль, шумный, облезлый, рвущийся. Колчагин был важен и суров, шоферу сказал отрывисто:

— Айда, товарищ, на склад, где намедни были.

На складе, в сарае бывшего торгового помещения, навалена была мебель, ковры, картины со сломанными рамками, письменные столы, пианино, зеркала, — все поцарапанное и поломанное в спешной перевозке. Роялей стояло два, и узнать знакомый — Эдуарда Львовича — нетрудно. Но Боже, в каком он виде: запыленный, грязный, с поцарапанной крышкой. Таня обрадовалась ему, как родному.

— Вот этот, Андрей, вот этот! Как же быть, как взять его?

Колчагин решил быть великодушным и властным до конца:

— Доставим, я прикажу.

— Наверное? А когда?

— Прикажу грузовик. Будьте покойны. Не сегодня, так завтра. Адресок оставьте.

Танюша погладила полированную поверхность рояля, приподняла крышку: не заперт. Не испорчен ли при перевозке? Присела на ящик, обеими руками прошла по клавишам.

Милый Эдуард Львович. Как он будет счастлив!

На звуки рояля заглянули в сарай два солдата и человек в штатском. Колчагин, с кобурой у пояса, стоял важно и самодовольно.

— Может, сыграете что?

Танюша удивленно оглянулась:

— Здесь?

— Так что же, и здесь. Мы бы послушали. Конечно, какие мы слушатели?

Танюша была преисполнена счастьем. Сыграть им? Только бы вернули рояль, а она готова на все. Холодно рукам... Она опять оглянулась и увидала, что у дверей сарая собрались еще любопытные. Сыграть им? О, она сыграет.

Дуняша нашла, обтерла и поставила стул. Танюша погрела руки дыханием, радостно улыбнулась (как странно играть здесь!) и стала играть первое, что вспомнилось.

Клавиши были как белые и черные льдинки, и иголки мороза покалывали пальцы. Но звуки были теплы и отзывались на великую Танюшину радость: она играла для своего учителя, для одинокого, никому не интересного Эдуарда Львовича, для обиженного старого ребенка. В первый раз она могла отблагодарить его за счастье му-

зыка, за годы строгого внимания к ней, к ее успехам, за все. Она готова играть, пока слушаются пальцы, пока потребует этого Дуняшин брат и эти люди у двери. Все равно — в холодном сарае или в блестящей огнями зале, знатокам или солдатам. Как это странно и как это прекрасно!

Играла напряженно, так как пальцы скользили по заиндевевшим клавишам. И чувствовала, как в старых ботинках стынут пальцы ног на педалях. И все-таки она играла.

Кончила и не знала, нужно ли играть еще. Пальцы страшно озябли и не отогревались дыханьем... Обернулась с виноватой улыбкой и увидела, как все, в молчанье, смотрят на нее глазами добрыми, смешными, пораженными. У двери уже толпа, а первые, подвинувшись ближе, молчат, ждут. Кажется — нужно еще играть им? От озноба в пальцах — слезы проступают на глазах. Но если нужно...

Голос Колчагина:

— Очень спасибо вам, товарищ Татьяна Михайловна. Вот отлично играет! Конечно, не место здесь.

Другие заметили:

— Покорнейше благодарим. Вот это уж музыка настоящая.

Дуняша помогла:

— Руки-то, чай, замерзли совсем. Вон тут какой мороз. У меня в валенках ноги окоченели.

Человек в кожаной куртке подошел:

— Обязательно просим, товарищ, в клубе нашем поиграть. Мы клуб открываем и инструмент поставим. Обязательно просим. Чем можем отблагодарим, пайком там каким, все, как полагается.

— Да, да, я сыграю,— растерянно отвечала Танюша.— Сколько хотите. Только бы этот рояль отвезти.

Колчагин опять авторитетно заявил:

— Как сказано. Либо нынче же, либо завтра, как грузовик будет. Приказ готов, дело за подводой. Раз сказано — не беспокойтесь.

Из склада вышли втроем. У ворот все прощались с Танюшей, опять благодарили, и она думала:

— Какие они хорошие! Я, кажется, плохо играла. Но какие они хорошие. Они удивительно слушали. И вообще все так хорошо! Только бы вернули, только бы вернули.

К особнячку в Сивцевом Вражке, лихо громыхая, подкатил по снегу комендантский автомобиль. Вышли Танюша и Дуняша.

— Так ты уж, Андрюша, позаботься.

— Сказал — значит будет. Счастливо оставаться, Татьяна Михайловна! В случае чего — вы уж прямо ко мне.

Вышедшему из ворот дворнику козырнул с приветливой важностью.

— Товарищу Николаю!

И шоферу:

— Обратно в совдеп поедем.

Дворник Николай посмотрел вслед машине, покачал головой, пробурчал про себя:

— Вот оно, новое начальство. Дунькин братан, дизайнер. Дела-а!

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУИ

— Никого не было, Дуняша?

— Был товарищ один, вас спрашивал.

— Какой товарищ?

— Солдат. Пожилой уж. Велел сказать — Григорий, с Бронной улицы. И чтоб вы зашли к им.

Танюша очень давно не навещала Стольникову; она бы навестила, но чувствовала она, что ее посещения радости Обрубку не дают, скорее напротив, как-то волнуют его. И она не забыла, — и он, конечно, помнит, — сцену с бронзовым шариком. Бедный, ему тяжело видеть ее, здоровую девушку, с которой он когда-то танцевал. После той странной сцены она была у Стольникову несколько раз, но всегда с кем-нибудь, чаще с Васей Болтановским, который удивительно умел быть простым, приветливым и даже веселым. С ним легче.

Теперь Танюша пошла одна. Не случилось ли чего-нибудь с больным, что ее вызывает Григорий?

Оказалось, что Стольников сам послал Григория к Танюше и просил ее прийти.

Он был сегодня прост, только как бы смущен:

— Очень по вас соскучился, решил побеспокоить. Я все один.

— Ну, конечно, Александр Игнатьевич... Я и сама зашла бы, но я не знала, хотите ли вы видеть...

У Стольникову засмеялись глаза:

— Видеть вас, Танюша, всегда хорошо; только сама не всегда в хорошем состоянии, чтобы принимать гостей. А вот сегодня ничего, дышу.

Она все-таки не знала, о чем говорить:

— Книг вам нужно принести? Я захватила с собой, но не знаю, интересно ли вам это.

Он поблагодарил, потом сказал:

— Вы меня не занимайте разговором, Танюша. Мне просто посмотреть на вас хотелось. Вот вы какая растете, красивая, славная. Только вот время сейчас тяжелое.

Она рассказала про разные домашние заботы, про то, как у Эдуарда Львовича реквизировали рояль, как бедный едва не помешался, как она была с Дуняшей в совдепе, где комендантом служит Дуняшин брат. Старалась не терять нити рассказа и все время видела глаза Стольниковых, сегодня такие простые и ласковые, не отрывавшиеся от ее лица. И Танюша даже увлеклась своими рассказами.

Иногда входил Григорий и тоже смотрел на нее ласково. Ее он давно одобрил: навещает инвалида, все же легче ему. Настоящая и хорошая барышня.

В паузе Стольников сказал:

— Я вам письмо писал, Танюша, длинное. Не послал, потому что теперь не надо. В письме рассказывал про себя больше. Кому-нибудь рассказать нужно, а кому же? Вам легче, и поняли бы меня лучше.

Танюша молчала.

— Я там писал про свои ощущения. Мир для меня сейчас совсем особенный, не как для других. Как бы посторонний мир. Иной раз злобствую сильно, а иногда примиряюсь. Иначе бы жить уж совсем, совсем невозможно. Вот и писал вам. И о себе,— это по слабости своей, конечно,— и о вас. Как бы благословляя вас на жизнь. Ведь это ничего, Танюша?

— Ну, Господи, конечно же.

— Вот. Вы не смущайтесь, я вам скажу... я вас очень люблю, так, знаете, по-хорошему. Ведь и букашке, то есть как бы это сказать, ведь и такому... ну... не совсем человеку, вот как мне, тоже хочется чувствовать, что-нибудь в сердце своем ласкать. Я ваше имя ласкаю, Танюша. Вы простите. Это я себе для прицепки к жизни придумал.

Оба помолчали, потом он опять продолжал:

— Да... По старым воспоминаниям. Я не очень воспоминаний чуждаюсь. Кусочками прошлого все же можно иногда жить...

Какой сегодня необыкновенный Стольников. И как он может говорить так просто. И как это странно.

— Вот. И знаете, Танюша... какое у вас имя славное... знаете, может быть, мир-то человеческий, все эти события, и личные радости, и всякие горести.— все это слишком переоценено, а в сущности, все это сводится к немногому. Ну, к сну, например. Сон — счастье, и всем равно доступен. Или к радостной минуте полного освобождения — к смерти.

— Не нужно, Александр Игнатьевич.

— Ах, нет, Танюша, я ведь не о печальном. Это так, философски. Не подумайте, что я хочу плакаться на судьбу мою... поистине горемычную. Я совсем о другом сейчас. Только объяснить это нелегко.

Он долго искал слов. Потом вдруг вскинул на Танюшу большие свои глаза и, со смущением мальчика, деланно и шутливым тоном сказал:

— Да-с... И решил я вас попросить о неприятной помощи мне в моих думах; даже, правильнее, о помощи моей жизни, поскольку, конечно, я живу. Сделаете?

— Скажите, я все сделаю, только я не знаю...

— Танюша, вот что... Вообще-то это несложно, только немножко оригинально... Ну, я путаюсь от смущенья... Вот что. Вы сейчас пойдете домой, вам, верно, и пора. А только вы меня, как уходить будете, по-це-луй-те.

И, задрожав, прибавил:

— Вот она, жертва ваша. За все мое, что я пережил...

У Танюши похолодело сердце. На минуту почувствовала непереносимый страх, хуже, чем тогда, с бронзовым шариком. Обрубок сидел, закрыв глаза и запрокинув голову.

Она встала, подошла и со смешанным чувством ужаса и бесконечной жалости обняла рукой голову Стольникова, наклонилась и приблизила к его губам свои. Он открыл глаза, в такой близости ставшие огромными. Тогда она, дрожа от волнения, холодными губами поцеловала сухие, горячие губы Обрубка, затаившего дыхание, не ответившего ей ни единым движением. Он замер, и лицо его было нездешним.

Танюша отступила на шаг, потом отошла к двери, сказала едва слышно:

— Прощайте.

Он не шелохнулся, не открыл глаз, не ответил. Танюша вышла.

Это был первый поцелуй Танюши. Первый ее поцелуй был дан мужчине, которого нельзя было назвать ни мужчиной, ни человеком.

«ИРА»

Григорий с утра ушел стать в очередь за крупой. Обрубок сидел в своем передвижном кресле у стола. Посередине стола, как всегда, лежал бронзовый шарик. В открытое окно доносился стук колес и визгливый голос женщины:

— Я с ночи стояла, а как подошла — закрыли. Все, говорят, вышло, раньше завтра не будет.

Другой голос отвечал:

— Что же это делается, Господи.

Комната Стольниковова была на втором этаже. Когда Григорий вывозил Обрубка на прогулку, он сначала спускал по лестнице кресло, затем, как ребенка, сносил Обрубка на руках.

Была весна. Беззаботны были — и то на вид — только воробьи и ласточки.

Бронзовый шарик лежал неподвижно. Неподвижны были и глаза Обрубка, на него устремленные, — стальные серые глаза.

Бронзовый шарик мал и ничтожен. Но вокруг него образовались круги, и первый круг захватил бытие Обрубка, печальное и нечеловеческое бытие. И дальше шли круги, все шире. В одном вмещалась Москва, в другом Россия, в третьем земля, а дальше — бесконечность. В пределах вечности ничтожно было бытие Обрубка, незаметное, несуществующее, как математическая точка; но оно было центром, блестящим, слепящим глаз; от него исходили лучи и освещали весь мир страшным смыслом и значением.

Обрубок порвал нить взора и закинул голову. Вместо неба — грязный потолок с желтым подтеком над окном. Беззвездно и пусто в душе, — нельзя питать ее обманом. Нет руки, чтобы смахнуть замутившую глаза влагу. Во имя чего он должен был испытать это? Какой мечтой жить остатку человека? Откуда взять силы? Зачем?

Стиснув зубы, он мычал:

— Убей меня, Григорий! Раб, убей господина!

Григорий стоял в очереди за горстью крупы и шестью кусками сахара.

Обрубок остатком ноги навалился на плоский рычаг, им изобретенный, и кресло слегка откатилось назад. Вот и все, что ему доступно. Бронзовый шарик отдалился и потускнел. Круг сузился до пределов личной, никому не нужной жизни Обрубка. На улице женщина крикнула:

— Наделали дел. Как теперича без хлеба?

Отвечал грубый голос:

— Ладно, не сдохнешь. А и сдохнешь — не потеря.

Обрубок снова навалился на рычаг и подкатил кресло к окну. Грудь его была на уровне подоконника. В доме напротив были открыты окна; на одном грудой были навалены подушки и одеяла, в пятнах, давно не стиранные.

Он видел только полоску неба, заслоненного этажами дома. По небу плыло облако, а глубина была синей и прекрасной. Была весна, кому-то нужная, к кому-то ласковая. Острым клинышком прорезала небо ласточка и юркнула в гнездо.

Тогда культияпкой руки он уперся в подоконник, напряг мускулы и отделился от кресла. Был как ребенок, которому хочется вскарабкаться на стул. Там, за окном, больше простора. Уперся подбородком в холодную доску, сильной шеей поднял неповоротливое тело и замер так. Если кресло откатится — он упадет на пол. Но кресло стояло боком, прочно.

Так, помогая себе движением челюсти, добрался до планки, сдерживавшей раму, и впился зубами. Положить грудь на подоконник — вот все, что нужно было Обрубку. Ребро подоконника больно давило грудь, но он выдержал и последним напряжением перевалил на доску все тело. От движения его кресло откатилось и упал плед, которым Григорий подвертывал остатки ног Обрубка.

Теперь он лежал на подоконнике, едва прикрытый длинной рубашкой, измученный крайними усилиями, ослабевший. Лежал ничком, повернув голову к улице. Стало видно больше неба.

А что там, на земле?

Упираясь подбородком, он подполз к краю окна и перевесил голову вниз. Внизу была неметеная каменная панель, и под самым окном лежала коробка от папирос «Ира». Эти самые папиросы курил и Обрубок; может быть, это его коробка.

Подоконник холодил тело. По улице прошел прохожий, взглянул вверх, увидел смотрящую голову и прошел мимо. Теперь улица была пуста.

Обрубок подполз ближе к краю, еще раз пристально посмотрел на коробку «Ира», затем поднял голову и увидел, что облако заходит за крышу. Небо совсем чистое. Где-нибудь в поле, в деревне, теперь дышится легко, привольно. Но только тем, кому есть чем и есть для чего жить, тем, кому стоит бороться за будущее, цепляться за свое бытие. Злобы к ним нет. Злобы нет ни к кому. И любви нет ни к кому. И вообще нет ничего. Вверху — бездонное небо, внизу — пустая коробочка на грязных плитах тротуара.

В окне напротив, где лежали подушки, показалась фигура женщины. Увидав Обрубка, она ахнула и крикнула внутрь комнаты:

— Настасья, Настасья...

Обрубок сделал резкое движение, освободил грудь, выгнул шею кверху и бросил голову вниз. Тело наклонилось, замерло и медленно опустилось обратно на подоконник. Тогда он, с детским стоном досады, снова сильно повторил движение. Уродливый комок его тела качнулся снова, замер лишь на секунду и стал перевешиваться. Затем коробка с надписью «Ира» внезапно приблизилась, метнулась вверх и снова выросла — уже огромной...

«ОСТОРОЖНО»

Григорий, степенный и серьезный, в штопаной солдатской одежде, в серых обмотках на ногах, медленно шел по Большой Никитской улице, заглядывая в грязные стекла пустых, забитых досками магазинов. Где-то, проходя, видел, помнится, нужное. Словно бы от церкви наискосок.

И правда, стоял в окне массивный, богатый, на ножках, с украшениями, только совсем запыленный гроб. Найдется, может быть, и попроще.

На двери висячий замок и дощечка с сургучной печатью. Григорий вошел во двор справиться.

Женщина, которую спросил, встретив в воротах, сначала не поняла, а потом испуганно ответила:

— Не знаю я, батюшка товарищ. Ничего не ведаю. Заколотен гробовщик. Сам-то он не жил тут. Ты бы в домовом справился, если надобно.

В домовом комитете тоже сказали, что магазин рекви-

зирован, а бывший хозяин выехал и адреса не оставил. Может, и убежал.

Григорий нахмурился:

— Как же теперь, если надо хоронить?

— В совдеп нужно идти либо в участок ихний. Гроба сейчас по распределению. Народу мрет столько, что не хватает. В очередь становись. А то к знакомому плотнику, если имеется. Только сейчас подходящих досок не найти. Сейчас мертвым не лучше живых. Жена, что ли, у вас померла?

Григорий не ответил и ушел.

В совдеп, однако, не пошел, узнав от соседа, что гробы дают только на время — свезти на кладбище. А там нужно опростать и назад везти. Да и не всякому дадут, ждать приходится. А уж лучше самому смастерить, какой выйдет. Сейчас больше без гробов хоронят.

Сделал в пути крюк: зашел на Арбатскую площадь, где в церковной лавочке — говорили — есть свечи. С опаской, а все же дали. Расплачивался из большого кожаного своего кошель, отвернувшись, потому что в кошеле, под нынешними, ненастоящими деньгами, лежала зашитая в тряпочку золотая десятка, а с ней рублей на пять серебра.

Придя домой, поставил около покойника свечи, зажег, перекрестился и опять вышел по делам. Заприметил поблизости лавочку, где вечером, видать, бывает свет. Зашел узнать, нет ли порожних ящичков. Сначала сказали: «Все пожгли, заместо дров», а после согласились променять за пять фунтов муки большой, совсем прочный, железными скобками окованный порожний ящик из-под посуды, на котором большими печатными буквами ясно обозначены были слова:

«ВЕРХ — ОСТОРОЖНО».

Остаток дня Григорий провозился в сарайчике при доме. Пилил, стругал, набивал ножки. Стал ящик пониже, но днище осталось квадратным. Надпись «верх» исчезла; осталось только слово «осторожно».

Как ни болело сердце Григория, что нет гроба настоящего, какой полагается христианину, однако перенес ящик в комнату, поставил на стол, устлал внутри одеялом и белой простыней, положил и подушку для бедной разбитой головы.

Со всем управился один. Ничем не мог пособить слепой Каштанов, сидевший в углу на стуле и внимательно слушавший движения Григория. Из соседей не заглянул никто. Про несчастье знали, — но было и своих несчастий выше горла. Заходил милиционер, записал, сказал: «Пришлют доктора засвидетельствовать смерть». Но до вечера никого не прислали.

Так же неудачно вышло и со священником. Старик из церкви Иоанна Богослова отказался отпевать самоубийцу. Дали совет: отпеть на самом кладбище. Наутро побывал и на Дорогомилове, где долго рядился. За место даже и не брали, а за рытье могилы просили невесть сколько. Пришлось к кредиткам посулить серебряную добавку, так как последняя мука пошла за гроб.

Ни о дрогах, ни о простой подводе нечего было и думать. В те дни бедного человека хоронили домашними средствами: зимой на салазках, летом на ручных тележках; если есть кому — несли на руках.

У Обрубка не было друзей, кроме слепого Каштанова. Его семьей, нянькой и единственным другом был Григорий. Он один и должен был проводить покойного в последнее жилище.

Тележку дал дворник, наказав к шести часам непременно доставить обратно. В тележке возили пайковый хлеб для раздачи жильцам.

Каштанов не мог видеть, как клал Григорий белый офицерский боевой крестик поверх простыни на грудь офицера. Но как стучал молотком по гвоздям, слышал и, встав, крестился, пока последний гвоздь не был забит. Подошел, пощупал ящик, дернул щекой и заковылял к двери. Не провожать ему несчастного друга. Из слепых глаз слеза не шла.

В три часа, обвязав запасной простыней, свернутой в жгут, Григорий без труда снес на двор квадратный ящик, в котором никто бы не признал гроб, хоть и были прибиты ножки, погрузил на тележку и двинулся на Дорогомилово.

Встречные не крестились. На страшном ящике лежала шапка Григория, а сбоку ясными буквами чернела по белому надпись:

«ОСТОРОЖНО».

В списке скорбей прибавилась еще одна смерть — самая нужная и справедливая: смерть-освободительница.

Забившись в угол дивана, ставши совсем маленькой, Танюша смотрела на себя. На полках души ее стояли томики в черных переплетах — начатый жизненный архив.

Вот тоненькая книжка в холодном переплете, и на корешке имя: «Эрберг». О нем она знала мало и думала редко. Начата была жизнь умная, вперед надолго рассчитанная, жизнь цифр, геометрических фигур и благоразумных изречений. И вдруг — ошибка в расчете. Первым из близких знакомых ушел Эрберг, такой молодой, но уже в ранней молодости казавшийся взрослым. Такое строгое, логическое предисловие — и первые же главы оборваны.

Старенький, пухлый, много раз с любовью перелистанный, душистый лавандой томик со святым именем бабушки; оно написано на первой странице старинным и очень знакомым почерком. Милая усталая бабушка уснула любимой, исчерпав жизнь любви, заботы и мирного благословения. Догорела венчальная свеча, перевитая пожелтевшей от времени муаровой лентой.

Книги смерти. И вот теперь смерть новая, — черная, никем не прочтенная книга. Кто решится перелистать страницы мучительных мыслей, страстных исканий самобмана, заглушенных вспышек зависти к живому, большой борьбы разума и веры в чудо, животной жажды ухода из жизни... Страшная книга! Ее написал великий страдалец, безжизненным губам которого, в ужасе и жалости, Танюша дала первый свой поцелуй.

И с тем же внезапно ожившим чувством сжалась Танюша в уголке дивана. Как это было страшно! Как страшна жизнь.

Как легка была весна. В семнадцать лет — какое было солнце. Какими правильными рядами вставали и решались вопросы, как всеильна была наука, как гармонична музыка. Куда это исчезло, что случилось?

Почему случилось, что смерть и смерти предшествуют жизни. В начале дороги — кресты, раньше гимна радости — похоронное пенье. И что дальше?

¹ Axios — достоин (здесь — достойна). Возглас рукополагателей при посвящении в дьяконы, священники, епископы, повторяемый затем другими участниками обряда (*греч.*).

Спросить дедушку? Но дедушка, сам старенький,— что ответит? Нельзя пугать его такими вопросами. Вася? Вася такой преданный и заботливый, хороший друг. Он, может быть, найдет слово,— но не то. Он забеспокоится и постарается развлечь, отвлечь, а ведь это совсем не нужно. Расскажет что-нибудь смешное, а если не удастся — растреплет свои вихры на висках, сядет в угол и будет ломать спичечную коробку. Нет, Вася не может; он и сам не знает. Почему он не зашел сегодня, Вася? Все-таки с ним хорошо и покойно.

Перебирая в памяти немногих знакомых, в эти дни оставшихся близкими, подумала об Астафьеве. Если бы он захотел ответить,— но как спросить? Разве об этом спрашивают? И о чем же, собственно? Но об Астафьеве думала Танюша увереннее. Из всех бывавших теперь в особнячке он был самым незнакомым и особенным. Хорошо бы видеть его чаще. И еще узнать что-нибудь об его жизни, какой он. Нужно спросить Васю, который видит его часто.

Были сумерки весеннего дня, окно было открыто. Танюша встала, выглянула на улицу. Тихо, прохожих почти нет. Села к роялю, подняла крышку, положила пальцы на клавиши. Но голова, русая и уставшая думать, упала на руки.

Так сидела долго, не шевелясь.

Когда встала, на глазах просыхали слезы,— ни от чего, так, случайные, девичьи. Может быть, от них прошла усталость — они были нужны.

Потянулась, поправила брошенный на плечи платок и вдруг почувствовала совсем новую легкость в теле.

Было в комнате свежо, на дворе вечерело. В чем же дело? Разве смерти заполнили всё? Тогда почему бы это ощущение легкости и это желание что-нибудь делать, и много знать, и встречать людей, и искать среди них того, кто больше знает и лучше ответит?

До изумительности чувствовала Танюша, как легко дышать и как ощущение жизни просто побеждает и мысль о смертях, и самую смерть. Куда-нибудь идти, что-нибудь делать — скорее. Видеть кого-нибудь. И хоть иногда, хоть иногда смеяться, не думая о печальном и не сопоставляя черное и белое — которое победит? Черные томики на полке,— а ведь белые листы бумаги еще непочаты. И вот надо бы скорее начать...

И подумала: «Мне уже двадцать лет!»

И еще: «Есть ли в мире где-нибудь полная радость? И где она? Где ее искать? И что же такое, наконец, счастье? Где к нему ключ? И где двери в мир большой, обширный, не сжатый стенами старого дома?»

Закинула руки за голову, выпрямилась и громко сказала вслух:

— Я хо-чу жить! Я хо-чу жить!

Не видала, как в темном блеске большого зеркала отразилась высокая прямая девичья фигура с закинутыми руками, не слыхала, как отвечали ей смешанным гулом струны рояля, как насторожился вечер, внимая великой важности и простоте ее слов, и замерли в смущении стены особняка, видевшие Танюшу ребенком, слышавшие ее первый лепет, безмолвные свидетели ее роста, усердные хранители ее душевных тайн.

Стены шепнули струнам, струны донесли весеннему воздуху,— и вечернее небо выслало первую звезду вестником решения совета светил:

— Axios! — Достояна!

УХОД

Походкой ровной,— шаг за шагом, вытягивая сапог из дорожной грязи, с котомкой за плечами, а с котомки свис жестяной чайник,— с цельной думой на душе шел в Киев старый солдат Григорий.

Потому в Киев, что не осталось у него теперь на свете никого и ничего,— ни друга, ни сына, ни дома, ни клочка земли,— осталась только прочная вера в сурового Бога, ушедшего из Москвы в мать городов русских, а может, и дале.

Говорили — не дойти. Но кому хранить и терять нечего, тот — свободный землепроход. Хаживали по Руси во все концы странники, убогие, за истиной и милостыней, меньшая нищая братия, калеки переходные,— никто не миновал Киева. Крепок Григорий и телом и верою, не слеп, не убог, не решен ума,— дойдет солдат.

Стало вязко. Снял сапоги, за ушки связал ремешком, перекинул, босыми ногами месит грязь дальше — дойдет. От деревни к деревне.

Деревня притаилась, ждет, смекает. Пожалуй, и зря поторопились свалить столько лесу. Новые срубы стоят напрасно, без надобности, дрова гниют. Кубышки полны

никчемных бумажек, — что на них купишь? Из городов приходят за хлебом, волокут веселый ситец, а кто и шелк да кофты с кружевом, всякую рухлядь, нужную и ненужную — в обмен на горстку зерна. Но прячется зерно поглубже, подале, побаивается: не обездолить бы самого мужика, не обречь бы его на голод со всем собранным добром. Бабы обновкам рады, стали носить чулки тонкие, со стрелками и кофты без ворота. Но должен добрый хозяин подумать о будущем.

Деревня ждет, жметя, хитрит, боится. Городской пришлый человек темен, нечист на руку, завистлив. Как бы не навел на след солдатскую силу.

Шел Григорий большими дорогами, не тратя лишних сил. Где знал — шел и попрямее. Не торговал, не покупал, не просил. Но вид его был степенен, отросла борода, глаза Григория были честны и строги. В избы входил крестьясь, а такому давали от сиротства или от достатка и приют, и ломоть хлеба; и денег, по старому обычаю, не брали. Несловоохотлив, однако, на вопросы отвечал кратко, без пустых слов, осуждающе и мудро.

Одной с ним дорогой шли, ехали, пробираясь походкой нырливой, скрючившись, в страхе, блудно, неуверенно еще многие, бежавшие от Москвы к югу, от нового к чаемой старинке, к надеждам, — выходцы России, канувшей в вечность. Дороги совпали, но шел Григорий один. Не страх гнал его, старого солдата, а сиротство и монашество суровой его мысли.

На выносливых плечах уносил Григорий свою старую веру, свою человеческую правду — из земли разврата к киевским угодникам, а то и дальше, куда заведет прямая дорога прямого и крепкого в вере человека. Не беглец, не родине изменник, не трус, а отрясший прах лжи и осмелевшего бесчестья.

На границах встречал суматоху и пожары, — а границ было без числа: сегодня здесь, а завтра верст за сто; то за спиной, то впереди. Как гроза — приходит и уходит, валит скот и дома. Разобраться невозможно. Рваные герои, сегодня белые, завтра красные, могила на могиле, — за что бьют друг друга? Понять невозможно.

С пулеметным треском катилась волна ненависти, смерти, а то и простого озорства и охальства, и все за свободу, и все за свободу, а в чем свобода? Боятся, страшат — и в ужасе вцепляются друг в друга. Посадить их за один стол, за один горшок щей, — все будут одинако-

вы, и в мыслях, и в желаниях, и с лица. Почему одни тут, а другие там? Как сами себя отличают? Отличают ли? Почему Иван против Ивана? И на могилах их вырастает одна трава. И солнце светит им одно, и дождик один-единственный всех мочит. Непонятно. А непонятное — смута и грех.

Над глазами Григория нависли густые брови с проседью, котомка за плечами прочна, но небогата. Никто Григория в дороге не трогает.

Случалось, что шел Григорий и проселками. Шел мимо пашен и озимых всходов, и пока шел — стала рожь подниматься и завязывать колос. Поля раскинулись от неба и до неба, от ясной дали до дали туманной, — и все это была Русь, крещенная в труде и в напрасной издевке над трудом человеческим, взласканная бороной и затоптанная сапогом невольного воина, взысканная и отринутая.

Как подсохло, Григорий добыл себе лапти, чтобы и сапог не топтать понапрасну, и не трудить ног. Легкий лапоть взбивал дорожную пыль, а от высокого посоха оставался на пыли кружочек, но не надолго: первым ветром сдувало. Прошел человек — и следа не осталось, как нет следов от раньше его прошедших той же дорогой.

Шел обычно от зари до полдня, а полудничал, сойдя с дороги, под тенистым деревом на траве. Тут же и полуденничал, слушая, как разливается жаворонок, воткнувшись в небесную твердь голосистым гвоздочком. А под ухом Григория, щекоча кулак, ворчала на мурашиков молодая, прохладная трава.

Так, неспешно, упрямо, шаг за шагом подале, уводил Григорий к местам святого упокоения старую Русь. Не с гиком и проклятьями, как уводили ее другие, не в кладях и чемоданах, не под охраной штыков, которым судьба не сулила вернуться, — но старым путем богомоллов и странников, носителей простой житейской правды, искателей истины вековечной.

Дошел ли старый солдат Григорий до Киева, нашел ли, что искал, или повернул оттуда к северу, в пермские скифы, или уплыл морем в Бари и Иерусалим, унес ли свою правду или бросил ее в пути вместе с тощей и изветшавшей котомкой, — про то сказать никто не знает.

Часть вторая

ВЕСНА

Пришла весна, долгожданная, медлительная, неповоротливая. По Москве разлилась грязными потоками, зловоньем неубранных дворов, заразными болезнями. Даже профессорский особнячок, с крыши которого снег не был вовремя убран, немного пострадал. В других домах протекли потолки, просочилась в стены вода и грязь лопнувших зимой труб, в затопленных подвалах таяли последние желтые льдинки.

Зато теперь можно было убрать печурки, снять намокшие валенки, даже открыть парадные двери, забытые на зиму от холода и страха.

Весенней уборкой города занялась сама природа. Но и люди пытались помогать ей, — там, где видели ясно, что жизнь должна продолжаться, как ни голодна она и как ни нелепа.

На дворе большого дома на Долгоруковской, где почти все квартиры заселены были рабочими семьями, по приказу домкома производилась уборка и чистка. Лопат было вдоволь, тачек маловато и лишь одна подвода — но без лошади. Вывозили снег и мусор на улицу и норовили сплавить куда-нибудь с бегущей по канаве водой. Распоряжался самолично преддомком Денисов, бывший приказчик забитой теперь бакалейной лавки в том же доме.

Работали вяло, по обязанности и под угрозой взыскания, а то и ареста. Больше работали женщины. Из мужчин посильнее и половчее был жилец Астафьев, единственный оставшийся в доме интеллигент и буржуй. К нему и подошел преддомком Денисов:

— Привыкаете, товарищ Астафьев? Работа тяжелая, неприятная.

— Привыкать не собираюсь, а раз нужно — делаю. Лучше было зимой сколоть со льдом и свезти.

— Зимой не управились. Конечно, вам, ученому человеку, работа не по вкусу. Однако приходится, товарищ Астафьев. Раньше мы на вас трудились, теперь и до вас дошло. Время такое.

Астафьев усмехнулся:

— Работаю не хуже других. Ничего страшного нет. Вот только не помню, когда это вы, Денисов, на меня работали? Вы ведь больше за прилавком стояли.

— Дело не в прошлом занятии, а кто как революцию принял.

Астафьев поднял большую лопату, вывалил в тачку, сильно прихлопнул и сказал:

— Каждый принял, как ему выгодно. Вы — по-своему, я — по-моему. Тут считаться не приходится.

Денисов отошел, а Астафьев подумал: «Вероятно, попытается все же меня выселить. И выселит, конечно. Куда-нибудь денусь, не беда».

Вывез полную тачку на улицу, свалил у края канавы, — да только и без того канава загружена, не берет вода. Не берет — не надо. И, шлепая сапогами по разлившейся жиже, повез пустую тачку обратно. На пути встретил жилицу с тачкой, по-видимому слабую и болезненную женщину. Хотел помочь, да раздумал «Все равно, пускай тащит!»

Вынул трубку. Курил Астафьев махорку, — иного табаку не было. Впрочем, находил, что махорка — табак здоровый и вкусный, если привыкнуть. А привык с той же легкостью, как за границей привыкал к гаванской сигаре.

По разверстке работы Астафьеву был отведен немалый квадрат двора. Справился быстро, придаться преддомкому не к чему. Окончив, свез тачку под навес, там же поставил лопату и ушел к себе, обтерев ноги валявшейся на лестнице газетой.

Раньше у Астафьева была здесь квартира; сейчас остались за ним две комнаты, а в третьей жил одинокий рабочий, человек робкий и забитый. Приходил к вечеру, ложился спать, и Астафьев его почти не видел.

Зарились и на вторую комнату Астафьева, где у него оставалась библиотека, но пока комнату он сумел отстоять охранительной бумажкой по своему преподавательскому званию. Зимой она была холодна и необитаема, летом он рассчитывал в ней работать и принимать, — если только будет кого принимать и над чем работать.

Придя, переоделся, набил новую трубку и взял книгу. Вместе с запахом навоза и нечистот проникал в окно и весенний воздух. И чтение не ладилось. Не лучше ли заняться делом. А дела немало: подшить обшарпанные брюки, постирать платки глиняным мылом, заправить светильник, сделанный из бутылочки, — на случай, что опять прекратят электричество. День сегодня — суббота. Завтра можно пойти на Сивцев Вражек к орнитологу. Что она за девушка, его внучка? Не как все, не легко понятная. Но славная, кажется.

В дверь постучал жилец. Астафьев без интереса подумал: «Кто бы мог быть?» Вошел человек скромный, хотя крепкий и мускулистый, одетый в совсем изношенный пиджачишко и в рыжие сапоги со стоптанными каблуками. Не виднелось и рубашки под жилетом.

— К вам, Алексей Дмитрич, извините за беспокойство. Не знаю, как уж и просить вас.

— Попросту просите.

— Конечно, попросту, только нынче все самим нужно. Вот, думал, может, найдется какая книжка старая, полегче, я бы почитал.

— Книг у меня много, берите любую. Только не знаю, какая вам подойдет. Вы насчет чего хотите?

— Не знаю, как сказать, насчет устройства жизни что-нибудь. Разбираюсь-то я плохо.

— А вы что ж, Завалишин, не работаете нынче?

— Нынче празднуем. Материалу нет на фабрике, остановка. Жалованье-то платят, ничего.

— Книжку можно, только что же вам даст книжка. Думаете — жить научит? Или объяснит? Вы присядьте, Завалишин, поговорим. Ничего, говорю, вам книжка не поможет. А что, разве уж вам так туго пришлось?

— Туго не туго, а, конечно, что хочется понимать.

— Чего же вы не понимаете?

Завалишин смутился, помялся, слов поискал:

— Смотрю все, и как бы сказать, будто все ненастоящее.

Корявым языком все-таки объяснил. Раньше смотрел так, что все равно — живи и жди, само устроится. А нынче все говорят: вот надо по-новому самим. А что новое? Новое-то плохо. Крику много, а толку не видно. И однако, ведь не зря же!

— Скоро вы захотели, Завалишин. Подождать нужно.

— Подождать можно, ждали и раньше. Знать бы только, чего ждать.

Астафьев подумал: «Вот она, ихняя, рабочая слякоть,— под стать нашей интеллигенции. Приказчик Денисов хоть и мерзавец, а куда же лучше, строитель все-таки...» И сказал:

— Понимаю вас, Завалишин. Это вам потому плохо, что прочности не чувствуете. Раньше жизнь тоже дрянь была, а прочна была. Нынче все полетело к черту, новое за горами, а тянуть прежнюю канитель надоело. Силы в вас нет настоящей, Завалишин.

— Силы, конечно, мало. Верно это, Алексей Дмитрич, что заскучал. Главное — понять надо.

— А черта ли вам скучать. Человек одинокий, здоровенный, деньги вам пока что платят. Наплевайте. Вы пьете?

— Могу и выпить, когда есть. По-настоящему, однако, не пью, чтобы пьянствовать там.

— Пить надо больше, Завалишин. Вот подождите, может, я раздобуду, тогда выпьем вдвоем. С трезвой головой не додумаетесь.

— Смеетесь надо мной, Алексей Дмитрич!

— Ничего не смеюсь. Я вам прямо говорю: вы человек, не подходящий для жизни. Какой вы строитель жизни? Веры у вас настоящей нет, нахальства тоже нет, воровать не умеете,— ну, заклюют вас и выкинут. А тут еще в голове всякие мысли. Лучше уж пьянствовать. Пьяный человек мудр.

— Пьянствовать — последнее дело. Это уж какая же помощь, Алексей Дмитрич. А я к вам за помощью, как к ученому человеку.

— Вам бы в деревню, Завалишин. Деревни нет у вас?

— Нет, я городской. В деревню где же.

— Плохо. Слушайте, Завалишин, не знаю, какой вы человек, обидчивый или нет. А впрочем — ваше дело, мне все равно. Хотите, по совести скажу вам? Вот я — ученый человек. Книг перечитал столько, что вам и одних заглавий не прочесть и не понять. Толку от них никакого, то есть для жизни, для понимания; все равно и без них было бы. Тоже и мне, как и вам, скучно бывает. И тоже я не строитель, не гожусь, хотя, может быть, и посильнее вас. Тут все просто. Хотите себе дорогу пробить? Тогда будьте сволочью и не разводите нюни. Время сейчас подлое, честью ничего не добьешься. А не хотите,— тогда говорю вам, лучше убивайте мысли вином. Хлещите денатурат, чтобы скорее сохнуть, отлично действует. Ка-

кой вы воин? Никто вас не боится и никто вас, значит, не уважает. Робкий вы человек, а таким сейчас крышка. Вас какой-нибудь Денисов, наш преддомком, жулик и хам, одним ногтем придавит, даром что вы на вид его сильнее. Вот он не пропадет. А впрочем — дело ваше.

Помолчали. Потом Завалишин поднялся:

— Ну что ж, Алексей Дмитрич, и на том покорнейше благодарю. Конечно, вам со мной разговаривать неинтересно, я человек простой.

— Э, Завалишин, бросьте эти штучки. Я сам простой, может быть, вас попроще. Вот заходите сегодня вечером, выпьем, по крайней мере.

Повернулся к нему с доброй улыбкой:

— Правда, вы на меня не обижайтесь. Потому так говорю, что самому не очень сладко.

— Понимаю, Алексей Дмитрич. Я ничего, что ж.

Когда жилец вышел, Астафьев подумал: «Может быть, зря я его так. Главное — может быть, ошибся. Робкий-робкий и слякотный, без сомнения, — а огонек у него в глазах блеснул злой. Обидел я его. Это хорошо, если он еще способен злиться. Тогда может выжить. Любопытно!»

Усмехнулся: «За помощью пришел, за книжками. Чтобы потом я да книжки стали виноватыми в его горестях и было бы кого и за что ненавидеть».

Вечером Астафьев бодро шагал домой по Долгоруковской, неся под пальто бутылку спирта и дрянную закуску. Зайдет ли?

Завалишин зашел. И постучался на этот раз увереннее.

— Занимаетесь, Алексей Дмитрич?

— Сейчас вот вместе займемся.

К ночи Завалишин был пьян, Астафьев — возбужден и полон любопытства. Рассматривал своего клиента, как в микроскоп. И изумлялся: Эге, а он не так прост! Может выйти толк из него — может большой подлец выйти. Кулаки у него хорошие, а это — главное».

Водя по пустым тарелкам осовелыми глазками, рабочий бормотал заплетающимся языком:

— Скажем так: пьян я. И однако, могу понимать, что к чему. За науку спасибо, а пропадать не желаем. Не желаем пропадать. И могут быть у нас свои... которые... разные планы. За угощенье покорнейше благодарим и что не побрезговали... ученый человек.

Астафьев нахмурился:

— Ну ладно, баста, ступай спать... пьяная рожа.

Завалишин оторопел и скосил глаз:

— Чего-с.

— Ступай спать, говорю. Надоел. Коли проспишься и станешь подлецом — твое счастье. А слякотью останешься — приходи пить дальше.

Взял его за ворот и сильной рукой толкнул к двери.

КНИГИ

Старый орнитолог долго перелистывал книгу, всматриваясь в иллюстрации. Прежде чем вложить ее в портфель, уже туго набитый, он осмотрел корешок книги, подслюнил и пальцем приладил отставший краешек цветной бумаги переплета.

Книга хорошая и в порядке.

Но вдруг вспомнил, заспешил, снова вынул книгу и, присев к столу осторожно подскоблил ножичком свое имя в авторской надписи: «Глубокоуважаемому учителю от автора».

Надел висевшее тут же, в комнате, пальто и свою уже очень старую шляпу, пристроил поудобнее под мышку портфель и вышел, дверь дома заперев американским ключиком.

В столовой особнячка теперь жили чужие люди, въехавшие по уплотнению. Дуняша жила наверху в комнатке рядом с бывшей Танюшиной; в Танюшиной же комнате поселился Андрей Колчагин, — только дома бывал редко, больше ночевал в совдепе, где в кабинете своем имел и диван для спанья.

Дуняша иногда помогала Тане в хозяйстве, так, по дружбе; прислужгой она больше не была — была жилицей.

Профессор был еще достаточно бодр. Идя в Леонтьевский переулок, присаживался на лавочку на бульварах не больше трех раз, и то из-за тяжелого портфеля, который оттягивал руки. Отдыхал неподолгу и, отдыхая, обдумывал, в который раз он идет в писательскую лавочку в Леонтьевском и на сколько раз еще хватит ему книжного запаса.

Как-то однажды случилось, что в доме совсем не оказалось денег. Хлеб, пайковый, страшный, выдали, но Дуняша, в то время еще считавшая себя прислужгой и жившая при кухне, объявила, что ни картошки, ни крупы, ни

иных каких запасов у нее больше нет и готовить ей нечего.

Танюша думала, что есть деньги у бабушки, и очень смутилась, узнав, что у бабушки нет. Тогда совсем немножко заняла у Васи Болтановского.

Вечером Танюша долго обсуждала с Васей какие-то хозяйственные вопросы, с утра она исчезла, а вернувшись к обеду, возбужденно и не без смущения рассказала, что ей предложили выступать на концертах в рабочих районных клубах.

— Это очень интересно, бабушка; и мне будут давать за это продукты.

В тот день забегал Поплавский и рассказывал, какие изумительные старинные книги довелось ему видеть в Книжной лавке писателей в Леонтьевском переулке. Сейчас появились на рынке такие книги, которых раньше невозможно было найти в продаже.

— Я нашел полного Лавуазье в подлиннике; для Москвы — это исключительная редкость. И видел любопытную книжицу, пожалуй первую, изданную в России по математике еще церковными буквами, 1682 года. И название любопытное: «Считание удобное, которым всякий человек, купующий или продающий, удобно изыскать может число всякие вещи». Есть у них еще таблицы логарифмов петровского времени.

— Что ж, купили что-нибудь?

— Я? Нет, профессор, наоборот. Я продавал свои. Там можно продать хорошо, а то на комиссию.

На книжных закрытых полках большого библиотечного шкапа лежали у профессора запасы «авторских экземпляров» его ученых трудов. Идя утром на прогулку, он захватил по экземпляру. В Леонтьевском, в писательской лавочке, его встретили приветливо и почтительно; оказались за прилавком и знакомые молодые университетские преподаватели. Книги взяли, расплатились, сказали, что такой товар им очень нужен: сейчас он требуется для новых публичных библиотек в провинции и для новых университетских. Просили еще принести. И никто не удивился, что вот известный ученый, старик, самолично носит на продажу свои книги.

Сам большой любитель книги, порылся старый орнитолог на полках книжной лавки, больше из любопытства. И очень обрадовался, найдя среди хлама редчайшее издание: «Описание курицы, имеющей в профиле фигуру че-

ловека» с тремя изображениями. Любовно перелистал брошюрку, радостно, захлебывающимся старческим смехом прочитал описание рисунков:

«Изображение курицы в профиль весьма верно и представляет старушку, так, как она есть. Вторая фигура представляет голову с лица и показывает в ней настоящего Сатира. Третья фигура представляет ее зевающей и вместе показывает ее язык».

Повертел в руках, справился о цене. Никакой цены в то время старые и редкие книги не имели.

— Мы, профессор, продаем сейчас петровские и екатерининские издания дешевле, чем только что вышедшие стихи имажинистов. И сами не покупаем; эта случайно попала в какой-то купленной нами библиотеке. Давайте сделаем так: мы вам преподнесем эту брошюрку, а вы нам обещайте принести на комиссию ваши книги.

— Но ведь это же редкость величайшая, хоть и не такое старое издание.

— Тем лучше. У вас, профессор, она будет сохраннее.

Домой профессор вернулся в отличном расположении духа. Вечером, за чаем, Вася Болтановский читал книжку вслух, и профессор радовался каждому слову, как малый ребенок. А наутро набрал целый портфель «ненужных» своих книг и понес в знакомую лавочку, где так его обласкали.

— Танюша, немножко денег у меня есть, так что ты не беспокойся.

Но уже давно рубли стали сотнями, и близилась миллионы. «Авторских экземпляров» хватило ненадолго. Пересмотрев свои полки, орнитолог открыл на них новые коммерческие ценности, сначала дубликаты, затем издания популярные, для ученой работы лишние, хоть и важные для коллекции, после атласы и таблицы, без которых обойтись все же можно, наконец — книги дареные, с автографами. Полки профессора пустели, — но Танюша была такой бледненькой, так уставала после своих концертов в рабочих районах. Орнитолог думал, что она не знает о частых его визитах в лавочку писателей, и рад был, что он, старик, уже никому больше не нужный, не в тягость милой своей внучке, может чем-то помочь ей. Он не знал, что детские книги Танюши, раньше лежавшие в ее шкапчике, давно уже проданы в той же лавочке, и неплохо, так как цена на них всегда была высокой.

Зато еще ни разу к завтраку дедушки не подавались

котлеты из конины и к чаю в его стакан Танюша клала настоящий сахар, тихонько опуская в свою чашку лепешечку сахарина.

— Сахар, Танюша, сейчас, вероятно, очень дорог?

— Не знаю, дедушка, мне ведь выдают бесплатно.

ПОСТОРОННИЙ

Танюши нет дома; она халтурит в рабочем районе, в клубе имени Ленина.

В комнате Танюши, на столе, лежит раскрытый старый альбом фотографий. В окошечках альбома портреты дедушки и бабушки, когда дедушка и бабушка были еще молоды. На дедушке сюртук в талию, бабушка перетянута корсетом и руки держит на кринолине. Очки дедушки блеснули, и вместо одного глаза получилось белое пятно. Карточка очень выцвела.

А правее — карточка Танюшиной матери в модном костюме девяностых годов.

В комнате нет никого; над альбомом склонилась седая голова Времени. Время внимательно смотрит на карточку и шепчет:

— Совсем была такая же, и глаза, и волосы, и рот, и серьезность. И так же хотелось ей жить, и так же не знала, как это будет.

Время листает альбом.

Два студента, один, постарше, с бородкой, в форме технолога, — дядя Боря. Другой — с маленькими усиками, красивый, большелобый, универсант. Это — отец Танюши.

Через картон альбома, из окошечка в окошечко, переглянулись девушка и студент, полюбились, поженились. И тут же в альбоме большеголовый ребенок с молочными глазами, удивленной бровью, пушистыми волосенками, в неуклюжем платьице, которое поднялось со спины и подперло затылок. Это первая карточка самой Танюши.

У всех отец и мать — старшие, а то и старики. У Танюши старых родителей не было; в том возрасте, как на карточках, они могли бы быть ее друзьями-сверстниками. Оба они умерли совсем молодыми, не успев посоветовать девочке, как нужно жить, чтобы быть счастливой. И родителей ей, еще ребенку, заменили бабушка и дедушка. Мать успела передать ей только серые глаза и золотистые косы, да еще серьезную задумчивость. Глаза спрашивают, — а кто и что им ответит?

А отец — и родной и чужой. Его Танюша совсем не помнила, он умер рано, ей не было еще и двух лет. Танюше было странно, что вот она — дочь молодого студента, который настоящим взрослым человеком даже и не был. Что и мать ее была тоже почти девочкой — это еще как-то понятно. Помнила она ее едва-едва, как бы по рассказам, а больше по ощущению матери, по потребности знать свою мать.

Мать — это сама Танюша, жившая в прошлом. И звали мать тоже Татьяной. Когда Танюша переглядывала старый альбом, она подолгу и с интересом рассматривала черты отца. И порою думала, что вот, может быть, и она когда-нибудь встретит такого же человека, как мать встретила; такие бывают суженые. А другого суженого трудно себе представить. И по карточке была Танюша в отца своего немножко влюблена: открывая альбом — искала с ним встречи.

Время, свесив пряди волос, листает альбом дальше. Маленькая девочка Таня растет, тянется, и вот она уже в белом гимназическом переднике. С этого момента уже начинается история, даты которой не забыты и сейчас. Пятый класс — уже недавнее прошлое. Старый альбом посвежел, и привели бы его страницы к сегодняшним дням, если бы не оборвались внезапно: все страницы заполнены.

На последней его странице мужской, совсем новый портрет человека, про которого говорят: «Это один знакомый, очень симпатичный, не помню фамилии». Почему-то и кем-то портрет был вставлен в последнее окошечко, да так и остался тут — первым звеном мира постороннего. Если карточку вынуть из рамки (ведь альбом семейный), то окошечко останется незанятым. И посторонний человек нечаянно остался в семье.

Тут Время улыбнулось:

— А разве бабушка — дедушке и мать — отцу не были раньше совсем посторонними и незнакомыми? Или Танюше — тот, кого она рано или поздно встретит?

Время попылило на листы альбома, поджелтило фотографию Танюшиной мамы, пообтерло слегка уголки кожного переплета и оставило альбом лежать развернутым на той же странице.

Танюши нет дома. Она сегодня играет Баха в районном клубе на плохом и расстроенном пианино.

Перед этим товарищ Брауде говорил с эстрады речь

о международном положении, а следующий номер — юмористические рассказы и раешник, прочтет популярный в рабочих клубах товарищ Смехачев — псевдоним приват-доцента философии Алексея Дмитрича Астафьева.

Астафьев стоит около кулисы и слушает игру Танюши. На нем надет прорванный цилиндр, щеки натерты мелом и нос слегка подкрашен. Самое появление его должно вызвать смех. По обыкновению, его заставят бисировать.

Есть псевдоним и у Танюши. По девичьей фамилии матери (милой девушки из альбома) она именуется в клубных афишах — товарищем Татьяной Горяевой, артисткой филармонии.

Смотря на ее белые проворные пальцы, Астафьев думает: «Как она серьезна, точно в заправском концерте. А они семечки луцат. Я за паек ломаюсь и тешу свою злость; а она за те же селедки приходит сюда и дарит душу свою. Вот какая девушка».

СУМЕРКИ

Вася Болтановский забежал, конечно, и сегодня, но ушел рано, до вечера. Он упрямо и старательно подготавливал свою поездку за продуктами в Тульскую губернию и подбирал «товар» для обмена. На Танюшину шелковую кофточку большая надежда; у профессора оказались старые, но отличные охотничьи сапоги — товар исключительный.

Вася принес букетик полевых цветов, тщедушный, но свеженький:

— Это, Танюша, вам. Угадайте, где нарвал.

— Вы были за городом?

— Нет.

— Ну, не знаю, где-нибудь в саду.

— Не угадаете. Вот лютик, а вот колокольчики. А это — смотрите — ржаной колос. И весь букет я нарвал на улицах Москвы! И у вас около забора сорвал травку. А в иных местах вся мостовая поросла.

Орнитолог внимательно исследовал каждый цветок и перещупал травку.

— Знаешь, Вася, этот букет стоит засушить. Это целая история, ты непременно сохрани. В музей нужно.

— Я, профессор, другой соберу; на окраинах можно

хоть венки плести, там в иных местах совсем мостовая скрылась. А это я все в центре города, не выходя за Садовое кольцо. Это — Танюше от верного рыцаря.

Пока Танюша ставила букетик в воду, а Вася смотрел на ее руки, профессор долгим взглядом ласкал Васино лицо. Тот поймал взгляд:

— Что-то вы на меня смотрите, профессор.

— Смотрю. А ну, подойди.

Когда Вася Болтановский подошел, профессор, не вставая, обнял его за талию:

— Ну-ка, наклонись к старику, а я тебя поцелую. Правду ты сказал, Вася, ты — рыцарь верный. И отца твоего любил, и тебя люблю.

Когда ушел Вася, а Танюша с книгой заняла свое обычное место в углу дивана, орнитолог так же долго смотрел на любимую внучку:

— Танюша!

— Что, дедушка?

— Не подходит он тебе, рыцарь наш, Вася?

— Как не подходит, дедушка?

— Ну, в мужья, что ли. Вижу — не подходит. А жаль. И его жаль, и тебя жаль. Очень он тебя любит. Ты знаешь?

Танюша отложила книжку:

— Я знаю, дедушка. Я к нему очень хорошо отношусь. Вася отличный человек, и мы с ним большие друзья. Ну а как вы говорите, то есть замуж за него, я, конечно, не вышла бы, дедушка.

— Я вижу.

— А разве вы, дедушка, хотели бы, чтобы я вышла замуж?

Старик, помолчавши, сказал:

— Выйти-то — все равно выйдешь. Рано не стоит, пожалуй. Вася, конечно, и молод для тебя, ведь вам лет-то почти одинаково.

— Я замуж не хочу, дедушка, мне с вами лучше всего жить.

— Ну, ну, там увидим.

Окна были открыты, воздух свеж, и тишиной окутало Сивцев Вражек. В глубоком покойном кресле, в котором много лет в сумерки отдыхала Аглая Дмитриевна, дремал теперь старый орнитолог, украсив грудь седой бородой. Танюша, не перевертывая страниц, не следя за строчками глазами, думала свое и слушала тишину.

Тихо было и в верхнем этаже, где жил с сестрой комендант совдепа Колчагин, и за стеной — у чужих людей, и в подвальном помещении, где семья крыс обдумывала предстоящий ночной поход.

Дремал весь старый профессорский особняк, вспоминая прошедшее, предугадывая будущее. Тикали-тикали любимые часы профессора — стенные с кукушкой.

На давно не чищенных булыжных мостовых Москвы сначала боязливым зеленым глазком, после смелее — прорастала зеленая травка; в канавках и у длинных заборов она росла увереннее, и рядом с крапивой хитрил желтый глазок цветка. Если бы не было такого же упряма и дикого мечтателя — человека, который тоже хотел остаться жить во что бы то ни стало, тоже прорасти жалким телом на камнях города, — травка победила бы камень, проточила бы его, украсила, увела бы жилое и быт в историю, зазеленила бы ее страницы забвеньем и добротой сказки.

На часы сумерек в домах замерла беспокойная жизнь, а воробьи и ласточки давно уже спали в гнездах и в чердачных просветах. Зоркий глаз задернули пологом синеватого покойного века.

Особняк профессора за последний, за страшный год посерел, постарел, поблек. Днем еще бодрился, а к ночи тяжело оседал, горбился, постанывал скрепами балок и штукатуркой.

Жалко старого, в нем был уют, спокойная радость, годами нарощее довольство! Но и устало старое, нужен ему покой и уход в вечность. Киркой и машиной уберут булыжник, зальют землю асфальтом, выложат торцом, на месте умерших и снесенных домиков с колоннами, старых гнезд с добрым домовым, старых стен, свидетелей прожитого, — выведут стены новых больших новых домов, с удобствами, с комфортом. На долгие годы трава уйдет в поля — ждать, пока перевернется и эта страничка, пока обветшает лак, сегодня свежий, перезреет и осыплется мысль — и снова в трещинах каменного города появится прах и влага для смешливого и упрямого полевого лютика. Может быть, тогда трава забвенья победит, как победила она Акрополь и римский Форум, как победила, погребла вместе с памятью многое, о чем не знают и не узнают археологи. А может быть, опять — на малые часы в веках — прокричит о своей победе человек.

— Дедушка! Вы спите, дедушка?

Сумерки сменились вечером. И посвежело.

Танюша зажгла лампу:

— Вы спали, дедушка?

— Кажется, я задремал, Танюша.

— Будем пить чай?

Профессор, помогая себе обеими руками, поднялся с кресла:

— Ну, что ж, Танюша, я чайку выпил бы охотно.

В БЕЛОМ ПЛАТЬЕ

На три часа вперед было переставлено время — и Москва проснулась очень рано.

Сначала она проснулась на Пресне, на Благуше, в Сокольниках и на всех вокзалах. Затем, позевывая, зашевелились Замоскворечье, Рогожская, Сухаревка, Смоленский рынок.

По Черногрязской Садовой протарахтел грузовик, на Покровке постовой милиционер гикнул на худую, облезлую собаку, вниз по бульвару, со Сретенки на Трубную площадь, пробежали, возбужденно трепля языками, две женщины, — вероятно, спеша стать в очередь под подсолнечное масло.

И наконец сразу, как по единой команде, из всех домов московских, хлопая дверьми, стуча каблуками, чихая на солнечный луч, выкатились трепаные, заспанные, землистые лицом фигуры советских служащих — переписчиц, заводов, предкомов, товарищей курьеров, сотрудников отдела транспорта, экспертов, ответственных работников. Большинство шло пешком от дома до службы, не веруя в трамвай, прыгавший по сорным рельсам на Большой Никитской, визжавший колесами на завороте Лубянской площади и пытавшийся протискаться в узкую щель Красных ворот. Трамвай был большой редкостью, попадали в него немногие, и попав, толкались локтями, зло огрызаясь друг на друга и косясь на кондукторшу.

Рано проснулась жизнь и в профессорском особняке на Сивцевом Вражке, где под крышей, как и в былые, счастливые и привольные дни Москвы вылепила гнездо и теперь выхаживала птенцов ласточка.

Окна были раскрыты, и чайная ложечка позвякивала в любимой большой чашке орнитолога.

— Вы будете дома, дедушка?

— Посижу, напишу до обеда. А тебе бы, Танюша, погулять сегодня. День какой.

— Да, я пойду; у меня дело есть, далеко, у Красных ворот. Я дедушка, вернусь к двум часам, не раньше.

Убрав чашки и вымыв их на кухне, Танюша, с особым ощущением свежести, прохлады и чистоты, надела белое платье с короткими широкими рукавами, вчера проглаженное, резиночкой стянутое в талии. Было бы хорошо иметь к нему и белые туфли, но всякая лишняя обувь была сейчас роскошью недоступной. Шляпа соломенная, переделанная из старой, почищенной лимонным порошком, украшенная цветной лентой — из старых запасов.

В зеркале улыбнулась Танюше знакомая белая девушка; обеими руками поправила под шляпой волосы. Стала серьезной, взглянула еще раз поближе, глаза в глаза, повернулась боком, одернула платье, простилась с Танюшей, ушла в рамку зеркала.

Москва, обедневшая, сорная, ушибленная, была все-таки прекрасной в летнее утро, была все-таки безалаберно красивым, любимым городом, славным русским городом. И улицы ее, кривые и булыжные, милые именами: Плющихи, Остоженки, Поварские, Спиридоновки, Ордынки, и переулки: Скатертные, Зачатьевские, Николопесковские, Чернышёвские, Кисельные, и площади ее: Трубные, Красные, Лубянские, Воскресенские, — все-таки — в горе и забитости, в нужде и страхе — залиты были солнцем щедрым, зарумянившим стены, игравшим на крышах и куполах, золотой каемкой обогнувшим лиловые тени. Как и прежде, суежились струи Москва-реки у Каменного моста, как и прежде, прикрывала Яуза свою нечисть семицветной радугой.

На Арбате все окна магазинов были забиты досками и запорошены пылью; выставок в окнах не было, вывесок осталось мало, и они ничего не значили. По углам, на перекрестках, жались мальчики-папиросники, всегда готовые пуститься наутек.

Догадалась женщина на Арбатской площади поставить ведро с букетиками полевых цветов, и белых, и желтых, и незабудок, и аютиных глазок. Танюша постояла, посмотрела, приценилась и прошла мимо. А было бы хорошо нести букетик в руке, нюхать его или наколоть на грудь или к поясу — в такое чудное утро.

Бульвары кудрявились зеленью деревьев. Прямая ал-

лея была — как жизнь, маня дрожащими бликами солнца, дивуя тенями, уходя вдаль узкой дорогой. Идти бульварами было легко и приятно, хотя путь выходил круговой. Вот, пожалуй, на бульварах совсем ничего не случилось. Дома посерели, погрязнели, опустились, а тут хорошо, совсем по-прежнему, даже как будто лучше, — оттого ли, что деревья не стрижены, зелень гуще.

На лавочке сидели два парня в гимнастерках, в защитных обмотках на ногах, но в штатских кепках. Проходившей Танюше послали вдогонку бесстыдное слово и весело загоготали. Танюша не слыхала, думая о своем. На веках ее, не закрытых полями шляпы, солнце бегало слепящими, но ласковыми зайчиками, и легка была ее походка.

Она шла бульварами до Страстного, свернула на Тверскую, наискось прошла Советскую площадь, где на месте памятника Скобелеву только что начали строить временный обелиск, и вышла, миновав Петровку и Неглинную, на Кузнецкий мост. Не устала, но все же тут начинается подъем.

Улица, когда-то парадная, красивая, торговая, теперь потеряла прежний весело-горделивый вид. В окнах «Пассажа» валялся забытый хлам, много было белых временных вывесок разных новых учреждений с длинными неуклюжими названиями, и люди встречались не подходящие к стилю богатой московской улицы. Чем ближе к Лубянке, тем больше людей военно-казенных, в новых френчах с неудобным, плохо сшитым воротником, в преувеличенных галифе, иногда в кожаных куртках, — несмотря на летнее время. У многих портфели. И редкий прохожий не бросал взгляда на девушку в белом платье; иные явно прихорашивались, выпячивали грудь, печатая ногами по-юнкерски, заглядывая под шляпку. Сегодня, в день светлый, что не было противно Танюше: пусть смотрят.

Чего бы не простила она сегодня, в день светлый, на что бы не ответила улыбкой! И почему она сегодня одна? Среди всех этих встречных людей, одетых по-своему изысканно или щеголявших бедностью и грязью, среди бравых, забитых, довольных озабоченных, гуляющих, спешащих, красивых и безобразных, нет среди них ни одного близкого, кто бы думал сейчас не о себе, а о ней, о Танюше, немного усталой и опьяневшей от солнца. Хоть бы один человек!

Почему и за что приходится жить в такие дни? Долго ли будет так? Ведь было же иначе?

Переходя через улицу, оглянулась: вот он, Кузнецкий мост, куда часто ходила она раньше пешком — покупать ноты. Вот он — и иной, и все-таки прежний: те же профили, тот же прихотливый и уверенный загиб улицы, та же церковь Введения на углу. Нет, Москвы не изменишь!

На Мясницкой встретила дядю Борю — у самых дверей его службы, его Научно-технического отдела. Он обрадовался, потряс ее руку, спросил о здоровье бабушки — своего отца, к которому так редко мог теперь забежать, занятый службой и добыванием продуктов. И сказал:

— Какая ты хорошенькая. В белом платье — совсем буржуйка.

Прошелся с ней до угла, а потом заспешил:

— Ну, я пойду, а то боюсь пропустить выдачу. У нас сегодня мясо выдают: не шутка! Ну, прощай, племянница.

И опять она шла одна.

У почтамта подумала: почему бы не свернуть направо, к Чистым прудам? Оттуда можно будет пройти переулками — крюк небольшой.

И как вошла в аллею — опять никакой усталости. И тихо здесь — слышны отчетливые птичьи голоса.

Дошла до пруда. Берега его примяты, изгородь растащена на растопку, в воде у берега плавают газетные листы, яичная скорлупа, гнилая рогожа. Но так же, как и прежде, смотрятся в воду кустики и деревья, и прохлада та же, и легкая рябь воды. Лодок нет — припрятаны или сожжены зимой. Да и кому сейчас кататься?

Вспомнила Танюша, как, бывало, зимой она приезжала к гимназической подруге, жившей тут же поблизости, и вместе ходили они на Чистые пруды кататься на коньках. Катались от после обеда до вечера, а к семи часам ехала Танюша с розовыми от мороза щеками, с легким дыханием, с приятной усталостью домой, на Сивцев Вражек, под крылышко бабушки, под ласку бабушки, на сладкие сухарики к чаю. Вот это, пожалуй, уж никак не вернется.

Обернулась на шаги, увидела человека в солдатской форме, с боязливыми узкими глазками.

— Сала, гражданка, не купите? Настоящее сало, киевское. Уступил бы недорого, купите, гражданка.

И уже вынимал из-за пазухи грязный сверток, когда Танюша сказала:

— Нет, я не покупаю.

На минутку солнце зашло за облако, пруд потемнел, и Танюша отошла.

Неужели и лодка, и коньки, и былая беззаботность, — неужели это уже никогда не вернется?

Боковым проходом вышла с бульвара, перешла улицу и по теневой стороне Харитоньевского переуллка заспешила, озабоченная, в белом платье в талию, одна — в такой чудесный летний день.

А когда вышла на Садовую и увидала дом с зелеными палисадниками, Красные ворота, а вдали, в перспективе улицы, Сухареву башню, — опять невольно остановилась и опять, как на Кузнецком, подумала: «А все-таки — как хороша, ну как хороша Москва, милая Москва! И какая она прежняя, неизменная. Это люди меняются, а она все та же. Погрустнела немножко, а все та же — нелепая, неряха, — а все же милая, красивая и родная-родная...»

ПРИЗНАНИЕ

Грузовик не мог развозить по домам всех участников спектакля. Танюшу и Астафьева спустили на Страстной площади.

В руках у них были узелки с заработанными продуктами: немного сахара, пять фунтов муки, фунт крупы, немного повидла и по две селедки. В том районе клуб был щедрым и богатым. Вместе с продуктами в узелке Астафьева лежал его рваный цилиндр, большой бумажный воротничок, яркий галстук — принадлежности гаерского туалета. Мел и краску с лица Астафьев смыл как мог еще за кулисами клубной сцены.

— Ну, вам по Малой Дмитровке, а мне сюда, переулками.

Астафьев сказал:

— Нет, вместе, я провожу.

— Не нужно, Алексей Дмитрич, я не боюсь.

— А я боюсь за вас. Да еще с таким узлом. Сейчас больше двенадцати.

Танюша знала, что это — немалая жертва со стороны усталого человека, выступавшего сегодня, как и она сама, в двух клубах. Но идти одной ночью было страшно, и Астафьев все равно этого не допустит. Бедный, ему далеко будет возвращаться на Долгоруковскую.

Она была благодарна ему — настоящий товарищ. Но

кулька своего донести не позволила: сама донесет заработанное богатство. Это не тягость, а радость. Главное — сахар для дедушки.

На грузовике так трясло, что разговаривать не пришлось. И пешком шли сначала молча; потом Танюша сказала:

— Трудно вам, Алексей Дмитрич, выступать в таких ролях?

— Гаерничать? Нет, не трудно. Все другое было бы труднее. Вот речи о «международном положении» никак не сказал бы. Тут нужно быть либо идиотом, как этот оратор, либо негодяем.

— Странно все-таки, что вы взялись за актерство. Почему это, Алексей Дмитрич? Как вы додумались?

Астафьев тихо засмеялся:

— А что же я мог бы еще делать? Читать лекции по философии? Я и читал, пока было можно, пока меня не выкинули из профессуры. А додумался просто. Мне приходилось раньше выступать чтецом коротких рассказов, разумеется любителем, на разных благотворительных вечеринках. А раешничал я экспромтом в студенческих кружках; и ничего себе получалось. Когда мне довелось теперь менять профессию, я и вспомнил об этом. Актером быть доходно, — все-таки получаешь мучки и селедочки. Вот и стал я товарищем Смехачевым с набеленной рожей. Как видите — имею успех.

— Но тяжело вам?

— И вам тяжело, и мне тяжело, и всем тяжело. Но вы, Татьяна Михайловна, страдаете за свою музыку серьезно, а я хоть тем себя облегчаю, что смеюсь над ними, над теми, кого смешу, над каждым гогочущим ослом.

— За что же смеяться над ними, над рабочими, Алексей Дмитрич? Мне это не нравится в вас!

— Вы добрая, а я не очень добрый. Людей вообще, массу людскую, я не люблю; я могу любить только человека определенного, которого знаю, ценю, уважаю, который мне чем-нибудь особо мил. А толпу — нет. И вот я, профессор, философ, пудрю лицо мукой, крашу нос свеклой и ломаюсь перед толпой-победительницей, которая платит мне за это селедками и прокислым повидлом. И чем бездарнее и проще рассказы, которые я им читаю, чем безвкуснее остроты, которые я им преподношу, — тем они довольнее, тем громче смеются. Меня это часто очень утешает.

Помолчав, продолжал, уже без раздражения:

— Вы меня все-таки немного знаете, Татьяна Михайловна. И вы поймете, что мне нелегко выдумывать и выговаривать всю эту пошлятину. А я выдумываю и громко выкрикиваю. И чем глупее у меня выходит, тем я больше радуюсь. Тут, может быть, примешивается и некоторая радость мести — и им, господам нашего сегодня, и моей ненужной науке, моим лишним знаниям, моему напрасному уму.

— Почему напрасному?

— Он мне мешает, моей новой карьерой. Не мне, а товарищу Смехачеву. Философ Астафьев все пытается вложить в уста товарища Смехачева настоящую сатиру, подлинное остроумие, какой-то смысл художественный. Он, Астафьев, стыдится Смехачева, — а это совершенно излишне, это доказывает, что сам Астафьев, философ и профессор, еще не поднялся на подлинную философскую высоту, еще не отрешился от ученого кокетства, еще не стоик и еще не стоик, — простите за дешевый каламбур присяжному раешнику. Это, очевидно, очень трудно. Жить, как Диоген, в бочке — легко, а вот избавиться от нищего кокетства — трудно. Фраза: «Отойди и не засти мне солнца», — фраза, которую повторяют века, — в сущности, только дешевое кокетство. Настоящий циник должен бы сказать просто: «Убирайся к черту» — или, еще лучше, промолчать совсем, зевнуть, заснуть, почесать спину, — вот еще, принесла нелегкая Александра Македонского, когда и без него скучно, и без него толпа идиотов глазеет на бочку и ее обитателя. А вместо этого Диоген ляпает историческую фразу — и сам доволен, и все довольны. Именно такая философическая дешевка и нравится обывателю.

— Перестаньте, Алексей Дмитрич.

— Да почему, разве не правда?

— Может быть, и правда, но очень уж недобрая ваша правда. Не радуется. И вам от нее не легче. И мне очень неприятно.

Астафьев замолчал. Под фонарем на углу Арбата Танюша повернула к нему лицо и заглянула в глаза. Лицо Астафьева было серым, усталым, и в глазах стояла тоска.

— Не обиделись на меня?

Он искал ответа. Он не обиделся — слово не то. Но ему было жалко себя. Просто «нет» — не было бы настоящим ответом.

— Вы немножко правы, Татьяна Михайловна, и я не-

многожко путаю и умничаю. Тоже — невольное кокетство.

Неподалеку от дома она ему сказала:

— Знаете, я вас раньше боялась. Вы очень умный и оригинальный человек, не как все. Сейчас боюсь меньше; пожалуй, даже совсем не боюсь.

Он прислушался.

— Потому не боюсь, что я сейчас очень многое поняла, с тех пор как стала жить работой, как стала видеть много людей, совсем для меня новых. Как-то я подумала, что все мы — испуганные дети, и я, и вы, и бабушка, и рабочие, и товарищ Брауде — все. Все говорим и думаем о странных мелочах — о селедке, о революции, о международном положении, — а важно совсем не это. Не знаю что, а только не это. Что вам важно, Алексей Дмитрич?

— Сейчас скажу. Мне важно... Мне нужно и важно иногда видеть вас, Татьяна Михайловна, и говорить с вами вот так, как сейчас. И чтобы вы меня в разговоре нашем побеждали. А что вам важно?

— Мне? Я все-таки думаю, что всего важнее для меня было бы иногда видеть рядом простого и здорового духом человека, по возможности не философа, но и не раешника.

— А это не слишком зло, Татьяна Михайловна?

— Нет. Я вообще незлая, вы это сами признали. Но я хочу воздуха, а не какой-то беспросветной тюрьмы, куда вас всех тянет и куда вы меня тоже хотите упрятать.

— Кто же вас...

Но Танюша перебила:

— Мне, Алексей Дмитрич, двадцать лет, вы думаете, мне приятно вечно слышать панихидное нытье, злые слова? И главное, все время о себе, всё — вокруг себя и для себя, и все такие, даже самые лучшие. Бабушка, правда, думает обо мне, — но это все равно что о себе. А вы, Алексей Дмитрич, о ком-нибудь, кроме себя, думаете?

Уснувшее лицо Астафьева вдруг осветилось его умной улыбкой.

— Удивительно, — сказал он, — до чего излишек слов портит первоначальную мысль. Вы мой поток слов превали отличными замечанием и сразу сбили меня с позиции. А затем — вы сами увлеклись кокетством мыслей и слов, и я опять спасен, по крайней мере, не чувствую большого смущения. Ужасная нелепость этот наш интеллигентский язык. Что вы, собственно, хотите сказать? О чем меня спрашиваете? Существует ли для меня кто-нибудь,

кроме меня самого? Я могу вам ответить просто: да, еще существуете вы. Иначе я вас не провожал бы и не боялся бы за вас так. Вот вы уже и не совсем правы.

— Я вам благодарна, Алексей Дмитрич.

— Не за что.

Затем, особо отчетливо выговаривая слова, как выговаривал всегда, когда сказать было трудно или когда в словах своих не был уверен, Астафьев сказал:

— Все это относительно пустяк, все эти разговоры. Не пустяк же то, что я... что вы, кажется, начинаете слишком существовать для меня. Да, это именно то, о чем вы сейчас подумали: начало некоторого признания. Дальнейшего признания сегодня не может быть, во-первых, потому, что мы дошли, а во-вторых, потому, что во мне все-таки не угасла какая-то досада на вас. Вероятно, задето мужское самолюбие. Ну, будьте здоровы, кланяйтесь профессору.

Он пожал Танюше руку, подождал, пока на ее звонок у ворот хлопнула дверь в дворницкой, и, резко повернувшись, зашагал по Сивцеву Вражку.

Танюша, прислонившись лбом к холодному косяку калитки, думала: «Разве признанья бывают такими холодными? И почему я не взволнована?»

В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ

В семь часов утра верный рыцарь уже звонил у подъезда дома на Сивцевом Вражке.

Танюша выглянула в окно и оживленно крикнула:

— Я готова, Вася. Вы хотите войти? Чай пили?

— Чай я пил, и времени у нас очень мало. Лучше выходите, Танюша. Не забудьте захватить корзиночки. У меня большой мешок и достаточно хлеба.

— Зачем мешок?

— Как зачем? А для шишек. Привезем домой шишек для растопки. И вообще — на случай.

Какой чудесный летний день. Солнце косым утренним лучом скользнуло по Танюше, и на фоне окна она такая беленькая, ясная, приветливая. Как вообще хорошо жить... иногда.

— Вы сегодня элегантны, Вася.

Элегантность Васи Болтановского заключалась главным образом в довольно новых сандалях на босу ногу и

в русской рубашке навыпуск с кожаным поясом. Шляпы Вася не носил как из соображений гигиенических (надо, чтобы волосы дышали свободно!), так и потому, что шляпа его совершенно просалилась и протерлась, а новой добыть сейчас и негде и не на что.

Быть элегантным значило в те дни — быть в чистом белье и хорошо заштопанной одежде, — как бы ни был фантастичен костюм. За отсутствием материи, пуговиц, отделок прежние франты ухитрялись сооружать костюмы из портьер, белье из скатертей, а дамы носили шляпы из зеленого и красного сукна, содранного с ломберных столов дома и с письменных столов в советских учреждениях. Пробовали за это преследовать, но бросили: трудно доказать. Брюки с заглаженной складкой были уже не только буржуазным предрассудком, но и некоторым вызовом новой идеологии.

На самый взыскательный вкус, он — в вышитой косоворотке и сандалях, она — в чистом и проглаженном стареньком белом платье в талию, оба без шляп и без чулок — были вполне элегантною молодой парочкой. Корзинки в руках и пустой холщевый мешок на плече у Васи впечатления не портили: без мешка кто же выходил из дому!

Утреннее солнце было ласково. Они были молоды и веселы. Им предстояло провести целый день в лесу. Что, если не это, называется счастьем?

Дома и домики Сивцева Вражка провожали их улыбками. Даже профессорский особнячок, потемневший от старости, сегодня сиял и бодрился на солнце. Танюша, обычно серьезная и деловитая, сегодня охотно отвечала веселым смехом на все глупости, которыми сыпал Вася, чувствующий себя мальчишкой и гимназистом. Ноги бежали сами — приходилось сдерживать их торопливость. Что же, что, если не это, называется счастьем?

Поезд состоял исключительно из теплушек, пассажирами были главным образом молочницы, возвращавшиеся с пустыми бидонами. Было только два утренних и два вечерних поезда на дачной линии. Зато не требовалось никаких особых разрешений на посадку, как это было на поездах дальних.

Десять верст поезд плелся почти час: подолгу и без видимой надобности стоял на трех остановках. Танюша и Вася сошли на станции Немчинов пост.

— Ну, вот и кончен путь. Куда мы двинемся теперь, Танюша?

— Поскорее в лес куда-нибудь.

— Здесь рядом лес небольшой. А если пройти с полчаса полями, то там начнется чудесный лес, и тянется он вплоть до Москва-реки. Хотите?

Ноги шли сами, без понуканья. Миновали дачный поселок, теперь полуразрушенный и заброшенный. Дачи были на учете местного совдепа, получать можно было только после ряда хлопот, ходатайств, хитростей и лишь на имя организаций, при знакомстве — можно и фантастических. Последней зимой много домиков было растаскано на топливо, хотя рядом был лес.

Вышли в поля, где колос был редок и у дороги потоптан. Но все же золотая волна бежала по ржаному полю, среди хлебов мелькали синие глаза васильков, в небе пел невидимый жаворонок. Упряма была природа: жила сама и звала жить.

Танюша сняла туфли и шла босиком между двух колея дороги. Иногда под ноги попадалась зеленая трава, приятно холодила пятку, заскакивала между пальцами и с лаской ускользала. Вася расстегнул ворот рубашки и всю дорогу пел нескладным голосом и фальшивя без меры; он отличался полным отсутствием слуха, и нужно было ясное сегодняшнее утро, чтобы музыкальная Танюша не страдала от такого пения. Только при самых отчаянных руладах Васи Танюша, зажимая уши, кричала ему со смехом:

— Ну, Вася, пощадите! Вы испугнете всех птиц.

— Зато, когда пойдем обратно вечером, будут довольны лягушки. Мое пенье в их вкусе.

Они забавлялись, как дети, бегали наперегонки, украсили себя венками из васильков, жевали недозревшие зерна ржи и сладкие кончики травы. К десяти часам, миновав поля и перейдя глубокий овраг, вышли наконец на лесную дорогу.

Лес сначала обступил их невысоким молодняком — дубками, березками, орехом, затем обнял свежестью старых берез, осин, елок, сосен. Шла через лес кривая малоезженная дорога, с колеями в объезд кустиков и поверх размоченных корней, а меж двух колея и по сторонам росли сыроежки с розовыми и зелеными шляпками.

Встречных было мало, и только пешеходы. До деревни, что на крутом берегу Москва-реки, лес тянулся версты на четыре. Ягод здесь попадалось мало, то ли были обраны, то ли просто негодные места. Но орехи уже начи-

нали наливать и крепить молочные зернышки в резном зеленом капоре.

К полудню прошли мимо разбросанных домов и дачек деревни и вышли к реке. Вася по пути раздобыл молока, и на высоком берегу сделали привал.

Еще никогда не казался таким вкусным сероватый и вязкий ржаной пайковый хлеб с крупной солью. Танюша подивилась хозяйственности лаборанта: в его корзине оказалась не только бутылка для молока, но и два крепких стакана.

— Вы, Танюша, возьмите этот стакан; он у меня всегда служит для питья.

— А другой?

— Другой, собственно, для бритья. Но я хорошо вымыл. А отличаю я его по пузырьку на стекле, вот смотрите.

— Вася, какой вы смешной и милый. Давайте чокнемся.

Зато Вася покраснел и ахнул, когда в свертке Танюши оказались две большие котлеты.

— Ну, это уже черт знает... Это уже мотовство — совершенно царский стол!

— И не подумайте, Вася, что из конины. Самое подлинное мясо, и жарила я сама на настоящем коровьем масле.

Котлету съели пополам, оставив другую на обед. Ели молча, священнодействуя, думая в эту минуту о серьезном.

Когда покончили с печеным картофелем, корзина с провизией сразу стала легче.

— На десерт ягоды.

— Если найдем много. Нужно собрать и для дедушки.

— Черники и брусники в том лесу гибель.

Они сидели над обрывом, любясь изумительным видом на отлогие берега реки. Внизу, на той стороне, была деревушка, вдаль едва виднелось Архангельское.

— Красота!

— Красота!

— Вы довольны, Танюша!

— Я счастлива. А вы, Вася?

— Значит, я вдвое.

— Почему вдвое и почему значит?

— Своим счастьем и еще вашим.

Танюша посмотрела на Васю глазами ласковыми и задумчивыми:

— Милый Вася, спасибо вам.

— За что?

— За все. За заботливую и верную дружбу вашу.

— Да, за дружбу — это верно. А вам, Танюша, спасибо за то, что вы существуете. За мою к вам любовь. Вам она не мешает, а мне можно жить на свете. Ух, я так вас люблю, Танюша, что... — Вася повалился на траву и бил ее сжатым кулаком: — Пусть глупо, а мне так нужно. Вы меня не слушайте, Танюша, это я от солнышка с ума схожу. Ух, какой я сегодня совершенный идиот, ой-ой-ой, даже приятно.

Посидели так, он — лицом в траву, она, — задумчиво глядя на зеленые дали. А когда Вася поднял голову, Танюша просто сказала:

— Теперь пойдем в лес?

— Да. Теперь пойдем в лес. В лес так в лес.

Вскочил на ноги:

— Идемте. Здесь рядышком начинается самый старый лес, заповедный. Там еще стоят сосны времен царя Алексея Михайловича. Вы увидите. Ноги мы себе обдерем обязательно, это верно, но зато чудесно там, Танюша. Я здесь много раз бывал и все места знаю.

Высокая трава била по ногам. Тропинок становилось меньше. В заповедный лес вошли, как в грот, раздвинув ветви высокого кустарника. И, несмотря на полдень жаркого летнего дня, — вдруг оказались в прохладе и влажности.

Верхушки деревьев сплелись в сотни темных куполов, а вся земля, хоть и в густой тени деревьев, заросла травой жирной, ласково-холодной. Перегной был мягок и топок, и долго пробуравливал его белый стебель трав, пока, выйдя на волю, делался зеленым.

Глубже в лес не было и помина о дорожках, везде была зеленая стена кустарника и чернели столбы столетних стволов. В одном месте лежала сосна с выгнившей древесиной, много лет назад павшая, — только кора пролагала дорогу среди кустов и молодых деревьев, и верхушка терялась в темной дали. Павшая сосна доходила в толщине до человеческого роста, и ее пришлось обходить, как внешне выросшую стену.

— Где вы, Вася?

— Тут рядом. Я забрался в такую чащу, что не знаю, как и выбраться.

— Хорошо здесь, Вася. Какой лес, какой лес! Вы меня видите?

— Платье мелькает, а лица не вижу.
— Я хотела бы здесь жить, Вася.
— Соскучитесь. В мир потянет.
— В мире, Вася, несладко сейчас.
— Обойдется. Лучше будет.
— Вы верите?
— Да как же не верить. Вон у нас какие богатства. Один этот лес чего стоит. А на севере... ой, напоролся на сучок...

— Что, вы говорите, на севере?

— Я говорю, на севере, где я жил в детстве, там леса еще много лучше, хвойные, и тянутся на тысячи верст. Как вспомнишь о них: люди, и всякая политика, и квартирные вопросы, и декреты, и что там еще — все смешным делается.

— Вы любите жизнь, Вася? Вы не боитесь жить?

Среди зарослей показалась Васина косоворотка.

— Ну, Танюша, я окончательно застрял; главное — корзинка мешает идти. А насчет жизни — как же не любить ее? Люблю! Больше жизни я только вас люблю, Танюша.

— Опять вы начинаете.

— Я правду говорю. Я даже вот как скажу вам. Подождите, Танюша, не шевелитесь. Я потом вам помогу выбраться. Вы меня раз послушайте. Вот этим лесом клянусь вам, Танюша, ни о чем вас не прошу, а жизнь за вас отдам. Вы подождите минутку, дайте мне сказать. Этим лесом клянусь: если вам понадобится когда-нибудь моя помощь, ну, в чем бы ни случилось, — вы, Танюша, помните, что я ваш верный друг и пойду для вас на все, и на самую смерть пойду, и даже, Танюша, с удовольствием. Вот. Это я совершенно серьезно, и больше я говорить не буду.

Ветки перестали трещать, и птиц не было слышно.

— Вася.

— Что.

— Вася... где вы там.

— Да застрял.

— Подойдите.

— Не могу, тут ветки перепутаны. И что-то колется.

— Ну, протяните руку.

Опять затрещали ветки, и сквозь них показалась большая Васина рука.

— Ой, Вася, у вас кожа содрана на руке.

— Не беда.

— Бедный... Ну, держите мою руку.

Танюша налегла на кустарник и дотянулась рукой до Васиных пальцев.

— Поймали?

— Поймал.

— Только не тяните, а то упаду. Вася, милый Вася, я все знаю и все ценю. Только себя я еще не знаю. Мне здесь с вами хорошо, а дома, в городе, у меня на душе тревожно. Есть много такого, чего я не могу понять, ну — в себе самой. Вы, Вася, не осуждайте меня.

— Да разве ж я могу...

— Мне так трудно, Вася, так трудно.

— Ну, ну, я-то ведь понимаю.

— Вася, милый, вы мой единственный, настоящий друг, вот. Ну, теперь пустите руку. Надо как-нибудь выбраться из этой чащи.

Ветки раздвинулись шире, и Васина голова со спутанными волосами дотянулась губами до кончика пальца Танюши:

— Выберемся, Танюша, выберемся. Я сказал — помогу. Тут скоро должна быть лесная тропа. Я, Танюша, вас выведу, не бойтесь.

БЕСЕДА ВТОРАЯ

Разогрев воды на печурке, Астафьев смывал с лица последние остатки муки и краски. В зеркале отразилась щель двери, а в щели — опухшее лицо его соседа, рабочего Завалишина.

— Нечего подсматривать, Завалишин, входите.

— Туалетом занимаетесь?

— Смываю с рожки муку.

— Выпачкались?

— Вероятно. Как вы живете?

Завалишин вошел, погрел руки у печурки, потом сказал отчетливо и самоуверенно:

— Поживаю хорошо. Зашибаю деньгу.

— Все на фабрике?

— Никакой фабрики. Теперь совсем по другой части. По вашему, товарищ Астафьев, совету и прямому указанию.

— Что-то не помню, чтобы советовал. Это где же?

— Приказывали бороться, и даже по части подлости. Иначе, дескать, пропадешь, Завалишин, съедят тебя. Вот и боремся теперь.

Астафьев с любопытством посмотрел на соседа:

— Ну и что же, выходит?

— Не могу жаловаться, делишки поправляются. Даже пришел к вам, товарищ Астафьев, угостить вас, как бы отблагодарить за угощение ваше. Если, конечно, не гнушаетесь. И не самогон, а настоящий коньяк, довоенной фабрики, две бутылки.

— Подлостью, говорите, добыли?

— Так точно. Самой настоящей человеческой подлостью. Уж не погнушайтесь.

— Любопытно.

— Да уж чего же любопытнее. У вас два стаканчика найдутся? И закуски сейчас принесу, копченая грудинка и еще там разное.

Астафьев опять с интересом оглядел соседа. Перемена явная. Лучше, даже совсем хорошо одет, нет прежней робости и забитости, однако как будто и уверенности в себе настоящей нет. Храбрится и бравирует.

Завалишин принес коньяк, марки неважной, но настоящий, довоенный. Вынул из пакета грудинку, икру и какие-то сомнительные полубелые сухарики. Для дней сих — несомненная роскошь. Столик подвинули ближе к печке.

Завалишин налил два стакана до половины:

— За ваше здоровье, товарищ ученый. Покорнейше вам за все благодарен, за науку вашу, за советы — научили дурака уму-разуму.

— А все-таки что вы делаете, Завалишин? Воруете? В налетчики записались?

— Что вы, помилуйте. Получаю за аккуратную службу.

— Где?

— Вот это ж дело секретное, товарищ Астафьев. Одним словом — служба, настоящее дело. Работа самонужнейшая, в антитеррористических республиках. Но болтать зря нельзя.

— Ну, черт с вами, пейте.

Пили молча, закусывая икрой и толстыми ломтями грудинки. Астафьев был голоден, — сильному человеку нужно было много пищи. Коньяк согрел и поднял силы. Завалишин, напротив, быстро осовел, но продолжал пить жадно. Лицо его налилось кровью, глазки сузились и ту-по смотрели в стакан.

Потрескивали сырые дрова в печурке.

Сидя в кресле, Астафьев забыл про гостя. Мысль раздвоилась. Он думал о Танюше и о последнем разговоре, но в разговор вмешались эстрадные остроты, какие-то пошлые стишки, которыми он забавлял сегодня толпу. И еще слышались звуки пьянино: Танюша играла Баха.

Астафьев вздрогнул, когда сосед ударил кулаком по столу:

— Стой, не движь, так твою...

— Вы чего, напились, что ли?

Завалишин поднял пьяные глаза:

— Н... не желаю, чтобы он двигался.

— Кто?

— В...вообще, н...не желаю.

Засмеялся тоненьким смехом:

— Это я так. Вы, т...товарищ, не беспокойтесь. Я, товарищ, все могу.

— Нет, Завалишин, не все. И вообще вы — слабый человек, хоть по виду и силач.

— Я слабый? Это я слабый? Очень свободно убить могу, вот я какой слабый.

— Подумаешь. Убить человека и ребенок может, особенно если из револьвера. Силы для этого не требуется. А вот больше вы ничего не можете.

— А что больше?

— Создать что-нибудь. Сделать. Ну, вот зажигалку, что ли.

— Я не слесарь.

— Ну, поле вспахать.

— Ни к чему это. Мужики пашут.

— А вы пролетарий, барин! Мужики пашут, а вы хлеб едите. Ни на что вы, Завалишин, не способны; даже коньяк пить не умеете со вкусом: хлещете, как денатурат, и с первого стакана пьяны.

— Хлещем, как умеем, господин Астафьев. Нас этому в университетах не обучали. Чтобы пригубивать — у нас времени не было. Мы завсегда залпом. Вот так!

Он долил свой стакан и опрокинул разом, но поперхнулся и стал резать дрожащими руками ломоть закуски.

Астафьев допил свой стакан, налил другой, — не отставая от соседа, — и погрузился в свои думы. Голова его приятно кружилась.

Отвлекло его от мыслей бормотанье Завалишина.

Опершись руками о стол и положив на руки пьяную

голову, Завалишин красными, моргающими глазками смотрел на собутыльника:

— За такие слова можно тебя упечь безобратно. И за машинку, и за мужика. Упечь и даже в расход вывести.

Астафьев брезгливо поморщился:

— Чекист! Если вы пьяны, Завалишин, то ступайте спать. Допьем завтра.

— Завтра? Завтра у меня день свободный, в...вроде отпуска. Завтра материалу нет срочного.

И опять захихикал пьяненько и трусливо:

— Материалу завтра нет, а какой был — прикончили сегодня весь. Я, Завалишин, и приканчивал. Чик — и готово.

И вдруг, опять стукнув кулаком по столу, закричал:

— Говорю — не выспрашивай, не твое дело!

Дрожащей рукой налил стакан и выпил залпом. Коньяк ожег горло. Завалишин вылупил глаза, ахнул, потянулся за закуской и сразу, опустившись, ткнулся лбом в стол.

Астафьев встал, взял гостя за ворот, потряс, поднял его голову и увидел бледное лицо, на котором был написан пьяный ужас. Зубы Завалишина стучали, и язык пытался бормотать. Астафьев приподнял его за ворот, подержал и волоком потащил к двери:

— Тяжелая туша! Ну, иди ты, богатырь!

Доволок его до комнаты, швырнул на постель, подобрал и устроил ноги. Пьяный лопотал какие-то слова. Астафьев нагнулся, послушал с минуту:

— Ай, матушки, ах, матушки, куды меня, куды меня...

Астафьев вернулся к себе, собрал остатки закусок, пустую и полуполную бутылку, отнес все в комнату Завалишина. Придя к себе, открыл окно, проветрил комнату и лег в постель, взяв со стола первую попавшуюся книгу.

МЕШОЧНИК

Вагоны грузно ударились один о другой, и поезд остановился. Путь, который раньше отнимал не более суток, теперь потребовал почти неделю.

Стояли на каких-то маленьких станциях и полустанках часами и днями, пассажиров гоняли в лес собирать топливо для паровоза, раза два отцепляли вагоны и заставляли пересаживаться; и тогда вся серая масса ме-

шочников, топча сапогами по крыше вагона, спиравсь на площадках, с оханьем и руганью бросалась занимать новые места. Среди этих пассажиров, помогая себе локтями и с трудом перетаскивая чемоданчик и мешок с рухлядь, отвоевывая себе место, торопливо пробивался и Вася Болтановский, лаборант университета, верный рыцарь домика на Сивцевом Вражке.

Уже давно забыл, когда в последний раз мылся. Как и все, пятерней лез за пазуху и до крови расчесывал грудь, плечи, спину — докуда доставала рука. Только одну ночь ехал на крыше вагона, обычно же ухитрялся занять багажную полку внутри — и сверху победно смотрел на груды тел человеческих, спаянную бессонными ночами, грязью, потом, бранью и остротами над собственной участью. Счастливы спали на полу, в проходах, под лавками; неудачникам приходилось дремать стоя, мотая головой при толчках.

К концу пути стало в вагонах свободнее и крыши очистились. Большинство мешочников слезло и разбрелось по деревням. Вася проехал дальше многих, рассчитывая выгоднее обменять свой товар в отдаленных селах. В дороге сдружился с несколькими опытными мешочниками, уже по второму и третьему разу совершавшими сумбурный поход за крупой и хлебом.

Оставив поезд, разбились па кучки, подтянулись, подправились, удобнее приладили мешки и двинулись в разных направлениях.

Спутниками Васи были две бывалые женщины, из московских мещанок, и «бывший инженер», — как сам он себя именовал, — в хороших сапогах и полувоенной защитной форме; только вместо фуражки — рыжая кепка. Его принимали за солдата и называли «товарищем». С ним Вася особенно сдружился в пути и охотно признавал его авторитет и опытность. Звали инженера Петром Павловичем. Как и все — грязный, небритый, полусонный, он изумительно умел сохранять бодрость духа, шутил, рассказывал о прежних своих «походах», умел раздобыть кипятку, мирил ссорившихся, менял соль на табачок, уступал свое место на лавке во временное пользование усталым и женщинам, а на одной из долгих стоянок помог неопытному кочегару справиться с поломкой паровозной машины. В вагоне он был как бы за старосту, с особой же нежностью и заботой относился к Васе, которого называл профессором.

Инженеру Протасову было лет тридцать пять. Был широкоплеч, крепок, здоров, приветлив и обходителен. С каждым умел говорить на понятном ему языке и о понятных ему вещах. Пассажиры, слезавшие в пути, обязательно с ним прощались; новички попадали под его покровительство.

Выйдя со станции, маленькой своей группочкой двинулись в путь.

— Ну, сюда добрались; а вот как обратно поедем, с полными мешками!

— Там увидится. Ездят люди.

— Ездят, да не все возвращаются.

— Через заградилки трудно.

— Прoberемcя как-нибудь. Сейчас об этом рано думать. Сейчас — поменять бы выгоднее.

— Ноги-то не идут.

— Ничего, разойдутся. В лесу отдохнем.

— Это, выходит, — прямо на дожде!

— Найдем сухое местечко. А то в избу где-нибудь пустят.

— Ну и жизнь!

— Все же лучше здесь, чем в вагоне.

И правда — на воздухе отдыхали после вагонной духоты.

По осенним вязким дорогам меж намокших полей добрались до небольшой деревушки, где и собаки и люди встретили пришельцев с подозрительностью. Было ясно, что тут никакой торговли не сделаешь, — только бы высушиться и обогреться да расспросить.

В избу все же пустили. Хозяева, узнав, что у нежданных гостей есть чай, отнеслись к ним более приветливо и выставили со своей стороны крынку молока и хорошую краюху хлеба. Хлеб был настоящий, вкусный, сытный, не пайковый московский. За несколько щепоток чаю истопили баню и посушили ночлег. Это была удача, — баня самое нужное дело.

В первый раз за неделю Вася Болтановский разделся и долго возился с бельем и одеждой, вытравляя и выпаривая насекомых под руководством опытного спутника. Оделись в чистое, а ночью выпались, не обращая внимания на укусы клопов — насекомых невинных и приемлемых.

И утром, чуть свет, двинулись по дорогам и бездорожью искать крестьян побогаче и позапасливее.

В первом же селе женщины-спутницы отстали, — то ли расторгались, то ли решили, что ходить вчетвером невыгодно. Васе повезло, и почин он сделал на старом платье и летней кофточке Танюши, в обмен на которые получил целое богатство — полпуда гречневой крупы! Протасов сделку вполне одобрил. Завязывая свой мешок, Вася смотрел с ужасом, как молодая бабенка просовывала в рукава Танюшиной кофточки свои красные рабочие руки, примеривая ее поверх своей старой и засаленной и кулаками поправляя груди. Но почин сделан, и почин счастливый — для Танюши!

Мужики смотрели на торговцев мрачно, однако пытались прицениться к непроданным сапогам инженера. За косу и бруски предлагали пустяк, — о сенокосе думать рано. Васю заинтересовало, откуда у инженера новая неотбитая коса. Оказалось, что косу он получил в учреждении, где служащим выдавали в паек разные неожиданные и странные вещи; брали всё охотно, на случай обмена.

Решили слишком далеко не забредать и держаться ближе к железной дороге. Хуже всего было с ночевками, — пускали неохотно, не доверяя пришлым городским людям. Но, пустив, охотно расспрашивали про Москву, про немцев, про цены, про то, чего ждать впереди. Что война прикончена, — про то в деревнях знали; о том же, кто теперь правит Россией, правда ли, что царя увезли, и чего хотят большевики, понятие имели самое смутное и фантастическое. Больше, чем политикой, интересовались слухами о налогах и тем, будут ли у крестьян отбирать хлеб и не вернуться ли помещики. Ответы выслушивали, затаив дыханье, но, видимо, мало верили пришельцам и слова их толковали по-своему.

На пятый день заезжие купцы наполнили свои мешки, расставшись с кофтами, чулками, ситцем, морковным чаем и листовым табаком. В последнем селе Вася продал за пуд белой муки и пуд проса охотничьи сапоги профессора орнитологии, — сделка, которой инженер не одобрил, сочтя ее маловыгодной. К этому времени нагрузился продуктами и инженер. Решили ехать на ближайшую станцию с попутной подводой, заплатив деньгами. Устроилось и это, поход оказался счастливым.

Хозяин подводой, отъехав от села, повернул голову к седокам, осмотрел их внимательно, оценил и сказал Васе: — Смотрю я на тебя, для барина ты плох, а на товарища не похож; так уж я буду тебя господином звать.

Протасов спросил его:

— Ну а я на кого похож?

Крестьянин ответил неохотно:

— Кто ж тебя знает! Человек пришлый, не наш. Надо полагать, из военного сословия.

Тем более пригодилась подвода, что Вася Болтановский, не привычный к такого рода приключениям, чувствовал себя сильно ослабевшим, а в последнюю ночь его даже немного лихорадило.

Самым трудным было погрузить себя с мешками в поезд, по обыкновению переполненный. Первые сутки заночевали на станции; на второй день опять повезло, и с трудом устроились, сначала на тормозе, потом и на площадке. На следующих станциях новой толпой мешочников, занявших сходни и даже крышу, втиснуты были в вагон, где уже трудно было дышать и приходилось ехать стоя. Но раз попали — благодарили судьбу и за это.

Поезд шел на этот раз быстрее, без долгих задержек, и на третьи сутки уже подъезжали к Москве, удачно миновав первую заградилку, от которой откупились пустяками. Москвы Вася ждал с нетерпением, так как чувствовал, что силы его кончаются. В вагоне, чтобы легче было дышать, открыли все окна, и Васю сильно знобило. К ночи озноб сменился жаром, и инженер, смотря на молодого спутника, скептически покачал головой:

— Что это вас так развозит? Смотрите, не поймали ли ядовитую семашку!

— Нет, ничего. Скорее бы только доехать.

Под самой Москвой опять наткнулись на заградительный отряд. С крыши всех согнали, стреляя холостыми. Из передних вагонов выгнали пассажиров и у многих отобрали мешки. Но, видно утомившись с ближайшими, решили махнуть рукой на остальных. Мешочники защищали свое добро правдами и неправдами, цеплялись за мешки, ругались, лестили, подкупали, старались держаться сомкнутой массой, не пропуская заградилцов в вагоны, рассовывая свои запасы под лавки, под юбку, за пазуху. Васе и его спутнику опять повезло: их вагон был последним, и на усердный осмотр его у заградилцов не хватило ни сил, ни времени. Простояв свыше двух часов, поезд наконец двинулся. До Москвы оставалось часов пять. Главная опасность — лишиться добытого с таким трудом — миновала.

Протасов советовал:

— Как дома будете, прежде всего вымойтесь, выберите семашек, налейте до краев горячим чаем — и в постель. А лучше всего — доктора позовите, если есть знакомый.

И правда, Васе было плохо. После нервного напряжения, перенесенного в заградительном пункте, он испытывал теперь страшную слабость. Сидел на мешке, сам — как мешок. По временам так стучало в висках, что заглушало стук поезда. И тело, зудевшее от насекомых, покрыто было холодным потом.

— У меня все перед глазами сливается и точно плавает.

— Ну еще бы, — говорил инженер, с сожалением оглядывая спутника. — Это, батюшка, дело серьезное. Хорошо, что скоро в Москве будем. Мешки уж как-нибудь дотащим; может быть, попадет дешевый извозчик.

Громяхая на стрелках, ахая на поворотах, медленно, точно нарочно растягивая время, грузно, тяжело, злобно поезд подползал к московскому вокзалу.

Разминаясь и стараясь бодрее держать пылающую голову, Вася думал: «Кажется, плохо мое дело. А все-таки привез разного добра. Теперь Танюше и профессору будет немного легче».

И еще думал с больной улыбкой: «Скоро увижу ее... Танюшу».

«ЖМУРИКИ»

Преддомком Денисов с вечера предупредил жильцов, что всем, кто не имеет документа о советской службе, приказано явиться в милицию к трем часам под утро со своими лопатами:

— Пойдете на общественные работы.

Документы оказались почти у всех, а рабочие службой не обязывались. Двоих, не имевших, преддомком уволил от явки своей властью, одного по болезни (помирал от тифа), другого по преклонной старости. Не оказалось удостоверения только у семерых — у трех женщин и четверых мужчин, в том числе у приват-доцента философии Астафьева.

— Я служу актером в рабочих районных клубах, вы знаете.

Но Денисов явно был доволен, что Астафьев не оказался запасливым:

— Раз без документа, то вам, товарищ Астафьев, обязательно идти.

— Я только к ночи вернусь с работы.

— Ничего не знаю. Если не пойдете — я обязан сообщить, и уведут силой, да и назад не приведут; вам же будет хуже. Сейчас, товарищ Астафьев, с буржуазией не шутят. Пожалуйте к трем часам, вот вам и билет от домкома; там распишутся, и назад мне принесете. Лопату вам выдадим. Очень сожалею, товарищ Астафьев, но и без того всякий старается отлынивать.

Астафьев знал, что мог бы — при желании — отвертеться: Денисов не отличался неподкупностью. Но, подумавши, махнул рукой: «Надо и это испробовать; да, пожалуй в принципе справедливо».

К трем часам ворота в милиции были еще заперты; к половине четвертого собралась порядочная толпа и мужчин и женщин, безропотная, разношерстная, большинство без лопат. Кто были пришедшие — разобрать было нелегко; одеты плохо, сборно, но, по-видимому, большинство из «буржуев» и интеллигентов. На двоих мужчинах, уже пожилых, пальто было офицерского покроя, правда потерявшее облик, грязное, затасканное, со штатскими пуговицами. Вообще в толпе преобладали люди пожилые.

Отперли ворота в четыре, впустили, отобрали билеты домкомов, переписали. Поворчали, что мало принесли лопат, выдали десяток казенных, под расписку. Отрядили четверых конвойных вести толпу в шестьдесят человек.

По ночным улицам, мрачным, неосвещенным, неубранным, толпа шла сначала в порядке, к концу — разбредшимися группами. Уйти нельзя: только на месте выдадут билеты с отметкой. На вопрос, какая будет работа, сонные и злые конвоиры отвечали, что и сами не знают. Приказано доставить за заставой на вторую версту, близ дороги; там конвой сменят.

— В прошедшую ночь водили на Николаевскую линию рельсы и шпалы чистить, а нынче приказано в другое место.

Одна бабенка, суетливая и бойкая, поговору — из мешанок, словоохотливо рассказывала каждому, что ходит на работы не в первый раз, и ходит добровольно, замещает знакомую почти задаром. И ведут нынче, скорее всего, не дорогу чистить и чинить, а закапывать «жмуриков». Работа не тяжелая, хоть и грязная, а хлеба за это выдают по-божески, иной раз по целому фунту, и хорошего, солдатского.

Что такое «жмурики», Астафьев не знал.

Шли больше часу, пока дошли до места, где ждали другие конвоиры. Оказалось, работа тут и есть, рядом. Сказали, что отдыхать некогда, скоро грузовки приедут; отдых потом, когда хлеб выдадут.

Поставили всех рядом копать на пустыре большую яму. У кого лопат не было, те ждали, а потом становились на смену.

Что такое «жмурики», Астафьев узнал, вернее, догадался сам. Этим ласковым именем называли покойников. Конвойные на расспросы отвечали, что закапывать придется тифозных и других из разных больниц да с вокзалов.

Земля была влажной, весенней, и работа шла быстро, хоть и непривычны были к ней люди. Яму рыли неглубоко, а, главное, пошире. Из своих нашлись руководители, которые учили, покрикивали, даже немножко красовались своей опытностью и начальственностью.

Часам к шести прибыл первый грузовик, долго пыхтел, пробираясь к яме по бездорожью, наконец подъехал почти вплотную. Одну яму к тому времени закончили, рыли другую поблизости. На бледном дождливом рассвете четверо приехавших рабочих в фартуках стали вынимать и сбрасывать в готовую яму страшную кладь — полуодетых в тряпье, а то и совсем голых «жмуриков». Астафьев стоял близко и чувствовал, как дышать становится труднее и капли мелкого дождя не кажутся больше свежими и чистыми.

Позже подъехали еще два грузовика. Астафьев насчитал в общем до сорока трупов. После каждой партии приказывали позабросать землей, а остаток места экономить. Но первая яма была уже полна, и пришлось насыпать над ней землю курганом.

Опытные обменивались мнениями: «Большим дождем, пожалуй, размочет».

Землекопы смотрели мрачно, хмурились, отвертывались; женщины выдерживали лучше мужчин и больше шептались. Но только суетливая бабенка, как привычная, не проявляла ни страха, ни отвращения и даже с особым живым интересом встречала каждый новый грузовик, заглядывала в него, мешала работавшим, ахала, объясняла:

— Опять больничные либо вокзальные, из вагонов. И все-то раздеты, все раздеты! И сапоги обязательно сняты начисто, даром что тифозные.

Новый грузовик не добрался до самой ямы, завязли колеса в сырой размятой земле. При нем было двое конвойных, в военных шлемах с красной звездой, обшитой черным шнуром. Вызвали добровольцев разгружать. Сказали, что выдадут по добавочному фунту хлеба.

— А то и сами назначим!

Астафьев оглядел толпу, увидел смущенные и мрачные лица и вышел первым. У грузовика уже суетилась бабенка. Еще двоих, в перешитых военных шинелях, вызвали конвойные:

— Да вы не смущайтесь, тут заразных нет, все свежие!

Новые «жмурики» были страшнее прежних. Они почти все были одеты, только без обуви, и одежда их вся была в еще запекшейся крови. Велели стягивать за ноги, да не мешкать:

— Нечего смотреть! Покойник — покойник и есть.

Сжав зубы, стараясь не видеть лиц, Астафьев коснулся первого трупа. Сквозь грязное белье руки его невольно ощутили скользкий холод смерти. Он напряг всю свою мужскую волю, но губы его не складывались в обычную скептическую улыбку. Он не мог отогнать мысли, что этот страшный «жмурик» был человеком, и здоровым человеком, быть может, всего час тому назад. Ему казалось, что он этого человека знает, не может не знать, что эта предутренняя жертва террора — из его круга, может быть, его товарищ по университету или знакомый офицер.

Как бы в ответ один из конвойных сказал другому:

— Больше всё бандиты.

Вдруг Астафьев заметил, что его сотрудница, суетливая бабенка, поддерживая труп за плечи, быстро шарит рукой за разорванным воротом. Притворившись, что не может сдержать, опустила на минуту на землю, — и в зажатой руке ее блеснула золотая цепочка с крестиком. Так же суетливо подхватила вновь за плечи, что-то зашептала, боязливо отыскивая глаза Астафьева, и заулыбалась ему, как сообщнику.

Конвойный окрикнул:

— Не копайся там. Сама вызвалась, так и неси.

И добавил тише:

— Ну и баба! Ей все одно, что хлеб в печь совать. Любимая занятия!

Астафьев работал, как автомат, без мысли, без сознания о времени, не ощущая больше ни ужаса, ни от-

вращения. Стягивая с грузовика очередного «жмурика», механически считал: «Три, пятый, шестой...» Трупов было до двадцати, нижние всех страшнее, смятые, пропитанные своей и чужой кровью.

От ямы до грузовика Астафьев шагал твердым, крепким шагом, подняв голову и смотря прямо перед собой. Конвойные глядели с любопытством на высокого человека, лучше других одетого, опоясанного ремнем, с бледным, каменным, чисто выбритым лицом. На счастье и удачу суетливой своей помощницы, он отвлекал внимание конвоиров от ее проворных и шарящих рук.

Приказали закапывать. Астафьев пошел за своей лопатой, но, едва ее коснувшись, почувствовал, что кисти его рук и края рукавов липки и буро-красны. Бросив лопату, он отошел в сторону, стал на корточки и с тем же тупым равнодушием принялся оттирать руки о землю и побеги молодой травки.

Мир был. Но был мир пуст, мертв и бессмысленен.

Астафьев вытер руки насухо платком, бросил платок и пошел, минуя грузовик и конвойных, — прямо к дороге. Когда он проходил мимо, солдаты замолчали и отступили. Крайний пробурчал было: «Куда?», но вопроса не повторил. Другой солдат сказал:

— Оставь, все одно сейчас всем отпуск.

Астафьев вышел на дорогу и пошел не оглядываясь в сторону города. Отойдя с полверсты, почувствовал усталость и сел поблизости дороги у стены заброшенного домика.

Мимо пропыхтел пустой грузовик с двумя солдатами, а скоро прошли усталым, но быстрым шагом, теперь уже без конвоя, группами и одиночками, работавшие «буржуи». Многие на ходу жевали выданный хлеб.

Бойкой мешанки среди них не было. Астафьев увидел ее вдали сильно отставшей. Шла она одна, таща на плече лопату.

«А моя лопата осталась там», — подумал Астафьев.

Он встал и пошел навстречу бабенке. Когда поравнялись, та, видимо, оробела и хотела пройти стороной.

Тогда Астафьев подошел к ней вплотную, взял ее у груди за ворот ее полумужского пальто сильной рукой и сказал:

— Отдай все. Все кресты отдай.

Бабенка присела, попробовала вырваться, но в глазах ее, старавшихся улыбаться, был смертельный страх. Визгливым шепотом прохрипела:

— Что отдавать-то, батюшка, ничего и нет.

— Отдай,— повторил Астафьев.— Убью!

Бабенка дрожащими, суевливыми руками зашарила по карманам, вытащила четыре крестика, из них два на золотых порванных цепочках, и кольцо.

Не произнося ни слова, Астафьев сам обыскал ее карманы, вытряхнул платок, нашел еще два нательных крестика, швырнул ей обратно кольцо и, не слушая ее шипящих причитаний, зашагал под мелким дождем к месту работ.

Там уже не было никого; только над истоптанной землей возвышались длинные глинистые насыпи да блестели колеи автомобильных шин.

— А лопаты моей нет, утащили,— пробурчал Астафьев,

Затем подошел вплотную ко второй засыпанной яме и бросил на нее отобранные крестики. Подумавши, влез на насыпь, каблуком сапога глубоко вдавил крестики в землю и руками набросал сверху комьев новой земли.

Неверующий — не перекрестился, не перекрестил могил, не простился с ними. Круто повернувшись, смотря под ноги, зашагал прежней дорогой обратно в Москву.

«Я ЗНАЮ»

Орнитолог решительно скучал без Васи Болтановского, который уехал за продуктами и не возвращался вот уже вторую неделю.

— Пора бы ему вернуться, Танюша.

— Вы, дедушка, любите Васю больше, чем меня.

— Больше не больше, а люблю его. У него душа хорошая, у Васи. Добрый он.

Зашел Поплавский, в теплой вязаной кофте под старым черным сюртуком, в промокших калошах, которые он оставил за дверью.

— Наслежу я у вас, у меня калоши протекают; надо будет резинового клею достать. А что, профессор, мои калошки никто за дверью не стирит? Ведь у вас жильцы живут.

Поплавский, раньше говоривший только о физике и химии, сейчас не оживлялся даже при имени Эйнштейна, о книге которого только что дошли до Москвы слухи. В Книжной лавке писателей, временном московском культурном центре, куда заходил по своим торговым делам

и орнитолог, говорили за прилавком о теории относительности; даже кнопочкой приколата была к конторке, курье-за ради, математическая формула конца мира. Знал, конечно, и Поплавский о крушении светоносного эфира, — но сейчас далеки были от всего этого мысли еще молодого профессора. Думы его — как и многих — были заняты сахарином, патокой и недостатком жиров. И еще одним: ужасом начавшегося террора.

— Слышали? Вчера опять расстреляли сорок человек!

Орнитолог болезненно качал головой и старался отвести разговор от темы о смертях. Особнячок на Сивцевом Вражке защищался от мира, хотел жить прежней, тихой жизнью.

В восемь часов, аккуратный, как всегда, сильно исхудалый и постаревший, зашел и Эдуард Львович. Его кривое пенсне, часто сползавшее с носа, было украшено простой тонкой бечевкой — вместо истрепанного черного шнура.

Когда опять постучали в дверь (звонок — как и везде — не действовал), Танюша вскочила поспешнее обычного и побежала отворить. Вернулась оживленная, и за нею вошел Астафьев.

В последние дни он заходил часто и сидел подолгу, иногда пересиживая орнитолога, который рано уходил к себе спать и читал в постели.

С помощью Астафьева Танюша поставила самовар, и ложечка профессора уже стучала в большой его чашке. Старик любил, когда его огонек собирал умных людей, с которыми было хорошо и уютно посидеть и поговорить.

— Науку надо беречь. Поколения уйдут, а свет науки останется. Наука — гордость наша.

Поплавский молча пил чай и жевал черные сухарики; он изголодался. Разговор поддерживал Астафьев.

— Чем гордиться, профессор? Логикой нашей? А мне иной раз думается, что нас науки, в особенности естественные, сбили с пути верного мышления — мышления образами. Первобытный человек мыслил дологически, для него предметы соучаствовали друг в друге, и потому мир для него был полон тайны и красоты. Мы же придумали «la loi de participation»¹, и мир поблек, утратил красочность и сказочность. И мы, конечно, проиграли.

¹ «Закон соучастия» (фр.).

Астафьев, по привычке, помешал ложечкой пустой чай, а когда Таня пододвинула ему блюдечко с сахаром, сказал:

— Нет, спасибо, у меня свой.

И, вынув из жилетного кармана коробочку, положил в чай лепешку сахара.

— Почему вы не хотите? У нас есть.

Но Астафьев упрямо отодвинул блюдечко:

— Не будем, Татьяна Михайловна, нарушать хороших установившихся правил экономии.

Профессор сказал:

— Нужно уметь согласовать мышление логическое с мышлением образами.

— Нет, профессор, это невозможно. Тут синтез нет. Да вот я сошлюсь на Эдуарда Львовича. Вот он живет в мире музыкальных образов, в мире красоты,— может ли он принять логику современности? Это значило бы отказаться от искусства.

Эдуард Львович немножко покраснел, поерзал на стуле и пробормотал:

— Я доржен сказать, что не впрямую вас понял. Музыка имеет свои законы и как будто свою логику, но это не совсем та логика, о которой вы говорите. Но мне очень трудно объяснить.

Орнитолог одобрительно кивнул Эдуарду Львовичу и прибавил:

— Я вот тоже как-то не пойму вас, Алексей Дмитрич. Мысль вашу понимаю, а вас самого никак не усвою себе. Как будто вам легче, чем кому другому, принять и оправдать современность. Вы вон и науку отрицаете, и мыслить хотели бы по-дикарски, дологически. Правда, у вас все это от головы, а не от сердца. Ну а современность, нынешнее наше, оно как раз и отрицает культуру и логику; в самом-то в нем никакой логики нет.

— Напротив, профессор, как раз современность наша и есть чисто головное построение, самая настоящая математика, ученая головоломка. Логика и техника — новые наши боги, взамен отринутых. А если они ничем помочь нам не в силах — это уж не их вина; святости их это не препятствует.

Танюша слушала Астафьева и невольно вспоминала другие слова, им же и здесь же когда-то сказанные. Астафьев — сплошное противоречие. Зачем он все это говорит? Ради парадокса? А завтра будет говорить совсем

другое? Зачем? И все-таки он искренен. Или притворяется? Зачем он так... От тоски?

Теперь она слушала только слова Астафьева, не вдумываясь в их смысл. Скандируя слова, явно говоря лишь для разговора, безо всякого желания, Астафьев продолжал:

— Самые ненавистные для меня люди это — летчики, шоферы, счетчики газа и электричества. Они совершенно не считаются с тем, что мне неприятен шум пропеллера и этот дикий, ничем не оправдываемый треск мотора. Они непрошеными врываются в нашу жизнь и считают себя не только правыми, а как бы высшими существами.

— Люди будущего.

— Да, на них есть это ужасное клеймо. И вообще я предпочитаю им — из прочих отрицательных типов — футболистов. Те, по крайней мере, определенные идиоты и сознают это. В летчиках же и в некоторых инженерах чувствуется интеллект, хотя и искалеченный.

Танюша перевела глаза на дедушку. Старик слушал Астафьева с неудовольствием, не веря ему и стараясь подавить чувство неприязни. Болтовня и болтовня; и болтовня неостроумная. Неуместно дешевое гаерство в серьезных вопросах.

«Зачем он так?» — досадливо думала Танюша.

Сегодня Эдуард Львович не играл и ушел рано. Поплавского орнитолог увел в свою комнату — посоветоваться насчет книг, отобранных для продажи. Астафьев остался с Танюшей.

— Зачем вы так говорите, Алексей Дмитрич? Вы говорите, а сами себе не верите.

— Это оттого, что я не верю ни себе, ни другим. Пожалуй, и правда, — говорить не стоит. Хотя вы все же преувеличиваете: кое в чем я прав.

Помолчав, он прибавил:

— Да, глупо. Кажется, профессор обиделся на мои гимназические выходки. Мне вообще прискучило и думать и говорить. И чего я хочу — сам не знаю.

— Я вас считала сильнее.

— Я и был сильнее. Сейчас — нет.

— Отчего?

— Вероятно, спутался в подсчетах. Я думаю, что есть в этом немного и вашей вины.

— Моей? Почему моей?

Астафьев, сидевший в кресле, протянул руку и поло-

жил ее на диван, рядом с сидевшей Танюшей. Танюша скользнула взглядом по его большой руке и невольно, едва заметно, отодвинулась.

— Вы понимаете почему, Татьяна Михайловна. Должны бы понять. Я свои чувства не очень скрываю, да и не стремлюсь скрывать, хотя, возможно, они ко мне не идут. Главное, у меня вот нет этих слов, не знаю, как они произносятся... Вам, например, не кажется, что я вас любил?

Это не было первым признанием. Первое было тогда, у ворот. И было таким же холодным.

Танюша медленно ответила:

— Не кажется. Вероятно, я вам нравлюсь и вам хочется так думать. Но на любовь это не похоже.

Астафьев некрасиво улыбнулся:

— Что вы знаете о любви, Таня?

Никто никогда не называл Танюшу — Таней, и она не любила этого уменьшительного. Зачем он...

Танюша подняла глаза, прямо посмотрела на Астафьева и сказала:

— Я-то? Я-то знаю!

Сказала это просто, как вышло. И Астафьев почувствовал, что это правда: она знает. Гораздо больше знает, чем он, так много в жизни видевший, любивший, знавший.

— Я знаю,— повторила Танюша. — И потому могу вас успокоить: вы меня по-настоящему не любите. Вы, вероятно, никого не любите. И не можете любить. Вы такой.

— А вы, Таня?

— Я другая. Я и могу и хочу. Но только некого. Вас? Может быть, могла бы вас. Раньше могла бы. Но с вами холодно... до ужаса. Минутами — раньше — мне казалось... и было хорошо. Только минутами. Ведь и вы не всегда такой.

— Так приблизительно я и думал,— сказал Астафьев.

Он медленно убрал с дивана руку. Мир сжался, померчал, и сейчас Астафьев был подлинно несчастен. Он молчал.

Танюша, как бы про себя, добавила просто и серьезно:

— Я одно время думала, что люблю вас. Я тогда вам удивлялась. Теперь думаю, что не люблю. Уж раз об этом думаешь — значит нет. Вот если бы не думая...

Астафьев молчал. Кажется, сейчас опять войдут сюда дедушка и Поплавский. И Танюша громко сказала:

— Алексей Дмитрич, когда у нас концерт в Басманном районе? В среду или в четверг?

Астафьев твердо ответил:

— В четверг. Там всегда по четвергам.

Когда вошел орнитолог, Астафьев встал и попрощался.

Ложась спать, Танюша думала о многом: о том, что у дедушки сахар на исходе, что в среду она свободна, что у Эдуарда Львовича больной вид. Еще думала о Васе, которому пора бы вернуться. Думала также о том, что Астафьев прав: логика убивает красоту, тайну, сказочность. Затем, взглянув в зеркало и увидав себя в белом, с голыми руками, с распушенной белокурой косой, с глазами усталыми и не любящими никого, кроме дедушки, Танюша упала на постель и уткнулась лицом в подушку, чтобы этот милый дедушка не мог услышать, если она вдруг почему-нибудь заплачет.

ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛТЫХ ГЕТРАХ

Поравнявшись с Астафьевым, человек в желтых гетрах бегло глянул ему в лицо, на минутку задержался, затем зашагал быстрее и свернул в первый переулок.

В походке ли или в глазах его показалось Астафьеву знакомое; впрочем, и таких лиц, и таких сборных костюмов, полувоенных-полуштатских, попадалось много.

Придя домой, Астафьев занялся делом: нужно было вычистить экономическую печурку, плоскую, с гофрированным подом, дававшую хороший жар и потреблявшую мало дров; нужно было осмотреть железную трубу, которая через верхнее стекло окна выводила дым на улицу, подвесив на месте крепов баночки из-под сгущенного молока, и вообще приготовиться к зиме: скоро заохлодает основательно. Дров еще нет, но откуда-нибудь появиться должны; в случае крайнем придется прибегнуть к помощи соседа, Завалишина. Подлец и, конечно, чекист, — но черт с ним.

Во входную дверь постучали. Перемазанными в сажу пальцами Астафьев снял дверную цепочку, откинул крючок и повернул ключ. Сложные запоры были также поставлены Завалишиным, который в последнее время сделался явным трусом; может быть, боялся за свои припасы и за свои бутылки.

— Товарищ Астафьев?

— Да, я,— ответил Астафьев.

В дверях перед ним стоял человек в желтых гетрах:

— Можно на минутку... переговорить с вами?

Астафьев невольно отступил:

— Можно, конечно, но... позвольте... да ведь вы же... вы кто?

— Пройдемте к вам, Алексей Дмитрич — сказал вошедший вполголоса.— Ну, как вы живете? Куда к вам? В эту дверь?

— Сюда, сюда.

Введя гостя, еще не поздоровавшись, Астафьев вышел в коридор, подошел к двери Завалишина и прислушался. Затем легонько постучал и, не получив отклика, приотворил дверь соседа. Завалишина не было дома. Астафьев покачал головой:

— Ну, это еще удачно! Все-таки... черт его знает.

Гость ждал терпеливо, не раздеваясь и не садясь.

— Окончательно узнали?

— Узнал, конечно, хотя... вы удивительный актер. Можете говорить свободно, мы дома одни и дверь на цепочке. Что это на вас за любопытные гетры? Ведь это же бросается в глаза.

— Потому и надел, чтобы смотрели больше на гетры, а не на лицо. Чем заметнее, тем незаметнее.

— Так и бродите по Москве? Почти без грима? Попадете вы... милый человек.

Хотя и наедине, он невольно не называл гостя по имени.

— Рано или поздно попадусь. Лучше поздно. Слушайте, Алексей Дмитрич, вы человек неробкий, говорите прямо: можете меня приютить до завтрашнего утра?

— Очень нужно?

— Очень. Совсем некуда деваться.

— Значит, могу. Я потому спрашиваю, крайняя ли у вас нужда, что моя квартира не из удачных. Я здесь во всем доме единственный буржуй, а живет у меня что-то вроде чекиста, хотя главным образом пьяница. Впрочем, он дома бывает редко, даже не всякую ночь. Вам это подходит?

— Совсем не подходит, но, если вы согласны, я все-таки останусь, так как у меня выбора нет. Хорошо бы так устроить, чтобы ваш чекист меня не видел.

— Я его не пушу. Да он как будто не из любозна-

тельных и, говорю, убежденный пьяница. В делах зла — мой воспитанник; уверяет даже, что я толкнул его на такую дорогу.

— А обыск у вас возможен? Сейчас всюду повальные обыски, целыми домами.

— Вряд ли. У нас в доме живут рабочие семьи. Конечно, все может быть.

— Конечно. Значит — можно?

— Значит — раздевайтесь. Кормежка у меня плохая, но все же закусим.

— Да, это тоже важно.

Стряпали они молча, сообщая. У человека в желтых гетрах оказался кусок сала, у Астафьева была крупа. Ужин удался отличный.

— Когда он вернется, ваш чекист, мы лучше не будем разговаривать совсем. Я лягу: спать хочу мертвецки.

— Ну, это излишне. Ко мне люди заходят. Кстати, вы на дворе кого-нибудь встретили?

— Одного. Усики колечком, приказчицья рожа.

— Усики колечком? Значит — Денисов, преддомком. Это хуже. Но не беда — откуда ему знать, кто вы такой.

— Одним словом, будем надеяться. Слушайте, Астафьев, я вам очень благодарен. Вы — молодец, я потому к вам и пошел. На улице вы не узнали меня?

— Не обратил внимания. Видел, конечно, вы опередили меня.

— Не хотел заходить вместе с вами. Три раза прошел улицу — ждал, что встречу.

— Почему?

— Так, на счастье.

— А вам вообще везет?

— Пока плохо, Астафьев. Плоховато. Но на днях, думается, будет удача.

Астафьев ухмыльнулся:

— Если вы говорите «удача», значит, гром на всю Москву или на всю Россию. Ну, дело ваше, я нелюбопытен.

Закусив, они болтали с полчаса, вспоминая свои встречи в России и за границей и общих друзей, еще по первой революции. В живых и не в бегах осталось мало.

— Вы, Астафьев, ушли в науку, от прежнего совсем отошли?

— Да, нельзя оставаться боевым человеком, ни во что не веруя.

Глаза человека в желтых гетрах ушли вглубь, под брови, и он медленно сказал:

— Ну, по-настоящему веруют у нас немногие, главным образом дураки и простачки. Не в том дело, Астафьев. Надо, чтобы было чем жить и за что умирать; нельзя жить кислыми щами, тянуть эту канитель, утешаться словоблудием. Пропадать, так уж... Слушайте, я хочу спать. Где вы меня положите? Я раздеваться все равно не буду.

На первом рассвете Астафьев, спавший в кресле с прибавкой двух стульев,— гостя он положил на постель,— проснулся от гулких шагов по асфальту двора. Встал, подошел к окну и увидел, что квартира напротив вся ярко освещена и что на дворе топчутся фигуры солдат с винтовками. Возможно, что обыск. На фоне одного из окон мелькнула тень в фуражке, затем другая, подвязанная в поясе кушаком. Да, несомненно — обыск.

«Ему, кажется, окончательно не повезло»,— подумал Астафьев.

Подумал это с обычной усмешкой, но и с невольной нервной дрожью. И еще подумал: «Ответить придется нам обоим. Но, может быть, это — случайный обыск в той квартире».

На светлом пятне окна фигуры продолжали появляться и исчезать. Астафьев долго наблюдал, пробовал заставить себя, закуривши, сесть в кресло, но окно притягивало. Спустя полчаса осветились окна этажом выше, и тогда Астафьев почувствовал, как ноги его похолодели.

— Выходит — облава. И значит — конец.

Подъезд его квартиры выходил на этот дворик. Впрочем, насколько можно было видеть, не отворяя окна, часовые стояли во всех проходах и у всех подъездов дворика.

— Разбудить его? Или — пусть пока спит?

Будить как будто смысла не было. Нервничать вдвоем мало толку. Выйти из квартиры все равно нельзя. Может быть, обыск до нас не дойдет.

Тихо подвинув кресло к окну, Астафьев, не отрывая глаз, следил, как осветился четвертый, самый верхний этаж. Он вспомнил: «В нижнем жильцов нет, потому там и темно; вероятно, зашли и ушли, нечего искать. Теперь пойдут в другой подъезд. В который?»

Обыск в верхнем этаже затянулся. Уже рассвело, и тени на дворе облеклись плотью и защитными шинелями.

Солдаты сидели на ступеньках подъезда и прямо на асфальте, очевидно до крайности утомленные.

«Ищут подолгу, значит, ищут не людей, а припасы. Обычный повальный обыск. Но заберут, конечно, и не прописанного человека... вместе с хозяином. Есть ли у него какой-нибудь документ? Но, конечно, его, раз зацапав, немедленно опознают. Лакомый кусочек для Чека!»

На дворе затопали, и из подъезда вышла небольшая толпа кожаных курток. Была одна минута страшная, и сердце Астафьева громко стучало.

Потоптавшись, группа людей перешла к другому подъезду, напротив окна Астафьева.

Новая отсрочка. Теперь — последняя.

Во втором подъезде окна осветились сразу в двух этажах, затем в третьем и почти немедленно в четвертом. Очевидно, обыскивающие разделились на две группы, и работа пошла скорее. Солдаты на дворе дремали сидя, положив винтовки на колени.

Астафьев не считал больше минут и получасов. Нервное напряжение сменилось сильной усталостью: «Все равно... Остается ждать».

Он курил, закрыв глаза и подымая веки только при звуке шагов на дворе и при долетавших громких словах солдатского разговора. Свет утра уже сливался с пятнами освещенных окон. Розовело небо. Папироса докурилась, и Астафьев начал дремать. С первой тревоги прошло уже часа три, если не больше. Впрочем, не все ли равно.

Опять топот ног на дворе заставил его вскочить и подойти к окну вплотную. Из-за занавески он увидел ту же группу людей на середине дворика. К ней присоединились и дремавшие раньше солдаты. Нельзя было разобрать, о чем шел разговор, но было видно, что происходит совещание. Наконец группа двинулась к подъезду Астафьева, а часть солдат отошла, недовольно разводя руками.

И тотчас же гулко застучали шаги по лестнице.

— Кажется, пора его разбудить!

Астафьев прошел во вторую свою комнату, заваленную по углам книгами, где спал его гость:

— Слушайте, вставайте!

Попробовал растолкать за плечо. Гость спал крепко, измученный бессонными ночами. В ответ только мычал. Астафьев подумал: «В сущности — зачем. Бежать все рав-

но некуда. Разбужу, когда станут стучать. Пока они в нижнем этаже, а мы в третьем».

Сейчас он был совершенно спокоен — особым трагическим спокойствием. Из обывателя стал снова философом. С кривой своей усмешкой взглянул на бледное, одутловатое лицо спящего человека в желтых гетрах, повернулся, увидел в тусклом свете отражение своего лица в зеркале, поправил волосы, закурил новую папиросу и вышел в переднюю.

Он ждал недолго. Вновь застучали каблуки на лестнице, и люди с громким говором стали подниматься.

Астафьев не вздрогнул, когда в дверь его квартиры постучали кулаком. Он сильно затянулся папиросой и остался на месте у двери.

За дверью был гул голосов. Астафьев ясно расслышал:

— Этак невозможно, товарищ! Люди с ног валяются, да и день на дворе.

— Ладно, эту последнюю, и айда.

Снова стук и другой голос:

— Разоспались там, не добудишься.

«Сейчас будут ломать, — подумал Астафьев. — Надо будить его».

За дверью сразу заговорило несколько голосов громче прежнего:

— Будя, товарищ, надобно отложить. Этак две ночи подряд... разве же возможно... тоже и мы люди.

Астафьев, бросив папиросу, приложил ухо к двери. Ропот там усиливался. Наконец чей-то резкий и визгливый голос раздраженно крикнул:

— Ну, ладно, заворачивай оглобли. Одного подъезда докончить не можете, размякли, чистые бабы. Завтра здесь делать нечего будет, все приведут в порядок.

В ответ раздалось:

— Не двужильные дались, надо с наше поработать...

Но уже тяжелые каблуки с грохотом катились обратно по лестнице. И в тот момент, когда Астафьев хотел отнять ухо от двери, — его почти оглушил новый удар кулаком по дереву. И тот же визгливый голос досадливо крикнул:

— Эй, там, получай на прощанье! Разоспались, буржуи окаянные!

Дрожащими от волнения руками вынимая из коробки новую папиросу, Астафьев слушал, как замерли на лест-

нице последние шаги. Медленно повернувшись, он встретился глазами с человеком в желтых гетрах.

— Кажется, неприятность, Алексей Дмитрич?

Астафьев выпустил дым колечком:

— Наоборот, полное благополучие. Хорошо ли выпались?

— Отлично. А вы тоже, кажется, актер неплохой.

— Такова моя теперешняя профессия. Думаю, что теперь они ушли окончательно.

Человек в желтых гетрах ответил в тон:

— Будем надеяться. Кстати, я забыл предупредить вас вчера, Астафьев, что даром и живым я не сдамся. Нет никакого смысла.

— Понимаю,— сказал Астафьев.— И вижу. Но пока вы можете спрятать свою игрушку обратно в карман.

И прибавил, расхохотавшись искренне и весело:

— А все-таки ловко вышло! Вам явно везет. Что вы скажете о чашке морковного кофе? Выходить вам пока не стоит. Вы умеете зажигать примус?

ВЕРНЫЙ РЫЦАРЬ

Отворив на стук, Танюша увидела незнакомого человека с двумя большими мешками, скрепленными ремнем, надетым через плечо. Пришедший был в полувоенной форме и в пенсне — тип опростившегося интеллигента.

— Ну,— сказал он,— кажется, сомнений быть не может. Это вы — Татьяна Михайловна?

— Да, я.

— Вот получайте посылку: мука, крупа и прочее. Это — первая порция, остальное после принесу, сразу тяжело. Велено вам доставить.

— Это от кого?

— Приказано сказать: «От верного рыцаря».

Танюша обрадовалась, потом озаботилась:

— От Васи? А где Вася? Он приехал?

— Приехать-то приехал, мы вместе приехали, а только плохо доехал. Болен он. И по-моему, сильно болен. Что-нибудь подхватил в дороге.

Болен милый Вася, лучший друг и верный рыцарь!

Танюша пригласила Васиного спутника войти.

Свалив с плеч мешки, пришедший отрекомендовался Протасовым Петром Павловичем, прибавив:

— Раньше был инженером, а теперь больше мешочничаяю.

Рассказал, как Вася до последней минуты крепился, но уже на вокзале в Москве сдал окончательно, не только не смог дотащить мешки до извозчика, а и сам едва добрал. Протасов доставил его домой, заставил раздеться, кое-как помыться, забрал с собой его одежду, чтобы выпарить и вычистить.

— У меня в квартире есть хорошая печка, с котлом. И дровишки имеются. Все приспособлено. По-буржуйски живу.

— Где же сейчас Вася?

— У себя дома. Мешки велел снести вам. Я, конечно, и мешки, осмотрел, чтобы не осталось на них какой нечисти.

— Вы думаете, что у него тиф?

— Да боюсь, говоря по совести. Нужно к нему доктора. Я, Татьяна Михайловна, на вас рассчитываю, если вы не боитесь заразы. Сыпняк по воздуху не передается, конечно, а все же.

Инженер смотрел на Танюшу с уверенной улыбкой: такая не побоится, вон она какая!

— Ну конечно же, Господи, я иду сейчас. Я знаю и доктора, близко, здесь, на Арбате. Я его приведу к Васе. Этот доктор всегда лечил дедушку.

— Вот отлично. Вы и идите скорее. А я пока домой.

Условились, что Васин спутник непременно зайдет на днях, завтра же вечером. И громадное спасибо за мешки.

— Завтра вам и остатки занесу.

— Вы, верно, очень устали с дороги?

— Немного. Я двуужильный и привычный, никогда не устаю.

Разговаривали, как старые знакомые. Протасову было лет тридцать пять; был давно небрит, немного обшарпан, хотя, очевидно, успел переодеться. И было в лице много бодрости и доброты. С Танюшей говорил, как с младшей, но с мужской почтительностью:

— Сразу вас узнал, как увидел.

— Почему?

— А он мне сказал: «Придете, постучите, и вам откроет, вероятно, она сама, Танюша, Татьяна Михайловна».

— Ну, тогда действительно узнать было нетрудно.

— Нет, он еще прибавил: она удивительная девушка, совсем особенная. Я сразу и узнал.

Танюша смутилась:

— Ну уж Вася... он такой чудак!

И все-таки приятно было Танюше слышать от незнакомого человека такие слова, сказанные просто, свободно, с хорошей улыбкой.

— Вы с ним подружились в дороге!

— Да. Он очень славный малый, очень славный. Большой идеалист, и это хорошо.

— Вася — чудный товарищ. Вы тоже, вероятно, замечательный товарищ. Вы там ему помогли.

Инженер просто сказал:

— Мне нетрудно. Я человек здоровый и привычный ко всему.

На Арбате, около дома, где жил врач, расстались. Танюша наказала Протасову обязательно прийти завтра вечером, сейчас же после обеда:

— Дедушка будет очень вам рад. Он очень любит Васю, скучал без него. Вы ему расскажете про ваше путешествие.

Когда расстались, Танюша подумала: «Вот милый человек! Удивительно славный. Такая мягкая улыбка, такой деликатный и такой бодрый, точно... ничего не случилось. И так позаботился о Васе».

Инженер шагал домой, разминая плечи, уставшие от тяжелых мешков. Думал о своем, мужском, деловом. А на губах была улыбка — от приятной встречи.

Вася Болтановский лежал в постели.

Комната его, такая знакомая очертаниями, сейчас потеряла прежнюю четкость линий: углы затупились и наполнились дрожащим туманом, окно вздрагивало и жгло глаза излишней яркостью, гравюра, висевшая на стене против кровати, плавала в пространстве.

Была особенно неудобна и непокойна подушка: голова Васи никак не могла улечься на ней хорошенько. Подушка камнем давила на затылок, ложилась криво, сползала, внезапно становилась стоймя и щекотала углом, вползала на голову, мешая дыханью, забиралась под плечо и высоко вверх подымала все тело. Одеяло было слишком теплым и все же не грело ног, и Вася, задыхаясь от жары и духоты, в то же время искал озябшими, дрожащими ногами край одеяла, чтобы укутаться крепче. В комнате стоял гул, напоминавший стук вагонных колес, и каждый удар отражался в висках и в левом боку. Хотелось пить, но графин с водой, поставленный у по-

стели на столике Протасовым, откатился недосыгаемо далеко и дразнил издали, отскакивая от протянутой руки.

Когда Вася закрывал глаза, грудь его начинала вздыматься до потолка комнаты и опускаться, плавно качаясь, как на волнах, и мутя голову. Это мешало заснуть. Мешали этому и незнакомые лица, толпой окружившие лавку, на которой он пытался устроиться с мешками, хотя лавка была слишком узка и коротка для него. Было странно, что поезд ежеминутно переходил с рельс на рельсы, хотя Вася отлично помнил, что уже приехал на московский вокзал и успел раздеться. Теперь он тщетно пробирался сквозь толпу мешочников, стараясь разыскать мешок с крупой, особенно ценный, так как выменен он на охотничьи сапоги профессора. Орнитолог сердился и топал ногами,— таким Вася никогда его не видел. Оказалось, что сапоги эти надеты на Васе и страшно холодят ноги; снять невозможно, да и некогда: в вагоне может не оказаться ни одного места, и тогда Протасов уедет один. «Хорошо еще,— думал Вася,— что я попросил его доставить Танюше мешки; иначе пришлось бы ждать, пока кто-нибудь зайдет и протелефонирует. Если у меня сыпняк, то нужно, кажется, остричь волосы».

Эти слова внезапно доносятся до уха Васи, и он догадывается: «А я брежу! Это ведь я сам говорил сейчас. Значит — здорово болен!»

Открыв глаза, Вася замечает, что окно потемнело. Впрочем, гудит комната по-прежнему, но возможно, что это проехал автомобиль по улице. С усилием приподнявшись, Вася дотягивается до графина с водой и жадно пьет воду из горлышка, стуча зубами о стекло. От воды резкий холод, точно грудь и живот обложили льдом, зато ногам стало как будто теплее и посвежела голова. Графин сильно ударяется донышком о доску столика, и голова Васи падает на подушку.

— Да, я совсем болен. Совсем, совсем болен. Надо, чтобы кто-нибудь помог мне.

«Кто-нибудь» — это только Танюша. Остальным дела до Васи нет — соседям по квартире, хозяйке, знакомым. И они все побоятся.

От озноба Вася лихорадочно кутается в одеяло. Опять стучит в висках и мучительно болит голова. И опять начинается свой беспокойный танец жесткая и неугомная подушка.

Васе очень приятно, когда лба его касается холодная рука, и незнакомый мужской голос говорит:

— Конечно, сильный жар. Тут сомнения быть не может. Нужно в больницу,— только куда же сейчас отправь. Некуда, везде полно.

Слова не доходят до сознания Васи, но зато другой, уже очень знакомый голос, несомненно голос Танюши, сразу делает его спокойным и наполняет радостью:

— Как же быть, доктор? А нельзя оставить здесь, дома?

— Да и придется, конечно. Но кто же за ним ходить будет?

— Я могла бы.

Конечно, это ее голос. Вася лежит тихо, точно залаस्कанный. Сразу прошли эти ощущения жесткой подушки, сразу согрелось тело и прошла боль головы. Но открыть глаза не хочется,— пусть сон длится.

— Ну,— говорит доктор,— где же вам. Тут нужна настоящая сиделка. Тиф — не шутка.

— Я буду днем, а сиделку найдем какую-нибудь.

— Сиделку я, пожалуй, найду вам, только вот платить ей... Продуктами заплátите, мучки там. Одна у меня есть на примете, опытная, в больнице служила, и муж у нее врачом был. Только нужно осмотреть его и всю комнату почистить. Он, вы говорите, с дороги?

— Только утром приехал.

— То-то и есть. Осторожность нужна. Вы как, здесь пока побудете?

— Да. Скажите, доктор, что делать нужно?

— Да что же делать... Придется мне самому достать, что нужно. В аптеках сейчас ничего нет, да и не выдадут частному лицу. Я добуду сам, принесу. Часа два придется вам при нем посидеть одной.

— Я посижу, сколько нужно.

Вася слышит звуки голосов и знает, что это говорят о нем и что это говорит Танюша. Знает, что он болен и что он счастлив. Больше Васе не нужно ничего слышать и понимать.

— Вася, вам больно?

Он на секунду открывает глаза, видит милую и знакомую тень, улыбается и вновь погружается в давно желанное небытие и спокойствие. Верный рыцарь счастлив. Вася спит. Если бы не пылающее жаром лицо, он мог бы показаться мирно спящим, здоровым и счастливым человеком.

Так проходит минута, или час, или вечность,— пока сна Васи вновь не нарушает его жесткая и неугомонная подушка. Но теперь кто-то сильной рукой сдерживает и усмиряет ее буйство. И голос шепчет:

— Вася! Мой бедный рыцарь, мой бедный, бедный Вася!

РАЗГОВОРЫ

Усиленно разыскивали старого боевого эсера. Что он в Москве — сомнений не было. Известно было, что он не только посещал знакомых, но даже осмелился сделать обстоятельный доклад о делах на юге в собрании интеллигентской группы. На этом собрании старый террорист был в желтых гетрах.

Субъект армянского типа, в круглой барашковой шапочке, в ярком жилете под распахнутым пальто, мирно беседовал с черноватой девушкой в платочке у парапета набережной Москва-реки:

— Все это мне, конечно, известно, потому я в армяшку и обратился. Болтуны эти ребята. А знаете, где мои гетры? Я продал их на Смоленском самолично. Мне очень нужны были деньги, а гетры — хороший товар.

Когда они расставались, армянин крепко пожал маленькую руку девушки:

— Ну, милая, прощайте. А может быть — до свидания. Чудеса бывают. Давайте поцелуемся. Теперь идите и не оглядывайтесь.

Она хотела отойти, но он вернул ее:

— Подождите, дружок. Значит, на случай неудачи или какой неожиданности — вы помните адрес? Там оставьте записку.

— Да, все помню.

— Вы в Бога не верите? Я тоже; но все же, по-своему, буду за вас молиться. За нашу удачу!

Когда она скрылась за поворотом, армянин нахлобучил шапочку, застегнул пальто и пошел в сторону Замоскворечья.

Молнией пронесся по Москве слух о покушении: молнией блеснули и страх и надежды. Никто не сомневался, что в деле этом участвовал человек в желтых гетрах. Никто не сомневался и в том, что отвечать за покушение

доведется многим, не имевшим к заговору никакого отношения, хотя бы отдаленнейшего.

Рассказывали о том, как солдаты, целя в сарае в грудь худенькой девушки-еврейки, дали неверный залп, как один из них забился в истерике, как раненую добил выстрелом из кольта в голову бывший рабочий, служивший на Лубянке, завзятый пьяница и бестрепетный исполнитель. Было много слухов, фантастических, тревожных, правдивых, вздорных,— и Москва, сжавшись и притаившись, со страхом ждала грядущего.

Ждать пришлось недолго.

Зеленщик, приятель бывшего дворника Николая (дворники были отменены), немножко поправил свои дела. Не было, конечно, и речи о том, чтобы привозить, как прежде бывало, с подмосковных огородов полную телегу овощей прямо на базар, на Арбатскую площадь. Сейчас торговать приходилось больше втихомолку, с оглядкой. Однако морковь, капуста и репа не такая тебе вещь, чтобы можно ее реквизировать, свалить в подвал и продавать да раздавать в паек помаленьку, от имени всей нации. Тут требуется знание и никакого промедления. Поэтому огородное дело на окраинах расцвело, а иные догадывались вспахать лопатой и сады,— только уследить трудно, так как народ пошел аховый.

Об этом зеленщик подробно докладывал Николаю, сидя в дворницкой особнячка на Сивцевом Вражке.

Николай соглашался:

— Народ пошел — чистый вор! К примеру, собака и та знает, чего нельзя, а что можно. А человек норовит стибрить всякое добро — только отвернись. А то и на глазах схватит.

— С войны это пошло.

Потом говорили о делах политических и ругали махорку:

— Словно опилки стала.

— Опилки и есть.

— Духу в ней нет настоящего.

В дворницкой воздух от трубок был тяжел, густ, сытен и уютен.

Зеленщик, Федор Игнатьич, человек бывалый и осведомленный, излагал события дня:

— Сказывают, опять расстреляли невесть сколько народу. Кого, может быть, и за дело: вора, разбойника, на-

летчиков там. А многих понапрасну, только для страха, чтобы страх нагнать.

Николай сказал строго:

— Убивать никого не надобно. Ты суди, коли есть за что. И кого отпусти, а кого на каторгу, для исправленья. Убивать человека нельзя.

— Вот я и говорю, если, например, за дело. А тут забрали людей, держали-держали, а потом всех для острастки и прикончили. Иной, например, старик, что с него взять, а другой — мальчик, без всякого смысла. И всех под одну гребенку. А из малыша человек может выйти получше всякого другого.

— Ребенка убивать — последнее дело. За это не простится.

— Я и говорю. У барыни одной, раньше капусту я ей доставлял, сынишку забрали и прикончили; паренек по семнадцатому году. Списки они составляли на что-то, по спискам и забрали их. А вины будто никакой и не было.

— Словно звери, — сурово сказал Николай.

— И звери, да и без пользы.

— От убийства какая польза. Кто меч взял, от меча и погибнет.

— А устроить ничего не могут. Скажем, купить нужно, что-где теперь купишь? А уж в Москве ли не было добра!

— Разграбили всё.

— Вот я и говорю. Растащить нетрудно, а вот поди-ка собери. Это нужно с умом. А сейчас кто за командира? Вот ваш солдат, Дуняшин брат, Андрюшка-дезентир.

— Нету больше Андрюшки.

— Али прогнали?

— Сам убег. Приходили его спрашивать. В каком-то деле попался, наворовал, что ли. Жил хорошо, с достатком, куда лучше господ. У барина, у старика, ничего нет, внучка ихняя селедки ест, а у Андрюшки с Дуняшей завсегда к чаю ландрин. И меня угощали: этого, говорит, у нас сколько хочешь. Тоже и мясное каждый день.

— Убег, значит?

— Ушел и Дуняше не сказал. Верно, в деревню ушел, к своим. А может, забрали его, нам неизвестно. Только что пропал комендант; а начальством был.

— Так. Какие и у них попадают. Чем-нибудь, значит, не угодил.

Потом Николай рассказывал о своих планах. Многого ему не нужно, а все же на четверке хлеба, на одной, не проживешь. Барышня, Татьяна Михайловна, селедку отдает; говорит: много у нас. А откуда у ней будет много? Тоже Дуняша помогала. Однако теперь, как Андрей ушел, стало и ей нечего жевать. К барышне назад в прислуги просится, а той кормить ее нечем, да и прислуга не надобна, в двух комнатах живут. Теперь тоже в деревню хочет. Денег ей Андрюшка давал все же, немного скопила, да стали деньги дешевы... На дорогу, может, и хватит. Конечно, она ближняя, тульская, а мне далеко. А даром не повезут.

— Трудное дело.

На том и порешили, что дело трудное, а иного ничего не придумаешь. Зеленщик поднялся идти домой, а Николай тоже вышел с ним из дворницкой — подышать воздухом.

— Гляди, скоро мороз стукнет.

— И стукнет. Он не ждет. На него декрета не напишешь.

У ворот распрощались. Привычно помахав истертой метлой по тротуару, Николай поглядел на небо, подправил метлу, стукнув дважды о плиты, и пошел обратно, размышляя: «И так плохо, и сяк плохо. Раньше тоже, бывало, и вешали и били, а толку не вышло. Все одинаковы».

И хоть любил тепло и табашный дух, а все же отворил ненадолго дверь своей дворницкой: «С этой, с нынешней, махорки ежели сейчас спать лечь — обязательно угоришь. Из чего ее только делают? Один обман!»

СЕСТРА АЛЕНУШКА

У постели Васи доктор и сестра милосердия. Фамилия доктора — Купоросов; он из семинаристов, уже очень пожилой человек, грубоватый и хороший. Единственный врач, которого признает орнитолог:

— Этому можно довериться. Он понимает, что медицина не Бог знает какая наука. Доброе слово больному больше помогает. Хороший человек Купоросов! И откуда он добыл такую фамилию? Стойкий человек, основательный.

Купоросов лечил всегда Аглаю Дмитриевну, лечил и

профессора и Танюшу — еще когда была у нее скарлатина. Без приглашения же на Сивцев Вражек не являлся; впрочем, он был очень занят своей практикой — больше среди людей небогатых.

Доктор сам привел к Васе сестру милосердия, Елену Ивановну, совсем молоденькую, но уже вдову. Муж ее, врач, умер от тифа. Доктор Купоросов очень любил своего молодого коллегу и после его смерти покровительствовал его вдове, находил ей работу, учил ее нелегкому ремеслу сестры милосердия, относился к ней, как к дочери. Ласково называл ее Аленушкой, но был, по обыкновению, очень требователен и строг, когда дело шло об уходе за тяжелобольным:

— Тут, Аленушка, дело идет о жизни человека. Чтобы никакого упущения! Главное — чистота и воздух, а лекарствами не поможешь. Парнишка молодой, нужно его выводить. Понимаете, Аленушка?

Аленушка, Елена Ивановна, была низенькой, кругленькой женщиной цветущего здоровья, со вздернутым носиком и большущими голубыми глазами, совсем некрасивой и очень хорошенькой. В гимназии ее звали пышкой и щипали во время уроков, а она взвизгивала, так как больше всего на свете боялась щекотки.

Но всего забавнее Аленушка смеялась. Смех ее был неудержен, начинался светлым колокольчиком, а в конце срывался в какой-то странный басовый всхлип — вроде того, как хрюкает поросенок. Подруг ее это приводило в полный восторг, а Аленушка, хрюкнув, пугалась и делалась сразу серьезной. Ей этот маленький недостаток причинял большое горе, и она не знала, как от него избавиться.

Позже, впрочем, решила, что особого горя в этом нет, — когда жених ее, молодой доктор, заявил ей, что она победила его именно своим смехом. Женившись, он называл ее в порыве нежности милой своей хрюшкой.

С ним Аленушка могла бы быть счастлива, но жили они вместе недолго, не больше полугода. Его отправили на фронт, на тиф, и очень скоро Аленушка получила от него письмо, что ему что-то занездоровилось. Это письмо и было последним.

Долго после этого Аленушка не смеялась своим заразительным смехом и, так и не став дамой, стала дочкой и воспитанницей доктора Купоросова. Он и приспособил ее к уходу за больными.

— Я, Аленушка, теперь пойду по другим больным, а к семи часам буду дома. Если больному станет плохо, вы сейчас ко мне, либо самолично, либо лучше пришлите кого-нибудь. Давайте ему пить, сколько захочет, и тряпочку с уксусом меняйте, как согреется. И прочее, Аленушка, как обычно, вы же ведь уже знаете все.

— Я знаю, доктор.

— Ну, вот. Я на вас надеюсь. Никого к нему не пускайте, кроме этой барышни, которую тут видели, и его приятеля, который тоже тут был. Они — славные люди и вам помогут, в случае чего — сменят вас.

— Хорошо, доктор. А она кто?

— Барышня? Она внучка одного профессора, старого моего пациента. Зовут ее Танюшей, а отчества не помню. Отличная девушка, кажется, играет хорошо или еще что-то делает.

— Какая она красивая!

— А? Красивая? Должно быть, уж не знаю.

В женской красоте доктор Купоросов не очень разбирался. Может быть, и Аленушка красавица, а может, и уродец. Пусть в этом другие разбираются.

Когда ушел Купоросов, Аленушка осмотрелась, поставила поближе к постеле твердое кресло, пожалела, что нет на нем подушечки, вынула из небольшой принесенной корзинки желтенькую книжку Кнута Гамсуна «Виктория». Она этот роман читала раньше, и так он ей понравился, что решила прочесть еще раз; впрочем, ничего другого под рукой и не было. Когда устроилась в кресле хорошо и удобно, чтобы долго можно было так сидеть, с любопытством стала смотреть на лицо спящего больного.

Спал Вася Болтановский беспокойно, все время перекатывая голову по подушке. Приходилось поправлять ему подушку и перекладывать на лбу уксусную тряпочку. Подбородок его был давно не брит, и на лице, пылавшем от сильного жара, лежали тени. Но ямочка на подбородке была ясно видна, и это как-то сразу расположило к нему Аленушку: «Бедненький, какое славное лицо!»

В комнате Васи было чистенько прибрано, — постарались Танюша и инженер. На ночном столике постлан был чистый Васин платок с меткой «Б.», вышитой крестиком на уголке.

Прядь волос, которая всегда причиняла Васе заботу и беспокойство, лежала поверх компресса, мокрая и пу-

таная. Аленушка отвела ее к подушке: «Нужно будет его остричь».

Затем Кнут Гамсун начал свой нежный рассказ про любовь. Аленушка понимала любовь именно так, как Кнут Гамсун. Любовь—вещь беспокойная, и роману ни-сколько не вредило, что время от времени Аленушке приходилось отрываться от книжки: то поправить компресс, то поднести кисленькое питье к пылающим и сухим губам Васи, то улыбнуться больному хорошей улыбкой, которой он не мог ни понять, ни оценить: Вася Болтановский редко приходил в сознание.

На столике стоял будильник—и потянулись часы. Ночь будет бессонная, разве немножко удастся Аленушке подремать в кресле. А утром ее сменит либо эта красивая девушка, внучка профессора, либо господин, который был и ушел с нею. Может быть, они — жених и невеста? А может быть, этот больной — ее жених?

И опять Кнут Гамсун рассказывает про любовь. И как замечательно он про нее пишет!

Когда стемнело, Аленушка зажгла настольную лампочку, затенила ее от глаз больного, вынула из своей корзинки кусок пайкового хлеба, баночку с чем-то съедобным, соль в бумажке и яблоко. У Васиного письменного стола закусила, прислонив Кнута Гамсуна к чернильнице и продолжая читать. Закусивши, руки вытерла бумажкой, крошки собрала, баночку с остатком съестного положила обратно в корзинку, яблоко, большое и румяное, решила съесть после, походя, за чтением, и прежде, чем опять устроиться в кресле, подошла к зеркалу поправить косынку на голове.

Когда Аленушка смотрелась в зеркало, она слегка нагибала голову, чтобы носик не казался слишком вздернутым.

Вася тихо сказал в полусне:

— А как же быть? А как же быть? Сейчас отходит?

И громко крикнул:

— Подождите, по крайней мере. Я не могу же так...

Аленушка подошла, переменяла на лбу больного тряпку, отжав ее пухлой рукой,— и в это время Вася открыл глаза и спросил удивленно:

— Вы-то кто?

— Лежите спокойно.

— Нет, а вы-то кто?

— Я сестра милосердия. Ну, как вам, полегче?

Вася на минуту опять закрыл глаза, потом сказал внятно:

— Очень хочется пить.

Аленушка взяла стакан, помогла напиться, и Вася опять посмотрел на нее воспаленными и внимательными глазами:

— А вас как зовут?

— Зовут меня Елена Ивановна. Вам не нужно разговаривать, лучше постарайтесь заснуть тихонько.

Вася болезненно улыбнулся, сказал: «Постараюсь» — и действительно заснул, а Аленушка подумала: «Какая у него улыбка хорошая! Бедненький, вот страдает».

Постучалась хозяйка квартиры, напуганная болезнью жильца. Аленушка вышла к ней и сразу заключила с ней дружеский союз, успокоив ее насчет незаразительности сыпного тифа, — если все держать в чистоте. Поговорили о нужном, условились. Хозяйка предложила вскипятить воды, если потребуется. Вася был ее давнишним и любимым жильцом. Уходя, очень похвалила Аленушку, сказавши:

— Какая вы молоденькая да румяная, с вами всякий выздоровеет. Прямо как девочка. Неужто замужем?

— Я вдова.

Это уж совсем растрогало хозяйку, и она заявила Аленушке:

— Если вам нужно будет уйти ненадолго, вы мне скажите, я у него посижу. А как же вы спать будете?

— Ничего, я привыкла в кресле.

Тогда хозяйка принесла подушечку для сиденья и еще большую мягкую подушку — чтобы удобнее спать в кресле:

— У нас, слава Богу, хоть тепло, не замерзнете. Дровами обзавелись, и я печку свою топлю через день, тут за стеной прямо. Все даже завидуют. Оттого и в этой комнате тепло.

Вечером поздно доктор Купоросов забежал ненадолго, пощупал пульс, велел отмечать температуру на бумажке, все одобрил, поцеловал Аленушку в лоб:

— Ну, я пойду, а вы, миленькая, все же хоть в кресле подремлите. Значит — до завтра. Утром зайду в начале девятого.

Кнут Гамсун продолжал свой рассказ, — и это удивительно, до чего ясно представляла себе Аленушка и любовь и муки его героя!

ПЯТАЯ ПРАВДА

От боярина Кучки и до наших дней считано на Москве пять правд.

Правда первая — подлинная. Жила эта правда на Житном дворе, у Калужских ворот, в Сыскном приказе. На правёже заплечный мастер выпытывал ее под линьками и под длинниками, подтянув нагого человека на дыбу. У стола приказный дьяк гусиным пером низал строку на строку.

Вторая правда — подноготная: кисть руки закрепляли в хомут, пальцы в клещи, а под ногти заклепывали деревянные колышки. «Не сказал правды подлинной — скажешь подноготную».

Третья правда жила у Петра и Павла, в Преображенской приказной избе, где ведал ею князь-кесарь Федор Юрьич Ромодановский, «человек характера партикулярного, собой видом, как монстр, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому». От его расправы «чесали черти затылки».

Завелась было четвертая правда «у Воскресенья в Кадашах», за Москва-рекой, где жил в пятидесятых годах девятнадцатого столетия именитый купец, городской голова Шестов, защитник интересов бедного московского люда. Но такая правда, ненастоящая, долго удержаться не могла.

Дальше счет московским правдам был потерян, — уже не говорят о них, о каждой особо, народные пословицы: ни о Бутырской, ни о Таганской, ни о Гнездииковской. Помудревший народ свел все правды в одну, и эта одна «была, да в лес ушла». — «И твоя правда, и моя правда, и везде правда, и нигде ее нет».

Правда пятая родилась в наши дни на Лубянке.

Выпытав правду, ненужного больше человека «укорачивали на полторы четверти». Для этого нашлось в Москве много мест, оставшихся в народной памяти. На одной Красной площади, от Никольской до Спасских ворот, вырос позже ряд церковок «на костях и крови», и еще одна «на рву». Грозный укорачивал людей «у Пречистой на площади», перед Иваном Святым, позже названным Великим. «А головы метали под двор Мстиславского», — чтобы было чем чертям в сучку играть.

Еще были такие места в разное время и у Серпухов-

ских ворот, и в Замоскворечье близ Болота, и у великомученицы Варвары, и на углу Мясницкой и Фурманного, и где придется, а зимой и на льду Москва-реки.

Много, очень много было в Москве мест, где козам рога правили, где пришивали язык ниже пяток, вывешивали на костяной безмен, мыли голову, чистили пряжку, лудили бока, прогуливали по зеленой улице, парили сухим веником, крутили кляпом и цытали на три перемены.

Богат, красив и полнозвучен русский язык. Богат, а будет еще богаче.

При правде пятой — лубянской — стали пускать по городу с вещами, ликвидировать, ставить к стенке и иными способами выводить в расход. И новые завелись в Москве места: Петровский парк, подвалы Лубянки, общество «Якорь», гараж в Варсонофьевском — и где доведется...

Раньше тут жили люди коммерческие и преобладали восьмипроцентные и десятипроцентные интересы. Восемь и десять — огромная разница: восемь — обычное благополучие, десять — относительное богатство. Но все это ушло. Новые люди, далеко не заглядывая, знали твердо, что жизнь — только сегодня, что даже и сто процентов — пустяк, что либо весь мир, либо завтра же позорный конец.

Новые люди чуждались веры — или им так казалось. Несомненно, им так казалось. Вера была, и вера наивная: вера в сокрушающую власть браунинга, нагана и кольта, во власть быстрого действия. Откуда было им знать, что трава растет по своим несокрушимым законам, что мысль человека не гнется вместе с шеей человека, что пуля не пробивает ни веры, ни неверия.

Огромный двор, старые здания, на входных дверях наклеены бумажки с деловым приказом. Здесь царит власть силы и прямого действия. Улица, смиренный обыватель приходят сюда с трепетом, просят — заикаясь, уходят — плача, хитрят — прозрачно. Сила же застегнута на все крючки военной шинели и кожаной куртки.

От входа налево, через два двора, поворот к узкому входу, и дальше бывший торговый склад, сейчас — яма, подвальное светлое помещение, еще вчера пахнувшее торговыми книгами, свежей прелостью товарных образцов, сейчас — знаменитый Корабль смерти. Пол выложен изразцовыми плитками.

При входе — балкон, где стоит стража, молодые крас-

ноармейцы, перечисленные в отряд особого назначения, безусые, незнающие, зараженные военной дисциплиной и страхом наказания. Балкон окружает яму, куда спуск по витой лестнице и где семьдесят человек, в лежку, на нарах, на полу, на полированном большом столе, а двое и внутри стола, — ждут своей участи.

Пристроили из свежих досок две каморки с окошечком в дверях — для обреченных. Маленький муравейник для праздных муравьев.

На стенах каморок карандашные надписи смертников:

Мая жизнь была Каротенькая
Загубила мая молодость
И безвинно в расход
Пращай мая весна!

И могила нарисована — высокий бугор; и череп нарисован, веселый, похожий на лицо, под черепом кости, под крестом костей — имя и фамилия. Хочется юному бандиту с жизнью расстаться красиво, чтобы осталась по нем память, — как написано в тех тоненьких книжках, что продавались у Ильинских ворот:

«Знаменитый бандит и разбойник, пресловутый налетчик Иван Казаринов, по прозвищу Ванька Огонек».

А рядом, в общей камере Корабля — мелочь: каэры, эсеры, меньшевики со скудной бородкой, в очках, гнилогубый, трус, без огня и продерзости — человеческая тля.

На балкон выходит рыболов, затянутый кожаным поясом, «комиссар смерти» Иванов, а с ним исполнитель, приземистый, прочный, с беспокойным бегающим глазом, всегда под легкими парами, страшный и тяжелый человек — Завалишин, тот, который провожает на иной свет молодую разбойную душу.

На нарах, обсыпанный нафталином, с книжечкой в руках, бывший царский министр, с ровной седой бородой, человек привыкший, привезенный из Петербурга. Рядом — из меньшевиков, спорщик, пишет заявленья, ядовит, каждому следователю норовит задать вопрос с за гвоздкой. Еще рядом — спекулянт, продал партию сапожной кожи — да попался. И еще рядом сидит на нарах, свесив ноги, бедный Степа, из бандитов, еще не опознанный. Но из той же славной компании и комиссар Иванов: сразу признал своего:

— Здравствуй, Степа. Куда едешь?

— Должно — в Могилевскую губернию.

А сам бледный, давят на плечи осьмнадцать лет и жизнь кокаинная.

И скоро уведат Степу в особую камеру. Прощай, Степа, бедный мальчик, папин-мамин беспутный сынок!

Пьяными глазами смотрит в яму Завалишин, исполнитель, служака на поштучной плате и на повышенном пайке. Кровь в глазах Завалишина. Перед ночью пьет Завалишин и готов всех угостить, — да не все охотно делают с ним компанию. Страшен им Завалишин: все-таки — беспардонный палач, мать родную и ту выведет в расход по приказу и за бутылку довоенного. Бородка клочьями, и смутен взгляд опухших глаз, затуманенных денатуратом.

А через дорогу, через Фуркасовский переулочек — самое главное где вся борьба, — Особый Отдел Всероссийской Чеки. Здесь порядок, все и вся ходят по струнке, нет ни поэзии, ни беспредметной тревоги. Здесь надо всем навис, и царит, и неслышно командует умный и тяжкий гений борьбы и возмездия, хмурый и высокий товарищ старого призыва, по горло вкусивший царской каторги, идеалист, бессребреник, недоступный для всякого, народный мститель, всю кровь на себя приявший, — имя которого да забудут потомки.

Прямо с площади, высадив из автомобиля, вводят в двери новую жертву — врага народа и революции. В малой канцелярии анкета, затем на короткое время — в малую камеру с нарами, перечет — в большую — с клопами, во всем известную контору Аванесова, а после, по особой записке — прямо через двор, в старый дом, отделанный под тюрьму, по типу царскому, в страшное молчаливое здание Особого Отдела, откуда длинные коридоры, холодные, пустые, зигзагами ведут в кабинеты следователей.

Здесь вершится пятая правда московская — Лубянская Правда.

ТОВАРИЩ БРИКМАН

Маленький, жидковолосый, расплоснутый в груди человек, широко расставив локти и близко смотря на бумагу левым глазом, писал мелким бисером.

Звякнул на столе телефон.

— Да. Да, я. Хорошо. А он когда арестован? Ладно, товарищ. Только вы поскорее пришлите мне дело, я же

ведь не знаю. Ну хорошо. Вызову, сам вызову, хорошо.

Голос человека был тонок, как женский, с легкими визгливыми нотками.

Окончив свое «заключенье», внимательно перелистал худыми, тонкопалыми, детскими ручками принесенное «дело», вскрыл пакет бумаг, отобранных при обыске, и буркнул про себя, поморщившись:

— Опять набрали глупостей, ни черта не понимают.

Позвонил, подписал приказ и отдал вошедшему солдату отряда особого назначения:

— Снесите, товарищ, в комендатуру, и чтобы сейчас привели ко мне.

Встал, прошелся по комнате, покашлял в угол, выглянул в коридор и попросил, нельзя ли подать горячего чаю. Чай, жидкий и тепловатый, принесла низенькая женщина, в кудряшках под платком, бойкая и уверенная:

— Не знаете, товарищ Брикман, выдача сегодня будет?

— Не знаю.

— Говорили, что клюкву и, может быть, вязаные свитеры будут выдавать.

— Не знаю.

— Ох, уж кто же знает!

Конвойный доложил, что арестованного привели.

— Так и ведите сюда. Сами подождите за дверью, пока позову.

Следователь заспешил, сел за стол, положил перед собой оконченное «заклучение», взял в руки перо и принял вид пишущего.

Стукнула ручка двери, и солдат из-за двери сказал:

— Налево к столу идите.

Вошел Астафьев. Высокий, в слегка помятом костюме, небритый, с виду спокойный.

Следователь поднял голову и, едва взглянув на вошедшего, показал на стул рядом со своим столом:

— Садитесь. Вы гражданин Астафьев?

— Да.

— Садитесь.

Минуты две проглядывал свое «заклучение», читая только глазами, и в то же время придумывал вопрос. Затем вложил в папку, отложил, пододвинул дело Астафьева и спросил:

— Вы — профессор?

— Приват-доцент.

— Ну да, все равно. Философ?

— Да.

— Вы почему арестованы?

Астафьев улыбнулся:

— Это вам знать лучше.

— Я и знаю. А вы как думаете?

— Думаю, что арестован я так, зря, нипочему.

— Значит, вы думаете, что мы зря арестовываем?

Астафьев искренне рассмеялся:

— Думаю, что случается, из двадцати человек — девятнадцать наверное.

— Напрасно так думаете. Ошибки, конечно, возможны, но ошибки исправляются. Нам приходится быть осторожными, так как советская власть окружена врагами. Пусть лучше десяток людей посидит напрасно, чем упустить одного врага. Вы этого не думаете?

— Нет, не думаю. Я думаю как раз наоборот: лучше упустить виновного, чем лишить свободы десятерых.

— Ну, мы думаем иначе. Пролетариат не для того завоевал власть, чтобы рисковать ею из-за интеллигентских сентиментальностей. Пока советская власть окружена врагами...

Голосом тоненьким, скрипучим, без запятых, следовательно долго и тягуче произносил слова, много раз читанные Астафьевым в передовых статьях «Известий» и «Правды», слова, набившие оскомину своей правдой, своей ложью, своей практичностью и своей фантастичностью. Рассеяннo слушая его, Астафьев болезненно ощущал нахлынувшую скуку и ждал, когда следовательно кончит. Одновременно вспоминал: «Где-то я его уже слышал и где-то видел. Где?»

Внезапно оборвав популярную лекцию, тем же тоном следовательно спросил:

— К вам на прошлой неделе заходил человек в желтых гетрах. Как его фамилия?

Астафьев равнодушно ответил:

— Может быть, кто-нибудь и заходил в гетрах, не помню.

— Он долго у вас оставался?

Астафьев поморщился:

— Раз я говорю — не помню такого, то что же это за вопрос?

— А кто у вас был на прошлой неделе, назовите всех.

— В чем вы меня, собственно, обвиняете?

— Здесь не суд, я вам отвечать не обязан. Когда все выясним — узнаете. А вы ответьте на вопрос.

Крупный, здоровый, красивый человек посмотрел сверху на маленькую, тщедушную фигурку следователя:

— Оставьте эти вопросы. Как я вам отвечу, когда не знаю даже, в чем обвиняюсь. Я назову вам кого-нибудь, а вы его арестуете. За кого же вы меня считаете?

— Придется считать за врага советской власти.

— Ну и считайте, если вам хочется.

— А вы знаете, гражданин Астафьев, чем вам это грозит?

— Могу догадываться, но это для меня неубедительно. А вот скажите, следователь, где я вас мог видеть? Мне ваше лицо знакомо.

Следователь нервно дернулся, и в голосе его появилась визгливая нотка:

— Это не относится к делу. Вы на мои вопросы ответите?

— Не встречал ли я вас за границей? В Берлине, например? Вы не из эмигрантов? Мне вспоминается — на каком-то эмигрантском митинге... Пойдите, ваша фамилия не Брикман? Но, помнится, вы тогда были меньшевиком. Правда?

Товарищ Брикман заерзал на стуле, нажал кнопку звонка и крикнул:

— Угодно вам отвечать на вопросы?

Астафьев с широкой улыбкой немного насмешливо добавил:

— И вы, помнится, там, в Берлине, выступали против Ленина. Ай-ай-ай!

Брикман взвизгнул вошедшему конвоиру:

— Отправьте арестованного обратно!

— Бумажку позвольте.

Пока Брикман подписывал бумажку, Астафьев добродушно говорил:

— А вы не волнуйтесь, товарищ Брикман, вам это вредно, вон вы какой худой. Берите пример с меня. Все это — пустяки и не стоит волнений.

— В советах я не нуждаюсь, гражданин Астафьев; а вам придется долго посидеть, если чего похуже не будет. Можете идти.

Когда конвойный увел Астафьева, следователь долго, расставивши широко локти и навалившись на стол расплюснутой грудью, мелким бисером писал на анкетной

бумажке, приложенной к делу. Окончив, встал, прошелся по комнате, опять покашлял в уголок, пощупал свой пульс, оглянулся на дверь и подошел к тусклому зеркалу в рамке, висевшему близ окна. В зеркале туманно отразилось его лицо, худое, с тщедушной белокурой бородкой, с большими глазами над припухшими мешочками, со слишком оттопыренными ушами.

Грудь его, разбитая прикладами в пересыльной тюрьме, когда он был еще студентом, никогда с тех пор не дышала свободно. В жизни его не было радостей, и тянуть эту жизнь — ненужного никому чахоточного человека — он мог, только поддерживая себя верой в революцию, в будущее счастье человечества, в золотое время, которое неизбежно придет за периодом упорной и беспощадной борьбы с врагами рабочего класса. Правда, сам он рабочим не был, да и не мог быть — с разбитой грудью; но все же ему, Брикману, суждено было стать одним из героев и защитников нового строя, впервые родившегося в России и долженствующего охватить весь мир. Слабый здоровьем, он должен быть стойким, стальным, несокрушимым волею, — в этом все оправданье жизни.

Товарищ Брикман опять подошел к зеркалу, немного закинул голову и попытался выпрямиться. И опять зеркало тускло отразило тщедушную фигурку, украшенную красноватыми, лихорадочными глазами. Карманы френча оттопырились, но грудь не натянула защитной материи.

Товарищ Брикман не курил; от дыму он начинал кашлять долго и нудно. Он любил чистый воздух, но боялся открывать окно, так как от холоду также кашлял. В кармане он носил скляночку с герметически закрывающейся крышкой, в которую и плевал.

Сегодня он не сдержался, позволил себе потерять равновесие. Это плохо, это не должно повторяться! Против Астафьева нет достаточных улик, но по тону, по разговору, по поведению он — настоящий и опасный враг. Его делом нужно заняться, нужно вывести его на чистую воду, нужно!

В памяти Брикмана мелькнула фигура Астафьева, широкогрудая, здоровая, насмешливая.

Следователь взял телефонную трубку и тонким голоском, нетерпеливо нажимая рычаг, начал:

— Алло, алло...

По выражению, узаконенному развившейся в Москве канцелярщиной, Аленушка «вошла в контакт» с хозяйкой квартиры, где лежал больной Вася Болтановский. Контакт привел к тому, что совместными усилиями добыта была манная крупа и немного сахару, — в обмен на привезенное Васей пшено.

— Вы о нем заботитесь, Елена Ивановна, словно о своем женихе.

— Ну вот уж, вы скажете. Просто — нужно же ему что-нибудь легкое. Вы посмотрите, до чего он исхудал!

Аленушка, меняя больному рубашку (чистую предварительно грела у хозяйской печки), с жалостью смотрела на впадины у ключиц и на отчетливые ребра Васи. Беспомощность его трогала Аленушку и вызывала в ней нежные чувства к больному. Без Аленушки Вася ни в чем не мог обходиться и в минуты сознания и крайней слабости, преодолевая стыд, пользовался ее милосердной сестринской помощью.

Теперь кризис болезни миновал. Вася был в полном сознании, но слаб бесконечно. Доктор Купоросов при каждом визите говорил, уводя Аленушку в переднюю:

— Следите внимательно за температурой, Аленушка. Его нужно обязательно подкармливать, понемножку, но чаще. Утром тридцать пять и два было? Вот видите: это так же опасно, как большой жар. Он так у нас совсем замерзнет. Кашку давайте горячую, побольше масла. Молоко тоже хорошо. Как окрепнет немножко — и мяса можно, рубленую котлетку; телятины и курятины сейчас не достанешь. Не позволяйте утомляться, сидеть в постели, разговаривать, — пусть лежит. И сами, Аленушка, много не болтайте, не забалтывайте его. Ну-ну. Славный паренек, жалко.

Голову Васе вторично обрили, заодно побрили и отросшую бородку. Вася лежал теперь чистенький, беленький, худой, кареглазый, с ямочкой на подбородке. Говорил мало, тихим голосом, и все больше слова благодарности:

— Спасибо, Елена Ивановна, зачем вы все сами, могла бы Марья Савишна помочь вам хоть в грязных делах. Уж очень мне неловко.

— Пустяки вы говорите. И нужно же прибрать хорошенько. К вам скоро придут.

Придут — значит, Танюша и Петр Павлович.

С того момента, когда миновал кризис болезни и Вася пришел в полное сознание, он, лежа покойно и внутренне радуясь возврату жизни, — усиленно и насколько позволяла еще слабая голова, — вспоминал, какие видения прошли перед ним за время болезни, что было бредом и сном, в чем была доля действительных впечатлений. Вполне реальна была только постоянно бывшая при нем сестра милосердия, Елена Ивановна, которую доктор так хорошо называет Аленушкой.

Аленушка мелькала и в бреду и в сознании. Аленушка являлась всегда, когда ссыхались губы и душил жар, когда останавливалось или уж слишком сильно билось сердце, когда пылала голова и глаза смотрели сквозь лиловые туманные круги. С приближением Аленушки становилось сразу лучше и легче. Голос Аленушки звучал утехой.

Но иногда Аленушку отстраняли другие тени и видения, и голос ее сменялся другими голосами. Это были, конечно, Танюша и Протасов. Всегда двое, всегда оба вместе. И два голоса, говорившие шепотом, иногда с ним, с Васей, иногда друг с другом.

Голос Танюши, всегда нужный и жданный, но звучащий одновременно с другим, не успокаивал, а волновал Васю. Иногда хотелось его поймать и заставить говорить для себя слова необходимейшие, страшно важные или хотя бы слова утешения и жалости. Но этому мешал другой голос, мужской, ровный, спокойный, уверенный, почти веселый. Голос Аленушки был всегда для Васи; другие два голоса как будто звучали друг для друга, хотя, возможно, говорили тоже о нем и для него. Объяснить это трудно, — но так чувствовалось. И, слыша эти голоса, Вася беспокойно метался, бредил и вскрикивал.

Затем всплыло еще одно воспоминание, — если оно не было сном. Приходя порою в сознание, Вася отвечал на обращенные к нему вопросы (хочет ли пить, поправить ли ему подушки) и видел ясно тех, кто с ним говорил. Но, увидав, забывал о них сейчас же, они как-то уходили за круг его внимания, за пределы мира, в котором он вел борьбу со смертью. Были все же и более длительные просветы. Так, однажды он долго рассматривал лицо Аленушки, спавшей в кресле, и удивлялся здоровому ее румянцу и простодушному складу губ. В другой раз, утром, рассмотрел до последней черточки лицо доктора, склонив-

шегоса над ним, и улыбнулся, когда доктор сказал: «Ну, глазки у нас просветлели, гражданин, пора выздоравливать». Видел ясно и Танюшу, смотревшую на него испуганно и с такой жалостливостью, что Васе захотелось плакать; но в лице Танюши, таком любимом, было что-то чужое. И наконец, видел однажды, — но это могло и показаться, — обоих друзей своих, Танюшу и инженера, сидевших рядом, близко к его постеле и близко друг к другу, не говоривших ни о чем, но смотревших друг на друга с непонятным для Васи выражением.

Было это так. Вася, очевидно, крепко и покойно спал. Затем проснулся с приятной ясностью головы, с ощущением свободы от болезненного припадка, — когда не хочется пошевелиться, чтобы не спугнуть этого покоя и этой ясности. Открыв глаза, он увидел свою комнату в отчетливых очертаниях и освещенные лампой два лица, смотрящие друг на друга молча, словно застывшие в созерцании. Еще показалось Васе, что руки Танюши и инженера были соединены. Он мог бы и не заметить этого, если бы при попытке его повернуть резче голову к сидевшим Танюша не сделала порывистого движения, как бы отдернув свои руки. Тогда Вася закрыл глаза и почувствовал, как исчезли покой и ясность, и снова вернулось к нему мучительное полусознание, тяжесть в темени и боль в висках. Все это теперь вспомнилось, — но как-то туманно; могло и не быть в действительности.

Вчера был первый день полного сознания Васи. Но, сильно ослабев, он почти все время спал и Танюши не видал.

— Сестрица, вчера Татьяна Михайловна приходила?

— Была. Она всегда приходит к трем часам, когда я ухожу домой. За всю вашу болезнь только дня два-три пропустила, не могла зайти. Тогда Марья Савишна сидела около вас.

— Сколько я хлопот вам всем доставил. Я был очень болен?

— Что было, то прошло. Нехорошо с вами было.

— А уж много дней?

— А вы не помните? Завтра пойдет четвертая неделя.

— Неужели так много! И вы все время около меня, Елена Ивановна?

— Все время.

— И все ночи? Когда же вы спали?

Аленушка рассмеялась колокольчиком:

— Ночью и спала, а то иногда и днем дремала.

— В кресле спали?

— Когда вам очень плохо было — в кресле, а если вы не очень метались, приставляла к креслу стулья и спала, как в постеле. Марья Савишна давала мне одеял и подушек, настоящую кровать устроила; но я боялась слишком разоспаться.

— Как вы так можете? Вот устали, должно быть. А вид у вас цветущий, даже смотреть завидно.

— Так я же очень здоровая, мне ничего не делается. И очень привыкла. А вот вы слишком много болтаете, доктор это запретил.

— С вами не вредно.

И правда, Вася очень утомился.

Когда, минут через пять, в дверь легонько постучали и Танюшин голос шепотом спросил: «Ну, как сегодня?» — Вася не открыл глаз, хотя слышал и ответ Аленушки:

— Сегодня совсем хорошо.

— Спит?

— Кажется.

Вася не открыл глаз, когда за новым стуком послышались легкие мужские шаги, а затем, одновременно поздоровавшись и попрощавшись, вышла из комнаты Аленушка. Так лежать было лучше, взглянув же — нужно говорить; но прежде, чем говорить, нужно думать, и это страшно трудно и тяжело.

В своем усталом покое он слышал шепот и слышал, как инженер сказал:

— Я сейчас должен уйти; ничего, что вы одна остаетесь?

— Ну конечно, раз вам нужно. Но вечером вы зайдите к нам?

— Да уж как всегда. Ну, пока до свиданья, Танюша.

«Как всегда»? И он зовет ее Танюшей?

Вася открыл глаза и увидел Танюшу, провожавшую его дорожного спутника таким ласковым взором, каким никогда она не провожала самого Васю.

И Вася вспомнил:

«Сколько, сказала Аленушка? Да, завтра начнется четвертая неделя...»

ИЗМЕННИКИ

Те, кто с ночи стояли в очередях, ожидая, когда откроют под белой с красным уже полинялой вывеской зашитую досками дверь и когда начнут выдавать по детскому купону прогорклое пшено,— те менее всего думали, что вот где-то все еще идет война и что в ней Россия не участвует. Довольно своих забот и торя своего: давно о войне забыли. От нее остались могилы, вдовы, семейное разорение и проклятая память, заглушенная сегодняшними страданиями.

Юрист Мертваго, которого некогда дядя Боря устроил в земсоюзе (форма земгусара очень шла Мертваго), — юрист Мертваго, у жены которого уцелели драгоценности, особой нужды не испытывал. Но все же большой ошибкой было не уехать вовремя в Киев и далее, как сделали другие, более предусмотрительные. Подготавливая теперь отъезд, что было уже много труднее, Мертваго полагал, что мы, русские, оказались изменниками делу союзников и что позорный (дома он говорил «похабный») Брестский мир кладет неизгладимое черное пятно на честь русского народа.

Изменники стояли в очередях, под мокрым снегом, жевали хлеб пополам с мусором и навозом, отбивали уксусом тухлый дух кобылятины, из которой жарили котлеты на касторовом и минеральном масле.

И в городе, и в нехлебных деревнях они ходили равными, заплатанными, без улыбок на лицах, без желания тянуть жизнь, за которую цапались и цеплялись только по привычке и чувству звериному. Закоренелые в преступности своей, они не только делом, но и помыслом не были там, где солдат, шедших умирать, умели хотя бы хорошо одеть и накормить.

Дядя Боря, раньше работавший на оборону, затем временно ушедший в саботажи, теперь устроился, как опытный спец, в Научно-техническом отделе. Он говорил про себя так:

— Вот, служу в ВСНХ, но, конечно, не с ними, а в научном отделе, безо всякой политики. Надо спасти жизнь и науку. Отдел наш автономен.

В кабинет старшего начальства, молодого и несколько растерянного коммуниста, уважавшего ученых и боявшегося перед ними сконфузиться, дядя Боря входил застегнутым на все пуговицы, и даже на ту, которая болталась

на ниточке и могла легко отпасть. Войдя, кланялся, держа голову бочком и не зная, куда деть руки. Смущенный начальник просил дядю Борю садиться, и дядя Боря сиделся не на весь стул.

С точки зрения юриста Мертваго, специальность которого временно оказалась никому не нужной, дядя Боря был тоже изменником, как поступивший на советскую службу. Правда, судил он его не очень строго: «Могий вместити — да вместит», не всякому дано сохранить принципиальную чистоту.

Дядя Боря приходил на Мясницкую с портфелем, где лежали проекты штандартизации тракторов и приспособления этих тракторов к земледельческим работам, и с прочным швейцарским мешком — на случай выдачи в паек съестных припасов. Но так как тракторов еще не выделяли, а вопрос о штандартизации особой спешки не требовал, то, заглянув в свой отдел и отдав в переписку бумаги, дядя Боря шел в Малый Златоустинский, где также могли быть выдачи — по другому отделу. И поздно возвращался домой корыстный изменник дядя Боря, принося в мешке банку черной патоки, наперсток дрожжей, пяток тронувшихся селедок, а иногда квадрат толстой резины — на две подошвы. В глазах прочих, неспецов, дядя Боря был счастливецом. По вечерам, засыпая под одеялами и шубами, с меховой шапкой на голове (печурка ночью совсем остывала), он говорил жене:

— Есть надежда получить академический паек.

— Правда? — оживлялась некрасивая и сухая жена дяди Бори, высовывая нос из-под вороха старых одеял.

— Не наверное, но есть надежда. Поднят даже вопрос о кремлевском, но для очень немногих.

— Ты не попадешь в число? Вот бы хорошо.

— Не знаю. Трудно. Но может быть.

В кремлевском пайке выдавали иногда белую муку. И постоянно — настоящее мясо.

Таков был даже дядя Боря. Что же сказать о солдате, ушедшем с фронта и унесшем с собой казенный штык да кое-что из вещей, добытых при разгроме земского склада? Что унес он казенное добро — это солдат знал твердо и не был уверен, что поступил ладно. В деревне, ковыряя ржавым штыком худой хомут, он помнил о краже, но не подозревал об измене, о гнусной своей измене союзникам. И скажи ему кто-нибудь это навек позорящее слово — он с полным непониманием вылупил бы голубые славянские очи.

Зипуны, чуйки, блузы, пиджаки с продранными локтями, охолодавшая, оголодавшая, ограбленная в войне и мире, изможденная и очумевшая в революции и блокаде великая и многоязычная нация, народ русский, зверь и подвижник, мучитель и мученик, — стал изменником. Он изменил Европе, которой не знал, которой не присягал, от которой ничего не получал и которой так, зря, черт ее знает за что отдал миллионы жизней, — за прекрасные ее очи.

По всем этим причинам — одиннадцатого ноября осьмнадцатого года решительно ничего особенного не случилось в Москве и в России.

Все проснулись рано, так как много было неотложных забот. Все заснули рано, так как с электричеством было плохо, а керосин дорог и недоступен. Центральная электрическая станция за недостатком топлива сжигала нотариальные акты, купчие крепости, процентные бумаги, старые кредитки и архивы царских присутственных мест.

Ни одиннадцатое ноября, ни следующие дни ничем не были отмечены в ряде холодных и снежных дней. В газетах, которых не читали, были напечатаны коротенькие заметки о перемирии, заключенном на европейских фронтах; но это не имело никакого интереса и значения в глазах людей, стоявших в очередях и мечтавших о жире и сахаре. В тех же газетах с прекрасной откровенностью были напечатаны списки расстрелянных за последнюю неделю; это было интересно для родственников и близких; остальные понаслышке повторяли цифру, которой не верили, и несколько имен, казавшихся знакомыми. Как голод, как холод, как тиф — расстрелы стали явлением быта, и тревожила мысль только ночью, когда страхи сгущались над головами тревожно спавших граждан самой свободной в мире страны.

На улицах европейских городов люди читали экстренные выпуски газет, пели, обнимались, танцевали. К счастью, ликующие шумы эти не доносились до русских городов и деревень, до ушей тех, кого Европа заклемила ключкой изменников.

Добродетель торжествовала — порок был наказан.

Если на небесах, за снежными облаками, собрался в это время ареопаг судей вышних, — вряд ли приговор их отличался от приговора людского. Русский народ, изменник и мученик, не имел адвоката ни там, ни здесь, и, по-

груженный в личные заботы, не явился ни на суд божеский, ни на суд человеческий:

приговор вынесен был ему заочно.

ТОТ, КТО ПРИХОДИТ

Как рождается любовь?

Ах, Танюша, этого никто не знает. Ее прихода ждут, — а она является неожиданной. Ее живописуют себе всеми известными и любимыми красками, — а она прокрадывается, закутавшись в дешевый серенький незаметный плащ. Но от этого она не менее хороша и желанна.

Она любит поражать внезапностью и нелогичностью. Астафьев правду говорил: логика убивает красоту и сказочность. И правду ему сказала Танюша: «Уж если думаешь — значит не любишь; а вот когда не думая...»

Танюша не думала, а просто знала. Пришел и постучался человек, совсем не особенный, совсем простой и обыкновенный, вчера бывший посторонним, а сегодня... ну скоро ли наступит вечер и он опять придет!

У него шершавая рука — от работы и частого мытья серым мылом. Но другие руки — руки других, — гладкие, тепловатые, тоже дружеские и ласковые, не нужны, неприятны, безразличны. Ему же, сразу знакомому, отдаешь руку счастливо и навсегда. А объяснить этого невозможно, — нет объяснения. Само понимается.

Восемь часов. Глаза Танюши бегают по строчкам книги, но книга обиженно молчит: она не привыкла к рассеянности. Дедушка глубоко ушел в кресло, и, конечно, дедушка не может прислушиваться так чутко. Среди шагов на улице он не отличит нужного шага, который непременно остановится у подъезда, переждет мгновение (почему это?) и все же скажется стуком. Тогда Танюша, сдерживая торопливость, отложит книжку и пойдет отворить.

— Кто это, Танюша?

— Это Петр Павлович, дедушка.

— А, вот хорошо. Здравствуйте, здравствуйте, какие новости принесли?

— Новостей никаких. Как здоровье ваше, профессор?

— Скриплю, скриплю. Вот спасибо, что пришли, Танюша вас заждалась.

— Ну что это, дедушка!

— А что же, чего же тут плохого. Без вас, Петр Павлович, нам скучно.

Инженер садится на диване рядом с Танюшей и говорит:

— А я вот действительно заждался. Из-за пустой справки — пришлось обегать пол-Москвы. Вы знаете, профессор, сейчас в Донецком бассейне почти не работают. А между тем нам без угля — чистый зарез.

Протасов рассказывает о планах, Танюше не интересных и не ведомых. И Танюша слушает его со вниманием и гордостью: вот он какой! Если он чего-нибудь захочет, то непременно добьется.

— Планы-то планами,— говорит профессор,— а дадут ли вам эти планы осуществить? Не вылетела бы вся энергия в трубу дымом.

— Трудно, очень трудно. Такая повсюду неразбериха, и средств мало. На что другое деньги есть, а на настоящее и нужное дело приходится по копейкам вымалывать. Но что же делать, профессор, не погибать же России; приходится приспособляться ко многому, лишь бы как-нибудь жизнь направить в русло.

Пьют чай. За чаем Протасов рассказывает, как он во время войны ездил в специальную командировку на Шпицберген, как их затерло льдами,— и рассказывает как о простой увеселительной поездке, занимательно, красочно. Профессор интересуется, не довелось ли инженеру видеть там редкую породу птиц, описанных, правда, достаточно обстоятельно, но в чучелах до сей поры не имевшихся. Этих птиц инженер не видел, но и по птичьей части кое в чем осведомлен. И у него завязывается с птичьим профессором интересный для обоих разговор. Старик ожил и сыплет названиями. Протасов многого не знает — переспрашивает. Но и знает многое,— Танюша смотрит на него с гордостью, часто переводя глаза на дедушку. Она видит, что дедушке нравится новый гость особнячка на Сивцевом Вражке. Это Танюше приятно.

Когда дедушка уходит к себе, всегда аккуратный, как его часы с кукушкой, Танюша и Протасов остаются вдвоем.

— Я вам очень благодарна за дедушку. Вы его так развлекли, а то он все скучает.

— Какой ум у него светлый,— говорит Протасов.— И какие знания. А ведь и еще есть у нас в России немало таких людей. Вот только настоящих работников мало. Наука — великая вещь; в ней ничто не пустяк. Вот политика — дело наносное, случайное; сегодня так, завтра иначе, важности в этом нет.

Они говорят о дедушке, о Шлицбергене, о разном в прошлой жизни инженера, о чем Танюша еще от него не слышала. Они совсем не говорят о любви — даже отдаленными словами. Но Танюша так полна интереса ко всему, что говорит этот посторонний человек, вдруг ставший своим, а Протасов так загорается в своих рассказах, что минуты и часы бегут гораздо скорее, чем им обоим хочется.

Прощаясь, Протасов говорит Танюше:

— Завтра будете к трем у Васи?

— Да, непременно.

— И я зайду. Он, кажется, пошел на окончательную поправку. Только отчего он такой грустный? Надо бы его развеселить.

Оба, и он и Танюша, догадываются, отчего выздоравливающий Вася грустен. Но ведь скоро Вася уже встанет и навещать его не придется.

Вышло как-то однажды, что говорить стало не о чем. Сидели молча. Оба думали о том, что было бы, если бы сблизить руки, и может быть, ласково прикоснуться друг к другу. Бывают минуты, через которые надо перейти. Такая и была. И вот тут Протасов, вдруг уверенно повернувшись, взял Танюшины руки, поднес к губам и поцеловал.

И Танюша рук не отняла, а с доверием и робкой нежностью наклонила к нему голову. И так сидели долго, друг к другу прислонившись. Минуты шли, кукушка куковала, а они не говорили ни слова.

Назавтра ждали, не вернется ли опять такая минута. Она пришла, и теперь было еще проще, но уже было этого мало, хотя было хорошо.

Ах, Танюша, никто не знает, как рождается любовь, — хотя испокон веков и до наших дней она рождается одинаково.

Домой Протасов уходил бодрым шагом и с хорошей улыбкой. Танюша, оставшись одна и ложась спать, двигалась медленно, чтобы не расплескать полной чаши нового чувства. И долго не засыпала, вспоминая и не все понимая еще никогда так не любившим сердцем. Но теперь жизнь казалась ей осмысленной, нужной и полной ожиданий.

Тот, кто приходит, — пришел просто, неожиданно и в нужный момент.

Слиплись и смерзлись дома Москвы стенами и заборами. Догадливый художник-гравер Иван Павлов спешно зарисовывал и резал на дереве исчезающую красу деревянных домиков. Сегодня рисовал, а в ночь на завтра приходили тени в валенках, трусливые и дерзкие, и, зорко осмотревшись по сторонам и прислушавшись, отрывали доски, начав с забора. Увозили на санках,— только бы не наскочить на милицию.

За тенью тень, в шапках с наушниками или повязанные шарфом, в рукавицах с продранными пальцами, работали что есть силы, кто посмелее — захватив и топор. Въедались глубже, разобрал лестницу, сняв с петель дверь. Как муравьи, уносили все, щепочка по щепочке, планка по планке, царапая примятый снег и себя торчащими коваными гвоздями.

Шла по улице дверь, прижимаясь к заборам.

На двух плечах, молча, плыла балка.

Согнувшись, тащили: бабушка — щепной мусор, здоровый человек — половицу.

И к утру на месте, где был старый деревянный домик, торчала кирпичная труба с лежанкой среди снега, перемешанного со штукатуркой. Исчез деревянный домик. Зато в соседних каменных домах столбиком стоит над крышами благодетельный дымок,— греются люди, варят что-нибудь.

Когда вставал день, изо всех домов выползали упрямые люди с мешками и корзинками, искали глазами белую с красными линиями буквами коленкоровую вывеску, трепавшуюся по ветру, и становились в очередь, сами не зная точно, подо что. Поздно открывалась дверь, и, дрожа, входили в нее замерзшие люди, в строгой очереди, с номером, написанным мелом на рукаве или химическим карандашом на ладони. Получали, что удавалось получить,— не то, что нужно больше, а то, что оказывалось в наличности: кусок серого мыла, банку повидла, пузырек чайной эссенции. Кто получил — уходил под завистливыми взглядами еще не получивших. Но уже захлопывалась дверь — все вышло, приходите завтра или черт его знает когда.

В Гранатном переулке, красуясь колоннами и снегом, дремал особнячок за садовой решеткой. Крыши нет, давно снята; и стены наполовину разобраны; только и целы

колонны. Умирающее, уютное, дворянское, отжившее. На воротах осталось: «Звонок к дворнику». Снег в саду лежал глубокий, белый, чистый.

Снегом покрыты и пестрые куполы Василия Блаженного. Внутри, под низкими расписными сводами, пробежал попик в камилавке. В приделе, где служба, жуют губами старухи в черном, закутаны шалями; а у дьякона под парчовой рясой надет полушубок, и валенки на старых зябких ногах. В холоде чадит дешевым ладаном кадило:

— О благорастворении воздушных, о изобилии плодов земных и временех мирных...

Мимо первопечатника Федорова, на плече которого сидит голодный воробушек, от Лубянской площади вниз к Театральной летит по сугробам нечищенной улицы ломовой на еще живой лошади. Парень крепкий, а ломовики сейчас все наперечет — работай! Эти не боятся: и дров сами привезти могут, и для лошади добудут сена. Только с овсом плохо. Ломовик сейчас может заработать лучше всякого, все его уважают.

От Владимирских ворот до Ильинских вдоль стены Китай-города только и есть, что зажигалки да камушки к ним. Зажигалки делают на заводах рабочие, которым не платят, так как платить нечего и не за что. А откуда берутся камушки — неизвестно. Рассказывают, что один торговец сохранил случайно целый ящик камушков; теперь он — самый в Москве богатый человек. Однако, перемигнувшись, можно получить из-под полы и кусок сала; но не здесь, а где-нибудь в воротах, без постороннего глаза. Зато листы папиросной бумаги — сколько угодно, открыто, и разложены они, как красный товар: аккуратно выдраны из торговых копировальных книг. Товарищи покупают по листам и курят письма: «Милостивый Государь... в ответ на любезное В/... С совершенным почтением». Говорят, что на один том такой бумаги, продавая по листкам, можно сейчас прожить безбедно и сладко целую неделю.

По Тверской идут закутанные люди с портфелями и мешочными ранцами за плечами. Служба — паек, чернила замерзли, машинки без лент, но — слышно — привезли с Украины мед, выдавать будут. Хочется губами сладкого, — челюсти свел проклятый сахарин.

Сбоку Иверской на стене написано непонятное про

опиум — и еще много надписей на стенах и каменных заборах. Футуристы расписали стену Страстного монастыря, а на заборе Александровского училища — ряды имен великих людей всего мира; среди великих и пигмеев, и много великих отменено и забыто. Люди читают, удивляются, — но думать некогда.

Что сегодня написано — назавтра линяет.

Стоит Кремль, окруженный зубчатыми стенами, а за стенами — непривычные к Кремлю люди. У ворот штыки, на штыках наколоты пропуска. Не во все ворота пройдешь, даже и с бумажкой и с печатями: только в Никольские да в Троицкие. Холодно высится Иван Великий, мертвый, как все сейчас мертвое: и пушка, и колокол, и дворцы. Всегда было холодно в Московском Кремле; только под Пасху к заутрене теплело. Но нет ни Пасхи, ни заутрени.

А вот Арбат жив; идут по нему за Смоленский и со Смоленского. Несет бывшая барыня часы с маятником (слышно — звякает пружина) и еще белые туфельки. Это значит — несет последнее: кому надобны зимой белые туфли! А обратно со Смоленского несет бывшая барыня ковровый мешок, а что в нем — неизвестно; может быть, и мерзлая картошка. Картошку кладут сначала в холодную воду, чтобы тихо оттаяла, а потом, обрезав черное, варят обычным порядком. Не каждый же день можно добыть палой конины. Но если варить картошку неумеючи, получится чернильная каша. Селедку же хорошо, обернув в газету, коптить в самоварной трубе. Все нужно знать — ко всему нужно привыкнуть.

Упрямые люди хотят жить. Жуют овес, в пол-аппетита набиваются горклым пшеном, прячут друг от друга лепешечки сахарина. В ходу и почести играный сахар, на который солдаты играли в карты; он продается дешевле, а между тем если умело выпарить и слить грязь, а потом, отсушив, нарезать на куски, — ничего себе, получается хорошо, и все-таки сахар.

К вечеру люди утомятся, намаются, заснут. Спят, не раздеваясь, на голове шапка, на ногах валенки. Спят больше по кухням, где осталось тепло от обеда. Тряпочкой затыкают дверные щели в другие комнаты, где стоит студеная зима. Если есть печурка, спят звездой, ногами к печурке. Где есть электричество, там его жгут без экономии, потому что теперь все бесплатно. Догадался один провести в каждый валенок по электрической лампочке;

так и спит, — все-таки теплее, греет. Мудрыми стали люди. Но только не везде и не всегда действует свет, — много линий перегорело и закрыто. Тогда приходится делать из бутылки копящий ночничок, при нем и работать; масло дорого, и горит в ночнике вонючий керосин. Всех фитилей лучше — старый башмачный шнурок. Все нужно знать!

А когда засыпали люди, тогда через множество новых ходов выползали из подполья крысы, смелые, дерзкие, хвостатые, с глазами черного бисера. Бегали по комнатам, по кухням, гремели банками и бутылками, роняли на пол сковородки, визжали, грызлись, забирались под самый потолок, где подвешено хозяйками на веревочках прогорклое масло и остаток мяса. Крысы теперь ходили не одиночками, а стайками и шайками, нагло, уверенно, и, не найдя поживы, кусали спящих людей за открытые места.

Лета тысяча девятьсот девятнадцатого город Москва был завоеван крысами. Сильного серого кота отдавали внаймы соседям иной раз за целый фунт муки в ночь. Иные, в расчете на будущее, лишали себя куска, воспитывая котеночка, — кормили его последним. Очень было важно иметь в доме кошку. Только бы вырастить, — а там сама пропитает себя, а то и своих хозяев.

Первый враг — люди, второй — крысы, третий — бледная, злая вошь. По притонам, по вокзалам, по базарам — вот где от нее не избавишься. А умирать сейчас, пожалуй, не дешевле, чем жить; и очень уж хлопотно для близких.

Не одно горе было — были и радости. Радостью был каждый нерассчитанно доставшийся кусок хлеба, каждая негаданная подачка судьбы. Радостью была помощь близкого, который и сам ничего не имел, а все же пришел, посочувствовал, пособил распилить сырую балку на мелкие дровишки. Радостью было утро, — что вот ночь прошла благополучно, без страхов и без убытка. Радостью было днем солнце — может быть, и потеплеет. Радостью была вода, пошедшая из крана на третьем этаже. Радостью было, когда не было горшего горя или когда случилось оно не с нами, а с нашим соседом.

Была тяжела в тот год жизнь, и не любил человек человека. Женщины перестали рожать, дети пятилетки считались и были взрослыми.

В тот год ушла красота и пришла мудрость. Нет с тех пор мудрее русского человека.

Астафьев лежал на койке и смотрел в тень, дрожащую на потолке. Тень была расплывчата и вздрагивала потому, что вздрагивал свет фонаря на дворе, за окном, стекла которого были замазаны белой краской.

В камере Особого Отдела, рассчитанной на одного, помещалось шестеро, и койка соприкасалась с койкой. Рядом с Астафьевым мирным сном спал бывший генерал Иван Иванович Кларк, арестованный за совпадение фамилии, а может быть, и в качестве заложника, хотя человек он был старый, тихий и ничем не замечательный. А по другую сторону с открытыми, как и у Астафьева, глазами лежал пожилой рабочий с Пресни, взятый только два дня тому назад либо по навету, либо за неосторожное слово. Его только что вернули в камеру с ночного допроса, где следователь, грубиян из латышей, угрожал ему расстрелом, а за что — Тимошин так и не понял.

Теперь Тимошин не мог спать и чувствовал на сердце сосущую тоску. Раньше это чувство, как и бессонница были ему совершенно незнакомы; и справиться со всем этим одному было невозможно. Поэтому он шепотом спросил:

— А что, Алексей Дмитрич, вы ведь не спите?

— Не сплю. Не спится.

— Я вот тоже.

— Замучились на допросе?

— Точно, что замучился. Главное — понять не могу, зачем меня водят. И — говорят — в расход тебя пустим. А за что? Как, Алексей Дмитрич, могут?

Астафьев сел на койке, спиной к стене, обняв руками согнутые ноги:

— Могут все. А вы очень боитесь?

— Как же не бояться. Решат жизни ни за что, а у меня семья. Думаете — могут?

— Откуда же знать мне. Могут и расстрелять, а могут завтра выпустить.

— Опять же я — рабочий человек, хотя, конечно, есть у меня и домик в деревне.

— Вина за вами есть какая? В чем вас обвиняют?

— Никакой нет за мной вины, Алексей Дмитрич, вот как перед Богом говорю. Он мне толковал, зачем, говорит, с хозяином в сношении, укрывал его будто бы. А хозяин-то, фабрикант наш, давно в бегах, куда убежал — и не знаю даже. И будто я ему помогал. И уж совсем это

неправда, ничего я и не знаю. Так за что же стрелять, Алексей Дмитрич?

— Вас как звать, Тимошин?

— Меня? Алексеем тоже.

— А по бабушке?

— Платонычем. Отец был Платон, а я Алексей Платоныч.

— Так вы, Алексей Платоныч, не бойтесь. Это ваш следователь только грозит, добиться чего-то хочет от вас. Стрелять вас не будут.

— Не будут, Алексей Дмитрич? А как назначат? Управы никакой на него не найдешь. Вон и вы говорите — могут.

Астафьев закрыл глаза. Неужели так до утра и не заснуть?

— А хоть бы я и укрывал хозяина — ужли же за это решать человека жизни?

— Сколько вам лет, Тимошин?

— Лет сколько? Лет мне пятьдесят два, третий пошел.

— Долго жить хотите?

— Сколько проживется, не от нас зависит.

— Сколько вы ни проживете, Алексей Платоныч, ничего нового не увидите. Жалеть не о чем.

— Семья у меня в деревне. И сам я еще не стар, Алексей Дмитрич; могу работать отлично.

— А что за радость в вашей работе?

— Радости, конечно, никакой, а все же заработок. Сейчас-то, конечно, и прибыли нет, одно голоданье. Кое-как бьешься.

— Вот видите. Чего же бояться? Убьют — ну и черт с ними. Есть о чем жалеть.

— Как же можно, Алексей Дмитрич; вдруг так, ни за что, здорово живешь, — и убьют. Какая же в этом справедливость?

Астафьев зевнул. Хорошо, если бы это ко сну, а не просто со скуки. Живет человек зря, безо всякой радости, да еще подай ему справедливость.

— А вы, Тимошин, успокойтесь и спите. Вас зря пугают и скоро выпустят на волю. И живите, сколько вам понадобится.

Пятый месяц сидел Астафьев в этой камере. Трижды был на допросе у чахоточного следователя Брикмана. Очевидно, все дело в человеке в желтых гетрах. Чудак! Зачем он надел эти гетры? Но и смельчак: три месяца лови-

ли его в Москве и не поймали. А он еще доклады читал в разных «Союзах освобождения». И покушение, конечно, его дело.

«Если докажут, что он у меня ночевал, тогда мне, конечно, крышка. Кто выследил? Кто мог донести? Сосед Завалишин? Завалишин, несомненно, чекист. Но все-таки не он; он не мог. Да и не было его дома в ту ночь. Нет, не Завалишин. Скорее — Денисов, преддомком. А ну их всех...»

Астафьев поднялся с койки и тихо стал прокрадываться к окну. На белом стекле внутренней рамы появилась маленькая тень. Тень, ползя по раме, приближалась к открытой в камеру форточке. Астафьев, подойдя вплотную, поднял руку и приготовился. В тот момент, когда мышь высунула мордочку изнутри, готовясь пробраться в камеру, Астафьев легонько щелкнул ее пальцем между дрожащими усиками, и мышь с писком шлепнулась на подоконник.

Удача!

Астафьев, довольный и улыбающийся, снова улегся на койку. А то ведь эта шельма опять съела бы хлеб. В прошлую ночь, не найдя хлеба, мышь съела в коробочке несколько шахматных фигур, сделанных из мякиша генералом, большим искусником этого дела. Пришлось ферзя, туру и две пешки лепить заново.

Мышь жила в подоконнике, проделав между рамами ход. По ночам пробиралась в камеру, хозяйничала на столе и в кулечках с передачами, а не найдя съестного — забиралась на койки. Однажды укусила генерала Ивана Ивановича за палец ноги: у него одеяло слишком коротко, все сползает.

И вдруг Астафьеву страстно захотелось на волю.

«Как глупо! Ведь вот тут, за окном, за стеной, — улица, люди, извозчики. Два стекла и несколько кирпичей. И еще несколько грубых человеческих волей, которые можно отшвырнуть словом, жестом, убеждением. Какая-то комедия! Не бояться смерти и все-таки не биться, не ломать дверей, не вступать врукопашную, не подставляться под пулю».

Стиснул зубы, сжал кулаки, думал: «Разбросать их всех, как щепки».

И сладостно чувствовал в руках и спине игру сжавшихся мускулов, лишь немного ослабевших в тюрьме. Бил, мял, грыз, отбивался, разносил толпу обезьян ос-

колком стола, бежал по лестнице, уклоняясь от выстрелов, на дворе, у входа, свалил с ног часового, выбежал на улицу, скрылся за угол, обманув погоню, и, переменяв направление, спокойно шел домой, наблюдая издали смятение чекистов, метанье автомобилей, напрасную суету обманутых палачей.

Нет, не домой, где сразу найдут, а обходом, улочками, лабиринтом — на Сивцев Вражек, чтобы, не входя, постучать в окно, дожидаться, пока откроется форточка, и негромко крикнуть:

— Таня, не пугайтесь, это я, Астафьев, актер Смехачев. Меня ловят — приютите меня, Таня.

И она скажет:

— Господи, вы? Ну, конечно, скорее.

И, войдя, он без слов и без лишних объяснений обнимет ее впервые, крепко и надолго.

С соседней койки раздался шепот:

— Вы не спите, Алексей Дмитрич? Тоже и вам не сладко!

И после молчанья:

— Видел, как вы мышку-то ловко в нос щелкнули. Вот тоже какой зверь чудной — своей охотой в тюрьме живет!

ХЛОПОТЫ

Дядя Боря отказался наотрез:

— Нет, Танюша, я тут ничем не могу помочь. Встречаться я с ним встречаюсь, бывают у нас такие заседания, чисто технического характера, по части обороны, но личных отношений у нас никаких. Только здравствуйте-прощайте. Ты знаешь, отдел наш совершенно автономен и исключительно научный, никакой политики. И мне, Танюша, невозможно совершенно.

— Я понимаю, дядя, что вам самому неудобно. Но мне только нужна рекомендация, чтобы меня к нему пропустили.

— Это все равно, Танюша, ведь дело-то политическое, да еще такое серьезное.

— Дядя, но ведь Астафьев арестован случайно и напрасно, никакого отношения он иметь не мог.

— Ничего я не знаю, и ты знать не можешь.

— Я уверена в этом, дядя. Если похлопотать, его могут сейчас же и выпустить. Нужно только найти ход.

— В такое время, как сейчас, Танюша, лучше не хлопотать, а подождать. Только себя запачкаешь, а ему не поможешь. И фамилия у нас слишком заметная. Раз он не виноват, ты говоришь, так его и так освободят.

— Дядя Боря, но он же наш друг, и у него никого нет, кто мог бы о нем подумать.

— Я понимаю, Танюша, и... я в его интересах и говорю. Может быть, если начать о нем хлопотать, обратят внимание и будет хуже; а так... Если бы еще его родственники...

— У него нет никого.

— Вот видишь!

— Что вижу, дядя?

— Вот я и говорю, что... я-то тут уж совсем ни при чем. И главное, я боюсь, что моя рекомендация... что я не на хорошем у них счету. То есть ничего нет особенного, но все-таки они к нам, спецам, относятся подозрительно.

— Значит, вы не хотите, дядя Боря?

— Хочу, Танюша, очень бы хотел, но ничего не могу, совершенно ни-че-го. Мне очень обидно. Помочь хочется, а ничем не могу. Уж такое сейчас время проклятое. Эх, Танюша, дождемся ли мы лучших дней, уж и не знаю. Какой-то кошмар.

Танюша замолчала, подумала, потом быстро подняла голову и внимательно посмотрела на дядю Борю. Под ее взглядом он немножко сгорбился и опять пробормотал:

— Да, чистый кошмар. Прямо ничего не придумаешь.

Тогда Танюша встала, взяла свою сумочку и сказала:

— Дядя Боря...

— Что, Танюша, что, моя милая?

— Ничего. До свиданья, дядя Боря.

Он проводил ее до самого выхода, идя немножко позади. В швейцарской, где было несколько служащих, пожал ей руку и как-то смущенно, стараясь быть ласковым, шепнул:

— Понимаю, Танюша, понимаю тебя. Ты у нас молодец и добрая. И все же советую тебе: обожди.

Танюша молчала. Он, скользя глазами по сторонам и еще понизив голос, прибавил:

— И во всяком случае, знаешь... я бы тебе решительно не советовал... если даже найдешь ход, упоминать обо мне. Мне лично, конечно, все равно, я не боюсь, но как бы этим не испортить. Все-таки — спец, опасный элемент, в

их глазах подозрительный. Все дело можно испортить...

Танюша, без улыбки, не повернув головы к дяде Боре, громко сказала:

— Не беспокойтесь, дядя. Я вам ничего не испорчу.

И вышла.

Вечером, когда, по обыкновению, пришел новый друг домика на Сивцевом Вражке, Васин спутник Протасов, Танюша имела с ним длинный деловой разговор. Перебирали разные фамилии и решали, к кому и через кого можно скорее найти ход. Круг нужных знакомств у Протасова был невелик. Однако несколько деловых визитов на завтра он себе наметил.

— Выйдет — не выйдет, а попробовать нужно. Возлагаю надежды на одного приятеля; он, кажется, к ним вхож. И сам человек не дрянь, довольно прочный. Справку-то, во всяком случае, можно через него получить. А вот рекомендацию вам — уж не знаю.

Наутро Протасов был у приятеля, с которым давно уже не видался. Встретились хорошо.

— А ты что же делаешь теперь?

— Я? Мешочничаю.

— Вот чудак. Разве выгодно?

— Ничего, живу.

— А почему не работаешь по специальности? Сейчас люди нужны.

Протасов изложил свою просьбу: навести, где полагается, справку, за что взят Астафьев и что ему грозит. Приятель, хоть и не очень охотно, согласился.

— Ладно, я позвоню одному типу; только с ним нужно осторожно, так что ты не удивляйся.

И позвонил:

— Алло! Это вы? Да, да. Узнали по голосу? Слушайте, милый, ну, как вчера окончилось? А долго сидели? Так. Так-так. Вы думаете, выйдет что-нибудь? Ну что ж, хорошо. Да. Значит — не раньше послезавтра? Хорошо, я позвоню. Ну, пока... Пойдите, что-то я хотел вас спросить... Да, вы не можете ли дать мне одну справочку, тут ко мне все пристают родные одного арестованного, сейчас разыщу фамилию. А? Да нет, кажется, ерундовское дело, просто — зря взяли, но уж очень надоедают мне. Фамилия его...

Ответа на справку пришлось ждать с полчаса. По характеру ответ был неутешителен:

— Определенного ничего, но очень сильные подозрения. Дело у товарища Брикмана, а он любит подержать.

— А если похлопотать за него? — спросил Протасов.

— Помогает иногда. Ты его лично знаешь?

— Лично не знаю, а есть общие знакомые. Одна девушка о нем хлопочет.

— Кто такая?

Протасов подумал и назвал Танюшу. Приятелю своему он доверял.

— Она не родственница профессора?

— Внучка.

— Ну что ж, это хорошо. Профессор — человек известный, уважаемый. А сам он не мог бы?

— Сам он слишком стар.

— Так тебе что же, Протасов, рекомендацию для нее дать?

— Да, если можно.

— Ладно. Ты за нее ручаешься?

— Ну, конечно.

— Нет, я так только. Всяко бывает. Ты что, влюблен в нее? Хорошенькая? А к кому же рекомендацию? Я могу вот только к этому типу, которому звонил. С ним я хорош, с другими хуже.

— А он кто?

Приятель назвал фамилию достаточно крупного «типа», чтобы слышал о нем и Протасов. Это было не то лицо, разговора с которым добивалась Танюша, но приятель Протасова, услышав, к кому она добивается пропуска, только рассмеялся:

— Э, нет, батенька, к нему бесполезно совершенно. И бесполезно, и попасть мудрено, он к себе не подпускает. Да он и слушать не станет. Мой тип ближе к маленьким делам. Только вот что... между нами говоря... человек он не первосортный, попросту говоря — дрянь порядочная. Но он сейчас в силе. С ним все-таки нужно осторожнее, зря не болтать. Ты предупреди ее, девицу свою.

— Ты с ним дружен?

— С ним? Я его знаю давно, еще по ссылке. Дружбы нет, а так — ничего, часто видимся. Я ведь сам не коммунист и политикой не занимаюсь, а только заседаю в разных коллегиях. А ты, Протасов, право же, напрасно не служишь. Ведь люди сейчас действительно нужны, а то порядочных людей совсем не остается. А ты работник отличный.

— За то меня, вероятно, и выгнали с фабрики.

— Разве выгнали? Ну, это случайность, это ведь так, зря, всех без разбору инженеров выгоняли. Хочешь, я тебя устрою? Ты сейчас нигде не служишь?

Протасов назвал учреждение, не имевшее отношения ни к технике, ни к горному делу. Там он больше числился, чем действительно работал.

— Черт знает, какая ерунда. Там ведь делать нечего.

— Я там ничего и не делаю. Только иногда захожу получить пакетик дрожжей да баночку патоки.

— Ерунда, я тебя устрою по инженерной части.

Протасов подумал:

— Что ж, я бы работать хотел. Только мало верю в теперешнюю работу. А зря не хочется.

— Сейчас, конечно, работают плохо. Но понемножку наладится.

— Кто наладит-то?

— Кто? А ты и наладишь. Ты, я, другие, одним словом — настоящие люди. Пока верховодят дураки и мальчишки, потому дело и не идет. Но подожди, придет время, все поуспокоится и встанет на рельсы. Не сразу, Протасов.

— Я знаю. Но к тому времени ни одной машины целой не останется.

— Новые машины заведем.

— Средств на это не будет.

— И средства добудем. Экий ты пессимист, Протасов. Что ж, по-твоему, Россия погибнет, что ли?

— Может и погибнуть.

— Нет, милый, это — нет. Это только сейчас так кажется, от усталости. Я сам человек без иллюзий и отлично знаю нынешних правителей, и одно скажу тебе: нет, Россия не погибнет, не такова страна. И ты, Протасов, в это не веришь, только так говоришь.

Они расстались дружески, и Протасов унес рекомендательное письмо для Танюши.

«В сущности он хороший парень, — думал Протасов. — Россия, конечно, не погибнет, и работать для этого, конечно, нужно. Но шутливо врать по телефону и амикошонствовать со всякой дрянью — это не всякому подходит. Но и судить его строго нельзя: веди он себя иначе — не мог бы пособить в трудном деле так просто и легко. А работать, конечно, нужно. Только бы немножко стало дышать полегче; и дураков стало бы поменьше».

Это удивительно, до чего волки перестали бояться!

Была зима многоснежная, и на пути от леса до деревни волк много раз глубоко завязил задние ноги. Луна освещала за ним черную дорожку следов, не прямую к деревне, а легкой дугой, с загибом к перелеску, точно волка невольно тянуло туда, к тени.

Через мост была дорога наезженная, хотя и моста сейчас, зимой, не было видно; снег засыпал речку с верхом, сровняв берега с полями. Только прутья ивняка очерняли русло.

У края проезжей дороги волк присел и глухо повыл баском. Собаки ответили — далеко и нехотя. И волк побежал вперед боком, подтянув хвост.

Вторая от края изба Колчагинская, отца Андрея и Дуняши. Изба большая. В левой половине, где палисадник, жила с мужем старшая Дуняшина сестра. У них ребенок.

Волки перестали бояться потому, что убыло в деревне мужчин — каких на войне убили, а какие позастраили в городах. И пороху не было стрелять по волкам; больше теперь по людям стреляли. И собак стало кормить труднее.

Мать Дуняши была еще молода, сорок пять лет. Ее звали Анной, и сестру тоже звали Анютой. Жили бедно. И когда приехала из города Дуняша, хоть и привезла разного добра и немного денег, все же прибавилась семье лишняя тягость. Об Андрее же ни слуху ни духу.

Колчагинскую собаку звали Прыска; дал ей кто-то такое непонятное название. Прыска была старовата, грязнотела, ростом невелика. Волков чуяла плохо, — а впрочем, что ей стеречь? Овцы заперты, корова в стойле, сейчас за стеной у стариков. Стеречь нечего — разве из солидарности с другими собаками. Прыска жалась к теплой стене и старалась спать. Хотя главный сон, конечно, днем в избе.

Что всё на запоре — знал отлично и волк. Но что же делать? Его тянуло на деревню, потому что в деревне пахло хлебом и овчарней. Он был тощ и голоден, ужасно голоден. Могли быть в помойках мерзлые кишки или кости. Или просто хоть подышать сытым воздухом. К избам он подошел с огорода, а не по дороге. И ни одна собака не тьякнула — все спят.

Выправил ноздри, потянул воздух. Морда у волка заиндевела. Поплелся туда, где помойка. Там было много собачьих следов,— тоже и собакам голодно.

Где собаки рыли поверху, там волк врывался зубом глубже, помогая и когтями. Но только начал — залаяла Прыска, за ней залилась вся собачья деревня.

Прыска, как заправила, и визжала и подвывала, бегая по двору и с налета прыгая на крыльцо. Металась, боялась, пугала, дрожа и негодуя, что пришел волк. Но выбежать прямо на волка... ну куда же ей, Прыске, на волка! Шарахалась о дверь и выла до хрипоты.

Никто в деревне не пошевелился; на минуту проснулись, знали: волки близко. Да ведь это каждую ночь. Чего на них смотреть? Все заперто.

Волк бежал от помойки к помойке, царапал, грыз. В одном месте донюхался до овчарни, прямо под собачьим лаем. Из овчарни так и тянуло теплой овцой, и бежала у волка слюна, замерзая в сосульку.

Ухо болело от собачьего лая. А деревня спит.

Спит деревня.

Обежал вокруг нее, от помойки к помойке, от избы к избе, волчий голод. Два полных круга описал волк окрест деревни. Ядовитой голодной слюной закапал свой след.

Когда выбежал за околицу, сел, облизался, завыл на деревню:

проклял ее за свой голод!

Ежилась и жалась от его проклятий Прыска у колчагинской избы. Люди не поняли. Прыска поняла волчье проклятье.

Что-то будет!

Был среди деревни шест. На шесте под скворечной крышей колокол. Вот бы в этот колокол ударить, чтобы все знали:

проклял деревню волк,

на голод ее проклял, — на то, чтобы и людям рыться в своих помойках, загрызать своих собак.

Чтобы и их тянул овечий навоз теплом и сытостью.

Чтобы выли на луну по-волчьи и желали друг другу напастей.

И пугались бы тени своей, поджимая хвосты, и сами стали бы теньями.

Чтобы нечего им было держать под замками, прятать от волчьего голода,—

и да будет пуще волчьего
голод человечесий!

Пусть бы вызванивал колокол на грядущую тоску, а люди в страхе метались и щелкали зубами, источающими голодную слюну.

Улыбалась луна, слушая волчье проклятье деревне. Не верила. Или и верила, да не страдала ни за волка, ни за людей.

И когда увидал волк зайчонка, скоро-скоро прыгавшего от огородов, где были кочерыжки, — сразу помолодел волк и пустился вдогонку. Заяц прыгал легко, прямо по насту, волк грузно, проваливаясь, закусывая мокрый язык. Догадался, обежал дугой к лесу, чтобы зайцу перебить дорогу.

Жрал его заранее глазами, подвизгивал от страсти, пугал свою жертву огнем глаз.

Огибая дуги, доскакали до опушки. И был момент, когда желтыми зубами едва не тяпнул волк куцый заячий хвост. Но спрятался заяц в кусты: и видно, а не достать. А когда волк, высоко задрав голову, чтобы смотреть поверх сучьев, засыпанных снегом, стал наступать на заячье прикрытье, — прыснул беляк совсем незаметно и, поддавая задом, юркнул в лес дальше. Теперь уж, конечно, не догнать.

И побрел волк вглубь, безо всякой больше надежды, до логова — заспать голод голодной дремой и снами об овечьем тепле и человечесьей жадности.

Было утро. В деревне вставали. Прыска повиляла хвостом и протискалась в избу — прикорнуть в тепле.

Кончена служба — собачья служба.

Прошла ночь. Пришел день.

ДРУЗЬЯ ЮНОСТИ

Сердце Васи сильно билось, когда, свернув на Сивцев Вражек, он подошел к очень знакомой двери особняка и постучал.

Вася был в полушубке, в валенках с красным рисунком, — вероятно, казанской работы, — в шарфе и теплой шапке с наушниками. После тифа он пролежал в постели еще почти месяц, так как доктор боялся осложнений. Танюша, когда острый период его болезни кончился, стала навещать гораздо реже. Ей приходилось трудно: не-

сла на себе хозяйство, стряпала, мыла, иной раз продавала разные мелочи на Смоленском, а по вечерам и в праздники днем выступала часто в концертах. При общем обеднении рабочие клубы стали платить артистам меньше, а достать урок в такое время было невозможно, особенно зимой, когда и учебных занятий почти нигде не было: школьные помещения не отапливались, а дети и юноши заняты были, как и взрослые, добыванием хлеба.

И было еще одно: как-то не о чем стало Васе говорить с Танюшей. Она, приходя, пробовала рассказывать ему слухи о событиях,— но и события и слухи были так печальны и так путаны, что никак не могли служить развлечением для больного. Иногда заходила она одна, иногда приходил с нею, а чаще случайно встречался у Васи Протасов. И ежедневно, как и прежде, приходила Аленушка, хотя Васе сиделка, собственно говоря, уже не требовалась. Но Аленушка могла поддержать только разговор о дороговизне. Какая-то неловкость была между Васей и Танюшей, что-то недосказанное,— и оба хорошо знали, что именно было недоговорено. И визиты Танюши стали редкими.

С постели Вася встал, когда улицы московские давно уже покрыты были снегом, которого счищать было некому. Лежали изрытые копытами и приглаженные полозьями сугробы, под которыми скрылись и тротуары. В иных местах снег подгребали и складывали в вал, чтобы очистить тропочку у ворот и подъездов. У особнячка на Сивцевом Вражке чистить было некому, так как дворник Николай поздней осенью ушел в деревню:

— Что же я здесь, только в тягость! Ужо, может, полегчает жизнь к весне, а то к будущему году вернусь. Не вечно же так будет.

Сторожку его разобрали на дрова. Давно, еще при нем же, пришлось пустить на топливо и баню. Зато были дрова на зиму.

В первый раз пришел сегодня Вася на Сивцев Вражек,— хотя выходить начал еще за неделю. Все откладывал. Сначала думал зайти так, чтобы застать только старого орнитолога. Потом решил, что все равно,— когда-нибудь надо же решиться увидеть и Танюшу у нее дома, в знакомой обстановке. Ведь, собственно, ничего не случилось! Все вышло так, как и должно было.

Он застал Танюшу одну. Профессор пошел прогуляться, захватив и портфель с книгами.

Танюша обрадовалась приходу Васи, но и смутилась. Видела, что Васе как будто не по себе, что держится он, словно бы вошел в чужой дом, а не в знакомый с юности. И знала Танюша, что причина в ней. Но разве она виновата? Разве что-нибудь обещала Васе?

Он думал, что заговорить с Танюшей, хоть немного с ней объяснить будет трудно, и боялся разговора. А чувствовал, что нужно. Нужно ей сказать, что он, Вася, все понимает и что он, Вася, желает ей всякого счастья. Тогда легче будет встречаться и попросту, по-прежнему,— ну, хоть и не по-прежнему, а все же по-дружески беседовать. Чтобы неловкость эту изжить. Оказалось все легче, и вышел разговор случайно.

— А кто у вас теперь наверху живет, в вашей комнате?

— Наверху пока никого. Дуняша уехала,— а ведь ее брат, комиссар, еще раньше исчез,— и про комнаты как-то забыли и на учет их не взяли. Так и пустуют. Но, может быть, скоро туда переедут.

— Знакомые или так?

— Знакомые. Может быть — хотя не наверное — переедет Петр Павлович. У него, правда, есть квартира, и даже с ванной, но сейчас все равно вода везде замерзла, так что ванная ни к чему... Ему предложил дедушка...

Танюша долго объясняла, почему Протасову было бы удобнее переменить квартиру: и к службе гораздо ближе, и их комнаты спаслись бы от реквизиции, так как он имеет право на дополнительную комнату для занятий,— но почувствовала Танюша, что объяснять этого не нужно, да Вася и не слушает.

И немного сидели молча. Потом Вася вдруг спросил:

— Вы за него замуж выйдете?

Она как будто не удивилась вопросу, как будто ждала. И, не повернув головы, сказала:

— Я не знаю. Мне Петр Павлович нравится, мы очень подружились...

И прибавила тем же тоном:

— Вы не одобряете, Вася?

Потом взглянула на Васю. Он сидел неподвижно, смотрел на свет окна, а глаза его были полны слез.

— Вася, ну неужели же вы... неужели вы плачете, Вася?

Вася, не сводя глаз с окна, шарил руками и искал платок,— а платок-то, как нарочно, забыл взять.

— Ну можно ли так, Вася!

Он, отвернувшись, дрожащим, каким-то детским голо-
сом сказал:

— Ничего, это я, знаете, Танюша, от болезни стал та-
кой ужасно слабый... то есть слабенький...

И, сказав нечаянно смешное слово, Вася сразу разры-
дался.

Танюша утешала его, как мать ребенка. Вытерла сво-
им платком его слезы, гладила по коротко остриженной
круглой голове, придерживала лоб, когда он прижался к
ее руке,— в первый раз в жизни так прижался! Может
быть, сколько раньше мечтал об этом,— а вот когда стало
оно доступным!

Теперь Вася просто не знал, как поднять голову. Бы-
ло очень стыдно за слабость свою, и еще непременно ну-
жно было вытереть нос, а нечем. Но дело в том, что дей-
ствительно он очень ослабел после болезни, оттого так
и вышло.

— Вам, Вася, нужно поправляться, окрепнуть хоро-
шенько. Вы очень исхудали.

— Да, простите меня, Танюша, за эту глупость.

— Ну что вы, Вася.

— Я, Танюша, все равно и раньше все знал, догадал-
ся, конечно... А только... Но я вам всякого счастья же-
лаю. Я потому и пришел, чтобы сказать.

— Спасибо, Вася, я знаю. Ведь вы мой милый друг,
всегда, с самого детства. Только давайте теперь о чем-
нибудь другом.

— Давайте, все равно. Я у вас этот платок возьму,
можно? Потом выстираю и отдам,— поспешно прибавил
он.— Профессор скоро вернется? Жаль, что я его не за-
стал.

— Вы посидите у нас?

— Долго не могу, нужно домой.

— Кто-нибудь придет к вам?

Спросила: «Кто-нибудь», а сама знала, что прийти к
Васе может только Аленушка, которая всегда приходит.
И искала — не будет ли на Васином лице нового смуще-
ния. Но он совсем просто ответил:

— Придет Елена Ивановна, она ведь каждый день
приходит.

— Какая она милая и заботливая. Это она вас выхо-
дила, Вася, без нее вам было бы плохо.

— Да, конечно. Она замечательная. И главное, все это

так бескорыстно, а ведь ей самой жить нелегко. Сколько она на меня времени потратила.

Танюша про себя улыбнулась:

— Вы, Вася, вероятно, очень привыкли к Аленушке за время болезни?

Вася ответил:

— Да, еще бы!

И подумал: «Вот это она, Танюша, напрасно говорит!» Понял, что Танюше очень удобно, чтобы он, Вася, привык к Аленушке и чтобы была ему Аленушка нужна и впредь. Ей, Танюше, будет тогда как-то свободнее, — хотя ведь он ничем ее стеснить не может и не хочет. Пусть она любит Протасова и пусть замуж за него выходит. Что разревелся Вася, как гимназист, это, конечно, глупо и смешно. А говорить сейчас же про Аленушку совсем было не нужно, — точно в утешенье.

И еще Вася почувствовал, что ему за Аленушку обидно. Ведь она действительно его выходила и до сих пор не перестает о нем заботиться. Конечно, она не такая, как Танюша, гораздо проще — и не очень образованная, и когда смеется, то забавно всхлипывает носом. Но зато она сердечная и очень добрая, с ней легко. Зачем же намекать, что вот, мол, есть у Васи утешенье в том, что Танюша его не любит и выйдет замуж за Протасова.

И Вася сказал:

— Елена Ивановна человек простой и отлично ко мне относится. Я ее глубоко уважаю. И она много в жизни испытала тяжелого. Я перед ней неоплатный должник.

Танюша поняла, что Вася должен так сказать. И в то же время Танюша по-своему, по-женски, подумала: «Ну, ничего, Вася как-нибудь расплатится с Аленушкой».

И ей стало весело.

Профессор вернулся усталым, но очень довольным. Во-первых, день хоть и холодный, но солнечный и приятный. Во-вторых, в Лавке писателей, куда он отнес книги, показали ему дошедший случайно номер английского орнитологического журнала за прошлый год. И там оказалась перепечатка из его книги о перелете птиц, и несколько строчек, почтительных и по-иностранному любезных, было посвящено автору книги, «известному русскому ученому и неустанному изучателю жизни пернатых».

В прежнее время такие строки о себе профессор чи-

тал часто, не без удовольствия, но спокойно. Сейчас, в такое тяжелое время, в полной заброшенности и оторванности от европейской ученой среды,— сейчас он по-настоящему растрогался. И пока шел домой по Тверскому бульвару, прижимая портфель с номером журнала, преподнесенным ему на память, чувствовал, как сначала глаза теплеют, а потом на реснице холодит льдинка. Было и совестно, и очень хорошо на душе: «Все же там старика не забывают!»

Думал:

«Вот, быть бы помоложе, дожждаться легких дней,— и прокатиться с Танюшей за границу, в Париж, в Лондон. Можно бы даже сделать доклад в орнитологическом обществе по-английски».

Вспомнил с беспокойством:

«А вот сюртука-то и нет! Пришлось сюртук выменять на картофель. Фрак остался, ффрака не меняют, потому что у него фалды: никак его не переделаешь на простую нужную одежду. Но в Англии как раз во ффраке и нужно, если вечером».

И еще подумал:

«Вот бы издать книгу; вчерне она совсем готова, только переписать. Работал над ней больше десяти лет. Но сейчас издать и думать нельзя. Сейчас вот только мальчишки издают стихи, как-то умудряются. И названья книжкам придумывают удивительные: «Лошадь как лошадь». Бог знает, что это значит, разве что просто озорство».

Но все-таки было сегодня на душе профессора хорошо. Васе он очень обрадовался:

— Да какой же ты бритый, голова, как шарик. Ну, молодец, что выздоровел. Теперь заходи к нам почаще.

Потоптался, поулыбался, но не выдержал, вынул из портфеля английский журнал, показал Васе смущенно:

— Вон, смотри, какая редкость мне попалась: новый номер, хоть и прошлогодний, а все-таки. Сейчас ведь и университет не получает ничего из-за границы. Тут и меня, старика, не забыли. Приятно все-таки.

Вася перелистал журнал, посмотрел картинки, сказал:

— Да, это приятно. А какое издание замечательное.

— Ну еще бы, они умеют; и денег у них много.

Танюша приготовила завтрак, но Вася заспешил:

— Я все-таки пойду.

— А не позавтракаете с нами, Вася?

— Нет, нельзя мне, я к двум обещал быть.

— Заходите, Вася.

- Да, да. Будьте здоровы, профессор.
- Отчего спешишь?
- Нужно.
- Ну, как знаешь. А я тебе очень рад, очень рад.
- Когда Вася ушел, дедушка подозвал Танюшу и погладил по головке:
- Ну, как Васю нашла? Какой-то он тихий стал.
- Я же, дедушка, часто его видала.
- Ну-ну. А как он, скучает?
- Почему скучает, дедушка?
- Ну, там насчет сердечных дел. Ты его все же жалеешь, Танюша. Он такой преданный, нелегко ему.
- Танюша приласкалась к дедушке:
- Я думаю, дедушка, что Вася скоро утешится. Ему даже лучше будет.

ДВОЕ

Хотя центром вселенной был, конечно, особнячок на Сивцевом Вражке, но и за пределами его была жизнь, вдаль уходящая по радиусам. Каждый человек цеплялся за жизнь, и каждый считал себя и был центром.

Центром своего мира был и Андрей Колчагин, дезертир великой войны, как говорили раньше, или войны империалистической, как те же люди говорили теперь, бывший комендант Хамовнического совдепа, а теперь командир сборного отряда на войне гражданской. Опять полуголодная жизнь, опять холод, опять вши. Но и разница: в ту войну — раб бессловесный, пушечное мясо, в эту — боец за счастье человечества.

В чем должно выразиться счастье человечества, Колчагин, правда, не знал; но все же теперь и голод, и холод, и вши имели свое внятное оправдание: нужно было победить внутреннего врага во что бы то ни стало, иначе всех Колчагиных ждала жестокая расправа и месть. Теперь враг был реален. Уже не немецкий Ганс, с которым нечего было делить, а тот самый ротный командир, который бил Колчагиных по левой скуле кулаком наотмашь. Впрочем, вперед вела не столько злоба, давно притупившаяся, сколько боязнь за свое будущее. Но сознаться в этой боязни было нельзя — даже перед самим собою. Страх — не зная. И как прежде для Колчагиных придумывали девизы «За веру, царя, и отечество», — так и сейчас писали белым по красному: «За социализм и совет-

скую власть». Слова, как и прежде, непонятные и ненужные; но смысл в них, как и прежде, каждым вкладывался свой. Колчагины понимали это так: спасайся сам и спасай своих. И бились Колчагины за страх и за совесть.

Со времени дезертирства своего Андрей Колчагин вкусил многого: вкусил свободы от обязательств, ему навязанных силой, вкусил власти, вкусил жизни легкой, почти барской. И думать научился,— раньше этого от солдата не требовалось. Полюбил красоту звонкого слова, сам научился говорить его, проникся духом воина-профессионала, понял смысл подвига, малоценность чужой жизни, высокую цену своей. И был теперь Андрей Колчагин на виду,— все пути ему открыты; не серый солдат, один из тысяч и миллионов, а избранная единица, с которой говорят человеческим языком, которую величают товарищем. Одно сознание того, что не добытые в училище или по барскому положению погоны, а лишь личная доблесть, то есть сметка и смелость, выдвигают человека на большой пост,— одно это сознание решало для Андрея Колчагина и многих других Андреев, на чьей стороне их место, их любовь и надежда. Может быть — на поверку — было это и не совсем так, но там, в стане золотопогонников, не нужна была и проверка. Там был у Колчагиных опыт верный, необманный и тяжкий,— здесь же все было ново и все возможно.

Стена против стены стояли две братские армии, и у каждой была своя правда и своя честь. Правда тех, кто считал и родину и революцию поруганными новым деспотизмом и новым, лишь в иной цвет перекрашенным насилием,— и правда тех, кто иначе понимал родину и иначе ценил революцию и кто видел их поругание не в похабном мире с немцами, а в обмане народных надежд.

Бесчестен был бы народ, если бы он не выдвинул защитников идеи родины культурной, идеи нации, держащей данное слово, идеи длительного подвига и воспитанной человечности.

Бездарен был бы народ, который в момент решения векового спора не сделал бы опыта полного сокрушения старых и ненавистных идолов, полного пересоздания быта, идеологий, экономических отношений и всего социального уклада.

Были герои и там и тут; и чистые сердца тоже, и жертвы, и подвиги, и ожесточение, и высокая, внемнижная

человечность, и животное зверство, и страх, и разочарование, и сила, и слабость, и тупое отчаяние.

Было бы слишком просто и для живых людей, и для истории, если бы правда была лишь одна и билась лишь с кривдой: но были и бились между собой две правды и две чести,— и поле битв усеяли трупами лучших и честнейших.

В эти дни пал молоденький юнкер, которого все звали Алешей,— мальчик сероглазый, недавний гимназист. Убивал с другими — и был убит сам. Лежал на спине, и взор его невидящий глядел в небо,— за что так рано? Пожить бы еще хоть малый ряд денечков! И уже была украшена грудь его Георгиевской ленточкой — за подвиг в братской бойне. Погиб Алеша!

В эти дни был убит и солдат — командир, герой красного знамени Андрей Колчагин. Тяжело раненный в голову, он споткнулся о труп Алеши и упал рядом.

Не спросив их имен, не взвесив их святости и греховности,— одним пологом заботливо прикрыла их вечная ночь.

ВЛАДЕНИЯ ЗАВАЛИШИНА

Когда не было операций, Завалишин ходил по коридорам и комнатам места службы сонный, опустившийся, с опухшими глазами. Знали его все, но настоящих приятелей у него не было. Были и такие, которые сторонились от него, никогда не здоровались за руку, а то и старались не замечать: отпугивало их страшное ремесло Завалишина.

Заходил иногда в комендантскую и в канцелярию, молча садился на лавку, спрашивал, когда будет выдача продуктов и когда получать по требовательным ведомостям. Ведомости он составлял аккуратно, кривым, но ясным почерком после каждого случая: отмечал число месяца, число штук и номера ордеров, прилагая и документ. В этом отношении был Завалишин строг и даже в пьяном виде не выполнял работы, не получив оправдательного документа с подписью и печатью.

У Завалишина была одна, Анна Климовна, к которой раньше хаживал он по субботам, теперь он ее поселил у себя на квартире, но видел ее больше днем, в обеденный час. Женщина еще молодая, но хозяйственная, сте-

пенная. О профессии Завалишина знала точно, но особого интереса к этому не проявляла. Узнала, подивилась и сейчас же привыкла; хороший же заработок сожителя ее радовал. Хоть и не любил он говорить о своей работе, — все же старалась расспросить, много ли предвидится на очереди, не прибавят ли с головы на дороговизну и по случаю того, что деньги опять подешевели. С интересом смотрела, когда сожитель возвращался с работы в новом костюме или новых сапогах; знала, что по обычаю получал он освободившуюся одежду. Прилаживала, выпускала рукава, если коротки, мыла принесенное нечистое белье. Всё — спокойно, степенно, хозяйственно. Когда Завалишин возвращался домой пьяным — укладывала спать, не очень ругая, понимала, что такая уж работа, непростая, не выпивши — трудно. С преддомкомом Денисовым установила Анна Климовна добрые отношения; может быть, даже принимала его, когда выдавались у Завалишина особо рабочие дни и он почти не заходил домой.

Особо рабочие дни выдались в августе и сентябре, когда ликвидировали бандитов. В эти дни Завалишин трезвым работать отказывался. Водку для него всегда припасали, — даже не приходилось самому заботиться. Случалось и днем работать. Однажды пошел Завалишин на Сретенку в вещевой склад получать по ордеру фуражку и не успел выбрать по голове, как за ним прислали. Несмотря пошел, кончил дело, написал и сдал ведомость, — а когда вернулся на склад, все лучшие кожаные фуражки уже разобрали. Долго ворчал, не мог успокоиться.

Пропуск имея повсюду, как человек нужный и важный, с особой охотой заходил Завалишин в надворный флигель дома номер четырнадцать, где помещалась общая подвальная камера, прозванная Кораблем смерти. Сюда его тянуло больше потому, что в яме чаще всего сидели бандиты, народ понятный, аховый, о котором сомнения быть не может. В политиках Завалишин не разбирался, не понимал ясно, почему одни сидят, другие на воле, третьих выводят в расход. Здесь же доступнее, вроде как бы свои; либо ты его, либо он тебя. Хорошо ругаются, друг друга знают и на смерть идут параднее, только обязательно просят выкурить папироску. Многих из них знавал на воле «комиссар смерти» Иванов и о многих рассказывал Завалишину истории. И очень удобно рассматривать их сверху, с балкона, окружающего их яму. Иных знал в лицо хорошо — давно сидели.

Знали в лицо и Завалишина. Когда он подходил, праздничный, скучающий, тупой и равнодушный,— внизу, в трюме Корабля, воцарялось полное молчание, еще более мертвое, чем когда приходил комиссар Иванов, вызывавший по спискам, сам из бандитов и, быть может, потому для многих сидевших — как бы человек близкий.

По всем этим помещениям Завалишин гулял лишь в свободное время, когда не был очень пьян и когда было скучно от безделья. Местом же главной его работы был низкий и темный подвал в том же доме, но только с особым входом со двора; со стороны Малой Лубянки — от ворот налево первая дверь.

Приходилось, впрочем, работать и в гараже Варсонофьевского переулка, близ церкви Воскресения. Помещение куда светлее и просторнее, но было оно Завалишину как-то не по душе, менее привычным, чужим. Первое же время, когда для операций увозили за город, приходилось Завалишину вместе со всеми приговоренными иной раз в куче на одном грузовике кататься в Петровский парк. Это уж совсем было хлопотно и неудобно,— но по новому делу надо было привыкать; да и работал он тогда не один. Позже ввели обычаем увозить за город не людей, а уже «жмуриков», и не прямо с места операции, а через лефортовский морг.

У себя, в главном своем помещении, в подвале, работал Завалишин один, безо всяких помощников: какая может быть помощь в таком деле, только суета и лишний разговор. Как полагается, провожали к нему до коридорчика, подталкивали к открытой двери, сами выходили обратно и наружную притворяли, пока не кончит; а остальное было его единоличной заботой,— и ничего, никаких недоразумений не случалось особенных, шел каждый сам на свет из темного коридорчика. Ордера Завалишин получал раньше на руки: по ним и принимал клиентов, с фамилией не справляясь, но по точному счету, не больше, не меньше.

В свободное время Завалишин редко заходил в подвальчик — не любил его. Только — случалось — забирался сюда совсем пьяным, замыкался на ключ, садился на лавку против пулями изрытой стены и выл невеселые песни, а то и стрелял, просто так, чтобы пахло порохом, а не одной подвальной кислятиной. Но не спал здесь — боялся привидений. Ключ от подвала всегда носил при себе, выдавая только для уборки бабам; мужчины уборки гнушались.

Почти никого из высокого своего начальства Завалишин не знал, да и не стремился узнать. На собрания, выборы и митинги не ходил, ничем посторонним, помимо прямого своего дела, требовательных ведомостей и выдач, не интересовался, даже в списках служащих значился простым надзирателем. Но как ни мал он был, он твердо знал, что он среди всех других — человек особенный, самый нужный и самый независимый, которого потому и кормят, и задаривают, и боятся. Безо всякого другого обойтись можно, и всякого другого можно заменить. Но нельзя обойтись без Завалишина, и заменить его некем, во всяком случае — не скоро найдешь. Поэтому Завалишин, в припадках скуки и в дни бездействия, позволяя себе капризы и не раз грозился бросить работу. Тогда ему увеличивали расценку или просто задабривали его бутылкой хорошего спирта.

Дни особой, исключительной работы выпали и в октябре, после взрыва в Леонтьевском переулке. Это были настоящие страдные дни.

У САНОВНИКА

Было очень холодно. Но, по счастью, у Танюши сохранились старые ботинки. Когда приходилось выезжать в рабочие районы на концерты, Танюша надевала валенки поверх башмаков и снимала их только перед тем, как выходить на эстраду. Исполнив свой номер и на бис, она с наслаждением снова прятала ноги в теплые валенки и так ждала, пока подадут грузовик, чтобы развезить по домам участников вечера.

Но идти в Кремль в валенках Танюша не решилась: все-таки — в Кремль. И старые ботинкигодились.

У Троицких ворот солдат взял пропуск, отнес в каморку и вынес обратно с печатью. Затем Танюша по тропке, протоптанной у стены дворца, опасливо шла мимо вала чистого, скатанного с дороги снега. Затем через площадь — все по тропке. У ворот прежнего здания Судебных установлений пришлось опять предъявить пропуск. В дверях снова — но уже в последний раз. Внутри здания ей указали дорогу — подняться наверх и идти правым коридором.

Ждать пришлось не очень долго. Секретарь, бегло взглянув на пропуск, взял рекомендательное письмо и сказал:

— Сейчас. Вот присядьте. Вероятно, вас сейчас примут.

Через приемную проходили люди, тепло одетые, но, очевидно, здешние. В комнатах было холодно, и оттого комнаты казались особенно большими и странно пустыми. Себе же Танюша казалась маленькой и затерянной в огромном кремлевском здании. Проходившие оглядывали ее с удивлением и любопытством.

Секретарь вышел и сказал:

— Пожалуйста, товарищ. Вот сюда.

Сказал так вежливо и даже в дверях пропустил Танюшу вперед. Еще никогда Танюше не приходилось посещать важных и властных людей, а в тех советских канцеляриях, куда она иногда заходила по маленьким бытовым делам, было всегда грязно, суетно, бестолково и служащие были озлоблены и невежливы. Здесь совсем по-иному. Раньше же Танюша думала, что все тут, как в крепости, и что всюду она встретит штыки и подозрительность.

Танюша вошла в большую комнату с высоким потолком и почти без мебели: только диван и три кресла у круглого стильного стола без скатерти. На столе телефонная книга и две газеты. Телефонный аппарат на окне. На обоях следы от убранной мебели. В дальнем углу шкаф с разбитым стеклом. Здесь было тепло и чисто. Танюше показалось неудобным, что вошла она в ботиках.

Приземистый, скуластый, нерусского типа, начинающий лысеть человек, во френче и в брюках навыпуск, вошел быстро и прямо подошел к Танюше:

— Здравствуйте. Это вы с письмом? Ну вот, сядьте тут. В чем же у вас дело?

— Я хотела просить об одном заключенном.

— Ну, я знаю, тут написано. Вы ему кто, Астафьеву? Какие у вас отношения?

— Он наш друг.

— Кого — ваш?

— Он хороший знакомый мой и бабушки.

— Это — профессора? Ваш дедушка птицами, кажется, занимается?

— Да, он орнитолог.

— Ну, так что же вы насчет этого Астафьева?

— Он напрасно арестован.

— Как это напрасно? Мы напрасно никого не арестовываем. Он взят по очень серьезному делу.

— Астафьев политикой не интересовался. Он философ, а работал в последнее время актером в районах. Я с ним вместе выступала в концертах.

— Вы что, поете?

— Нет, играю на рояле.

— Консерваторию окончили?

— Да.

— Вот у нас бы поиграли на концертах. Мы хорошо платим, продукты даем артистам. Поиграйте у нас как-нибудь.

— Это где? — спросила Танюша.

Человек во френче удивленно поднял белесоватые глаза:

— У нас — в Чрезвычайной комиссии... У нас бывают концерты. Вы не эсерка?

— Я? Нет, я непартийная.

— А зачем же с эсерами дружбу водите, с этим вашим Астафьевым?

— Совсе он не эсер. Он вообще не политик, я же хорошо его знаю.

— Ну, мы-то знаем его лучше. Так чего же вы хотите?

— Я думала, что, может быть, его можно освободить: он ведь ни в чем не виноват.

— Если не виноват, его и так выпустят, без вашей просьбы.

— Но он сидит уже больше месяца.

— Не беда. И год посидит. Не устраивай заговоров. А вам нечего о нем заботиться. Лучше от таких друзей подальше держаться. Мы его считаем очень опасным врагом советской власти, этого вашего Астафьева. Лучше вам не вмешиваться. Он не жених ваш?

— Нет.

— Так чего же вы о нем волнуетесь?

Потерев лоб, человек во френче сказал:

— Ладно. Я запрошу о нем. Вы где живете?

Танюша сказала адрес.

— Ладно. Зря у нас люди не сидят. Не виноват — выпустят, а если виноват — получит по заслугам, будьте покойны. Вы с Савинковым не знакомы?

— С Савинковым? Нет, не знакома.

Он встал:

— Вам там дадут обратный пропуск.

Человек во френче вынул из кармана руку. Танюша быстро отступила и сказала:

— Благодарю вас.

Он снова сунул руку в карман:

— До свиданья. А у нас как-нибудь поиграйте, мы хорошо платим.

В большой приемной секретарь записал еще раз адрес Тапюши и выдал ей пропуск:

— Пройдете через Троицкие ворота.

Кремль был под белым снегом. Иван Великий высился застывшей громадой. Ярки были золотые головки Успенского собора. Идя по тропинке меж сугробов снега, Танюша опять казалась себе совсем маленькой и такой лишней здесь, в чужом мире. В проходе Троицких ворот солдат взял пропуск и наколол себе на штык.

Когда Танюша вышла, человек во френче подошел к телефону и назвал номер:

— Вот что, товарищ Брикман, как у вас там с делом Астафьева? А что? А вы бы его припугнули хорошенько. Ну ладно, дело ваше. Я все же думаю — лучше выделить. Да. В общую кучу не валите, а там увидим. Да, слушаю. Ну, это конечно, я же вообще ничего не говорю; посидеть — пусть посидит. Ладно. Да нет, тут о нем невеста, что ли, хлопочет; хорошенькая, между прочим, девочка. Ну, пока! Вечером, конечно, буду.

СВИНУШКА

Анна Климовна, сожительница Завалишина, жадной женщиной не была, — этого про нее никто бы не сказал, — но была расчетливой и хозяйственной. Жилось ей отлично, даже не на нынешнюю мерку, а на довоенную. Завалишин приносил домой всякие припасы — в кулях, кулечках, банках, пакетиках, и не дрянь какую, вроде брусничного листа или глиняного мыла, а предметы настоящие, полагавшиеся в паек только самым нужным людям: и белую муку, и липовый мед, и сахар кусками, и из спиртного. И материи приносил, и калоши, и обувь даже по мерке. Давал Анне Климовне и денег, даже помногу, — но деньги в счет не шли, так как назавтра дешевели.

И конечно, никто в доме на Долгоруковской не имел того, что имел Завалишин, даже преддомком Денисов не мог идти с ним в сравнение, хотя и брал подарки справа

и слева, и за лишнюю прописанную душу (значит — лишнюю продовольственную карточку), и за поторговыванье в квартире разными припасенными товарами, и так, на всякий случай, уж за одно то, что он, Денисов, — преддомком и, значит, всякому понадобится.

В таких счастливых условиях Анна Климовна могла бы вести немалое хозяйство, и наверно вела бы, если бы, например, был у Завалишина домик на краю Москвы или хоть бы настоящая квартира, хоть в две комнаты с кухней и чуланом. А то ютились они в одной, а две другие комнаты, где раньше жил Астафьев, так и оставались запечатанными. Из маленькой передней никакой комнаты не выкроишь, кухню же, тоже маленькую, Анна Климовна действительно заняла и заставила кулечками и банками.

Думала Анна Климовна завести на кухне кур, как другие делали, но побоялась, что куры будут мешать спать, да и грязь от них, пахнет тоже нехорошо. И зачем? Яиц и так можно раздобыть за свои деньги. Но однажды, узнав, что одна старая ее приятельница, огородница, откормила большую свинью и нажила на этом целое богатство, — решила сделать то же. Не в богатстве дело, а в том, чтобы иметь настоящее хозяйство, а к праздникам заготовить и закоптить жирные окорока. Все это Анна Климовна, родом с юга, отлично умела делать. На откорм свинуски все соседи с удовольствием будут отдавать бросовую ботву, помои, все, чего даже голодный люд не ест; и в настоящем, для сала нужном корме тоже недостатка не встретится. Когда же малый поросенок вырастет в большую жирную свинуску, — он сам окупит свое воспитание. О помещении хлопотать не придется. Для начала — кухня; придется поросеночка купать и держать в тепле; на после же Денисов, одобривший хозяйственный план Анны Климовны, обещал отвести одну из малых светлых надворных кладовок в полное распоряжение: все равно пустуют.

Анна Климовна съездила в недалнюю деревню и в обмен на соль, сахар, а главное — на спирт приобрела доброго поросенка.

Вначале было много страхов: не отощал бы, не заболел бы, не погрызли бы его крысы. Когда подрос, все заботы Анны Климовны обратились на то, чтобы свинуску не украли и чтобы она меньше шевелилась, ела бы без передышки и обкладывалась салом. Во всем этом Анна Кли-

мовна имела полный успех. Те из соседей, которым она показала свинушку, только ахали и поздравляли Анну Климовну; если бы преддомком Денисов не был лично заинтересован в процветании и безопасности свинушки (ему обещана была доля) и в личном расположении Анны Климовны, кто-нибудь из завистников нашел бы способ испытать крепость завалишинских замков.

Сам Завалишин, всегда дома мрачный и полухмельной, свинушкой интересовался мало. Перед Пасхой за месяц Анна Климовна сводила его в сарайчик посмотреть на крупную, совсем заплывшую жиром свинушку, чистую, мытую, розовую, едва державшуюся на ногах. А за две недели до Пасхи Анна Климовна сказала ему:

— Пора свинушку резать. Пока сало засолим да закоптим окорока — время нужно для этого.

— Надо, так и режь.

— Не сама же я; тебе сподручнее.

— А какое мне до нее дело?

— Как — какое дело. Есть-то будешь.

— Сама съешь. Мне тяжелого есть нельзя, доктор не велел.

— Али опять плохо, что к доктору ходил?

— Значит, нехорошо.

— Что же он сказал, доктор?

Завалишин мрачно пробурчал:

— Что сказал... Говорит — коли так пойдет, не залечится, то операцию нужно, брюхо вскрывать придется. Пущай бы самому ему вспороли.

— А ты ему верь больше. Мало чего доктора наговорят. Может, и так пройдет.

Завалишин замолчал. Слово «операция» пугало его и потому, что тем же словом на месте службы называлась и его работа. Хотя чаще говорили «в расход» или «с вещами по городу». Как его ни мучили боли в животе, на операцию он все же никак не мог решиться. В последний раз доктор сказал ему:

— У вас с почками совсем плохо; с этим шутить нельзя. Лучше раньше решиться, а то потом поздно будет.

Анна Климовна выждала, когда у сожителя выдался свободный день, и опять заявила:

— Надо нынче обязательно свинушку заколоть. Уж ты пособи мне, тебе привычнее, и силы у тебя больше моего.

Завалишин встал и повязал кобуру с кольцом.

— Нáшто берешь? Не стрелять же ее! Нужно ножиком. У меня и ножи отточены, чтобы потом пластать сало. И топор есть.

Когда пришли в сарайчик, Завалишин увидел, что Анна Климовна успела приготовить стол, сооруженный из дверной половины на ящиках, поставила чистое ведерко, запасла ножи, чистые тряпки — все, что требуется для такой «операции». Сама переделалась в дешевое трепаное платье, чтобы зря не пачкать хорошего, и принесла два кухонных передника:

— Надень, а то забрызгаешься.

Сарайчик был с окном, и дверь притворили от взора любопытных: дело все-таки деликатное.

Зажиревшая, едва подвижная свинушка хрюкала, пока Анна Климовна любовно мыла ей бока и вязала ноги.

— Помоги на стол поднять.

Подняли с трудом, и опять Анна Климовна мокрой тряпкой обтерла жирные розовые бока.

Омыв, вытерла насухо руки и голоском просительным и ласковым сказала:

— Ты уж сам, без меня, не бабье это дело. Вон они, ножики...

И попятилась, увидав, как затряслась у Завалишина борода и побелели глаза.

— Ты чего? Чего испугался-то?

Завалишин дрожал крупной дрожью. Пятясь к двери, правой рукой тянул из кобуры револьвер.

— Оставь, говорю, это, разве скотину этим можно, голову испортить.

Завалишин отнял руку, вдруг ослабел и сел на ящик:

— Сама делай. Не могу я свинью резать. Слышь, как она визжит?

— Какой жалостливый. Животную испугался. А еще мужчина.

— Молчи, Анна, говорю, не могу.

— Чего мне молчать. И без тебя управлюсь.

Анна Климовна взяла большой нож, остро отточенный, левой рукой прихватила в тряпку розовое рыло свинушки, повернула шейю кверху, и сверху вниз, неумело и некрепко, полоснула. Хлынула кровь, свинушка сильно дернулась и завизжала. Анна Климовна заторопилась, опять наставила нож,— но сильная рука схватила ее за плечо и отшвырнула от ее жертвы.

Завалишин, с налитыми кровью глазами, с лицом искажившимся, размахивая кольцом, хрипло кричал:

— Уйди, не трожь, убью!

Она взвизгнула, как взвизгнула перед тем свинushка, увернулась, толкнула дверь и выскочила из сарайчика. Услыхала, как дверь за ней захлопнулась на скрипучем блоке, и, не оглядываясь, побежала к подъезду, где квартировал преддомком.

Минутами тремя позже Денисов с Анной Климовной опасно подходили к сарайчику. Там было тихо, только слабенько доносился замиравший визг свинushки. У двери оба остановились. Денисов окликнул:

— Эй, Завалишин, выйди-ка на минутку.

Ответа не было.

— Может, зайдете, Анна Климовна, да посмотрите, что он там делает?

— Сами зайдите. Еще застрелит. Совсем рехнулся. Людей может, а животную не может.

Денисов на цыпочках обошел сарайчик и заглянул в окно, заделанное решеткой. Прямо под окном лежала розовая туша, а подале, наполовину спрятавшись за ящик, сидел на полу Завалишин, уставившись глазами на окно. Большой кольт лежал перед ним на ящике.

Денисов живо отскочил и вернулся к Анне Климовне:

— Уж не знаю, как и быть. Может, он и впрямь рехнулся, сожитель ваш. Не лучше ли его на замок запереть да сбегать за милицией?

— Замок-то внутри остался.

— Другой поискать.

В эту минуту ахнул выстрел, и оба они, отскочив от двери, бросились бежать.

За первым выстрелом второй, третий, еще, еще, — Завалишин расстреливал всю обойму. Денисов и Анна Климовна спрятались на крыльце, несколько жильцов пугливо хлопнули дверями.

Затем по асфальту двора застучали тяжелые шаги Завалишина. Он шел сгорбившись, понурив голову, держа руку на кобуре, не оглядываясь по сторонам, — шел прямо к своему подъезду. Вошел, притворил за собой дверь.

Тогда Анна Климовна решила войти в сарайчик. Вошла и ахнула: сооруженный ею стол был залит кровью, а голова свинushки, чудесная голова, обещанная преддомкому за его заботы и за его охрану, была вся разворочена крупнокалиберными пулями завалишинского кольца.

— Что же это он наделал! Разве возможно в скотину стрелять пулями? Безо всякой жалости — всю голову испортил!

И даже прослезилась от искреннего огорчения.

ИЗМЕНА ВАСИ

За стеной у хозяйки пробило семь часов. На часах Васи Болтановского было уже десять минут восьмого; правда, часы его всегда немного убегали вперед, и это было даже удобно: не опоздаешь. Но все же обычно Аленушка заходила в половине седьмого. Могла, конечно, где-нибудь задержаться на пути из больницы.

Вася заложил книжку вышитой закладкой с надписью «На память», вынес в кухню окурки, подобрал с полу бумажки, поправил чехол на кресле. Прошло еще минут пять. Можно было, конечно, зажечь примус и самому заварить чай. Раньше, до болезни, он все делал сам; теперь его немножко набаловала Аленушка, редкий день не забегавшая вечером, после службы, так как жила она поблизости, а дома у нее было неуютно. Так уж вошло в обычай, что вечерний чай пили они вместе и уходила Аленушка только в начале одиннадцатого. После чаю разговаривали или Вася что-нибудь читал вслух, а Аленушка вязала или шила. Она подрабатывала шитьем, делала простые шляпки, вышивала. Это она и закладку Васе вышила. Она же чинила и Васино белье, — тоже вошло это в обычай, хотя сначала Вася протестовал:

— Я сам все умею.

Но Аленушка показала ему носок с заплатой его собственной работы:

— Разве же так можно! Вы просто стянули все петли в узел к одному месту, и у вас вместо штопки получилась какая-то куколка.

— А как же нужно?

Аленушка распоролла Васину работу, вынула из сумочки моток шерсти, а через четверть часа на месте куколки получилась новая заплатка — прямо на удивленье.

— Шерсть немножко по цвету не подходит, но это ведь не так важно. У меня другой с собой нет.

Вася посмотрел и ахнул:

— Ну, это действительно замечательно!

Окончательно же победила Аленушка Васю тем, что

обшарпанную манжетку она отпорола, подшила, перевернула и снова пришила к рукаву,— и получилась манжетка совсем новая. Вася так был изумлен, что даже молча разинул рот, а Аленушка раскатилась от смеха звонким колокольчиком, хрюкнула и смущенно замолкла.

Но все-таки — зажечь примус или подождать?

Ждать не пришлось, потому что звонок прозвонил трижды; это означало, что пришли к Васе. У каждого жильца было определенное число звонков, чтобы не приходилось отпирать двери чужим посетителям; даже снаружи двери висела бумажка с обозначением, кому сколько раз звонить. К Васе — три.

Аленушка пришла сегодня усталая и немножко расстроенная. Задержалась потому, что в больницу к ним привезли много тифозных:

— И без того класть некуда, а все к нам доставляют.

И еще дома у Аленушки неприятности. Комната у нее большая, превышающая указанную жилплощадь, и теперь домком хочет к ней кого-нибудь вселить, чтобы жили двое. А то предлагает перевести ее в каморку, почти чулан. И она не знает, что делать. Уж лучше и правда в чулан — все-таки хоть одной жить.

— А вот меня не трогают,— сказал Вася.— А такая комната тоже считается для двоих. Впрочем, я могу выправить себе разрешительную бумажку от университета.

— Вам-то хорошо!

Долго быть мрачной Аленушка не умела. Выпив чаю, скоро повеселела:

— Знаете, у вас на носу чернильное пятно, лиловое. Ну, когда я вас научу быть аккуратным!

— Где? — испуганно спросил Вася.

— Где? Я же говорю, на носу. На самом кончике. Вы посмотрите в зеркало.

Вася взглянул в маленькое стенное зеркало:

— Да ничего нет, это только немножко. Я писал сегодня. Послюнил палец и размазал.

— Фу,— сказала Аленушка,— ну как вам не стыдно, а еще лаборант. Идите сюда.

Вынула из своей корзиночки (все-то у нее есть) кусочек материи, смочила в теплой воде и начисто стерла пятнышко:

— Ну вот, больше нет; а теперь утрите полотенцем.

Но Вася сказал решительно:

— Ничего, и так высохнет.

Дело в том, что глаза Аленушки показались Васе очень красивыми и особенно ласковыми,— раньше он как-то не замечал, а может быть, и не были они такими. И очень не хотелось от Аленушки отходить. Пока она терла ему тряпочкой нос, он придерживал ее за руку, боясь, что тряпочка слишком горячая. Когда же она вытерла,— Васе не захотелось отпускать ее руки.

Аленушка тряпочку взяла другой рукой, а этой не отняла. Рука у нее была теплая, мягкая и маленькая. Сегодня это было тоже по-особенному приятно Васе.

Так они стояли, пока Аленушка не сказала:

— Ну, чего вы. Смóтрите на меня, точно в первый раз увидал. Что руку рассматриваете. Рука как рука; а вот еще другая такая же.

Вася взял и другую.

Тогда Аленушка сказала:

— А если я вас за ухо? Вот так, за оба!

И вся к нему приблизилась. Кофточка на ней была с открытым воротом, а шея была чистенькая и белая.

И тут Вася решил защищаться,— нельзя же, правда, трепать за уши лаборанта университета.

С чтением вслух ничего сегодня не вышло, а больше сидели рядышком, заслонив настольную лампу большой раскрытой книгой в переплете.

Оказалось, что у обоих накопилось много интересных воспоминаний, которыми они раньше не делились. Аленушка считала удивительно страшным, что когда Вася заболел тифом, то именно ей, Аленушке, пришлось за ним ухаживать. А ведь легко могло случиться, что доктор нашел бы для него совсем другую сестру милосердия, например какакую-нибудь старуху.

Вася на это сказал:

— Ну уж, очень нужно! Это бы совсем неинтересно.

— Значит, вы довольны, что это я?

Вася очень осмелел и показал, что он доволен.

Со своей стороны Вася припомнил, как однажды, после кризиса его болезни, в первые дни ясного сознания, он, проснувшись ночью, смотрел на Аленушку, которая дремала в кресле, и думал, какого цвета могут быть у нее глаза. И почему-то решил, что обязательно зеленые.

— Это у меня-то зеленые? Ну, уж вот какая чепуха вам приснилась.

— Да нет, я не спал тогда.

— Все равно. У меня же ведь глаза голубые, самые настоящие голубые.

— Да теперь-то я вижу.

— Ничего вы не видите. И вообще вы ужасно невнимательны, ужасно. Вы прямо ну ничего не понимаете. И потом — какое право вы имели смотреть на меня, когда я спала?

— Вы сидя спали, в кресле.

— Ну еще бы. Вообще вы невозможные вещи говорите.

Вася даже смутился. Но все же обмен воспоминаниями был настолько интересен, что Аленушка засиделась позже обыкновенного. Только когда за стеной пробило двенадцать, она вскочила испуганно:

— Господи, мне завтра вставать в седьмом.

Простились они не просто за руку, как раньше прощались. Очень это было странно Васе, но и очень приятно.

Ложась спать, Вася слишком потянул рубашку, и она порвалась у ворота. Он подумал: «Экая неприятность! Аленушка будет браниться».

Хотел перед сном подумать о чем-нибудь грустном, как думывал раньше: о том, как он несчастен и как счастливы другие. Но на этот раз у него ничего не вышло. Напротив, набегала на лицо улыбка, и мысли были немножко грешные.

Грешными же они были потому, что сегодня Вася изменил, и измена оказалась сладкой и приятной, а главное — ни для кого не обидной и никому не мучительной.

ВЗРЫВ

Двадцать пятого сентября орнитолог после долгого перерыва снова заглянул в писательскую лавочку в Леонтьевском. Портфель, туго набитый книгами, очень утомил старого профессора:

— Уж позвольте сначала отдышаться. Ничего, я вот на ящике присяду, не беспокойтесь.

— Давно не видно вас, профессор.

— Давненько, давненько не был. Всякие дела препятствовали.

Дела, препятствовавшие старику, заключались в том, что книжные полки и шкапы его опустели. Оставались только ценнейшие для его ученой работы справочники да по экземпляру его печатных трудов. Как ни тяжело было

жить, Танюша взяла с дедушки слово, что этих книг он не продаст.

— Да нужно ли жалеть их, Танюша? Может быть, Алексей Дмитрич и правду говорил: не нужна больше никакая наука.

— Нет, дедушка, он и сам этому не верит, так только говорит.

— А уж от меня, старика, и ждать-то больше нечего.

— Перестаньте, дедушка, нельзя так говорить! Не огорчайте меня.

Очень был счастлив дедушка, что внучка верит и в пауку, и в него, хоть и старика, а настоящего ученого, не чета всем этим юнцам, чуть не гимназистам, облекшим себя учеными званиями и делающим карьеру в смутное время, на ученом безрыбьи:

— Ну-ну, обойдемся как-нибудь.

И однако, двадцать пятого сентября, в день роковой и страшный, орнитолог опять принес в лавочку полный портфель.

— А вы и нумизматикой интересовались, профессор?

— Ничего в ней не понимаю.

— У вас тут много любопытного. А по вашей специальности ничего?

— По совести говоря, книги принес не свои. Вроде как бы на комиссию взял. Привык я к вам ходить торговать, — вот и попробовал набрать у знакомых. А уж оценку сами делайте, как всегда. Доверяю вам вполне.

— Из процента работаете, профессор?

— Из процента, скрывать не буду.

И опять никто не удивился в лавочке, что вот старый ученый, с европейским именем, торгует чужими книгами из процента. И оттого что никто не удивился, стало легче и проще. Значит, нет в этом ничего дурного и можно. Вероятно, и другие сейчас так же делают.

Выйдя из лавочки с пустым портфелем под мышкой, орнитолог оглянулся с довольным видом, — все-таки кое-что для Танюшиного хозяйства очистится. Немного, конечно, так как книги не свои; но зато не свои — не так уж и жалко. Заработан пустяк — а все же заработан, своим трудом, стариковской своей заботой.

У ворот соседнего дома, стоявшего в глубине за решетчатой оградой, дежурил молодой красноармеец с винтовкой. Люди сюда входили, предъявляя бумажку — пропуск.

И профессор, стараясь держаться прямее и ступать увереннее, зашагал к Большой Никитской.

Был и другой фасад у дома, охраняемого солдатом, и фасад этот выходил в садик в Чернышёвском переулке. В саду, отделенном от улицы решеткой, высились деревья с еще уцелевшими желтыми листьями. Ко второму этажу, к его балкону, вела из сада каменная лестница. Калитки с этой стороны не было — никто отсюда не входил.

Когда стемнело, переулок опустел, а в заднем фасаде дома засветились окна. В восемь часов вечера здесь назначено было важное собрание, и к главному фасаду, что в Леонтьевском, подходило и подъезжало много людей. Стояли у ворот и автомобили.

В Чернышёвском же, к заднему фасаду, подошел лишь в десятом часу один человек, поглядел по сторонам и, придерживая карман, ловко перелез через решетку, пригнулся к земле и замер.

С переулка за деревьями не было видно, как темная фигура поднялась по лесенке к балкону и осторожно заглянула в окно. На опущенной занавеске силуэтом очертилась широкая спина, а в щелку виден был край стола, за которым тесно сидели люди.

Тогда темная фигура, откинувшись от стены, взмахнула рукой.

Взрыв слышали даже на окраинах Москвы. В прилегающих улицах были выбиты оконные стекла, а подальше только звякнули.

И граждане, давно привыкшие к ночной стрельбе на улицах, все же сразу сообразили, что это и не ружье, и не пулемет, и, кажется, не пушка.

В доме с двумя фасадами не было теперь крыши и одной из стен.

В этот день Завалишин был с утра трезв и мрачен. С Лубянки домой ушел под вечер, так как день был нерабочий. Дома сидел на постеле, сняв новый пиджак, недавно доставшийся ему после «операции». Анна Климовна в кухне ставила самовар и готовила закусить перед сном.

Не то чтобы Анна Климовна жадничала, а как-то не могла она примириться с тем, что дверь в комнаты Астафьева все еще стояла опечатанной:

— Сколько времени нет его, может, и совсем не вернется, а комнаты зря пропадают. Может, похлопотал бы, их бы и отпечатали. А и так бы снял печати, ничего тебе не будет за это.

— На что тебе его комнаты?

— А что же нам, в одной жить да в кухне? Набро-
сано добра, а девать его некуда.

— Нельзя.

— А почему нельзя-то?

— Раз говорю, нельзя. Может человек вернуться, а
комнаты нет. Там его вещи.

— Подумаешь, буржуя жалко. Больно уж ты о нем
заботливый.

— Отстань, Анна, не морочь голову. Ты его и в гла-
за не видала, а я его знаю.

— Приятель какой.

— А может, и впрямь приятель! Может, он мне жизнь
покалечил, а я его уважаю вроде как за лучшего прия-
теля.

Помолчав, прибавил:

— Пивали вместе, ну и что же? Голова умняющая, до
всего дошел. А что забрали его — ничего не доказывает.
И не тебе, дуре-бабе, о нем рассуждать. Ученый человек —
не нам, мужикам, ровня.

— Ученый... Чему тебя научил ученый твой?

— Чему научил, про то мне знать. Говорю тебе, мо-
жет, он мне есть самый злой враг, а я его уважаю и
пальцем тронуть не позволю. Вот. У него в комнате одних
ученых книг столько, сколько у тебя тряпок не найдется.
И все книги он прочел, про все знает. И между прочим,
со мной, с малограмотным, с простым человеком, спирт
пил за равного. Это понимать надо, Анна. Да только не
твоими бабьими мозгами.

Только успел скипеть самовар, как постучал преддом-
ком Денисов и, не войдя, сквозь дверь крикнул:

— Эй, товарищ Завалишин, там за тобой приехали.

— Кто за мной?

— Машина приехала, тебя спрашивают, и чтобы сей-
час же выходил.

Завалишин забеспокоился, надел пиджак, снял с гвоз-
дя кобурку с кольцом.

— Чего тебя в неурочный день?

— Бес их знает. У нас всякий день может урочным быть.

— Чаю-то выпил бы.

— Коли требуют. Плесни мне спирту полстакана, там
на полке стоит.

И вдруг, разозлившись на беспокойство, крикнул с по-
рога сожительнице:

— А дверь эту и печать ты не трожь! Слышишь? Не в свое дело носа не суй. Комнаты ей, видишь, мало стало, барыня какая.

И, уходя, хлопнул дверью.

ПУСТОТА

После нового допроса, уже четвертого по счету, Астафьева перевели в отдельную камеру.

Допрос был краток. Товарищ Брикман, которого всегда перед весной сильно лихорадило, сидел укутанный в рыжеватый свитер под обычным своим френчем с непомерно широким для его шеи воротником.

Входя, Астафьев участливо подумал: «А и подвело же его, беднягу! И все скрипит и на что-то надеется».

— Гражданин Астафьев, о вас, кажется, хлопочут родственники. Я решил вас вызвать опять; может быть, теперь мы сговоримся.

— В чем сговоримся?

— Вы отрицаете свое участие в заговоре и в том, что у вас скрывался величайший враг советской власти. Ну а скажите, как сами вы к этой власти относитесь? Вы ее признаете?

— А разве она нуждается в моем признании? Я ведь не иностранная держава.

— Вы напрасно отшучиваетесь. Советую вам ответить прямо.

— В нежных чувствах к власти, которая в вашем лице держит меня зря в тюрьме больше полугода, вы меня, товарищ Брикман, вряд ли заподозрите.

— Значит, вы относитесь к ней враждебно?

Астафьев заложил ногу за ногу и откинулся на стуле:

— Враждебно — нет; на это у меня не хватает темперамента. Скорее — презрительно.

— Презрительно к власти рабочих и крестьян?

— Ну, Брикман, бросьте! Какие уж там рабочие и крестьяне, как вам не стыдно глупости говорить.

Следователь дернулся:

— Гражданин Астафьев, я скажу вам прямо: улики против вас мало, только анонимное сообщение о том, что у вас ночевал похожий человек. Но вы, гражданин Астафьев, человек умный, дерзкий и опасный для нас. Вы опаснее маленьких открытых врагов. За вас хлопочут, но я вас не выпущу.

Астафьев почувствовал, как в нем закипает злоба к этому человечку, в руках которого его судьба. Схватить его за тонкое горло, стиснуть — и душа вон.

Он сказал, по привычке скандируя слова:

— Личное чувство в вас говорит, Брикман. Просто — ненависть к здоровому и независимому человеку. Вы — приказчик власти, а я свободный человек, вы дышите на ладан, а я, слава Богу, здоров. Ясно, что вы должны меня уничтожить, хоть и знаете, что обвинить меня не в чем.

Следователь опять дернулся на стуле, покраснел и визгливым шепотом, срываясь в голосе, сказал:

— Да, я дышу на ладан, как вы выразились. У меня грудь разбита в тюрьме прикладами, у меня чахотка. Все это вы гадко сказали, гражданин Астафьев, и, по-моему, непорядочно. Но вас и вам подобных я ненавижу не потому, а потому что... а потому что...

Товарищ Брикман закашлялся, вынул из кармана скляночку, плюнул, спрятал скляночку обратно в карман, вытерся платком и исподлобья, большими глазками взглянул на Астафьева.

— Вот то-то и есть,— сказал Астафьев,— какой уж вы воин! На юг бы вам ехать.

Тяжело дыша, следователь прохрипел:

— В ваших медицинских советах не нуждаюсь.

Пока товарищ Брикман вытирал выступивший пот, Астафьев с тоской оглядывал комнату. Стекла окон были давно не протерты. В углу лежала пыльная груда газет и бумаг, на стене — тусклое зеркало.

— Обстановочка у вас! Хоть бы окна протерли, все свету было бы больше.

Отдышавшись, следователь сказал:

— Можете думать обо мне, как хотите. Одно вам скажу, гражданин Астафьев, неизвестно еще, кто из нас ближе...

Он замаялся.

— Вы хотите сказать: к тому свету?

Вместо ответа следователь резко, деловым тоном, подчеркнуто официально сказал:

— Впрочем, я могу вас выпустить, если вы, гражданин Астафьев, согласитесь с нами работать.

Астафьев улыбнулся:

— Пробуете оскорбить? Экий вы неугомонный. Я на вас не оскорбляюсь, Брикман. Куда вам!

— Прекрасно. Можете идти.

Он позвонил. Астафьев встал, одернул мятый костюм, поправил отросшие длинные волосы и, смотря сверху вниз, сказал с доброй улыбкой:

— Правда, Брикман, поезжайте на юг, бросьте эту обстановку и всю эту гадость. Я это не со зла говорю. У вас ужасный вид.

Вошел конвоир.

В одиночной камере Астафьев сидел на койке в обычной своей позе: прислонившись спиной к стене и обняв руками согнутые ноги.

Книг не было — читать заключенным не разрешалось. Ни бумаги, ни карандаша, ни даже самодельных шахмат. В общей камере Астафьев ежедневно занимался гимнастикой и приучил к этому других. Здесь не хотелось. Голода не чувствовал, хотя питание было отвратительным: суп из воблы, разваренное пшено без масла и четверка хлеба, впрочем, на воле такому столу многие бы позавидовали. Чай морковный, и назывался он кофеем. Давали махорку — это хорошо; за это можно было много простить все-российской чеке.

В первые месяцы сиденья Астафьев часто думал о том, что его могут «вывести в расход». Но в конце концов мысль эта притупилась и утратила остроту. Хуже всего была общая усталость — и тела и духа. Были в первое время живы образы внетюремной жизни: комнаты с любимыми книгами, московские улицы, вечера на Сивцевом Вражке, странное объяснение с Танюшей, выступления на концертных эстрадах, в прошлом — университетская работа, в дальнейшем прошлом — заграничные поездки. Но и эти образы ушли и стусhevались. Не было прежней жажды свободы и даже прежней ненависти к тюремным стенам.

О сегодняшнем разговоре со следователем Астафьев думал: «Замучил я его. Лучше было ударить, чем так. Нехорошо вышло».

Вспоминал эту отвратительную карманную скляночку и морщился от невольного отвращения здорового человека: «И зачем такой живет!»

А зачем живет он, Астафьев? Какой смысл в его жизни? Не все ли, в сущности, равно, ликвидирует ли его на днях товарищ Брикман или выпустит жить дальше?

«Довольно ты мучился, довольно ворчал и довольно

изображал из себя обезьяну. Что тебя волнует? Видеть все это три года или сто лет — совершенно все равно».

И еще говорит Марк Аврелий:

«Если бы было тебе суждено прожить три тысячи лет и еще столько-то десятков тысяч,— все-таки помни, что человек теряет только ту жизнь, какую он живет, и живет только ту жизнь, которую теряет. И никак он не может потерять ни прошлого, ни будущего: как потерять то, чего не имел?»

А царь Соломон:

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем».

«Как странно,— думал Астафьев.— Сколько есть веселых и бодрых книг, сколько блестящих и остроумных философских истин,— но нет ничего утешительнее Экклезиаста».

В коридоре гулко раздался стук; вслед затем шаги и голос сторожа:

— А ну, стучи! А ну, стучи эщэ!

Латыш не мог сразу разобрать, в дверь какой камеры стучат.

— А ну, стучи!

Знакомый Астафьеву окрик. Кто-нибудь из заключенных добивался особой льготы: лишний раз, вне отведенного времени, выйти в уборную. Но, кажется, не пустили. Вот, вероятно, страдает бедняга арестант.

«Если страданье невыносимо — оно убивает. Если оно длится — значит переносимо. Собери свои душевные силы — и будь спокоен».

Так должен утешать себя философ. Да, обывателю есть за что ненавидеть философа.

«В сущности,— думал Астафьев,— мне глубоко чужды всякие контрреволюционные мечтания. Я презирал бы народ, если бы он не сделал того, что сделал,— остановился бы на полпути и позволил ученым болтунам остричь Россию под английскую гребенку: парламент, вежливая полиция, причесанная ложь. И все-таки Брикман прав: я враг его и их. Ведь все равно, кто будет душить свободную мысль: невежественная или просвещенная рука, и будет, конечно, душить «во имя свободы» и от имени народа. А впрочем,— все это скучно».

Если бы в этот момент пришли и сказали: «По городу с вещами», — пульс Астафьева не ускорился бы.

Думал дальше:

«Все эти наши события — революция, казни, борьба, надежды, и весь наш быт, и все наше бытие — ведь это только... чиркнула крылышком по воздуху ласточка, и на минуту остался зрительный след. Но не более, не более, не более. Ну а что же есть, что реально? Только — пусто-та. Отжатая мысль, сама себя поглотившая. Круглый нуль и пу-сто-та».

— Пу-сто-та.

Астафьев вытянул ноги, закрыл глаза и стал дремать.

ВСТРЕЧА

К ночи привезли многих из Бутырок, лагерей и других мест заключения. Спешно перевели из Корабля смерти арестованных по пустяшным делам и в качестве свидетелей. Их место заняли те, кто должны были как заложники и как опасные нести быструю расплату за взрыв в Леонтьевском переулке. Списки составлены были наспех, по пометкам следователей и усмотрению коллегии. Требовалась репрессия быстрая, немедленная, устрашающая. Об ошибках и случайностях думать не приходилось. Личность и имя человека не были важны, — важно было заполнить именами намеченное число.

Ради быстроты отправили несколько грузовиков в Петровский парк; большую партию прямо из Бутырок отвезли в Варсонофьевский гараж. И все же многих пришлось оставить для подвала, где работал Завалишин.

Привезенные знали, зачем их привезли: слух о взрыве донесся до тюрьмы. Впрочем, сегодня, в общей суматохе и спешке, конвоиры не скрытничали. Сами бледные и взволнованные, они подгоняли арестованных и то и дело нервно хватались за кобуры.

В яме Корабля, тесно набитой, было тихо. Только один, болезненный, плюгавенький, переходил от нар к нарам и быстрым шепотом доказывал, что он попал случайно и что его, конечно, никуда не пошлют. Его выслушали молча, не пытаясь утешать, думая только о себе, прислушиваясь к шагам наверху.

В третьем утра к перилам балкона подбежал комиссар с тремя конвойными. Он тоже захлопотался и деловым тоном крикнул:

— Эй, вас тут сколько?

Часовой ответил:

— Шестьдесят семь здесь.

— Как шестьдесят семь? А яму копать послали на девяносто!

Посмотрел недоверчиво, затем хлопнул себя по лбу:

— Верно. Еще двадцать три пришлют из Особого отдела. Все девяносто и есть.

И, успокоившись, ушел деловым шагом.

На ближней полке сидел старый генерал, седой и обдерганный, и прилежно шлифовал обшлагом ногти. Одному не хватило места сидеть; прислонившись к стене, он часто вынимал гребешок и расчесывал пробор. Приземистый мужчина разложил на большом полированном столе прямо под лампочкой бумагу с ломтиками сала и молча ел, как бы боясь, что не успеет кончить остаток присланного ему в тюрьму женой запаса. Еще один, сидя, подперев голову и закрыв лицо руками, мерно качался. Черный человек, сжавшись, быстро оглядывал всех, щурил глаза и время от времени блеснул зубами, словно бы пытаясь улыбнуться. Несколько человек лежало на нарах, руки заложив за голову. Никто не раздевался.

В начале четвертого опять прибежал, громко стуча каблуками, «комиссар смерти», на этот раз без списка, и крикнул конвойным:

— Давай двоих!

На нарах вскочили. Черный человек блеснул зубами. Кто-то быстро замахал руками перед лицом. Старый генерал наклонил голову и опять стал медленно шлифовать ногти обшлагом. Взяли его и плюгавенького, который подбежал объяснить, что попал сюда случайно. Обоих увели быстро, подталкивая на винтовой лестнице.

Завалишин был пьян и страшен. В перерывах работы валился мешком на лавочку, стоявшую налево от входа, в углу, хватал бутылку и отпивал глоток. Когда снаружи окликали: «Принимай!» — тяжело поднимался; осматривал кольт и подходил к двери, внутри прислонясь к косяку. По коридорчику подвала слышался топот ног: двое вели, один шел сзади, держа дуло у затылка. Шагов за пять останавливались, и задний кричал:

— Айда, иди прямо, да живей.

И тогда Завалишин поднимал руку...

Под утро стали приводить из Особого отдела. Два раза в подвал, где работал Завалишин, заглядывал комиссар

Иванов. Внутри не заходил, окликал перед дверью, косясь на асфальтовый желоб у самой стены:

— Ты здесь, Завалишин?

— Здесь. Все, что ли?

— погоди малость. Скоро будут все. Бутылку принести тебе?

— Не надо. Посылай скорей, кончать надо.

И скоро опять раздавался оклик:

— Эй, принимай!

— Айда, — отвечал пьяный голос из подвала.

После каждых трех — приходили выносить.

...
— Эй, принимай!

Завалишин, стараясь твердо стоять на ногах, подошел к двери и поднял кольт.

Топот ног прекратился, и один, мягко и ровно ступая, подходил к двери в подвал. Когда в дверях показалась рубашка, Завалишин осипшим голосом скомандовал:

— Вертай направо!

Вошедший повернул голову на окрик, и рука Завалишина опустилась.

Шаги в коридорчике замерли, и хлопнула входная дверь. Смертник и палач смотрели друг на друга. Завалишин затрясся всем телом и едва не выронил кольта.

Смертник, всмотревшись, улыбнулся страшной улыбкой:

— А, старый знакомый! Ну, как живем, Завалишин?

Белыми пьяными губами тот пробормотал:

— Алексей Дмитрич...

— Он самый, сосед ваш.

Оба на минуту замерли в молчании.

Астафьев обвел глазами подвал, брезгливо взглянул себе под ноги — на скользкий пол — и сурово сказал:

— Ну, что ж, все равно, кончай, что ли.

Закрыв глаза и ждал, сжав зубы. Слышал рядом глухое бормотанье.

Тогда Астафьев сжал кулаки, резко повернулся к пьяному палачу и крикнул:

— Слышишь, негодяй! Кончай скорей! Иначе вырву револьвер и пристрелю тебя, как собаку. Кончай, трус проклятый!

Завалишин поднял руку и опустил снова. Пьяные глаза его были полны ужаса.

Обычным своим голосом, полным насмешки и презрения, Астафьев громко и раздельно произнес:

— Эх, Завалишин! Говорил я вам, что ни к чему вы не годны. А еще хвастал. Человека пристрелить не может. Ну, что же теперь, идти мне спать?

Пройдя мимо палача, он сел на его лавку и опустил голову. В тот момент, когда Завалишин снова поднял кольт, Астафьев быстро взглянул ему прямо в лицо и рассмеялся:

— Ну, то-то! Наконец-то. Ну — раз, два... Ну же, мерзавец, ну же... пли!

OPUS 37

В кухне неистово, наперебой шумели два примуса. Две хозяйки только что поссорились из-за того, что у одной из них оказалась обломанной иголка для прочистки примуса; теперь они не смотрели одна на другую и не повернули головы, когда в кухню вошел Эдуард Львович.

Тряпочка Эдуарда Львовича, рваная и грязная, висела между дверью и плитой. Он взял ее брезгливыми пальцами, хотел встряхнуть, но постеснялся и унес к себе.

Эдуард Львович пытался поддерживать в своей комнате порядок и чистоту. Но у него не было половой щетки; ее кто-то либо сжег в печурке, либо просто похитил. У Эдуарда Львовича не хватило энергии произвести расследование среди жильцов уплотненной квартиры. Он примирился с пропажей и управлялся теперь одной тряпочкой, мыть которой не умел.

Тряпочкой Эдуард Львович стер пыль сначала с крышки рояля, потом с нотной этажерки и со стола. Затем, наклонившись с натугой, тряпочкой же помахал по полу в сторону печки. У самой печки собралась кучка пыли и каких-то ниток. Эдуард Львович собрал сор на листик твердой нотной бумаги и ссыпал в печурку.

Уборка была закончена.

К клавишам рояля Эдуард Львович пыльной тряпкой никогда не прикасался: только носовым платком, который потом он встряхивал и клал обратно в карман. Клавиши были священны.

¹ Opus — труд, произведение, сочинение композитора при порядковой нумерации (лат.).

Открыв их, он пристроил на пюпитре нотную рукопись с заголовком «Opus 37» и рядом положил карандашик.

«Opus 37» — последнее, что написал Эдуард Львович. «Opus 37» был закончен, и вряд ли теперь карандашик мог понадобиться. «Opus 37» — странная, лишенная мелодии, написанная всего в три дня вещь, совсем новая и неожиданная даже для самого Эдуарда Львовича.

Раньше он с негодованием отверг бы такую большую и тревожащую нервы музыкальную пьесу, — теперь он сам оказывался ее автором.

Вступление понятно и законно; так начинается многое. Во вступлении есть логика и внутреннее оправдание. Но вдруг тема, едва намеченная и лишь начавшая развиваться, прорезывается... как бы это объяснить... какой-то музыкальной царапиной, раскалывающей ее затем сверху до низу. Тема упрямо хочет нормально и последовательно развиваться, но царапина углубляется, рвет натянутые нити музыкальной пряжи. треплет концы, путает все в клубок трагической неразберихи. Момент отчаянной борьбы, исход которой неведом.

Теперь — самое основное и самое страшное по последствиям. Нити выправляются, концы вытягиваются из клубка, уже слышен авторитетный волевой приказ (басы!), и вдруг — полный паралич логики: именно в волевых басах рождается измена! Это был только ловкий обман, обход с тыла.

Когда Эдуард Львович играет эту страшную страницу, он чувствует, как его старое и усталое сердце замирает, почти останавливается, как шевелятся на затылке остатки волос и подергиваются надбровные дуги. Страница преступная, непозволительная, — но это же сама правда, сама жизнь! Тут нельзя изменить ни одной шестнадцатой! Композитор — преступник, но композитор — творец. Слушатель и служитель истины. Пусть мир рушится, пусть гибнет все, — уступить нельзя. Рвутся все нити, сразу, скачком; далеким отзвуком тушуются и быстро умолкают концы музыкальной пряжи, тема мертвеет и умирает, — и рождается то новое, что ужасает автора больше всего: рождается смысл хаоса. Смысл хаоса! Разве в хаосе может быть смысл?!

От Эдуарда Львовича зависит вырвать из тетради, смять, растоптать, изодрать в клочья эти последние страницы, этот продукт дикой измены всему его прошлому,

традициям старого классического музыканта, преемника и ученика великих. Но сил для этого нет: преступник любит свое преступление. Если бы сейчас, тут же рояль Эдуарда Львовича окружили возмущенные тени Баха, Гайдна, Бетховена, Моцарга и если бы они стали вырывать у Эдуарда Львовича его рукопись, осыпая его проклятиями и добывая презрением, — он стал бы отбиваться руками, карандашиком, пыльной тряпкой, подмял бы под себя свою тетрадку, — но, пока жив, не отдал бы ее никому, ни живым людям, ни теням умерших, ни даже тени своей матери. Если бы она, плача, умоляла его, — он сам бы истек слезами, умер, но уступить не мог бы — даже ее мольбам. Вот она — трагедия творчества!

Доиграв до конца, Эдуард Львович вскочил с места, потер руку об руку, растерянно оглянулся и в волнении пробежал комнату из угла в угол. Повертываясь, зацепился пиджаком за угол нотной этажерки, испугался, поднял упавшую тетрадь и далее не знал, что делать. Нет сомнения, что «Opus 37» — изумительное произведение.

Изумительное, да. Но кем нашептано? Дьяволом? Смертью? Не пуля ли, однажды влетевшая ночью в его комнату, пробившая окно и застрявшая в штукатурке под обоями, — не она ли просвистала ему, что в хаосе может быть, что в хаосе есть смысл! В смерти есть смысл! В безумии, в бессмыслице — смысл. Нелепость седлает контрапункт, бьет его арапником и заставляет служить себе, — разве это возможно!

Белая ниточка у печурки осталась неподобранной. Эдуард Львович наклонился, подскреб ее ногтем музыкального тонкого пальца и бросил в открытую дверцу. Разогнул ее не без труда — болела поясница. И вдруг, бросив взгляд на ноты, раскрытые на пюпитре рояля, он понял: гениальное постижение!

От неожиданности он открыл рот, хлопнул глазами и произнес вслух и внятно:

— Я — гений. «Opus 37» создан гением.

Эдуард Львович сел на стул у стены, положив руки на колени. Из кухни доносилось шипенье примусов и ругливая воркотня жиличек. Но Эдуард Львович ничего не слышал. Он сидел, подкошенный странным, внезапным сознанием того, что «Opus 37» — гениальное постижение музыканта. Этот момент совпал с приходом старости, — возможно ли? И еще беспокойная уверенность: они не поймут, никто не поймет его последнего постижения.

Был уже вечер, когда Эдуард Львович, забывши пообедать, двигаясь тихо, как бы боясь расплескать чашу полноты и откровения, натянул на худые плечи пальто на клетчатой подкладке, боком надел на голову широкополую свою шляпу и, оглядев комнату невидящим взглядом, отворил дверь и вышел.

Эдуарду Львовичу нужен был свежий воздух. «Opus 37» остался лежать на пюпитре рояля.

ЧАСЫ С КУКУШКОЙ

Вставало солнце, бесстрастно подымалось до зенита и опускалось к западу. Лето сменялось осенью, прекрасной в деревне, хмурой в городе. Зима сковывала воды, заносила дороги, погребала опавшие листья. Теплело — и опять возвращалась весна, обманывая людей надеждами, богато одаряя природу зеленой мишурой, — часы с кукушкой считали минуты, следили за спокойным движением двух стрелок, не оставлявших никакого следа на круге, размеченном двенадцатью знаками.

Уходили на вечный отдых те, кому пришло время, зарождались новые жизни; открывались новые раны, ныли, рубцевались; затихали вздохи и сменялись первой радостью; новые страхи вставали в сумеречный час; в потоке жизни барахтались люди, смытые с насоро сколоченных плотов. Текла с привычным шумом река Времени, — часы с кукушкой, старые часы профессора, тикали секунды, равнодушно и степенно разматывали пружину, повинуюсь тяжести подвешенной гири. Каждый час и каждые полчаса из крохотного домика выскакивала деревянная кукушка, кивала головой и куковала, сколько полагалось. И профессор говорил:

— Как думаешь, Танюша, не пора ли дедушке твоему в постель? Я еще почитаю немного у себя перед сном.

— Конечно, дедушка, идите.

— Петр-то Павлович поздно вернется?

— У него, дедушка, сегодня заседание, и раньше полуночи не кончится.

— Ты ничего, не скучаешь?

— Нет. Я посижу немного и тоже буду ложиться.

— Ну-ну.

Ослабел старый орнитолог. Да и годы его немалые.

Из дому выходить стал реже. Однако сегодня выходил. И случилась ему маленькая радость.

На Арбате, на углу, увидел профессор женщину с лотком, прикрытым чистой тряпочкой. А из-под тряпки высунулась румяная булочка — настоящая, из белой муки, как раньше делали. Женщина оглядывалась по сторонам с боязнью: не завидится ли поблизости милиционер. Неизвестно, какой попадется, как неизвестно, можно ли торговать булочками на углу улицы.

И вот профессор, нащупав в кармане пачку бумажек с большими цифрами — сотни тысяч, миллионы, — подошел и робко приценился. Женщина тоже боязливо ответила ему. И профессор одну булочку купил, заплатив, сколько она выговорила.

Дальше и гулять не пошел, а скоренько старыми ногами засеменил домой. Это — для Танюши, для милой и заботливой внучки, — первая белая булочка. Как подснежник! Не для вкуса, а для радости: ведь вот все-таки настоящая белая булочка, какие прежде были!

— Уж ты, пожалуйста, скушай при мне.

— Попролам, дедушка.

— Никаких там попролам, все тебе. Ты скушай и запей молоком.

— Дедушка, это уж баловство, я одна не стану. Знаете, я сейчас подогрею немножко кофе, и мы вместе. Ну, дедушка, пожалуйста.

— Ну, разве уж маленький кусочек. Вот жаль, что Петра-то Павловича нет. И он бы с нами...

Съели булочку, как просвирку: крошки собрали на ладонь — и в рот.

— Все-таки, Танюша, вот и булочки появились.

— Сейчас, дедушка, вообще легче стало; все можно достать, только нужны деньги.

— В прошлом-то году у нас была, кажется, белая мука, это которую тогда Вася привез.

— Да, была. Я даже пирожки испекла один раз.

— Помню, помню, пирожки. Как он теперь, Вася? Давно к нам не заглядывал.

— Я думаю, что ему хорошо. О нем Елена Ивановна заботится, она хозяйственная.

— Что ж, он того стоит, Вася. Он хороший человек. И Елена Ивановна тоже хороший человек, простой и хороший. Вдвоем им легче.

Вот и Вася не одинок. И о Танюше есть кому позаботиться, если покличет с того света Аглая Дмитриевна:

— А что, старик мой милый, не пора ли и тебе на покой?

Хлопнула на часах маленькая дверца, и кукушка назвала, сколько еще ушло в вечность минут.

Дедушка спит, удобно положив седую бороду поверх простыни. Танюша не ложится,— ждет, когда вернется с заседания Петр Павлович.

Вспомнить бы: к чему себя готовила, к какой жизни? Не к случайной же только встрече с тем, кто всегда приходит и жданно и нежданно. Ну что же, все это еще вернется, придет снова: наука, музыка. Это только пока приходится думать о том, как и чем будет завтра сыт дедушка, чем порадовать милого и близкого человека, когда он вернется усталый с работы на заводе или с вечернего заседания. А разве это не плод долгого ученья — ее концерты в рабочих клубах? И разве это не настоящее дело? Эдуард Львович, правда, хмурится и брюзжит:

— Вы погубите свой тарант! Нервзя так относиться к музыке.

О, он большой авторитет в музыке, старый Танюшин учитель. Но что он понимает в жизни? Была ли ему когда-нибудь знакома гармония нежданных, нелогичных, случайно родившихся созвучий? Любил ли он когда-нибудь не «вообще», не свое музыкальное создание, а реального, живого, вот этого человека?

Кукушка вылетает из дверцы и считает прожитые сегодня часы. Но только сегодня. О днях и годах, прожитых уже совсем лысым, уже начавшим горбиться Эдуардом Львовичем, кукушка ничего не знает. Может быть, тайны никогда не было, а может быть, когда-нибудь и была она у старого музыканта.

Как много было тайн и в детстве Танюши,— и как просто стало теперь! Все понятно и все обыкновенно. И сама она, Танюша,— совсем обыкновенная, как все; просто — женщина. Это не обидно, а хорошо. И любит она человека тоже обыкновенного, самого простого, каких, вероятно, очень много. Хорошего, честного, дельного, умного,— но таких же, как он, могло пройти мимо Танюши много. Почему именно он ей стал так близок и так люб? Простой случай? Нет, значит, так было нужно. И так — на всю жизнь?

Ничего про это не может сказать кукушка. Она знает только счет прошлого. Она уже отметила наступившую полночь и начавшийся новый день. Теперь стрелка часов подходит к первому полчасу.

Но прежде чем кукушка откинула дверцу домика, в передней негромко щелкнул английский затвор.

«Пришел. Ну вот, и все хорошо...»

ХИРУРГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

В хирургическую лечебницу на Остоженке поступил новый больной. Привезла его на извозчике женщина, степенная и заботливая, вероятно жена. Когда в конторе записывали, сказала:

— Уж, пожалуйста, чтобы поаккуратнее, а мы платить можем. Если угодно — хоть даже какими продуктами, мучкой или чем другим. Хотя мы из простых людей, но место он хорошее занимает, ответственное.

Больного, грузного, немного опухшего, но сильного телом бородача вымыли в ванне и уложили в отдельной комнате, в номере девятом. Он стонал и очень мучился, — был припадок почечных колик, нужна была немедленная операция. Едва отвечал на вопросы, на доктора глядел из-под бровей, недоверчиво и боязливо.

Когда его осмотрели, охая, спросил:

— Помру али как?

— Зачем вам помирать? Вот сделаем операцию, и поправитесь. У вас в почке камни и гной, запустили болезнь.

— Резать, значит?

— Ничего, не бойтесь. Под наркозом будет, ничего и не почувствуете.

Операция была очень трудной и сложной. Когда грузное тело больного положили на стол, он обвел глазами врачей и сестер, покосился на приготовленную маску, глухим голосом сказал:

— А может, и так прошло бы? Помирать-то не больно хочется.

Когда наложили маску, замычал, затряс головой, но скоро успокоился. Засыпая, бормотал невнятное.

Спустя полтора часа больного перенесли на носилках в его комнату.

Проснувшись, он лежал не шевелясь, поводя глазами туманными, как бы пьяными.

Зашедшей под вечер жене сказали, что операция прошла благополучно, но что больной слаб, беспокоить его нельзя. Вот посмотрим, как будет завтра.

— А как, опасно? Помереть не может? Вы уж позаботьтесь, а мы можем хорошо заплатить.

— Опасность, конечно, всегда есть. Операция тяжелая и крови много потерял. А он как, пил сильно?

— Пил, конечно. У них по службе обязательно пить приходилось.

— Какая же такая служба?

— А уж такая служба, ответственная. По ночам больше работал.

— Что пил — это плохо.

— Понимаю. Я ему тоже говорила. Может, с этого и вышло.

Адрес женщины записали: указала дом на Долгоруковской, а спросить Анну Климовну, все знают, и преддомком знает, приятели.

В чистой комнате неподвижно лежал больной Завалишин и смотрел в потолок. Боли особенной не было, но была в голове тупость и отдавалась по всему телу. Тугим мозгом шевелил нехотя, и настоящих мыслей не было. Когда входила сестра, а особенно когда в белом халате появлялся доктор и откидывал одеяло, Завалишин смотрел по-прежнему недоверчиво и подергивал бородатой скулой.

На вторые сутки в обеденное время больной, лежавший в полузабытьи, вдруг громко застонал; лежал бледный, совсем белый: видно на лице каждый волосок. Сестра вызвала дежурного врача. При осмотре увидели, что бинты намокли от крови. Врач распорядился осторожно перенести больного в перевязочную. Оказалось, что лигатуры, наложенные на большие почечные сосуды, соскочили и не прекращается паренхиматозное кровотечение.

С большим трудом удалось снова наложить лигатуры на более крупные сосуды, а на остальные и на кровотокающую клетчатку наложить временные клеммы.

Врач сказал сестре:

— Вы от него не отходите, следите внимательно. Положение опасное, он много крови потерял. Через сутки, когда образуются прочные тромбы, можно будет попытаться осторожно снять зажимы и оставить рану под тампоном.

Завалишин слышал голоса и непонятные ему слова, но был сам как в тумане. Боль была тупая, но шумело в ушах и в висках стучала непрерывная колотушка. И

была тоска, тягучая, сосущая, гнавшая сон и покой.

Опять заходила Анна Климовна справиться,— но ничего определенного и утешительного сказать ей не могли.

Надежды врачей не оправдались. Когда через сутки хотели снять клеммы, оказалось, что тромбы не образовались даже в перевязанных сосудах. Там же, где были наложены клеммы, перерожденные ткани и сосуды явно омертвевали. Снова перевязки найдены были промокшими от дурной завалишинской крови.

— Невероятный случай,— сказал врач.— Конечно — алкоголик, но все-таки — какая упрямая кровь, совсем не желает свертываться. Придется ограничиться одной тампонадой.

От Анны Климовны не скрыли, что дело больного плохо. Даже допустили ее к нему в комнату, только просили не разговаривать с больным, а лишь посидеть минуту у постели. Анна Климовна присела на кончик стула, опасно заглянула в лицо сожителя, увидала белые каемки глаз под полузакрытыми веками, вздохнула и по знаку сестры вышла.

— Ужли помрет?

Доктор сказал:

— Очень плохо его состояние. Кровь плохая, ничем ее не остановишь.

— Кровью изойти может, значит?

— Может случиться. Ну, будем надеяться.

Анна Климовна тяжело вздохнула:

— Такая, может, судьба ему. А какой был мужчина крепкий.

Дома, рассказывая преддомкому Денисову, Анна Климовна прибавила:

— Резали, да, видно, не так. Я ему говорила: не ходи. Может, и так прошло бы.

— Доктора лучше знают.

— Все же пожил бы еще. Надо было хоть этот месяц дотянуть, у них первого числа и жалованье, и паек получают.

— Да ведь как было ждать, очень он от боли мучился. Все равно было.

— Это верно, конечно. Такая уж его судьба.

Была ночь. Завалишин лежал в полусознании под затененной лампочкой. Болей не чувствовал, да и вообще не чувствовал своего тела. Только иногда покалывало хо-

лодком в плече и в ногах, да еще мешал во рту огромный язык, как сухой и соленый ком. Когда открывал глаза — по потолку комнаты разбегались тени и прятались по углам.

Один раз, закрыв глаза, подумал, что лежит дома и что в дверь стучат ровно, упорно, словно мягким кулаком. Хотел покликать Анну Климовну, замычал. Но подошла сестра, что-то тихо спросила, и Завалишин вспомнил, что он в больнице. А Анна, значит, дома, одна. Теперь ей там свободно, во всех трех комнатах. Квартира стала у них большая, никого не поселили; книги все в кладовку снесли.

И тут вдруг точно бы чужой голос крикнул:

— Эй, принимай!

И другой голос, очень памятный, насмешливо произнес:

— А, старый знакомый, ну как живем, Завалишин?

Завалишин дернулся, хотел крикнуть и почувствовал резкую, непереносимую боль в животе.

Когда прибежал врач, вызванный сестрой, грузное тело Завалишина опять плавало в крови, которая пропитала все повязки и обильно просочилась на простыню. Ее было много, страшно много — крови палача, которая не хотела свертываться.

Врачебной науке месть крови не знакома. В скорбном листе больного значилось просто:

«Dissolutio sanguinis».¹

Анна Климовна зашла рано утром и узнала, что сожитель ее ночью умер.

Она не плакала, даже не вынула платочка. Только спросила, как же теперь быть ей, ей ли хоронить или от больницы позаботятся. Внизу же женщине, которая была за швейцара, сказала голосом жалобным, качая головой:

— Главное дело — должность занимал большую, особенную, хоть сам и простой был человек, из рабочих. И жалованье, и паек, и еще особо платили за каждую работу, как бы поштучно. Иной раз — сразу большие деньги. И разную одежду получал. А в пайке всегда и мука белая, и мед, и часто материя, и калоши, и все. Конечно, не всякий на его работу пойдет, а уж платили действи-

¹ «Несворачиваемость крови» (лат.).

тельно добросовестно, ценили его. Квартира у нас в три комнаты с кухней, много разного добра, а к Пасхе я свинушку воспитала.

И вот тут, свинушку вспомнив, Анна Климовна впервые всхлипнула, вынула чистый, аккуратно сложенный платок и вытерла сухие глаза.

ВЕЧЕР НА СИВЦЕВОМ ВРАЖКЕ

Ступени деревянной лестницы приветливо поскрипывали под знакомыми шагами, дверь открывалась с ласковым гостеприимством, вешалка с вежливой выдержкой принимала пальто и шляпы, стены старого дома ловили звук знакомых голосов.

В день рождения профессора особнячок на Сивцевом Вражке собрал тех, кто всегда помнил о былом его широком гостеприимстве. Даже Леночка, прежняя девушка с удивленными бровями, а теперь уже мать двоих детей, даже она, гостя редкая, пришла навестить старика и свою гимназическую подругу.

Первым пришел физик Поплавский, в совсем потрепанном черном сюртуке, но в новых калошах, полученных недавно ценой долгого стояния в очереди. По мнению Поплавского, очарованного калошами, жить стало много легче, и плохо только то, что получить из заграницы новую книжку почти невозможно, даже и при знакомствах:

— Этак мы до того отстанем, что потом и в десять лет не догоним Европы. А ведь там, подумайте, об одном Эйнштейне целая литература создалась.

Протасов утешал:

— Не беда. Пока достаточно и того, что знаем. Хоть бы эти знания к делу хорошенько приложить.

Дядя Боря поддержал коллегу:

— Уж какие теперь новые книжки. Хоть бы копировальной бумаги достать да лент для машинок. У нас в Научно-техническом отделе...

Пришли и Вася с Аленушкой. Вася стал сразу взрослым и солидным, хотя и брил бороду, так как Аленушке нравилась ямочка на его подбородке. Все пуговицы у Васи были на своих местах, воротничок чистый, носовой платок подрублен и с его меткой. Прошло и прежнее смущение; с Танюшей Вася говорил почтительно-дружески,

с Протасовым вспоминал о совместной их поездке мешочниками. Аленушка держалась просто, но боялась смеяться. Все-таки в конце вечера орнитолог рассмешил ее, и Аленушка раскатилась колокольчиком, хрюкнула и смутилась, увидав, как удивленно поднялись брови незнакомой ей Леночки. Сидела Аленушка рядом с профессором, который все время с ней заговаривал, любовно смотря в сторону Васи Болтановского.

Не было только тех, кто уже не мог прийти, чьи имена произносились тихо и с серьезными лицами. Не было того, с кем не раз в этой самой комнате спорил Поплавский, не любивший и не понимавший ленивых парадоксов, чей трагический уход из мира живых был еще слишком свеж и недавен, был еще не изжитым домашним горем. И как ни старалась московская жизнь приучить людей к постоянным потерям и испытаниям,— в мирных комнатах особнячка старались не произносить имени Астафьева. Придет время — имя его сольется в синодике ушедших с именами молодого Эрберга, несчастного Стольникова и многих других друзей, близких и далеких.

Ровно в девять часов вечера вешалка в передней приняла и повесила на крайний крюк пальто на клетчатой подкладке.

Эдуард Львович, щурясь от света и потирая руку об руку, вошел, поздоровался со всеми и занял за чайным столом обычное свое место близ самовара, направо когда-то от Аглаи Дмитриевны, а теперь от Танюши.

Для торжественного дня пили чай настоящий, а на самой середине стола на большом блюде лежал парадный сладкий крендель из белой муки. В одной маленькой вазочке был сахар, в другой — ландрин. Было сливочное масло и полная тарелка нарезанной тонкими ломтиками копченой колбасы. Чайный стол исключительный, праздничный, в честь дедушки.

И было еще одно, поданное Танюшей специально для Эдуарда Львовича и вызвавшее всеобщее удивление: сладкие белые сухарики, любимое его лакомство. В былые времена ни Аглая Дмитриевна, ни Танюша никогда не забывали приготовить для композитора сладкие сухарики. Но вот уже два года, как Эдуард Львович забыл их вкус; могли для него сушить только ломтики черного хлеба. Сегодня Танюша ради дедушки и любимого учителя добыла целую тарелочку сладких сухариков:

— Это только Эдуарду Львовичу! И вы должны съесть все сухарики, чтобы ни одного не осталось.

Эдуард Львович был смущен, но Танюше не удалось даже таким исключительным вниманием рассеять грусть композитора. Уже давно Эдуард Львович перестал оживать даже в разговоре о музыке, даже за клавишами знакомого рояля.

Орнитолог сидел в кресле, рядом с Аленушкой, которую он шуточно дразнил, уверяя, что Вася без ее помощи не умеет помешать чай ложечкой:

— А ведь раньше был такой самостоятельный, что занимался вместе с Петром Павловичем обменной торговлей с дикими племенами России. И мои болотные сапоги выменял на золотой песок и слоновую кость. Вот был какой!

Дядя Боря пробовал говорить о грандиозных планах и заданиях Научно-технического отдела, особенно по части электрофикации. Протасов посмеивался:

— Планы планами. Вот только настоящему делу нашему не мешайте, простой заводской работе. А планы — хорошо, особого вреда от них нет. Даже могут пригодиться впоследствии ученые ваши проекты.

Танюша хозяйничала, оглядывая маленький тесный круг друзей особнячка и думая: «Дедушка доволен. Приятно ему, что его не забыли. Непременно нужно, чтобы Эдуард Львович согласился играть сегодня».

И когда тарелка с колбасой опустела, а от кренделя остались одни сладкие крошки, Танюша зажгла свечи у рояля:

— Вы нам сыграете, Эдуард Львович?

К ее удивлению, он согласился сразу:

— Да, я очень хотер бы сыграть. Я бы хотер одну вещь, которой еще никогда...

— Ваше новое?

— Уже борьше года. Но я еще нигде не испорняр. Это называется... то есть названья нет никакого, но оно... это мой посрединий опус. Это мой опус тридцать семь.

Он подошел к роялю, потушил свечи и выждал, пока все рассядутся.

Кресло дедушки подвинули ближе к дивану, где сели Аленушка, Леночка и Вася. Поплавский, как всегда, в затененном уголке на стуле, дядя Боря и Петр Павлович остались у чайного стола.

Танюша — на ковре, у ног дедушки, голову положив к нему на колени.

Только Танюша могла заметить и понять, какую жертву принес Эдуард Львович, согласившись сыграть свою последнюю вещь. Она слушала, не проронив ни звука, — и страдала вместе со своим учителем, а может быть, страдала за него.

Она увидела, что в творчестве старого композитора случился излом, произошла катастрофа, что он, бессильный отказаться от музыкальной идеи, которой всю жизнь служил, — вдруг потряс колонны и обрушил на себя им самим созданный храм и бьется теперь под его обломками. Родилось — рядом с его жизнью — что-то новое, что он хочет понять, осилить и, кажется, оправдать, — но у него нет для этого слов и музыкальных сочетаний, а есть только крик боли, заглушенный чужими голосами, ему враждебными и незнакомыми.

Танюша видела, как вцеплялись в клавиши длинные пальцы Эдуарда Львовича, как он хочет убедить самого себя, как дергается его худое и бледное лицо, как Эдуард Львович страдает.

«Зачем я просила его играть!»

Он кончил оборванным аккордом, тотчас же вскочил со стула, дрожащими пальцами потянул крышку, уронил ее, болезненно вздрогнул и растерянно застыл на месте, спиной ко всем.

Танюша знала, что нужно чем-то помочь. Она подошла и, не говоря ни слова, — и все молчали, — ласково погладила рукав его пиджака.

Эдуард Львович оглянулся и пробормотал:

— Да, да, вот это посредний опус тридцать семь...

Затем он потер руками и, не прощаясь, быстро вышел в переднюю.

Вышла за ним и Тапюша. Но она не знала слов, какие нужно было ему сказать. И есть ли такие слова?

Сорвав с вешалки пальто, Эдуард Львович быстро надел один рукав и долго искал другой. Тапюша помогла. Тогда он повернулся к ней лицом, вынул из кармана ноты, свернутые в трубочку и обмотанные в несколько раз тонкой ниткой, и сунул Танюше:

— Вот это дря вас. Я посвятир вам опус тридцать семь, мой посредний опус. Он торько для вас. Да, это так надо, до свиданья.

— Спасибо, Эдуард Львович. Но почему вы так уходите?

— Так надо. Я доржен уйти.

Он подошел к выходной двери, взялся за задвижку замка, вернулся и, опять смотря в лицо Танюше, сказал скороговоркой:

— Опус тридцать семь есть произведение гения. До свидашья.

Танюша слышала, как Эдуард Львович остутился на лесенке, но затем шаги его стали быстро удаляться.

КОГДА ПРИЛЕТЯТ ЛАСТОЧКИ

Гости разошлись рано.

— Дедушка, вы, вероятно, очень устали. Может быть, сегодня пораньше ляжете?

— Немножко, правда, утомился, а спать не хочу. Вот посижу с вами, отдохнем, а потом пойду к себе.

Ташопа убрала со стола, переставила на место мебель, накрыла чехлом рояль. Помогал ей Петр Павлович. Профессор сидел в своем глубоком кресле, полузакрыв глаза. Опять присела Танюша на коврик у его ног.

Погладив внучку по голове, сказал орнитолог:

— Вот когда у нас тихо и так сидим, все мне кажется, будто стены шепчутся. Дом-то старый, есть ему что вспомнить. Этот дом, Петр Павлович, еще моя мать строила, Тапюшина, значит, прабабка. По тому времени считался дом барский, большой, для хорошей семьи. Красивый был. На дворе разные службы, конюшни, птичник, баня, конечно. Баню-то эту мы совсем недавно разобрали на дрова. Тут я всю жизнь свою и прожил. И конца дождался. Теперь дом стал ничей, и люди за стеной живут чужие.

— Они тихие, дедушка, нам не мешают.

— Ничего, что ж, всем жить надо. Я ведь не жалеюсь, вспоминаю только. Времена теперь изменились.

И опять заговорил:

— Вот скажите мне, Петр Павлович, как будет вам, молодежи, жить дальше? Лучше, чем мы жили, или так же, или труднее?

— Думаю, профессор, что нам будет сложнее жить. Уж, конечно, в одном доме целой жизни не прожить, теперь это невозможно.

— А вообще-то людям лучше станет? Сейчас, конеч-

но, плохо совсем. Ну, сейчас время исключительное, переходное. Перемучиться надо. И долго.

— На паше поколение хватит.

— То же и я думаю. Долгие годы пужны, чтобы опять жизнь направились. Вон Поплавский жалуется, что оторвались мы от Европы, что не догоним теперь. Ученому этого нельзя не чувствовать. Обидно ученому человеку.

— В чем другом, профессор, а в этом-то догоним скорее, чем Поплавский думает. Вот в хозяйстве тяжело, все у нас разрушено и бедность страшная. И людей настоящих еще мало.

— Люди придут; людей в России много.

— Люди придут,— сказал Протасов.— Совсем новые люди придут, и, пожалуй, посильнее прежних.

Старик помолчал, потом погладил Танюшину голову:

— Вот, Танюша, это очень хорошо, что Петр Павлович надеется. Ты тоже постарайся так верить.

— Я и верю, дедушка.

— Люди придут, новые люди, начнут всё стараться по-новому делать, по-своему. Потом, поглядев, побившись, догадаются, что новое без старого фундамента не выживет, развалится, что прежней культуры не обойдешь, не отбросишь ее. И опять возьмутся за старую книжку, изучать, что до них изучено, старый опыт искать. Это уже обязательно. И вот тогда, Танюша, вспомнят и нас, стариков, и твоего дедушку, может быть, вспомнят, книжки его на полку опять поставят. И его наука кому-нибудь пригодится.

— Ну, конечно, дедушка.

— Птички пригодятся. Обязательно должны пригодиться мои птички! И им место в жизни найдем. Верно ли, Танюша?

— Дедушка, вот скоро весна, и ласточки наши прилетят.

— Ласточки непременно прилетят. Ласточке все равно, о чем люди спорят, кто с кем воюет, кто кого одолел. Сегодня оп меня — завтра я его, а потом снова... А у ласточки свои законы, вечные. И законы эти много важнее наших. Мы еще мало их знаем, много изучать нужно.

Долго молчали. И правда, стены старого дома шептались. Наклонив голову к Танюше, так, что седая борода защеконала ее лоб, орнитолог тихо и ласково сказал:

— Ты отметь, Танюша, запиши.

— Что записать, дедушка?

— А когда нынче весной ласточки прилетят — отметь день. Я-то, может быть, уж и не успею. А ты отметь обязательно.

— Дедушка...

— Да, да, отметь либо в календаре, либо в моей книжечке, где я всегда отмечаю. Будет одной отметкой больше. Это, Танюша, очень важно, может быть, всего важнее. Отметишь, девочка? Мне приятно будет.

Ласковая дедушкина рука гладит голову Танюши.

— Дедушка, милый дедушка... Ну да, конечно... я отмечу, дедушка...



ПОВЕСТЬ О СЕСТРЕ

В этой книжке записан рассказ пожилого чиновника, сейчас — беженца, об его умершей сестре.

Тот, чье имя на обложке, только постарался, сохранив простоту рассказа, придать ему обычную литературную форму.

ПРЕВРАЩЕНИЕ АННЫ ИВАННЫ

— Катя, ты что там делаешь?

— Ах, мамочка, мне некогда, я рождаю сына.

Мать сквозь смех старается быть серьезной и строгой:

— Иди сюда, раз я тебя зову. Успеешь наиграться.

Катя вбегает с куклой и большими ножницами. У куклы настоящие волосы, по неровно обрезаны и торчат клочьями. Одна рука куклы беспомощно болтается на нитке.

— Что ты делала?

— Мамочка, я ее стригла, потому что я, мамочка, больше не хочу дочери. У меня дочерей много, и с ними большая возня, а это будет сын, и его уже зовут Сережей.

— Ты ей обрезала волосы, такие хорошие косы?

— Мамочка, нельзя же у сына косы! И мне еще нужно пришить руку на случай сраженья. Он у меня очень смелый и всех колотит.

— Ну, Катюк, как хочешь, а, по-моему, жалко такие волосы.

— Мне тоже, мамочка, было жалко, но знаешь, ради детей...

— Ну хорошо, иди играй.

Мать идет в соседнюю комнату, вынимает из кровати худого младенца, братишку Кати, смотрит, не мокрый ли, осторожно целует и кормит. Он сегодня здоров и покоен, совсем не пищит. В кресле дремлет от теплоты ребенка и щекота его губ и ручек. Потом она его укладывает сно-

ва, а возвращаясь мимо детской, видит Катюшу, которая бродит по комнате с куклой у груди, притворяясь сонной и усталой. Поматываясь, Катюша бормочет про себя:

— Когда ты уснешь, ну когда ты уснешь, Сережа, это прямо невозможно! Ты все ешь, все ешь, всю меня съел, и все-таки не спишь. Я совершенно потеряла ноги.

Мать смеется: «До чего Катюша все перенимает! С нею нужно быть осторожной».

Сережа укладывается в большую коробку, где уже спят, держа руки прямо и вытаращив глаза, остальные куклы. Чтобы не разбудить их, Катя говорит сама с собой шепотом и грозит кому-то пальцем. Затем, отойдя от коробки на цыпочках, она задумчиво останавливается посреди комнаты.

Интересно слушать тишину. С улицы ничего не доносится, потому что зима, снег, да и улица тихая. Совсем тихо и в доме. На кончиках носков, так, чтобы башмачок не скрипнул, Катя крадется через комнату к двери, потом в соседнюю комнату, где спит братишка.

Вход сюда без мамы, собственно, воспрещен, но на цыпочках можно ходить повсюду. Для равновесия раскинув руки, она добирается до детской кровати и смотрит, затаив дыхание, на затененную щечку и примятый нос брата. Смотрит с удивлением и нежностью. Ей хотелось бы потрогать брата, чтобы убедиться, что он настоящий, а не кукла; но этого нельзя,— он может проснуться и заплакать.

Отсюда Катя пробирается в гостиную, садится в кресло и думает. Теперь уж невозможно нарушить тишину и ту торжественность, которою Катя переполнена. Должно что-нибудь случиться — и тогда можно будет снова играть, болтать и суетиться. И Катя ждет терпеливо: что случится?

Сегодня Катюша одна; няня и сестра отправлены гулять, а ее мама непустила, так как вчера у нее был маленький жар. Правда, теперь она совсем здорова и отлично могла бы гулять с ними. Зато время ее не пропало даром: у нее родился сын Сережа, переделанный из так надоевшей куклы по имени Анна Иванна. Вот будет поражена Лиза, когда вернется с прогулки!

— Угадай, кто это?

— Это Анна Иванна.

— Нет, это Сережа.

- Какой Сережа?
— Мой новый сын!

Лиза так изумится! Она никогда бы не додумалась. Ее куклы живут в другой коробке, пикогда не стригутся, не меняются и даже не шалят. Все они — девочки, и у всех голубые банты на платье. Это скучно.

Услыхав шаги, Катюша подбирает ноги и совсем вращает в кресло. Будет чудесно, если ни няня, ни Лиза ее не заметят и пройдут мимо! Но выдержать трудно, и Катюша выпрыгивает и бежит встречать сестру, закутанную в шубку, с остатками снега на валенках. Няня шикает — дитё спит, шуметь нельзя. Но Катюша с сестренкой уже склонилась над коробкой:

- Угадай, кто это?
— Анна Иванпа.
— Нет, это Сережа.
— Какой Сережа?
— Мой новый сын!

Поразительный момент всеобщего удивления!

Катюша весело хохочет и прыгает на одной ноге.

СТАРЫЙ ДИРЕКТОР

Вот лежит и таращит глаза Старый Директор. Такое прозвание дано маленькому Косте с первых дней его рождения — за сморщенную красную рожицу. Назвала его так, конечно, Катюша.

Старый Директор смотрит на недосыгаемую высоту потолка, который есть не что иное, как крыша мира. Границы мира теряются в непостижимых даях стен. Мир заполнен тенями и звуками, смысл которых непонятен и тем более мучителен, что тени и звуки еще не разделены и постоянно переходят друг в друга. К числу мировых загадок относится и чередование голода и сытости, причем сытость является в образе необыкновенно теплой тени, заслоняющей сразу весь видимый мир. Затем происходит провал в вечность: ни теней, ни звуков, ни мельканья светлых розовых предметов, движение которых отчасти уже подчинено воле. Старому директору предстоит узнать, что эти странные предметы называются руками, пальцами, кулачками.

По прошествии длинного ряда вечностей — провалов и новых рождений — тени расцветиваются постоянными

красками и уже способны вызывать к себе каждая особое отношение. Самая изумительная тень, исключительно полезная и приятная, есть мать. Другая, терпимая, хотя несколько грубоватая и ненужно-темная тень — нянька. И есть еще одна, заключающаяся в глазах и ярком красном банте, совсем бесполезная, но чрезвычайно любопытная; это — Катюша.

Все эти имена и клички еще неизвестны Старому Директору, но самые явления уже интересуют его по-разному. Появление матери вызывает страстную требовательность, жажду немедленного использования ее полезных качеств. Явление няньки, сопряженное с бульканьем ванны и всякими неудобствами, отвлекает внимание от важных мировых задач к мелочам быта. Рождение в пространстве пристальных глаз и банта Катюши относится к области эстетики; Старый Директор, раздвинув веки, вбирает всю силу света, болтает ногами и выражает свое удовольствие особой гримасой, при виде которой Катюша говорит:

— Мамочка, ну право же он смеется, смотри, мамочка! Он всегда со мной смеется.

— Не гляди на него сбоку, Катюк, он так косит глаза.

— Я только немножко.

Мать, няня и девочка относятся к Старому Директору снисходительно и покровительственно, а между тем они — лишь предметы изучения, лишь материал для строящегося сознания. Их существование столь же призрачно, как и весь остальной мир, — от прутьев кровати до безбрежности потолка. Стоит закрыть глаза — и их больше нет. Их бытие и небытие чередуется по воле Старого Директора, который рождает и устраняет их одним движеньем глаз.

Иногда он предпочитает всякому зрелищу звук собственного голоса и слушает раскаты плача, заполнившего мир. Мать напрасно думает, что ему больно или он страдает: он слушает музыку и впервые догадывается, что эта симфония — произведение его собственного творчества, что он сам — и оркестр, и дирижер, и композитор. С неохотой возвращается он к соблазнам быта, подкупленный ласковым голосом или обещанием тепла и сытости. Иногда музыка обрывается неожиданно, и это очень мучительно. Но жить вообще нелегко — Старый Директор чувствует это с первого дня.

С каждый днем глаза его делаются сознательнее, а мир небытия, откуда он пришел и куда с такой охотой снова уходил в часы сна, этот мир, покойный и ясный, все больше забывается. Кроме кулачков в его распоряжении оказались еще ноги, и в ванне он норовит поймать себя за палец. Мелочи заслоняют общее, решение основной загадки существования откладывается, стены комнаты и все предметы приближаются, огонек свечи способен увлечь его надолго, а звонкий голос Катюши начинает волновать и радовать по-настоящему. Кончится это тем, что интересы нового мира победят, и Старый Директор, бросив философию, с головой уйдет в низкую повседневность. Такова судьба человека вместе с ростом тела — снижение духа.

Быстро мелькают дни. Старый Директор прибавляется в весе. Он и вправду узнает мать, няню, Катю. И в знак грядущей долгой дружбы, он первое слово свое посвящает ей:

— Тя!

Катюша в восторге. «Тя» — это она, Катя! С этого момента Старый Директор переименовывается в Котика.

БОРЬБА ГИГАНТОВ

На дворе соорудили снеговую горку. Кататься приходят кроме Кати и Лизочки портнихина дочка Настя и мальчик из флигеля Пашка.

Настя одних лет с Лизочкой и очень с ней дружит. Настя — существо кроткое, боязливое, совсем без бровей, в огромных валенках и сером платке, повязанном поверх шубки так, что концы торчат за спиной, как пропеллер. Что бы ни делала Лизочка — Настя делает то же самое. Лицом Настя всегда повернута к Лизочке и больше никого не видит. Зато, если Насти на дворе нет, Лизочка идет к черному ходу и стучит в левое окно, где живет портниха; тогда Настя немедленно появляется. С горки они катаются вдвоем на больших салазках: Лизочка верхом впереди, Настя тоже верхом позади. В момент спуска у обоих на лицах радостный ужас. Падают они тоже рядышком и молча, после чего Лизочка отряхивает снег с шубки, а Настя неотрывно на нее смотрит. Они никогда ни о

чем не говорят, да и не о чем, потому что Лизочка действует, а Настя повторяет ее движения.

А вот Пашка из флигеля — истинный разбойник и невежа. Он старше Катюши и, значит, старше всех. На нем длинное, на рост шитое пальто со светлыми пуговицами, огромная фуражка с гербом и буквами, и всякий знает, что Пашка в немалых чинах: он — гимназист-приготовишка. На улицу к мальчикам Пашка выходит неохотно, потому что там его дразнят, называют «синей говядиной» и «сальной пуговкой» и хором поют ему в лицо:

Приготовительная вошь,
Куда ползешь?

На дворе же Пашка чувствует себя гигантом и грозой девчонок. На него жаловались, но это не помогает. Едва Пашка заметит в окно девочек, как немедленно является с санками (у него санки высокие, обитые железом) и начинает всех притеснять. Девочки не успеют хорошенько усесться на санки, — а он их сталкивает, так что санки летят боком и девочки падают. Затем он садится на свои, издает боевой клич, скатывается и норовит по дороге задеть. Пашка гордился тем, что умеет скатываться с горки без санок, стоя на ногах; но эту спесь Катя с него сбילה, потому что тоже скатилась и удержалась на ногах. С тех пор они враги.

Сегодня Пашка неистовствует: кричит, толкается, совсем не дает кататься. Девочки попробовали выждать, пока ему надоест таскать на горку санки, — но Пашка неумолим. Он придумал новую штуку: ложится на санки ничком и едет вниз головой, да еще что-то поет.

Наконец Катя сказала девочкам: «Пойдемте». Пашка увидал, забрался вперед на горку, будто бы хочет скатиться, а сам выждал, пока поднялась Катюша, ухватил ее за полу шубки, толкнул свои санки — и Катюша полетела за ним кубарем.

И вот тут Лиза и Настя увидели сверху горки изумительное происшествие.

Скатившись с горки, Катюша живо вскочила на ноги и бросилась на Пашку, — а ему только этого и надо. Пашка отпрыгнул, стал в боевую позу и заорал:

— А ну, тронь! Вот я тебя расколочу! Я вас всех, девчонок, вдребезги!

И вдруг девочки увидели, что Катюша не только не

струсила, а по-настоящему вцепилась в Пашку. Он хотел дать ей подножку, но Катюша догадалась, сама толкнула его в бок, и Пашка, запутавшись в длинном пальто, упал носом в снег. Мгновенно Катюша оказалась у него на спине, подхватила его фуражку и стала бить его козырьком по затылку. Пашка пытался освободиться, — но куда там! Катюша одной рукой вцепилась ему в волосы, а другой напихала ему за шиворот столько снегу, что девочки смотрели, раскрыв рот, в ужасе и восхищенье.

И это было еще не все. Пашка заорал, потом захныкал, а Катюша успела подтащить его санки, навалила их на него и села сверху. Такого униженья еще никогда ни один пригостишка не испытывал от женщины. Теперь Пашка был побежден окончательно и навсегда.

Посидев, Катюша медленно слезла и отошла от Пашки, не сказав ни слова. меховая шапочка выползла у нее из-под башлыка, одна перчатка осталась в снегу, — но вся фигура Катюши дышала величием победы. Если бы не валенки, она пошла бы обратно на цыпочках, как во все важные моменты жизни. Вся в снегу, с красными щеками и прерывистым дыханием, Катюша чувствовала себя Давидом, победившим Голиафа. Двор, горка, флигель — все стало маленьким и ничтожным. Самым ничтожным был поверженный в прах ее, Катюши, руками всеобщий деспот Пашка-пригостишка.

Полежав в снегу и поревев для приличия, Пашка забрал свои санки и заковылял домой. Очевидно, о новом нападении и о мести он не мог и думать; снег за шиворотом, в волосах, в ушах, во рту охладил его воинственность; и еще было больно от санок, на которых сидела Катюша.

Когда борьба гигантов закончилась такой несомненной победой справедливой стороны, Лизочка и Настя решили не терять времени. Теперь они усаживались на санки спокойно, с удобствами, скатывались солидно, по прямой линии, не падали и вставали разом.

Катюша, отдышавшись, решила тоже использовать победу. В полной уверенности, что Пашка смотрит в окно, она аккуратно поставила санки наверху снежной горки, легла ничком, оттолкнулась и съехала вниз головой с не меньшим искусством, чем делал это Пашка, и притом без всякого фанфаронства, почти равнодушно. С тем же равнодушием она встала внизу и, не оглядываясь на флигель, пошла поставить свои санки в сарайчик.

Конечно, это было немножко жестоко: добивать побеж-

денного. Но и стоил этого противник Кати, самоуверенный деспот в высоком чине пригостишки!

Во всяком случае, сегодня кататься с горки Катюше больше не хотелось.

ЛАРИСА СИГИЗМУНДОВНА

У мамы была с визитом нарядная дама Лариса Сигизмундовна. Лариса — легко, а Си-гиз-мун-довна — очень трудно выговорить. Когда она ушла, то и мама, и няня, и все говорили:

— Какая она красавица и как замечательно одевается!

Катя тоже очарована красотой Ларисы Сигизмундовны, особенно ее высокой прической, на которую колпачком надета маленькая дамская шляпа, а на шляпе четыре вишни на стебельках и радужная птичка. Нос у Ларисы Сигизмундовны белый, острый и с горбиком, щеки тоже совершенно белые, а на подбородке ямка. На руках у нее длинные перчатки (так в них и в комнате сидела), а юбка длиннущая и шумит, потому что шелковая. И сзади турнюр, на котором могли бы усидеть рядом две большие куклы.

Огромное впечатление! Когда Катюша взволнована, она ходит на цыпочках. Вот сейчас она очень взволнована, пробралась тихонько в мамину спальню и устроилась на стуле перед зеркалом.

Волосы Катюша взбила и подвязала наверху ленточкой: дело простое. На плечах не без усилия подтянула платье, чтобы получились буфы, хоть и не совсем такие. А дальше?

Дальше идет нос — можно ли жить с таким носом! Кончик его туп и блестит, точно его нарочно натерли воском. Там, где у дамы горбик, у Катюши вроде ложбинки. Но хуже всего щеки: пухлые, розовые, какой-то ужас. Ямочек на них сколько угодно, а вот на подбородке, где нужно, как раз нет ни одной.

Катя берет с туалета палочку и пытается продолбить ямку у себя на подбородке. Нажмет палочку — есть ямка, а уберет палочку — остается только красное пятно. А ножницами проковырять страшно и больно.

С прижатой палочкой, Катюша немного опускает ресницы (чтобы все-таки видеть себя в зеркале), отводит голову вбок и говорит чуточку в нос:

— Ах, столица так утомляет...

Столицей называется, если не жить все время дома, а куда-то ездить.

Катюша при этом подергивает плечом — и буф исчезает. И вообще плохо выходит. Поправив платье, она пробует еще раз, кстати покривив и губы:

— Ах, столица так утомляет...

Ничего не выходит; мешает палочка, а уж нос, этот маленький, толстый, безобразный нос! И эти красные яблоки на щеках! Ну, еще раз:

— Ах, столица так утомляет...

Ясно, что Катюша — уродец. И останется уродцем, хотя бы надели на нее шляпу и длинную юбку.

Подпершись кулачком, Катюша с ненавистью глядит на свое отражение. Даже кукла Анна Иванна, ставшая теперь сыном, была красивее Катюши. И обезьяна красивее. Вот горе-то!

Тут уж слез удержать нельзя. Они катятся крупными каплями и затекают прямо в нос, который становится еще безобразнее. Отражение в зеркале дрожит и туманится, и теперь все лицо покрылось ямами, а рот до ушей. Вот когда пришло оно, настоящее горе!

Чувствуя гибель, Катюша пытается спасти себя крайними мерами, хотя руки ей уже не служат и особенно мешают слезы. У Ларисы Сигизмундовны черные брови дугой, а у Катюши — узенькие ниточки. На мамином туалете, который давно и хорошо изучен, лежит в коробке обожженная пробка; мама немножко-немножко подводит этой пробкой брови. Катюша быстро нашаривает рукой пробку и, всхлипывая, мажет над глазами. Но рожица мокрая, и черное сползает с бровей на нос. Теперь Катюша такой урод, что и няня испугается. Теперь она похожа на черта, и никакого возврата нет.

— Что ты тут возишься, Катюк?

Мамин голос. Все кончено! К горю прибавляется страшный позор. Но возврата все равно нет, жизнь Катюши навсегда разбита. В таком положении естественнее не бежать от мамы, а наоборот — уцепиться за нее и погибнуть под ее ласковым крылом.

— Да что с тобой, девочка, о чем ты плачешь?

Мокролицая, перемазанная, с подвязанным на затылке хохолком, Катюша не помнит и не знает других слов. Рыдая, она выкрикивает непонятное:

— Ах... ах... столица так... мамочка, столица так утомля-я-ет...

Мама не смеется. Мама — сама женщина и понимает, что тут смеяться нельзя.

Мама вытирает Катюшино лицо мокрым полотенцем и уводит ее в детскую. Там она ее причесывает, целует, утешает. Потом она будет с ней долго разговаривать, повзрослому. И тогда горе, может быть, смягчится, а может быть, и совсем пройдет.

ВСТУПАЕМ В ЖИЗНЬ

Окно в детской прямо против двери. В светлый день комната кажется фонариком, но посерединке не свечка горит, а стоит девочка, и волосы ее — как венчик у святого. По росту это словно бы Катюша, — но это не она, а Лиза.

Если, например, вы не были в своем саду две недели, а потом спустились туда с резного крылечка — и смотрите: газон поднялся, выровнялся и зацвел маком, на клумбах не узнать прежних настурций, а душистый горошек тянется и шевелит тройными цепкими усиками. Совсем иная картина, все выросло и зацвело.

За пять прошедших лет Лиза стала такой, какой была Катюша; а Котик, бывший Старый Директор, тоже почувствовал себя большим человеком. Он уже не топчет ножками, а ходит, как ходят все, лишь немного подпрыгивая от резвости. Кстати, он знает все буквы и может что угодно прочитать. Он теперь такой, как была Лиза.

А Катюша — это уже не травка и не кустарник. Она — маленькое деревцо, березка с лесной опушки. Катюше двенадцать лет, она давно покончила с географией Янчевского и арифметикой Евтушевского. Просто и привычно звучат в ее устах такие слова, как «уравнение с двумя неизвестными»; ей совсем близко знакомы Александр Македонский, Фридрих Великий и даже Мервинги. Не моргнув глазом, она говорит:

— Лютер ввел в Германии лютеранство.

Пальцы Катюши всегда перемазаны чернилами. Это восхищает Костю. Чтобы хоть немного походить на Катюшу, Костя балуется с ее чернильницей, мочит в ней пальцы, любителю на свои руки и не замечает, что вымазал и нос. Костин нос нянька долго отмывает мылом и оттирает полотенцем, и нос становится красным, как у дворника.

Собственно говоря — мужчине на шестом году это довольно стыдно.

Костя белокур, шелковолос, а костюмчик на нем из фланели, с двумя складками спереди и четырьмя на спине. На груди карманчик, и был бы в нем собственный Костин носовой платок с меткой, если бы постоянно не терялся. Вид у Кости не очень мужественный, — но ведь он еще и не совсем мужчина.

Когда Косте было три года (счастливая, но уже прошедшая пора!), он впервые испытал чувство любви. Из флигеля выходила во двор девочка, Пашкина сестра, Костина ровесница. Встретившись, они стояли друг против друга и смотрели; Костя смотрел на ее необычайно маленький нос, будто пуговка от ботинок, а она смотрела на платок в Костином боковом кармане. Затем они брались за руки и гуляли молча и очень степенно, стараясь ступить в ногу.

Это был настоящий роман. Если Костя не собирался жениться на соседской девочке, то только потому, что семейная жизнь представлялась ему нелепой без няньки, которой он уже и сделал предложение. Было даже решено, что в день свадьбы Костя съест целый арбуз с косточками. Нянька в общем соглашалась, но предупреждала о возможных последствиях:

— Брюхо-то и заболит!

На пятом году жизни Костя испытал первую катастрофу — из-за проклятой игорной страсти. Он играл на дворе с мальчишками в бабки и однажды проиграл сразу двенадцать гнезд и налитой свинцом биток — все, что у него было. Проигравшись в пух и прах, Костя почувствовал, как небо снизилось и придавило его. В груди Кости образовалась пустота. Отыгаться было не на что — двенадцать гнезд стоили три копейки. Полная безнадежность и острый стыд поражения. Костя весь день бродил с похуевшим лицом, плохо ел, а ночью видел во сне двенадцать гнезд и свинчатку.

Что это — рассказ взрослых про то, как Костя был маленьким, или начало воспоминаний самого Кости? Двойной роман мог быть рассказом, — но нельзя взять да рассказать скверное ощущение игрока, промотавшего все состояние!

Костя подходит к каминному зеркалу и смотрит на свое отражение: лицо в морщинах, седые виски, бритый

подбородок, теплый синий халат. Что осталось от мальчика Кости, каким нарисовало его солнце на карточке в семейном альбоме?

«Помнишь, Костя, как ты маленьким непременно хотел быть извозчиком или почтальоном? А помнишь, как ты упал на лестнице и расшиб лоб? У тебя и сейчас виден рубчик».

Как знать, что сохранила своя память и что взято из устного семейного архива? Что подлинно было — и что присказано легендой старших?

От каминного зеркала я возвращаюсь к столу, где листы большого блокнота открываются один за другим и понемногу образуют рукопись воспоминаний о женщине былых времен, о Кате, моей любимой сестре, лучшем и единственном друге моих детских и студенческих лет. О той, какую она была или какой мне казалась; о моей настоящей сестре — или о созданной воображением.

И если окажется, что у автора этих любовных строк никогда не было ни сестер, ни семьи, ни благоуханного детства, что всю жизнь свою он жил образами, созданными наперекор судьбе, его обидевшей, — неужели же осудит его за это равнодушный слушатель?

В ЧУЛАНЕ

Мое первое собственное отчетливое воспоминание о любимой сестре связано с преступлением и наказанием.

Я совершил преступление, и, должно быть, тяжкое, хотя я его и не помню. Только в совершенно крайних случаях неповиновения и каприза моя мать прибегала к высшей мере социальной защиты — к чулану. Даже странно, чем мог я заслужить такую кару.

Насколько помню себя, я не был в детстве ни большим шалуном, ни озорником, ни революционером. Был мальчиком нежным, чувствительным, бесхарактерным, способным и женственным; любил красную смородину, ласку и книжки. Впрочем, всматриваясь в свои детские портреты, мы все склонны видеть себя в прошлом ангелочками, утратившими святость к годам зрелости. А как быть с проигрышем двенадцати гнезд бабок и с потерей битка, налитого свинцом? Не за эту ли раннюю игорную страсть посадила меня мама в чулан? Если да, то вот лишнее подтверждение бесполезности исправительных наказаний: я

на всю жизнь остался азартным игроком; мало того — считаю азарт благороднейшей страстью, возвышающей человеческую душу.

Одним словом — меня посадили в чулан. Чулан был отличный, теплый, просторный. В нем стоял большой сундук, на котором можно с удобством расположиться, а на сундуке положено одеяло, чтобы сидеть было мягче. А чтобы не было мне, маленькому, страшно, со мной посадили Катюшу, мою старшую сестру, — ей было тогда уже лет двенадцать. Мы с ней сидели на сундуке и плакали.

Я плакал не от страха, а от горькой обиды. Взрослые всегда несправедливы и жестоки, даже отцы и матери, даже лучшие из отцов и матерей. Если я виноват — накажите, но не оскорбляйте, не унижайте человеческого достоинства. А чулан считался величайшим позором и оскорблением. Поэтому я ревел во весь голос, чтобы этот единственно доступный мне способ протеста был известен всему дому и вызвал раскаяние матери.

Сестра плакала, кажется, потому, что ей в чулане было страшно (она боялась темноты), а главное — ей было непонятно, почему она должна делить со мной наказание. А может быть, ей было жалко меня, утешить же не было никакой возможности: я рвался и бил по сундуку башмаками.

Сквозь рев я слышал, как гулко захлопнулась дверь в комнату, где был чулан. Это означало, что мама раскаянья не выражает и не хочет слышать моих неистовых рыданий. Теперь освободить меня могло только время. Не действует открытый протест — подействует жалость. И я присмирел, приготовившись быть несчастным страдальцем.

В темноте тишина родит жуть. В чулане могли быть мыши. Всего безопаснее было прижаться поближе к сестре и держаться за ее рукав. Так мы и сидели, тихо всхлипывая и прислушиваясь, не раздадутся ли шаги матери.

Думаю, что именно тогда и родились между нами близость и взаимное понимание, позже спаявшие нас крепкими узами нерушимой дружбы.

Когда протекла вечность, — не менее четверти часа, — задвижка чулана щелкнула и спокойный голос матери сказал:

— Катюша, выведи этого мальчишка.

У меня было свое имя — Костя. В минуты ласки меня звали Котиком. Но сейчас я был только этим мальчишкой, безымянным, преступным, нераскаянным. Это

могло бы стать поводом для новых горьких слез, если бы Катюша, обняв меня и подтолкнув к двери, не прошептала на ухо:

— Пойдем, Котик. Ты не плачь, мама больше не сердится.

Мы вышли, щурясь на свет опухшими глазами. Мамы в комнате не было: вероятно, ей было стыдно. Все еще держась за Катюшу, я пошел за ней в детскую, где она уложила меня на постель, погладила по голове и поцеловала. В этот момент моей настоящей мамой, доброй и понимающей, была Катюша. Когда она уходила, я с новой родившейся во мне нежностью посмотрел на ее кошечку, свисавшую до полспины и украшенную лентой.

Потом из соседней комнаты до меня донесся громкий и убедительный шепот Катюши, по нескольку раз повторявшей:

— Замыслив расширить пределы своих владений за счет второстепенных... за счет второстепенных удельных князей, великий князь московский... великий князь московский предпринял поход...

КУМИР

Год моего рождения был в семье траурным: осенью умер отец. Так я и рос — единственным мужчиной в доме: мать, две сестры, нянька, всех нас выходявшая, и кухарка Саватьевна, женщина характера деспотического, но умевшая делать даже слоеное тесто.

Наш маленький мирок не делился на взрослых и детей. Няньку, например, никак нельзя было причислить ко взрослым; она была очень стара, но все же принадлежала к миру детскому, — жила нашими интересами, знала по именам сестриных кукол, говорила детским нашим языком, была участницей наших игр и наших тайн. Саватьевна жила и царила в кухне, на всех ворчала, особенно в субботний базарный день, но, в сущности, настоящим авторитетом не пользовалась; ее только побаивались. Взрослой была только мать, и как-то совсем нечаянно взрослой стала Катя.

Случилось это, кажется, тогда, когда Кате на Рождество сшили длинное платье, не такое длинное, как у мамы, но все-таки. Все это платье на Кате рассматривали, и она стояла посреди комнаты в большом смущении. Я ждал, что вот Катя сделает шаг и запутается ногами в юбке. Няня же сказала:

— Таперича совсем невеста наша Катенька.

Платье носилось по праздникам, а в будни Катя ходила в прежнем, коричневом, с черным фартуком. Но теперь и в нем она оставалась взрослой. После длинного казалось, что не это, старое, стало короче, а Катины ноги стали длиннее.

И еще случилось однажды, что почтенный и пожилой господин, пришедший навестить маму, поднялся с кресла, когда вошла Катя, и, здороваясь с нею, стукнул каблуком о каблук. Меня это очень поразило, и мое уважение к Кате еще повысилось. Уйдя в детскую, я долго расшаркивался там перед умывальником, стуча ногами и кивая головой, и, по-моему, выходило хорошо. А когда то же я проделал перед нянькой, она сказала:

— Нечего тебе, Костенька, передо мной, старухой, танцы танцевать. Сидел бы лучше да клеил картинки.

Когда у нас бывали гости, я старался держаться ближе к старшей сестре, подчеркивая нашу с ней дружбу. Когда она что-нибудь говорила, я смотрел ей в рот, потом переводил глаза на слушавших, чтобы видеть, какое она на них произвела впечатление. Все, что она говорила и делала, я считал как бы сказанным и сделанным мною самим. Когда ее хвалили, я краснел от удовольствия, точно это относилось и ко мне. Ластиться к ней было моей потребностью, и Катя, которой я, вероятно, очень надоедал, переносила мои приставанья с изумительной кротостью.

К Лизе, второй сестре, хотя она была почти на пять лет меня старше, я относился несколько свысока; дружба с Катей возвышала меня над Лизой. Лизу гладили по голове и говорили с ней покровительственно, а перед Катей почтенный господин щелкал каблуками. Выбора для меня не могло быть.

И еще об одном я догадывался, отчасти подслушав разговоры, отчасти полагаясь и на собственный вкус: о том, что наша Катюша лучше всех, что она очень красивая. Была у нее черная коса и на белом лице черные глаза и тонкие брови. Среди других Катя казалась особенно чистолицей, яркой и сияющей. Нельзя было этого не заметить. И голос ее казался мне самым звонким, и походка — самой смелой. Когда же Катя, задумавшись о важных своих делах, проходила по комнате на цыпочках, — эта привычка осталась у нее на всю жизнь, — я замирал от благоговения.

Когда я очень ей надоедал, она говорила мне:

— Подожди, Котик, мне нужно заниматься.

Она садилась за книжки, читала губами, а левой рукой крутила быстро-быстро прядку волос на виске. Это она готовила уроки. Вынимала тетрадку и писала в ней, согнув уголком указательный палец, а иногда водила по губам кончиком языка. Это тоже казалось мне очень почтенным и замечательным, и я невольно подражал всем ее жестам: трепал волосы и водил по губам языком. Но идеал — одно, а подражанье — другое. До Кати было мне, как до неба.

Когда Кати не было дома, жизнь становилась обыкновенной и будничной. Я гулял во дворе, рисовал, резал перочинным ножиком стол, разбирал колесики и винтики старого будильника, отданного в мое распоряжение, читал книжку «Робинзон в русском лесу» и занимался с мамой арифметикой. Через полтора года предстояло и мне поступить в гимназию; я уже был к ней подготовлен, мешали только малые мои годы. Было мне немножко досадно, что когда я стану гимназистом — Катя уже окончит гимназию; а то бы мы по утрам уходили с ней вместе. Теперь придется ходить только с Лизой.

Когда сестра возвращалась из гимназии, я выбегал в переднюю и смотрел, как она снимает шубку и торопится к себе в комнату умыться перед обедом. С нею возвращалось в дом оживление, мама улыбалась, нянька шлепала туфлями. Саватьевна гремела посудой. От Катиной шубки пахло свежестью и снегом.

А за обедом Катя рассказывала маме про подруг, про учителей, и все так интересно. Их имена и прозвища я знал отлично, и жизнь сестры мне казалась полной и праздничной, какой ни у кого больше быть не могло.

А может быть, и правда — это был лучший период жизни моей милой сестры, с которой я вскоре должен был расстаться до новой встречи совсем в иной обстановке, сложной, трудной и порой бессмысленной. Если бы можно было говорить жизни: «Остановись!» — и она бы останавливалась, или бы можно было возвращаться к возрасту, в прошлом лучшему, как возвращаются к родному берегу из напрасного дальнего странствия, — я бы из многих пережитых счастлих выбрал счастье быть ребенком и смотреть на мир еще безбровыми глазами, молиться в домашней кумирне домашним богам, иметь впереди все, ничего не достигая, и строить испанский замок мечтаний

из обгорелых спичек и пустых аптекарских коробочек. Если бы это было можно, я отказался бы даже от лучшего, что сейчас имею, — от моих воспоминаний.

СУДЬБА

Вечер. Мамы дома нет.

По вечерам уютнее всего в столовой. Там большая висячая керосиновая лампа над столом, покрытым темной ковровой скатертью.

Сидим все: Катя с книжкой — только она не очень внимательно читает. Лиза рисует букет цветов, в котором каждый цветок очень правильно расположен, каждый лепесток похож на все остальные, и если справа две маргаритки, то и слева две маргаритки, а ленточка точно сейчас проглажена; у Лизы все всегда выходит аккуратным, приличным и скучным. Мне дали циркуль и бумагу; вся бумага перемазана кружками, и теперь я протыкаю ее ножкой циркуля и смотрю, что получается на свет. Нянька с необыкновенным искусством штопает пятку чулка, ею же когда-то связанного. В комнате тихо, и время проходит мимо нас, тикая маятником.

Сколько лет нашей няне? Пожалуй, много ей лет, совсем сгорбилась няня!

Она приподымается и тянется рукой к лампе — свету прибавить. Катюша отрывается от книги:

— Сиди, сиди, няня, я прибавлю.

— Спасибо, Катенька. Темно мне, глаза мои старые.

Катя смотрит на пламя лампы и, думая о своем, спрашивает:

— Няня, а тебе сколько лет?

— Лет-то сколько? А кто их знает, Катенька. В прошедшем году барыня считали, и будто выходило семьдесят восемь — семьдесят девятый. Это в прошедшем году летом. Стало быть, нынче в январе будет семьдесят ли девять либо все восемь десятков. Вот мне годов сколько, много годов.

Катя смотрит теперь на няню внимательно, точно в первый раз видит ее морщины и прядь седых волос, выбившуюся из-под платка. Платок няня никогда не снимает, и никто ее простоволосой не видал.

— Ты долго жила, няня! Много видела!

Няня соглашается:

— До-о-олго живу! У нас в роду все подолгу жили. Пора бы и помирать мне, Катенька. Вот только хочу поглядеть, как ты замуж выйдешь.

— А может быть, няня, я совсем не выйду замуж.

— Как же можно! Ты девушка красивая, здоровая, в девках не засидишься. Вот только дай гимназью кончишь.

Катя смотрит на нянин платок и старается представить себе две картины. Вот опа, Катя, сидит в девках и на всех сердится; мимо ходят люди, веселые, разговаривают, а она сидит неподвижно в девках и молчит. Или — вот она замужем, пьет чай в такой же столовой, а рядом муж мешает в стакане ложечкой и ест печенье. Но представить себе мужа Катя никак не может.

— Няня, а ты погадай мне, выйду ли я замуж.

— Да ведь што мое гаданье. Может, правда выйдешь, а может, и так, понапрасному.

— Погадай, няня.

У няни в ее чуланчике лежат на полке карты в железной коробке. Этими картами опа гадает уже лед двадцать и менять их не хочет, так к ним привыкла. Карты согнуты и почернели. У дамы бубен усы, у короля червей угол обрезан до уха. Катюша знает, что она — дама трэф.

Дама трэф ложится посередине, и на сердце у нее закрытая карта — без угла. Няня слюнит пальцы — без этого карту от карты не разлепить. Налево — дорога, направо — деньги.

— Ну, няня, что выходит?

— А чему тут выходить? Дурного ничего нету, все благополучно. То ли куда уедешь, то ли тут будешь жить с достатком. А надо быть, дорога, все три шестерки. Вой седьмерка виной — это тяжелые хлопоты, да, может, она потом уйдет.

Карточные масти няня зовет по-старинному: «буби, вины, крести».

На сердце оказался король червей. Но няня не уверена.

— Это кто, няня, суженый?

— Надо быть, суженый, только человек пожилой.

— Старик?

— Зачем старик? Может, и не старый человек, а с положением, в годах, не лоботряс какой. И из себя белокур.

— Ну и что же, няня?

— А разве я знаю! Может, и замуж за него пойдешь.

За почтенного человека и лучше, не будет с его стороны никаких шалостей.

— Это какие шалости, няня?

— Всякие бывают, если человек неверный. Жена дома сидит, а он мотается.

— Как, няня, мотается?

— А так и мотается, что все бегаёт.

— По гостям?

— По гостям да по трактирам, кто их знает.

— Я такого не хочу, няня.

— Кому ж такого надобно, какая с им жизнь!

Опять выходит дорога и письмо. Катя на минуту задумывается. Едет она на пароходе или по железной дороге, пишет письма маме, няне, подругам. И сидит рядом с ней кто-то, неизвестно кто, дергает за руку, заглядывает, не дает писать.

Няня гаданьем недовольна: много черных карт, виной и крестей, окружили даму. Одна надежда — уйдут. Но как раз ушла вся сердечная масть, остались хлопоты, да туз и десятка бубей. Деньги будут, а любви особой не видно, даром что лег король прямо даме на сердце. Мало хорошего.

— Ну, няня?

— А что ж няня? Какая твоя няня гадалыщица? Карта, она ляжет, как ее положат, верить ей тоже нечего. Другой раз другое выйдет.

— А сейчас нехорошо вышло?

— Особо плохого ничего нет. Зачем плохое? Ну и хорошего особенно нет. Богатство — это хорошо. Хоть и не в деньгах счастье, а и без денег не проживешь.

— А замуж выйду?

— А как же не выйдешь? И без карты выйдешь, и по карте так.

— А счастлива буду, няня?

Тут нянька сердится:

— Счастье, милая, сам себе человек делает. Люби мужа — вот тебе и счастье. С неба оно не свалится, счастье. И все это гаданье выходит — одна глупость.

— Ты картам не веришь, няня?

— Чего им верить, я и так знаю, без карт.

И правда: восемьдесят лет на свете проживши — как же не знать няне, в чем счастье и как его добывают! И сама была замужем — в свое время досыта наплакалась. В деревне, где жила няня молодой, про счастье так гова-

ривали: «Счастье да трястье на кого нападет». А то еще сами на себя плакались: «Таков наш рок, что вилами в бок».

— Главное дело, Катенька, чтобы за большим не гнаться, малого не пропустить. Кому какая доля выпадет. Кто другого жалеет, тому и жить легче. А бояться нечего — от судьбы не убежишь.

Няня охает, несет коробку с картами обратно в свой чуланчик. Лиза раскрашивает зеленым, красным и желтым третий букет цветов — все три одинаковы: по две маргаритки справа, по две слева; и только ленточки разного цвета. Я доломал до конца графитик в циркуле. Катя снова склонилась над книгой; смотрит она не на страницу, а на рисунок скатерти — но и его не видит. Задумалась Катя.

Звонок в передней: мама вернулась.

КАТЯ ЧТО-ТО ПРИДУМАЛА

С утра у нас в доме волнение и суета. Мама звенит ключами, няня стучит ящиками шкапов и комодов, часто вбегает Саватьевна что-нибудь показать, а то вызывает маму на кухню.

Мне все это любопытно, но меня совсем затолкали:

— Костенька, да не вертись ты под ногами!

Примечательно, что перед обеденным часом мне дали хлеба с ветчиной и стакан молока: значит, обед будет поздно. Известно также, что к обеду будут гости: из буфета вылезло все столовое серебро, а из магазина принесли несколько бутылок вина. Вино у нас бывает только на Пасху, — значит, сегодня день совсем особенный.

Он и вправду особенный. И вообще в последние дни происходит что-то не очень понятное. Катя, например, все время ходит на цыпочках, и к ней нет приступа. О чем ее ни спросишь — она отвечает рассеянно, а то и совсем не ответит. И мама постоянно останавливает:

— Костя, не надоедай Катюше. Иди и играй или почитай что-нибудь.

Мама все шепчется то с няней, то с Катей, а то ходит с заплаканными глазами. Что-то случилось, и, по-видимому, с Катюшей: все на нее смотрят, вздыхают, качают головой.

Кое о чем я, впрочем, догадываюсь, так как слышал странный разговор между мамой и няней:

— Чего же убиваться, барыня, чай, по своей воле идет.

— Няня, да ведь она совсем девочка, ничего не понимает.

— Чего ж тут и понимать-то, тут и понимать не надобно.

— Может быть, она его и не любит.

— А не любит — полюбит, барыня, наука нехитрая.

— Ведь на всю жизнь нянюшка!

— Это конечно.

— Подождать бы год-другой.

— А чего ждать, барыня? Она-то подождет, ему ждать невозможно, он человек в годах и с состоянием. Этаким сразу другую себе найдет.

— Бог с ним, с состоянием.

— Как же можно, барыня! С деньгами все легче жить, чем без достатка, особенно коли человек почтенный.

— Не знаю, нянюшка, как-то все внезапно вышло. Уж очень скоро.

— Так-то и лучше. Никто девушку не неволит, самой приятно, и подружкам завидно.

Говорили, конечно, про Катюшу, которая что-то придумала, а мама не знает, хорошо ли Катюша сделала.

Сестра только что окончила гимназию. Ей шел семнадцатый год, и я считал, что она уже довольно старая, конечно не такая, как мама и няня. Любовь моя к сестре от этого не уменьшилась. Катюша была, по-моему, замечательная, и я не удивился, что она придумала что-то такое, чего даже мама не ожидала.

Человек, про которого говорили, что он очень почтенный и с состоянием, был, конечно, белокурый инженер Евгений Карлович. С некоторых пор он стал часто у нас бывать. Но он был человек посторонний, недавний знакомый, и мне не сразу пришло в голову, что Катя задумала на нем жениться; женятся-то, кажется, только на самых лучших знакомых. Катюша разговаривала с ним очень мало, а только смотрела. И он больше разговаривал с мамой, а иногда шутил со мной.

И однако, в этот день за обедом Катю посадили рядом с инженером, и все на них смотрели. Потом стали пить вино, налили и мне совсем на доньшко стакана, а после индюшки встал мой крестный отец, Аркадий Петрович,

поцеловался с мамой, потом поцеловал Катюшу — и тогда все стали поздравлять Катюшу и инженера. И я заметил, что Катюша очень испугалась, чуть не заплакала, а инженер доволен. Только тут я окончательно понял, что Катюша все-таки решила жениться. Собственно, я думал, что она тут же за обедом и женилась, но после няня мне объяснила, что это была только помолвка.

— Свадьба, Костенька, после Петрова дня.

— А как, няня?

— А так, что обедеет поп трижды вокруг налоя — вот тебе и прощай наша Катюша.

Моя детская память — чувствительная и непреложная пластинка — сохранила лицо Катюши в эти дни: немножко вытянутое, удивленное и торжественное. Сестра, раньше такая веселая, жизнерадостная, теперь молчаливо бродила по компатам, точно прислушиваясь. Когда с ней заговаривали, она удивленно улыбалась, осторожно смеялась и не знала, как ей держаться.

Теперь я знаю: она и впрямь была удивлена. Внезапно в ее жизни произошло огромное событие: пришел человек и уверенно положил ей руку на неопытную детскую головку; человек большой, взрослый, самостоятельный, который всем нравился, и ей нравился, и перед которым все как будто заискивали. Когда он появлялся — все обращались к нему и никто ему не возражал. Он был очень мил, привлекателен, любезен, но главное — он был выше и лучше всех, кого знала Катя. И этот человек выделил ее, Катюшу, из всех людей и предложил ей делить с ним всю остальную жизнь.

Она была слишком юна, моя милая сестренка, чтобы полюбить сознательно. Она была поражена. Она невольно внушала себе чувство, назвав его — на детском своем языке — любовью. Но я знаю теперь, что она отдавала себя этому незнакомому инженеру из чувства удивления, почтительного восторга перед его силой и взрослостью, может быть, из чувства присущей ей вежливости и уважения к взрослым.

Ее чувство мне тем более понятно, что оно передалось и мне. Со дня помолвки я благоговел перед женихом сестры. Он казался мне великим и единственным, образцом и примером для подражания.

У него были волнистые белокурые волосы, — и я считал, что каждый уважающий себя мужчина должен иметь такие. Я даже спросил его, почему волосы вьются. Он

ответил, что нужно их мазать керосином и долго трепать по утрам. Няня отняла у меня керосин, но зато я трепал свои плоские волосы с таким усердием, что потом их трудно было расчесывать. Надо мной смеялись, — но я не перестал верить каждому слову инженера и подражать ему во всем. Так, он иногда вместо «да» говорил «дэ-с!» — и я немедленно перенял это и на всякий вопрос отвечал важно: «дэ-с!»

Я обожал его бескорыстно, — хотя он осыпал нас, и меня, и Лизу, и няню, и маму, и, конечно, Катюшу, подарками. Я получил от него настоящее «монтекристо» и набор столярных инструментов. Он приносил и присылал столько шоколадных конфет, что я даже стал к ним равнодушен. Мама укоряла его за то, что он нас балует.

Со стыдом вспоминаю, что он стал для меня тогда чем-то даже большим, чем Катюша; и правда, она казалась перед ним маленькой девочкой, которую с этих пор он будет защищать и воспитывать.

Мама говорила Евгению Карловичу:

— Знаете, Костя в вас влюблен.

Он смеялся, а я краснел от смущения и удовольствия. Я действительно был влюблен. Как я мог не быть влюбленным в того, в кого влюблена Катя? И я не ревновал его к сестре, — я просто делил ее чувство и считал себя их общим верноподданным.

В это примечательное время инженер бывал у нас почти каждый день; только на три недели он уезжал в Москву. Говорили, что он там открывает свое дело и что свою службу на уральских заводах он оставил. Вероятно, и Катя, когда выйдет замуж, переселится в Москву.

В моем детском поклонении известную роль играло и то, что Евгений Карлович был родом датчанин. Это тоже казалось мне замечательным: до сих пор мне не приходилось видеть датчанина, и только из учебника Янчевского я знал, что есть такая страна — Дания, маленькая и с трех сторон окруженная морем. А тут — настоящий, живой датчанин, да еще инженер, да еще жених Катюши, — мудрено ли потерять голову!

ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖЕНИЛАСЬ

По вечерам засиживались поздно, а меня отсылали спать в десять часов.

Моя комната была рядом со спальней матери — ма-

ленькая, но отдельная; раньше она служила кабинетом отцу.

Из столовой раздаются голоса: тихий — матери, звонкий и молодой — Кати, мужской и уверенный — Евгения Карловича. Иногда он долго говорит, может быть опять рассказывает про охоту на Урале, и тогда мне хочется скинуть одеяло и крадучись подбежать к дверям столовой.

Помню, как в час моего первого, еще чуткого сна вошли в мою комнату Катя и ее жених. При слабом свете лампадки я все же видел их лица. Они сели на стулья против моей кровати — будто бы пришли взглянуть, как мирно спит Костя. Но если бы и вправду смотрели, то заметили бы, что Костя в дремоте их видит.

Они не разговаривали. Инженер смотрел на Катю, и я в первый раз заметил, что под белокурыми усами у него большой рот; от теней лампадки рот казался даже огромным и неприятным. Катя, совсем при нем маленькая, — хотя она была не ниже его ростом, — сидела повернувшись к нему, но наклонив голову; она показалась мне смущенной. Еще видел я сквозь сон, как Евгений Карлович сначала гладил ее руку, а потом хотел ее обнять, но Катя отстранилась и тихонько сказала: «Нет, не надо!» И тогда рот инженера стал меньше и углы его опустились. Как я ни был мал, но все же догадался, что инженеру хочется поцеловать Катю, а ей этого не хочется. Потому, вероятно, он и завел ее в мою комнату, будто бы посмотреть на меня. Мне стало немножко стыдно, я закрыл глаза и сейчас же заснул.

Жизнь наша продолжала быть интересной. У меня прибыло много книжек, большинство с описанием зверей и рассказами про охоту. У Лизы стоял на столе настоящий письменный прибор, который она ежедневно протирала суконной тряпочкой. Саватьевна выбегала из кухни в переднюю подать инженеру шубу и потом что-то прятала в кулаке. Каждый день приходила к нам белошвейка и шила до темноты, и еще приходила портниха примерять платья: дорожное, визитное, а ко дню свадьбы и белое подвенечное, при примерке которого присутствовали все: и мама, и няня, и Саватьевна, и Лиза, и, конечно, я.

Катя спала теперь вместе с мамой в ее спальне рядом с моей комнатой, и часто, проснувшись ночью, я слышал их полусшепот: это мама учила Катю жить замужем. Я засыпал, — а они еще шептались.

День свадьбы сестры как-то слился в моей памяти с другими суетливыми и праздничными днями. Знаю, что мне было поручено положить в белую атласную Катюшину туфельку золотую монету и что я ехал в церковь впереди всех с иконой. Помню, как рассказывали, что Катя не захотела первой вступить на розовый шелк, а подождала, пока вступит инженер, — няне это не понравилось. И еще помню, как по приезде из церкви мы пили шампанское; действительно «мы», потому что дали полный бокал и мне, отчего я совершенно опьянел. Может быть, поэтому меня не взяли на пароход провожать молодых.

Они уехали ненадолго, только прокатиться по Каме и по Волге. Их квартира была готова — у нас же во флигеле, из которого за месяц перед этим выехала Пашкина семья. Во флигель привезли большой рояль, много новой мебели. Было решено, что Катя с мужем еще около года проживут в нашем городе — и лишь потом уедут в Москву.

На новую жизнь сестры я смотрел как на очень интересную и вполне замечательную ее выдумку. В голове моей не зарождалось мысли, что это — не Катюшино интересное приключение, а что это так уже и будет всегда, что Катюша из нашей семейной жизни ушла, что уже нет у нас Катюши, что только временно она еще бывает у нас, а потом уйдет в какую-то, совсем не нашу, неизвестность. Теперь у нее была своя квартира и своя прислуга, — это тоже было занимательно и любопытно. В Катюшиной новой квартире жил Евгений Карлович, что было очень приятно, так как у него было много ружей, медвежьих шкуры, рога и, совсем как живая, голова волка над дверью кабинета. Но я бы не очень удивился, если бы Евгений Карлович уехал, а Катюша вернулась в свою прежнюю комнату и мы бы вспоминали, как было интересно при Евгении Карловиче и как жаль, что он уехал. Она была все-таки нашей, а он был чужим человеком, хоть и очень приятным. Вот только жаль, что Катюша все равно не будет больше ходить в гимназию.

По-нянькиному выходило, что Катюша теперь — «отрезанный ломоть», но я этого как-то не усваивал. Хоть и отрезанный, а приставь его — он и прирастет. И тогда Катюша снова будет носить короткое платье, петь, читать по вечерам в столовой книжку и разливать чай, когда мамы нет дома. И все будет по-прежнему, как и быть должно. Потому что Катя и была и осталась нашей.

Были две Кати: Катя — барыня и Катя — прежняя. Первая жила во флигеле, занималась хозяйством, принимала гостей, играла на рояле и ходила под ручку с мужем в дамской шляпе, в платье с турнюром и в перчатках. Она была очень красива и приветлива и была совсем взрослой.

Другая Катя, прежняя, прибежала к нам, когда ее муж уезжал по делам. Это случалось постоянно: то он ездил на уральские заводы, где не все его дела были закончены, то на охоту, то на целый месяц в Москву. При его долгих отлучках Катя совсем переселялась к нам и спала, как прежде, с мамой. В доме у нас становилось веселее. Катя надевала короткое платье, старое гимназическое, заплетала косу, тормошила няню, целовала маму, училась со мной в саду стрелять в цель из «монтекристо» и целый день напевала. Когда матери было некогда, Катя занималась со мной — готовила к поступлению в гимназию.

Было очевидным, что Катя опять что-то придумала: теперь она, под маминым руководством, шила и подрубала какие-то тряпочки, рубашечки, одеяльца, как бы для очень большой куклы. Ее это очень забавляло, мама же относилась к этому с большой серьезностью. По ночам они опять шептались в спальне, а однажды Катюша спросила меня:

- Котик, ты хочешь быть важным?
- Каким важным?
- Ну, например, ты станешь дядей.
- Каким дядей?
- Если у меня будет сын, ты будешь его дядей.

Меня это очень поразило: я не совсем был готов к роли дяди. Но Катя говорила так серьезно, что я постарался представить себе такой случай. Вот я — дядя. Катин сын, ужасно маленький, подходит ко мне и говорит пискляво:

- Здравствуй, дядя!
- Я отвечаю снисходительно, но ласково:
- Здравствуй, мой милый.
- Мозьно мне поиграть?
- Да, только не очень шали.

Он идет играть, а я задумчиво беру книгу и вздыхаю. Выходило почтенно. И впервые я почувствовал, что становлюсь пожилым и солидным человеком.

Однажды, когда Лиза была в гимназии, я услышал в ее комнате тихий и оживленный разговор. Говорил голос Кати, и никто ей не отвечал. Я подкрался к двери и заглянул.

Катя, с длинной косой, в светлом платье, сидела на Лизиной кровати, окруженная куклами. Самую большую — ту, которая открывала и закрывала глаза, — Катя держала на руках, прилаживая ей какой-то бантик. И я услышал, как она сердитым шепотом говорила:

— Ах, тебе не нравится, тебе не нравится красный? Очень жаль, очень жаль, но другого нет. Пока ходи с таким, а потом мама купит тебе голубенький. Да ну же, не вертись!

Одновременно за моей спиной раздался голос матери:

— Ты что тут, Котик, подсматриваешь? Что тебе интересно?

— Я смотрю, как Катя играет в куклы.

Мама вошла в комнату, а Катюша быстро собрала кукол и швырнула их в коробку. Покраснев, она сердито залепетала:

— Какие глупости, Костя, я просто смотрела, какой у Лизы беспорядок, все помято. Как странно, мама, ведь Лиза вообще такая аккуратная!

Мама пробормотала что-то, вроде: «Да, с ней бывает», повернулась и вышла. Но я заметил, как у нее запрыгали губы от смеха, который она старалась сдерживать.

Катюша продолжала сидеть на кровати, и я не понял, почему она смущена и на меня злится. Я не видел ничего дурного в том, что она играет в куклы, — она и раньше часто играла, и с Лизой и одна.

Потом Катюша надула губы, ушла в гостиную, села в кресло и стала читать книжку. Мне очень хотелось с ней помириться, но я не знал, как это сделать. Когда вошла мама, Катя подперла голову кулаками и стала читать еще внимательнее. Мама погладила ее по голове:

— Ах ты, моя бедная девочка!

Катя отбросила книжку и прижалась к маме, и тогда мама, все еще смеясь, сказала:

— Ну чего же ты смущаешься? Вот погоди — будешь играть в живую куколку.

— Мамочка, я вовсе не играла, а только примеряла бантик, он откололся. Костя вечно все выдумывает.

Мне этот разговор показался довольно обидным; но мне стало жаль Кати, и я не возражал. Женщинам при-

ходится прощать, даже когда они не правы. В особенности — любимым женщинам. А я очень любил сестру, — в доме нашем она была солнышком, которое всех грело и ласкало.

Катя давно уже носила широкий и длинный капот, перестала прыгать, а по лестнице спускалась, держась за перила. Она стала торжественнее и старше.

В последние дни мама иногда ночевала у Кати во флигеле. Телеграфировали инженеру, который опять был в Москве, и ждали, что он со дня на день придет. Но, кажется, он опоздал ко дню новой суеты.

Этот день суеты я хорошо помню. Не каждому удается стать дядей в девять лет, и, конечно, это не менее почтенно, чем в тридцать пять лет стать отцом.

Не только мама и няня, но и Саватьевна почти все время проводили у Кати во флигеле. Приехал наш старый доктор Винокуров, лечивший и меня от кори, — и его проводили во флигель. Саватьевна носилась по двору, из дома в дом, широко размахивая руками. Нам с Лизой вместо обеда дали холодной телятины, молока и вчерашнего киселя. Лиза с полным спокойствием и сознанием долга учила свои уроки, хотя ведь и ей предстояло стать теткой. Я же сильно волновался и старался войти в новую роль.

Прежде всего я прибрал свою комнату. «Монтекристо», лобзик для выпиливания и столярные инструменты я развесил над кроватью; книги в полном порядке, по росту, от большой к маленькой, расставил на полке, несерьезные игрушки запер в шкаф, — вряд ли они могли понадобиться человеку в звании дяди. В перерывах я ходил по комнате большими шагами, заложив руки за спину; иногда останавливался и говорил: «Дэ-с!» Затем я подписывал свою фамилию на листе бумаги, стараясь, чтобы росчерк был простым, солидным и красивым, а главное — всегда одинаковым.

Эти деловые хлопоты заняли весь день. Вечером мама забежала только на минутку, велела мне ложиться спать, поцеловала и опять ушла к Кате. К ночи вернулась няня и, укладываясь, долго охала. Но и ночью было слышно, как хлопает кухонная дверь, ведущая во двор.

Утром разбудила няня:

— Вставать пора, Костенька. В доме радость, а ты спишь.

— Какая радость, няня?

— А такая радость, что у Катеньки сынок родился.

— Няня, а как его зовут?

— А еще никак не зовут. Потом назовут, успеется. Весь в мамашу, здоровый. Вот ты и дяденькой стал, а Лизанька тетей.

Да, такого дня не забудешь. Мама пришла нас поцеловать; она была веселой, но глаза заплаканы. Она тоже поздравила меня с новым моим званием.

В этот день я часто подходил к большому зеркалу и смотрел на себя. Несомненно, во мне произошла какая-то важная перемена: лицо увереннее и как бы равнодушнее. Лицо человека, который знает свои обязанности и готов их выполнить. Лицо почтенное, взглянув на которое каждый скажет:

— Несомненно, этот господин — дядя! В нем есть что-то особенное.

Теперь, когда я давно уже дедушка и пережил много семейных радостей и все семейные утраты,— мне приятно вспоминать, с какой серьезностью отнесся мальчик Костя к великому событию в жизни его любимой сестры, правда, думая не столько о ней, сколько об удивительной перемене в своем собственном семейном положении.

Мои детские воспоминания о сестре прерываются на этом событии. Ставши матерью, она уже недолго жила с нами. Московские дела ее мужа устроились, и флигель в нашем доме опустел. В моей личной жизни также произошло важное событие — я поступил в гимназию. Всего один раз приехала к нам Катя погостить летом; больше я не видал ее до университета.

Было много и других событий, но в памяти моей они не очерчены так резко. Умерла наша нянька; умерла не у нас, а в деревне. Лиза окончила гимназию и поехала погостить к Кате в Москву. Были какие-то письма — каждый день по письму, и каждый день мама на них отвечала. Потом были телеграммы. Потом мама хотела поехать в Москву, но не собралась. Оказалось, что Лиза в Москве выходит замуж.

Но жизнь юноши полна своим — о чужом и далеком некогда думать. Интересы дома и семьи уже не были на первом месте. Я изучал — не слишком прилежно — тригонометрию и до боли щипал пушок над верхней гу-

бой. Сделал кое-какие жизненные открытия. Познал кое-какие философские истины. Был влюблен, и не раз. Был разочарован. Прочитал всех русских классиков. Написал сочинение на тему «Отрицательные черты обломщины в русской жизни». В последнем классе гимназии попробовал курить — и вышло удачно.

И вот наступило последнее лето моей жизни в провинции, при матери. На мне уже была студенческая фуражка. Был куплен новенький чемодан и ремни для подушек. Мама сшила мне мешочек для чаю и сахару, и на нем была вышита моя метка. Наконец было заказано место на пароходе — через Казань до Нижнего.

Впереди была Москва, и приятно было знать, что там я увижу сестру, когда-то делившую со мной в темном чулане строгое наказание.

ТИХАЯ ПРИСТАНЬ

Я перевожу рассказ на годы моей ранней молодости, на те года, о которых редко кто не вспоминает с улыбкой и со вздохом сожаления: «Их не вернуть!»

Я буду сдерживать перо, чтобы оно не увлеклось воспоминаниями о моей студенческой жизни. В этой повести о жизни женщины брат ее Костя — только любящий свидетель. И только там, где наши жизни тесно переплетались родственными и дружескими нитями, я чувствую себя вправе говорить о себе. Но обойтись совсем без отступлений слишком трудно. Между бытием тогдашним и нынешним — глубокая пропасть смутных, радостных, тяжелых, еще не взвешенных разумом лихолетий. В быте, в семье, во взглядах общества все так изменилось, что невозможно понять душевного облика прежних людей, не припомнив среды, в которой сложились их характеры. Женщина тогда — и женщина теперь... Посадите их рядом и наблюдайте, с каким жадным любопытством они будут разглядывать друг друга и втайне друг другу завидовать: одна — очарованью неизведанной свободы, другая — красоте утраченной женственности.

О женщине-товарище говорили и мечтали и мы, тогдашние. Но, крепко и дружески пожимая ее руку и с тайным сожалением глядя на ее стриженные волосы (первый шаг к свободе!), мы, подчеркивая ее с нами равенство, — оставались поклонниками и рыцарями. Свободные

в словах и чистые в отношениях с этими пионерками женского раскрепощения, мы втайне ценили лишь крепость девственности и уважали будущих матерей. И пуще вольных жестов и откровенных прикосновений нам была мила целомудренная коса и робкое дрожанье губ весной под черемухой. Расплесть эту косу — уже дерзкая и циничная мысль; поцеловать эти губы — сладкое грехопадение. Затем мы женились и делались домашними деспотами или мужьями подъяремными — в зависимости от характеров, но независимо от юношеских идей о равенстве полов.

Сейчас, когда все это (все ли?) исчезло либо стало (стало ли?) смешным, — сейчас я все-таки не уверен, что мы, насильники и рабовладельцы, меньше отдавали должного человеческому достоинству женщины, чем отдают теперь апостолы любви «без черемухи». И я не уверен, что женщине раскрепощенной и свободной стало в России легче нести свою женскую долю.

В купленной еще весной студенческой фуражке, голубой околыш которой успел выцвести раньше, чем я впервые увидел на Моховой два корпуса университетских зданий, я ехал по Каме и Волге в город, совсем мне новый, но не совсем чужой: в нем жили обе мои сестры и ждал меня родственник прием.

Если бы не это обещание воздерживаться от отступлений в моем простом рассказе — о, сколько я нашел бы слов, чтобы поведать о наших местах, о приволье двух великих русских рек, о сладости впервые быть взрослым и самостоятельным, едущим вкусить от науки и от жизни, о том, как приятно давила лоб фуражка студента, бывшая в то время в большем почете, чем любая изящнейшая шляпа, чем лощенный цилиндр и военное кепи. И с какой улыбкой я вспомнил бы — за давностью лет без прежнего смущения — о сокровенных помыслах вступающего в жизнь юноши, о сумбурных его надеждах на яркую, необычную, счастливую судьбу, на завоевание мира и миров, на достижение мудрости, успеха, радости, славы. Сейчас, на склоне дней, когда свершилось все, что должно было свершиться, а над мечтами о несбыточном и недоступном поставлен намогильный крест, — сейчас, не скрою, страстно хочется вернуть ту пору хотя бы легким путем воспоминания!

В Москве я остановился у младшей сестры с твердым

намерением не загоститься у нее долго и снять собственную комнату, непременно в студенческом квартале.

Муж Лизы оказался очень милым и добродушным человеком с брюшком и лысиной, не очень молодым, не очень умным, но веселым и приятнейшим. Сама Лиза, методичная, аккуратная, хозяйственная и заботливая, сразу создала себе ту жизнь, которая была ей нужна: очаг, семью, любящего мужа, удобную квартиру, полную уюта, салфеточек, недорогих картин и покойного быта. Она была вполне счастлива и вполне удовлетворена. При всей молодости — она была настоящей дамой, с дамской улыбкой, дамскими разговорами и дамским рукодельем. С особенным удовольствием она говорила: «Мой муж», «Мы с мужем», при всех ласкалась к нему и целовала его в лысину. Читала она только приложения к «Ниве» да иногда перечитывала своего любимого Тургенева, «Вешние воды» и «Первую любовь», над которыми неизменно плакала. Не только сама приготавливала кофе, но целый час перед обедом не выходила из кухни, помогая кухарке и оживленно с ней беседуя. Белье прачке она сдавала, отмечая его цифрами на готовом печатном блокноте, а себе оставляя копию. Неизвестно, как и когда она успела усвоить все познания хорошей хозяйки, начиная с десяти различных подливок к двадцати различным блюдам и кончая средством излечивать насморк, когда он еще не успел перейти из периода чиханья в период потопы.

Такую жизнь называют — и тогда называли — мещанской. У таких людей любят бывать, в особенности обедать, но их не принято уважать. Они очень удобны и очень милы, они лучше всех умеют сочувствовать и помогать в горе, они помнят свои и чужие именины и рождения, знают имена и отчества своих знакомых, дают прекрасные практические советы. Они никому не приносят вреда, а сами счастливы и всех хотят видеть счастливыми. Поэтому над ними смеются и их любовно презирают. Если в их личной жизни случается несчастье, разрушающее благость и безмятежность их бытия, им помогать не принято, потому что всем на свете не поможешь, а эти, такие типичные мещане, общественной помощи как-то даже и не заслуживают: есть много достойнейших, о которых стоит позаботиться раньше. Больше, что можно сделать, это — купить у них недорого их пухлые, удобные и вместительные комоды, их запасы добротнейшего столового белья, отличные ковры на всю ком-

нату, огромный диван-самосон, каминные часы под стеклянным колпаком, пожалуй, даже полное собрание сочинений Тургенева, опрятное, в прекрасном переплете, лишь со следом двух слезок на страницах «Вешних вод».

Так как я был очень беден, то время от времени, достаточно наголодавшись, переселялся на месяц — на два к одной из сестер, чередуя свои налеты. У обеих были для меня комнаты, и обе были мне рады. В начале своей московской студенческой жизни я чаще жила у Лизы, так как мне было ближе: Катя жила на окраине. Когда я привозил на извозчике свое имущество — чемодан, связку книг и керосиновую лампу, — Лиза встречала меня словами:

— А, Костя! Ну вот и хорошо. По крайней мере, отъешься: ты такой худой.

Затем она немедленно готовила мне яичницу с ветчиной («Пока, до обеда, подкрепись!») и сама устраивала мне постель. На наволочках были вышиты гладью ее буквы — по девической фамилии, — хотя я знал, что приданного мама ей не заготовила: Лиза вышла замуж внезапно и не из дому. Очевидно, все это было сделано самой Лизой после, но по правилам хорошего быта.

Затем начиналась «жизнь». По утрам я аккуратно просыпал час лекций, но успевал встать ко «второму кофею», с булочками, яйцами всмятку, сыром и вареньем. Потом был завтрак, за которым мы с Лизиным мужем выпивали по две рюмки водки, а вечером нас ждал сытный и обильный обед (по-московски — ужин), после которого очень хотелось спать.

Подкладывая мне куски побольше и пожирнее, Лиза говорила:

— Ты опять, Костя, ешь без хлеба! Так ты никогда не поправишься.

Но я не только поправлялся, но и полнел. Кроме того, я чувствовал, что долго такой жизни мне не выдержать, что у меня, как у Лизиного мужа, вылезут волосы и отрасли брюшко. Подобно Счастливецеву из «Леса», я порою, переваривая пищу или дремля раньше времени, ловил себя на неотступной мысли: «А не повеситься ли?»

Слишком уж хороша и покойна была жизнь в доме Лизы, слишком далека от событий, волнений и тревог, которых молодость не боится и не избегает.

К концу месяца на меня нападали такой страх и такая тоска, что за первую скудную получку денег из

дому я опять снимал себе комнату в Гиршах или Палашах, даже не осмотрев внимательно щели в стенах и углы в тюфяке моего предшественника: все равно комнаты без клопов за десять рублей не найти. Затем я связывал ремнем и веревками свои книги, забирал подушку и лампу, прощался с сестрой и переезжал. Все мое белье оказывалось, конечно, перештопанным золотыми и неумоимыми руками Лизы; иногда оказывалось и что-нибудь лишнее, не предусмотренное моим студенческим хозяйством: полотенце, полдюжины новых платков, и все, конечно, с моей меткой, чтобы и сомненья не было, и у прачки не терялось.

Провожая меня, Лиза говорила:

— Приходи к нам по воскресеньям, Костя. А как захочется — приезжай опять пожить. Очень я боюсь твоих студенческих столовых! А тебе перед экзаменами так важно будет поправиться.

Сама Лиза располнела, и довольно неумеренно. Когда ей об этом говорили, она солидно замечала:

— Ну что же; моему мужу это нравится.

Жизнь ее была омрачена лишь одним — у нее не было ребенка. А именно ей, рожденной матери и хозяйке, это было нужнее всего. Пока ребенком был для нее лысенький и добродушный муж.

Ближе к весенним месяцам я предпочитал переселяться ненадолго к старшей сестре, Кате, которая жила в Сокольниках в двухэтажном особняке мужа, рядом с его фабрикой.

Ее жизнь сложилась совсем иначе.

ХОЛОДНЫЙ ДОМ

Лиза жила в довольстве — Катя жила в богатстве. Довольство Лизы проникало всю ее жизнь и щедро изливалось на всякого, даже случайно зашедшего. Богатство Кати было каким-то холодным, ненужным, не устроившим ни ее, ни ее семью. В доме ее мужа было много ненужных комнат и стояла лишняя мебель, не делавшая уюта. Чувствовалась творческая мысль декоратора, к которой был равнодушен хозяин. Был большой зал для приемов — но приемов не было; в столовой был длинный стол, за которым обедало двое. Прекрасный рояль был покрыт чехлом, а папки с нотами заперты в стеклянном

шкапу. Совсем не было комнатных растений — а у Лизы был заполнен ими каждый освещенный уголок. Не было в доме ни кошки, ни собаки, но по ночам скреблись мыши.

Дом стоял на окраине, рядом с большим фабричным зданием, где стучал мотор. Двор был общий с фабрикой, и хорош был только сад, большой, тенистый, совсем запущенный, заросший смородиной и малиной.

В верхнем этаже дома были комнаты Кати, одна из которых отводилась мне, кабинет ее мужа, огромный, включавший его охотничью и техническую библиотеку и его спальню, рядом маленькая комнатка, служившая ему лабораторией. Там же были две детские; в одной хозяйничал Володя, мой племянник, серьезный и очень вежливый девятилетний мальчик, в другой — няня с пятилетней Лелей, очаровательной девочкой.

Няня была непростая и очень любила, чтобы ее называли не няней, а бонной. Она была грамотна и перешла к сестре из богатого титулованного дома. Обедала она вместе с детьми наверху и имела собственное серебряное кольцо для салфетки. Она немного презирала Катю и преклонялась перед инженером. Меня, бедного родственника, няня старалась не замечать. Носила она темно-синее старомодное платье с брошью и черную кружевную наклку.

За эти годы Катя выросла и из девочки стала очень видной и очень красивой женщиной. Ее считали франтихой, хотя она уверяла меня, что на свои костюмы тратит гроши. Одевалась она действительно прекрасно, хотя ярко и несколько вызывающе. У нее была простенькая портниха, которая шила и переделывала ее костюмы под ее руководством. У Кати было много вкуса, и она ухитрялась одним небрежно брошенным куском материи, бантом или цветным шарфом делать из простого и дешевого платья богатый наряд. Она была из тех немногих женщин, которые, следя за модой, никогда рабски ей не следуют и предпочитают законодательствовать сами. Катя сама умела кроить, шить, переделывать, чинить, штопать. На свои наряды она тратила только остатки денег, которые инженер давал ей на хозяйство. Я знал, что иногда она нуждается и очень экономит.

Когда я приехал в Москву и в первый раз навестил Катю, она встретила меня ласково и радостно:

— Костя, ты стал большой! И так хорошо, что ты — студент. Я тебя очень ждала. Расскажи, что у нас дома? Как мама?

— Мама старенькая, но ничего. Нянька умерла, ты знаешь. Все еще стряпает Саватьевна, но теперь мама хочет ее отпустить и переехать в маленькую квартиру, в две комнаты. Она теперь одна.

— Мне хотелось выписать маму сюда, но потом я подумала: там ей лучше, привычнее, там у нее знакомые, а здесь ей будет тяжело. А как ты находишь Лизу с ее мужем?

— У них хорошо, только как-то смешно.

— Да. Но Лиза счастлива и довольна. Только бы ей ребенка! Она влюблена в мужа, а он в нее. И у них множество салфеточек.

— А ты, Катя, как живешь?

Она ответила уклончиво:

— А вот видишь как... У нас большой дом. Ты еще не видал своей племянницы; да, в сущности, ты и Володи почти не видал, только грудным.

— А Евгений Карлович?

— Он на фабрике. Мы завтракаем в четверть второго.

— Что ты делаешь, Катя?

— Я? Да ничего. Вот — хозяйство; хотя оно отнимает у меня лишь полчаса времени. С детьми немного занимаюсь; у них есть няня, но совсем не такая, как была у нас. Иногда бываю на концертах.

— А сама играешь?

— Нет, как-то забросила. Рояль есть, очень хороший.

Катя отвечала неохотно — зато расспрашивала меня обо всем очень подробно: и о маме, и о нашей старой квартире, и о моей гимназии, и о предстоящем студенчестве, о том, что я думаю, что читаю, как хочу устроить свою жизнь.

— А правда, Костя, что ты пишешь рассказы и один уже напечатал? Какой? Где? Ты серьезно хочешь стать писателем? Вот бы хорошо!

Я действительно послал чудовищный по наивности рассказ в маленький журнал, и там его напечатали. Об этом мама не без гордости сообщила Кате.

— Знаешь, Костя, если ты станешь настоящим писателем, я тогда тоже что-нибудь придумаю. Может быть, опять примусь за музыку. Вдвоем это легче. Ты хочешь?

— Да, Катя, я очень хотел бы.

— А то, знаешь, я живу так ненужно и так... Вот только дети. А мне хотелось бы...

Катя встала и, как бывало, прошла на цыпочках, заложив по-мужски руки за спину.

— Ты, Катя, сейчас совсем как прежняя, как гимназистка.

— Что? Ну, нет, где же... Но я так рада, так рада, что ты приехал. Ты Костя, даже понять не можешь, как я рада.

— Помнишь, Катя, как тебя сажали со мной в чулан?

— Я-то помню хорошо. Костя, ты непременно приезжай ко мне часто, а то поживи у меня. Наверху у меня свои комнаты, я тебя устрою. Вот только далеко тебе ездить на лекции. Знаешь, вот если бы я тоже могла переехать в город и где-нибудь поселиться в комнатке, по-студенчески. Я часто мечтаю, конечно, это — пустяки. Я тебе буду очень завидовать.

— Ну, у тебя тут лучше.

— Тут? Да... Тут ведь дети.

И опять она стала говорить обо мне и моих планах.

И прежняя Катя — и совсем новая. Я был слишком молод, чтобы понять сразу, почему Катя прежняя прячется за новую и почему Катя новая так неохотно говорит о себе.

Мы решили все-таки, что я буду приезжать каждую неделю на субботу и воскресенье. Мы можем вместе гулять в Сокольниках. И вообще нам нужно ближе познакомиться — так давно не видались.

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ

Спустя ровно десять минут после фабричного гудка в одну дверь столовой входил инженер, а в другую вносили очень невкусный суп. Ах, какие супы подавались у Лизы!

Инженер входил быстрым и бодрым шагом, целовал Катю в затылок, подавал мне руку и спрашивал:

— Ну как, Костя, идет учење? Не собираетесь бунтовать?

Затем он наливал себе и мне по маленькой рюмке, съел две ложки супа и вскрывал столовым ножом принесенные письма. За вторым блюдом он очень бегло просматривал газеты, за третьим пристально читал охотничий журнал, в котором сотрудничал. Я никогда не мог понять, как может охотник не иметь в доме собаки.

Разговоров за столом не было. Катя вяло ела, я как-то не решался налить себе еще рюмку, и было слышно тиканье стенных часов.

Дети всегда обедали наверху с няней. Вообще мы их редко видели. При отце они были смирны, молчаливы и выслушивали его краткие замечания с лицом подданных. Все, что говорил детям инженер, было отчетливо, умно и полезно. Вероятно, тем же тоном он разговаривал на фабрике со служащими и старшими рабочими.

После сладкого инженер быстро вставал и, как бы что-то вспомнив, деловито собирал письма и газеты и уходил к себе. Собственно, обеденным часом и ограничивались наши встречи, так как вечером он никогда дома не ужинал.

Когда замирал звук его шагов, мы с Катей вставали из-за стола и, обнявшись, бродили по комнатам, которые сразу делались теплее и приветливее. Мы никогда не говорили об инженере и вообще о семейной жизни Кати: она не начинала разговора, а я чувствовал, что он был бы неловким и неуместным. Катя предоставляла мне присмотреться и с течением времени понять. Что мог я понять? Что Катя несчастлива? Да, я это чувствовал.

Если бы я был страше Кати, я, думается, внес бы в ее жизнь что-нибудь положительное, помог бы ей разобраться в том, что от меня, мальчика, она скрывала. Но, много моложе ее, я не мог быть для нее авторитетом или хотя бы советчиком. Я мог только помочь ей забыться, обратиться в такого же легкомысленного и немного беспутного младенца, каким был сам.

После первой встречи, когда было все, что можно, вспомнено и переговорено, мы отдались взаимной дружбе, не извлекая из нее никакой взаимной пользы. Мы, что называется, коротали время, которого у обоих был избыток.

Обычно по вечерам инженер уезжал в город: щелкал ключ в двери кабинета, стучали шаги по лестнице, и спокойный, слегка деланный голос произносил в передней: — Скажите барыне, что я буду ужинать в городе.

Прислуга не докладывала, а просто накрывала стол на два прибора. Дети ужинали раньше, и сестра, проверив уроки сына и уложив девочку, надевала свой капотик и спускалась в столовую; после девяти часов не приходилось ждать на городской окраине случайных гостей, да и вообще они были большой редкостью в доме.

Ели мы весело, возбужденно и торопливо болтая вздор.

Закусив, сейчас же уходили в гостиную и усаживались за маленький столик. И тогда начиналось то, что нельзя не назвать бессмыслицей, но что для нас было «ниспровержением существующего строя». Здравому смыслу, размеренному укладу жизни мы наносили удар, от которого страдали только мы же. В этом прежде всего и выражался бунт сестры и мое в нем соучастие.

Оба мы были азартны до самозабвения, типичные и беспардонные игроки. Мы играли в скучнейшую из игр — шестьдесят шесть, но играли так, как нормальные люди не играют. Сдавая карты, беря взятки, мы произносили бессмысленные слова на каком-то собственном сумбурном жаргоне, угрожали друг другу, давали клятвы, лихорадочно ждали полосы счастья. Играли всегда на деньги, которых у меня не было и которые сестре не были нужны; и все же волновались при проигрышах и радовались, выиграв рубль. Играли мы настолько ровно и так часто, что почти не приходилось расплачиваться, да и не это нас занимало. Мы записывали результаты, чтобы продолжать игру на другой день.

Часу в первом ночи возвращался инженер и, не взглянув к нам, уходил к себе. На момент его возвращения мы остывали и сидели смущенно; когда же наверху хлопала дверь кабинета, игра разгоралась.

Мы играли ночи напролет. Отлично понимали, что это — безумие, но в том и был соблазн. Если бы не были братом и сестрой, мы были бы, вероятно, страстными любовниками. Теперь мы только отрицали мир и уходили в свой собственный, искусственно заполненный нелепостью и азартом. Мы вполне заслуживали в эти часы глубокое презрение инженера и няньки. Растрепанные и бледные от волнения, мы быстрым механическим движением сдавали и разбирали карты, неустанно произнося условную чепуху. Часы мелькали, но нам не было до них дела.

Иногда ночью просыпался голод, знакомый всем картежникам, и тогда сестра тихо проникала в кухню, отыскивала остатки ужина, и мы спешно ели, не переставая играть и жалея о затраченных на малый перерыв минутах. Я пил пиво, и помню, как пролитые на пол капли привлекали маленькое стадо черных тараканов, которых никак не могли вывести в старом особняке. Тараканы шевелили усами и с изумлением смотрели на нас, — но нам некогда было ими заниматься. Мы сдавали, ходили, отмечали, бормотали слова и не замечали времени.

Случалось, что в доме начинали просыпаться, а мы все еще не могли бросить игры. Первой вставала няня и шлепала туфлями мимо нашей притворенной двери; тогда наша бессвязная речь переходила в шепот. Но прислуга уже привыкла к нашему ночному беспутству; мы боялись только, чтобы нас не застали дети, особенно Володя, рано уезжавший в гимназию. Заслышав шаги наверху, мы быстро собирали карты и — если было лето — через балконную дверь убегали в сад, в запущенную его часть, где был круглый зеленый столик и скамейка. Там еще недолго продолжалась игра, — недолго, потому что мог зайти сюда кто-нибудь из рабочих фабрики. И притом свежий воздух нас трезвил, и тогда сказывалось крайнее ночное утомление. Нужно было только дождаться часа, когда через двор на фабрику проходил инженер; тогда, смущенно улыбаясь, с опухшими глазами, мы прокрадывались обратно в дом и расходились по своим комнатам.

Во сне нам мерещились карты в самых небывалых комбинациях. Вставали к обеду усталыми, вялыми, давая себе слово не проводить больше таких бессмысленных ночей, удерживать друг друга и быть серьезными.

После обеда я садился за курс лекций, сестра занималась шитьем, и мы мало разговаривали. К вечеру оживлялись, ужинали с аппетитом и садились сыграть «только час», самое большое «до двенадцати».

Но что стоит слово азартных игроков!

БЛАГОРАЗУМИЕ

— Давай обсудим!

Этой фразой начиналось иногда наше похмелье. Действительно, я был некрепок здоровьем, а сестра, которая была на семь лет меня старше, лучше меня понимала, что нужно создать себе в жизни настоящий интерес, что без этого можно пропасть незаметно и нечаянно.

Мы обсуждали. Я признавался, что юридические науки меня не увлекают, что настоящая моя дорога — литература. Сестра говорила, что время, свободное от домашних забот, она могла бы употребить с пользой и интересом, что ее влечет к жизни самостоятельной, хотя бы материально, что она чувствует в себе большие способности и силы. Возможно, что мы друг другу мешаем. Лучше будет, если я вернусь на Бронную в студенческую

среду, а она — ну, хоть поступит на архитектурные курсы, недавно открытые для женщин, или займется серьезно музыкой и пением, или, наконец, изучит какое-нибудь ремесло, потому что в жизни все может случиться...

И скоро разговор деловой и серьезный переходил в фантастику. Я совершал маленькое турне по Европе, запасался впечатлениями, знакомился с движением европейской мысли, слушал тех профессоров, которых хотел, и дышал временно воздухом свободы. Сестра делалась художницей, устраивала выставку своих картин под мужским, непременно мужским, псевдонимом, имела собственную студию, где и у меня была комната для занятий, выступала в концертах, строила дома. Мой первый роман, начатый в Европе и законченный в Москве, имел немалый успех. Сестра прославилась постройкой здания нового Большого театра, Биржи, Обсерватории, не считая нескольких образцовых домов с семейными квартирами, каждая из двух самостоятельных половин — мужа и жены — с отдельными входами. Я мог бы, конечно, и жениться, но не слишком рано. Мир мы завоевали бы вдвоем, идя рука об руку, помогая друг другу.

Иногда наши разговоры имели и последствия: в мудрое утро я собирал свои пожитки — все тот же чемодан, связку лекций и керосиновую лампу — и переселялся в один из переулков Бронной. Сестра провожала меня нежно и заботливо, поощряя к серьезной жизни и давая обещание, что и сама она с сегодняшнего дня начнет новую жизнь:

— Приезжай в субботу, останешься до понедельника, играть не будем, и ты меня не узнаешь.

Но она говорила это не без затаенной грусти и как будто без особой уверенности. Я, мальчик, сам себе принадлежавший, мог взять чемодан и пожитки и пуститься в плаванье по жизненным волнам; мне было нетрудно «начать новую жизнь», потому что у меня не было прошлой. За ее же молодыми плечами были уже годы брака и семья, а рядом, через комнату, готовил уроки маленький и очень серьезный первоклассник Володя, братишка хорошенькой девочки Лели.

В субботу, в обед, я заставал сестру тщательно одетой, деловитой, за разборкой нот или за трудными упражнениями. Немного краснея от удовольствия, она рассказывала мне свою неделю:

— Угадай, где я была?

— Все равно не угадаю, уж лучше говори.
— В консерватории.
— На концерте?
— Нет; я держала экзамен. То есть вернее — я советовалась с профессором по классу пения, он пробовал мой голос.

— Ну?

— Ну, и очень успешно. Он даже сказал, что для меня достаточно двух-трех лет и что я могу попасть в оперу. Но что работать над голосом нужно без перерыва, по-настоящему.

— Катя, ведь это очень хорошо!

— Да. Я, кажется, решусь. Не для того чтобы стать артисткой, а так, для жизни. Мне еще нужно одновременно пройти класс рояля.

— Это чудесно, Катя! Тогда и я буду работать изо всех сил: и университет, и мои писания.

— А ты пишешь?

— Пробую, но все это не то. Да и лекции мешают.

— А мне мешает дом. Не знаю, как быть с детьми. Хозяйство — пустяки, а с детьми нужно бывать больше. Они и без того точно сироты.

Вечером, если не было гостей, мы садились за столик поиграть немножко. В воскресенье вставали очень поздно, потому что ночь прошла в нашем нелепом азарте.

— Ну, же беда! Ведь это только раз в неделю. Сегодня выспимся — и с понедельника опять будем благодатными.

Неделей позже я застал сестру за шитьем каких-то рубашек, рубашечек, чепчиков. Вся ее комната заваливалась свертками дешевой материи, выкройками, обрезками.

— Что это ты шьешь?

— Представь себе, Костя, я отлично научилась быстро шить детские платья и рубашечки. Портниха говорила, что она не могла бы работать так быстро.

— А для чего это?

— Так себе, неорганизованная благотворительность. Я случайно попала в один дом, где такая беднота, что и представить себе не можешь. Дети совсем голые, а родители я даже не знаю чем занимаются. Я пробовала давать им денег, но потом зашла — у них все по-прежнему, дети и голые и голодные. И я решила шить сама.

— Купила бы просто и отдала им.

— Это выходит очень дорого, а я не могу просить

у мужа. А если шить самой — гораздо дешевле. И материя у меня была. И вот я всю эту неделю шью, даже никуда не выходила.

— А музыка?

— Какая музыка?

— Твои планы.

— Ах... ну, пока я их оставила. Все равно я не буду артисткой, а так я и сейчас могу тебе что-нибудь спеть. Я, кстати, устала шить, да и нашла сегодня много.

Сестра пела, а я думал: «Что бы сделала другая на ее месте с таким чудесным голосом и такой музыкальностью!»

Иногда я говорил это сестре, а она, смеясь, отвечала:

— Но ведь я — не другая, а эта самая, значит, и думать не стоит.

Я возмущался:

— Странное оправдание! Из-за каких-то рубашечек бросать то, что могло бы быть целью жизни. Я не ожидал, что ты станешь благотворительной дамой.

А она отвечала, называя меня тем нежным именем, каким звала в детстве:

— Ах, Котик милый, ты ужасно многого не понимаешь. Сегодня я — артистка, завтра — швея или благотворительная дама, потом еще что-нибудь... А в общем я — ничто. И ничем я, Костя, не буду. Мне только нужно спастись хоть ненадолго, ну — помечтать, обмануть себя, иначе мне жить, Костя, очень, очень трудно.

— Катя, ну почему? Ты вот так говоришь, а может быть, только преувеличиваешь или выдумываешь себе всякие трудности. Ты сама рассказывала про людей голодных, и дети у них голые. Вот им трудно! А у тебя все есть, можешь делать что хочешь. Нехорошо так говорить.

Помолчав, она отвечала:

— У меня есть все, что мне не нужно, а того, что мне нужно, у меня нет, Костя. Но только этого не объяснишь. А впрочем, может быть, ты отчасти и прав. Хочешь, я еще сплю тебе что-нибудь? Или, знаешь, лучше пойдём в сад, я давно не была; у меня сегодня тяжелая голова, это от моего глупого шитья.

Я не любил таких разговоров с Катей, потому что после них мы долго не возвращались к нашим мечтам о «новой жизни». Я понимал, что упрекать сестру я не имею права, как не имею права не верить ее словам и как

не имею права требовать от нее подробной исповеди. Катя говорит, что ей трудно жить: если Катя говорит это, значит, так и есть. Если не объясняет, значит, нельзя или не нужно.

Это была моя сестра, мой товарищ и спутник маленьких безумств и большого фантазерства. Но я как-то не догадывался тогда о том, что моя сестра — совсем еще молодая женщина с неудачно сложившейся жизнью, что у нее могут быть свои, женские, желания, мне неизвестные, что сказать о них она не может никому и менее всего — такому мальчику, брату, хоть и другу.

У нее не было семьи — лишь тень семьи; но у нее не было и любви — лишь в прошлом тень любви, рано обманутой и быстро прошедшей. Этого я долго не знал и не понимал.

ЕЕ ДЕНЬ

Поздно утром она просыпается — и вот перед нею длинный день, заполнить который нечем.

Она долго лежит, уткнув локоть в мягкие подушки и положив на ладонь красивую голову.

За окном солнечно, с фабрики доносится ровный стук мотора. На ночном столике часы в виде домика с раскрытыми створками, ее девические часы, подарок матери, те самые, на которых слишком быстро бежали стрелки, когда нужно было собираться в гимназию. Теперь их стрелки идут неслышно и неспешно.

Она встает и час проводит в ванной. Это — единственное настоящее удовольствие. Она играет водой, смотрит, как голубеет рука, погружаясь в воду, и как тело кажется коротеньким и смешным. Один кран немного испорчен, и из него в спокойную воду ванны плюхают капельки. Она мало думает о том, что она красива, потому что ведь красота ее никому не нужна. Если бы можно было невзрачной и неуклюжей стриженной девушкой, бегать по Кисловкам и Никитской на лекции, есть на ходу бутерброд и протирать дешевое пальто у пояса корешками вечных книжек. Вот только с ванной расстаться было бы жалко.

Она вытирается мохнатой простыней и стыдится смотреть на себя в зеркало. Затем она надевает старый капотик, которому давно бы пора отойти на покой; но с ним она в тесной дружбе. На звонок ей приносят кофе

с булочками и два яйца всмятку. Яйца сварены с утра и остыли; кофе ей, хозяйке, приносят всегда жидкий, теплый и как бы спитой. Она могла бы сделать выговор прислуге, отказать ей от места, вообще вдруг рассердиться и доказать всем, что она действительно хозяйка в доме. Раза два так и было: она кричала и швыряла на поднос чайную ложечку. Пугалась не только прислуга, но и важная и почтенная няня в наколке и с брошью. После этого долго подавали кофе свежим и горячим, а ей было стыдно и противно.

Она спускается вниз и открывает рояль. В белых и черных клавишах столько важности и холодности, а зал так велик, что было бы невозможным играть пустяк, подбирать мотивчики или прислушиваться к аккордам. Она берет ноты и, играя, чувствует, что ее техника слаба и что нужно играть ежедневно часа по два упражнения. Ей хотелось бы и петь — но так странно петь в пустом доме, утром, когда прислуга еще занята уборкой, в кухне готовят завтрак и когда петь не для кого.

«Может быть, сегодня придет Костя; спою ему «Ночь Чайковского»».

Вероятно, к вечеру придет также Виктор Германович, единственный из родственников мужа, часто бывающий в их доме. Виктор Германович тоже инженер, но с малой практикой, хотя с большим самомнением. Он почти ровесник ее мужа, лет сорока пяти, маленького роста, пухлый, бритый, с бесцветными, круглыми, ласкающими и нечистыми глазами. Он удобен тем, что может играть в винт бесконечное число роберов. За обедом, за картами, наедине, при всех — он смотрит на Катю пристально, немного выставив нижнюю губу и как бы говоря:

— Дитя, я все знаю, все понимаю. Ты несчастлива, тебя не ценят. Есть человек, который мог бы сделать тебя счастливой, и этот человек готов ждать.

Она чувствует к нему физическое отвращение — к его ползающим по ее лицу и шее глазам, к его нижней губе, к его жирку, изысканной вежливости, ровному голосу и даже родству с ее мужем. Он очень образован, силен в парадоксах и презирает молодежь. Костя постоянно вступает с ним в спор, волнуется, говорит дерзости, на что Виктор Германович отвечает основательно, спокойно, с уничтожающим бесстрашием. Обычно он бывает прав, — но Катя всегда на стороне Кости, говорящего глупости в самой резкой форме.

После ужина, за картами, наступает примирение; играют с «прикупкой», «пересыпкой» и «гвоздем» и, если находится четвертый беспутный партнер,— не боятся ночных часов. Беспутным четвертым бывает обычно кто-нибудь из Костиных студентов, которого оставляют ночевать.

Рояль закрыт. Она бродит по комнатам, заглядывает на минуту в кухню по делам несложного хозяйства, не присаживаясь пробегает газету. Инженер выписывает для себя «Новое время», а для нее, вернее — для гостиниой, уличные «Новости дня»; Костя, живя у них, покупает себе, конечно, «Русские ведомости». Все три газеты ей одинаково неинтересны, и читает она только хронику театра и концертов.

Вдруг она слышит лай за окном, выходящим во двор. Это дворовая собака лает на котенка.

Она подбегает к окну, распахивает его и радостно смотрит на собаку и серого котенка с выгнутой спиной. Собаку зовут Полканом. Полкан заливается, положив передние ноги на землю, в позе нападения. Котенок грозно шипит, но совсем не боится; в сущности, они — приятели, и это — их обычная игра. Полкан не укусит, но может случиться, что котенок оцарапает Полкану нос.

И вот она вспоминает, что у нее есть маленькая дочь, Лялька, здоровая, вся беленькая и очень добрая. Она взбегает по лестнице наверх, шумно открывает дверь в детскую и натякается на лицемерно-приветливую улыбку старой няни в черной наколке и с большой брошью. Лялька сидит на полу и играет в кубики. Она улыбается матери, но не тянется к ней. Ляльке пять лет, но она недостаточно хорошо говорит, любит выдумывать свои слова и неохотно заучивает буквы. Мать берет ее на руки и уносит вниз:

— Лялечка, мы идем смотреть на котенка и на Полкана. Полкан хочет обидеть котенка!

Они выходят через кухню на двор, но котенка уже нет, а Полкан сидит у крыльца и выкусывает блох в своем лохматом наряде. Лялька видимо разочарована и упрямо смотрит на дверь: ей хочется обратно к няне играть в кубики. Ей нравится мама, но она к ней мало привыкла. Из верхнего окна, вытянув шею, смотрит на них, освещенных солнцем, строгая женщина в наколке, не одобряющая легкомыслия и слишком порывистых движений.

Хотелось бы пройти с девочкой в сад, но раздастся

фабричный гудок,— нужно переодеться к завтраку. С девочкой на руках она подымается обратно в комнату и чувствует, что Лялька становится все тяжелее. Няня с тою же улыбкой спрашивает девочку:

— Хорошо ли Лелечка с мамашей погуляла?

За завтраком Евгений Карлович, по обыкновению, проглядывает почту, и они почти не разговаривают. Вражды нет, но есть давнее равнодушие. Он передает ей поклон от знакомых, которых она не помнит. Она просит его прислать рабочего починить кран в ванной. Еще говорят о том, что Володя очень устает ездить в гимназию; жаль, что нет гимназии ближе. Но, конечно, хорошо, что мальчик в девять лет приучается к самостоятельности; это говорит муж, а она не возражает; впрочем, она согласна.

Уходя, он целует ее в затылок,— а она катает на столе хлебный катышек. Ей двадцать семь лет, но ее жизнь как будто уже прошла. Впереди полдня, сумерки, вечер, Костя, Виктор Германович и винт с «прикупкой», «пересыпкой» и «гвоздем».

ЛЕЛЕЧКА НЕ ХОЧЕТ КАШКИ

Лелечка решительно не хочет манной каши. Она смотрит на няню испуганными глазами и готова заплакать.

— Ешь!

— Я не хочу каши.

— А я говорю: будешь есть.

— Я не хочу каши.

Няня зачерпывает с тарелки ложку и, придерживая девочку за плечи, старается впихнуть в рот. Щеки Лелечки перемазаны, и она плачет.

Лелечка никогда не плачет громко, потому что «папа услышит». Если папа услышит, он придет в детскую и спросит:

— В чем дело, няня?

— Да вот, Лелечка не слушается.

— Лелечка, почему ты не слушаешься няни? Сейчас же перестань плакать и вперед слушайся!

И тут уж ничего поделать нельзя; можно только молча глотать слезы.

Сейчас папы дома нет, и Лелечка плачет несколько громче обычного. Шаги доносятся из маминых комнат:

— Лялька, что с тобой?

Отец и нянька называют ее Лелечкой; мама называет Лялей или Лялькой. Из-за одной буквы происходит упорная и молчаливая борьба. Девочка не знает, да вряд ли и думает, какая буква правильнее; но ей уже известно, что Лялей и Лялькой быть выгоднее, что эта кличка открывает больше простора ее личным правам.

— О чем ты расплакалась, Лялька?

Няня докладывает с горделивым смирением, как бы временно уступая власть этой даме, ничего не понимающей в воспитании детей:

— Да вот, не хочет есть кашку.

— Ты не хочешь, Лялечка?

Всхлипывая, девочка мотает головой.

— Она не хочет, няня; зачем же заставлять ее есть насильно?

— Я не заставляю, а кушать нужно.

— Как же не заставляете, она вся перемазана и плачет. Вытрись салфеткой, Лялечка, и не плачь.

— Сейчас не ест, а потом запросит; что же это за порядок!

— Когда захочет, тогда ей и дадите, няня.

— Евгений Карлович сказали, чтобы давать кушать в половине одиннадцатого.

Няня никогда не говорит «барин» и «барыня»; инженера она называет по имени-отчеству, жену его старается не называть никак.

— В половине одиннадцатого и кормите. Но если она не хочет — не заставляйте, поест потом.

Губы няньки презрительно поджимаются. Она настолько хорошо вышколена, что может выслушивать любой вздор. Она готова предоставить матери портить родную дочь, но не желает нести ответственности за материнское безумие:

— Евгений Карлович наказывали мне...

У Кати вздрагивает подбородок:

— Да, няня, я уже слышала. Будьте добры покормить Лялечку, если ей захочется. И никогда не заставляйте ребенка есть насильно.

Ей хотелось бы приласкать плачущую девочку, но она этого не делает, чтобы не подрывать окончательно авторитет няньки.

Лялечка смотрит исподлобья, но с большим любопытством. Она понимает, что между мамой и няней нет согласия; она знает также, что теперь можно не есть каши.

Но она не уверена, что мама победила няню и что у мамы над ней, Лялькой, больше власти. Вот сейчас мама уйдет, а няня останется, и хотя уже не будет совать ей в рот противную ложку, но что-нибудь такое ей докажет. Как временная защита мама великолепна, но прочного и постоянного доверия, пожалуй, и не заслуживает. Во всяком случае, высшая власть — не она.

Мать уходит к себе. Она читала, теперь читать больше не может. В ее голове беспокойные и недобрые мысли.

Кушать нужно в половине одиннадцатого — хотя бы было противно, хотя бы даже было вредно. Нужно ложиться спать, нужно вставать, нужно жить вместе, нужно притворяться, нужно поддерживать видимость семейной жизни, нужно лгать, нужно улыбаться, нужно убивать свою молодость, все нужно, нужно, нужно. И это нужно, чтобы не огорчить старой матери, которая считает ее счастливой и устроенной в жизни, чтобы не потерять детей, уже полуотнятых, чтобы не сделать их нищими, чтобы не опозорить себя скандалом, не оказаться в ложном и невыносимом положении — как будто теперь ее положение выносимо и не ложно. Чтобы ни случилось, виноватой может быть только она, а он — никогда.

На стороне у него своя жизнь, но в семье он безупречен. При посторонних он даже любезен, почти нежен, во всяком случае почтительно вежлив, отличный и заботливый отец, не ей чета, прекрасный супруг, снисходительный к недостаткам жены.

Пять лет тому назад, вскоре после рождения Ляльки, между ними был заключен договор о взаимной свободе. Тогда он был жалок и противен, стоял перед ней на коленях, он, такой важный и непогрешимый и такой взрослый в сравнении с нею, совсем еще девочкой, хотя и матерью двоих его детей. Тогда она хотела уйти от него, и не из ревности, — любовь ушла раньше, — а из отвращения. Она не удержалась от фразы, которую где-то вычитала:

— Муж, опустившийся до горничной, приглашает жену отдаться лакею.

И, кажется, эта фраза подействовала на него сильнее, чем ее искренний ужас. Он не знал, что она так умна.

И все-таки он оказался, — могло ли быть иначе? — и умнее и опытнее. Он прекрасно знал, что «взаимная свобода» ничем ему не угрожает и что никогда она, живя в его доме, не позволит себе воспользоваться своим при-

зрачным правом свободы, не потому, что побоятся, а просто потому, что она не такова.

Выждав время, он хотел вернуть себе если не любовь жены, то хотя бы ее покорность тому, что он называл долгом. Но эта попытка окончилась полным его поражением и едва не вызвала окончательного разрыва. Она унизила его настолько, что сама вызвала с фабрики слесаря и велела сделать к своей двери внутренний замок.

С тех пор инженер ужинал дома только тогда, когда у них были его или общие гости. Своей долей оговоренной «свободы» он пользовался, не особенно скрываясь. Семья осталась целой и дом их — почтенным и уважаемым; холодным домом он был и прежде, так как редко им нравились одни и те же люди, книги, мысли, обстановка, развлечения и поступки. Она не брала у него денег — только на хозяйство и на нужды детей, свои собственные нужды удовлетворяя экономией.

В сущности, всю эту историю Катя вспоминала теперь как некую житейскую мелочь. Дело было не в каком-то его поступке, пусть очень противном и исключительно некрасивом, а в том, что внезапно человек раскрылся. И столь же внезапно оказалось, что он всегда был грязным и маленьким, только чисто мылся и ходил на высоких каблуках. И стали понятными иные слова его и жесты, которые раньше казались шуткой и напрасной остротой. И стала противной и невозможной близость с ним, потому что без огромной любви и совместного смущения такая близость ужасна и нестерпима. И еще большее оказалось: что и вообще такой нужной любви не было, а было только невольное, не допускавшее критики уважение девочки к очень взрослому и сильному человеку, первому и единственному в ее жизни, завоевателю, отцу ее ребенка. И теперь она с брезгливостью не только отгоняла от себя память об его прикосновениях, но и к детям, его детям, не могла найти в себе прежней теплой и страстной материнской тяги. Она поняла слишком многое и, поняв, осиротела.

.....

Нужно есть, нужно гулять и нужно что-то придумать, чтобы забыться и чтобы жизнь стала выносимой. А придумать нечего. Неужели такая же жизнь предстоит и Ляльке, ее маленькой дочери, и неужели и она дождетесь дня, когда придет хозяин и купит ее тело и ее волю?

Лелечка не хочет каши! Лелечка плачет.

МИНЬОН

Иногда мы с сестрой «выезжали в свет»; это значит, что из сокольничьей дали мы отправлялись на выставку, на концерт, в театр, реже на один из студенческих балов, в то время отличавшихся пышностью, многолюдием и молодым весельем.

Я очень любил бывать с сестрой на людях, — я ею гордился. Белобрысый, худой, некрасивый и неказистый студентик, я привык, что меня в обществе не замечали; но рядом с сестрой, как ее кавалер, я сразу вырастал и делался предметом зависти. При всей молодости и моложавости в Кате женщина преобладала над девочкой. Где бы мы ни появлялись — она привлекала общее внимание. Мне кажется, что я помогал ей в этом, оттеняя невзрачностью своей фигуры ее редкую красоту и исключительную миловидность. Признать нас за брата и сестру было трудно. Мы всюду появлялись под руку, причем я надевал на лицо маску усталости и равнодушия и иронически кривил губы навстречу любопытным взглядам.

Вероятно, это выходило у меня достаточно глупо и вряд ли кого-нибудь поражало. Напротив, Катя, с ее страстной жадной жизни и непривычкой быть в большом обществе, осматривалась кругом с нескрываемым интересом и не замечала, что она сама — всех лучше и интереснее. Только иногда ее смущали пристальные и пытливые взоры, особенно мужские, и она, как бы догадываясь, краснела и спешила поскорее смешаться с толпой.

Застенчивой Катя не была. Там, где она чувствовала себя сильной и уверенной, она выступала смело, как на сцене. Одним из любимых номеров наших «выступлений» были танцы, и, я думаю, редко можно было видеть такую странную пару.

В то время не танцевали потной, трясущейся толпой, как сейчас танцуют фокстроты и танго. Модными танцами были па-де-катр, па-де-патинер, миньон — танцы трудные и степенные, в которых выступало не много пар. Мы с Катей специализировались на миньон, танцуя его с такой преувеличенной фигурностью, часто собственного изобретения, что постепенно все внимание сосредоточивалось на нас. Я и тут был для Кати рамкой — как для бриллианта изумительной воды, вставленного в грубоватую и топорную оправу. Взоры публики на минуту задерживались на мне, чтобы восхищенно замереть на Кате. Она танцева-

ла с такой уверенностью и с такой пластической скромностью движений, что подчеркнутая фигурность танца делалась убедительной. Нам нередко случалось оставаться единственной танцующей парой в большом зале. Я дрожал от волнения и ужаса, путая фигуры, но Катя ничего не замечала и улыбалась мне ободряюще. Иногда нам, вернее — ей, аплодировал весь зал, — и только тогда она, вспыхнув, увлекала меня к выходу.

Никогда и ни с кем, кроме меня, Катя миньон не танцевала, и вообще мы редко оставались дольше полуночи на балах, затягивавшихся до самого рассвета.

Иногда наш отъезд был настоящим бегством. Помню, как на одном из обычных благотворительных балов в Благородном собрании Катю преследовал какой-то военный, очевидно совершенно потерявший голову. Пользуясь простотой обычаев на студенческом балу, он представился мне и просил меня представить его моей «даме». Если бы это был студент, я бы, вероятно, не сумел ему отказать; но к офицерам в те довоенные времена в наших интеллигентских кругах относились полупрезрительно даже женщины. Я ответил, что спрошу разрешения «дамы», и мы, отойдя, поспешили скрыться. Но он разыскал нас у выхода на улицу и остановился у самой двери в выжидающей позе.

Мы были в тот вечер очень весело настроены, и Кате хотелось мальчишествовать. Когда мы поравнялись с офицером и он сделал шаг по направлению к нам, Катя скривила лицо и показала ему язык. Офицер побледнел и остолбенел. Мы успели выбежать и взять у самого подъезда извозчика. Когда наш возница тронулся, из дверей вылетела рассвирепевшая фигура без пальто и фуражки. К счастью, извозчик нам попался бойкий, из тех, что умели тихо подкатывать к панели и предлагать московским говорком:

— Резвую, барин! Саночки-самокатки!

Однажды мы поехали слушать концерт московских цыган. Выступала вошедшая в то время в моду Варя Панина. Наши места были у прохода в третьем ряду. Едва мы их заняли, как мимо нас прошла во второй ряд пара: безукоризненно одетый господин и довольно вульгарная, очень полная дама. Я не взгляделся в них, а Катя, наклонившись ко мне, шепотом сказала:

— Костя, уедем отсюда. Я хочу уехать.

— Почему?

— Я скажу тебе после.

— Но почему, Катя? Что за секрет?

— Мне нездоровится. Встанем тихо и пойдем. Только ты не оглядывайся.

Мы встали и вышли. Мне очень хотелось послушать знаменитую цыганскую звезду, но Катя меня встревожила. Когда мы прошли в гардеробную и отдали наши номерки, я спросил Катю:

— Хочешь, я добуду стакан воды?

Она рассмеялась:

— Да нет, Костя, я совсем здорова. Я только не хотела здесь оставаться. Жалко, что пропадают билеты.

И, обратившись к старой гардеробщице, она сказала:

— Вот возьмите наши билеты; может быть, вы их кому-нибудь дадите; это — хорошие места, крайние в третьем ряду.

Видя мое недоумение, Катя сжала мой локоть и на ходу, со спокойной усмешкой и некоторой брезгливостью, сказала:

— Я не ожидала от него такого постоянства. Это тянется, кажется, уже второй год. Но я думала, что у него больше вкуса.

— У кого, Катя?

— Да у Евгения Карловича, конечно. Разве ты его не узнал?

— С этой полной дамой, впереди нас?

— Ну да.

— Я не рассмотрел. А кто она, ваша знакомая?

— Костя, ты ужасный мальчик! Я не знаю ее биографии и не интересуюсь. Но я уже видала ее однажды, так же нечаянно, как и сегодня. Она... ну, как это говорится, ну, словом... заместительница твоей сестры. И бросим о ней разговаривать.

НЕ МАЛ ЛИ ПРОСТЕНОК?

На летние каникулы я обычно уезжал в свой родной прикамский город, к моей матери. Жить там было дешево, притом я давал уроки и еще подрабатывал, посылая в московские газеты статейки о провинциальной жизни.

Прекрасен был трехдневный путь по текучему простору наших рек! И там ждали меня хвойные леса, которых я никогда не мог забыть даже среди звенигородской лиственной ласки и красоты и которым никогда не найду даже

близкого подобия здесь, в Европе. Удастся ли мне когда-нибудь... не говорю — увидеть их вновь, нет, — но лишь воскресить их в памяти своей и рассказать о них другим то и так, что и как хотелось бы? Сказать о них не так, как сейчас, не мимоходом, не сдерживая слова и чувства, — а словоохотливо, с радостью, захлебываясь, дополняя междометиями там, где слов красочных не хватит, широко разводя руками, чтобы объяснить профанам средней и южной России и наши пространства, и наши просторы, и речную гладь, и аромат заливных лугов, и сладость смоляного дыхания!

В Москву я возвращался неторопливо, когда лекции уже давно читались и студенты успевали похудеть и побледнеть от беготни и скудной пищи в столовках. Приезжать так поздно было невыгодным лишь в смысле поисков удобной и дешевой комнаты, — все лучшие оказывались уже занятыми, а на иных подъездах и воротах висела записка:

«Сдаеца светлая комната студентам не являца».

Записка обидная, вывешенная оскорбленной в лучших чувствах и надеждах хозяйкой.

Впрочем, на первое время я всегда имел пристанище у одной из сестер.

В один из таких приездов — уже на третьем курсе — я застал сестру Катю за неожиданным занятием. Одна из ее комнат оказалась превращенной в студию чертежника. На мольберте стоял огромный проект фасада, широкий и длинный стол белого дерева был завален бумагами, бумажками, картонами, свертками и калькой. По стенам висели на кнопках какие-то чертежные наброски, таблицы и фотографии зданий.

Когда я постучал в дверь и приоткрыл ее, услышал недовольный голос Кати, которая стояла у большого стола спиной ко мне:

— В чем дело? Я просила до четырех часов меня не беспокоить.

— Катя, это я.

— Костя? Ты приехал?

Она повернулась ко мне и обняла меня, не выпуская из рук циркуля.

— Наконец-то ты вернулся! Ну ради тебя я, кажется, устрою себе праздник. Или вот что, Костя, присядь и помолчи только пять минут. Я сейчас кончу, и потом мы будем разговаривать.

— Что ты делаешь, Катя?

— Молчи, молчи.

Я с любопытством смотрел, как Катя, шепча про себя и вымеряя циркулем, наносила на чертеж аккуратненькие точки. Минут через пять, бегло взглянув на меня, она сказала: «Сейчас!» — и опять зашептала свои вычисления. Я уже думал обидеться и уйти, когда Катя, откинувшись и подбоченившись по-мужски, сжала губы, в последний раз внимательно оглядела свой чертеж и сказала:

— Ну, хорошо. А не мал ли простенок? Как ты думаешь?

С возможной серьезностью я ответил:

— Нет. Достаточен. В самый раз.

Она недоверчиво покачала головой и вдруг весело рассмеялась:

— Не сердись, Костя! Я вымою руки, и мы пойдем вниз.

— Но что все это означает, Катя?

— Как что? Ты не знаешь? Я — архитектор; то есть я буду архитектором. И это, Костя, совсем серьезно! Я все тебе расскажу.

Я узнал, что она поступила на архитектурные курсы и так увлеклась, что ни о чем больше не может думать. Завалила себя работой и все время, остающееся от лекций, проводит в своей мастерской. За два месяца она сделала больше, чем иным удается сделать за год. Не довольствуясь курсами, она работала чертежником у одного из своих профессоров, сразу занялась собственными сложными проектами и не хотела признавать трудностей. Не без гордости она рассказывала, что ее считают некоторым чудом и сулят ей в будущем необыкновенный успех. Зато работать приходится весь день и часть ночи.

— А сегодня — пусть будет праздник. Это, Костя, только для тебя.

Я мог бы гордиться, если бы Катя сдержала слово. Но среди разговора она что-то вспомнила, обеспокоилась, побежала наверх и снова вышла только через два часа с виноватым видом:

— Прости, что я оставила тебя одного; я чуть было не сделала такой ошибки, что могла все испортить. Теперь, до завтра, я совсем свободна, и вечер мы проведем вместе. Я, признаться, очень устала. Это — какое-то сумасшествие. Но если бы ты знал, Костя, как это интересно!

Она расспрашивала меня о матери, о наших провинциальных новостях и слушала, думая о своем. После ужина я даже не заикнулся о картах. Мы разошлись рано, и, засыпая, я слышал в Катиной студии шаги и бормотанье. Она работала часов до трех ночи, а утром, вставши, я уже нашел ее одетой в белый рабочий халат. Я не хотел ей мешать и уехал в город.

В этот год я редко бывал в Сокольниках у старшей сестры, а воскресенья проводил у Лизы, обедаясь ее превосходными пирожками и увозя десятка два домой в сверточке: этим я избавлял себя в понедельник от расхода на обед.

Был этот год бурным для студенчества: мы защищали «честь студенческого мундира», почти не учились, и на родину мне пришлось выехать перед Пасхой, вынужденно, в веселой компании высылаемых студентов-забастовщиков. Мы заняли два вагона, выходили и подолгу задерживались в буфетах, и начальники станций, не решаясь отправить без нас поезд, а, может быть, втайне нам сочувствуя, ласково называли нас «проклятыми сицилистами».

В Москву я вернулся только к следующей осени, когда снова был принят в университет с потерей года.

КАК ВСЕ

Говоря о себе, нужно быть особенно правдивым; и правдивым и откровенным.

Свои университетские годы я мог бы использовать гораздо плодотворнее: они не принесли мне ни большой радости для памяти, ни большой пользы для последующей жизни. Они не были для меня и лучшим временем в жизни, как для большинства. Пусть я найду оправданье. Но если бы вернуть эти годы, если бы начать жить снова, зная, что все будущее строится в молодости, я не бросал бы минут, часов и дней, а вернее сказать — большей части времени на то, что имело слишком мало отношения к науке. И тогда — наверное — не окончил бы годы учения полунуучем с дипломом. И тогда — может быть — иначе сложилась бы моя жизнь, была бы она нужнее, богаче впечатлениями, осуществленнее в мечтах. Сейчас за моими плечами лишь жизнь рядового чиновника и обывателя, рано понявшего тщету замыслов и легко от них отказавшегося.

В этих словах нет запоздалого раскаяния; они только правдивы.

Учиться, то есть слушать лекции и сдавать зачеты и экзамены, было нетрудно. Но интерес к науке понижался тем, что нас, студентов, постепенно лишали наших лучших профессоров, подозрительных по неблагонадежности, и наука наша делалась казенной. Поэтому мы больше увлекались своей ролью «общественного барометра». За это нас загоняли в манеж, умеренно били нагайками, исключали и ссылали. Тогда от довольно невинных мечтаний об университетской автономии мы перешли к слишком ранней политической деятельности.

Посредствующей порой был для меня год разочарования. Мне не улыбалось стать непременно марксистом или народником и не хотелось быть только «учащимся», готовить себя в адвокаты или прокуроры. Поэтому, не избегая никаких влияний, без большого жара, лишь следуя моде, я работал урывками в студенческих кружках, читал в «Русском богатстве» Михайловского, записался в Румянцевке в очередь на Бельтова и Николая-она, ходил смотреть, как трясет длинной шевелюрой, тогда еще не белой, Петр Струве, оппонируя диссертации Туган-Барановского; и, будучи юристом, я слушал лекции по естествознанию Тимирязева и бродил с группой медиков по клиникам Девичьего поля. То, что не входило прямо в учебные обязанности, было всегда наиболее занимательным.

На стене моей комнаты висела фотография прекрасной, испуганной и негодующей девушки, из рук которой двуглавый орел вырывает книгу законов, — олицетворение Финляндии, на другой стене картинка, изображающая сожжение на костре похожего на Христа человека, над головой которого значились буквы «С. Р.». Я пытался читать по-польски Мицкевича и имел в подлиннике «Кобзаря», хотя оба эти языка казались мне ужасно смешными. Относительно самодержавия у меня не было сомнений, но было мало сомнений и в том, что за свержением его должно последовать царство безоблачной свободы. Был таким, каким нас тогда кроила и шила жизнь: не лучше других, но и не слишком хуже.

Все это не мешало мне слоняться с приятелями по Тверскому бульвару и студенческим пивнушкам, мечтать о высокой и идеальной любви и робко знакомиться с бытом сговорчивых девушек.

Внешне жизнь была заполнена, внутренне ощущалась

ее пустота, не было настоящего увлечения ни наукой, ни случайными радостями жизни. Пробовал писать «что-то большое», но очень скоро убедился, что таланта у меня нет, как нет и знания жизни, и что моя литературная карьера исчерпается несколькими случайными газетными заметками да статейкой в юридическом журнале, и что придет время, когда я, держа впереди себя университетский диплом, поплечусь по протоптанной дорожке среднего юриста к небыстрым чинам.

Так оно и случилось, и только память о сестре будила меня на склоне лет взяться за перо, но уже не ради художественных вымыслов, а ради простого рассказа о женщине моего времени.

От многих юных мечтаний мы отказываемся, иногда легко, иногда с сердечной болью. Но разве прожитая жизнь, как бы ни была она проста и мизерна, — не лучшее наше произведение? Не облеченная в словесную форму повествования, она все же для каждого из нас дороже самого прекрасного романа. И да будет она благословенна на всех этапах наших странствий, в увлечениях молодости, долгой скромной работе провинциального деятеля, в маленьких личных приключениях и в вихревых воронках революции, случайно втянувшей и мое существование и выбросившей меня на чужие берега.

Как у всякого рядового юноши, бреющего бороду, носителя студенческой фуражки, был и у меня о ту пору небольшой и очень обыкновенный роман с женщиной, которая была старше и опытнее меня. Описывать его не стоит: он не осложнен ни страстью, ни событиями, ни любопытной развязкой. Но так как «она» была замужней, а связь наша не ограничилась разговорами о Достоевском и русской общине, то в глазах товарищей я был некоторым образом героем. Полугодом спустя от этого романа остались у меня и, конечно, у «нее» лишь более комические, чем глубокие воспоминания.

Вероятно, нескромности товарищей я и обязан тем, что о моем любовном приключении узнала Катя, впрочем, уже тогда, когда все было кончено.

Однажды Катя сказала мне:

— Как странно, Костя, я так привыкла считать тебя мальчиком... И вдруг оказывается, что ты уже совсем взрослый. И главное, что ты — как все.

Я предпочел промолчать.

— Обидно, что про тебя болтают. Хотя я знаю, что

среди мужчин это не считается зазорным, даже, кажется, наоборот...

— Болтать?

— Нет. Быть таким.

— Да чем же я уж такой особенный?

— Я не говорю, что ты особенный. Напротив, я не ожидала, что ты такой же, как все. Ты, Костя, на меня не обижайся.

— Я не обижаюсь, Катя.

Она продолжала:

— Женщина, даже самая маленькая и простая, самая ничем не замечательная, вот хоть бы как я, непременно ждет героя. Впрочем, я-то, конечно, не жду, я уже дождалась. И вот приходит этот герой, и оказывается, что он в лучшем случае — просто Иван Иванович. Неужели это всегда так?

— Я думаю, Катя, что и не все женщины ищут героев, и не все мужчины Иван Ивановичи. Просто — нужно как-нибудь жить.

— Ты думаешь, что нужно? Ну, а я не уверена. Разве уж непременно нужно в половине одиннадцатого есть кашку?

— Какую кашку?

— А вот Лялька иногда решительно не хочет кашки. И я не хочу. Впрочем, все это — пустяки. А главное — все это не то.

Я заметил, что Катя ко мне переменялась. Не то чтобы она меня строго осудила или перестала любить во мне брата и друга. Напротив, мне казалось даже, что теперь она относится ко мне как бы с большим уважением, как ко взрослому человеку, а не как к наивному мальчику. Но прежде она всегда ласково обнимала и целовала меня, иногда называла детским именем — Котик, не стеснялась выходить ко мне прямо из ванной, запахнувшись в купальный халат, и вообще не считала меня за мужчину. Теперь я стал мужчиной, хотя и оставался братом. Мужчиной — значит существом не совсем чистым, носящим на себе следы не оправданных любовью прикосновений, случайных «романов», вызванных просто тем, что «как-нибудь нужно жить».

Мы больше не возвращались к нашему разговору. Только раз как-то Катя мимоходом сказала мне:

— В последнее время я многое поняла лучше. Я думала о тебе, Костя, я ведь тебя очень люблю. И вот те-

перь я, пожалуй, могла бы не так строго отнестись и к другим, то есть к тому, что мне в них неприятно, даже противно. Но, конечно, я тебя не сравниваю, потому что ты — не лицемер и не прикидываешься святым, а просто — такой. Хуже всего, когда обманывают, читают мораль, а сами делают все, что захочется, и даже не понимают, как это гадко. Может быть, впрочем, я слишком требовательна, нельзя быть такой. И все-таки — как все это печально и несносно!

— А ты не думай, Катя.

Она удивленно подняла брови:

— Как же не думать? Разве я не живой человек...

И вдруг она вспыхнула густым румянцем:

— ...И разве я не женщина? Или ты считаешь меня уже старухой?

Я не мог считать сестру, молодую, красивую, полную жизни, — старухой. Но о том, что такое женщина, мой сомнительный любовный опыт не мог дать мне глубокого познания.

Как всякий преданный и любящий брат, я был близорук. Если бы кто-нибудь сказал мне, что источник Катиных страданий и ее неумения найти «цель жизни» — в том, что она живет без любви, что ей некому отдать неистощенный запас женского чувства, — я бы не только удивился, но и обиделся за Катю.

Это я могу быть, как все. Но Катя, сестра моя, — она особенная, и к ней общая мерка неприложима.

Я не знал, что этим отрицанием в ней простой и настоящей женщины я принижал ее образ, столь мне дорогой.

ДОКЛАД

Она уже не проводила, как прежде, ночных часов за работой, не лишала себя прогулок и маленьких наших развлечений, но она — вопреки моему ожиданию — не бросила лекций и своих чертежных занятий. К концу второго года она должна была окончить курс и попытаться стать заправским, самостоятельным работником. Бурное увлечение сменилось спокойной уверенностью, как у человека делового. О своих архитектурных работах Катя говорила охотно, но всего на свете ради них не забывала.

В этот год мы опять сблизились, и как-то серьезнее прежнего, не в карточном азарте и не в совместных полетах молодой фантазии. Мы оба стали заметно старше: мне шел двадцать третий год, ей было под тридцать. Я как бы окончательно вступал во взрослую жизнь, она входила в возраст, для женщины решительный.

Наши встречи стали менее одинокими. Я привозил к Кате своих университетских товарищей, у нее завелись приятельницы и приятели с ее курсов, и в доме ее создалось некоторое общество, молодое и приятное. Старшим в нашей компании был архитектор Власьев, один из учителей Кати, человек на возрасте, очень воспитанный, старавшийся сойтись с нами и не слишком выделяться. С Катей он всегда говорил почтительно, но я с самого начала заподозрил, что не одним почтением к способной ученице вызваны его частые визиты.

Мы устраивали прогулки в глубь Сокольников и Погонно-Лосиног острова, весной — подышать соснами, зимой — побродить на лыжах. Этот год был приятным, Катя ожила и стала еще красивее; но девочка в ней исчезла, была только женщина, иногда — мать. Она теперь гораздо чаще говорила о детях, больше ими занималась и, по-видимому, искала их дружбы.

Этот период мне памятен и тем, что, подчиняясь духу времени, мы отдавали дань политическим вопросам, бывали на докладах, и не только легальных, читали литературу подпольных и заграничных организаций, затевали бесконечные споры, даже пытались устроить свой кружок самообразования. Во всем этом Катя участвовала довольно деятельно, хотя решительно отстаивала свое право не иметь обязательных политических взглядов. Она говорила:

— Если бы я могла твердо верить, что нужно вот то-то и то-то, я бы немедленно пошла это делать, уж не знаю куда и как, но пошла бы. Иначе — какая же цена моей вере? И кому нужны мои слова? Что такое я — жена фабриканта?!

То, что она была «женой фабриканта», видимо, ее беспокоило, но она никак не могла убедиться в своей преступности. Гораздо больше ее угнетало, что она — жена своего мужа, что живет на его средства, все равно, каков их источник. Иногда после наших кружковых бесед она говорила:

— Ну, теперь идем в столовую закусить «прибавочной стоимостью».

Наш «кружок самообразования» очень быстро распался. Но Катя все же успела нас поразить. Мы по очереди читали маленькие доклады, главным образом политико-экономические. Катю мы считали лишь «присутствующей», то — гостьей, то — хозяйкой, в зависимости от того, где мы собирались; все-таки она была старшей среди нас и все-таки выделялась. Поэтому мы, лишь ради формы и во имя равенства, однажды предложили ей, если она хочет, что-нибудь подготовить для доклада. Катя отшучивалась, сказала, что подумает, и совсем неожиданно сделала нам превосходный доклад, совершенно нас поразивший; было видно, что она отлично, основательно и как-то не по-нашему, не по-ученически к нему приготовилась. Но, закончив его, — доклад был устный, — она покраснела на наши похвалы и даже не приняла участия в дальнейшей нашей беседе.

Все-таки было видно, что наше общее и как бы обязательное увлечение политикой и экономическими вопросами было ей чуждо. Она была с нами, потому что искала людей, жаждала жизни новой, не похожей на ее прежнюю, замкнутую, домашнюю. Но и тут она искала жизни, деятельности, а не разговоров в табачном дыму. Возможно даже, что она искала не людей вообще, а хотя бы одного живого человека, но только большого, настоящего, в которого она могла бы уверовать, зная, что не разочаруется. Она недаром говорила:

— Женщина, даже самая маленькая, простая и ничем не замечательная, непременно ищет героя.

Но героя среди нас не было; не было даже совершенных Иван Иванычей. В большинстве своем мы были юношами, себя еще не нашедшими, одинаково способными стать ничем. Мы ее любили, ею гордились, многие были тайно в нее влюблены, — но мы были обществом, слишком для нее случайным и малоподходящим.

И, думается мне, ей было гораздо лучше и проще среди нас, особенно среди личных моих приятелей-студентов, когда не подымалось речи о высоких материях, а просто Катя появлялась в нашем кругу в качестве женщины и королевы. О таких приемах, которые мы устраивали Кате в мизерности и неуютности моей студенческой каморки, я сохраняю лучшие и приятнейшие воспоминания.

Бронная улица с переулками — «Латинский квартал» Москвы — была перенаселена студентами; еще осенью — да, а в середине учебного года было трудно найти дешевую комнату. Поэтому с одним из приятелей, студентом Мартыновым, математиком, мы решили поселиться на Грачевке, улице очень печальной репутации, но зато дешевой. Позже она была переименована в Трубную.

Там, в глубине одного из больших дворов, мы облюбовали крошечный флигелек в три комнаты, из которых две сдавались помесечно, а в третьей жила семья мизерного чиновника Флора Аполлоновича: он сам, его жена Марья Ивановна и двое детей, последний — грудной.

На нашу долю пришлись комнаты большие, довольно светлые, а главное — каждому отдельная, и дешево. Марья Ивановна обязалась дважды в день давать нам самовар и покупать нам молоко и хлеб. Ходить отсюда в университет было не близко, но мы оба не отличались ни прилежанием, ни боязнью расстояний.

Мартынов был удобным сожителем, хотя имел крупный недостаток: он время от времени запивал горькую. Он был из семинаристов, года на три старше меня, а на вид и совсем пожившим; носил бороду, очки и интересовался только свойствами простых чисел. В трезвые дни он не отрывался от клочка бумаги, на котором писал столбики чисел, складывал, вычитал — и загадочно улыбался. Иногда он и мне давал какую-нибудь курьезную задачу, которая должна была поразить меня чудодейственными свойствами цифры девять. Со своей стороны я пробовал увлечь его задачами из римского права:

— Ты представь себе, что во время кораблекрушения утонули двое родственников, А и В. Если раньше утонул А, то В, прежде чем утонуть, был хоть несколько минут его наследником, и дальше, значит, наследуют дети. А если В утонул раньше, то его дети не наследуют после А.

— Почему не наследуют?

— Да уж, одним словом, не наследуют, к другим переходит. Как узнать, кто утонул первым?

— Ну, расспросить, кто видел.

— Никто не видел, все утонули.

— Чепуха!

— Все не чепуха. Как-нибудь решить нужно.

— Оба сразу.

— Сразу не бывает; кто-нибудь хоть на секунду да дольше держался. А ты сообрази: одному было пятьдесят лет, а другому сорок девять. Кто раньше?

— А черт его знает.

— Нет, не черт его знает, а это предусмотрено римским правом. Раньше должен утонуть А, потому что он старше.

— Вот ерунда!

— Не ерунда. В моложе и может дольше продержаться на воде. Кто старше, тот раньше потонет.

— Чушь! А если В только один год и он не только плавать, а и под столом ходить не умеет? Что же, ты думаешь, он будет ждать, пока А утонет? Чепуха твое римское право.

— Нет, ты подожди, относительно детей...

Тут мне приходится справиться в курсе лекций. Пока я перелистываю литографированные страницы, Мартынов презрительно говорит:

— Чепуха! Право — не наука. Только математика наука. А вот скажи лучше, что мы сегодня есть будем? У тебя сколько?

— У меня четыре пятака. А у тебя?

— У меня... вчера были.

— Это плохо, Мартынов.

— Плохо. Купим воблы и хлеба.

— Есть хочется.

— Сказал новость! Мне выпить хочется, да я молчу. Тут тебе не римское право, а безошибочная математика: две воблы, если икряные, восемь копеек, булка — пять, итого — тринадцать. Значит, на пятак — рассыпных папирос да две копейки — нищему. Итого в остатке — ноль. И все ясно.

Но иногда мы внезапно богатели: приходили деньги из дому. Мне аккуратно маленькую сумму посылала мать, ему — старший брат, священник. Тогда мы не только шли обедать в столовую Троицкой у Никитских ворот, по сорок копеек с человека, включая хлеб и квас по желанию, но еще и дома устраивали приемы для друзей. Случалось, что на эти приемы приезжала, по моему зову, и моя сестра Катя.

Странно было видеть Катю на этой подозрительной улице, в труппе грязных дворов и бедных флигельков, на нищенской студенческой пирушке. Но она умела превращать наши пирушки в праздник. Женщин, кроме Ка-

ти, никогда у нас не было. Собиралось человек пять безусых студентов, среди которых бородатый и мрачный Мартынов был уже стариком. Ради Кати мы ограничивались полудюжиной пива и бутылкой удельного вина, совсем не допуская водки; особенно на этом настаивал Мартынов, боявшийся своей слабости. Вокруг самовара расставляли на хозяйкиных тарелках блестящее угощение: чайную колбасу, воблу (для пива), кильки (для впечатления), много орехов и дешевые леденцы. Катя неизменно привозила от Елисеева фрукты и сладкий торт.

В нашу лачугу Катя вносила свет и особое, сдержанное и напряженное, веселье. У нас она была королевой. Для нее ставилось особое кресло, из приданого чиновницы, покрытое чистым чехлом, под которым исчезала грязная и рваная обивка. Хозяйка Марья Ивановна давала нам лучшую свою скатерть и начищала до блеска слегка помятую медь самовара. Обе наши комнаты мы старались разукрасить чем только возможно. За полным отсутствием декоративных предметов мы особенно напирали на оригинальность.

— Знаешь, Мартынов, давай навешаем цветных фонариков. На полтину можно купить четыре-пять штук маленьких.

— Лучше два больших, по обе стороны кресла повесим.

— Ладно. А вот где бы достать цветной материи?

— У Марьи Ивановны попросить.

— Я спрашивал. Она предлагает две юбки, только чтобы не резать и не протыкать. Я смотрел: юбки грязные.

— Нет, юбки нехорошо. Это — чепуха.

И одновременно нам обоим приходит в голову поистине гениальная мысль: обить косяки двери цветными носками! Небывало и очень оригинально.

Из ящика моего комода извлекается куча вязаных носков всех цветов и оттенков — работа моей матери. Иные заштопанные, другие рваные, но так еще лучше. Главное — чистота и яркость. У Мартынова запас немногим хуже. Кнопками и гвоздиками мы прикалываем носки к косякам двери, и получается как бы триумфальная арка. Над дверью водружается вензель Кати: большая коробка из-под гильз Катика (на пятьсот штук), в прорезах букв красная бумага, внутри свечка. Мартынов делает это с замечательным искусством. Просто и эффектно.

Во всем, что относится к чествованию нашей королевы,

Мартынов принимает живейшее участие и проявляет редкую изобретательность. На время работы исчезает его обычная мрачность. Им организован и прорепетирован туш на гребешках с папиросной бумагой, им же написан ритуал приема, который присутствующие должны разучить. Долго приспособлял он добытые на дворе плоские ящики, чтобы кресло королевы стояло на легком возвышении, — но из этого ничего не получилось, очень уж выходило неудобно королеве пить чай. Кате полагался особый прибор: вилка, ножик и салфетка; для всех остальных вместе — такой же один общий прибор, только без салфетки. Ради Кати Мартынов затратил два часа, чтобы вымыть водкой, карта за картой, засаленную колоду: после чаю мы, наверное, сядем играть в винт, кстати — королева обычно проигрывает, так что часть наших расходов по приему окупится.

В день приема королевы мы все в сборе: Мартынов, я, медик Ушаков, второкурсник-юрист Стигматов, мой земляк Павлик — студент Лесного института, большой весельчак, иногда еще кто-нибудь из тех, кого я возил к Кате знакомить. Ушаков уходил раньше других, Павлик, страшный картежник, оставался обычно ночевать, и пять партнеров для винта были обеспечены. После полуночи все мы проводим королеву до извозчика.

В нашу студенческую трущобу Катя вливалась как луч солнца. Если бы она, в своем самом простом платье и со своей самой лучшей, всегда несколько смущенной улыбкой, — если бы она только сияла, мы бы исчезали, как рассеянные тени и погашенные свечи. Но она не только сияла — она освещала. Комната становилась шире, потолок чище и выше, самоварная медь делалась таким же чистым золотом, как орленые пуговицы франтоватого Стигматова. Марья Ивановна, квартирная наша хозяйка, женщина беднейшая, кротчайшая и затрапезная, казалась теперь благородной фрейлиной, а все мы — советом мудрых вельмож и верноподданных.

Когда в дверях показывалась Катя, я подходил к ней первым и целовал ее, зная, что все эти юноши, мои гости, всматриваются и вслушиваются в поцелуй. Затем Катя, сняв длинную перчатку, очень приветливо здоровалась с Марьей Ивановной за руку, которую та спешно вытирала фартуком. С нею она задерживалась в нашей крошечной передней, спрашивала ее о здоровье детей, кивала, слушая ее подробный доклад, давала советы: непременно

промывать Ванюшке глаза борной кислотой и не позволять ему их тереть, а Анюту поить рыбьим жиром. Потом Катя повертывалась к моим немногочисленным гостям, толпившимся у двери, по-мужски пожимала им руки и не знала, что нужно говорить, заменяя слова своей чудесной улыбкой. Они подходили к ней в строгой очереди, Мартынов всегда последним, не глядя в глаза и мешковато шаркая ногами.

В эту минуту они не казались бедными студентами в поношенных тужурках, а были рыцарями в латах: грудь колесом, ноги стройны, головы с изящным нагибом. Впрочем, к Мартынову это не относится: он был скорее нашим дядькой.

Рыцари отнимали у Кати зонтик, перчатки, шляпу. Если шляпа доставалась Мартынову, он уносил ее обеими руками, как стеклянную, расставив локти, чтобы не задеть за стул, за косяк двери, украшенной носками, за когонибудь из нас. С момента прихода Кати Мартынов делался невменяемым и старался смотреть на самовар или на коробку килек, чтобы невзначай не встретиться с Катей глазами; если это все-таки случалось,— он мрачно краснел и еще пристальнее впивался взором в неодушевленные предметы.

Мой бедный Мартынов! Я думаю, что в этом мире только одна любовь могла соперничать с моей любовью к сестре: его бескорыстная и безнадежная любовь.

Пока Катя еще беседовала с хозяйкой, Мартынов успевал зажечь над дверью в моей комнате щит с инициалами и цветные фонарики по обе стороны престола королевы. Бородатый и неуклюжий, он делал это с озабоченным и взволнованным лицом.

Затем мы усаживали Катю за стол, становились на некотором расстоянии, и Павлик, торжественным и мощным голосом, начинал выработанный на этот день «ритуал приема королевы»:

— Все ли вельможи, здесь предстоящие, признают себя подданными Екатерины?

Мы отвечали хором:

— Все!

— Каковы обязанности первого вельможи?

Я был «первым вельможей» и отвечал нараспев по мартыновской шпаргалке:

— Не брат, а раб!

— Каковы обязанности вельможи-хлебодача?

Тем же тоном отвечал медик Ушаков:

— Чаю ли возжаждет — чаю налей; кильку ли возалчет — препарируй.

— Каковы обязанности вельможи-кавалера?

Второкурсник Стигматов, очень красивый юноша, слегка рисуясь, произносил:

— Сознать свое физическое безобразие и лежать ковриком на царственных путях.

— Каковы обязанности вельможи-звездочета?

В свою очередь, Мартынов, застенчиво и с тоской, бормотал библейский стих, им самим извлеченный из Книги Судей Израилевых:

— К ногам ее он склонился, пал, лежал, к ногам ее склонился, пал, где склонился, там и пал, пораженный.

— Клянутся ли вельможи исполнить свои обязанности?

Мы протягивали руки и опять хором восклицали:

— Не нам, не нам, а имени твоему!

Катя весело смеялась; ей было приятно наше поклонение. Изобразив на гребешках туш или марш из «Аиды», мы вручали королеве знаки ее власти: чисто вымытый на этот случай мячик хозяйкиной девочки и огромный синий карандаш Мартынова — державу и скипетр.

Под влиянием ритуала мы долго болтали стилем напыщенным, священнодействуя над кильками и отдавая должное чайной колбасе. Хотя мы всегда усердно приглашали Марью Ивановну посидеть с нами, но она отговаривалась хлопотами с самоваром и только иногда присаживалась на стуле у самой двери и пристально смотрела на Катю, которая казалась ей, как была и для нас, подлинной королевой, посетившей лачугу бедноты.

И, конечно, ей никогда не могло бы прийти в голову, что эта королева в иную минуту жизни может завидовать ее бедности, миру и простоте ее семейной жизни.

РЮМКА ВОДЫ

Что мне делать с Мартыновым? Он пьет вторую неделю: как на грех получил от брата деньги сразу на два месяца вперед.

Пьет Мартынов водку, и пьет дома; никакой закуски ему не требуется. Нагрузившись, он поет «Благообразного Иосифа» или сам с собой разговаривает. Ночью трезвеет

и в одной рубашке выходит во двор, гуляет, хотя по ночам холодно и сыро.

Уговаривать его бесполезно. Когда Мартынов пьян, он преисполнен презрения ко всем и ко всему. Презрение ко мне он выражает тем, что, отворив дверь в мою комнату, показывает мне распухший язык, затем захлопывает дверь с нехорошим ругательством. Марья Ивановна боится показываться ему на глаза, хотя Мартынов очень редко скандалит «по-настоящему». Марья Ивановна его не осуждает и даже не протестует против такого поведения жильца: на нашей улице, полной притонов, смотрят на пьянство не как на порок, а как на несчастье, людям судьбою ниспосланное.

Как-то раз я задумал принять меры, отняв у Мартынова водку и деньги. Заглянув в его комнату, я увидел, что он спит лицом к стене. Я на цыпочках подобрался к его тужурке, но в ее карманах нашел только медную мелочь. Тогда я протянул руку к стоявшей на столе еще полной бутылке водки.

И вдруг он вскопчил, будто этого только и ждал. Вскопчил встрепанный и такой страшный, что я едва не уронил бутылку.

— Поставь обратно!

— Брось, Мартынов, не пей. На кого ты стал похож!

— Поставь бутылку!

Я, конечно, поставил.

Он взял бутылку и, смотря на меня пристально воспаленными глазами, стал пить из горлышка. Нужно было для этого запрокинуть голову, но он хотел смотреть на меня, на производимое впечатление, поэтому, булькая водкой, он постепенно приседал на корточки. Отпив несколько полных глотков, он обтерся рукавом рубашки и, сделав хитрое-хитрое лицо, очень трезвым, только хриплым голосом сказал:

— Красавец, ужели я вам не нравлюсь?

— Не нравишься, Мартынов.

— Тогда, красавец, пойдите вон.

Я двинулся к двери, но на ходу спросил:

— Зачем ты пьешь, Мартынов?

Лицо его стало внезапно искренне удивленным, и по-прежнему трезвым голосом он ответил:

— Как же иначе быть? Ведь положение безвыходное!

— Какое положение?

И опять, встав и внезапно изменив лицо, он ответил хриплым голосом:

— Как сказано выше — ступайте вон. Можете ехать в Сок-кольники к к-королеве.

Сразу опьянел, забормотал непонятное и повалился на постель.

Дождавшись первой светлой минуты, я решил проветрить Мартынова, а кстати и устыдить его, свозить к Кате. Он был очень жалок, видимо сам себя боялся, и довольно легко согласился:

— Только ты королеве-то не рассказывай.

В то время, за отсутствием трамваев, поездка в Сокольники занимала добрый час времени. Мы взобрались на империал конки, где за станцию брали три копейки, и наслаждались воздухом и рассматриванием вереницы пешеходов, шедших толпой с Сухаревки и на Сухаревку. На подъеме к Красным воротам к конке пристегнули пару рыженьких лошадок, на одной из которых сидел мальчишка, неистово махал руками и подстегивал припряжку. Кондуктор для бодрости ударял левым локтем по цепи, на которой висел звонок, лошади рвались, и мы ехали с гиканьем и веселым звоном. Мартынова я привез действительно проветренным, хотя лицо его еще оставалось опухшим.

Мы приехали за час до обеда, и было приятно узнать, что Евгений Карлович уехал в город, значит, мы обедаем втроем.

Мартынов держался бодро, шутил и предупреждал, что у него сегодня волчий аппетит.

Перед тем как сесть за стол, Катя вызвала меня и спросила, подавать ли к столу водку. Я знал, что Мартынов, когда его запой кончается, сразу делается выдержанным, но что рюмки две ему за обедом необходимы для равновесия, иначе он затоскует и впадет в мрачность.

Не знаю, почему мне пришла в голову необычайно глупая мысль — подшутить над Мартыновым. Когда Катя вышла из столовой, я убрал со стола графинчик водки и заменил его другим, в который налил воды.

Мы сели, и я налил нам обоим по рюмке, выпил свою, нарочно крикнул и закусил. Затем стал внимательно наблюдать, как выпьет свою Мартынов.

У него после запоя сильно дрожали руки. Он это знал и делал все движения медленно и сосредоточенно: положил себе на тарелочку закуски, надломил кусок хлеба, наконец протянул руку к рюмке.

Когда я увидел его дрожащую руку, его глаза, устрем-

ленные на рюмку, его заранее выпятившиеся губы, как это бывает у привычных пьяниц,— я понял, что поступил плохо; но было уже поздно.

Медленно, слегка стуча стеклом о зубы, Мартынов вытянул воду — и проглотил. Затем он внезапно побледнел, уронил руку с рюмкой и откинулся. Я думал, что он в обмороке — и действительно глаза его на минуту закатились. Вдруг он взглянул на Катю почти бешеным взглядом, пошатнулся на стуле и хотел встать.

Я перепугался:

— Мартынов, прости, голубчик, это я хотел подшутить над тобой. Прости меня!

Катя ничего не понимала. Я объяснил ей:

— Я налил ему воды. Ужасно глупо!

Мартынова трясло; зубы стучали, лицо краснело, бледнело, и он сидел, не меняя позы. Наконец он овладел собой и пробурчал:

— Ничего... Это не от того...

И заковырял вилкой закуску на тарелке.

Я достал графинчик водки и налил Мартынову. Не подымая глаз, он выпил. Ему очень хотелось пошутить и показать, что это «ничего», но, хорошо зная его, я видел, что ему плохо и что моя шутка может иметь печальные последствия.

Катя старалась поддерживать разговор, журила меня, говорила, что она бы страшно рассердилась, если бы ей подсунули, например, соли вместо сахару. Мартынов молча ел и так же молча наливал себе за рюмкой рюмку. Катя смотрела на меня умоляющими глазами, но я не смел остановить его, хотя видел, что уже с первых трех рюмок он был пьян. Опять на лице его появилось знакомое мне выражение пьяной иронии и настороженности; попробуй я убрать водку — выйдет, пожалуй, хуже.

Обед кончался в молчании. Когда подали сладкое, Мартынов, опершись на локоть, на минуту задремал. Мы переглянулись, — но он внезапно открыл глаза и поймал наши взгляды. И вдруг он засмеялся своим тяжелым смешком, прищурился на Катю, одобрительно кивнул и сказал заплетающимся языком:

— Ага, к-кор-ролева!

Вслед затем графин, тарелки, солонки, хлеб — все посыпалось на Мартынова. Одной рукой он ухватил и стянул на себя скатерть, затем другой рукой с силой оттолкнул длинный и тяжелый стол.

Катя вскрикнула. Мартынов хмуро и грузно встал, поднял руки над головой и грохнулся на осколки посуды. У него был припадок, и не моими слабыми руками было с ним справиться. Он отбивался, расшвыривал ногами и руками стулья, столики, упавшие вазы с цветами. Он не кричал, только напряженно стонал. Руки его были порезаны осколками посуды, серая тужурка перепачкана кремом.

Мы уже хотели послать за кем-нибудь из рабочих, когда так же внезапно Мартынов затих. Катя выслала прислугу из столовой, и мы с ней осторожно приподняли Мартынова и повели его в гостиную, где уложили на диван. Он старался передвигать ногами и смотрел виновато и испуганно, как больной. Когда мы его уложили, он сразу уснул мертвым сном.

Чтобы не будить Мартынова, мы притворили двери и ушли наверх к Кате. Иногда я спускался и слушал: Мартынов спал.

— Как это ужасно, Костя!

— Да; и это я виноват. У него запой кончился, я знаю. Если бы я не выдумал этой глупости...

— Может быть, теперь он выспится, и все пройдет. Но он такой самолюбивый, будет мучиться.

— Он в тебя влюблен, Катя, и это хуже всего. Я боюсь, что он опять запыет, просто уж — от обиды. Как его удержать — право, не пойму.

Катя сказала задумчиво:

— Странная любовь... Разве от любви пьют?

— Пьют не от любви, а от... как это сказать... от безнадёжности. Впрочем, Мартынов и раньше пил.

— Вот то-то. А все-таки что же с ним делать?

— Попробуй, когда он проснется, с ним поговорить, утешь его, скажи, что это все пустяки, что он болен.

— Я попробую...

Мартынов спал уже часа три-четыре. Мы не знали, нужно ли его будить, уложить в постель, или оставить так. Пожалуй, будет лучше, если я увезу его домой, — воздух может оказаться ему полезным.

Я еще раз спустился вниз и заглянул в комнату.

Диван был пуст. Мартынов исчез. В передней я нашел его фуражку, но пальто не было.

Я оставался у сестры до позднего вечера, думая, что Мартынов может вернуться. К ночи, захватив его фураж-

ку, я уехал домой. Отворила мне заспанная Марья Ивановна. От нее я узнал, что Мартынов домой не возвращался.

ВЕЧЕРОМ, ДОМА

Я сижу у стола, зубрю курс гражданского права и думаю о том, какой я все-таки хороший: не пьяница, давно не играл на бильярде, во второй половине месяца еще имею в кармане семь рублей и прочитал сегодня двадцать страниц гражданского права. Пересчитываю: ну, не двадцать, а все-таки шестнадцать.

Мартынов лежит в своей комнате на постели совершенно трезвый. После печального путешествия в Сокольники он пропадал два дня, и где он был — я так и не знаю. Он явился домой поутру, усталый, бледный, пришибленный, в чужой потасканной штатской шляпе с большими полями; теперь вторые сутки он отлеживается и со мной не разговаривает, только говорит: «Спасибо, Костя», — когда я ставлю перед ним стакан чая и тарелочку с хлебом и колбасой. Да еще, когда я попробовал спросить: «Ну что, Мартынов, плохо?» — он посмотрел удивленно и ответил: — Нет, почему же? Ничего.

Но пора бы и заговорить Мартынову!

Вообще пора бы остепениться. Учебный год кончается, скоро экзамены, на улицах уже появились лотки с мочеными яблоками. Лично я побаиваюсь гражданского права — у нас Кассо!

Начинает смеркаться. Слышу, как Мартынов встал и умывается.

— Погулять не пойдем, Мартынов?

Он входит, садится на мою постель и смотрит на меня молчаливо и задумчиво, как нездешний. Положительно — пора Мартынову заговорить!

Пока я думаю, как ему помочь в этом, он заговаривает сам, отведя глаза в сторону:

— Скажи, Костя, очень гадко это вышло?

— Что?

— Ну, ты знаешь что. Там, у королевых...

— Да, нехорошо, конечно.

Он, помолчав, продолжает:

— Больше уж не увижу ее.

— Вот чепуха. Как не увидишь? Поедем к ней в воскресенье — и все.

— Нет, больше не увижу.

— Это я был виноват, Мартынов, ты меня прости.

— Чем ты виноват? Нет, брат, тут дело сложное... то есть не сложное, а совсем простое.

Хорошо все-таки, что Мартынов заговорил! Теперь понемногу неприятное забудется.

Мы вышли вместе, друзьями, чтобы прогуляться по улицам, посмотреть, как опускается вечер и зажигаются фонари. На нашей улице, на знаменитой Грачевке, пусто; ее жизнь оживляется к ночи: начинают работать притоны, появляются бойкие девицы и молодые люди с шарфами на шее. Прошли Сретенку и Лубянку, миновали Китай-город, вошли в кремлевские ворота — нечаянно как-то, не условившись. Было сумеречно, вечер предвесенний, воздух в Кремле чист, холодок приятен. Остановились взглянуть, как зажигаются огни в Замоскворечье. И тут Мартынов сказал мне:

— Вот ведь как тут хорошо и красиво. И на душе мир, и умирать не хочется.

Никогда не говорил Мартынов таких слов и таким особенным тоном! Я покосился на него с удивлением. А он продолжал:

— Одно слово — Москва! Как я, бывало, мечтал о Москве да о Кремле, когда жил в нашей глуши. Вот, думаю, только бы попасть в Москву — а там уж все само станется. И буду я не таков, каким был. Ты, верно, тоже о Москве мечтал?

— Ну, еще бы!

— Вот и попали в Москву. Вот и в Москве.

Помолчали. И опять он заговорил:

— Мой батя, когда жив был... он был священником в селе, и был у него дьякон, оба тоже выпивали... бывало, сидят вечером перед бутылкой, закусывают только огурцами и все считают: пристань такая-то, пересадка, опять пристань... это они будто едут в Москву и на каждой остановке пьют. И как доезжали до Пьяного Бора — сразу по три рюмки, и дальше уж, бывало, и не едут. Оба от вина сгорели. А вот мой брат, он совсем не пьет, удержался; и все отцовское наследье мне досталось.

— Ты тоже удержишься, Мартынов.

— Что? Да... А видишь, Костя, вон там, правее моста, загорелся зеленый огонек... Аптека там, что ли? И в воде отражается. Хороша наша Москва, Бог с ней! Ты любишь ее?

— Люблю, как же ее не любить?

— Да, как ее не любить, ежели она — Москва! Ну, Костя, пойдем.

Когда шли мы обратно, Мартынов смотрел по сторонам: и на маковки храмов, и на все здания, в сумерках серые, и на Царь-пушку, и на темнеющее небо — точно видел все впервые по-настоящему, то ли здоровался, то ли прощался. Расстались мы с ним на Лубянской площади: мне нужно было пройти на Покровку к знакомым. Когда расставались, он сказал как-то смущенно и будто равнодушно:

— Сестру-то, королеву нашу, скоро увидишь?

— Думаю, на днях; а что?

— Да так. Увидишь — кланяйся.

— Поклонюсь.

— Ну, прощай, Костя.

— Прощай, Мартынов. Ты домой?

— Домой.

— Я вернусь поздно, только к ночи.

— Ладно.

Странный сегодня Мартынов! Совсем не как всегда. Такой тихий.

Я вернулся домой после двенадцати. Дверь мне открыла Марья Ивановна, в ночной кофте, возбужденная, — и зашептала:

— Что было-то! Страху-то было у нас!

— А что такое?

— Да ведь вот счастье, что я зашла! И Фрол Аполлонович дома был. Только спать легли. Он и срезал веревку.

— Да что случилось, Марья Ивановна?

— Как что случилось? Повесился товарищ ваш! Повесился на крюке.

И рассказала мне взволнованным шепотом и точно бы с радостью, как она прислушалась, будто стонет и будто все возится, и как у нее екнуло сердце, что не все ладно, как попробовала окликнуть, сперва тихонько, потом громче, потом постучала в комнату, а уж потом вместе с Фролом Аполлоновичем налегли на дверь — и задвижку сбили.

— А он уже висит, только еще качается. Я закричала голосом, а Фрол Аполлонович побежал за ножиком, а ножик тупой, я поддерживаю, а он режет, едва перепелил. Я и удержать не могла — так он и на пол рухнул.

— И что же теперь?

— Лежит. Да ничего, жив, совсем очнулся и на по-

стель лег. Не велел нам приходиться. А мы не спим, вас ждем, слушаем — опять бы чего не вышло. Шею-то он стер себе. Не знали, бежать ли за полицией, или как...

Я на цыпочках прошел в комнату Мартынова. Он лежал с закрытыми глазами, и на столе горела свеча, оставленная Марьей Ивановной.

Я не знал, что спросить. Спросил:

— Ну, ты как, Мартынов, ничего?

Он открыл глаза, улыбнулся мне грустно и сказал:

— Ничего. Ты уйди, Костя. Ты не бойся, я это так. Больше не буду. Это чепуха, глупости.

— А зачем ты, Мартынов?

— Иди, иди, говорю: чепуха. Раз говорю: не буду, значит, не буду.

— Даешь слово?

— Даю слово. Ты иди, спи.

Часа два я лежал, прислушиваясь. Из комнаты Мартынова, дверь в которую я оставил открытой, доносилось ровное дыхание. Раз он тихо застонал, очевидно во сне. Заснул и я.

Я НЕ ВСЕ ПОНИМАЮ

Катя окончила свои двухгодичные архитектурные курсы. То, о чем она некогда мечтала с сияющими глазами и чему мы не очень верили, — случилось просто и естественно. Она — одна из первых женщин-архитекторов в России. И она — на виду, ей обещают карьеру, к ней очень почтительно относятся ее профессора.

Я не замечаю в Кате никакой особенной радости. Она довольна — и только:

— Планы будущего. Ну, там увидится...

Она устроила обед своим профессорам и однокурсникам. Все они не показались мне людьми интересными. Приятнее других архитектор Власьев, и раньше бывавший у Кати. На обеде я заметил, что к нему с особым, подчеркнутым вниманием относится Евгений Карлович и что Катю это не то чтобы беспокоит, а немного удивляет. Зато Виктор Германович, родственник Катиного мужа и наш партнер по винту, смотрит на Власьева враждебно и был бы не прочь с ним сцепиться, конечно — в корректнейшем споре. Сама Катя выделяет Власьева простотой к нему отношения, как к своему в доме человеку, хотя частым гостем Власьев никогда не был.

Я, как тоже «свой», но только в значительной мере чуждый этой новой компании, невольно приглядываюсь. И довольно скоро я прихожу к убеждению, что Власьев влюблен в Катю и не умеет этого скрыть, что это замечаю не один я и что знает это и Катя. Ей неприятно? Нет, я этого не вижу. Но ее это стесняет.

К вечеру большинство гостей уехало в город, а мы, оставшиеся, пошли на Сокольничий круг, где уже начались концерты. К моему удивлению, пошел с нами и Евгений Карлович. Он — в на редкость хорошем настроении духа и особенно любезен со мной: расспрашивает об университете и даже высказывает либеральные мысли, совсем ему не свойственные. Мне начинает казаться, что вот-вот он расскажет мне легкомысленный анекдот или предложит мне вечную дружбу: еще никогда таким я его не видал.

Как полагается, мы гуляем по кругу. Катя с Власьевым впереди. Иногда она повертывает к нему голову и смотрит на него с внимательным изумлением. Власьев часто оглядывается, будто случайно, и говорит безостановочно. Я чувствую, что муж Кати, не отставая от меня и продолжая меня занимать, сам наблюдает за Катей и Власьевым. И я не могу понять, почему на лице Евгения Карловича плохо скрытая радость, даже какое-то, довольно противное, торжество.

Приятно, что Виктор Германович не пошел с нами. Он остался подремать и обещал, если составится винт, быть вечером партнером.

Все это не нравится. Братское чувство мне подсказывает, что сестру подстерегает какая-то опасность, о которой она не догадывается. Но ведь возможно, что мне это только кажется.

Обратно я иду с Катей и ее сокурсницей, а Евгений Карлович и Власьев с двумя другими дамами. Но дам занимает только Евгений Карлович, который сегодня исключительно мил и галантен. Власьев идет вместе с ними, но молчит или рассеянно улыбается, когда это ему кажется необходимым.

Сейчас неудобно, но после я с Катей поговорю. Только о чем же?

Гости, кроме одной из дам, прощаются и уезжают в город; в их числе и Власьев. Евгений Карлович долго и сердечно трясет руку Власьева и просит бывать почаще, а по уходе его немедленно делается солидным и скучаю-

щим; очевидно — теперь он предоставит нас самим себе и запретя в кабинете или уедет в город.

Когда Катя прощается с Власьевым, она громко отвечает на его тихий вопрос:

— Я подумаю и скажу вам.

Затем, когда Власьев отходит, она говорит, обращаясь ко мне:

— Знаешь, Костя, он предложил мне работать вместе. У него сейчас три постройки на ходу, в том числе одна очень для меня интересная: здание Народного дома.

— Ты согласишься?

— Я хочу подумать. Это не совсем просто, тем более что не все в Москве, придется иногда уезжать.

Евгений Карлович, конечно, слышит, но смотрит в сторону, где его заинтересовала собака. Впрочем, ведь Катя говорит не с ним, а со мною. И я отвечаю Кате:

— По-моему, это очень интересно. Я бы на твоём месте согласился. Тем более что Власьев — очень видный архитектор; и человек приятный.

— Даже слишком видный, чтобы работать с ним, как он мне предложил, на равных началах. Я что-то даже не совсем поняла его. Но мы ещё поговорим с ним.

Евгений Карлович не нашел собаку достаточно породистой и теперь идет домой впереди нас, хотя это неделikatно, так как с нами дама. Но он уже не хочет быть обаятельным.

Дама, наша спутница, поздравляет Катю:

— Вы сделаете блестящую карьеру! Сколько мужчин вам позавидуют.

По глазам дамы, впрочем довольно добродушной, я вижу, что позавидуют Кате не одни мужчины.

Что-то такое произошло, чего я еще не усвоил и не разобрал. Я вижу одно: Катя тоже не все понимает и явно обеспокоена. Казалось, она должна бы радоваться и окончанию курсов, и своему успеху, а этой радости я в ней не вижу. Что-то ее тревожит. Что?

Мы проводим довольно скучный вечер. Дама плохо играет в винт, Виктор Германович едва сдерживается, и после трех роберов мы с удовольствием покидаем столик.

Я охотно остался бы переночевать у сестры, но на носу экзамены — нужно с утра засесть за лекции. Даже Мартынов, который в последнее время очень остепенился, — даже он зубрит по целым дням и никуда не выходит. Два экзамена он уже сдал; а у меня первый на этой неделе.

И это весной! Разве для того весна, чтобы гнуть спину над книгами? Какая нелепость!

К МАМЕ

Когда весна только-только начинается, первыми вянут меховые шапки и шапочки, за ними стареют, линяют и делаются смешными и неуместными шубы, пальто и теплые перчатки, пальцы которых к этому времени уже не переносят дальнейшей починки. Затем внезапно все девушки хорошеют, и не потому, что их красит весенний наряд, а просто потому, что они в это верят. Что касается до нас, студентов, то мы раньше всех выходим гулять без пальто.

И небо уже не просвечивает сквозь ветки деревьев Тверского бульвара. Акварель кончилась — начинается масло летних красок. Городская весна приходит быстро, сразу распускается, но держится подолгу, потому что она и в городе, как в деревне, все-таки медлительна, все-таки она русская весна, а не какая-нибудь.

И когда экзаменам подходит конец, уже все цветет давно, а иной лист-скороспелка успел пожелтеть и лежит на дорожке, плохо усыпанной песком. Может быть, впрочем, это был больной листик. Почтальон принес деньги, — и это деньги на дорогу, их не истратишь, их убережешь. Еще неделя, только одна неделя. Уже заранее делается жаль Москвы — скоро расстанемся.

Впереди идет стройная и высокая дама, одетая с особым изяществом, под руку с господином в сером пальто. Серое пальто знакомо мне по походке. И усы. И профиль. Это — архитектор Власьев. А с ним — да ведь это Катя в новом весеннем костюме, которого я еще не видал!

Я догоняю их не сразу. Мне приятно неожиданно встретить в городе сестру. Но я чувствую, что Власьев будет не очень доволен нашей встречей. Вероятно, он провожает Катю после работы и хотел бы подольше остаться с ней вдвоем. Как хорош сейчас воздух, как приятно пройти под руку с красивой женщиной. Завидую Власьеву! Завидую, что Катя ему не сестра.

Я подхожу сзади со стороны Кати и слышу ее голос:

— Я-то понимаю... Я отлично все понимаю, ведь я не малый ребенок. И сердиться мне не за что, я вам верю. Но неужели вы не можете...

И Катя внезапно обертывается: она услышала и узнала мои шаги:

— Костя?

Она высвобождает руку, прижатую Власьевым, и бросается ко мне с настоящей радостью:

— Как хорошо, что я тебя встретила! Ты из университета? Я хотела сейчас к тебе заехать, но боялась не застать дома. У меня к тебе дело, и такое... ты никогда не догадаешься.

Власьев здоровается и старается быть приветливым; но вид у него немного убитый. Во всяком случае, я ему больше не завидую.

— Ты можешь, Костя, поехать сейчас ко мне?

— У меня экзамен, Катя.

— Завтра?

— Нет, через три дня. Последний. Впрочем — пустяковый, готовиться почти не нужно. Все важные я сдал.

— Ну вот что, Костя, мы дойдем вместе до Страстного, а там возьмем извозчика и поедем к тебе, только на полчаса. Нужно решить одно дело.

— Я с вами распрощаюсь здесь, — говорит Власьев.

И вид у него совсем не счастливый. Почему-то мне это приятно.

Катя протягивает ему руку:

— Завтра мы увидимся в студии.

— Слушаю.

— Я боюсь, что работу сегодня не подготовлю. Ничего?

— Пожалуйста.

— А дня через два — непременно сдам вам все, и тогда...

Власьев приподымает голову в ожидании, а Катя продолжает:

— ...и тогда вы дадите мне отпуск на месяц, а то и немножко больше.

— Отпуск? Дело ваше — но почему?

— Я вам после скажу. Я, кажется, уеду.

Он молча кланяется, слишком рыцарски и почтительно, и мы уходим.

— Куда ты хочешь уехать, Катя?

Она смеется возбужденно и весело:

— Никуда не собиралась, а вот сейчас, как тебя увидела, нечаянно решила. И я, Костя, ужасно рада! Я поеду с тобой к маме.

— Нет — правда, Катя?

— Ну да. Мне хочется видеть Волгу и Каму, и я соскучилась по маме.

— Мама будет так счастлива!

— И я буду счастлива.

— И я!

— Мы все, Костя. И это мне необходимо: уехать. Как это удивительно вышло, что я тебя встретила на бульваре. Точно судьба! Ты был мне в эту минуту всех нужнее.

— Какое же у тебя ко мне дело?

— Дело? Да никакого. Вот только это. Хочешь — поедем на Воробьевы горы или куда вздумается? Я не хочу домой. Сегодня чудесный день.

— Ты хотела ко мне?

— Нет, я просто хотела пробыть с тобой подольше, если ты только можешь, если твои лекции подождут. Я, кстати, голодна. Ты не обедал еще? Хочешь — поедем в «Прагу»?

— Лучше пройдем пешком, это ведь почти рядом.

— Ну вот и чудесно. Дай мне руку. Я тебя сегодня угощаю обедом. А скоро, Костя, мы будем есть пьяноборских раков и стерлядь кольчиком — на пароходе. Какая прелесть!

Мы обедали в «Праге» и даже пили вино. Катя была так весела и казалась такой счастливой, что я не мог приписать это только весеннему воздуху. Что-то с ней произошло.

Когда мы в третий раз чокнулись стаканами, она мне сказала:

— Я верю в судьбу. Мне сегодня очень нужно было немножко семьи, а здесь, в Москве, моя семья — только ты. Не к Лизе же идти мне с моими горестями! А детям не расскажешь. Мама далеко...

— Какие у тебя горести?

— Горестей, пожалуй, никаких нет, то есть новых. А могло бы случиться многое. Ну, теперь мы поедем к маме. Вот чудесно!

— Ты думаешь надолго поехать?

— Ну, на месяц, на два, пока поживется. Мне не хочется быть сейчас в Москве.

— Тут при чем-то Власьев?

— Он тебе не нравится?

— Почему же, он приятный человек.

— Да, он хороший человек. Он мне нравится очень. Но, конечно, он такой же, как все.

— Он объяснился тебе в любви?

Она ответила задумчиво:

— Это-то ничего. Может быть, он и действительно меня любит. Это-то ничего...

— А что же?

Катя отчетливо сказала фразу, которая, должно быть, давно в ней сложилась и которую она часто мысленно повторяла:

— Видишь, Костя, нигде и никогда ничего нельзя найти, никакой нельзя придумать себе жизни, чтобы сейчас же перед тобой не оказался человек, который смотрит поверх твоих желаний и интересов и который ждет от тебя одного и того же... Будь он самый хороший... Сначала ему нужна ты, а твоя жизнь — дело второе. И сразу все рушится. И так всегда.

Мне было приятно, что сестра так откровенна со мной. Я казался себе как бы старшим братом, призванным обсудить ее «дело» и дать ей мудрый совет.

— Ты странная, Катя. Но ведь так уж мир устроен, и ничего в этом дурного нет. По-моему, если тебе, например, нравится Власьев, ты могла бы развестись с Евгением Карловичем и выйти за Власьева замуж.

Она посмотрела на меня удивленно, но спокойно ответила:

— Да, конечно.

— Или... значит, ты его не так любишь.

— Не знаю, вероятно.

— Так в чем же дело, Катя?

Она отвечала рассеянно:

— Дело в том, что... я ведь говорю: так всегда и будет. Это очень трудно объяснить, Костя, и понять трудно. Нужно быть женщиной... Вот поэтому мне так хочется к маме. Мы поедем, правда?

— Конечно, поедем.

— Ну — вот и все. Вот и хорошо...

В ПРЕДУТРИИ

В юности, когда я еще всерьез мечтал сделаться заправским писателем и еще не угадывал, что жизнь моя незаметно протечет в работе, может быть и полезной, но далекой от области литературы, я нередко, любуясь картинами природы, мысленно пытался воссоздать их в слове. Никто тогда не сказал мне, что перо, даже в руках че-

ловека, всю жизнь посвятившего искусству слова, бес- сильно изобразить неизмеримую и поистине земную, близ- кую нам, почти домашнюю красоту тех мест, по которым лежал наш с сестрой путь из Москвы на нашу приураль- скую родину.

Теперь, лучше зная бессилие искусства и полную бес- помощность собственного пера, — я отсылаю к их воспо- минаниям тех моих читателей, которым есть что вспо- мнить и из памяти которых картины чахлой европейской природы не вытеснили очарования Камы, Волги, Урала, нашего Севера и нашей Сибири. Милостью судьбы, не скрывшей от меня ни одного уголка Европы — ни лазур- ных берегов ее Юга, ни ее скандинавских красот, — я мог проверить свои давние впечатления, мог сравнить и могу теперь сказать со спокойной уверенностью:

— Все, что есть прекрасного здесь, — есть и у нас; но и среднего нашего не найти нигде в Европе.

И я не буду лицемерить: это сознание вновь до краев наполняет русской гордостью мою душу, опустошенную рядом иных, слишком невыгодных для нас сравнений. За- терянный, затолканный в толпе чужих, самоуверенных, презрительных людей, — я снова чувствую себя сыном и гражданином великой, богатейшей и прекраснейшей из стран. И, страдая ее сегодняшними бедами, я радостно улыбаюсь ее будущему.

Я в него крепко верю. Это делает меня счастливым.

.....

В те дни цвела липа, и наш пароход разом рассекал и воды Камы, и воздух, густо напитанный цветеньем этого милого и ласкового дерева. По ночам не спалось в каюте, хотелось дышать сладкой свежестью реки и любоваться отражением в спокойной воде высокого берега, освещен- ного луной.

Гудел шедший сверху встречный пароход, коротким басом отвечал наш, матрос выходил из будки и размахивал фонарем — и там мелькал такой же фонарь на левом борту.

А иногда на нас надвигался едва видный ночью длин- ный плот с горящим на нем костром, нам кричали в ру- пор: «Лег-ше-е!», мы задерживали ход, — и все-таки голо- са на плоту провожали нас очень сложной бранью. Это была особая водяная жизнь, и плыли мы в объятьях трех стихий, очарованные музыкой ночи.

Когда луна скрылась, мы разошлись по каютам; как ни

прекрасна ночь, но ведь и утро прекрасно, и его было бы стыдно проспать. Мы встанем завтра пораньше и будем пить чай на палубе.

Эти трехдневные прогулки на пароходе в конце и в начале учебного года были для меня не только наслаждением, но и днями итогов прожитого и планов будущего. Сейчас я в последний раз ехал на родину студентом; будущим летом я вступлю в жизнь уже как взрослый человек,— и в этой жизни должен буду ясно определить свое место. И как ни был я молод и самоуверен, я все же понимал, что будущий путь моей жизни, весь путь, определится последним годом студенчества. Обдумать и наметить его — осталось не так много времени. А что я знаю? Куда я хочу пойти? Не выйду ли я на бездорожье в чистое поле?

В каюте, где всегда немного пахнет краской и мятым паром, было душно, и я долго не мог заснуть. Занавеска на окне посветлела — близилось утро. Я оделся, не забыв и теплого пальто, и вышел на палубу.

Река и ночью и днем постоянно меняет цвет и оттенки — в том ее главное очарованье. Был первый свет утра, которое рождалось в легчайшем тумане и неясных очертаниях. Я прошел на нос парохода, дивясь безветрию и любуясь борьбой ночи и утра.

И там я увидел сестру, которая тоже не спала и вышла в теплом капоте и оренбургской шали. Она сидела на палубной скамейке, подобрала ноги и сгорбившись. Когда я подошел, она не удивилась, что я не сплю, не двинулась и только взглянула на меня мутно глазами, полными слез, которых она не вытирала.

Я не спросил, почему сестра плачет,— почувствовал, что спрашивать нельзя. В полусумраке раннего утра лицо Кати показалось мне некрасивым, осунувшимся, постаревшим. Может быть, мне не следовало подсаживаться к ней, но теперь уйти было уже нельзя.

Мы сидели рядом не менее получаса — и слезы Кати все лились, ровно и безудержно. Если бы она рыдала, билась в истерике, ломала руки,— было бы понятнее и легче. Но я видел, что у нее нет сил даже пошевелиться. Слезы не смачивали шерсти ее шали и скатывались на колени.

Стало светлее, сидеть было холодно. Я не знал, что делать, и смотрел на бегущий берег, чтобы не смотреть на Катю.

Наконец она пошевелилась, и я решился сказать:

— Холодно. Ты не пойдешь в каюту?

Она не ответила, но сделала попытку встать. Я помог ей, и она оперлась на мою руку. Я довел ее до двери каюты, как больную или старую женщину, и слышал, как она опустилась на диван. Я подождал у двери,— больше ничего не слышно.

Помню: я не задал себе вопроса, почему сестра плачет, что могло вдруг так сломить ее, всегда такую бодрую и выдержанную. Я увидел ее горе — и принял его как естественное. Оно меня огорчило, но как-то не поразило неожиданностью; может быть, потому, что я увидел его нечаянно, в час, когда все, кто не спят, живут своим — не ожидая свидетелей. Может быть, это была не первая Катина ночь в слезах,— только раньше я не видал ее. Ведь и я не всегда был наедине таким, как на людях.

Я очень озяб и утомился. Закутавшись потеплее, я не успел задуматься над Катинной жизнью, еще одна страничка которой мне только что открылась. Ровный стук паровой машины хорошо убаюкивает.

О ЧЕМ ПЛАКАЛА КОРОЛЕВА?

В последний день нашей чудесной прогулки мы много говорили, и сестра впервые была со мной до конца откровенна. Она сказала мне:

— Ты не подумай, что я тогда плакала из-за разлуки, что ли... Тут, Костя, совсем другое. Мне очень нравится Власьев, очень, я тебе говорила. Ведь он отличный человек, и талантливый. И он меня любит, я знаю. Но он любит меня по-своему, а не так, как мне нужно. Я не осуждаю, но я так не могу. Ты понимаешь?

— Нет, Катя. Как же ты хочешь, чтобы тебя любили?

— Это так трудно объяснить... Ну вот мы работаем вместе — планы там, чертежи, вычисления. Меня это увлекает. И в каждую минуту я чувствую на себе его взгляд, если даже он в действительности и не смотрит на меня. И взгляд особенный, как смотрят мужчины на красивую женщину.

— Это так естественно.

— Может быть — но я не хочу. Он здоровается со мной за руку — и в его пожатие нет простоты; иногда он передает мне какую-нибудь бумажку, серьезно, без улыбки.

ки, — а я вижу и чувствую, что он не просто на меня смотрит, а точно дотрагивается до меня глазами, воровски и очень нехорошо. Он очень выдержан, я ни в чем его не могу упрекнуть, — но я перед ним стою... ты меня, Костя прости... точно не одетая, и мне хочется закрыться и отстраниться. И это так неприятно, так мучительно.

— Я думаю, это оттого, что ты его не любишь. Если бы любила — тебе бы это было даже приятно.

— Приятно? Нет, никогда! Я, Костя, женщина, я очень женщина, и чувствую, как женщина, и все я знаю. Но, понимаешь, есть моменты... нельзя так подходить к женщине, это обидно! Можно потом, когда уже близость... в какой-то особой обстановке. Но с этого начинать... очень трудно тебе объяснить. Стыдное я тоже могу любить — но тайно, не говоря об этом во всякую минуту, не убивая этим другое. Нужно приблизиться понемногу, может быть даже что-то скрыть, я не знаю...

— Оценить в женщине человека?

— Да, хотя это, конечно, звучит слишком сухо и торжественно или казенно, как формула. Оцени или недооценивай, только подойди просто, без этой... чувствительной дрожи. Я бы простила даже невежливость и грубость, а вот с этим помириться не могу. Вот твой Мартынов — он взял да и опрокинул стол.

— Ну, он был пьян.

— Пьян, а не позволил себе того, что позволяет иной трезвый и разумный человек. Никогда Мартынов не смотрел на меня дурно или обидно! И я его очень уважаю.

Я улыбнулся: стоит ли говорить о Мартынове!

Потом она говорила:

— Вот и у твоей сестры был роман; правда — довольно смешной. Ты знаешь, тогда на бульваре, когда я тебя встретила, он мне «объяснился». То есть объясняться-то было, конечно, нечего, и так ясно было, но он считал нужным изложить все это на словах, в соответствующих выражениях. Это было немножко смешно и настолько трогательно, что я в него почти влюбилась. Он понял и сразу стал говорить о каких-то своих надеждах, хотя, повторяю, он хороший и порядочный человек.

— И что же ты ответила?

— Я хотела ответить, что слова его излишни, что я и без них все знаю и понимаю. Но я не успела сказать, как

подошел ты, и я внезапно решила, что уеду с тобой и тем кончатся все возможные объяснения.

— Ты назначила ему встречу на другой день?

— Да, но я не была. Я написала ему письмо, очень коротенькое, и отослала свою работу.

— И вы больше не видались?

— Нет. Я бы могла, конечно, но мне не хотелось.

— Вы еще встретитесь.

— Нет, Костя. То есть встретиться мы, конечно, можем, но тот разговор не вернется. И я не позволю, и он не захочет.

— Какой же это тогда роман! И какие вы не живые люди!

Катя рассмеялась. Она уже успокоилась совершенно:

— Да, это не роман. — Это — попытка твоей сестры иметь свой роман. Неудачная попытка.

— Тебе не жаль, Катя?

— Да, мне жаль. Но иначе не могло быть. И мне кажется, что мама меня одобрит.

— Ты все ей расскажешь?

— Да, все. И про дом, и про это. Я затем и еду к маме. Костя, ты не думай, что я трусливая или холодная. О, я на все могла бы пойти! Но я так трудно жила — и столько лет! — что ни на какой дешевый выход уже не способна.

— Ты — наша королева!

— Вот. Я — королева, которая плачет о том, что она не пастушка. Плачет под утро на палубе парохода...

ВОЛОС

Мне очень памятно лето, которое мы с сестрой провели у матери в провинции. Никаких событий не было, и памятно мне оно только тем, что вот опять я видел Катю прежнюю, какую жила она когда-то с нами. Хоть и не та девочка, что, ожидая ребенка, играла в куклы и обижалась, когда над ней подсмеивались, — а все-таки прежняя, домашняя, как будто бы она и не покидала нашего дома, всегда жила с мамой и не была отрезанным ломтем. Так было нам хорошо с нею, что и мне начинало казаться, будто и я не студент на выпуске, не почти готовый мужчина, а недавний Старый Директор, Котик во фланелевом костюме, азартный игрок в бабки, которого за эту страсть запирают вместе со старшей сестрой в темный чулан.

У мамы в маленькой ее квартире было нам тесновато,

но хотелось оставаться вместе. Я днем пропадал, болтался со старыми приятелями, особенно усердно катался на лодке, удил, иногда уезжал с ружьем на охоту в лес, который начинался сейчас же за городом. Река притягивала и Катю, и несколько раз мы катались вместе: плыли обычно до острова, там высаживались, лежали на песке на отмели или забредали в густой кустарник, просто так, чтобы крепче обняться с природой и отдохнуть душой. Но чаще Катя оставалась с матерью. И никак я не думал, что так много у них тем для разговоров. Дня не хватало — и они, как и прежде бывало, шептались по ночам. Шепчутся-шепчутся, а наутро Катя ходит по комнате на цыпочках, — значит, свершается в ней что-то важное. Мама к ней добрая, ласкает ее, думает о ней, помогает. Все это я видел, и я понимал, что материнские советы Кате важнее и нужнее, чем моя дружеская и братская болтовня.

Сестра прожила с нами два месяца, все время с мамой, не заводя знакомств и не возобновляя старых. Помню, только одна гимназическая подруга навестила ее — и они проговорили до вечера. А когда она ушла, Катя сказала:

— Странно, вот я живу в Москве, а она в провинции. Обе мы замужем, у обеих дети. Но выходит, что я — ужасная провинциалка и отсталая женщина. То, что она мне рассказала про свою жизнь, просто невозможно. Как она может, ну как она может! И главное, она себя чувствует довольной и счастливой. Я бы... не знаю... да просто я так не могла бы. А когда-то мы, гимназистками, были очень близки и дружны, вместе мечтали. Ни у меня, ни у нее из этих мечтаний ничего не вышло. Но она нашла совсем другое — и утешилась, а я...

— Ты все еще мечтаешь?

— Нет... Но только я ничего не нашла.

Ночью сестра и мать опять долго-долго шептались. Мамин шепот был, как всегда, ровен и спокоен, а Катя шептала взволнованно, так что иногда доносились до меня отдельные слова. Она говорила что-то о доме и о детях. Были ее жалобы водопадом, а мамины слова — тихим ручейком. И побеждал, конечно, ручеек.

Когда Катя уезжала в Москву, я поехал проводить ее до ближайшей пристани — часах в трех водного пути. Был дождливый день, и мы сидели в рубке парохода. Катя подошла к зеркалу поправить волосы и потом подозвала меня:

— Хочешь взглянуть?

— Что такое?

— Вот — седой волос; первый снег.
— Просто больной. Рано тебе сесть.
— Нет, он седой, и не один.
— Ты очень огорчена?
— Чем? Что я поседею? Нет, Костя. Вот мама совсем седая, и ты когда-нибудь поседеешь. Все это неважно.
— А что, Катя, важно?
— Что важно? Важно — вовремя это заметить. И очень важно помнить, что это неизбежно. Тогда не будешь так огорчаться и легче определишь свое место.
— Тебе мама внушила такие мысли?
— Мама сказала мне много хорошего. Только бы найти в себе достаточно силы...

Мы обнялись. С парохода сестра долго махала мне белым шарфом. Было грустно с ней расставаться. Пароход прощался с берегом свистками. Дождь продолжал моросить.

Около часу я ждал на пристани встречный пароход. На берегу была непролазная грязь; ею зашлепаны были мостки и пол в комнате, где несколько человек ждали парохода. На окнах — большие сонные мухи. Я вспомнил, как мальчиком на таких мух ловил с пристаней рыбу: только опустишь лесу с приманкой — бросается на нее целая толпа рыбешек. Среди ожидавших парохода была семья богатого татарина. Сам он был уже довольно стар, а жена его молода и, должно быть, хороша собой; но она прятала лицо — только черные глаза поблескивали. Подсел к ним сельский батюшка. Разговаривали мирно, солидно.

«Вот — живут люди! Будем жить и мы».

Лето быстро пройдет. Прощусь с матерью — и опять в Москву, заканчивать свою науку. Дальше — видно будет. Мать стала совсем старенькая. Может быть, вернусь к ней, найду себе службу в провинции. Женюсь. А может быть, потоком жизни унесет меня далеко, совсем в новые края. Этот год должен решить многое.

О чем сейчас думает Катя? О своем седом волосе? О «неудачном романе»? Или она плачет? Или смотрит сквозь сетку мелкого дождя на высокий берег реки?

Татарин вышел наружу, потом вернулся и сказал:

— Идет снизу наш!

Батюшка радостно закивал, татарка покосилась на меня черным глазом, и мне стало веселее. Все стали готовить вещи. Мухи на окнах не проявили никакого волнения: они привыкли к тому, что жизнь проходит мимо них.

В один из первых дней по приезде в Москву я встретился на Тверской в Власьевым.

— Здравствуйте.

— Ах, здравствуйте!

Мы пожали друг другу руки и не знали, о чем говорить.

— Гуляете?

— Да так, делать нечего.

— Я приблизительно тоже. Не зайдём ли к Филиппову выпить кофе?

Власьев показался мне сереньким, — а обычно он был бодрым и элегантным. Может быть, действительно скучает или хочет таким казаться.

— Вы ведь в этом году кончаете?

— Да.

— И что же дальше? Останетесь в Москве?

Все эти вопросы — лишь для разговора. А оба мы в эту минуту думаем о Кате. Я знаю, что она с Власьевым не встречалась. Ему, конечно, хочется расспросить меня о ней. Мне как-то жалко Власьева — приятный человек, дельный. Раз уж он нравился Кате, значит, он этого заслуживал. Ощущаю в душе снисходительную к нему ласковость.

— Бываете часто в Сокольниках?

— Нет, у нас начались лекции.

Он решается сказать:

— Очень обидно, что ваша сестрица бросила архитектуру. Она так талантлива, могла сделать большую карьеру.

— Да. Она точно так же бросила и музыку. А ей сулили успех.

Туго подвигается наша беседа. Я вижу, что Власьеву не хочется со мной расстаться. Из кофейной Филиппова мы проходим на бульвар. Он интересуется, пью ли я пиво. В его время студенты любили собираться в пивнушке вон там на углу.

— Хотите?

Пивнушка довольно грязна. Бильярд накрыт рваным зеленым коленкором, маркер дремлет. За бутылкой дурного и крепкого пива, к которому нам подали мятных пряничков и кусочки воблы, разговориться легче. Оказывается, что мы с Власьевым давно чувствуем друг к другу большую симпатию. Мы чокаемся и ласково смотрим друг

другу в глаза. У него глаза большие, серые и действительно немного грустные.

— Ваша сестра как-то говорила, что вы — ее единственный друг, что она к вам очень привязана.

— Да. Это с детства. Я мальчиком любил ее, пожалуй, больше, чем мать. Нас в чулан вместе запирали.

— За что же это?

— Меня так, за шалости, а ее со мной, чтобы мне не было страшно. Мы и подружились.

Мне приятно хвастаться дружбой с Катей. Власьев пьет горькое пиво и, кажется, немного хмелеет. Смотри в сторону, он говорит:

— Для вас, вероятно, не новость, что я отношусь к вашей сестре с исключительной... с исключительным...

Он не может придумать слова. Я молчу.

— Или, скажем проще, я очень был... и есть... увлечен ею. Она об этом знает. Я мог бы сказать, что я ее любил.

Я все-таки молчу. Пусть исповедуется, вероятно, это ему нужно. Он продолжает:

— Удивительная она женщина! Другой такой не может быть. И не думаю, чтобы она была счастлива в жизни.

И все-таки я молчу. Я сам знаю, что такой женщины, как Катя, больше на свете нет. А Власьев говорит:

— Я тоже несчастлив. Вот я работаю по-прежнему, и на курсах, и частным образом. И все-таки — черт знает, чем все это кончится! Может быть, удеру за границу года на два.

За третьей бутылкой он гладит меня по рукаву и нетвердо говорит:

— Когда испытаете с мое — поймете. Меня поймете. А ее — ее никто не поймет. И я не понимаю; люблю — а не понимаю. За что меня так отталкивать? Разве я — дерзкий человек? Или разве я что позволил себе? Вот клянусь — никогда! Если бы она хотела, только бы одно слово сказала, — вы понимаете, ведь я — человек свободный, и я молодой, у меня хорошее положение. Если бы я ей был противен, что ли, а ведь нет, я знаю. Она мне сама говорила: вы мне нравитесь, а только... А что только? Семья! Эх, какая там семья! Муж ее — ведь все про него знают, да он уж и стар. Вот вы — юноша и правдивый человек, и сестру любите — скажите: разве ее жизнь сладка? Разве ей такая жизнь нужна? Ну?

— Ей жить нелегко.

— Вот! Какое пиво дрянное, в голову бросается. Вы

простите меня, что я так откровенен. Мне очень скучно, рад, что вас встретил. Я на вас, понимаете, переношу это чувство.

— Спасибо.

— Тут не спасибо, а... Вы вот скажите, что же мне делать?

— Не знаю.

— Не знаете... И я не знаю. Надо нам еще спросить бутылку, хотя ужасная дрянь. Отвык я от пива, что ли... Мне, дорогой мой, так плохо, так плохо, что и сказать трудно.

Оказывается, я крепче Власьева или больше привык к дрянному пиву. И так как я трезвее его, то я его немного презираю: тряпка! И эта тряпка, этот нытик несчастный смел думать о Кате! А Кате нужен герой — если ей нужен кто-нибудь.

— Эх,— говорит Власьев,— закатиться, что ли... хотите, закатимся куда-нибудь?

— Нет, я не хочу закатываться.

— Отчего? А впрочем — я ведь тоже не хочу, я только так, от тоски...

Мы выходим, и он говорит:

— Вы ей скажите, что я, Власьев, как был, так и теперь...

— Ничего я ей не скажу.

— Что? Вы не хотите?

Я зло и грубо отвечаю:

— Я не почтальон. Хотите — скажите сами.

Он трезвеет:

— Ну, зачем же так. Вы меня простите, я не хотел. Только ведь как же я могу сказать? Ехать к ней я не смею, и писать нельзя — она мне запретила. Случайно?

— Ну и не смейте. А меня это не касается.

— Вон вы какой...

— Да уж такой.

Мы идем молча. На перекрестке я подаю руку и говорю:

— Мне здесь направо, до свиданья.

Власьев молча прощается. Он, по-видимому, смущен или раскаивается, что был так откровенен. Я же не очень понимаю, почему я ему нагрубил. Но он стал мне противен. Как он смел думать о Кате? Катя — королева, а он кто? Пусть закатывается куда хочет или пусть едет за границу. Да не поедет — и так пройдет! А я считал его

раньше сильным человеком... «Не смею!» Еще бы осмелился!

В душе у меня растет гордость Катей. Люблю ее до слез — и чту ее, как святую. Никто не достоин Кати, нет такого человека! Все — Иван Ивановичи. Разве мы можем понять ее?

А может быть, я потому рассердился на Власьева, что я сам виноват: позволил произносить имя Кати в грязной студенческой пивнущке!

ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Если вдуматься хорошенько, то ведь все это впечатления, которые я стараюсь сейчас выдвинуть на первый план, в действительности были для меня, по тому времени, второстепенными. В центре жизни стоял я сам, и для меня сменялась ночь днем, и для меня листки календаря мелькали черными и красными цифрами. Есть ли такой маленький человек, для которого ось мира не проходит через его бытие? А уж в молодости — и говорить нечего!

Удивительно, как быстро и незаметно пришла и ушла моя сознательная, взрослая жизнь. Каждому есть что вспомнить и чем похвастаться, — а мне, пожалуй, нечем. Необычны и сложны были в ней только последние годы — пора революции и беженства. Но они для всех были сложными и необычными. Таких биографий — десятки тысяч, это даже не тема для рассказа. И, кажется, я поступаю правильно, не усложняя моей повести о сестре собственными своими переживаниями: они ни в ком не пробудят любопытства.

Наступил последний день моего студенчества. Я не жил больше с Мартыновым и даже почти с ним не встречался. Не удалось бедному Мартынову изжить отцовское наследие: он опустился окончательно, пил без просыпа и кончил, как кончало немало способных русских людей: сторел от вина. Он, кажется, и университета не кончил, хотя точно не помню, настолько резко разошлись наши пути. И в последний год я жил один, много занимался и у сестер бывал редко, больше у Лизы, жизнь которой ни в чем не изменилась: пирожки, салфеточки, «мой муж», маленький круг знакомых, солидных, удовлетворенных своим бытом. К двадцати пяти-шести годам Лиза была уже совсем почтенной женщиной, ни в чем не усомнившейся, нашедшей свою линию раз навсегда.

В Сокольниках, у Кати, внешних перемен тоже не было; только случилось, что как-то сразу выросли ее дети. Володя заговорил скрипучим баском, Леночка неуклюже вытянулась. Раньше детей не было видно — теперь они появились за обедом и даже сидели с нами по вечерам. И еще обнаружилось, что между ними и матерью существуют какие-то сложные, словно бы таинственные отношения, что Лелечка, у которой теперь уже не было больше ее важной няни, старается во всем подражать матери, а Володя относится ко мне покровительственно, а к матери с оттенком рыцарства: пододвигает ей за обедом солонку, следит за ее желаниями, приносит оренбургский платок — если мать делает нервное движение плечами. Евгений Карлович по-прежнему исчезал по вечерам и редко удостаивал нас беседы. Но и с ним произошла перемена: он постарел и полинял. Может быть, все это произошло постепенно, но для меня было внезапным открытием. Ведь я и сам в этот год сразу вырос и стал совсем взрослым человеком.

Исчезла — как не бывала — Катина мастерская: чертежи, фотографии, калька, свертки планов и проектов. Даже огромный стол переехал в комнату Володи и был теперь завален его книжками. Целый кусок Катиной жизни — лучшего ее увлечения — исчез без следа. Об архитектуре она больше не упоминала. Зато ожил рояль, но не для музыкальных ее фантазий: Лелечка, под руководством матери, играла гаммы и разучивала легонькие сонатины Бетховена.

Однажды в воскресный день я застал Катю в необычной компании: за серьезной беседой с подростками, гимназическими товарищами Володи. Мой приход всех их смутил; очевидно, со мной они не могли говорить так просто, как с Катей. Сестра, тоже смущенная, сказала:

— Мы тут рассуждаем о высоких материях; может быть, ты к нам присоединишься?

— А о чем именно?

— Да вот говорили об Ибсене — о «Норе» и о «Строителе Сольнесе».

Мне было стыдно признаться, что я читал только «Нору» и не мог бы поразить мальчиков своей студенческой мудростью. Поэтому я уклонился, сказав, что это «не по моей части» и что я пройду пока наверх. По-видимому, я все-таки помешал беседе, так как скоро сестра пришла ко мне.

— Очень славно с ними! Они так увлекаются и говорят столько милых и наивных слов.

— Они тебя не стесняются?

— По-моему, нет. Мы так подружились с Володей, а он среди них — авторитет. Я ничего им не проповедую, больше слушаю.

— У тебя педагогические способности.

— Нет, Костя, ты это не так понимаешь. Мы действительно дружны. Разумеется, я среди них — старуха; но меня эти разговоры увлекают. Ты подумай: ведь мальчишки, а как они серьезны и как все понимают! Разумеется, они прямолинейны, даже немножко беспощадны. Сегодня один из них, ты заметил — белокурый, он постарше других, сказал, что «Нора» — порядочная мещанка и что тут настоящей драмы нет. По-моему, неглупо. Но особенно их увлекает «Строитель Сольнес». Стоит послушать их разговоры.

— Ты, Катя, очень подружилась со своими ребятами.

— Да. Особенно с Володей. Лялька еще мала. Но знаешь, что я замечаю? Лялька к десяти годам будет гораздо мудрее, чем я была в семнадцать, когда кончала гимназию. Откуда это у нее — не понимаю. Она как-то и к куклам равнодушна.

— А ты играла, уже выйдя замуж.

— Да, помню, для меня куклы были особым чудесным миром. Лучшего мира у меня и не было.

— А мир музыки?

— Да, пожалуй, и это. Но я в звуках жила, а вот Лялька как ни мала, а смотрит на музыку, как на работу. Может быть, это и нехорошо. Но у нее прекрасный слух, и она очень прилежна. Не бывало случая, чтобы она плохо приготовила урок.

— Ну что ж, Катя, может быть, твои дети будут больше приспособлены к жизни, чем мы с тобой.

— Чем я — конечно. Твоя жизнь, Костя, только начинается.

— Начнется она скучно. Вот закупорюсь в провинции, службу возьму — и все.

— Ты когда-то мечтал о писательской карьере.

— Когда-то мечтал. Мечтать, Катя, не возбраняется. Разве ты не мечтала о самостоятельной работе, об архитектуре, а то раньше — об опере?

Катя ответила испуганно:

— Да, но это было... с этим, Костя, покончено.

— Навсегда?

— Навсегда.

Она подумала — и еще раз уверенно повторила:

— Навсегда!

Дети... О них сестра говорила теперь постоянно. Не знаю, был ли это завет нашей матери или сестра сама открыла для себя новую страницу жизни и новый интерес, — но в последний год моей московской жизни я заставлял ее всегда с Лелечкой или Володей. С Лелечкой они что-то шили, кроили, серьезно обсуждали или играли на рояле, с Володей они казались заговорщиками. К Володе я даже несколько ревновал сестру, — она нашла в нем друга, на смену мне.

В конце зимы серьезно заболел Евгений Карлович. Он лежал недели три, и вдруг оказалось, что этот холодный и как бы чужой в семье человек — такой же беспомощный ребенок, каким была Лелечка, не хотевшая есть каши.

Он стонал, жаловался, его комнаты перестали быть святилищем, к нему приносили поднос с куриным бульоном и пузырь с горячей водой. Сестра проводила ночи у его постели — и было странно думать, что вот все-таки она, не какая другая женщина, например не та, которую мы встретили на цыганском концерте, поправляет ему подушки, ставит ему компрессы и отмечает его температуру. Я видел, что сестре тяжело и что больной капризен и порою груб с нею. Совсем случайно, ночуя у них, я подслушал однажды его больной и резкий окрик. Не знаю, каков был повод, — вероятно, и не было никакого, — но до меня ясно донеслась его фраза, визгливая и истерическая:

— Ну и оставь меня в покое, и ступай к своему Власьеву!

Я замер от ужаса и отвращения. Если бы Евгений Карлович не был болен, я, вероятно, бросился бы на него с кулаками. Голос его умолк, затем я слышал, как сестра ушла к себе в комнату, соседнюю с моей, и как все в доме умерло.

Пусть больной — но как он смеет! Я дрожал от волнения и рисовал себе картину какой-то страшной мести, придумывал резкие, обличающие слова, которые я крикну этому противному старику, изломавшему жизнь моей сестры.

Не постучав, вошла Катя:

— Костя...

— Я не сплю, Катя. Что ты?

— Ты не спишь... Костя, я сейчас уеду, мне нужно немедленно уехать. Ты поедешь со мной?

— Куда?

— Я не знаю. Я не могу больше здесь жить. Я тебе потом скажу...

Катя старалась говорить спокойным голосом, но я видел, что она дрожит от волнения. Я сказал:

— Я еду с тобой, куда хочешь. Можно пока поехать ко мне, а потом... я не знаю... верно, ты поедешь к маме? Я сейчас встану, Катя.

Она вышла, а я стал поспешно одеваться. Куда нам ехать ночью? Даже и извозчика в Сокольниках ночью не найти. И вообще — что же это такое будет! И в то же время непременно нужно решительно ответить на грубость, на эту дикую выходку Евгения Карловича. А как же он останется один, больной? Ну, это уж его дело! Катя знает лучше.

Я слышал, как в Катиной комнате выдвигались ящики комода и шуршали по полу ремни чемодана. Потом сразу все стихло. Одетый, я ждал. Прошло с полчаса. Тогда я решил пойти к Кате. Она сидела на постели и смотрела на вещи, лежавшие на полу. Когда я вошел, она улыбнулась и сказала ласково и виновато:

— Прости меня, Костя. Конечно, я никуда не поеду. И некуда. Прости меня! Я не сдержалась, и это очень плохо.

— Я ведь все слышал, Катя. То есть я слышал одну фразу.

— Ну и все... Ложись, милый, и прости меня.

— Но, может быть, Катя, и правда, лучше тебе уйти совсем?

— Нет, Костя. Какие пустяки! И он — больной. У меня уже прошло...

В глубине души и я думал, что так лучше. «Главное, — думал я, — извозчика нет, как же без извозчика?» Сейчас мне это казалось самым важным. Если бы днем — тогда гораздо проще...

Катя вышла, потом на минуту вернулась что-то взять, потом я услышал в комнате мужа ее обычный, спокойный и ровный голос. Вот она сошла вниз — за горячей водой для пузыря. Мне остается пойти к себе и лечь спать. Какая сильная Катя! А может быть, наоборот — она слишком слаба для такого решительного шага? Как ей трудно...

Он встал худым и постаревшим. В их отношениях ничто не изменилось. Поправившись, он опять проводил свои вечера в городе.

Наступила весна — пора моих государственных экзаменов. Они не были мне страшны, — но все же о визитах к сестре нельзя было и думать. Я приближался к преддверью самостоятельной жизни.

Я думаю, что наши души с сестрой были связаны невидимыми нитями. В те дни, когда она рвалась куда-то и требовала от жизни многого, — и я был мечтателем, и мне хотелось перегнуть судьбу и овладеть ее путями. Но вот Катя успокоилась — нашла что-то или надумала; и странный, неожиданный покой вошел в мою жизнь. Из многих юношей, бывших моими сверстниками, я мог бы назваться тогда самым уравновешенным и самым уверенным в том, что звезды на небе светят для всех, но не всем суждены полеты. Я сознательно готовил себе маленькую жизнь — и уже занес ногу на первую ее ступеньку.

КОНЕЦ

Как будто бы мы долго гуляли вдвоем в горах и вот, на склоне дня, простились на высоком холме, откуда на две стороны видны две долины: там — кучка домиков, здесь — городок твоего бытия. Прощай!

Разойдясь, мы аукаемся, пока эхо гор доносит звук. Затем наши голоса замирают, и мы молча спускаемся каждый по своему склону — к своей судьбе. День гаснет. в домиках зажглись огни. Дружба не забыта, но ум каждого из нас уже занят заботами своей долины.

Прощаясь, мы не могли думать, что больше не увидимся никогда. Это просто как-то не приходило в голову. Мы были молоды, и мы привыкли к встречам и расставаньям. Сестра приехала на вокзал проводить меня, мы обнялись и пожелали друг другу лучшего. Она уверяла: — Ну, ты долго не засидишься у мамы: затоскуешь по Москве!

И я думал, махая ей из окна вагона шляпой:

«Без Москвы трудно! Здесь много осталось милого».

Я застал мать больною; за последний год она очень ослабела и почти ослепла, уже не могла писать писем и поручала это мне. Она мечтала об одном: чтобы я пожил с

нею до ее смерти. А что дни ее не будут долгими — мать хорошо сознавала. И еще она хотела, чтобы я женился:

— Ты — мой последний. Повидать бы и от тебя внука — да и на покой!

Я не буду рассказывать о своей жизни. Только скажу, что я оказался послушным сыном и что мечта моей матери исполнилась: она умерла вскоре после того, как я стал отцом.

Из многих смертей, которые мне довелось оплакивать, смерть матери была самой легкой и самой понятной. Когда, много позже, я потерял жену, с которой прожил долгие годы мирно и любовно, и почти тогда же потерял сына, убитого в гражданской войне, — я и их смерти принял как тяжкое, но возможное, оправданное жизнью. Вспоминая о них, я не задаю себе вопроса: «Зачем они жили и за что погибли?» Моя жена умерла в тягчайший год России, — и, быть может, для нее лучше, что ей не пришлось скитаться по чужим землям, как приходится мне. Сын мой знал, на что идет; я его не удерживал — да и не мог бы. Их судьба мне понятна.

Но непонятной и ничем не оправданной кажется мне судьба моей сестры.

Расставшись, мы редко переписывались, особенно с тех пор, как выяснилось, что я останусь в провинции, где уже нашел службу, и что я женюсь. В этих редких письмах сестра писала мне только о своих детях — ничего о себе. Когда у меня начались свои заботы, переписка наша невольно оборвалась. Так прошло года три.

И вот однажды я получил письмо от своего племянника Володи, который уже кончал гимназию, — письмо коротенькое, хорошее, умное и почтительное. Он писал между прочим, что мама его очень больна, что она часто вспоминает обо мне и просила его мне написать. Скоро ей будут делать серьезную операцию, исход которой трудно предвидеть.

Письмо Володи очень меня опечалило, и я просил его написать мне о том, как сойдет операция и что это за болезнь. Он вскоре ответил, что все пока сошло благополучно, если не будет рецидива, и что предполагают рак.

Я с удивлением вспоминаю, как мало места в моих мыслях заняла болезнь сестры. Моя личная жизнь текла ровно и однообразно, в маленьких заботах, в таких же маленьких радостях; дни тянулись долго, — месяцы же мелькали незаметно. Да как-то и ум не мирился с мыслью,

что болезнь Кати может иметь роковой исход, что смерть не всегда ждет старости, а косит и молодых,— да не так уж и молода моя сестра, уже ушли ее лучшие годы. И мне казалось, что вот все это разъяснится, а может быть, уже и прошло. В тихой жизни всегда охотно гонишь тревожащие думы. День прошел — и прекрасно; пусть и завтрашний пройдет так же тихо и безболезненно, а там еще день. Довлеет дневи злоба его!

И я долго не мог понять весь смысл нового письма Володи, которое принес почтальон вместе с газетами и обычными повестками:

«Дорогой дядя! Мама умерла вчера после повторной операции. Последние месяцы она очень страдала, и смерть была для нее избавлением. Мы в большом горе. Подробнее написать тебе пока не могу».

Это было весной. А весна в наших краях так хороша. Весна у нас долгая, ласковая, душистая. Река вскрывается, потом теплые дожди, потом цветы, белые, лиловые, всякие, и много их. Цветет сначала черемуха, после сирень и еще позже липа. Потихоньку наступает лето, тоже прекрасное, осторожное — не сразу жара. У нас и осень хороша, и даже зима — сухая, чистая, морозная. В наших краях и смерть не кажется злом и обидой, а кажется сном, неизбежным, когда тело устало жить. Хоть и непонятно: зачем нужно судьбе, чтобы иные люди проходили мимо счастья — прямо к вечному покою...

Так умерла моя любимая сестра.

Если бы я был заправским писателем и хотел создать художественный образ,— я бы, вероятно, постеснялся так подробно повествовать о женщине, ничего в своей жизни не сотворившей, не угадавшей своего пути, даже не сумевшей выковать свою долю счастья. Я хорошо знаю, что моя сестра — не героиня романа, не только современного, но и по тогдашним временам. Но эти записки — не выдумка, а только дань памяти, братский долг — без попытки забавить читателя занимательным чтением.

И я знаю: то, что раньше порождало сомнения и создавало неразрешимые душевные драмы,— то сейчас едва вызывает улыбку. Жизнь так изменилась: внешне стала гораздо сложнее, а внутренне — много проще. Сейчас женщине все открыто и доступно; ей не к чему ломать свою жизнь только из-за того, что ей не верен нелюбимый муж или что человек, который ей нравится, не похож на созданного мечтою героя.

И только одного я не знаю: точно ли нынешняя, духовно упрощенная и независимая женщина счастливее прежней, сжимавшей свою волю обручем семейных обычаев и обязанностей, боявшейся продешевить себя и свою жизнь? Наблюдаю, приглядываюсь, — а не знаю, не уверен, не могу решить... Мне все кажется, что в образе жены и матери, более способной на жертву, чем на сопротивление, есть какая-то своя особая ценность, как в картине старого мастера. Правда, эта чистота и эта цельность сейчас на житейской бирже не в спросе.

Но ведь и все мы, люди старые, люди прошлого, теперь не в спросе и никому не нужны. Нам пора в историю, если в ней найдется для нас место. И только один упрек я мог бы сделать современности: она не уготовала для нас спокойного ухода, она заставляет нас — в последние наши дни — переживать непосильное. Вместо мирного ухода — она сделала нас участниками трагедии, которая не по плечу и многим молодым. Это жестоко — но что же делать!

ЛИСТВЕННИЦА

Моя повесть о сестре кончена.

Я рассказал о ней то, что знал и что видел. Видел я и знал, конечно, не все, только очень малое. Как ни были мы с нею дружны и близки, — а в душу к ней я заглянуть не мог. Я и слезы ее видел только раз — на реке, в предрассвете, когда она не ждала свидетелей. Сколько их пролито — не знаю. И я, плохой друг и нечуткий брат, не знаю, бушевали ли бури в душе бедной моей сестры или она умела сдерживать их, как не всегда удается и сильному мужчине. Она для меня во многом осталась загадкой, моя бедная Катя.

Часто, особенно теперь, когда я совсем один и стар, — думая о сестре, я вижу ее ясно, и девочкой, и взрослой, и такой, какую сам ее наблюдал, и даже такой, о какой знал только по семейным рассказам, особенно материнским.

Бойкий ребенок, все перенимающий у взрослых, девочка с рано проснувшимся чувством материнства, подросток, зачарованный поклонением настоящего большого человека и отдавший ему жизнь, оскорбленная женщина, себя же и покаравшая за это оскорбление, даровитый человек, бросивший ветру свои дарования, подвижница, при-

нявшая посвящение и ушедшая в заботы о детях и о любимом муже. Так я о ней думаю, — но разве я знал ее по-настоящему? Трудно понять целиком русскую женщину!

Вот она плачет на сундуке, сидя со мной в чулане. Вот она крутит локон на виске, упрямо повторяя фразу из учебника Иловайского. А вот — таинственно ходит на цыпочках, решает что-то очень важное. Вот она, уже замужняя дама, грозит пальцем кукле:

— Ага, ты не хочешь слушаться мамы? Тебе не нравится красный бантик?

А вот она в моей студенческой комнатухе, среди юных своих поклонников, общий кумир, королева в бумажной короне. И вот — певица божьей милостью, будущий архитектор, слабая женщина, испугавшаяся любовной тени. И опять — безудержные слезы в утреннем тумане, первый седой волос, разговор о «Норе» с товарищами сына. И какая ранняя, такая жестокая смерть после стольких страданий — за что?

В год смерти сестры, поздней весной, мы с женой уехали в деревню. Жена была так ласкова ко мне, так помогала мне изжить горе, — а было на ней немало забот о первом ребенке. Мы прожили три месяца в крестьянской избе, отдыхая душой, никого не видя из людей городских. Мне нелегко было выговорить себе такой длительный отпуск, и мы решили использовать его хорошенько. Жили, как лесные люди, питаюсь ягодами, огородными овощами да немного моей охотой. И мы действительно нашли в природе и утеху, и новый запас здоровья для будущего. Лето удалось прекрасное.

Однажды, помню, я ушел поутру с ружьем в лес, обещав жене принести если не какую дичину, то хоть корзину смородины и малины; она, как обычно, осталась дома с ребенком и по хозяйственным хлопотам: прополоть гряды, починить белье, приготовить завтрак. Я забрел далеко и вышел на небольшую незнакомую поляну. Посреди поляны росла лиственница, раскидистая, ясная, светлая; и трава была здесь не тронута ни человеком, ни зверем. Я остановился в восхищении — и прислушался: к такой картине нужна особая музыка. И вот из леса донеслась до меня эта музыка — голос тоскующей горлинки. Иные птицы щебечут, другие насвистывают, третьи просто поют, — и только про горлинку народ говорит ласково и трогательно: она т о с к у е т.

И то ли в светлой красоте одинокой лиственницы, то ли в жалобе горлинки я почувствовал близкое веянье души моей сестры Кати. И хоть я не суеверный человек, попросту — неверующий, а в ту минуту готов был поверить, что ее душа здесь, совсем рядом, порхает над травой или яснится в зеленом наряде светлого дерева. И я стоял долго, не смея пошевелиться, и горюя по ней, и радуясь нашей солнечной встрече.

После, возвращаясь домой по лесной тропе, и без дичи, и с пустой корзинкой, я искал слов, чтобы объяснить, почему жизнь моей сестры не удалась и почему на ее долю не досталось того, что к другим само приходит, без зова и без мучительных ожиданий.

Но таких слов — чтобы ими на все думы ответить — я найти не мог. Только до одного я тогда додумался уже у самой опушки леса, за минуту до того, как завидел наш деревенский домик; додумался — и сказал себе вслух, как любил говорить в лесу:

— Не всякий рожденный для любви любовь свою находит, потому что время не ждет, а усталость подкрадывается к нам незаметно.



РАССКАЗЫ

ЗЕМЛЯ

1

Заботами милого друга я получил из России небольшую шкатулку карельской березы, наполненную землей.

Я принадлежу к людям, любящим вещи, не стыдящимся чувств и не боящимся кривых усмешек. Было и давно прошло время, когда эти усмешки меня смущали. В молодости это пропустительно и понятно: в молодости мы хотим быть самоуверенными, разумными и жестокими — резко отвечать на обиду, владеть своим лицом, сдерживать дрожь сердечную. Но тягость лет побеждает, и строгая выдержанность чувств уже не кажется лучшим и главнейшим. Вот сейчас, таков, как я есмь, я готов и могу преклонить колени перед коробочкой с русской землей и сказать вслух, не боясь чужих ушей:

— Я тебя люблю, земля, меня родившая, и признаю тебя моей величайшей святыней.

И никакая скептическая философия, никакой умный космополитизм не заставят меня устыдиться моей чувствительности, потому что руководит мною любовь, а она не подчинена разуму и расчету.

Земля в коробке высохла и превратилась в комочки бурой пыли. Я пересыпаю ее заботливо и осторожно, чтобы не распылить зря по столу, и думаю о том, что из всех вещей человека земля всегда была самой любимой и близкой:

«Ибо прах ты — и в прах обратишься».

* * *

Ранней весной снежная пелена мокреет, покрывается хрупкой стеклянной корочкой, а из водосточных труб свисают сосульки. Потом в очень солнечный день из-под снега показывается земля: в городе — раньше, в деревне —

позже. Дороги слякотны и навозны, и полозья саней сквозь грязное мороженое чиркают по камням мостовой. Дворник по лестнице забирается на крышу, мимо окна падают полные лопаты снега, а прохожий обходит дом, чтобы не попало ему за шиворот. Затем случается одна странная ночь с теплым ливнем — и наутро люди, шлепая по лужам, объявляют друг другу замечательную новость:

— Весна?

— Весна!

— Как сразу все стаяло!

— В одну ночь!

Это не очень верно, потому что весна пришла раньше и давно уже топила снег, только она была в шубе — не так заметно.

Широкой полосой от морей надвигалось на нас солнце. Зарождалось оно, тусклым и маленьким, где-то в Европах (одним словом, не у нас), а к нам, к Уральским нашим горам, приплывало огромным, теплым и ароматным. Где оно шло, светлым хвостом сметая последний снег, там просыпалась и нежилась черная и жирная земля, а проснувшись — сразу за работу.

И тогда отец говорил:

— Ну, Мышка, хочешь со мной цветы пересаживать?

Мышку об этом излишне спрашивать, разве что так, шутя.

День воскресный, свободный. С утра принесли несколько ящиков черной земли, хоть и влажной, а сыпучей.

Сада у нас при доме нет, — да еще и рано высаживать цветы на вольный воздух: весна, она — коварная, может невзначай хватить морозом. Но есть у нас при квартире большая и светлая комната, в три света, где много растений, и наших, здешних, и чужих, иноземных. Наш маленький зимний сад. Есть в нем даже пальмы, есть лимон, есть несколько кактусов, есть фикус эластикус, длинный и тощий, на блестящих листьях которого очень хочется что-нибудь написать иголкой. Напишешь — так и останется, зарубцуется на всю зиму.

И отец говорит:

— Расстилайте газеты.

Самая удобная газета была «Новое время», большая, много листов, одних объявлений о кухарках и горничных — две страницы. Над этой газетой отец держит на весу цветочную банку, слегка наклонивши и похлопывая по бокам ладонью. И вот сыплется на газету лежалая и затх-

лая земля с бледными букашками, за ней освобождаются сплетшиеся нити тонких белых корешков. Все это нужно делать осторожно. А потом берем банку побольше, на дно кладем черепок, чтобы не засаривалась дырочка, насыпаем на четверть прекрасной свежей землей — и пересаживаем с любовью и великим старанием. Отец держит растение, а я пересыпаю землей корешки. Доверху наполнив и слегка умяв пальцами, — отставляем в сторонку и любимся.

— Готово. Считай, Мышка: раз!

— Раз!

— Теперь давай второе.

— Два!

— Нет, подожди считать, еще не готово. Осторожнее! Подсыпай тихонько. Еще, да посмелее. Насыпай доверху. Вот так. Ну, Мышка, теперь считай: два!

— Два!

Так понемножку, от герани и флэксов, добираемся до фикуса и даже до пальм. Когда пересадим пальму в новый деревянный бочонок, — зовем маму:

— Смотри, мама, хорошо?

— Да, хорошо.

— Надо ее поставить пониже, а то она совсем в потолок упиралась.

— Да, — говорит мама, — и поближе к окнам, чтобы было ей светлее. Сейчас солнца много.

Отец переносит пальму и поет на мотив марша из «Фауста»:

К о-окнам, да к окнам побли-и-же-е,
Ро-остом, да ростом пони-и-же-е!

Ну, Мышка, теперь бей в барабан.

И я весело колочу цветочными палочками по табурету.

Такая радость с отцом пересаживать цветы в новую землю!

Руки по локоть в земле и даже на зубах хрустит. И пахнет земля весной, а на улице весна землей пахнет. Вот пройдет месяц — в деревню поедем, в Загарье на речке Егошихе.

* * *

Осторожно и любовно пересыпаю землю в коробочке карельской березы. Мы — люди от земли, крепко с нею спаяны.

Не сумею точно сказать, откуда пришли мои предки,

хотя думаю — из стран варяжских. В мое время считалось неприличным заниматься предками: сословные предрас- судки. Но, придя из стран варяжских, воевали они, ко- нечно, недолго: осели на земле; одни жили близ Мурома в своих деревнях, другие спустились пониже и повернули к востоку, к степям и к монголам. Для меня же их исто- рия начинается только с прабабки, портрет которой висел у нас в столовой, да с деда и бабуки, имена которых я сое- динил в своем.

Портрет прабабушки блистал не красотой, а строго- стью. Старая, в чепце, губы поджаты, вся в темном глу- боком фоне, а круглая рамка портрета обтянута собран- ным в складки черным крепом. Откуда ни взглянешь на старуху, прямо ли, сбоку ли,— она смотрит в глаза при- стально-сурово и осуждающе.

И такая вышла странная история. Висел этот портрет еще в доме моей бабушки, в ее уфимском именье. И ви- сел так, что его было видно через две комнаты — посе- редке стены. И вот однажды бабка моя сидит как раз за две комнаты от портрета и чувствует — беспокойно ей. Словно бы кто-то стоит за спиной,— а быть там некому. Наконец не выдержала, обернулась и увидала ясно, что портрет покойницы подманивает ее глазами, чтобы шла поскорее. Бабушка встала, положила моток цветной шер- сти на пальцы и пошла через комнаты прямо к портрету. И только вышла из своей комнаты — как в ней обвалился потолок, и пальцы в щепы. Так портрет выманил ее и спас.

Вот как бывало в старые годы. Нынче так уже не бы- вает. Сколько раз — помню — разверзалась под моими но- гами земля и сколько раз на голову рушилось небо,— и никто не пришел спасать. Когда мы порываем связь с землей и со всем нашим прошлым,— гибнут вместе с ним и легенды, а нам остается лишь отголосок старой песенки да вчера прочитанный приключенческий роман.

Прабабушкин портрет и у нас висел посередке сте- ны, так, что смотрел он прямо на двери соседней комнаты. И частенько бывало — глядишь на него издали, и жуть берет: а вдруг он поманит глазами, и если сейчас же не подойдешь к нему, то обрушится потолок. Особенно жутко было под вечер, в сумерки; днем же ничего — днем пра- бабушка была поласковее, старенькая, усталая. Иной раз прямо на нос ей садилась муха и чистила лапками крылья.

А вот бабку свою я знал живой, незадолго до ее смер-

ти. Когда мы с отцом приехали в Уфу, где он много лет не был, мне шел тринадцатый год. Бабушка жила в своем старом городском доме, деревянном, уютном, заставленном ветхой мебелью. Когда шли обедать, я вел ее под руку в столовую, и были мы с ней одного роста, потому что от тяжести больших лет бабушка стала совсем низенькой. А с ней жила такая же маленькая и сгорбленная старушка из бывших крепостных, нянчившая моего отца и всех его сестер и братьев.

Сейчас, после бури, пронесшейся над нашей страной, вряд ли можно найти сохранившийся чудом уютный уголок, где так пахнет сухими травами и прошлым. В комнатах бабушки каждая вещь и каждая вещичка имели почтенный возраст и свою несложную бытовую историю. Были, например, стулья и кресла крепкие и были послабее, а одно кресло стояло в углу, и на него садиться не следовало, потому что оно было хромым. И про каждый стул бабушка знала, почему он ослабел, в чем его болезнь и что с ним когда приключилось. На то кресло, что стояло в углу, сел однажды толстенный человек, бабушкин знакомый, и ножка подломилась, да так и осталась без починки, только была подвязана веревочкой; прошли месяцы, потом года, и кресло-инвалид вошло в бабушкину жизнь со своим хроническим недугом, так что теперь его чинить было уже нельзя, нехорошо, как нехорошо старому человеку молодиться и притворяться подростком. Каждая царапинка на мебели и каждое еле заметное пятнышко на старой ковровой скатерти были бабушке известны, и с появлением их связано было в памяти ее какое-нибудь событие, для нас пустое, а для бабушки значительное. Таким образом, все, что бабушку окружало, было как бы живым календарем ее жизни, записью прожитых лет. И сама она была живой хронологией; никогда не говорила: «Это было в таком-то году», а неизменно поясняла: «Это еще когда у Нагаткиных случился пожар», или: «...когда Андрюша женился». Тягость дней и великую силу времени бабушка знала хорошо и ясно выражала. У нее был альбомчик стихов, который она любила показывать, особенно одну страничку с изображением голубка и дерзким стихотворением:

Ах, право, хуже оплеухи.
Как, не выдавшись тридцать лет,
Найдешь в развалинах старухи
Любви восторженной предмет.

Ах, Маша, в прежние годочки
С тобой встречались мы не так;
Тогда ты нюхала цветочки —
Теперь ты нюхаешь табак.

И бабушка прибавляла:

— Вот уж верно-то!

Еще показывала она портрет своего дорогого покойника, не тот, что висел на стене, написанный местным художником и вставленный в золотую рамку, а другой, маленький, нарисованный карандашом и заклеенный сверху прозрачной бумагой, чтобы не стерся. Это был портрет моего деда. Большелобый, с фамильным нашим носом, он изображен сидящим в кресле, а во рту чубук огромнейшей трубки. На голове деда шапочка вроде ермолки, а на лице довольство и покой. Я так его и представлял: хорошее летнее утро, дед сидит на террасе или у окна усадьбы и смотрит, как под окном девка Малашка тащит молоко утреннего удоя. После, читая Тургенева, а особенно Аксакова, нашего родственника, я мысленно иллюстрировал их писания карандашным портретом деда. А рядом с ним я видел бабушку, только не такой старенькой и согбенной годами, а много моложе, вроде моей матери, и непременно в белом платье и с высокой прической. Мне, жившему всегда в провинциальном городе, помещичья жизнь была знакома только по литературе. И, конечно, мне было совсем чуждо то чувство гордости, которое слышалось в словах бабушки:

— Ты помни, что мы не какие-нибудь, а столбовые. Дворян много, а столбовые все на счету, записаны в одну книгу.

Мне эти «столбовые» представлялись высокими, белыми, вытянутыми, шагающими на несогнутих ногах. Но даже если бы я попробовал окружить их в своем представлении некоторым ореолом, — литература, которую я жадно поглощал в гимназии, скоро выветрила бы из меня такое о них представление. Бабушка напрасно старалась внушить мне уважение к мне неведомым предкам.

В первый же день приезда нашего она мне говорила:

— Проси отца свозить тебя в имение посмотреть нашу землю. Земли-то теперь мало осталось, все разделено да распродано, а все же взглянуть тебе нужно, потому что от этой земли ты и произошел. Может быть, когда вырастешь большой, на землю вернешься и станешь хозяином; надо за последний кусочек держаться крепко.

Земли этой я так и не повидал, потому что отец мой вскоре по приезде в родной город внезапно заболел и умер.

Рано умер мой отец, рано и напрасно. Хорошо уйти, когда стала земля в тягость и манит отдыхом. Но он был еще молод и любил землю по-иному: не за покой, а за жизненную ее силу. Я его спрашивал:

— Папа, откуда берется дерево?

— Из семени.

— Так ведь семя маленькое, а дерево вон какое; остальное-то откуда?

— Остальное из земли, из ее соков.

— И листья, и ствол, и все?

— Все, Мышка, из земли. И дерево, и ты, и я. Все живое и все мертвое, если только есть что-нибудь мертвое. А вот пойдем-ка лучше копать родник под горой.

В деревне мы жили на холмике, а по ту сторону за речушкой был лес, взбегавший в гору и уходивший в такую даль, что поместились бы на его пространстве в дружном и свободном сожитии, ни из-за чего не споря и не воюя, Франция и Германия. По опушке этого леса мы часто бродили, и любимое занятие отца было открывать новые родники светлой и холодной воды. Одно место он облюбывал на склоне горы между лесом и деревней: там была густая трава, и кустарник, свежий и пышный, окружил крохотную покатуемую полянку: тут непременно быть скрытому роднику!

И вот отец берет заступ, а я малую лопату, и потихоньку ускользаем из дому, а то мама скажет: «Опять перепачкаетесь и Мышка ноги промочит. Что за страсть копать в лесу землю, точно клад ищете!»

Отец на пути говорит:

— А ведь это клад и есть. Не было воды, и вдруг — вода! И какая вода — чистая и холодная как лед. Правда, Мышка?

Уж, значит, правда, если это папа говорит. У него была улыбка добрая и немного насмешливая.

Пробирались в кольцо кустарника, и отец внимательно осматривал почву:

— Быть тут ключу живой воды!

Земля мягкая, как сыр; только корни трав прорезать. Городским башмаком налегает отец на заступ, а я смотрю. Как это он все знает: только вырыл яму в аршин глубины, ровенькую и аккуратную, как сразу же начала

ямка наполняется водой, правда грязной. Но эта сбежит — дальше будет чистая. От ямки отец прокапывает канавку по скату холма, и тут начинается работа для меня: убрать землю подальше, перемазаться и промочить ноги. Все удивительно удачно.

— Папа, а как ты угадал?

— Видишь: внизу есть болотце. Откуда ему быть? Значит, в горке скрытый ключ. Вот мы до него и докопались.

— Нужно будет укрепить землю,— говорю деловито.

Дело это мне известно. Чтобы новый родник не затянуло землей, мы укрепляем землю в ямке кольями, переплетаем ветками, а потом принесем и поставим желобок для стока.

Теперь к этому ключу будут ходить крестьяне с ведрами, потому что вода в речке невкусная и белье в ней стирают. А наш ключ светел, вода процежена через землю, холодна и сладка. Уже на другой день не останется в ней никакой мути.

Так открывали клады. А то бродили по лесу и любовались всем, что породила земля: и деревом, и травой, и ягодой, и грибом, и всякой букашкой. Я был малым мальчишкой, а отец мой был судьей, но были мы равны в наслажденье родной природой.

* * *

Между берегом реки Белой, где были пристани, и городом на середине пути было, а может быть, и сейчас цело, большое кладбище; земля на нем немного глинистая. Первый комочек земли велели бросить мне, и помню, как он стукнул о крышку отцовского гроба. Потом бросали все родные и еще какие-то старые и молодые люди, которых я раньше не видал. Один из них, совсем седой, но крепкий, высокий и строгий, подошел ко мне, мальчику, подал мне руку, пристально посмотрел на меня и сказал:

— Похож ты на батюшку своего, на покойника; это хорошо. Будь и ты таким, как он. Хоть и постарше его, а был я ему в старое время большим приятелем и даже, могу сказать, другом. Не чаял пережить, а вот довелось увидеть, как приняла его земля, наша общая кормилица. Тут где-нибудь рядом и мне лежать.

Кто он был — не знаю, а слова его помню; особенно про сходство мое с отцом и про землю, общую кормилицу.

Любовь к земле, страстная к ней тяга, я бы даже ска-

зал, мистическое ей поклонение,— не к земле-собственности, а к земле-матери — к ее дыханию, к прорастающему в ней зерну, к великим тайнам в ней зачатия и к ней возврата, к власти ее над нашими душами, к сладости с пей соприкосновения,— это действительно осталось во мне на всю жизнь. Если это атавизм, нечаянное наследие сидевших на земле предков,— то да здравствует атавизм, потому что более священного и возвышающего чувства я не знаю; даже чувство самой крепкой любви к женщине есть, по-моему, производное от преклонения перед притягательной и плодотворной силой земли. Но не портретами и не Бархатной книгой внушается такая любовь. Она входит в человека незаметно, чаруя его видом первой весенней проталины, заражая радостью проснувшегося к новой жизни поля, изумляя пышностью и многоцветностью земных покровов, беспрерывно твердя ему, что все человеческие достижения — не победа над природой, а лишь неуклюжее и очень жалкое подражание ее творчеству, потому что комар бесконечно совершеннее самолета, рыба — подводной лодки, а строительный гений пчелы, муравья, любой семейственной букашки — в человеческой среде равного себе не имеет. И все это только потому, что никто из этих существ не считает себя господином земли и победителем природы, не стремится наивно властвовать над своей матерью и своей первопричиной, не изменяет любви ради мелкого тщеславия.

Но, быть может, больше всего я люблю землю за то, что я вижу в ней олицетворенным понятие вечности; в ней прошлое слито воедино с будущим, мое прошлое с моим будущим. Чудесным и никому не ведомым образом она вызвала к жизни мое маленькое существование, позволила мне проползти по ней от вечности к вечности, от небытия к небытию,— и так же чудесно и необъяснимо призывает меня обратно:

«Ибо прах ты — и в прах обратишься».

II

Признак чего — если мысль, свершив назначенный ей круг исканий, уверенностей и сомнений, приводит человека к чувствительным воспоминаниям о детских годах и к образам, окутанным дымкой давно прошедшего? Может быть — признак вплотную подошедшей старости? Жажда подвести итоги? Желание предстать с готовым отчетом?

Не думаю. Жизнь не в цифрах, и ничья рука за отчетом не протянется. Тут иное: неизбежная переоценка и того, что казалось незначительным, и того, чему придавалась непомерная важность. Пустяком представлялась детская книжка, маленькое открытие, голос матери, отцовская шутка; и мучительно сложной казалась житейская борьба за достоинство и независимость человеческой мысли, за разумность общественных отношений и справедливость дележа духовных и житейских благ. Но идут года — и на кованой бронзе убеждений отлагается зелень мудрости, та самая, которую не умеют подделывать фабриканты предметов старины. И вот опять — как в детстве — личное выступает вперед, заслоняя вопросы, над которыми мы так долго и так напрасно работали.

Склонившись над коробочкой из карельской березы, над этой урной земли московской, я перебираю в памяти, как долго, упрямо и досадливо я старался заменить для себя эту горсточку серой пыли — всем земным шаром и какая неудача постигла наивную попытку.

Песчинки земли, которые я пересыпаю спокойной рукой, нечаянно обращаются в многоцветный бисер и загораются светом. Это уже не тонкая струйка, а искрометный водопад. Потом мне начинает казаться, что перед моими глазами дрожит, и колеблется, и мелькает цветными просветами золотая сетка. Она дразнит глаз причудой рисунков, странным переплетом картин и событий, когда-то поразивших меня и теперь перемешавшихся в памяти мозаичной неразберихой. Мне хочется остановить это беспрерывное мельканье, выхватить из волшебного букета несколько самых простеньких цветков и удержать их невредимыми, когда краски опять поблекнут и слиняжут. Я напрягаю зрение, протягиваю руку — и всей горстью хватаю пустоту; только взглядевшись спокойнее, я вижу, что между пальцами моей руки застряла одна-единственная серенькая песчинка.

Я долго берегу ее, перекаत्याю на ладони и ищущу то маленькое слово, которое могло бы развязать клубок моей мысли и стать началом простого рассказа.

* * *

В учебниках географии Янчевского и истории Иловайского многожды названо имя Рима. Но Рим был для нас лишь красивым звуком, а красивых звуков было вообще

немало. Звуками, исполненными смысла и действительного значения, были такие имена, как Казань, Екатеринбург, в более далеких мечтах — Петербург и Москва.

Совсем же близким именем кроме имени родного города было Загарье, маленькая лесная деревушка, куда мы всей семьей переселялись на летние месяцы.

Мы жили там на чистой половине крестьянской избы, сложенной из еловых бревен, проконопаченных паклей. За стеной мычала и жевала корова, а в пакле жило много тысяч клопов. Иных дач и курортов в нашей провинции по тому времени еще не было. Зато тут было бесконечно много земляники, малины, смородины, брусники, грибов, и воздух был хвоен.

Этот одноэтажный бревенчатый замок, качаясь в воздухе, всплывает в моей памяти над мрамором и сединой настоящего Рима, в котором я позже жил в высоком доме окнами на Ватикан. А речонка Егошиха, через которую я мальчиком перепрыгивал, а отец мой спокойно перешагивал, смеется над Рейном, Дунаем и морями, омывающими берега Европы.

Нам, меняющим страну на страну, земной шар уже не кажется огромным. Без труда мы соединяем земли с землями мысленной чертой через океан. Мы привыкли к смене языков, неточно совпадающей с границами, и к повторяемости людских обычаев в разных климатах и под разными широтами. Тем из нас, кто, как я, вынужден был блуждать по чужим землям два срока, и до и после войны, за количество убитых названной великой, — хорошо знакома и разница отношений к нам, гражданам шестой части земной поверхности: от корыстного обожания — до небрежной заносчивости. Но бывалого не удивить: он умеет ждать.

И вот я вспоминаю, как я пытался — и не без успеха — подменить свое потерянное, простое и невзрачное, роскошью найденного чужого. Я учился улавливать в старых плитах травертина блеск скрытого в нем золота, чувствовать дыханье вечности в жизни современного Рима, ценить европейскую культуру, к которой была приобщена и Россия, любоваться красотами чужих озер и гор, уважать энергию немцев, оригинальность англичан, легкость общения французов, порывистость южан, нравственную стойкость северных народов.

Было совершенно необходимо перенести неистраченное чувство жизнепривязки и молодого восторга со своего на

несвое, усыновив себя остальным пяти шестым земли.

Перед статуей Аполлона Печального я говорил:

— Вот рождение искусства!

И, указывая на скаты Юнг-Фрау:

— Вот женственнейшая белизна снегов!

И, переплыв Кале:

— Вот колыбель и оплот политической свободы!

И, спускаясь с горы Ловчен или проезжая по фьордам Норвегии:

— Вот красивейшее в природе!

Верил сам и уверял других.

Они вздыхали, лепетали о «чудной сказке» и возвращались в свои губернии и уезды, куда мне доступа не было.

Они уезжали,— а я оставался наслаждаться чужими красотами.

В дни, о которых я сейчас вспоминаю, русские еще не считались париями и носителями заразы, и иностранцы, позже ставшие нашими военными союзниками, еще не выработали в себе деятельного презрения к народу, заплатившему миллионами жизней за их прекрасные глаза. В те дни никто не препятствовал мне бродить в городах Италии, купаться в швейцарских озерах и лежать на траве в английском парке.

В парке была совсем особенная, не зеленая, а голубая трава. Ее можно было топтать ногами,— и она невредимо подымалась и оживала. Надписи «Воспрещается» не было, так как она была бы излишня. Я спросил сторожа парка:

— Как удастся вырастить такую удивительную траву? Вероятно, это требует длительного ухода?

Сторож оглядел меня с ног до головы. На мне был костюм из английской материи, так что складка на брюках не портилась от лежанья на траве. Воротник был свеж, волосы коротко острижены, подбородок брит. Поэтому сторож счел возможным солидно ответить:

— Лет пятьдесят хорошего ухода вполне достаточно, если стричь траву аккуратно.

Это было, по меньшей мере, горделиво. И я вспомнил свою прогулку по Восточной Ривьере Италии, где как-то зашел в кабачок отдохнуть и выпить вина. Против кабачка, через дорогу, был скалистый участок, подымавшийся террасами. По лестнице, выбитой в скалах, пожилой итальянец таскал землю, очевидно накопанную внизу, близ ручья. Принеся мешок земли, он вытряхивал его на почти голый камень, обтирал пот тем же мешком и шел

обратно за следующей порцией земли. Это он делал огород. Я подумал:

— Нужно очень любить землю, чтобы обречь себя на такой каторжный труд!

Год спустя я опять проходил по тем же местам. Огород был готов. На нем росла та чахлая и дрянная зелень, которую итальянцы и французы называют и считают капустой, которая не окучивается и почти не дает кочна. У нас такую капусту считают неуродившейся и скармливают скоту или оставляют для пользования зайцам. Хозяин огорода сидел на корточках площадкой повыше и перетирал руками комья земли, выбрасывая камешки.

И вдруг мне представилась такая картина.

Я стою среди поля где-нибудь в Тульской губернии, опершись на трость. Что-то отвлекает меня, и я ухожу, забыв тросточку воткнутой в землю. Идут благодатные дожди, земля дышит жизнью, и моя забытая трость с набалдашником покрывается листьями, бутонами и цветами. Теперь уже нельзя вырвать ее из земли, потому что она пустила глубокие корни.

Таким нелепым видением я отвечаю горделивости англичанина и трудолюбия итальянца.

И вообще я замечаю, что во мне растет непонятный протест против чужих благополучий и красот. Нотр Дам де Пари не кажется мне домом молитвы, таким, как сельская церковь на пригорке моей родины. В Швейцарии отвратительны кричащие вывески гостиниц и торговых домов на каждом живописном камне. Я мысленно еду по Луньевской ветке на Урале — и никто меня там никуда не заманивает, никто не кичится красотами природы, которых Швейцария лишь бледная тень. Во мне подымается какая-то невольная, я знаю — совсем несправедливая брезгливость к узкой дороге над пропастями, ведущей в Черногории от Скутарийского озера к Цетинье. В свое время я восторгался грозowymi тучами, выше которых я ехал на лошади в столицу этого исчезнувшего теперь государства. Теперь мне смешно сравнивать тамошние виды с картинами Кавказа. И я завистливо стараюсь припомнить, чем можем мы ответить Норвегии, фьорды которой приводили меня в восторг, ее удивительным озерам цвета жидкой стали, ее могучей природе? Шестисотверстным Байкалом? Разливом сибирских рек, устье которых шире маленького государства? Хребтом Чарского в Якутии, о котором еще не слыхали европейцы? О, слишком многим!

Но вправе ли я вступать в неравный бой со сторожем английского парка и итальянским огородником, которые попросту скажут мне:

— Вам нравится больше свое? Тогда почему же вы не дома, не в тайге, не в степях, не на Урале, не на Байкале, не у дверей своей сельской церковки?

И мне нечего им ответить.

Я бы мог, конечно, длинно и нудно рассказать им, как в свое время мы увлекались английской избирательной системой и биографией Гарибальди и что из этого вышло. Мог рассказать про моего друга детства, с которым мы играли в бабки и городки, зубрили латинские стихи, затем слушали курс политической экономии, прятали в карман запрещенные книжонки и обедали в студенческой столовке за соседними столами. Как затем этот приятель мой стал властью и сказал мне:

— Мы разное смотрим на способы создания безоблачного счастья для будущих поколений. Поэтому я останусь здесь воспитывать и управлять, а ты должен покинуть пределы нашего общего отечества.

Он мог сказать это гораздо грубее, но я не хочу спорить из-за слов. Злобы во мне нет, я только полон удивления. Мне кажется невозможным, что человек, такой же, как я, или, пускай, много меня лучший, мог лишить меня радости жить там, где я жить должен, где все мне дорого: на земле моего рожденья. Мне это кажется даже не жестокостью, а бьющей в глаза бессмыслицей. А между тем это случилось дважды за четверть века. И одинаковые слова были сказаны совершенно различными, враждебными друг другу людьми. В мыслях и поступках их объединяла ослепляющая рассудок сила, которую называют авторитетом власти.

И оба раза, за чертой для меня предельной, мне открылись для свободной и независимой жизни пять шестых земного шара: достаточная замена отныне запрещенной для жительства жалкой деревушки на речке Егосихе.

Но согласитесь, что таких объяснений иностранец не примет и не поймет.

На острове Мурано близ Венеции сторож храма показывал мне во внутреннем куполе мозаичную Мадонну византийского стиля:

— Эта Мадонна, синьор, лучшая во всей Италии и, следовательно, во всем мире.

Мадонна действительно прекрасна. Я спросил:

— А вы видали других?

— Если бы не видал — не смел бы говорить.

И он мне рассказал, как однажды кучка англичан осматривала храмы и толковала, что эта Мадонна хороша, а в иных местах найдутся и получше. Сторож, влюбленный в свою Мадонну, возревновал. Он стал подкапливать деньги, а когда пристроил всех своих детей, решил отправиться в путешествие. Разузнав заранее, где его Мадонна имеет соперниц, он объехал все эти места и своими глазами убедился, что лучше его муранской Мадонны, красивее ее и божественнее нет Мадонны — и быть не должно. Тогда он вернулся в Мурано доживать свои дни сторожем при ее храме. Может быть, он жив и по сей час.

Слушая его рассказ, я думал: «Между нами только та разница, что он вернулся, а я вернуться не могу, хотя моя Мадонна прекраснее всех существующих и мыслимых».

Это было накануне мировой войны, сделавшей невозможное возможным. Через десяток границ, кругом Европы, я вернулся.

Муранская Мадонна, полная прелести и печального покоя, сияет под куполом храма. Моя Мадонна переживала в то время канун тяжких испытаний.

Я рассматривал ее с жадностью проснувшегося для огромной любви. Северные леса, от Финляндии до Печоры, были ее зелеными кудрями; падавшими складками ее одежд были Кама и Волга; ее сердцем была Москва. Только теперь, наглядевшись на чужие красоты, я мог вполне оценить ее несравненность. Но это была не ласковая материнская красота Мадонны острова Мурано, а Мадонна страстная и страждущая, Мадонна Доленте, святая грешница, ждавшая сына. Я присутствовал и при ее хождении по мукам, — и боль, исказившая ее лик, была моей болью. И все-таки образ ее оставался для меня прекрасным и неповторимым. Как тот сторож муранского храма, я решил не расставаться с нею до конца дней, — но силой был отброшен далеко и, вероятно, навсегда.

Таков рассказ о большой любви. Тем, кто ее не испытал, он должен казаться наивным и слишком чувствительным. Впрочем, таков он и есть.

Вот я округляю фразы и подыскиваю образы покрасивее, потому что в такой условной форме легче выразить мысль не только для других, но и для себя самого; такова сила привычки.

Но все эти образы — лишь напрасный налет на невыразимом словами чувстве тяги к земле. Я пишу в тени молодых увядающих вязов, пострадавших от жары; земля здесь глинистая, засоренная камнем, искусственно осушенная, и корни деревьев не находят достаточно питательной влаги, листья сохнут и желтеют раньше поры. Бумага, на которой пишу, рождена от земли, золотое перо-стило найдено в ее недрах, чернила — ее продукт. Передо мною домик, сложенный из камня и дерева, и каждый предмет внутри и снаружи, и сам я, и моя мысль, и все... отец был прав, говоря:

— Все из земли, Мышка, и живое и мертвое, если есть что-нибудь мертвое.

Когда я пытаюсь встать, на мои плечи ложатся уверенные руки, пригибают меня обратно к земле. Нужно усилие, чтобы приподняться. И при каждом шаге нога как бы срастается с землей, неохотно от нее отделяется. С годами это ощущение все сильнее. Это называется утомлением, но в действительности — растущая тяга к земле и в землю.

Порыв ветра уносит с вязов пожелтевшие листья за изгородь маленького участка земли, который я снимаю для летнего отдыха; но большинство палых листьев остается лежать под деревом. Судьба оставшихся и судьба унесенных, в сущности, одинакова; к будущей весне не останется их следа, потому что мы не умеем разглядеть в цветке настурции частички перегнившего за зиму совсем неродственного ей растения. Лист, унесенный ветром в чужой участок, также призван стать основой какой-нибудь сейчас ему чуждой жизни.

Судьба человека — как старинный курган. В наших краях и было много по течению больших рек. В них вместе с телом клали любимые и нужнейшие вещи человека: одежду, сосуды из глины и металлов, монеты, зерна злаков, оружие. Старый московский профессор показывал нам в музее витрину, где лежали эти вещи, добытые из курганов, и говорил:

— Вот в той коробочке обгоревшие и потому сохранившиеся зерна ржи; лучшее доказательство того, что на-

ши предки, скифы, занимались земледелием еще в доисторические для нас времена.

Мы, студенты, по очереди склонялись над стеклом и смотрели на обуглившиеся крупинки. Но в то время из урока истории мы мало почерпали для философии жизни; мы были очень молоды. В той же витрине лежали кости, вынутые из кургана, каменное оружие, посуда, все то, что еще не успело обратиться в землю и было так напрасно потревожено во имя науки. Мы в науку очень верили.

В жизни мы окружали себя вещами, лишь им придавая значение. Ведь все, что мы делаем, ради чего вступаем в отчаянную борьбу сами с собой и друг с другом, все-таки — вещи: металл, дерево, живая ткань, все то, что станет достоянием нашего кургана и с веками обратится в землю.

Мы об этом редко думаем — да и стоит ли понапрасну себя тревожить?

Но ощущение будущей судьбы всего живого забегает вперед мысли. Не потому ли с такой любовью и в предчувствии вечного покоя я пересыпаю рукой песчинки московской земли в коробочке карельской березы, вспоминая детские годы, и предков ближних и дальних, и поиски лесного родника, и домик бабушки, и скифский курган, и Рим, напрасно названный вечным, — чтобы снова вернуться мыслью к единой вечной вещи — к земле:

«Ибо прах ты — и в прах обратишься».

Св. Женеви́ева Лесов

ПОРТРЕТ МАТЕРИ

Из старой женщины с грустными глазами, какой взяла ее смерть, она превращается для меня в девочку лет четырнадцати, изображенную художником на миниатюрном портрете: худое прозрачное личико, чистые голубые глазки, тонкая талия, закованная в корсет, и трогательные розовые с синево́й пальчики, так любовно зарисованные художником, что каждый ноготок виден особо.

Такою она была в институте в Варшаве. Она была там единственной русской, училась прекрасно, но окончила без шифра, «потому что во время мессы тянула кошку за хвост».

Это совершенно невозможно! Моя мать с раннего дет-

ства и до смерти была религиозной и кротчайшего характера, и кошка замыкала во время мессы, незадолго до выпуска, только потому, что польский институт не хотел дать шифра русской. Вероятно, это было для девочки большим огорчением, — мать вспоминала об этом всю жизнь. Когда я был маленьким, пятым в семье ребенком, я представлял себе странную картину: идет обедня, и кто-то за стеной нарочно дергает за хвост кошку, чтобы не дали маме большого банта на платье (так представлялся мне шифр).

Институткой она осталась до конца жизни. Одевалась чистенько, аккуратно, изящно; никто, даже по утрам, не видал ее непричесанной. Молилась она по книжечке, хотя была православной. Ложась спать, вспоминала, что случилось за день дурного, и что хорошего, и что, белое или черное, перевесило сегодня. И каждый день, от института до смерти, занималась по утрам иностранными языками по сохранившейся институтской книжке: французским, немецким и английским.

Эта книжка, толстая, переплетенная в кожу и за полвека ежедневного употребления оставшаяся чистой и не потрепанной, содержала параллельный перевод изысканных выражений на трех языках. Полоской картона мать закрывала два столбца, оставляя третий. По тексту французскому — вспоминала два других текста, немецкий и английский; затем закладка передвигалась, — и по английскому припоминались идиотизмы двух других языков; затем открывался текст немецкий.

Толстую книгу мать знала наизусть. Когда (очень редко в глухой провинции) ей приходилось говорить с французом, англичанином или немцем, она их поражала своим языком: они объяснялись попросту, разговорно, она же подавала реплики на языке изысканном, изощренном, старинном, на каком не только говорить, а и писать уже перестали. С содержателем же колбасной, приходя за покупками, она говорила по-польски; этот язык, знакомый с детства, она никогда не забывала: говорила на нем, как полька, и напевала на нем старинную песенку о месяце, заглянувшем в окошко.

— Легкий язык, — говорил мой отец, никогда в Польше не бывавший. — Отец — ойтец, мать — майтец, мыло — мыдло, было — быдло... А еще: «Не пепшь Петше пепшем вепша...»

Было у институтки пятеро детей (да еще один умер

маленьким): пять биографий произвела на свет. Это не легко дается. Все пять биографий начинались одинаково: кормление, скарлатина, гимназия... Когда дошло дело до младшего, до меня, мать отлично знала не только геометрию, но и латинский язык. И в первый класс я поступил, обучившись у нее большему, чем должны были научить меня к концу первого года. Даже Цезаря немножко разбирал. И когда начали мы читать в классе: «*Callia est divisa in partes tres*»¹, — заботами матери моей я уже давно знал, что это значит.

Но кроме латыни есть и арифметика. Уже одиннадцать часов, спать пора, — а третья задача из Евтушевского еще не решена. Мать только что кончила заниматься с сестрой, которая никак не могла запомнить названия полуостровов.

— Ну, Пиренейский же, Пиренейский, ты запомни: перина, на которой спят. Повтори все полуостровы.

Сестра повторяет — и опять забыла Пиренейский.

— Я же научила тебя, как запомнить. Ну на чем спят?

И кончиками губ шепчет моя сестренка:

— По-ду-щечный?

Сестра идет спать, а я все еще пишу напрасные палочки в тетради. Рядом со мной мать тоже решает задачку, шепча про себя:

— 354 фунта, 8 лотов и 3 золотника картофеля помножить на 17 и 6 в периоде...

Ну за что мучат и ребенка и мать! Все-таки она решила, я переписал в свою тетрадку. Крестит меня, целует — иду спать и я.

А на другой день двойка за устный ответ. Спрашивали пустяк, а я не ответил, потому что голова устала от глупых этих цифр, от вечного сидения над задачкой. Мне горе, маме тоже грустно: смотрит глазами печальными. Ушел в свою комнату, опустился перед постелью на колени, голову уткнул в подушку, заплакал и заснул. Сколько буду жить — никогда не прощу своих слез сухому учителю арифметики: зачем мальчика мучил!

Проснулся оттого, что мать обняла за шею. Она тоже на коленях перед кроватью и тоже заплаканная. Слезы из детских и взрослых глаз, потому что так трудно помножить картофель на 17 и 6 в периоде, когда и другой зубрежки много, когда нужно еще запомнить, что Максимилиан Первый любил ходить на охоту, чтобы переплетать

¹ «Галлия разделена на три части» (лат.).

книги в кожаный переплет, и что город Брюссель славится своими кружевами. Так до самой смерти не перестану не любить педагогов: ведь это они выдумали и кошку за обедней в мамином институте!

Когда я родился, матери не было еще тридцати лет. Она вышла замуж в семнадцать, значит, почти такой, как на портрете: голубые глазки и тонкие миниатюрные пальчики. Когда я надел фуражку гимназиста (с большой тульей и гербом), мать все еще казалась молоденькой, только начала полнеть. Она смущалась и краснела от нескромных слов и кокетливо оправляла перед зеркалом волосы, без единого седого. Но жизнь в провинциальном городе была однообразна и скучна, а большая семья требовала вечных мелких забот. Мать не только всех нас подготовила к гимназии, не только помогала нам готовить уроки, но и лечила всех сама простыми и испытанными средствами: липовым цветом, сухой малиной, касторкой, компрессами, клюквой в уши — при головной боли (это после пирамидон выдумали), паутиной — при порезах, теплым деревенским маслом — если стреляло в ухе. Когда детей пятеро — один из них непременно болен, а для хорошей жены муж ее тоже идет за ребенка. Мало оставалось у матери свободного от забот времени. И вокруг ласковых голубых глаз появились тонкие морщинки.

Была у родителей мечта: из глухой провинции перебраться в столицу, или хоть поближе к центру, или, наконец, хотя бы на родину отца, где было бездоходное имение на реке Бугуруслане; хоть немного пожить бы, отдохнуть, — а там пусть опять служба и семейные заботы. Так мечтали двадцать два года. А сбылась бы мечта — взволновались бы безмерно, не знали бы, как расстаться с насиженным местом, с привычками, с кругом знакомых, как приспособиться к новым местам.

Но мечта не сбылась.

Однажды весной отец получил отпуск, взял с собой меня, младшего, и поехал в родной город Уфу, навестить свою мать, повидать имение. По дороге, в Пьяном Бору, где пересадка с Камы на Белую и где тогда приходилось целую ночь ждать на пристани парохода, отец простудился, а по приезде в Уфу, едва увидав родной город и старый дом моей бабушки, — слег и умер. Мать приехала, когда на уфимском кладбище уже стоял новый намогильный крест.

Семья стала маленькой (две сестры вышли замуж и

уехали в Москву). Была приличная бедность: ели хорошо, а носили штопаное. Осталась кухарка Савельевна. По субботам мать ходила с ней на рынок. Заяц в шкурке стоил пять копеек, без шкурки — десять (снять шкурку — тоже работа). Близ города были леса — тянулись через Урал на тысячи верст. И стерлядка стоила пятачок (из кормилицы Камы!). А вот учење стоило дорого. Впрочем, доучивался теперь один я.

Был у матери рабочий столик с откидной крышкой, с ящичками, полочками — целый городок рукоделья. Окончив утренние хлопоты, она за ним проводила весь день. Штопала, вышивала, чинила белье, читала, раскладывала пасьянсы. Чтобы сберечь глаза — разнообразила работу: штопка, газета, чулок, книжка, вышивание, пасьянс. В перерывах брала из коробочки кедровый орешек, разбивала камушком и ела. Зубы стали плохи. Но утром, прежде всяких занятий, открывала институтскую книжку и шепотком повторяла старинные фразы — по-французски, по-немецки, по-английски.

— Зачем мама?

— Ну, я привыкла. Может, и пригодится еще.

А когда, уже студентом, я стал работать в газетах и летом секретарствовал в нашей провинциальной, — она переводила для меня статейки из иностранной почты и небольшие рассказы. И нечаянно я узнал, что у нее был отличный литературный язык и что она хорошо разбиралась в событиях жизни заграничной. Откуда это — у институтки, всю жизнь прожившей в губернском городке Приуралья?

Теперь я видал мать только летом, когда приезжал из Москвы на каникулы (пароходом по Волге и Каме! Незабвенное время! Счастливые дни! Любимый кусок родины!). А как-то приехал и зимой, неожиданно: выслан был на родину за «защиту чести студенческого мундира».

Всплакнула мать, обнимая сына-героя:

— Ну, из-за чего это вы? Лучше бы учились хорошенько. Вот теперь год и потеряешь.

— Нам не дают учиться, мама. Мы не можем допустить...

— Я знаю, милый, я читала, а все-таки лучше бы сначала выучились, а уж потом... Твое дело, но ведь лишний год так трудно.

И посмотрела на мою папиросу:

— Вот ты все куришь...

Утром, вставши, вижу: беднее стало у мамы в квартире. Все старенькое. Сама, в черном старомодном платье, сидит за книжкой, передвигает закладку, шепчет английские фразы.

Был на третьем курсе. Написал матери:

«Пришли мне, пожалуйста, поскорее нотариальное разрешение жениться; оно нужно для представления в университет ректору, так как без этого не венчают. Я, мама, решил жениться. Моя невеста...»

Она ответила:

«Посылаю тебе разрешение. Что ж поделаться, если ты решил жениться, хотя, по-моему, тебе рано. Лучше бы сначала окончил и устроился. Но дело твое, мой мальчик, я не противоречу; значит, уж такая твоя судьба...»

На каникулы приехал и говорю:

— Свадьба моя отложена, мама. Может быть, еще и не женюсь...

У нее радостно и хитро заиграли глазки:

— Как знаешь, милый. По-моему, тебе рано, ты еще совсем мальчик. Но как знаешь, делай как хочешь. Если женишься — я полюблю твою жену.

Прожил дома лето. Нотариальное разрешение отдал матери обратно:

— Не нужно, мама.

— Я знаю; ты все получал письма. А ты бы, если уж суждено тебе жениться, женился бы на Катеньке.

Катенька была моим другом детства, любимицей матери; жила в нашем городе.

— Нет, мама, я вообще не собираюсь.

Перекрестила и отпустила опять в Москву.

Потом был девятьсот пятый год, коротенькая «эпоха свобод». И тогда мать писала мне, маленькому московскому адвокату, больше занятому революцией, чем практикой:

«Может быть, вы и правы. Я, во всяком случае, очень рада, что наступило время, о котором ты мечтал».

Она каждый день читала «Новое время», ходила ко всенощной и к обедне и горько плакала (я это хорошо помню, хотя был тогда совсем маленьким), когда убит был Александр Второй. Он, царь-освободитель, был ее кумиром, может быть, потому, что мой отец был скромным участником крестьянской и судебной реформы Александра.

Теперь отца уже не было; был сын, и радость сына могла стать радостью матери. Она всю жизнь жила радостями и горестями мужа и детей.

Но «эпоха свобод» окончилась быстро. Мать знала, что мне грозит. Все равно ей не пережить бы этого несчастья; даже мысли об этом она, старенькая, пережить не могла.

И когда следователь в Таганской тюрьме, предъявив мне статью закона, которую я и ждал, начал официальный допрос: «Ваш отец? Ваша мать?..» — я ответил ему:

— Тоже умерла.

— Когда?

— Сегодня утром получил письмо.

Он посмотрел на меня исподлобья и смущенно выразил соболезнование.

* * *

Ни одного письма, ни одной строчки, писанной ее четким бисером, нет в моем архиве: все похоронено в архивах Охранки и Чека. Нет даже картонного квадратика, которым она закрывала текст институтской книжки и на котором записан был для памяти порядок пасьянсов:

«Восемь королей.

Rouge et noir.

Горница.

Тринадцать.

Concordance.

Веер.

Взаимность.

Кадриль.

Марья Павловнин.

Для тасовки.

Мой».

Пока мог — я свято хранил этот кусочек картона, присланный мне сестрой. Но и он вместе с другими реликвиями погиб в скитаньях и при обысках.

Остался — чудом и дружеской услугой — только портрет работы польского художника, с пометкой: «54 г.». Такой она была три четверти века тому назад: худенькой институточкой с тонкими прозрачными пальчиками.

И вот уходят из памяти черты лица молодой женщины и старухи. Но каждый день, когда смотрю на портрет в круглой черной рамке, — освежается и укрепляется в памяти (уже навсегда) лицо девочки с голубыми глазами.

Когда смотрю — думаю: «Я — сын этой девочки!»

И делаюсь тогда сам маленьким, хрупким, незаметным, может быть, счастливым, а может быть, и не очень счастливым.

Есть и мой детский портрет. Но никто никогда не повесит его над постелью и не будет думать: «Я — сын, или: я — дочь этого мальчишка в теплой курточке».

Никто никогда, потому что некому...

ДНЕВНИК ОТЦА

Отец! Прости мне это кощунство! Я перелистываю тетрадь пожелтевших от времени страничек, дневник твоей любви, твоих страданий и твоего счастья. Я делаю выписки — и со смущенным удивлением смотрю, как сходны наши почерки. Я ясно вижу и другое: как сходны наши мысли о самих себе, эти безжалостные характеристики, в которых правда чередуется с праздным самобичеванием. Передо мной и твоя карточка — последняя, покойная: сложены руки, и голова ровно примяла подушку, окруженную гирляндой цветов. Я прикрываю бумагой твою седую бородку и узнаю в мирно спящем, в спящем навеки — себя самого: лоб, нос, надбровные дуги. Только спокойствие и серьезность — не мои, еще не мои...

Эта тетрадь да миниатюрный портрет матери — все мое наследство; и я большего не желал, лучшего я и не мог бы желать. Две реликвии пятидесятых — шестидесятых годов, две тени прозрачных душ. Через годы и этапы жизни они прошли и сохранились истинным чудом. В них моя связь с далеким прошлым, с началом и причиной моего бытия. Мне уже некому будет передать их. Но мысль не мирится с тем, что они окажутся на лотке сенского антиквара, что коллекционер обшлагом сотрет пыль со стекла миниатюры, а лицеист, послюнив палец, с недоумением перелистает рукопись на незнакомом языке. Мне хочется продлить их интимную жизнь хоть в чьей-нибудь памяти, прежде чем все и исчезнет.

Разве это — кощунство? Со всей силой любви и благодарности — благодарности за жизнь, которую оба вы мне даровали, — я напрягаю все свое малое дарование, чтобы сказать о вас лучшими словами, какие найду и сумею вплести в венок вашей памяти. Простите же меня! Уже и до меня доносится холодок грядущего небытия, уже и на моих часах стрелка неумолимо близится к неведомой мне минуте покоя в Востоке вечном.

То, что я пишу сейчас, — пишется лишь один раз в жизни и в груди исписанных за многие годы листов бу-

маги не потонет: кто-то любящий, в кого я верю, чью ласковость чувствую,— близкий ли, далекий ли, родной или незнакомый,— сделает из этих страниц реликвию памяти обо мне, а через меня — о вас, когда и эти страницы позолотятся временем, как лежащая передо мной наивная и трогательная запись мечтаний и любовной тревоги.

* * *

«Я придумал писать к тебе, милая моя Леночка. Знаю, что ты никогда не прочтешь того, что будет мною написано. Знаю также, что тебе и в голову не может прийти, чтобы я мог что-нибудь писать тебе, будучи так немножко знаком тебе. Знаю даже, что ты отозвалась бы насмешливо и даже презрительно, если бы узнала, что какой-то человек, совершенно тебе чуждый, вовсе не привлекательный и более чем посторонний, осмеливается что-то писать к тебе, без всякого права, без малейшего основания и повода, и притом так дерзко, так вольно. Но Боже мой! Ведь говоря с тобой, разве тебе я говорю? Я говорю с воображаемой Леночкой, или лучше — говорю с самим собой. Положим, это странно, дико, смешно и даже глупо. Разве ты-то узнаешь когда об этом?»

* * *

Отец мой был бедным уфимским помещиком и в своем бездоходном имении почти не жил. Окончив университет, стал работать и работал до последнего дня жизни, тяготясь этим, но и не умея жить без постоянного и упорного труда.

Его дневник по времени должен совпадать с первыми годами реформ Александра Второго, с крестьянской и судебной; но в дневнике — только его любовь, эпоха в нем не отразилась. Работал он по проведению крестьянской реформы, позже — судебным следователем первого призыва, еще позже — членом окружного суда в приуральской провинции, откуда, уже человек многосемейный, никак не мог выбраться.

Умер он в родной Уфе, куда приехал повидаться с родными и показать им младшего сына — меня. Тому времени прошло больше тридцати пяти лет. Ему хотелось еще показать мне остатки неразделенного нашего родового поместья,— но не удалось. Помню, что оттуда, из де-

ревни, приехал повидать отца и меня наш бывший крепостной повар, глубокий старик, очень преданный. Он смутил меня, гимназистика, поцеловав меня в плечо, а потом собственноручно свертел нам мороженое. Когда отец умер, именье, которого я так и не видал никогда, продано было крестьянам.

Мне не верится, чтобы отец мой был таким «непривлекательным» и замкнутым в себе человеком, каким он себя изображает в дневнике. «Близиких и милых друзей у меня нет, и сам я такой скверный человек, что не способен к большой откровенности. В жизни моей такая скудость и пустота. Мне страшно, что время уходит без следа и напрасно; мне грустно, что такая пустота и пошлость представляется моим глазам и так мало истинно прекрасного я вижу». Влюбленный — может ли писать иначе? Но я помню и знаю по отзывам других, каким он был привлекательным, общительным, веселым и милым человеком, какой любовью и уважением пользовался в обществе. В молодости не было друзей? Возможно. Но не выше ли дружбы, не богаче ли ее — любовь, которой посвящены его записки?

* * *

«Я в первый раз увидел тебя в театре. Ты только что приехала в Уфу и впервые явилась уфимскому обществу. Я пришел в театр усталый от работы, пришел измученный и грустно настроенный. В театре ты обратила на себя внимание наших кавалеров. Хорошенькое личико в губернаторской ложе, новая фамилия — обратили на тебя толки и лорнеты. Многие уже готовили тебе фразы и улыбки; другие разузнавали. Издали ты мне показалась очень милой, а когда я тебя увидел поближе, я должен был сознаться, что не обманулся. Такая ты была молоденькая и свеженькая; так славно смотрели твои чудные глазки; столько юности и чистоты в тебе было. Твой образ, твой взгляд, все то общее впечатление, которое ты делаешь, мне напомнили что-то, чего я кругом не видел. Я не влюблен в тебя только потому, что я не мальчишка. Я не влюблен в тебя, но я затаил, скрытно от других и тебя, твой образ в душе своей и придал ему все остальное своим воображением. Я долго мог после этого вызывать на память твой образ. Я тешился этим в минуты тоски и грусти. В этой форме стало у меня слагаться все лучшее, о чем я думал. Мне хотелось верить, что ты действитель-

но чудная девушка; и если бы для тебя потребовали у меня жертв, я на все готов был решиться. Я глупый мечтатель, милая Леночка; но право, никогда и никто другой не ставил тебя так высоко и свято в эти минуты».

* * *

Ей, этой хорошенькой девушке, привлекавшей к себе «толки и лорнеты», было семнадцать лет; она только что окончила институт и приехала с отцом и старшей сестрой погостить в Уфу к знакомым. Изящная, миниатюрная, получившая светское воспитание, она имела большой успех в замкнутом дворянском обществе Уфы. Несомненно, моему отцу нетрудно было с нею познакомиться и часто ее видеть; губернатор Аксаков, в семье которого она была принята и в ложе которого впервые появилась, был связан с отцом тройным родством. Хотя отец и «выключил себя давно из разряда уфимских кавалеров», но он был очень молод, хорошей фамилии, умен, образован, талантлив, всюду принят.

Но какой же молодой человек того времени, побывавший за границей и томившийся провинцией, чуждался маски «печального равнодушия, после которого кончается молодая жизнь, смолкают пылкие стремления, останавливается движение вперед»? Мешали еще неуверенность в себе, малая обеспеченность и ответственная служба, отнимавшая много времени. Но главное — самолюбие, нежелание оказаться в очереди улыбающихся и говорящих фразы поклонников юной уфимской звезды. Смотреть издали, томиться этой далью, в томлении находить сладость и поверять бумаге свои мечты — разве это не лучшая рамка для родившегося чувства?

* * *

«Помню я и всегда буду помнить одну заутреню на Пасху. Я только что оправился от болезни и с радостным сердцем попал в церковь. Признаться, ты не была у меня в мыслях; но Бог знает отчего я был весел. Ты была у заутрени и стояла от меня близко. Ты была хороша, но в этом не было для меня перемены. Молилась ты усердно рядом со своею сестрой. Но вот кончилась заутреня, свечи погасли и началась обедня. Я нечаянно очутился возле тебя, потому что не искал этого случая. Стало темно; ты

устала, видимо. Не знаю почему, но я вдруг стал на тебя смотреть иначе. Светская девушка исчезла у меня из глаз, и передо мной действительно стояла моя милая Леночка, которая так часто чудилась моему воображению. Я не мог оторвать своих глаз от тебя. Такая ты мне сделалась милая, так мне хотелось обнять и расцеловать твои ручки и глазки, крепко прижать тебя к сердцу. Ты мне показалась ребенком, но таким ребенком, за которого я отдал бы все на свете. Эгоизма во мне не было в то время; чувства мои были чисты и просты; если бы мне указали тут же какого-нибудь идеального человека и назвали его твоим будущим мужем, тобою любимым, я горячо протянул бы ему руку на будущее счастье и только строго-строго взвесил его качества. Для себя я сберег бы — но нет, что я говорю? Я никому тебя не доверил бы; я окружил бы тебя любовью, окружил бы тебя такими попечениями о твоём счастье, — только бы дали мне возможность самому сделать это счастье».

* * *

Провинциальный мирок, где каждый знает каждого, где новый человек, особенно женщина, особенно молоденькая, красивая, светская, долго служит предметом внимания, толков и пересуд. Зимний сезон, театр, клуб, балы, маскарады, любительские спектакли под покровительством помпадурши. Толпа золотой молодежи, шаркунов, бойко болтающих по-французски, и, конечно, свой Чайльд Гарольд, отрицающий это пошлое общество, но неизменно являющийся на балы и спектакли, чтобы со скептической улыбкой и со скрещенными на груди руками простоять весь вечер у колонны.

«Не влюблен, потому что не мальчишка». А сам не сводит, не может оторвать глаз от сцены, где девушка-подросток со смущением произносит слова своей роли, так ей не подходящей. Дома он вынимает из стола свою тетрадку и пишет при свете масляной лампы:

«Чужие и скверные люди пустили тебя на эту сцену; такой молоденькой, неопытной девушке, не имеющей даже определенного положения на свете, и дали такую роль! А между тем как хорошо, с каким верным пониманием исполняла ты свою роль. Ты была так мила, что спокойно сидеть я был не в силах. Каждый шепот во время твоей речи, каждый смех между зрителями — бесил меня. Я ед-

ва удержался в толках с некоторыми о пьесе и исполнителях; я вовремя опомнился и убежал, не кончив речи. Мне хотелось защитить тебя и от похвал, и от общего смысла твоей роли, хотелось увлечь тебя с этой сцены, заставить молчать каждое неосторожное слово. Но что тебе в этой защите? Я тебе также посторонний человек и даже более, чем последний из окружающих тебя знакомых. Боже мой, как грустно!»

Наедине с собой — зачем прикрываться плащом равнодушной усталости и «отеческого чувства» к беззащитному ребенку? И пишет рука Чайльд Гарольда:

«Я не досказал еще тебе, Леночка, что я уже люблю тебя и полюбил почти с первого твоего взгляда, как никогда не любил никого на свете. Теперь это слово сказалось, и так ясно и живо стоит для меня, и напрасно силюсь я ему отыскать другое название. Что же теперь делать, моя милая?»

* * *

Та ли она, какую кажется? Имеет ли право он, такой дурной, испорченный, усталый, негодный человек, думать о ней, говорить с ней в своем дневнике, мечтать о более близком знакомстве, о счастье быть замеченным, выделенным из толпы поклонников?

«Если бы я мог взвесить холодным рассудком все будущее, я собрал бы всю волю, весь эгоизм свой; я заперся бы внутри себя и задушил бы в себе это тяжелое чувство».

И разумеется, — «разбил бы свою жизнь и умчался Бог знает куда». О забвении и новом счастье уже не мечтать, уже не создать себе новой жизни. «Лета разве только возьмут свое, и под гнетом их я стану бесстрастен и спокоен. Все кончено к лучшему. Дальше все пойдет так незаметно и постепенно. Сегодня одно разобьется на сердце, завтра другое, там третье, а потом и ничего не будет: холодно, ровно и мертво».

* * *

Страницы и страницы, отданные грустным и трагическим размышлениям о своей ненужности, неинтересности, о муке любви неразделенной и безнадежной.

Уж такой ли безнадежной? Правда, она сказала как-то в случайном разговоре, что «не понимает романтиче-

ской любви» и что «любить не может никого». Но ведь сказала это девушка семнадцати лет и сказала с таким ласковым сиянием голубых глаз, что у бедного страдальца сразу согрелась душа и забилося сердце нечаянной радостью.

Да, они теперь уже довольно часто встречались. Со всеми оживленная и беззаботная — с ним она была серьезной. Он ее немножко пугал своими рассуждениями о людской пошлости и собственной своей негодности. Со всеми было просто — с ним очень трудно и беспокойно. Случалось даже, что она просила его не приходить, — и он, оставшись дома, писал за страницей страницу, красивыми словами воздвигая надгробный памятник своему нецененному чувству. Но иногда, наоборот, она, уставши от пустых светских разговоров, сама искала его, странного, не похожего на других, немного волнующего, слишком для нее умного, вызывающего какие-то новые, непривычные вопросы, грубоватого и презрительного со всеми, кроме нее, а главное — несчастного. Любовь женщины часто начинается жалостью, желанием утешить и ободрить. И также часто маленькие женщины догадываются, что мировая скорбь мужчины непрочно и довольно легко излечивается ласковым словом; только не нужно противоречить и смеяться. Голубые глазки знают свою власть, — но и играть с таким человеком нельзя! Как же быть? И почему он прямо не скажет, чего он хочет от нее, за что ее так мучит слишком серьезными и слишком унылыми разговорами? Он умнее и интереснее других, — но было бы лучше, если бы он был весел, как другие, потому что ведь жизнь так хороша и рано в семнадцать лет мучить себя загадками и вопросами.

* * *

«Как я счастлив сегодня, как мне весело и отратно! Такая ты добрая была, Леночка, такая милая, такая хорошенькая. Ты не оттолкнула меня, ты не засмеялась надо мной после всего, что я сказал тебе, не приняла за фразу мое слово. Ты говорила со мной так хорошо, так искренне. И ты могла помышлять, чтобы я дурно о тебе думал? Ты могла думать, что я нахожу удовольствие тебя мучить? Да разве ты не знаешь еще, что вся моя жизнь, все мое дорогое и прекрасное — в тебе одной? О, я был бы хорошим человеком, если бы ты, Леночка, не отнимала у меня радости и надежды — не быть тебе чужим».

Чередуются в дневнике эти «так счастлив сегодня» и «я так несчастлив». И всегда: «Что же мне делать, что делать?» Сказать о своей любви? Но «по какому праву?»

Это в наше время можно говорить о своей любви хоть накануне ее появления и девушке, и замужней, и той, которая желанна, и той, без которой можно обойтись. На рубиконе же пятидесятих — шестидесятих годов было нужно иметь на это право! Сказать о любви — а дальше? Быть отвергнутым — значит жизнь разбита и исчерпана! Быть выслушанным благосклонно и услышать ответное «да»? Но ведь для этого...

Кто такой ее отец? Чего хочет он для своей дочери? Человека, по-настоящему ее любящего, или жениха с деньгами и положением в обществе? Зачем-нибудь да позаботился он, не богатый и не знатный, дать дочери тонкое образование и ввести ее в лучшее общество, ей доступное. И кто претендент? Бедный дворянчик, служака, работник, ничем не выдающийся человек? И что за тип этот их знакомый по Варшаве, поляк Г., богач, к которому с таким расположением относится ее отец? Жених? Может быть, она уже любит его или полюбит? Ну что ж!

«Если ты будешь истинно любить Г. — для твоего счастья довольно. О, я тогда, если бы и погиб вовсе для счастливой жизни, — я помирился бы с тобой, и ты навсегда осталась бы для меня чистым и светлым существом, явившимся мне, чтобы осветить хоть на время мое существование. Издали и идеально, мечтательно и грустно я всегда любил бы тебя. Мысль, что тебе хорошо на свете с другим, была бы мне мучительна на время и, может быть, долго; но это не было бы разочарованием и не прибавило бы никакого темного пятна к моей житейской опытности...»

Разбогатеть? Но как? От работы не разбогатеешь, — она и так отнимает весь день. Выиграть в карты?

«Я только что воротился домой. Я сегодня играл и много проигрался; но не мог заглушить тоску свою. Тебя я не видал, а если бы и увидел — разве было бы лучше? Ты была дома, потому что я видел свет у вас в доме. «Верно, у вас Г.», — подумал я; и как ни разуверяла ты меня, и как ни верю я тебе, а все мне стало нехорошо от этой мысли. Кто близок к тебе, того ты скорее полюбишь; кто так далек, как я, того ты любить не можешь. Господи, как грустно мне. Теперь, после этой убитой так пошло

ночи, еще хуже, еще пустее кажется на свете, и ничего, решительно ничего, ни малейшей надежды. Нет, я решительно погибаю и оставаться так долго уже не в силах. Пусть гибну».

Последняя буква прижата пером, и черта под отрывком дневника, обильная чернилами, шершавая, разорвала бумагу...

Кажется — все кончено!

* * *

Но нет, еще две краткие записи:

«Хорошо мне теперь. Целый вечер я не спускал с тебя глаз и говорил с тобою. Неужели в самом деле я могу быть счастливым?»

«Два нехороших дня. Я решил не писать в эти минуты ужасного состояния и тоски. Я начинаю бояться мысли, что к счастью я не способен. Буду писать теперь только тогда, когда мне хорошо будет. Когда же это?»

* * *

Когда же это?

Такова — последняя строчка грусти и безнадежности любовных записей моего бедного отца.

«Судьба этих глупых писем — быть сожженными», — писал он раньше. Но прошло почти семьдесят лет — и аккуратная тетрадоочка, исписанная мелким его почерком, озаглавленная на первой странице «Мои бредни», лежит передо мною.

Отец ошибся: тетрадка пережила и его, и эту неприступную и недостижимую Леночку и, может быть, переживет меня, которому она досталась в наследство и во свидетельство того, что любовь не придумана сегодня, что она вечна с вечными своими спутниками: щемящей грустью, сменой очарования унынием, отчаяния надеждами, с неизменным самобичеванием, мечтою об идеальном и прозой действительности.

Отец ошибался и в другом: любовные дневники пишутся только в минуты грусти и неуверенности, а не «когда будет хорошо». Когда хорошо, когда человек счастлив и любовь его разделена — зачем тогда писать дневник? Зачем писать тайные письма той, которой уже можно все сказать и от нее все услышать?

Чем кончился его роман? Прочла ли Леночка эти не

сожженные вовремя записки? Поняла ли их автора, оценила ли? Смогла ли, наконец, полюбить она, «не понимавшая романтической любви» и «не способная полюбить никого»?

Я вижу эту Леночку, с ласковым взглядом голубых глазок, нежную, кроткую, не способную на мучительство. Она смотрит на меня с миниатюрного портрета.

Эта Леночка — моя покойная мать.

* * *

Я пишу эти строки глубокой осенью, в деревне, у большого открытого окна. Умирающая зелень за окном, и весь мой домик, и моя комната, и мой стол, и рукопись — все залито щедрым золотом солнца. Я в нем купаюсь, как в расплавленном счастье, как в потоке и сиянии разделенной любви.

Я помню о двух могилах в двух далеких городах России: могилах отца и матери. Одна в Прикамье, на старом, вероятно уже заброшенном кладбище; другая близ города, у подножья которого течет река Белая. Мне никогда не увидеть больше этих разлученных могил.

Сыновним чувством, проснувшись в этот светлый день, в осенний день моей жизни, я соединяю могилы тех, кому обязан великим счастьем жизни в творчестве. Я ставлю им общий памятник, скромный, незаметный, из пирамиды моих нежнейших слов, осыпанной цветами сыновней признательности,— единственный памятник, какой могу поставить своими руками и своими скудными средствами. Чтобы и мне было где молиться и что чтить. И было бы это везде и всегда со мною.

Эти строки, пройдя через машину наборщика и свинцовую пыль типографии, прочтутся чужими людьми с любезным вниманием или с привычной рассеянностью. Истлеют страницы этой книги; уйду я; уйдет и все.

Что останется?

Останется, конечно, солнце. И останется, конечно, любовь, идеальная, романтическая, всегда немножко наивная и смешная. Она останется, каковыми бы ни стали люди в массе, каких трезвых слов ни придумали бы, какой обидной улыбкой ни награждали бы мечтателя. Всегда останутся чудаки, рыцари и поэты недостижимого, пишущие дневники о своем любовном томлении, готовые «разбить жизнь свою» за минутное невнимание и «отдать

всего себя без остатка» за ласковый взгляд. После — дневники их обрываются, и тогда начинается реальное, хорошее, или дурное, или среднее, незаметное, простое.

Живя этим реальным, они хранят среди старых бумаг и любимых вещичек страницы, писанные ими в ином, нереальном мире — в мире грез об идеальной любви и недостижимом счастье. Прекрасное и неповторимое остается святыней. Листы бумаги желтеют, как желтеют лепестки белой розы, засушенной и спрятанной на память. Но аромат слов остается.

Как хрупкий, засохший цветок, я берегу этот дневник моего отца. На нем почивает святость прошлого, давшего и мне радость жизни, тоску сомнений и счастье любви разделенной.

ЧАСЫ

О. Х. Лопатиной

Бабушка Татьяна Егоровна с утра в большом волнении. Накануне положила кружева в мыльную воду, продержала всю ночь; вставши, как обычно, в семь, прополоскала в чистой воде, успела и просушить и разгладить. И хотя раньше, чем в два пополудни, не ждать радостного визита, а уже к полудню был накрыт стол не новой, но еще прекрасной скатертью, поставлены две чашки, обе завода Попова, и старинный серебряный чайник, на крышке которого немного покривился от времени малый розан с веточкой о трех лепестках. Еще была к прибору гостя — фамильная чайная ложка с полусъеденной позолотой.

На свете, на всем белом свете — а уж на что он велик! — не было комнаты чище бабушкиной. Все, что от природы было блестящим, — блестело; все, что было старо и поизносилось от времени, — сияло старостью, прилежной штопкой и великой чистотой. И если бы чей зоркий и недобрый глаз отыскал в комнате бабушки однуединственную соринку, то и эта соринка оказалась бы невинной, ровненькой и чистой.

Кроме поповских чашек с золотой каймой и фигурными ручками, кроме чайника и ложки, оставшихся от семейного сервиза, были в комнате бабушки Татьяны Егоровны еще два предмета на удивленье: рабочий столик и каминные часы.

Рабочий столик, пузатый, с перламутром на крышке и

бронзой по скату ножек, стоял не ради красоты. Он был всегда в действии и многих чудес был свидетелем и участником. Трудно сказать, чего не могла скроить, сшить, починить и подштопать бабушкина белая и худенькая рука. И были в столике иголки всякого размера и нитки любого цвета, от грубой шерстяной до тончайшей шелковой. Было в столике столько цветных лоскутков, сколько существует видимых глазу оттенков в радуге, и пуговицы были от самых больших до самых маленьких. Еще было в столике особое отделение для писем, полученных за последний год; тридцать первого декабря эти письма перевязывались тонкой тесьмой и прятались в комод. По правде сказать, писем было немного, с каждым годом меньше. Самое свежее письмо с заграничной маркой получено было на днях — от внука, которого бабушка не видела двадцать два года, а в последний раз видела трехлетним. Увидать же снова должна была именно сегодня в два часа дня. Поэтому и надела бабушка с утра новый и свежий кружевной чепчик.

И еще, как сказано, были у Татьяны Егоровны старинные и драгоценные каминные часы малого размера, великой красоты, с боем трех колокольчиков, с недельным заводом (утром в воскресенье). Колокольчики отбивали час, полчаса и каждую четверть, все по-разному. Звук колокольчика был чист, нежен и словно бы доносился издалека. Как это было устроено — знал только мастер, которого, конечно, давно не было на свете, потому что часам было больше ста лет. И все сто лет часы шли непрерывно, не отставая, не забегая, не уставая отбивать час, половину и четверти.

Двадцать лет назад с часами случилось вот что: стали они отбивать ровно на три часа меньше, чем полагается. Вместо пяти — два, вместо двух — одиннадцать, вместо одиннадцати — восемь и так далее. Однако половины и четверти по-прежнему правильно. Так, бьют они три с четвертью — значит, четверть седьмого, нужно только прибавить три.

И вот тогда, двадцать лет назад, часы были отданы в починку — единственный в их жизни раз. Из починки часы вернулись с правильным боем: бьют полдень — значит, полдень и есть. Неделю шли и били правильно, а через неделю вдруг сразу сбились и в пять часов пробили только раза два. Так пошло и дальше, и больше бабушка их в починку не отдавала.

И действительно, какой смысл в этой починке? Во-первых, часовщик может их испортить; часы старые, кто делал их — неизвестно. А потом — прошло двадцать лет, и бабушка к ним привыкла: бьют пять — значит, восемь, а восемь — значит, одиннадцать. Никакого труда нет на-кинуть три, тем более что стрелки показывают правильно, для всякого понятно.

Когда часы прозвонили одиннадцать с четвертью, раздался звонок и в передней. И оказалось, что трехлетний Ванечка вытянулся в большого, здорового, приветливого и веселого мужчину и к тому же стал инженером. Когда вошел этот молоденький инженер, внук Татьяны Егоровны, то рабочий столик стал совсем маленьким и от обиды раздул бока, да и самой бабушке пришлось смотреть на внука снизу вверх. Оказался кстати чистый белый платочек, которым бабушка вытерла слезу, — в старости слезы льются и от радости и от горя совсем одинаково.

Чай пили из серебряного чайника с покосившимся розанчиком, а Ванечка помешивал в поповской чашке старинной ложкой с позолотой. Рабочий столик, сначала взревновал, после стоял смиреннько. Кружева на бабушкином чепчике сияли чистотой, а сама бабушка улыбалась, слушая рассказы молодого инженера.

Среди многих чудес молодой жизни рассказывал он, как летел на самолете из Лондона в Париж и какие высоченные дома строят сейчас в Америке. И вообще рассказывал про многое, о чем бабушка и читала и слышала, но еще не встречала человека, который видел бы это сам; и к тому же таким человеком оказался собственный ее внук Ванечка. А пройдет неделя — и опять поедет он по разным странам, будет летать по воздуху, прокапывать горы и строить мосты над водопадами. И не страшно за него, потому что он здоров, весел, ест пятую булочку с маслом и пьет большую поповскую чашку в два глотка.

— И все же, Ванечка, береги себя, будь осторожен. Если уж нужно тебе летать на машинах, ты высоко не летай, — не ровен час что-нибудь в машине испортится. Храни тебя Бог от какого несчастья.

Рассказала ему Татьяна Егоровна про то, как он был совсем маленьким и строил из спичечных коробок железную дорогу: видно, так сама судьба сулила. И фотографию его разыскала: сидит этакий бутуз верхом на игрушечной лошади и прямо смотрит большими глазами. И про отца его рассказала, царство ему небесное.

Уже не раз звонили бабушкины часы половину и четверти, но за первым разговором бой их как-то терялся. И вдруг ясно и отчетливо прозвонили они один час. Инженер повернулся к камину и спросил с удивлением:

— Это почему же, бабушка, они так мало бьют?

Бабушка объяснила, что бьют они не совсем правильно, а показывают верно, и что часам этим больше ста лет.

— Надо их починить, бабушка. Ведь это очень просто.

— Что же их чинить, я к ним привыкла, и так знаю.

И опять заговорил о разном, и пока не прозвонили снова далекие колокольчики, что прошло еще полчаса человеческой жизни. И опять молодой инженер повернулся к часам:

— Какой у них бой чудесный! Кажется, будто не здесь, а далеко. Вот в горах так бывает, когда часы бьют в какой-нибудь далекой деревушке. Жаль только, что они испорчены.

Тут бабушка промолчала, хотя и было ей приятно, что ему нравятся ее старинные часы.

Когда инженер заторопился уходить,— опаздывал на важное свидание,— бабушка завернула в белую бумагу, хорошо вымывши, чайную ложку и сунула ему в руку.

— Это что, бабушка?

— А это — положи в карман. Это, милый, память. Этой ложкой твой отец маленьким молочко пил. Ты ее побереги, места займет немного, а иногда посмотришь.

— Бабушка, да зачем же! Ну, спасибо!

И опять пригодился бабушке платочек. На прощанье поцеловала внука и покрестила:

— Может, ты и не веруешь, а уж прости меня, старуху.

И когда он уходил, вдруг опять зазвонили часы, и он, остановившись на пороге, спросил:

— Бабушка, есть у вас бумага или старая газета?

— Есть бумага, Ванечка.

— Дайте мне, бабушка. Мне хочется сделать вам приятное. Вот хорошо, эта подойдет.

Потом быстро подошел к камину, осторожно взял часы и завернул в бумагу:

— Бабушка, вы не беспокойтесь. Я отдам их починить хорошему часовщику, а через два дня вам принесу. Будет бить, сколько нужно, совсем правильно.

— Ванечка, да мне не нужно!

Но он и слышать не хотел. Подошел, поцеловал бабушку в обе щеки и убежал со свертком шумно и весело, как все молодые.

* * *

Бабушка Татьяна Егоровна две ночи спала не особенно хорошо. И не о чем было беспокоиться, и все же было как-то беспокойно. Очень было молчаливо. Привыкла, что бьют в старушечьей ночи далекие звонкие колокольчики, — а вот их нет. Были разные думы. Во вторую ночь ей даже приснилось, что большой и толстый часовщик ударил по ее часам тяжелым молотом и — дзынь! — часы рассыпались. Старалась утешить себя:

— Ну, что ж, пускай! Ванечке это приятно.

А на третий день Ванечка забежал на минуту (очень торопился) и занес часы:

— Ну, бабушка, теперь все хорошо. Сейчас я не могу, а перед отъездом забегу к вам посидеть подольше.

Прошумел и исчез.

Стоят часы на прежнем месте, точно и не уходили. Стрелки идут, подходят к одиннадцати с половиной. Бабушка бродит по комнате, ищет последнюю соринку, чтобы смести ее тряпочкой. Соринки нет, а глаза бабушки косятся на минутную стрелку, а ухо ждет.

И вдруг зазвенел колокольчик и часы забили. И как дошли они до восьми ударов и стали бить дальше, все одиннадцать, бабушка грустно улыбнулась и отвернулась. И рабочий ее столик тоже осунулся и стоял теперь понуро.

Так пошла жизнь дальше, и часы били теперь правильно. Бьют пять — значит, пять. А в два часа бьют ровно два. Конечно, удобно.

«Главное — Ванечке приятно, — думала бабушка. — Вот уедет в свои путешествия, может быть, опять полетит в какую страну».

Но, конечно, путала иногда, особенно под утро, когда сон чуток. Бьют часы пять, — ой, проспала! — а оказывается, и действительно всего-навсего пять часов.

Старый человек иногда загрустит, а отчего — и сам не знает. О чем-нибудь думается. Вот раньше, например, по воздуху не летали, а все-таки жили, и не хуже жили.

За рабочим своим столиком сидит бабушка Татьяна Егоровна, в доме тихо, и слышно, как тикают на камине часы. А когда приходит им время звенеть далекими ко-

локольчиками, бабушка вздыхает и как-то неохотно слушает — все же слушает. Слов нет — бьют часы верно и ни в чем не стали хуже. Однако радости в их бое нет — да и чему старухе радоваться.

Когда пришло воскресенье, бабушка завела часы ключиком. И часы прежние, и ключик прежний. Не их, конечно, вина, что два дня провели они у чужого человека, который что-то там винтил или пробовал. Никакой с их стороны не было измены.

В эту ночь бабушка проснулась, потому что в комнате легонько чикнуло. Проснулась — и долго не могла снова уснуть. Не то чтобы беспокойство, а как бы ожиданье: вот что-нибудь случится. Так и лежала, закрыв глаза и слушая ночную тишину. И часы пробили — все продолжала лежать. И вдруг показалось бабушке, что часы пробить пробили, а не совсем так, как им теперь полагалось. И от этой мысли бабушка взволновалась — сон совсем ушел. Зажгла свет, посмотрела, все правильно, часы идут хорошо и тикают по-прежнему. Скоро свет — на стрелках начало шестого. А в памяти что-то осталось — и волнение.

Тогда бабушка Татьяна Егоровна, в кофте и ночном чепце, села на стул против часов и стала ждать.

Было самой немного стыдно: «И чего я, старуха, жду, чего хочу? Спать бы да спать!»

И решила: «Подожду до четверти да и лягу».

Действительно подождала. Когда же колокольчик в первый раз ударил, вся замерла в ожидании и стала губами считать:

— Раз, два...

А вместо третьего, четвертого и пятого — изменился звук колокольчика и заиграли часы четверть.

Бабушка так и замерла. Когда умолкли часы — подумала: да уж не ошиблась ли? Да ведь как ошибешься? Ведь если сказать по чистой совести — ведь этого и ждала она, сидя на стуле в ночной час. Сама себе не сказала — а ждала: пять ли пробьют или только два раза, как били они двадцать лет подряд. Как же можно ошибиться!

И тут сошло в душу бабушки как бы сияние: и странно это, и смешно, а уж так хорошо, точно провели по сердцу ласковой рукой.

Заторопилась, хитро заулыбалась, поскорее легла в постель, укрылась, — а сна нет, хочется еще услышать, как будут часы бить половину.

Долго тянулось время, словно бы нарочно кто его затягивал. Тикали часы тихонько-тихонько и, как живые, нашептывали: «Теперь уж будьте покойны, все будет по-старому!» А как подошло время к половине шестого — звонком колокольчиков, ясным и уверенным, пробили бабушкины верные часы опять ровно два, другим колокольчиком отзвонив и половину.

И тут бабушка заснула, вся утонув в улыбке и спокойствии. Сон ее был легок, а новый день ее был светел и полон неутомительной суеты.

ВЕЩИ ЧЕЛОВЕКА

Умер обыкновенный человек.

Он умер. И множество вещей и вещей потеряло всякое значение: его чернильница, некрасивая и неудобная для всякого другого, футляр его очков, обшарпанный и с краю примятый, самые очки, только по его глазам, безделушки на столе, непонятные и незанятные (чертик с обломанным хвостом, медный рыцарь без щита и меча, стертая печатка), его кожаный портсигар, пряно протабашенный, его носовые платки с разными метками, целый набор воротников и галстуков, в том числе много неносимых и ненужных.

Ко всему этому он прикасался много раз, все было одухотворено его существованием, жило лишь для него и с ним. Вещи покрупнее знали свое место, стояли прочно, уверенно и длительно; мелкие шныряли, терялись, опять находились, жили жизнью забавной, полной интереса и значения.

Но он умер — и внутренний смысл этих вещей исчез, умер вместе с ним. Все они целиком вошли в серую и унылую массу ненужного, бесхозяйного хлама.

И его письма — запертые на ключ ящики пожелтевших страниц.

Теперь стало уже излишним сохранять кургузый остаток карандаша, который несколько лет ютился в цветном стакане на письменном столе, пережив невредимо ряд периодических уборок. Он жалел этот огрызок карандаша, как добрый хозяин жалеет старого, больного, износившего силы работника. Карандаш доживал дни свои в покое, в почете, хоть и в пыли — на дне стакана. Теперь этот бесполезный огрызок потерял своего защитника и осужден исчезнуть.

Женская рука с обручальным кольцом, особенно белая от каемки траурных кружев, перебирает вещицы, открывает коробки, касается конвертов и страниц. Его ключом она отпирает ящики его стола, выдвигает их, неторопливо берет верхнюю коробочку. В коробке орлиный коготь в золотой оправе, несколько камушков с морского пляжа (не очень красивых, обыкновенных), старая оправка золотого пенсне, бисером вышитая закладка. И тут же прокуренная трубка со сломанным мундштуком. Разве он курил трубку? И почему все это он сохранял? Откуда эта закладка? Что это за коготь? Чем эти вещички были дороги ему, что он сохранял их в коробке, в ящике, под ключом?

С ними, с этими вещичками, не соединялось никаких интимных и запретных воспоминаний о «ней» или даже о «нем», вообще о людях. Камушки были когда-то найдены на пляже, у моря. Вероятно, было в те дни солнечно и хорошо, — и отблеск солнца, соль моря и ощущение простора остались на камушках. Ну, как же бросить их! Он и х жалел. Дальше пошла жизнь непростая, несолнечная, непросторная. В этой коробочке похоронен бодрящий морской воздух и кусочек былой свободы.

Коготь, вероятно, подарок, но и памяти о подарившем уже не было, а была только знакомая взору вещица, по своему красивая, — ну как ее бросить? А трубка... Он курил трубку очень давно, еще когда носил широкополую шляпу, а галстук завязывал свободным бантом (в конце жизни он носил котелок).

Столько лет прожить вместе — и не знать, что когда-то он курил трубку! Конечно, это — мелочь; но все же не знала об этом белая рука в трауре. Правда, он уже много лет курил только папиросы и редко-редко сигару.

Белая рука берет другую коробочку. В ней давно остановившиеся маленькие карманные часы; на стрелках — четверть седьмого, момент, когда часы остановились. В той же коробке модель топорика венецианской гондолы и половина брелка с колечком и надписью: «Séparés, mais»,¹ — и на обороте: «toujours unis». ² Где-нибудь есть другая половина, с другим колечком и такую же надписью. Должно быть. — след старой мимолетной встречи: надломил распиленный брелок, взяли каждый по половинке. Но ведь толь-

¹ «Разделены, но» (фр.).

² «Всегда вместе» (фр.).

ко «séparés» осталось, а «toujours unis» — наивность, во-
ображение! И опять же хранилось уже не воспоминание,
а только вещица, которую нельзя же бросить. Куда? В сор-
ную корзину? Просто за окно? Вещица занимает так мало
места, она никому и ничему не мешает, ее нельзя не жа-
леть.

Он жалел ее, как карандаш, как сломанную трубку.

Когда воздух и чужой глаз дотронулись до вещей че-
ловека — вещи поблекли, осунулись. Знакомому глазу они
улыбались приветливо, даже когда он смотрел на них рас-
сеянно, на все сразу, мельком. Просыпались — для него,
и опять засыпали мирно, до следующей встречи. И им
казалось — так будет всегда. Сейчас их трогала рука не-
знакомая, от которой можно ожидать всего. Хозяин умер —
и вещи его стали тусклыми, испуганными, старенькими,
блеклыми. Грядущее неизвестно. Перенести свою любовь
на другого человека? Нет, вещи не изменяют.

А затем белая рука с каемкой траура спокойно, не дрог-
нув, как бы в сознании права, пошла на преступление.
Ножницами (его же старыми ножницами) она перерезала
тонкую бечевку — и пачка писем рассыпалась.

Рассыпалась пачка, но складки мелко исписанной бу-
маги слежались давно и тесно. Ни фразы, ни слова уже
не имели никакого значения, и вся пачка продолжала
жить только как вещь, которую пожалели, сохранили, не
бросили, потому что нельзя же (то есть можно, но трудно)
бросить то, что было когда-то свято и полно трепетного
интереса. А спустя час — письма, набухшие, разбитые,
потерявшие тесную друг с другом связь (складка со склад-
кой, листик с листом), лежали оскорбленной и ненужной
грудой, и сложить их по-прежнему было уже нельзя.

И белая рука не знала, что с ними делать дальше.
Нервнее, чем прежде, она перебирала их, снова отыскивая
слова и фразы, не ею писанные — и писанные не ей. В эту
минуту к вещам ненужным и бесхозяйным, с которыми
никто не считается и которых не уважают, присоединилась
еще одна: умерший человек.

Он стал первой вещью, ушедшей из привычного уюта.
Он ушел совсем и навсегда, оставив на стене большой свой
портрет, плоский, с остановившимся взглядом и надетой
на лицо улыбкой — для других. Глаз, которыми он смот-
рел в себя, не было; души его не стало. Пока маленький
храм его духа был нетронут, — человек жил в пачке писем,
в трубке, в полужетоне с французской надписью, в отгрыз-

ке карандаша. Теперь, когда вскрыты его смешные коробочки и перелистаны самые хранимые его письма, — он ушел в шелесте последней бумажки и стал только страшной вещью, за кладбищенской стеной, под увядшими венками.

И было велико смятение его любимых вещей, согнанных с отведенных им мест, сваленных в кучу, обреченных на уход — сегодня ли, завтра ли. Осколки храма стали мусором.

Много раньше, чем белая рука решила их дальнейшую участь, — еще живя в материи, — умерли в духе вещи человека.

МУМКА

Мумку назвали Мумкой в честь тургеневского «Муму», хотя наш Мумка не был похож на своего тезку ни характером, ни наружностью, ни судьбой. Но имя дается слепорожденному щенку, — а как узнаешь, что получится из собаки, родители которой неизвестны? Так же случается с тщедушными Олегами и лысыми Самсонами.

Детства и юности Мумки я не помню, хотя мы с ним были одних лет; это значит, что он был уже старцем, когда я поступал в гимназию. Оба мы были любимцами моей матери, и оба взаимно друг друга ненавидели. Впрочем, за исключением матери, Мумку ненавидели все, и домашние и посторонние; он это знал и отвечал тем же чувством всему миру — и живым существам, включая кошку, и неодушевленным предметам, исключая съедобные.

Мумка был маленький, когда-то черный, в старости седой, отвратительно жирный, до того, что ноги его не были параллельны, а расплзались, брюхо задевало пол, а сидеть он мог только на боку. Относительно его породы споров не было: с первого взгляда определяли его «надворным советником». Он был наделен всеми пороками, какие свойственны невоспитанным собакам: был неопрятен, жаден, глуп, подл, злопамятен, корыстен, ехиден и беспримерно злобен. Более злобного существа я никогда не встречал даже среди литературных критиков и классных дам. Избыток злости, как это бывает и с людьми, заменял ему ум.

Мумка жил под креслом моей матери, выходя оттуда только по важнейшим личным делам. При этом он нико-

гда не проходил по открытому пространству комнаты, а только под креслами и стульями, от этапа к этапу, дрожа, озираясь и грозно ворча, как бы ожидая нападения. Несколько спокойнее он чувствовал себя на собственной подушке под кроватью в маминной спальне и здесь даже решался оставаться один, то ли обдумывая какой-нибудь новый подвох, то ли оберегая спрятанную кость.

Подушку чистили, мыли, меняли, но все-таки она была отвратительна. И на ней, и под ней Мумка устраивал склады недоеденного. Так как кости ему давали не голые, а с мясом и с жиром, то подушка была всегда засалена да еще покрыта седыми его волосами. Добывать ее из-под кровати приходилось половой щеткой,— и за это Мумка ненавидел щетку тою же лютой ненавистью, как и мои башмаки. Она вся была искусана и подвергалась нападению даже тогда, когда, не думая о подушке, мирно подметала пол: Мумка бросался на нее из-под ближайшего стула, вцеплялся зубами и катался вслед за нею кубарем со злобным рычанием, а Савельевна говорила:

— Не собака, а прямо нечистый, прости Господи! И как его земля терпит. Хоть бы с жиру лопнул,— а не лопает.

Живя под креслом у матери, Мумка не проводил времени в праздности. Прежде всего он хватал за ноги всякого, кто подходил к матери или близко проходил мимо кресла. Он не довольствовался нанесением материального ущерба, кусая панталоны или юбку (тогда носили юбки длинные). Он стремился причинить боль и увечье и потому хватал всегда за носок башмаков мертвой хваткой, быстро вонзал клык и так держал, пока его не стряхивали другой ногой или не били по голове. Мои сапожки были всегда в дырочках от Мумкиных зубов, а на пальцах не заживали раны.

Если не было жертвы, Мумка чесал спину о деревянную перекладину кресла. Чесал он ее во всякое свободное время, безостановочно, с яростью, повизгиванием, сладострастно. Давно уже не было на его спине волос и были только болячки,— но он все-таки чесался. Лишь в эти моменты очевидного высокого наслаждения лицо его одухотворялось подобием улыбки, в глазах появлялась живая искорка, слегка затуманенная страстью, а в мерном повизгивании — намек на ритм и хроматическую гамму. Несомненно, чесанье спины уводило Мумку в иной мир, возвышало его над обыденностью,— как поэта возвышает

процесс стихотворчества, по существу столь же бессмысленный, но дающий нервам нужное раздражение.

Мумку пробовали лечить от этой страсти: мазали ему спину мятной мазью, всего его мыли зеленым мылом. Но, как те же стихотворцы, он был неизлечим, да и не стремился вылечиться, не понимая собственной пользы. Может быть, и не следовало лишать его единственной доступной ему тихой радости; но уж очень было противно его чесанье всем, даже матери, относившейся к нему с крайним снисхождением и высшей человеческой добротой.

Решено было принять крайние меры — и выполнение поручено мне. Кто-то посоветовал набить гвоздей, остриями наружу, во все перекладыны, годные Мумке по росту. Конечно, я с радостью приступил к делу: прежде всего изукрасил гвоздями испод маминого кресла, а головки гвоздей срезал кусачками и еще заострил подпилком. Работа сложная, — но рукой моей водила давняя вражда и жажда мести.

Смотря на мою работу, мать сказала, качая головой:

— Бедный Мумка; но правда — нужно его отучать. Только не делай гвоздей слишком острыми.

Посмотреть, как Мумка будет разочарован, пришли все его враги, даже Савельевна, жарившая в это время рыбу. Но не таков он был, чтобы доставить нам немедленное удовольствие; прочно забившись под кресло, он смотрел на нас одним злым глазом и ворчал. Савельевне пришлось уйти, так как запахло рыбой, и только у меня, главного врага Мумки, хватило терпенья дожждаться результатов моей работы. Я принес книжку, сел поодаль, притворился читающим, а сам время от времени поглядывал на кресло. Наконец Мумка встал, высунул из-под кресла морду, блаженно оскалил зубы и хотел приступить, — но взвизгнул и забился глубже под кресло.

Нетрудно представить мой восторг. Но мама была очень расстроена:

— Бедный Мумка, он, кажется, сильно укололся.

Все-таки у этого злого тупицы хватило смысла перенести свое упражнение под кресло соседнее; это не было так безопасно, как под креслом материнским, и слишком на виду; но страсть придает решимости. Пришлось мне снова браться за молоток и кусачки. В короткое время все кресла под бахромой были усажены острыми гвоздями, и Мумка был побежден.

Он еще ухитрялся как-то находить пространство между

гвоздиками и осторожно двигать спиной, но почти всегда кончал тем, что накалывался, взвизгивал и отступал. Попытки тереться боком о ножку кресла не давали ему нужных переживаний: все дело было в спине. Мумка суетился, волновался, жалобно вздыхал,— но в данном случае даже со стороны моей матери он не встретил сочувствия и помощи. Ему пришлось смириться и отказаться от величайшего из наслаждений его мрачной жизни.

Он и смирился, даже как будто привык. Спина его залечилась и начала обрастать седой щетиной. Но за него мстили обстоятельства.

Эти обстоятельства заключались в том, что время от времени кто-нибудь из нас, а чаще всего гости, накалывали себе о гвозди ногу и рвали платье. Однажды очень почтенный господин, пришедший навестить мою мать, вставая с кресла, так неосторожно зацепился ногой за острый гвоздь, что поранил себя и опрокинул кресло. Пришлось долго объяснять ему, что особое устройство нашей мебели вызвано состраданием к собаке, совершенно расчесавшей свою спину. Господин старался улыбаться и говорил, что это ничего и совсем не больно,— но я уверен, что он сильно себя поцарапал, и новые брюки его были порваны. Во всяком случае, Мумка мог считать себя отмытым, хотя и приобрел нового недоброжелателя.

Однако, когда неприятная история повторилась с одной дамой, вырвавшей из юбки целую полосу материи,— и эта дама даже расплакалась,— мать велела мне немедленно выдернуть гвозди из всех кресел, кроме ее собственного.

— К тому же,— уверяла она,— Мумка уже отвык чесаться. Ты увидишь.

Я увидал в тот же день. Этот подлый и вконец испорченный любимчик матери даже не пожелал выждать приличный срок. Глядя прямо на меня, ехидно обнажив желтый клык, он с таким остервенением чесался о первое кресло, к которому ему удалось приспособиться, что обе передние ножки кресла подпрыгивали и стучали об пол. Мою попытку подойти и помешать ему он встретил яростным рычанием и, не ожидая пинка, мгновенно тем же клыком вцепился мне в ногу. Он выбрал при этом не новое место, а уже раньше прокушенную дырочку, где укус оказался сильнее, и я долго с криком мотал ногой, пока удалось отшвырнуть Мумку в другой конец комнаты.

Мне было настолько больно, что мама решила Мумку

наказать, хотя виноват был, конечно, я. Она схватила Мумку за шиворот и три раза ударила по расчесанному месту. У нее были такие маленькие и нежные ручки, что не только Мумка испытал лишь удовольствие, а и я бы не прочь подвергнуться такому наказанию: в нем ласки было гораздо больше, чем обиды.

Так мы жили, в вечной взаимной ненависти и в ожидании подвоха и мести. Не знаю, что думал обо мне Мумка; я же часами рисовал себе картину страшной мести. Я беру половую щетку или, еще лучше, ухват, прижимаю Мумку к стене, сам забираюсь на стул, чтобы он не мог схватить меня за ноги, и затем каким-то путем его уничтожаю, во всяком случае чем-то долго бью. Очень дурные чувства рождала во мне ненависть к Мумке.

Уничтожить его совсем, конечно, невозможно: за ним стоит мама, которая его очень любит, хотя совсем непонятно — за что. Но было бы хорошо, если бы Мумка сам уничтожился. Если бы, например, у него вдруг выпали все зубы, — тогда пускай жует башмак, сколько ему хочется; я бы даже и отнимать не стал.

Если это правда, что бытие определяет сознание, то развитие моего сознания в значительной степени определялось бытием Мумки. Так, например, во второй стадии моего младенчества, в бытность мою эсером, я представлял себе буржуазию в образе, подобном Мумкиному; впрочем, и сейчас от этого определяющего образа не отрешился. Он же рано пробудил во мне ненависть к деспотизму и насилию. Меня до глубины души возмущало, что личность Мумки, несомненного всеобщего тирана, как бы священна и охранена неписанным законом — любовью и жалостью моей матери. Причиняя боль ему, — я как бы причиняю боль ей. В этом я чувствовал неразрешимую нелогичность, — по тем временам еще не подозревая, что любовь не имеет с логикой ничего общего. В Мумке — в его спине, в его подушке, в его обжорстве, в его инстинктах собственника и трусливой злобе — олицетворялась для меня вся человеческая, обывательская, мещанская пошлость, вся прочность жирного эгоистического быта, доводы которого — зубы, поэзия которого — почесыванье. И я понял, что держится он, этот уклад, не своей силой, даже и не своими зубами (его можно далеко отшвырнуть пинком ноги), а каким-то веками освященным предрассудком, ни на чем не основанным признанием или же боязнью, что, сокрушив его, — сокрушишь вместе с ним и подлинные

радости бытия, подрубишь сук, на котором сидишь и буд-то бы благоденствуешь.

Я думаю, что сознание Мумки определялось, в свою очередь, бытием моим, половой щеткой и гвоздиков в креслах. Мы вечно угрожали его самодержавному господствованию над подушкой и под креслами.

И тайные и злые мечты его были, конечно, подобны моим. Он мечтал быть высокого роста, чтобы кусать за нос меня и всех, подходящих к креслу, мечтал иметь огромный желтый клык невероятной остроты, чтобы перегрызть одним махом не только кожу ботинок, но и каблук, а щетку обращать в щепки и труху. Ему еще хотелось иметь бронзовую спину, чтобы гвозди не только не причиняли ей поранений, а сами тупились и гнулись при сладостном его почесыванье. Еще он хотел бы иметь подушку в полмира величиной, чтобы под нее можно было засушить все кости от всех обедов, съедаемых презренным человечеством, насквозь пропитать ее салом и жиром и понаделать в ней тысячу ямочек и углублений для удобного спанья.

Теперь, на отдалении времен и в бесстрастии воспоминания, я не сужу Мумку так строго. Я знаю, что только близость к людям и их влияние развивают в животных дурные наклонности: злость, подхалимство, неопрятность. Живи Мумка не в комнатах, он был бы, вероятно, отличным псом, без огромного живота, кривых ног и расчесанной спины. Он ценил бы вольный воздух и знал бы в молодости и иные утехи, кроме жирных костей и мягкой постели. Злым и нетерпимым сделала его тусклая жизнь вынужденного холостяка и ограниченность духовных интересов. Пол вместо земли и потолок вместо неба делают противными и сонными буржуями не одних собак. Но у людей есть книги и газеты, дающие им иллюзию более яркого существования; люди ухитряются жить чужими мыслями и вычитанными геройскими подвигами, и это их хоть чуточку возвышает над бытом спальни и столовой, ванна заменяет им море, женитьба — любовь, счет белья — созерцанье бесчисленных звезд. Но чем мог Мумка заметить себе общенье с ему подобными, аромат влажной земли и ласку чистого воздуха? Он родился честным псом, — а стал домашней утварью. Будь он человеком и попади в такие же условия, он стал бы присяжным поверенным или писателем и убедил бы себя, что хорошо выполнил свою миссию на земле. Но он родился тупорылым щенком

надворной породы,— и стал Мумкой. Будем к нему спра-ведливы и снисходительны.

Век собаки недолог. К десяти годам Мумка был уже отвратительно стар; теперь даже злоба его была бессильна, да и ноги плохо его держали. К тому же у него развился маленький порок, описать который без слов иносказательных очень трудно: внезапная своеобразная музыкальность, сопровождавшаяся открытием в комнате форточки. Нельзя было его так закармливать,— но ведь еда была единственной и последней нормальной радостью его клонившихся к закату дней. Мы, домашние, особенно мать, кое-как привыкли и к этому недостатку Мумки. Но тут начался ряд неприятнейших недоразумений.

Как сказано, он весь день проводил под креслом матери и вслед за нею переходил из комнаты в комнату, из-под кресла — под стул или под диван. И вот когда приходили гости, случалось не раз, что Мумка, ютясь у ног матери где-нибудь под диваном, внезапным проявлением музыкальности нарушал чинный стиль светской беседы. При этом, привыкнув, что в таких случаях его стыдят и гонят, он немедленно же, тайком и у стенки, незаметно ускользал в другую комнату — переждать время и избавиться от шлепка.

И тогда случалось, что гости, чтобы доказать свою воспитанность и избавить хозяйку от всяких неуместных подозрений, с вежливой шутливостью и покачивая головой, слегка наклонялись под диван, ища глазами бедную старую собачку. Но бедной старой собачки там не было, и напрасно мама, больше всех смущенная, хлопала рукой по дивану и говорила:

— Пошел отсюда, ах, какой противный! Вы уж простите, пожалуйста.

Мумки там уже не было, он выскользал незаметно. Гости улыбались, подчеркивая этой улыбкой, что они не сомневаются, что Мумка был под диваном,— но все-таки выходила неловкость, и мама очень краснела. Однако было невозможно и выдать за скрип кресла Мумкину невоспитанность, так как никакой скрип кресла не мог вынудить отворять форточку. Все это выходило ужасно досадно и с Мумкиной стороны довольно подло.

Вообще нужно было быть святым человеком, чтобы терпеть около себя такое сокровище, да еще защищать его от нападков и осуждений. Мать моя терпела, и это потому, что она была святым человеком. И Мумка, старый,

дряхлый, больной, развалившийся, до последнего дня своей жизни от нее не отходил: он умер под ее креслом. Перед тем как околеть, он выполз на минуту, сел, как обычно: обе задние ноги на одну сторону, посмотрел на мать слезящимися от слабости глазами, сейчас же полез обратно — и уже больше не вышел.

Хоронила его Савельевна, а где и как — я этого не знаю, мне не сказали. Куда-то Савельевна ушла, унесла его труп, а вернувшись, сейчас же пошла в спальню, щеткой достала из-под кровати Мумкину подушку и сожгла ее в печке. Под кроватью она не только вымела, но и вымыла, и все время приговаривала:

— Хоть и жалко собачки, барыня убивается, а скажу: слава те, Господи! За такой собакой не наубираешься, и вони этой не будет.

Я пробовал спросить:

— Савельевна, а ты куда его унесла? Где он теперь?

— Мумка-то где? А где ему быть — в собачьем раю. Барыня вам сказывать не велела.

— Почему?

— Разве же я знаю почему? Уж, верно, ей неприятно, что ее любимца в помойку бросили. Барыня наша всех любит, что человека, что собаку.

И стали мы жить без Мумки.

Сказать, что многое от этого переменялось, было бы преувеличением. Но все-таки странно было подходить к матери и не бояться, что Мумка схватит за ногу; не было под постелью подушки и вытащили клещами последние гвоздики из кресла; не слышно было постоянных окриков, меньше ворчала Савельевна, и словно бы воздух стал получше. Но к таким переменам привыкаешь легко.

Со смертью Мумки исчезла и моя к нему ненависть; даже как будто теперь я вспоминал о нем с жалостью: все-таки всю жизнь вместе прожили.

Как-то, помню, сидел я за маминой спиной у окна, читал, а ногой, по мальчишеской привычке, болтал и шуршал по креслу. И вдруг мама сказала, слегка ударив по креслу ладонью:

— Будет тебе, Мумка, лежи!

Это она задумалась и, слыша шуршанье, по привычке окрикнула собаку, чтобы та перестала чесаться.

— Мама, да ведь это я, Мумки нет.

Мама оглянулась, потом положила свое вязанье и тихонечко заплакала. Меня это так поразило, что я не знал,

что сказать. Она скоро смахнула слезу и опять принялась за работу. Тогда я спросил:

— Почему, мама? Ты про Мумку вспомнила?

— Ну да.

— Тебе его жалко?

— Видишь, милый, не то что жалко, он ведь был очень старый, да и совсем больной, а привыкла я к нему. Он десять лет был около меня, да так и умер. Вы все уйдете, вон Оля уже замуж вышла и уехала, и ты уедешь. А Мумка бросить меня никогда не мог.

— Так ведь он, мама, был собака.

Она помолчала, а потом сказала:

— Ну, конечно. Только собака так и может. Собаки очень верные, очень верные; человек так не может.

— Я, мама, от тебя тоже никогда не уйду.

Она рассмеялась, растрогалась, похлопала меня по щеке и сказала:

— Ты-то уйдешь, но это ничего, так нужно. Ну, пойдешь к себе, почитай или позанимайся. А отчего ты не погуляешь? Сегодня воскресенье.

Я и правда — взял коньки и пошел покататься.

В ЮНОСТИ

Заглянешь в будущее — и ничего в этом будущем не усматривается положительного, только слабая надежда, что вот хорошо бы напоследок пожить и склонить голову там, где хочется. Голова совсем не буйная, а с обыкновенным пробором в волосах, которые у почтенного человека начинают светлеть с висков.

Настоящее без перемен. Не то что бы... но и не так что бы. О настоящем вообще не рассказывают, а им живут. Похващаешь счастьем — станет другому завидно; а начнешь печаловаться — лица сделаются сочувственно-далекими и тревожно-усталыми, потому что каждому человеку довольно своей заботы.

И остается рассказывать о прошлом.

Я ни разу не был министром, ни в Петербурге, ни в Уфе, ни за Уралом, ни в других местах, где этим занималось множество людей вполне приличных и на вид серьезных. Не пришлось быть также ни офицером, ни солдатом; вообще — управлять, командовать и совершать подвиги не доводилось. Всю свою жизнь я прожил простым

человеком, безо всякой особенной биографии: родился от папы с мамой, учился и добывал хлеб насущный, то белый, то черный, иногда с паюсной икрой, а чаще с крупной солью. Попутно суетился, как все суетятся. Были, конечно, разные жизненные события, приятные и неприятные, но в меру: иностранцу хватило бы на десять жизней, а русскому как раз на одну. И, как коренной русский человек, гражданин и властитель шестой части земного шара, я жил больше по чужим странам, так как дома было тесновато и неудобно. На здоровье не жалуюсь — здоров. Вот popisываю, — но чтобы писать, как пишут другие, что с детских лет ощущал трагизм бытия и веянье смерти, целый роман на такую тему, — этого я, по совести, не могу, хотя знаю, что многим читателям это нравится. Не могу потому, что в детстве я был ребенком, в юности юношей, а в данное время соответствую собственным годам.

Итак, министром я не бывал, гимназистом действительно был, и хотя достаточно давно, в прошедшем веке, а рассказать что-нибудь из тех лет могу.

Бог его знает, было это время счастливое или несчастливое. Обычно детство называют незабвенным и золотым, но мне кое-какие из взрослых годов нравятся гораздо больше. Как и большинство русских провинциальных гимназий, и тех времен и позднейших, наша была отвратительным учреждением, очень вредным и губительным. Спасибо, что хоть научили читать, писать и считать. Вместо истории нам преподавали хронологию рождений и смертей бесчисленных Карлов, Александров, Максимилианов и Елизавет, и чужих и наших, и еще мы изучали, кто с кем когда воевал. Вместо географии зубрили названия озер и полуостровов. Физику учили без опытов, геометрию без смысла, а естествознание в программу не входило, и никто нам не сказал, что кроме гимназистов, учителей, попечителя округа и таинственных Меровингов и Габсбургов есть еще и другие животные, есть огромный и великий мир живых существ, жизнь которых полнее, сложнее и разумнее нашей. И еще нам преподавали закон Божий, то есть очаровательные сказки, но только в самом глупом и безнравственном их толковании. Если бы не здоровая и естественная ненависть к учителям и всей преподаваемой ими чепухе и если бы мы не толковали для себя многого наоборот, — мы все выросли бы идиотами или большими негодьями.

Истории нас обучал сам директор гимназии, очень не-

вежественный, но не злой господин, имевший романы со всеми соседними кухарками. Явившись на урок, он засовывал глубоко в нос большой палец, колупал и, помогая пальцем средним, вынимал шарики, которые сыпал вокруг себя. Что мы отвечали — он никогда не слушал, думая о кухарках. Нужно было только отвечать ровно и без перерыва. Когда нам надоедало читать заданный урок прямо по книжке, — мы вставляли в рассказ о войне Алой и Белой розы басню Крылова «Стрекоза и Муравей». На пятом шарике он останавливал отвечающего и ставил отметку, оценивая не знание урока, а качество последней своей кухарки, — всегда снисходительно.

Законоучителей у нас было двое: один — старый, верующий, малограмотный, с огромным сизым носом, а между тем — единственный непьющий в учительской среде. Другой был молодой, академик, атеист, красивый и чисто-плотный — горчайший пьяница. Но оба они говорили одно и то же, как полагалось по программе. Первый, впрочем, позволял себе отвлекаться от основного предмета и даже однажды познакомил нас с теорией социализма:

— Социалисты говорят: все твое — мое, а что мое — так это еще посмотрим.

Социалистом он считал Вольтера, но иногда по ошибке называл его Вальтер Скоттом. Сам он искренне верил в рай, в ад, в кита, проглотившего Иону, в Ноев ковчег, ангелов, демонов и прочее, что полагается. Но верил как-то боязливо, никого своей верой не заражая. Он нюхал табак с малинкой, громко чихал и вытирал бороду и усы бурым клетчатым платком.

Второй, академик, избегал посторонних тем, и мы его побаивались, пока однажды, на лесной прогулке, не увидели, как он, в пьяной компании других учителей, пляшет на полянке трепака, подобрав рясу и обнаружив белые кальсоны в синюю полоску. Нам это понравилось.

Были среди наших учителей и хорошие люди, но их губила глухая провинция и водка, — все пили дико и свирепо и забывали подтяжки в публичных домах. Самым лучшим и самым умным был наш инспектор по прозванию Савоська, человек благородный, строгий, справедливый, образованный, огромного роста и большой физической силы. Компаний он не любил, а пил один дома протяжно, мрачно, а напившись, — разносил вдребезги свою казенную квартиру и обстановку нашей «актовой залы». Запой тянулся у него неделями.

Меньше всех пили француз и немец, оба — подлинные иностранцы. У француз была крашенная борода и поэтому вечнозеленый крахмальный воротничок. Он нас не учил, а рассказывал нам на ломаном русском языке о революции сорок восьмого года, которой будто бы был участником, хотя по возрасту это никак не получалось. Невозможно было понять, с чьей стороны он бился на баррикадах, тем более что эта страница истории в наших программах не значилась; но слушать было забавно, и притом можно было не учить уроки. А немец наш был молод, голубоглаз, сентиментален и влюблен в классную даму женской гимназии, которую мы прозвали Ирония Судеб. Он хотел даже застрелиться от любви, — но она так быстро и охотно согласилась выйти за него замуж, что стреляться не пришлось. После она его ужасно сильно била по голове «Разбойниками» Шиллера в златообрезном переплете, и он за один год полысел.

Действительно, это была какая-то коллекция уродов и несчастных людей! Я думаю, что наша гимназия была местом ссылки педагогов, тем более что и город наш был раньше городом ссылки, как тогда говорилось, «не столь отдаленной». Но ведь это — как понимать! Наша губерния сама по себе была размерами больше Италии, а когда я, став студентом, ездил из Москвы на родину, то для этого пересекал в поезде одиннадцать губерний — пять суток езды. Это только французы думают, что от Парижа до Марселя — путешествие; у нас масштабы иные.

Говоря об учителях, я не упомянул совсем о латинисте и греке, о самых — по тем временам — главных. Это потому, что о личных врагах вспоминать очень неприятно. Вергилия и Гомера я научился понимать и ценить много позже, уже взрослым человеком, самостоятельно подучившись; а раньше ненавидел их всем пламенем молодого сердца.

Но кроме гимназии была у нас широкая и многоводная река и почти девственный лес под самым городом — открытая книга природы, всякому доступная, чьи глаза хотят видеть, уши слышать, а душа радоваться. Все, что нам не договаривали и не умели объяснить, мы читали на страницах этой книги.

В ней мы находили настоящий закон Божий, она подготавливала нас к восприятию подлинной истории, она очищала наши детские головы от мусора, которым их засарила гимназия.

И на ее пышных и роскошных зелено-голубых страницах мы учились постигать и любить огромный мир своих собратьев по бытию — зверей, птиц, рыб, гадов, насекомых, от золотистого жучка и вертлявой уклейки до сестры-моей-змеи и брата-моего-волка, которых немало водилось на лугах и в лесной чаще того берега матери-моей-Камы.

* * *

Год в наших краях состоял не из двух, как здесь (осень и лето), а из четырех времен: из очень длительной весны, коротких лета и осени и опять долгой зимы.

У меня был закадычный приятель Вася. Зимой, отбыв положенное в классах, остальное время мы катались на коньках или сидели за книжками, но не за учебниками, а за страшными, запрещенными и развратными: читали вслух Достоевского, Толстого, Шекспира, Байрона, Белинского, Писарева, Аполлона Григорьева, Шелгунова и Бокля. А кроме того, писали свои собственные произведения: он — критико-философские, а я по части беллетристической. Написал я роман, с очень сложной интригой. Он любил ее, а его отец как бабахнет ее отца по черепу пресс-папье, так тот и умер! И счастье, разумеется, расстроилось при помощи двух самоубийств молодых людей, а отец его сошел с ума. Васе понравился роман, только он говорил, что я слегка сгустил краски. Думается — влияние Достоевского.

А поздней весной и летом мы мало читали книги печатные, а больше увлекались книгой природы. У меня была лодочка на два места, совсем маленькая, плоскодонка. На ней мы уезжали либо на тот берег реки, либо на остров недалеко от города. На острове раздевались, лежали на песке и разговаривали обо всем на свете, начиная с тайн мироздания и кончая Марусей Коровиной, в которую я был влюблен, а он будто бы нет, хотя это невозможно. Больше, однако, о тайнах мироздания и о возможности объяснить их при помощи науки, только не гимназической. Говорили о борьбе в мире добра со злом; по его выходило, что победит добро, а по моему все шансы были на стороне зла. Потом высказывали пожелание изучить язык зверей и наладить некоторую с ними жизнь. Также о государственном устройстве, а именно о низвержении гимназического начальства и завоевании права свободно

пользоваться книгами городской библиотеки. Еще о том, что в будущем люди станут питаться пилюлями универсального содержания, которые можно будет носить в кармане. Мечтой нашей было иметь большой атлас звездного неба и телескоп. Вполне допускали мысль поселиться на необитаемом острове, но здесь я не знал, как быть с Марусей Коровиной. Когда мы стали постарше, то предметом обычного разговора сделалось наше будущее. Я определил для себя писательство, он избрал дорогу инженера; нужно сказать, что к этому времени мы поменялись некоторыми взглядами: он стал верить в победу зла, я — в конечную победу добра, он возложил надежды на рост цивилизации, я — на усовершенствование человека. Так оно и случилось: он стал впоследствии инженером, а я вот — пишу.

Но больше всего мы пили солнечный свет и дышали смолистым воздухом. Когда плыли на моей лодочке, смотрели в глубину реки, которая у нас хоть и темна, а не мутна, как на Волге. И там, в глубине, было множество скрытых тайн, жизнь совсем особенная. А над нами было небо, тоже — перевернутая бездна, тоже полная жутких тайн; в ангелов мы не верили, а в людях на разных планетах не сомневались. Но и помимо этого уж одни звезды — ведь это чудо из чудес! По берегам же цвела липа, сладкий запах которой кружил голову. И впереди была вся жизнь — тоже голова кружилась. В Марусе Коровиной я к тому времени разочаровался, чего нельзя было сказать о Жене Тихоновой, не обращавшей на меня никакого внимания.

В воскресный день Вася зашел ко мне утром; мы условились пойти в лес. По лицу его я видел, что нечто произошло: весь он был «на цыпочках», таинственный и важный. Мы были мужчинами, и обнаруживать любопытство не полагалось. Я стал равнодушно готовить сумку для бутербродов и коробочки для трав и насекомых; мы тогда самостоятельно занимались естественными науками — по случайной книжке.

Перед тем как выйти, Вася не вытерпел и, покраснев от скрытого возбуждения, сказал?

— Хочешь знать, о чем я думал? И даже решил.

— Ну, говори.

Он стал ко мне влоборота и произнес:

— Знаешь ли ты, в чем цель жизни?

— Не знаю. Ну?

— В самой жизни.

— Как же это?

— А так, в ней самой! Особой цели нет, а вся цель в том, чтобы жить. И отсюда выводы.

Он это не вычитал, а открыл. Он, Вася, был замечательный! И я, подумавши, понял, что открытие это — великое. Если, например, он это напишет и напечатает — может прославиться. Он мне и еще растолковал:

— Это значит, что снаружи цели не ищи, она внутри. Формула такая: «Цель жизни — самый процесс жизни».

— А как же смерть?

— Смерть — не жизнь. Я говорю про жизнь. А смерть просто в конце, ею цель пресекается. Умер — и конец цели.

Однако и я поднял важный вопрос — Вася это почувствовал. Мы пошли в лес, но ни гербария, ни насекомых не собирали, а говорили и говорили. По моему выходило, что если цель пресекается смертью, то что же это за цель, какой же это идеал? Горе наше было в том, что нам не хватало слов для выражения мыслей. И мы, продираясь сквозь кустарник или сидя на лужайке, открывали истины и путались в них больше, чем в лесной чаще. Но как было хорошо! Все было придумано и сто раз сказано другими раньше нас, — но ведь не с их голоса, а сами мы нащупывали какую-то правду, изумительную и странную. То ли правду, то ли детскую чепуху. Но если чепуху — то свойственную всем философам мира, таким же ребятам и таким же восторженным путаникам.

Когда я студентом стал изучать философию, я со смущением вспоминал о наших великих открытиях. А когда стал совсем взрослым, я понял, что на путях познания задач человеческого бытия — малым, а то и ничем не отличается «великий философ» от желторотого провинциального гимназиста. Только говорит складнее, а барахтается в той же самой неразберихе. И так же ничего никогда не решит — слава тебе Господи, иначе высохли бы реки, повял бы лес и стало бы жить совсем скучно. Потому что если трижды пять — пятнадцать, и это уже верно и окончательно, — то лучше всего повеситься или жениться на продавщице из табачной лавочки. Невыносимо это для живого человека, заглянувшего в глубь реки и в звездную пучину: душа делается квадратной и противно чешется мозжечок!

Если вы представите себе девушку пятнадцати лет с глазами в страусово яйцо и со слегка блестящим маленьким носом, пальчики которой запачканы чернилами, то это и есть Женя Тихонова. Относительно ее невнимания ко мне вышла ошибка: она просто притворялась равнодушной. Все это выяснилось в один из тех дней, которые в жизни редко повторяются.

Нас объединила литература; она писала лучшие сочинения в женской, я — в мужской гимназии. Мы гуляли по отдаленной улице, где под вечер было трудно кого-нибудь встретить, и говорили о Неточке Незвановой, Соне Мармеладовой и об Алеше из «Братьев Карамазовых». В одном месте немощеной улицы приходилось каждый раз обходить большую лужу; в этот момент разговор прерывался, и я мучительно думал о том, как я люблю Женю и как безнадежно высказать это ей среди умного разговора. И еще в одном месте был забор, из-за которого свешивалась старая липа так, что задевала прохожих по лицу. Я чувствовал, что именно в этом месте и произойдет признание, и готовился к нему неделями, хотя гуляли мы почти каждый день.

И вот однажды, как раз под самой липой, я, внезапно оборвав беседу о значении романа «Обломов» в русской литературе и о влиянии его на развитие общественной жизни, вполне корявым языком и запинаясь сказал Жене, что и моя жизнь разбита, так как я полюбил женщину, которой я не достоин и которая никогда не может полюбить меня. Теперь-то у меня это выходит ясно, а тогда получилось очень сложно и туманно. Женя на ходу спросила, не ошибаюсь ли я, считая себя совсем погибшим. К этому времени мы дошли до лужи. Сделав легкий скачок, при котором я набрал воды в калошу, я осмелел и сказал, что об этом может знать только она. Тогда Женя, мотнув толстой косой и не оборачиваясь, подала мне руку и пробормотала:

— Она ответит вам, что тоже... но оставьте меня, я дойду одна.

При этом в моей руке оказалась записка, которую я крепко зажал. Такая же записка уже две недели лежала в моем кармане, и было очень обидно, да и неудобно, что я не успел ее передать Жене.

В ее записке было сказано все, что могло сделать меня счастливым, и в доказательство приводились цитаты из

Тургенева. Хорошо, что я не передал Жене своей, так как моя была написана гораздо хуже, не так литературно. Дома, ошалелый от счастья, я написал новую, огромную, где был такой оборот: «Помнишь ли ты, как Вронский, за час перед скачками...»

Мы перешли на «ты» сразу, но только в письмах. Встретившись на другой день, мы опять бродили по тихой улице, перескакивали через лужу, замирали под липой, но говорили на «вы» и исключительно о народных былинах как источнике русской словесности. И только прощаясь — быстро обменялись записками, в которых было высказано все, чего мы не решались произнести. Оказалось, что она любит меня с Пасхи прошлого года, когда я пел на клиросе в гимназической церкви и во время «Херувимской» пристально посмотрел на нее. Я же написал ей, что образ неясный, образ еще туманный, только после ставший реальным, носился предо мной с юных лет, особенно во время моих одиноких прогулок в лесу, где сердце замирало от красоты природы, а грудь вздымалась от ласки весеннего воздуха. Сейчас я не вспомню, так ли было, но возможно, что все это было истинной правдой. Во всяком случае, мне хотелось, чтобы было так.

Теперь жизнь моя была переполнена чувством к Жене. Целые часы уходили на писанье ей писем, в которых, в ряду с самыми цветистыми выражениями моей любви, нужно было показать и глубокое знание литературы, главным образом тех авторов, которых мы в гимназии не изучали. А так как Женья тоже много читала, то превзойти ее я мог только скептической философией, и я действительно писал ей: «Да не есть ли самая наша жизнь лишь миг между вечностями?»

Так мы переписывались до летних каникул, все-таки ни разу не сказав друг другу словами то, что облакали в письмах в красивейшую и страстную форму. К лету лужа подсохла, липа распустилась и расцвела и я почувствовал (скверный и безнравственный мужчина!), что я хочу Женю поцеловать. Помогла опять липа, но когда я, пустив в ход всю решимость мужчины, неуклюже обнял Женю за плечи, а она с полным доверием и без особого смущения протянула губы, — из-за угла показался какой-то человек, и мы, лишь слегка столкнувшись носами, должны были скорее зашагать дальше.

Хотя поцелуя между нами так и не случилось, но в ближайшем письме Жени я прочел фразу: «То, что про-

изошло вчера, заставило меня горько задуматься над «дружбой» и «страстью». Мой милый, мы не должны больше встречаться! Сердце мое холодеет и грусть немолчным потоком заливает душу...»

Это было как раз накануне моего экзамена по латинскому языку, на котором я блестяще провалился, почему и остался на второй год. Женя тоже держала последний экзамен, и удачно, а затем должна была уехать в деревню с матерью. Вообще женщинам это дается как-то легче, мы же обыкновенно страдаем.

Мы, впрочем, переписывались, но должен сказать, что мои письма стали такими мрачными, что слово «любовь» в них появлялось только в кавычках. Я остался шестиклассником, а она перешла в седьмой. Вам понятно, что это значит для мужского самолюбия! Одновременно я терял и Васю, от которого отстал на год. Мне ничего не оставалось, как стать мизантропом, а мрачные люди девушкам не нравятся.

Есть такое имя — Овидий Назон. Если хотите, можете им восторгаться, а мне он не нравится. И, по-моему, невесть какая заслуга — написать «Метаморфозы». Впрочем, с годами я с ним примирился.

* * *

Вот я и говорю: будущее наше темно и непонятно, настоящее никому не любопытно, а в прошедшем горести смягчены, и вспоминать его всегда приятно. Может быть, столкнувшись носом с Женей, я такое пережил, что лучше и сильнее никогда не переживал. И я, пожалуй, рад, что в наш роман вмешался Овидий Назон: нам было слишком рано узнать, как кончаются романы при их «нормальном» развитии, то есть когда никто не выходит из-за угла, не сталкиваются носы и не появляется на сцене злодей в плаще римского поэта.

Сердце, вот то самое, которое и сейчас еще отбивает счет слева под ребрами, только не с прежней отчетливостью, — это сердце любило тогда не курносенькую Женю с глазами в яйцо страуса, а так-таки целиком весь мир, который оно тогда свободно вмещало, — с лесами, реками, горами, цветами, слонами, человеками и букашками. Теперь ему не столько дороги ландыши, сколько ландышевые капли. Не то чтобы я собирался жаловаться и скулить, это ни к чему, да и не в моем характере, — а только го-

ворю откровенно, что в прошлом даже и чепуху вспомнить приятно, а мечтаньям о будущем всегда мешает какой-то сидящий в нас червячок. Впрочем, такое мнение ни для кого не обязательно.

РЫБОЛОВ

На реках всероссийских — там мы сидели и удили... как это было чудесно!

Человек, который обдуманной до тонкости хитростью и обманом привлекает к себе изящное, тонкое, полное жизни существо, суля ему всякие блага, притворяясь благодетелем, — и вдруг, обманув доверие, всаживает ему в горло острый клинок с зазубриной, холодно смотрит на льющуюся кровь, спокойно и равнодушно выдирает из страшной раны свое оружие и швыряет бьющееся в предсмертных судорогах тело на доски, — может ли такой человек быть хорошим?

А между тем я не встречал среди страстных рыболовов дурных людей, разве что в себе самом проглядел печальное исключение.

Рыболовом я называю, разумеется, любителя ловли рыбы на удочку и на дорожку. Все остальные способы (жерлица, перемет, верша, острога, не говоря уже о сети) — не рыболовство, а рыбачество, профессия, и к искусству, к страсти рыболовной никакого отношения иметь не могут. А главное — не родят в душе важнейшего и прекраснейшего и прекраснейшего: созерцания и мечты.

На реках всероссийских — о, вспомним, как там мы сидели и удили!

Неширокая речка с быстринками, заводьями, с камышами и зарослями водяной лилии, с наклоненными над водой деревьями. И рассвет — первый рассвет, когда на поверхности реки курится туман. Лодка бортами раздвинула камыш. Лениво уходящая ночь. Молчанье или то, что называют молчаньем, но что для нас, рыболовов, звучит тихой прелюдией просыпающейся жизни. Розовеющий восток — и первый всплеск на реке.

Река никогда не спит — только замирает, только притворяется спящей. Струйка бежит неустанно и морщится, задев за поплавок. Синяя стрекоза — та действительно спит, намкнув от росы; можно взять ее за крылышки — она не пошевелится. К жизни ее возвращает только солн-

це; где оно пригрело — там обсыхают и просыпаются синие стрекозы, цветочками торчащие на прибрежной травке. И сразу — стрелкой в воздух: и замрет на месте, ни вверх, ни вниз, ни в сторону; не чета неуклюжему самолету.

Река же не спит. Ночью, задолго до рассвета, вкусно причмокивая, целуют воду лещ и подлещик. «Нем как рыба» — ничего не означает. Кто это сравнение придумал, тот не слышал рыбьего голоса. Не слышал, как чмокает лещ, как стонет окунь, как плачет плотичка. Рыба не нема, хоть и не болтлива. Была бы нема — зачем бы ей такой прекрасный слух? Иных крупных рыб приманивают хлопкой по воде; а стукни по днищу лодки — мелюзга стрелками разбежится на обоих берегах.

Я думаю, что можно бы приманивать рыбу хорошей музыкой; конечно, не скрипкой, этим отвратительным инструментом для грубых и тугих ушей, а, например, дудочкой, сделанной из камыша.

* * *

Часу в четвертом, прогнав сон и одевшись быстро, чтобы не пропустить рассвета, сунув в карман ломоть черного хлеба с крупной солью (и в том же кармане коробочка с полудохлыми мухами), захватив готовые с вечера осмотренные, хорошо замотанные (чтобы не задевать леской за кустарник) удочки, — по росе мокрыми до колена ногами беги на речку. На бегу шепчи губами бессвязное, тревожное и страстное, вроде заклинания:

— Солнышко, обожди, не выходи! — Должен быть нынче клев. — Экая роса выпала! — Не забыл ли положить в коробку запасное скользящее грузило?? — Ну, держись, щука!

Рыболовы всегда сами с собой разговаривают, бесвязно, чудно, но интересно и значительно.

В лодку садись тихо, веслами не стучи, воды зря не болтай. Живцов лучше наловить тут же, у мостиков, — если с вечера не наловлены.

Муха на крючок, легкий взмах особой, легчайшей удочки — и сейчас же потянуло перышко под воду: первый живчик, испуганная серебристая уклейка. И второй, и третий; и малая плотичка, красноглазая, вкусная, тут же под навесом ветвей попалась на свое горе и на рыбацкую удачу. Довольно, не к чему зря мучить мелюзгу!

Замок снят, цепочка брошена в лодку, — отъезд.

Куда ни глянешь — всякое место кажется чудесным и добычливым на рассвете. Но нужно выдержать характер и доехать до намеченного вчера — при входе в заводь, в заросли камышей, где на закате так плескалась.

Разогнав лодку и весла сложив раньше, с легким шуршаньем въезжай в камыши, чтобы только корма осталась на вольном течении.

И тут — разматывай не спеша, пока вода успокоится; курить подожди, успеется.

«Тебе, малая плотичка, придется выступить первой. Это больно, очень больно, когда крючок входит в спинку, под плавник! Но разве эта боль и даже предстоящая тебе смерть не искупаются сознанием исключительности твоей судьбы? Твоих сестреноч щука или окунь сожрут просто, походя, не поперхнувшись, безнаказанно; а когда тебя схватит зубастый хищник, — тут ему и погибель, не вырвется. Все-таки... приятное сознание жертвы не напрасной, а для блага плотичьего и уклейного народа».

Живчик тихо опущен в воду. Поплавок скользит по крепкому плетенному шнуру и останавливается, где ему полагается. Водой относит и его и живчика. Удилище на борту лодки, тонкий кончик лежит на камышах.

«Гуляй, плотичка. Гуляй веселей, не все ли равно!»

И вот — первые минуты созерцания.

Алеет восток; дымка бежит по воде; воздух чист и чуток: ждет жужжанья первой мухи.

Вода еще стальная, гладкая, без ряби. А под гладью уже началась жизнь дневная, — недаром и живчик загулял бойко: тянется к камышам, ведет за собой поплавок. Тянется — значит, завидел вдали врага. И правда — всплеск под тем берегом, гвоздиками разбежалась, морща воду, стайка рыбешек, круги пошли: это вышел на утреннюю охоту хищник; то ли схватил, то ли мимо ударил. Что бы ему подойти сюда поближе!

И мечтает рыболов:

«Вот идет под водой огромная щука, старая, с обомшлой спиной, острозубая. Ищет легкой поживы, смотрит снизу вверх, сама под листьями прячется. Она еще далеко — а уклейки уже разбежались, попрятались. И видит щука: жирная плотичка запуталась либо заигралась, болгается на месте, не уходит. И точит щука зубы, целится. Сейчас даст хвостом толчок, откроет пасть и — цап!..»

Поплавка нет; вынырнул на минуту, попрыгал, как

живой,— и опять ушел под воду. А как будто все спокойно... Вот где нужна выдержка! Дерни раньше времени — и ушла щука. Нужно знать ее повадки, не мешать ей насладиться, пока не натянется сама крепкой лесы.

Она схватила плотичку поперек тела, вонзила острые зубы, держит, мнет, пробует, тихо повертывает головой себе в пасть. Тут бы и глотать — да накололась щука, проткнула губу двойным острым якорьком. Боль невелика — щуки не чувствительны,— но обман поняла: неужели попалась? И вот тут — резкий бросок к камышам, так что леска загудела струной.

Теперь, рыболов, не зевай! Удочку вверх, чтобы тонкий конец снасти гнулся колесом. К себе не рви, от себя не пускай, держи от камыша подальше, выводи на вольную воду, когда нужно — подматывай, когда нужно — ослабляй, не спеши, не волнуйся, пружинь: побьется щука, устанет, ляжет брюхом вверх отдохнуть,— тогда подводи ее осторожно к лодке, готовь сачок. И вот тут-то не дай ей сорваться сухим и резким ударом, иначе махнет хвостом — и прощай до будущей встречи.

Идут минуты трудной борьбы. Бросается щука то в камыши, то к середине реки, то в глубь, то на поверхность. Вся рыбешка кругом разбежалась и попряталась. Вон она какая страшная и сильная, щука зубастая,— над такой пробьешься с четверть часа, а то и дольше. А если слишком могуч старый хищник и удастся ему вытянуть всю лесу, лучше бросай скорее в воду удилице. Далеко не утает, все равно выплывет снасть на поверхность: плыви за ней в лодке и поджидай. Крепко зацепила крючок щука, назад не выбросит. Только придется долго выпутывать лесу из речной травы.

И лезет из воды в лодку узкая зубастая щучья голова, белыми глазами с ненавистью смотрит; обессилела щука, и хвост ее запутался в петлях подсачка.

Победа!

* * *

Тем временем поднялось солнце и ожил мир. Золотая муха ткнулась лбом прямо о борт лодки, упала в воду, бьется лапками напрасно. Плыла недолго: цапнула ее рыбешка, вспух на воде пузырек и расплылся кружочком. Окочилась мушья жизнь.

Воздух холоден, солнце горячо. И нежны дали за отлогим берегом. Много видал я рассветов во многих стра-

нах. Смотреть на иные из них приезжают туристы нарочно; ложась спать, велят, чтобы их непременно разбудили. Когда солнцу полагается вставать по приказанию путеводаителя. Ничего себе, рассветы как рассветы. Но нет рассвета лучше, чем на неширокой и рыбной русской реке!

У рыболова несколько пар глаз: только одной он смотрит за поплавком, другими — с нежной любовью глядит на просыпающийся мир. Ради него он здесь — не ради поживы: от жилья подальше, в тесном слиянье с ласковой живой природой. Не смейтесь над страстным рыболовом, он — служитель прекрасного культа. Никто не видит столько рассветов, как рыболов-любитель. А кто видит много рассветов, у того душа беззлобней, тот дольше молод.

Щуки наелись — и солнце поднялось. Либо домой, хвастаться успехом, либо, оставив лодку, ловить на быстринке, где речка делает поворот, где дно чистое, песчаное, пестрых темных пескариков, можно сразу на два крючка на одной леске: дело верное, простое, занятное. Иной раз схватит и карапуз-окунишка, любитель червячка.

Программа дня будет такая. Сейчас — досыпать, чаю напившись, недоспанное за ночь. Перед закатом можно с крутого берега попытаться на червячка — там, где недавно брошена зашитая в худую марлю приманка из крупы, гороха, хлеба; уходя, наловить бойких живцов для утренней охоты. Если будет ночь хороша — на лещей, рыбу трудную, осторожную, требующую от рыболова выдержки, терпения и большого искусства. А уж под утро непременно попытаться поймать хитрого и алчного шереспера — на длинную леску, пущенную по течению на маленьких поплавках, чтобы не провисала и рыбы не пугала. Шереспер бьет рыбешку хвостом, прежде чем схватить и заглотать; поймать его на удочку — исключительная удача; можно спиннингом, с берега, но как-то не по сердцу русскому рыболову английские выдумки; и реки наши, с травкой на берегу, с плывущими ветками, с поросшим дном, не подходящи для такой ловли. Мы — попросту.

* * *

Стоят палочками рыболовы-любители по берегам Сены, удят подержаную кильку. Смешной народ, — а все-таки, проходя по берегу, нельзя не остановиться и не посмотреть на унылую эту ловлю. Подымет такой рыболов голо-

ву, посмотрит рассеянным взором — и во взоре его мелькнет знакомое и важное: созерцание и мечта. Видно, и в ванне можно ловить рыбу, если уж страстно хочется. А кто не понимает этого, тому никак не объяснишь, потому что люди бывают разные, страсти их — тоже. Зато — «рыбак рыбака видит издалека». И увидав — подойдет и непременно расскажет, как однажды попала ему такая рыбина, что, знаете, ну прямо... одним словом, смучился. И с каждым разом, с каждым рассказом растет эта рыба в собственных его глазах; особенно если она сорвалась: огромных размеров достигает, фунтов этак на... Была ли она таковой, не была ли — не все ли, в сущности, равно? Не была в натуре — в мечтах была. Потому что рыболов всегда — великий мечтатель.

Солнышко заходит, река темнеет, синие стрекозы устроились на стеблях травы и уже намokли от росы. И струйки воды будто бы заснули, — но это только кажется: река никогда не спит!

БАБУШКА И ВНУЧЕК

Два образа, дорогой земляк, закинули вы мне в душу, и никак не могу от них отделаться, — всё они стоят передо мною. Теперь вам придется прочитать напечатанным кое-что из нашего вечернего разговора, главное — из ваших рассказов: про бабушку, которая все в жизни выполняла, и про мальчика, который шел вдоль ручейка.

Про бабушку, собственно, немного. Была такая старушка-бабушка, в мирном городе Чистополе, в хлебной житнице прошедших времен, на высоком камском берегу. И была та бабушка так хороша и чиста душой, что лучше и представить невозможно. Она была из староверов; становясь на молитву, надевала черный сарафан, голову повязывала белым платком, в руках держала лестовку, крестилась двуперстно, старыми губами уставно подпевала.

Для внука — бабушка всегда была такой: старенькой, морщинистой, беззубой, хотя и не сторбленной годами, а прямой в стане. В поклонах поясных и земных на общей молитве бабушка от мира не отставала и на поясницу, как другие, не жаловалась. Со сторонними бабушка была строга и справедлива, только внучку потворщица и баловница. Надо, однако, полагать, что была и у бабушки своя молодая жизнь, только очень давно, и никак вообразить

этого невозможно. Если была в ее молодости какая шалость или непокорность — все искуплено послушанием и подвигом зрелой жизни и на весах страшного суда скинется с чаши малым золотником, а то и вовсе забудется. А за доброту ее и святость старой ее жизни даже и большой грех пошел бы с позднейшим подвижничеством так на так.

Одним словом, сказал про нее внучек, когда уже стал большой и сам свершил половину трудного житейского пути, — так сказал:

«Если есть на свете ад и рай и если случится, что приведут меня по смерти ко врагам райским, — то прежде всего я спрошу:

— А бабушка моя тут ли?

И если окажется, что бабушки там нет, — я им прямо скажу:

— Тогда я вас и знать не хочу!

Потому что, если моя бабушка не в раю, тогда это не рай, а одно безобразие. Такой несправедливости нельзя вытерпеть. Она была по-настоящему святой женщиной и выполнила в жизни все, что положено человеку выполнить для спасения».

Вот пока и все про бабушку, а читающий да разумеет, чем образ ее мил, чем дорог и почему вспомнился.

А теперь про мальчика, который шел по ручейку.

И в этом, и в любом месте, и хоть сто раз можно повторить и нужно повторять, что наша весна, русская и северная, совсем особенная и что здешние люди настоящей весны не знают. Здесь после зимней мокрети проглянет солнце, расцветут цветы, — а назавтра жара и трава желтеет. А у нас первый весенний день нужно уметь угадать, выглядет его под снежной скатертью, унюхать в воздухе, услышать в воробьином веселом разговоре. Начавшись, долго тянется она, наша северная весна, с проталинками, с ледоходом и многоверстным половодьем, с вербой, подснежником, с грозами и радужным цветением, — пока не распустится она в душистое смоляное лето, а в какой день — так и не узнал. Описать это — все равно не опишешь; многие пробовали, — да приставал к перу волосок и зря мазал по бумаге.

Для мальчика, внука святой бабушки, весна приходит в тот день, когда талый снег побежит ручейками.

Мальчик, о котором мы с земляком говорили, подобрал на дворе палку и вышел за ворота. От протали под стек-

лянной корочкой льда бежал по скату улицы ручеек, извиваясь по прихоти, потому что улицы там были немощеными. И мальчик, прочищая путь воде, разбивая палкой корочку, отгребая в заторах мокрый снег и весеннюю грязь, пошел по течению ручейка.

Руки работают, а голова думает: куда приведет ручей? Из улицы за город, из канавы в речушку, из нее в речку, из речки в реку, из той в другую, а там в море, а может, и на край света — и оттуда водопадом уже совсем неизвестно куда.

Пустил мальчик на воду щепку и смотрит, как она крутится да как она торопится, как бьется о берег, гвоздем окунается в стремнину — и опять выплыла. В ином месте щепка пропала под мостом — и теперь беги ищи, где ее вынесет на вольный свет. Намокли у мальчика валенки и пальцы на руках померзли, — а никак нельзя бросить занятие и не хочется вертаться домой, пока солнце не потухнет. Бабушка ждет, беспокоится, старыми пальцами перебирает кожаные барочки лестовки, старыми губами шепчет, что помнит, из уставной молитвы.

Дома, намаявшись за день похода, мальчик спит и видит во сне все то же течение ручья, блестящие водяные морщинок, талый снег и весеннюю муть. Во сне растет и наутро встанет на день старше и умнее, на сутки ближе к мудрости, что узнать полностью нам ничего не дано, что все, как весна, повторяется и нового под солнцем нет и не будет. Для того и кругла земля, чтобы не было ей ни конца, ни начала и чтобы всякий путь возвращался на свои круги.

Потом мой земляк рассказывал, как однажды ушел он по течению ручейка, да так и не вернулся домой.

Бабушка причитала: «Ты уйдешь, — а как я одна остануешься?» Солнце топило снега, время было замечательное, кругом гомон и говор, кто не любит обещаться впустую — должен действовать.

Как тупорылый щенок какой хочешь породы, едва промывши светлым воздухом молочные свои глаза, тыкается теплой мордашкой куда попало, потому что мир нов и нужно в нем участвовать, — так вот и мы, дорогой земляк, ищем, хорохоримся, предполагаем, жертвуем, а в общем — идем по бегу весеннего ручейка, до ужаса любопытствуя, куда он нас приведет и чем все это кончится.

Исстари повелось, что были на Руси странствователи, искатели правды. Их рисуют бородатыми, с посохом в

руке и с котомкой за плечами. Этих любителей путешествовать называли своевольными и божевольными шатунами, неизвестными, странными, зажими людьми, а в песнях пели милосердными богатырями. Иные кончали свое странствие таежными скитами, а другие до конца жизни пребывали неустанными землепроходцами, и путь их ищущий был на Киев, на туретчину, на чужие страны. Полагается думать, что вела их смиренная вера, — а вправду их вело страстное любопытство, сомнение в том, что земля кругла, что все люди двуглазы и что три кита живут только в сказке. А это уж не смирение, а бунтарство. Говорили, что «одним избяным теплом не проживешь» — надобно потрепать много лаптей. И уходили гуськом, один за другим, по течению ручьев, палочкой пробивая ледяную корку.

Эти люди не перевелись, и не у всех их длинные бороды и посох — много среди них молодых и бывалых смолodu. Случалось — уходили и большими толпами.

Так однажды ушел и наш мальчик.

Уж и бабушки не видно, и родной дом приземился и стал совсем маленьким. Не заметил мальчик, как просохли в Закамье заливные луга, как соловьи повили гнезда и перестали петь, как налился колос, а потом поля оголились и покрылись золотой щетиной, потом приспело дождливое время и снова запахло снегом, а там стукнул мороз.

Давно уже нет ручейка, а вместо него бежит ручей жизни, тоже вьется прихотливо, тоже ведет неизвестно куда, из канавы в рытвину, из реки в море — все ближе к краю света.

И сам мальчик уже не мальчик, а один из тех, кому было суждено пройти крестный путь русских надежд и страданий — полностью и по совести.

Может быть, он и не совсем такой, как все, как тысячи, — но путь проделал честно и точно тот самый, как тысячи, как все без отличья: с севера на юг, из Крыма к туркам, от славян на парижский завод точить и прилаживать заднюю ось. И вот мы сидим, смущенные воспоминаниями о наших родных камских берегах, о том, как шумит у нас бор и свистят пароходы, как в ледоход громятся на завороте реки льдина на льдину — и как разом рушатся, да скольких сортов и цветов бывают сыроежки, да как по осени желтеют и золотеют опушки, — сидим в Париже, оба здесь старожилы и оба нездешние, а тамошние, одним словом, северные, прикамские, и здесь мы совсем напрасно, зря завел нас сюда мутный весенний

ручей. Я — постарше, попривычнее, а он, молодой и поживший, говорит, потирая лоб там, где будут морщины:

— Не понимаю, куда ушли пятнадцать лет? Не заметил, как они прошли.

Человек, которого не умудрилась удержать дома даже добрая бабушка, катится по свету, как на салазках с ледяной горы: удержаться никак не возможно, только направляя путь железной свачкой, да и то больше для собственного утешения, а несет и швыряет сила не своя, чужая, ничья. И как во сне, побежали и пробежали года, страны, путаные думы и те маленькие огрызки счастья и недоли, из которых складывается человеческая жизнь, у одних с выгодным, у других с плохим перевесом. Даже некогда оглянуться, сложить ладонь зонтиком и посмотреть, все ли еще стоит на крыльце бабушка — или она уже на сладком отдыхе, а в ее сундуке больше нет белого савана.

Если теперь начать вертеть колесо в обратную сторону, то получится большая неразбериха.

Идти по теченью, от первой проталины — к океану, очень просто, и сбиться с пути не на чем. Идти обратно: свои следы утеряны, а новых чужих следов нет числа; что ни шаг — то поворот и развилка, что ни взгляд вперед — то новое устье. Из тысячи ручьев, впадающих в одну большую речку, нужно догадаться выбрать свой, который поведет домой, к своим лесам, в родной бабушкин город Чистополь. Это, земляк, очень трудно, да и возможно ли.

И даже самый город переменялся — не сразу узнаешь. Помните, как там длинной вереницей стояли хлебные амбары, которым не часто приходилось пустовать, сколько было одних торговых пристаней, какая цветная толпа встречала первый пароход с Нижнего? И нет той улицы, и нет знакомого крыльца, и кости бабушки давно истлели в земле, так надолго покинутой внуком. Встретят чужие лица, при встрече не улыбнутся, не ответят на робкое приветствие, повернутся спиной к пришлому неведомо откуда человеку. Неведомо откуда — и неведомо зачем.

Вот когда поймется, что крестный путь не был последним испытанием и не был труднейшим. Ручеек бежал вниз и вниз, — а обратно подыматься нужно в гору.

Скажем даже: нашел дорогу и вернулся внучек. Вернулся помятый жизнью, без красных щек, без теплых варежек и молодого любопытного глаза. Думал, возвращаясь,

что чужой язык остался за горами, морями и границами, а на проверку — чужой язык здесь, дома. Либо по-русски не понимают — либо изменился сам русский язык. Слова как бы те же — понятия иные. Стало лучше или стало похуже — разобрать нельзя; верно одно, что никто не помнит про старую бабушку, нет тропы к ее могиле и самой могилы нет. Точно прошли не годы, а века, точно засыпана прежняя земля толстым слоем новой, — и это не снег, по весне не растает.

Если внук вернулся умен — тогда и в грусти поймет, что только для него мир перелицован, а для всех других сегодня и есть сегодня, как вчера было вчера. Стареют новые бабушки, рождаются новые внуки; и с первыми весенними ручьями по всей непомерно большой нашей стране пойдут мальчишки с палками дробить ледяную корочку и смотреть, куда бежит вода и где конец ее бегу. На ходу мельком оглянутся на пришлого человека: где ему понять их великое любопытство. А у него и впрямь совсем другое теперь на уме: разыскать старый бабушкин сундук или хоть ее ременные плетеные четки с треугольной висюлькой — не для веры, а хоть для памяти.

Осень весны не понимает, дорогой земляк, хотя у каждой поры года своя прелесть и своя красота и делить им, казалось бы, нечего, можно бы и договориться. Но каждая пора знает свой черед и уступает другой время и место без задержки в час, однажды указанный. Всякий год прилетают и улетают ласточки — и те же и не те.

Мы еще о многом говорили с земляком, и о приятном, и о нужном.

Приятное — эти разные воспоминания; тут мы друг друга перебивали, стараясь вперед другого сказать, как хороши на большой реке плавучие беляны и как в наше время строили на них кружевной деревянный домик; и еще — как на самом носу длинного плота горит костер, чтобы часом не наскочил сонный пароход снизу. Но за один вечер всего в памяти не переберешь.

А нужное — это взаимный уговор и ласковое утешенье. Главное — чтобы без злобы, никого не осуждая и ни в чем не каюсь. Нездешние по рождению и привязанностям — в здешних мы никогда не обратимся, да и охоты к тому нет. С людьми мириться трудно, с судьбой можно, а будущего не угадаешь.

А всего любопытнее, что наша судьба не исключительна, как не очень уж приметливо в истории и наше вре-

мя: бывало такое раньше, будет и впредь. Утешенье маленькое и слабое — а все же: начав с маленького, можно додуматься и до большого, а то оно и само придет, даже и непрошеным, и не сегодня — так на днях, годом раньше — годом позже, и придет оно для всех одинаково.

Так мы и решили. Но пока вспоминали и решали, мы, говоря обо всем, много раз возвращались к образам, очень уж прочно запавшим в душу и с нею сжившимся навсегда: к бабушке, которая все выполнила для святости, и к мальчику-внуку, который шел, да так и ушел по теченью раннего, холодного, мутного, но живого и забавного весеннего ручейка.

ЧУДО НА ОЗЕРЕ

Проф. В. М. Ц-ву

Опять и опять, со странной непоследовательностью, в неурочный час и без всякой связи с обстановкой (за окном скука, в комнате полутемно, в руках прочитанная газета) — встает предо мной высочайшая отвесная скала над спокойным озером.

Закрываю глаза — и слышу четкий, но очень далекий звон колокола. Он доносится сверху, оттуда, где у самого края тонкой палочкой белеет колокольня игрушечной церковки. Сам же я на другом берегу, отлогом, у воды, которая едва плещется.

Видеть все это мысленно с такой ясностью, когда прошло уже почти двадцать лет, как не бывал я на озере Гарда, красивейшем из итальянских озер! Срок немалый, профессор, как вы думаете? Годом больше, годом меньше — не в том дело; все равно — какой цифрой изобразить вечность?

Да, мой дорогой профессор и старый друг, прошла вечность. Прочтя эти строки, вы будете удивлены, почему так неожиданно я вспомнил сегодня наши дни на озере Гарда. Приблизьте ухо — я вам шепну:

— Потому что этих дней я никогда и не забывал.

Если вы наклонитесь поближе, я добавлю (только не смущайтесь):

— И вы, профессор, тоже никогда их не забывали.

Вы видите — я владею вашим секретом. Но не будем оглядываться на нас теперешних; мы, кстати, давно и не видались. Да и нужно ли видеться? Встречаясь после дол-

гой разлуки, люди смущенно улыбаются, мнутя и ловят выражение глаз друг друга: «Каким он меня нашел? А сам он, бедняга, да... немножко изменился...» И каждый думает про себя: «Кажется, я все же постарел меньше».

Почему вспоминаю именно сегодня? Потому, что сегодня, как вчера, как завтра — под каблуками французский паркетный пол, на стене календарь и сонная осенняя муха. С малого разбега я бросаюсь на эту стену, наваливаюсь, обрушиваю ее, пробиваюсь наружу, весь обсыпанный камушками и пылью штукатурки, с плечом, разбитым осколком упавшего карниза, — и вот мы на свободе, профессор, мы скинули с плеч по двадцать лет, мы на берегу озера Гарда, в местечке Мальчезине, ничем не замечательном, даже, по совести говоря, плохоньком, но для нашей памяти — священном. Не молчите же (какой вы медлительный!), отвечайте:

— Что вы дали бы за возможность еще раз пережить то, что было пережито, и быть таким же, каким были тогда?

Ну что? Весь мир? Всем-то миром мы не владеем, профессор, не стоит и обещать. Давайте — обещаем за это маленький остаток нашей жизни, эту никому не нужную мелочишку, зачем-то залежавшуюся в кармане. Ох, как мы бедны, профессор, и как богаты были мы когда-то!

* * *

Один раз в жизни мне довелось изображать важную особу.

Я тогда ведал в Италии экскурсиями русских народных учителей и студенческой молодежи. Объезжая города, где были у нас группы экскурсантов, заехал и в местечко отдыха — на озеро Гарда. Тут жило человек пятьдесят, во главе с руководителем, московским профессором-геологом, человеком превосходным и оригинальным. Чтобы не смущать — не назову его: в соседней стране он делит с нами удел зарубежного бытия.

Для маленького итальянского местечка такой наплыв иностранцев, хоть и небогатых, — большое событие и источник благосостояния. Понятно поэтому, что приезд туда «начальника русских караванов» не мог пройти незамеченным, и мне приготовлена была торжественная встреча.

От Дезендзано до Мальчезине — большой путь по озеру на пароме, который под скалами кажется водяным

паучком. В узкой части озера есть одно селенье, забравшееся к самому небу. Почему поселились там люди — совсем непонятно; впрочем, вообще трудно понять, почему и как попадают люди на вершины гор, на острова, в непролазные дебри. Подняться в селенье было можно только пешком, для чего проникали в дырочку внизу отвесной скалы и дальше ползли червячком по неведомо кем прорытому пути — вверх, винтом, как на высокую башню. Всякие товары, тяжелые вещи, продукты питания поднимались прямо с берега на стальных канатах на такую высь, что много ниже вили гнезда соколики с пискливым криком, а в туманное утро, случалось, и облако застревало посредине скалы, отрезав от земли жителей чудесного селенья.

Ехал я мимо этих чудес, мимо берегов, золотевших от ковра зрелых лимонов; Гарда — лимонное царство, с виноградом тут хуже. К концу пути солнце уже было низко, и скалы бросали тень на спокойную воду. Вот, казалось, спокойное озеро — чистая благодать; и не верилось, что славится оно внезапными бурями. В вечерней прохладе дышать было легко, и красота была несказанна. Ко всему в довершение предстояла встреча с приезжими русскими и с милым профессором, с которым мы год назад подружались в Риме и с тех пор не видались.

Подъезжая, я всматривался в берег, где на площади, у самой пристани, стояла толпа. А сойдя с парохода, попал прямо в объятия почтенного геолога, — и вот тогда внезапно грянул оркестр.

Оркестр догадался грянуть... «Боже, царя храни», — и ко мне подошел синдак коммуны, высокий старик, с приветствием от лица сограждан.

Только милым провинциальным итальянцам могла прийти в голову такая блестящая идея: встретить русско-го политического эмигранта царским гимном. Поразило меня это так, как если бы сейчас кто-нибудь догадался исполнить в мою честь «Интернационал». Но как старательно разучили музыканты этот гимн и как чудесно сыграли! Не рубленным темпом, как играли его в России, а с какими-то тонкими оттенками, с замедленным ритмом во вступлении и ускоренным в фортиссимо. Совсем по-своему — и очень любовно.

Не один я был смущен этим сюрпризом, — смутились и экскурсанты, вышедшие меня встретить. Я скоро спохватился и, как умел, сделал им знак, чтобы не вздумали

выражать протест, на который молодежь так падка. Не объяснять же итальянцам маленького местечка, что этот гимн не совсем наш, что в нас он чувств приятных не будит! Не в нем дело — дело в трогательной предупредительности представителей городка, в их славной внимательности. Зачем их разочаровывать и обижать.

Еще раз пожав руку синдаку, я попросил оркестр сыграть гимн Гарибальди; не королевский, не очень популярный, а гарибальдийский, всеми любимый и приемлемый:

Вскрываются могилы — поднимаются мертвые.
И вот восстали все наши мученики:
Увенчаны лаврами, с мечами в руке,
С пламенем и именем Италии в сердце.

Вышло удачно, потому что местечко оказалось республиканским.

Теперь мы уже облобызались с синдаком и всей толпой отправились в наш отель. Вдогонку нам оркестр играл веселую песенку. Старого синдака усадили за стол, окружили бойкими нашими барышнями и хорошо напоили шипучим асти. И он нам понравился, и мы ему полюбились, и стал он с того дня нашим ежедневным гостем.

И вот тут-то, профессор, и начинается.

Сначала на озере, прямо против садика нашего отеля, большие рыбацкие барки, украшенные фонариками; а садик от воды отделен только легкой решеткой. Потом, когда лодки уходят на покой, выплывает луна, большущая, ясная. Вся наша молодежь разбрелась, мы же на сегодня за другими не следуем, а делимся своими думами и чувствами друг с другом.

Я знаю, профессор (мне насплетничали), что у вас каждое утро появляются на столе свежие полевые цветы, целый букет, и что приносит и ставит их существо кротчайшее и милое, и что вы в этом неповинны и относитесь к ней, как к дочери, потому что волосы ваши уже седы и их мало — хоть и не стары года. Но, профессор, кто, живя на озере Гарда, не влюблен, того вы же первый назывете сухарем и несостоящим человеком.

В боковом кармане у вас тетрабочка, а в тетрабочке стихи. И сколько вы не скрываетесь передо всеми — от меня вам не укрыться, потому что мы ведь одной породы и почти одного поколения. Над нами часто смеются, но нам всегда завидуют.

Мы поклонники молодости и соблазнитель; робким мы потихоньку советуем: «Не смущайтесь и не бойтесь быть смешными; луна прекрасна, вечер тепл, дорожки над озером уютны и безопасны; гуляйте по ним вдвоем, говорите о прекрасных пустяках и учитесь целоваться».

Сами же мы, как старшие, сегодня вечером говорим о загадочности мироздания, о вечности, о звездных дальях, о сладости музыки и поэзии, об уходящих годах. Но кончается все-таки тем, что вы, вглядываясь в мелкий бисер своей записной книжки, читаете стихи, посвященные не ей, а вообще — молодости и тому смешному и странному чувству, от которого никуда не убежишь и вне которого жизнь так безвкусна. Нужды нет, что вы — геолог, а я недавний адвокат.

А когда голос ваш начинает уж очень сильно дрожать, тогда вы ведете меня в комнаты, в освещенный луной зал, к роялю, чтобы досказать музыкой то, чего словами не выскажешь; там те же стихи вы объясняете мне внезапной импровизацией — вы изумительный музыкант, профессор геологии!

Вы играете, а зал наполняется тенями: из лунного сада в лунную комнату входят люди парочками, садятся поодаль, теснятся в затемненных простенках — в полном и благоговейном молчании. И тогда я шепчу вам:

— Сыграйте им что-нибудь, что бы захватило их и унесло!

Вы говорите шепотом:

— Но я могу сейчас сыграть только свое, только то, что сейчас чувствую, чего еще и сам не знаю.

— Это и нужно, профессор.

И вы играете. Не знаю, как назвать вашу музыку; может быть, она была больной, может быть, гениальной. Что-то необыкновенное вы сделали тогда со всеми нами. Я увел вас потом в вашу комнату, боясь за ваше сердце; вы были бледны и зачем-то все извинялись. Я ушел обратно в сад и в ту ночь не спал. Я вам сознаюсь, профессор, — я не один гулял, пока луна стала бледнеть и с озера потянуло сыростью. Я выполнял наши советы и наши уроки — и чувствовал себя счастливым юношей и не слишком робким. Виноваты в этом были вы.

Таких ночей было несколько — я засиделся в озерном местечке и на время забыл свои ревизии. И не каюсь.

По обязанности руководителя разумного отдыха профессор устраивал с экскурсантами прогулки в горы и вел с ними геологические беседы. Домой возвращались усталыми, голодными, опаленными солнцем и насквозь проветренными горной свежестью. И все-таки хватало сил после ужина снова бродить по берегу озера, прятаться в темной зелени, пенем нарушать покой мирных мальчезинских жителей. Дверной ключ в отеле всегда торчал снаружи, и дверь хлопала до самого утра. Вставали поздно и до купанья сердито щурились. Писали и посылали в Россию кучи открыток с видом скалы, над которой белым гвоздиком торчала маленькая колокольня.

Однажды профессор повез молодежь на остров на хороших лодках, с запасом провизии, с удочками, ради прогулки и, конечно, «научных занятий». Отплыли при легком ветре на склоне дня, чтобы там закусить, погулять и вернуться при луне. Гребцов не взяли: сами гребцы неплохие.

Были уже далеко и от местечка и от берегов. Ближе к острову озеро было широким и открытым, как маленькое море. Ехали с песнями и шалостями, — профессорская лодка впереди.

Но озеро Гарда капризно. Из-за высокой скалы незаметно подкралась тучка, вода потемнела, подул порывистый ветер, потом налетел настоящий шквал, волны забурлили, и озеро разыгралось, как заправское море. Вместо пеня — крики ужаса, а остров еще далеко, к берегу еще дальше.

На передней лодке профессор, бледный и дрожащий, но командир, ответственный за жизнь молодежи, зовет глазами берег острова, считает взмахи весел, молится про себя всеми молитвами, которые знает и которые спасали его в других жизненных бурях.

Так шли минуты и так шли часы, пока лодки относило ветром и крутило среди волн. Было темно, когда из последних сил добрались до острова и ткнулись носами лодок в песчаный берег. Все были целы — десятки молодых жизней. Усталые, промокшие, молчаливо выходили из лодок и скорее отбегали от страшной воды. В этот момент взошла луна.

И вот перед толпой испуганной и присмирившей молодежи встал профессор, обнажил голову, осветив луной огромный свой лоб, и сказал строго и убедительно:

— Все на колени!

Опустился первым впереди — и за ним опустились все. И он стал за всех громко молиться.

Молился словами благодарности за спасенье — Богу ли, року ли, словами своими, такой же музыкальной импровизацией слов, какая лилась из-под пальцев его у рояля. Молился долго, поднимая руки к небу и к взошедшей луне, улетев мыслью в звездные миры, с глазами, полными счастливых слез, и с сердцем, полным детской веры. А за ним — все эти молодые скептики, студенты, шаловливые девушки. Были минуты странного экстаза, сознания совершившегося чуда, которое вымолил у неба и озерных чудовищ вот этот странный человек, профессор геологии, для них уже старик, но влюбленный в жизнь и знающий что-то такое, чего они еще не знали, но силу чего чувствовали на себе.

Потом они окружили его молчаливой толпой и смотрели на него, как на святого, прошедшего их по волнам невредимыми, сохранившими такое дорогое сокровище, как жизнь, еще почти не начата.

Так же молча расселись на берегу и стали смотреть на озеро. Волн уже не было, вода покрывалась рябью, от луны шла дорога света. Еще полчаса — и озеро стало совсем спокойным, как это бывает только меж высоких, обманчивых и коварных берегов Гарда, лучшего из итальянских озер.

Наутро уже спокойно вспоминали они свое приключение, но многие остались задумчивыми. Профессор был нездоров и к обеду не вышел. Сегодня, сверх обычного утреннего букета, он получил еще много цветов, собранных любящими руками, может быть не только женскими.

* * *

Я взволновал вас этим рассказом, дорогой профессор? Мой рассказ может быть неточным: я пишу его с чужих слов, так как меня тогда уже не было с вами. Те, кто мне рассказали, не улыбались, вспоминая о вас и об общей молитве. Они говорили, что пережили близость чуда, что спастись было нельзя, значит, это было делом вашей святости или вашего колдовства. Одни, верующие, приписали свое спасенье вашей молитве, другие, скептики, отказались искать объяснения, чтобы не изменить себе, но и не нарушить силы воспоминанья.

Я же, веселый безбожник, тщусь понять все без помощи неведомых мне сил. Я знаю, что такое любовь к жизни и жажда жизни. В любви этой вложена сила, которой не нужно иных объяснений. Я слышал ее в вашей музыке, и не о ней ли говорили мы с вами, профессор, в наши лунные встречи на озере Гарда? Этой силы, нас тогда окрылявшей, было довольно на всех. Как могли — мы учили любить и не бояться, потому что минуты жизни кратки и священны, и все они на счету, и нельзя пропускать их с небрежной медлительностью чувств. Учили музыкой, словами, личным примером. Вам на долю выпало доказать, что жажда жизни умиряет волны, а с любовью в сердце можно в уютной лодке переплыть океан. Или скажут, что все это лишь вздор и красивые слова? Пусть думают так — мы верили иначе. И с этой верой жили и дожили до тех лет, когда менять веру уже поздно.

Профессор, этими строками, писанными для вас, позвольте перекинуть мост старой нашей дружбы через головы всех скептиков, людей прозы, не верящих в дружбу и не жаждущих чуда. Молча, про себя, мы знаем, где голая истина и где ее прекрасные одежды. Нам не приходится бояться ошибки.

Прошли годы, и прожито так много. На жизненных полках томы и страшных и ласковых воспоминаний. Среди них сегодня я открыл страницу нашей встречи, которой ни я, ни вы забыть не можем. Яркими и четкими буквами написано в ее заголовке:

«Чудо на озере Гарда».

ИГРОК

Когда крупье забрал и передвинул своим изумительным деревянным мечом кучу разноцветных костяшек, — на плечо мое легла рука, и слегка насмешливый, очень знакомый голос сказал:

— Такого случая, седьмой карты, я жду три года. Но вы, конечно, правы, дав и восьмую.

Я поднял голову и увидел старого московского приятеля, которого давно потерял из виду.

Собрав печальные остатки костяшек, я встал — к удовольствию ожидавших свободного места за столом.

Поздоровавшись, он продолжал:

— Дать восьмую карту, это, конечно, жест красивый.

Французы этого не умеют. Чувствуется московское воспитание.

— Плохое утешенье, — кисло улыбнулся я. — Было бы гораздо лучше остановиться даже на пятой.

— Однако прошла и шестая и седьмая. Могла пройти и восьмая. Получался хороший куш.

— По моим достаткам — почти богатство. Я совершенно не понимаю, почему я дал восьмую.

— О, это понятно, понятно. Очень, очень понятно.

Мы решили поболтать не в буфете клуба, а где-нибудь в кафе. На минуту задержались у большого стола баккара, где по зеленому сукну быстро передвигались кучки красных, голубых и перламутровых дощечек; игра шла миллионная. То, что отняла у меня восьмая карта, здесь выразалось одной красивой голубой дощечкой и в общем счете роли не играло. Голубая дощечка равна была только годовому заработку среднего чиновника.

В кафе было пусто; мы заняли угловой столик и в ожидании двух кружек рассматривали друг друга.

— Вы часто играете? — спросил он.

— Только случайно. А вы — клубный житель?

— Да, как всегда. Но играю сейчас мало.

— Неудачи?

— Д-да, мертвая полоса. Бывает.

С его лица не сходила усталая полуулыбка человека, выдавшего виды. Я вспомнил, что улыбка эта была мне знакома еще по Москве, где мы также не раз встречались за круглым столом.

— Неисправимы? — засмеялся я.

— Да зачем же исправляться? В сущности, в этом вся жизнь. Во всяком случае, лучшее в жизни.

— В азарте?

— Да. Именно в азарте. Азарт — святое дело. Высокое дело. Выше азарта ничего нет. Побить восьмую карту ничем не хуже прекрасной поэмы или главы романа. Но нужно это уметь делать.

— Послушали бы вас моралисты — получили бы вы от них хорошую отповедь. Карты — гиблое дело. Душу вытравливают.

— Ах нет, это уж нет! Что угодно, а это не так. Азарт вообще возвышает, а не унижает душу. Я это говорю не как игрок, а совершенно беспристрастно. Я об этом много думал, да и наблюдал на своем веку достаточно.

Мы попробовали говорить о другом. Наскоро обмена-

лись деталями биографий последних лет. Вспомнили о старых встречах и об ушедших людях. И скоро разговор вернулся к прежней теме.

Он отпивал пиво маленькими глотками, не глядя на кружку. Впрочем, глаза его всегда смотрели мимо предметов — куда-то. А пальцы руки, нерабочей, бледноватой и слегка дрожащей, ни на минуту не оставались спокойными. С этой сдерживаемой природной нервностью не согласовался спокойный, слегка насмешливый голос, которым он произносил слова странные и глубоко убежденные.

— Азарт... и все в негодовании. Говорят: большая страсть, снижение достоинства человека. Ну, конечно! Горящие глаза, забвение человеческого, близость к зверю... Вздор это! Азарт человека возносит к небу, близит с богами. Плоской жизни, расчету каждого шага и каждой копейки он противопоставляет вдохновение, блеск, гигантский взлет надежд, гибельную пропасть падения, великое, именуемое «случайностью». Он маленькому чертику рассудка вырывает клочок серенькой шерсти, и чертик гибнет со свистом. И тогда встает, вырастает огромный и великий бог или дьявол — где разница? — сжимает человеку сердце и горло сладкой целью мечты, страха и дерзання, швыряет в прах семью, труд, все проклятые добродетели человека, связавшие его по рукам и ногам и сделавшие жизнь вечным проклятьем, и манит, обманывает, дарит минутой счастья, берет и губит внезапным ударом смешной и нелепой судьбы, ласкает тихой и ровной радостью. Да! Есть и простая сельская радость во всецветном азарте.

— Но слушайте, — вы настоящий поэт! А скажите, у вас здесь есть семья? Дети?

— Что? Да, да, конечно. И дети. У меня двое. Но это не важно.

И, отпив глоток, продолжал:

— Вы вот заметьте, что среди азартных, то есть настоящих, а не трусов и не ловкачей, нет злодеев и очень много (если не все) людей безбрежной щедрости и минутной (всегда минутной) высочайшей душевной красоты. Эти люди умеют и смеют дарить широким жестом, счастливым сердцем. И вдруг — страшная низость, полное падение, боязнь потерять полугрошик, последнюю свою соломинку спасения. И вот он за минуту — богач, расточитель, благодетель, красивое сердце — отказывает тонущему не только в помощи, а в простом сочувствии. И глубоко страдает за его гибель и за свою мер-

зость. Извивается, изощряется, подставляет ногу, выкарабкивается по чужим трупам. А через минуту — снова бог, снова щедрый, великодушный, снова выше всех мелких сегодняшних политиков, тружеников в поте лица, благотворителей, отдающих процент, — а он игрок с жизнью, отдает все зря, по воле своей и кусочка бристольского картона, не думая, не считая, ради красоты жеста... Потому что — хочу и могу. И не дорожу ничем, только бы заглянуть в бездну, только бы поиграть с нею, равный, а не как ее раб.

— И в заключение всегда проиграть?

— Что? Но ведь это не важно: проиграть, выиграть. То есть это тоже важно, но только на момент, до следующей карты. Пока есть что ставить. А затем — возврат к обычной жизни, к быту, к жене, к детям, к улице, газетам, вообще к тому, что называется действительностью. Из садов райских — в болото.

— Неужели же, по-вашему, в этой действительной жизни...

— Подождите, — перебил он. — Вот что я вам хочу сказать: вы играли когда-нибудь один, сами с собой?

— Как?

— Ну, ночью, или когда нет денег на игру. Тот не игрок, то есть ничего в игре не понимает, кто не играл сам с собой. Я играл ночами, до света. Метал на две руки, делал ставки, выигрывал и проигрывал колоссальные суммы, миллионы, без всякого удерживания с реальнейшим переживанием счастья и неудач. Говорил вслух, небрежничал, пронизировал, колебался. И очень волновался, особенно при крупных проигрышах. Когда не было дома карт, играл по телефонной книге.

— Как это по телефонной книге?

— А просто, открывал наудачу и слагал цифры парами. Но, конечно, это суррогат азарта, а не настоящий. Но все же жизнь особая, более высокая, лучше сна и лучше ненужного бодрствования. И знаете, однажды я побил двадцать три карты подряд. Вы понимаете — двадцать три подряд! Это было изумительное переживание. Если бы я играл не сам против себя, я бы выиграл миллиард, был бы богачом. Я даже не мог бы уже проиграть этого, мне не достало бы противников. Двадцать три карты! Я не мог заснуть до утра, но дальше было уже не то, игра мелкая, с переменным счастьем.

— Ну, это, знаете, уже...

— Ненормальность? Нет, я человек психически здоровый. Но я не знаю ничего выше игры случая. Подумайте — какое превосходное ниспровержение законов логики, расчетов статистики... почему седьмая карта прошла, а восьмая бита? Маленькая, необъяснимая случайность — и вы бы были сегодня богаты.

— Если бы снова не проиграл всего.

— Это уж другое. Важна минута, а не конечный результат. А впрочем...

Он добродушно рассмеялся:

— Конечно, и поэзии есть пределы. У меня, — я уже говорил вам, — сейчас какая-то гиблая полоса. Дальше второй карты не бывает. Даже воображение не работает. И нет никакой веры. Вот это странно: почему иногда исчезает вера? Даешь карту и наверняка знаешь, что проиграешь. Пока не подходит момент, когда уже нет для ставки и когда наверняка, ну вот непременно был бы успех. Встанешь из-за стола и видишь, как твоими картами кто-нибудь бьет, и бьет, и бьет — твоим счастьем. Не хватало только одной последней ставки. Это изумительно. И это тянется иногда месяцами. Так вот и сейчас со мной.

Когда нам принесли по новой кружке, он продолжал:

— Вот я вам расскажу два случая из моей жизни. Однажды мне очень хотелось помочь больной женщине, моей знакомой, вдове умершего моего приятеля. А помочь было нечем. Человек она была молодой, вся жизнь была впереди, а от брака своего, такого неудачного, имела на руках сынишку. От всякого горя и печали случилось что-то с легкими, и нужно было отправить ее на юг поправляться. Очень мне было жалко на нее смотреть, а помочь — чем я могу помочь? Только одно средство — выиграть.

— Средство сомнительное.

— Да, уж это — как повезет. Ну, пришел я однажды к ней и говорю: «Дайте мне на счастье руку». — «Нате, — говорит, — а зачем?» — «Пойду играть на ваше счастье. И хочу много выиграть. Если выиграю — возьмете у меня?» — «Возьму». — «А сколько вам нужно, чтобы прожить полгода на юге? Тысячи рублей хватит?» — «О, с избытком». — «Завтра утром ждите». Она посмеялась, а я ушел.

Дело было к ночи, по ночам и играли. Ну, коротко говоря, случилась полоса изумительная. В кармане у меня пустяки, и я в первый же банк заложил половину всего, что имел. Провел карт пять, продал банк, повернул, взял. Следующий мой банк — уже крупнее. Везло мне, как ни-

когда, и игроки были денежные. Тысячу рублей я сделал за первые полчаса, а дальше и считать перестал. Играл как бы шутя, а на душе такая высокая радость, что и не расскажешь. Ведь человека спасу, прекрасную молодую женщину и ее ребенка. И уж не о поездке ее шла теперь речь, не о полугоде отдыха. Даже если останется у меня к утру половина того, что я выиграл,— я обеспечу ей жизнь и ее ребенку воспитание.

Давал карту, бил, забирал деньги, давал дальше и шептал про себя: «А это Васютке на костюмчик, а на это ему ослика купим, а на это лодку с парусом». И если лодку с парусом били — начинал снова, отыгрывал лодку и наигрывал еще на велосипед. Пусть хоть дом покупают — мне то что за дело: деньги их!

Стал играть дальше сдержанно: не скупю, а благоразумно. И все смотрел на часы: скоро ли утро. Проигрывал, выигрывал, но все же лежала передо мной кучка денег раз в двадцать больше, чем та презренная тысяча, о которой мы говорили. Так дотянул до утра и даже часам к восьми еще наиграл.

— И не проиграли? Унесли?

— А вот слушайте. Собрал я деньги, положил в бумажник, встал. Ну, конечно, недовольные лица,— уходит человек с деньгами. Подождите, говорят, до завтрака, а там все разойдется. Говорю: «Не могу, должен идти; если хотите — вернусь через час». — «Не вернетесь!» — «Даю слово!»

Вышел и прямо к ней. По дороге отсчитал двадцать тысяч, завернул особо в бумажку. И мне осталось на игру. Не на жизнь, об этом я никогда не думаю.

Жила она совсем рядом. И вот неудача: не застал. Вышла рано по каким-то делам, а вернется, сказала, не раньше обеда. Было обидно! А я уже и фразу приготовил: «Вот выигрыш. Согласны взять, что в этой бумажке,— и чтобы разговору об этом больше не было?» — «Согласна». — «Получайте, и больше ни одного слова!» Эффектно! Эх, как на душе у меня хорошо было!

— Неужели вернулись и все проиграли?

— Да, вернулся и все проиграл, все до копейки. Вы думаете — по слабости? Нет, сознательно. Когда шел, ясно отдавал себе отчет в том, что могу загубить хорошее дело. И как подумал — решил непременно идти играть. Даже дрожал от удовольствия: вот это — настоящая ставка! Ведь и деньги уж, собственно, не мои были, значит —

почти преступление. И стал играть сразу крупно, не считая. Представьте — опять повезло. Через час удвоил сумму. Еще через час — заложил в банк последнюю сторублевку и знал, что ее возьмут. Первую карту побили.

Он замолчал, смотря перед собой блестящими, ушедшими вдаль глазами.

— Да... Ну а второй случай?

— Что? Ах, второй... Ну, это не так интересно. Как-то я проигрался совершенно, вернулся ночью домой и лег спать. И вдруг вспомнил, что накануне дал жене немного денег на какие-то необходимые покупки. В то время жилось нам очень плохо. Вспомнил — и не могу заснуть. И вот встал, тихонько пробрался в комнату, где спала жена, долго шарил, боясь зажечь спичку, нащупал ее сумку, унес, вынул деньги, сумку отнес обратно. И чувствовал себя настоящим воров, настоящим. Интересное ощущение. Ушел из дому опять играть. И представьте — начал с пустяками, а к концу выиграл довольно много. И даже удержался — вернулся с выигрышем. Дома застал жену в горе: деньги пропали, последние деньги. Ну, встал перед ней на колени, отдал ей весь выигрыш.

— Это ты взял? Ты взял на игру? Последнее? У меня из сумки!

— Да, — говорю, — я. Я украл их у тебя потихоньку ночью.

Вышло хуже, чем если бы пропали. А я ей много денег принес. Но ведь женщины не понимают. Ужас воровства понимают, а вот красоту победы — нет. Долго плакала. Кажется, я тоже рвал на себе волосы. Рву волосы, — а в душе поет радостно: все-таки победил я. Не решишь я на воровство — голодать бы нам ту неделю.

Рассказ мне не понравился:

— Знаете, тут уж черт знает что такое. Какая же тут красота?

— Вы тоже не понимаете. Значит, вы не игрок, не настоящий, хотя закваска у вас хорошая, московская.

Расплатились и вышли.

— Куда вы?

— Не знаю.

— Вернетесь в клуб?

— Да, вероятно. Хотя я сегодня очень плохо вооружен. И в то же время — хотите, так смейтесь — чувствую, что сегодня мог бы взять. Нет, я предрассудкам не под-

вержен. Я просто — чувствую. Иногда и ошибаюсь, конечно. А иной раз угадываю.

Я пожелал ему удачи.

ТЕРРОРИСТ

История, которую я сейчас расскажу, очень кошмарная: преследование, предумышленное убийство, пожирание трупа, зловещие сны. Но герой истории и виновник этих деяний был милым и мягким по характеру человеком, а совсем не злодеем. Его звали Павлом Тихоновичем, сокращенно — Пашей или Павликом; волосы его были шелковисты и белокуры, хотя и с коком, а голубые глаза слегка навывкате. Злодеев обыкновенно зовут Леонидами, Юриями, в последнее время Игорями; у них гладкие черные волосы с пробором, матовое лицо, дерзкий нос и страстные скептические губы; когда они бросают взгляд на женщину — от женщины остается пепел, порывшись в котором можно найти четыре металлических пряжки, круглое стеклышко, оболочку губного карандаша и несколько штук «пресьон».

Павел Тихонович был студентом и исповедовал эсеровские убеждения. Это значило, что земля, по мнению крестьян, Божья, ничья, что община может развиваться по Качоровскому, личность играет немалую роль в истории, а благо трудящихся (крестьян, рабочих и трудовой интеллигенции) требует применения террора. Что касается Маркса, то он в третьем томе «Капитала» сам себя опровергает и сверх того признал себя не марксистом.

Как человек искренний и смелый, Павел Тихонович решил стать террористом и отдать себя в жертву за благо народа. Никаких моральных препятствий к этому не было, так как руководило Павлом Тихоновичем не соображение целесообразности, а святая ненависть, а за свои действия он решил отвечать сам и даже готовил исподволь будущую речь на суде, с кратким изложением эсеровской программы и заключительным возгласом: «Долой самодержавие и да здравствует демократическая республика всех трудящихся».

Быть террористом не так просто, как некоторые думают. Кроме мужества и соблюдения конспирации нужна еще техника. Павел Тихонович помимо излишней мягкости характера не обладал достаточной твердостью руки и

вздрагивал от выстрелов. Он был человеком болезненным, страдал головными болями и слабостью легких. Террорист же должен обладать стальным взором, железной рукой, равнодушно взирать на потоки крови и криво улыбаться на мольбы о пощаде. Павел Тихонович сознавал свои недостатки и делал все, чтобы от них избавиться. Он завел револьвер, правда не браунинг, а «бульдожку», пуля которого пробивает рубашку, но отскакивает от пиджака; зато, научившись попадать в цель из «бульдожки» (что почти невозможно), будешь из браунинга попадать во что угодно на любом расстоянии.

Учиться стрелять было очень удобно, так как этим летом Павел Тихонович жил у нас в деревне. Он привез с собой целую коробку пуль, густо облитых салом, и носил ее обычно в кармане вместе с «бульдожкой» — так, на всякий случай. Он уходил стрелять в лес, где на поляне выбрал своей жертвой молодую березку. И это было сделано с расчетом: весной пораненная березка плачет, из пробитого отверстия обильно течет слеза, и березке действительно грозит смерть. Павел Тихонович это знал и приучал себя к жестокости и выдержке; к концу лета он рассчитывал стать совершенно невозмутимым и безжалостным, как и подобает террористу.

Кроме него жил у нас в доме старый, уже потерявший способность нравиться петух. Из-за этого петуха все и вышло.

Мы жили маленькой семьей, в том числе двое мужчин, я и Павел Тихонович, который был старше меня двумя курсами. Женщины вели хозяйство, мы носили воду, кололи дрова, запрягали лошадь и обсуждали аграрный вопрос по Чернову. Когда возник вопрос о том, кто из нас заколет петуха, Павел Тихонович предложил выполнить эту миссию, и мы все очень обрадовались, потому что постороннему человеку сделать это легче, чем нам, знавшим петуха еще цыпленком и считавшим его как бы членом семьи. А заколоть петуха было необходимо; того требовало наше рациональное хозяйство, не допускавшее дармоедства со стороны домашних животных. Мы старались жить, как живут крестьяне, безо всяких интеллигентских нежностей, попросту и деловито. Петух стар — значит, нужно его заколоть и съесть.

И вот Павел Тихонович взял топор и пошел закалять в себе решимость, безжалостность и волю к действию. В этот день он был бледен, и глаза его горели лихорадочным

огнем; думаю, что последнюю ночь он плохо спал от неприятного волнения; но слово было дано, и предстояло его исполнить.

Чтобы не смущать Павла Тихоновича, я не пошел с ним во двор, а наблюдал за его действиями из-за деревьев сада. Павел Тихонович не считал возможным прибегнуть к хитрости и предательству и не приманивал петуха зернами и хлебом. Он двинулся на него, как на социального врага, и, держа топор в руке, долго бегал за петухом по двору, стараясь загнать его в такое место, где его удобнее схватить. Тянулось это очень долго, так как петух, очевидно, ощутил смертельную опасность и очень искусно уклонялся. Наконец Павел Тихонович, измучившись и обливаясь потом, очень удачно споткнулся и упал прямо на петуха. Раздался крик палача и жертвы, палач загреб жертву в объятия и отправился за ригу, где должна была произойти экзекуция. Разумеется, и я последовал за ними, стараясь оставаться под прикрытием.

Должен сказать, что это было очень страшно. Всего страшнее было лицо Павла Тихоновича, словно это он был обречен на смерть. Петуха он нес под мышкой, другой рукой придерживая за горло, но не крепко, чтобы не причинить ему боли. За ригой он долго укладывал петуха на землю, а шею его на полено. Надо было держать за ноги, но Павел Тихонович этого не знал, держал в обнимку, и петух все время выскальзывал у него из рук. Наконец, кое-как его примостив, почти лежа на нем, Павел Тихонович нащупал топор, поднял его на уровень со своим подбородком и, не имея возможности размахнуться, — неуклюже, как-то бочком, почти нежно, полоснул петуха по плечу, пониже шеи. Петух неистово закричал, рванулся, выскользнул из рук и понесся в ближний лесок. Павел Тихонович сначала упал на землю, потом поднялся встрепанный и с ужасом на лице и погнался за петухом. Я видел, как на бегу он бросил топор, выхватил из кармана револьвер — и скрылся за деревьями.

Затем я слышал выстрел — один, другой, третий. Идти в лесок, где стреляет Павел Тихонович, я не решился, не считая это безопасным.

Прошло около часу, и Павел Тихонович вернулся и заперся в своей комнате. Мы не беспокоили его расспросами: ясно было, что человеку не по себе. Впрочем, скоро он опять вышел и направился к лесу, но выстрелов мы больше не слыхали. До самого вечера ни петух, ни Павел

Тихонович домой не возвращались. Петух так и не явился, а Павел Тихонович в этот день не ужинал и лег спать рано.

Я думаю, однако, что он только лежал, а спать не мог. Лишь под утро меня разбудил его бред за тонкой стеной. Он и обычно по ночам разговаривал, но на этот раз вскрикивал поистине мучительно; очевидно, сильно ему расстроила нервы история с петухом.

Рано утром он исчез, и скоро опять в лесу загремели выстрелы. Иногда они слышались быстро-быстро один за другим, как из пулемета, а иногда одиночками. Я рисовал себе картину, несомненно верную, как Павел Тихонович охотится в лесу на старого петуха, как тот спасается от него за деревьями и как оба они, с застывшим в глазах ужасом, мечутся по лесу и ненавидят друг друга.

День прошел кошмарно. Павел Тихонович несколько раз возвращался домой, но с нами не разговаривал и не обедал,— проходил мимо с опущенными глазами и совершенно больным видом. Спросить его о чем-нибудь никто из нас не решался. Вечером, когда все легли, он поел на кухне и, придя в комнату, бросился на кровать и скоро захрапел. Не думаю, чтобы сны его были сладки. Петух и на эту ночь домой не явился.

На третий день этой кошмарной истории я встал рано, и, когда Павел Тихонович сделал попытку проскользнуть через двор и направиться в лесок, я его окликнул:

— Павлик, брось, не ходи.

Он остановился и мутно посмотрел на меня.

— Брось, говорю, петуха, пусть он живет.

Он мрачно ответил:

— Бросить его нельзя, он наполовину уже мертв.

— Как это — наполовину?

— Я всади́л в него не меньше восьми пуль. То есть я попал восемь раз, но это не револьвер, а черт знает что. Пули отскакивают.

— Ну и оставь его. Ты совсем замучился и его замучил.

— Оставить нельзя. Во-первых, он ранен топором и весь в крови. А во-вторых, я не могу его оставить живым. Я решил убить и убью, будь что будет. Я ни перед чем не останавлиюсь.

Он сказал это так решительно, что мне оставалось только преклониться перед его мужеством. Да, Павлик не такой человек, чтобы остановиться на полпути! Собст-

венно, я боялся единственно того, что он, сраженный своей неудачей, застрелится сам, как это иногда делают террористы.

Весь день мы были скверно настроены и все время прислушивались. Выстрелы время от времени раздавались, но Павел Тихонович не появлялся. Мы уже мечтали о том, что петух умрет в лесу от ужаса и голода. Наконец перед закатом в лесу разрядилась целая обойма сразу. Я не выдержал и побежал к лесу узнать, чем все это кончилось. На самой опушке я встретил Павлика с искаженным лицом и с револьвером в руке. Увидав меня, он глухо сказал:

— Возьми его, я не могу. Я убил его.

— Где он?

— Там, на полянке, под деревом. Ты знаешь, я разозжил ему голову пулей — и он все-таки был жив. Это такой ужас! Он лежит, но я не уверен, что он совсем мертвый.

— Ну, ступай отдохни.

Он пошел, шатаясь как пьяный, и продолжал сжимать в руке револьвер.

— Павлик, дай мне револьвер.

Я боялся, как бы Павлик, совсем потеряв голову, не начал стрелять во что попало. Но он на ходу крикнул:

— Бесполезно. У меня нет пуль. Я убил его последней.

Петуха я нашел без труда. Это было довольно противным зрелищем. Действительно, Павел Тихонович не раз попадал в него пулей, — о том свидетельствовали взбитые перья на припухшей коже. И вообще вид окровавленного петуха был ужасен не менее, чем вид его палача.

К своему удивлению, дома я застал Павла Тихоновича спокойно и даже как будто иронически разговаривавшим с нашими дамами. Они с должной осторожностью над ним подшучивали, он старался изобразить всю историю комически. И я видел, что женщины смотрят на него все же, как на героя. Мне это даже не понравилось, — но ведь женщины всегда таковы: когда человек добился своего и победил, они забывают о том, каков он был на пути достижения. А он был, откровенно говоря, все эти три дня очень несчастным и достаточно смешным.

Одним словом, петуха зажарили, как того и требует рациональное хозяйство. А зажаривши — подали на стол.

Мне было очень любопытно: как станет держать себя Павел Тихонович? Нелегко убить, но еще труднее есть убитого. Правда, в жареном виде петух уже не был страшен, но все же...

Сейчас таких людей, как прежде были, уже нет. Нынешний человек либо от природы жесток и нечувствителен, и тогда он будет есть родного брата, либо же даже не придет посмотреть на свою жертву, чтобы не трепать себе нервы. Павел же Тихонович упрямо работал над собой, закаляя в себе черты, необходимые для террориста. Он не только явился к ужину, отлично зная, что подадут петуха, но и равнодушно протянул свою тарелку:

— А мне дайте крылышко.

Когда ему положили крылышко, вернее сказать — отворачивательно жесткое крыло престарелой птицы, мы все с живейшим интересом и с нескрываемым уважением вонзились глазами в Павла Тихоновича: как он будет есть? Мы видели, что на лбу этого мужественного человека холодный пот и что он вновь больно переживает события трех последних дней. Видели мы, что руки его, разрезая кусок, немного дрожат и что напрасно силится он скрыть свое великое волнение под презрительной улыбкой. Кое-как он все же отковырял ножом солидный кусок крылышка и направил в рот. Но едва он сжал его зубами, как вскрикнул, выплюнул, — и на тарелку звонко шлепнула пуля. Павел Тихонович схватился за голову, опрокинул стул и убежал в свою комнату.

Так отомстил ему старый петух.

Побежали за валерьяновыми каплями и мокрым полотенцем. Нужно сознаться, что на этот раз Павел Тихонович не выдержал: у него был настоящий нервный припадок, он катался по кровати и вел себя постыдно, как баба, а совсем не как террорист. Может быть, в другое время он сдержался бы, но сейчас он был действительно измучен своей трехдневной пыткой, да и спал ночами плохо. Если бы петуха подали днем позже, дав Павлу Тихоновичу отдохнуть, все бы могло произойти иначе, без такой неприятности и без урона для мужского достоинства террориста.

Но вот что я заметил. За минуту перед этим он был в глазах женщин как бы героем. Теперь же, когда он так ясно сдал и оскандалился, — вы думаете, они над ним смеялись или он что-нибудь утратил в их глазах? Нисколько! Он теперь стал страдальцем за идею, мучеником, а это еще интереснее. Припадок давно уже прошел, — но они все сидели над ним, клали мокрое полотенце, разговаривали шепотом и смотрели с нежностью и участием, как на раненого. А он — я так думаю — лежал с полузакры-

тыми глазами и соображал, как ему быть, чем себя оправдать, чтобы не быть слишком смешным. Биться в истерике из-за того, что попала на зуб пуля,— не очень это красиво! Только поэтому он и продолжал лежать, хотя все давно прошло и ему, вероятно, хотелось есть (только не петуха).

Женщины ему в этом помогли: одна сбила ему гоголь-моголь, другая напоила чаем, да так весь вечер около него и просидели. Конечно, о петухе — ни слова. Говорили о поэзии и о Леониде Андрееве, и Павел Тихонович настолько расхрабрился, что даже напал на Андреева за его истеричность.

Кстати, петуха унесли в кладовку, чтобы он не попался опять на глаза Павлу Тихоновичу, и дамы наши есть его отказались. Я от этого ничего не потерял, хотя петух, как уже сказано, был так стар и такой жесткий, что можно было об него и без пули обломать зубы.

Я все-таки думаю, что Павел Тихонович в террористы не годился и что по темпераменту своему он был, скорее всего, меньшевиком. Обидно, что по окончании университета я как-то потерял его из виду и не знаю, кем он стал и даже жив ли еще. После истории с петухом мое преклонение перед ним пропало,— хотя возможно, что в данном случае сыграла роль и некоторая ревность. Очень уж обидела меня эта женская манера увлекаться героями и мучениками. Сам я человек простой, в герои не лезу, но и истерик не закатываю. Правда, нет у меня ни голубых глаз, ни белокурых шелковистых кудрей.

Пожалуй, в них-то, а не в петухе, и было все дело.

КЛИЕНТ

В то время я был молоденьким адвокатом. Ввиду отсутствия практики я предложил услуги бесплатного юрисконсульта большому и богатому обществу купеческих приказчиков. У общества числились и другие юрисконсульты, повиднее и поопытнее меня, но они принимали клиентов у себя на дому и вряд ли охотно,— я же принимал в помещении общества, где мне отвели совсем неплохой кабинет, служивший в другие дни приемной для врача.

Сначала было страшновато, после привык. Дела у приказчиков однообразные, за советом обращались больше по делишкам мелким, при более же сложных можно было от-

вет отложить: «Зайдите ко мне в следующий раз, мы обсудим все подробнее; сейчас люди ждут!» А тем временем и к ответу приготовишься.

Но ни одно дело не озадачило и не смутило меня так, как дело старого приказчика Павла Ивановича (как его на самом деле звали, не все ли равно; я и сам забыл).

Походкой солидной, с достоинством и уважительностью, вошел в кабинет лысый седоусый человек в длинном сюртуке, низенький, прочный, основательный, лет за пятьдесят. Представился Павлом Ивановичем, плотно сел в кресло, а на стол положил большой пакет, завернутый в газетную бумагу:

— К вам по делу важному. Сам разобраться не могу и уж как скажете, так и поступлю.

— Слушаю, Павел Иванович. Расскажите свое дело.

— Желал бы узнать совет ваш, выдавать ли мне замуж дочь мою Анну Павловну, девицу двадцати трех лет? Супруги не имею, схоронил, и дочь единственная. Так что судьба ее меня весьма занимает и, скажу откровенно, беспокоит. Как вот посоветуете: выдавать ли?

— Павел Иванович, я дочери вашей не знаю и вас вижу впервые. Сам я человек молодой, едва старше вашей дочери. Могу ли я давать вам, почтенному человеку, совет в таком семейном деле?

Павел Иванович надел очки, посмотрел поверх стекол и серьезно заявил:

— Возраст ваш значения не имеет, а очень важно образование. Сам я учился на медные деньги, во многом не разберусь, особенно в литературе. Вы же изволите состоять при судебной палате Московского округа, а также нашим общественным юрисконсультom. Притом прошли ряд разных высших наук, и вам знать лучше. Как скажете, так и поступлю; либо выдам ее, либо пускай еще посидит в девушках, хотя замуж ей пора, так как девица вполне зрелая и способная к брачной жизни. Я же вам, господин юрисконсульт, представлю все необходимые документы.

При этих словах Павел Иванович встал и — к большому моему смущению — низко, почти в пояс, мне поклонился:

— Покорнейше и убедительнейше прошу в авторитетном вашем указании не отказать.

Я уже хотел было согласиться (хорошо, мол, пусть выходит!), когда Павел Иванович, развернув газету и взяв

из большой пачки писем верхнее, начал медленно и с выражением читать:

«Дражайшая Анна Павловна, в прошедший понедельник изволили вы разрешить мне письменно вам о себе напомнить. И действительно, данный день является незабвенным в моей памяти, после чего целную неделю обдумывал о предстоящей встрече, каковая состояться не могла...»

— Простите, Павел Иванович, что вы это читаете?

— Письмо от жениха к дочери моей Анне Павловне. Самое первое, при начале ихнего знакомства в позапрошлом году, от седьмого сентября.

— А... какое это имеет значение, письмо его?

Павел Иванович снял очки, протер очень чистым платком, опять надел и сказал:

— Значение чрезвычайно важное, как бы документ. Познакомились они тому назад два года и три месяца и сразу произвели впечатление. И тогда же вскоре, с отцовского моего разрешения, начал он писать ей письма. Дочь моя живет при мне и из дому выходит редко, занимаясь хозяйством. Письма же его я все сохраняю по прочтении их мне дочерью вслух. Я своей дочери не стесняю, но всякая переписка идет через меня. Ответных копий действительно я не сохранял, его же письма имею под номерами. Не хочу затруднять вас рассказом, письма же все прочту вам в полном порядке постепенности, чтобы составили заключение прямо по личным документам о возможности брака.

— Их много, писем?

— Сто четыре номера, включая полученное в минувшее воскресенье, на которое ответ еще не послан.

— А вы, Павел Иванович, своими словами не расскажете? Покороче...

— Зачем же рассказывать, зря вас беспокоить, когда все письма налицо в подлинном оригинале. Ни единой строчки от вас не скрою как в чисто семейном деле.

— Да что же в письмах этих? Какие-нибудь обещания с его стороны? Или история какая-нибудь сложная?

— Обещаний никаких и истории тоже нет никакой. Письма не то чтобы любовные, а обыкновенно — как пишет заинтересованный человек к молодой девушке. Иные и со стихами, но не личной выделки, а известных поэтов, Некрасова, Апухтина, Надсонова и других с указанием фамилии. Обещаний же никаких быть не могло, так как

дело нерешенное. Именно поэтому я и обращаюсь к вам как человеку ученому вроде как для экспертизы. Позвольте первое дочитать, а засим приступим ко второму: «...каковая состояться не могла, однако успокаиваю себя надеждой, что батюшка ваш Павел Иванович разрешат вам побывать у Олимпиады Симеоновны в предстоящий вторник, где и надеюсь видеть вас лично...»

— Кто это — Олимпиада Симеоновна?

— Олимпиада Симеоновна — это, точно говоря, дочери моей по покойной ее матери двоюродная тетка. Муж ее торгует в рядах бакалеей.

— Ага! Ну что же, Павел Иванович, все эти люди солидные, положиться можно. Я бы вам посоветовал...

— Бесспорно, люди солидные. И как из следующего письма сами изволите усмотреть, в доме своем принимают только людей рекомендованных, по строгой проверке, в том числе и господина Герасимова.

— А это кто?

— А это и есть жених. Если, конечно, в случае благоприятного совета вашего я дам благословение на брак.

— Я, Павел Иванович, ничего против не имею... Помоему...

— Покорнейше благодарю за доверие, но уж позвольте вам все письма зачитать. Истории в них никакой, однако важно знать в рассуждении искренности. Если человек искренний и откровенный — я дочь готов отдать, и даже сопровождаю небольшим, по мере сил моих, приданным. В противном же случае подожду. Одним словом — как скажете. «...Надеюсь видеть вас лично. По этому поводу предуготовил для вас нравящееся стихотворение...»

— Он не конторщик, жених ваш?

Павел Иванович снял очки, и вдруг солидное лицо его приятно улыбнулось:

— Именно — конторщик при торговом предприятии вдовы Потапова и сыновья. Вот я и говорю: что значит высшее образование!

— А он с высшим образованием?

— Что вы, помилуйте, он с обыкновенным, трехклассное училище. А это я про вас, — что сразу, не зная человека, по первому письму изволили указать точно должность. Вот оттого я и решил зачитать вам все письма для полного определения человека. И именно пишет он дальше следующее...

Дальше было очень тягостно. Павел Иванович, более

не отвлекаясь, читал медленно, с выражением, письмо за письмом. Следить я не мог, потому что очень боялся заснуть. Иногда, тараща глаза и стараясь не прикасаться спиной к спинке кресла, я видел сквозь туман, что пачка писем прочитанных растет, пачка непрочитанных не уменьшается. Наконец, взглянув на часы, увидел, что приемное мое время окончилось как раз на строках стихотворения:

Я умираю с каждым днем,
Хоть не виню тебя ни в чем.
Пусть смерти предо мной эмблемы...

На слове «эмблемы» Павел Иванович запнулся, а я быстро сказал:

— Как мне ни грустно, Павел Иванович, прерывать вас, но мое приемное время окончилось, а я боюсь, что кто-нибудь меня еще ждет для совета...

Павел Иванович спокойно сложил письма в общую папку и сказал:

— Понимаю, затруднять не хочу. Я и не рассчитывал за один раз кончить. Прочитал я вам четырнадцать писем, остальные можно отложить до будущих разов. Дело мое неспешное, ждала девушка два года, подождет и лишний месяц. Так вам даже удобнее будет на досуге обдумать прочитанное. Покорнейше вас благодарю, и уж разрешите зайти в следующий раз, когда объявлен прием.

Тут меня осенила мысль:

— Вот что, Павел Иванович. Дело это сложное, и будет лучше, если ознакомлюсь с документами вашими дома, внимательно, аккуратноенько. Надеюсь, что вы мне их доверите.

Павел Иванович подумал и, на радость мою, согласился, предупредив, что почерк у жениха не очень разборчивый.

Когда я провожал его и выглянул в дверь приемной, я увидел, что там ждут двое, женщина и мужчина. Но, к удивлению моему, оба они поднялись и ушли вслед за Павлом Ивановичем.

Пришел он ко мне через три дня, снова солидно и прочно уселся в кресло и вынул из кармана письмо в конверте. Со своей стороны, я извлек из портфеля его «документы», которых, грешным делом, прочесть не смог, однако перелистал. Все письма были похожи одно на другое, одинаково начинались, одинаково кончались и редкий

раз не содержали переписанный стихок. Говорилось в них о чувствах, но в выражениях не страстных, а самых деликатных. Выражалась и надежда на соединение брачными узами, буде на то согласится родитель.

Свое заключение я начал издалека:

— Павел Иванович, хотите ли вы счастья дочери?

— Об ином и не думаю. Не хотел бы — и затруднять бы вас не стал.

— Павел Иванович, любит ли ваша дочь господина Герасимова?

— Любить ей его рано, и о любви разговору не было. Однако явно интересуется и за два года переписки нашей к нему привыкла. И стихотворения ей очень нравятся. А уж по-настоящему полюбит, когда выйдет замуж; раньше же это ни к чему.

Тогда я встал и сказал торжественно:

— Павел Иванович, позвольте вам заявить следующее. При тщательном рассмотрении представленных вами документов могу удостоверить, что господин Герасимов представляется человеком искренним и самых серьезных намерений. Полагаю также, что два года испытаний достаточны, чтобы вы могли позволить молодым людям не только переписываться, но и встречаться.

Павел Иванович прервал мою речь:

— Как же, как же, помилуйте. Они давно уже встречаются, и сам он, господин Герасимов, допущен бывать меня на дому лично, уже больше году ходит каждое воскресенье.

— Тогда зачем же он письма пишет?

— Он человек молчаливый, а в письмах выражает лучше. Так уж у них завелось, так и идет. Иные письма его мы и вслух при нем читаем, особенно если в них стихотворения.

— Тогда, Павел Иванович, сомнения больше нет: выдавайте дочь замуж, да поскорее!

Павел Иванович просиял, однако заметил:

— Покорнейше вас благодарю, однако должен сказать, что имею еще одно письмо, полученное позавчера по почте, которое и попрошу вас либо заслушать, либо уж сами прочтите, чтобы никаких сомнений не было.

— А что в нем?

— Все по-прежнему, и о чувстве своем, и прибавлен красивый стихок. Письмо за номером сто пятым от ноября двадцатого дня.

Письмо мы прочитали вместе. Никаких сомнений в искренности господина Герасимова оно не возбуждало.

— Это все письма, Павел Иванович? Других не имете?

— Так точно, все до настоящего дня и с первого дня знакомства.

— Тогда, Павел Иванович, позвольте поздравить вас: дело ваше благополучно кончено, можете играть свадьбу.

Павел Иванович был по-настоящему признателен мне за выполненный труд и за совет. Как и в тот раз, он встал и низко поклонился. Боясь новых документов, я взял его руку и, пожимая, настоятельно вел его к двери.

Но едва я его выпроводил, как дверь снова отворилась, и Павел Иванович вошел, ведя за собой дородную девицу и гладко причесанного средних лет гражданина:

— Вот, Аннушка, и вы, господин Герасимов, поблагодарите господина юрисконсульта за решение. Они потрудились, рассмотрели документы и все признали правильным. Можно будет теперича и к венцу. Я от слова своего не отступлюсь.

Как сами понимаете, было это очень трогательно, особенно же интересна была моя роль творца счастья будущей четы Герасимовых. Невеста была мне почти ровесница, жених лет на десять старше, отец — лет на тридцать. Но зато я был с высшим образованием и состоял при Московской судебной палате, — это не шутка!

Был я и на свадьбе, конечно — почетным гостем. Рассказывать о свадьбе не берусь, так как поили меня там «медведем» (десять рюмок подряд с разным содержимым), «медведь» же, при частом повторении, очень плохо действует на память.

И кажется мне почему-то, что вел я себя на свадьбе не как юрисконсульт, а как обыкновенный человек, и даже без высшего образования. Но это к делу не относится.

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

Отзывчивый читатель, — а на иного я не рассчитываю, — легко войдет в мое положение — положение человека, напрасно обиженного.

Вот уже более месяца я обиваю пороги дружественных мне редакций с просьбой отметить, что на днях исполняется (или скоро исполняется, я точно не помню) двадцати-

пятилетний юбилей моей адвокатской деятельности. С этой же просьбой я обращался в парижское объединение русских адвокатов, членом которого состою и от которого получаю повестки с надписью на конверте: «Мэтру такому-то». Я обращался к нему, конечно, не прямо, не в правление, так как это было бы неудобно, а намекал, очень ясно, влиятельным коллегам по профессии.

Я встречаю улыбки, легкое недоумение и вежливый отказ. Газеты гарантируют мне подобающее чествование юбилея литературного, но не хотят считаться со столь, казалось бы, естественным самолюбием и некоторым честолюбием адвоката-профессионала. Зачем мне, спрашивается, юбилей литературный? Чтобы стать маститым и удалиться на покой? Чтобы какая-нибудь французская газета, где пишет мой приятель, переврала мою фамилию и по ошибке поместила вместо моего портрет сломавшего голову авиатора? Чтобы один из тех, кого я похвалил в печати, похвалил, в свою очередь, меня? Нет, на эту удочку меня не поймать! И наконец, многолетнее писательство я считаю чистой случайностью, тогда как адвокатская карьера моя явилась результатом призвания. Если же, по не зависящим от меня обстоятельствам, мне за последние двадцать три года не пришлось заниматься практикой, то, во-первых, я в этом не виноват, во-вторых, я продолжаю с честью носить звание помощника присяжного поверенного округа Московской судебной палаты, присяжного стряпчего при коммерческом суде и опекуна при суде сиротском, хотя нет давно ни палаты, ни этих судов. В-третьих, наконец, двухгодичная моя действительная практика была хоть и бездоходной, но яркой и блестящей. Достаточно сказать, что у одного моего лысого подзащитного, дело которого я выиграл, начали расти волосы: я бы хотел знать, многим ли русским прославленным адвокатам удалось достигнуть подобного юридического результата?

Прошу прощения за это предисловие. Но когда человеку отказывают в публичном признании его заслуг, ему ничего не остается, как самому себя чествовать. Именно эту цель и имеют нижеследующие воспоминания.

МОЯ ПЕРВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Окончив университет и записавшись в сословие, я шил себе в кредит фрак и купил портфель, в который

положил для веса и важности десятый том, Устав уголовного судопроизводства и Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Таким образом, рано пришлось мне узнать, что адвокатский портфель — нелегкая штука.

Как всякого начинающего адвоката, гражданские дела меня интересовали мало. Судьба улыбнулась мне и послала для первого выступления дело чуть-чуть не политическое.

Студент Иван Лихоношин, медик и большой пьяница, был моим близким товарищем и земляком. В малом хмелю он был оживлен и интересен, в большом мрачен и буен. В среднем же хмелю он был предприимчив и любил разговаривать с городовыми. Однажды, когда постовой городской оказался неразговорчивым, он снял с него фуражку и вытер ему этой фуражкой нос. Для суждения о подобных деяниях существует статья, номера которой сейчас не упомяну, карающая штрафом и тюремным заключением.

К участковому мировому судье я явился во фраке; хотя это и не полагалось, но так легче иметь вид крупного адвоката, лишь случайно забежавшего к мировому судье, тогда как большинство дел у него сегодня в окружном. Не скрою, что я сильно волновался: первая защита, да еще приятеля.

Мировой судья явно не оценил важности дела и, выслушав показания городского и мои робкие объяснения (клиент на суд не явился), приговорил приятеля моего к недельному аресту.

Право, это не так уж было плохо. Но клиент мой заявил мне, что он сидеть не желает и не будет, что лучше он наложит на себя руки или убьет городского, а в заключение напился и стянул у меня за обедом со стола скатерть со всей посудой. Удалось его уговорить, дело же я обжаловал в съезд мировых судей.

Тут уж фрак понадобился по полному праву. Предстояла мне первая защита, при которой нужно произносить речь. И я произнес.

Да, я произнес ее, мою первую судебную речь! Зачем вам знать, хорошо ли я спал в ночь, предшествовавшую процессу, и сколько раз вскакивал с постели, чтобы записать пришедшую в голову блестящую фразу, долженствовавшую убедить судей в правоте моего подзащитного? Всея предстоящей речи я не записал, так как знал, что ни Де-

мосфен, ни Кони этого не делали, что нужно лишь досконально изучить дело, а красноречие придет само.

Председательствовавший назвал мое дело. Я и городской поднялись со своих мест. Судьи, услышав номер статьи, достаточно им надоевшей, зевнули и принялись чертить на бумаге профили с кудрявой шевелюрой. Фрак сидел на мне отлично.

Дело казалось простым и приговор ясным; для всех — но не меня! И вот я начал свою речь.

Я начал ее с простого признания факта. Да, студент Лихоношин сделал то, что он сделал. Но виноват ли он?

Я приготовил начало речи, но забыл заготовить эффектный конец. Если вам приходилось скатываться на коньках с ледяной горы, то вы поймете, что со мной случилось. Я говорил, я чувствовал, что говорю беспросветный вздор, — но остановиться я не мог. Я чувствовал, что судьи проснулись и слушают меня с напряженным вниманием. Я видел их изумленные лица и слышал за спиной шшуканье публики. Я говорил о скудости в России народного просвещения, о высокой миссии студенчества, о тяжелом материальном его положении, вынуждающем его на крайние поступки, о горящем в душе молодежи протесте, о демонстрациях, о манеже, о высылках в Сибирь и еще Бог знает о чем, — говорил, потому что я не мог, не знал, как остановиться и чем мне речь мою закончить. Я погибал — и старался не смотреть на судей. Я давно уже не понимал самого себя и не узнавал своего голоса. И я никогда бы не кончил речи, если бы председатель не остановил меня ласковым, но твердым голосом:

— Господин защитник, о чем вы говорите? Высылки студентов совершенно к делу не относятся. Что вы можете сказать по существу дела?

По существу дела... по существу... По существу я мог только прибавить, что считаю своего подзащитного не только не виновным в оскорблении городского при исполнении служебных обязанностей, но и благороднейшим человеком, заслуживающим общего уважения и благодарного признания современников.

Взглянув искоса на судей, я увидел, что председатель съезда надрывается от смеха. Чувствовалось веселье и в публике.

И когда суд удалился для совещания, я вылетел из залы в коридор и решил, что я — самый несчастный моло-

дой человек, карьера моя загублена, а бедный Лихоношин через меня погиб окончательно.

Когда суд вернулся, я прошел на свое место, не глядя по сторонам и полный решимости встретить любой приговор. Теперь уже все равно.

Почесав нос и передернув плечами, председатель прочел приговор. Постановление мирового судьи отменялось, и мой клиент приговаривался к одному рублю штрафа. Иначе говоря — оправдание. Следующее дело Петровой о нанесении побоев Евдокимовой. Меня это дело ни в какой мере не касалось. И все-таки я продолжал стоять, пораженный и растроганный.

Когда Петрова и Евдокимова вышли вперед, я медленно повернулся и направился к выходу. Я был, конечно, героем. Но я уже успел понять по лицам судей, что Лихоношин оправдан исключительно из сострадания ко мне. В глазах старых судей я прочел выражение ласкового великодушия и легкой насмешки. Может быть, они вспомнили свою молодость, может быть, и они в свое время утирали фуражкой нос городовым при исполнении обязанностей. Но, главное, им было жаль молодого защитника, произнесшего первую речь.

Мой клиент ждал меня дома. Услышав о приговоре, он мрачно заявил:

— И рубля платить не желаю. Пускай убираются к черту!

Ну, тут уж у нас с ним произошел разговор особый, читателям неинтересный. Он был шире меня в плечах, но мускулами слабее, так как я ежедневно занимался шведской гимнастикой.

НАЧАЛО СЛАВЫ: ДЕЛО С ПЕНИЕМ

Она была хористкой оперы Зимина; как все хористы, имела рабочую книжку и была связана неустойкой в сто рублей. Когда появился в Москве другой частный оперный театр, плативший хористам больше и обращавшийся с ними лучше, она перешла туда, а за нею и еще несколько хористов. В результате — иск театра Зимина о ста рублях неустойки.

Когда она рассказала мне о своей беде (сто рублей для хористки — целое состояние), я сначала посоветовал ей смириться и заплатить, чтобы избежать судебных издер-

жек. Но она плакала, и мне было очень ее жаль. Плача, она рассказала мне, что у нее сопрано, а ее заставляют петь медзо-сопрано (кстати, нельзя говорить «меццо-сопрано», как нельзя произносить «пиччикато» вместо «пиццикато», как нельзя в слове «гондола» ставить ударения на втором слоге, что простительно только поэтам).

— А вы можете это доказать?

— Конечно, могу; все знают. Я сколько жаловалась.

Я был молод и неопытен, но не настолько, чтобы не понять, что не только блеснул луч надежды в деле, но и само оно обещает стать интересным и необычайным.

В назначенный для слушания день дело было, по моей просьбе, отложено для вызова эксперта. Судья тоже был молод и тоже понял, что обычная скука рядовых дел будет рассеяна музыкой в камере. Притом судья оказался сам певцом и иногда выступал в Москве на любительских концертах.

Певцом был судья, певцами свидетели, музыкантом поверенный оперы Зимина. Экспертом же был вызван артист императорского Большого театра Барцал. В газетной хронике появилась заметочка о предстоящем «деле с пением». Публика состояла, разумеется, из хористов оперы и любителей пения.

Я же, создатель процесса, хоть и не был певцом, зато чувствовал себя героем: начало славы!

Жаль, что не было в камере рояля. Но и без инструмента концерт состоялся. Судья откинулся в кресле и слушал.

Барцал заставил мою клиентку пропеть партию медзо-сопрано; может быть, она немножко схитрила, но слышно было, что низкие ноты ей не по голосу. Когда же он дал ей партию высокую, то она разлилась таким соловьем, что судья с удовольствием разгладил усы, публика за окнами камеры (дело было летом) зааплодировала, мой противник нахмурился, а адвокатское мое сердце подпрыгнуло выше самой высокой ноты.

Когда она окончила, Барцал отмахнулся от вопроса судьи, бросился к моей клиентке, обнял ее с нежностью старого актера и быстро заговорил:

— Голубушка вы моя, да ведь у вас чудесный голос! Диапазонище какой! Да какого же черта вы болтаетесь в частной опере, почему не идете к нам, в императорскую? Да я вас немедленно устрою, плюньте вы на неустойки!

— Позвольте, господин эксперт, будьте добры сказать ваше заключение о голосе ответчицы.

— Какое же тут заключение может быть? Чудеснейшее сопрано, сами слышите. Нужно с ума сойти, чтобы портить такой голос, заставлять ее петь низкие партии. Это безобразие, за это под суд нужно! А вы, голубушка, плюньте вы на их неустойки, мало ли чего ни выдумают...

Смеялась публика, смеялся судья, даже поверенный противной стороны вежливо и иронически улыбался. Не смеялся только я. Я был небрежен, важен, приветлив с простыми смертными и полон сознания своего величия. Вернувшись домой на извозчике (хотя жил я рядом), я бросил портфель на стол и сказал:

— Конечно, выиграл! Но утомляют эти маленькие и хлопотливые дела...

АПОГЕЙ СЛАВЫ: ВЫШЕ ПЛЕВАКИ!

Я жил на Сухаревской Садовой в доме Щекина. Во дворе у нас над пристройкой работала артель каменщиков. На улице у палисадника была прибита моя дощечка: «Помощник Присяжного Поверенного».

Я очень аккуратно платил хозяину дома за квартиру. Хозяин дома не очень аккуратно платил подрядчику, делавшему пристройку. Подрядчик совсем не заплатил рабочим в первый же срок. Рабочие, увидав мою дощечку, пришли ко мне жаловаться на подрядчика.

Взыскать по расчетным рабочим книжкам и получить исполнительные листы — дело простое. Но у каждого хорошего подрядчика имущество переведено на имя жены — и описывать нечего. Пришлось объяснить бедным каменщикам, что если суд присудит — это еще не означает, что деньги в кармане.

На совещании нашем староста артели покачал головой:

— Может и заплатит он нам, да когда? А есть нужно. Хоть бы часть пока дал. Сто бы рублей на всех дал — мы пока перебьемся.

Я вспомнил, что на другой день должен платить за квартиру хозяину, рублей семьдесят пять. И вот я догадался позвать к себе хозяина дома, хитрого мужичка, а также подрядчика артели. Заранее же заготовил расписку в получении хозяином денег с меня за два месяца вперед, целых 150 рублей, другую — в получении подрядчиком от

домовладельца таких же 150 рублей и третью — в получении рабочими той же суммы от подрядчика.

Хозяин поломался, но согласился; подрядчик почесал затылок — и тоже подписал расписку. Рабочим же я вручил наличными деньгами сто пятьдесят рублей, обещав и в будущем месяце, если не заплатит подрядчик, дать еще немножко.

Рабочие, владимирские мужички, очень меня поблагодарили, а я сам с собой размышлял на тему о том, что в России, в противоположность гнилому Западу, адвокатура есть общественное служение. И вообще был горд.

Месяца два спустя является ко мне затрапезный мужичок с котомкой за плечами, рассказывает свое нехитрое дело и просит быть его поверенным:

— Приехал я, барин, к вам из города Володимира.

— Что ж, разве у вас там своих адвокатов мало?

— Что же наши, батюшка, супротив вас могут! А я намучился, решил разом с делом покончить. Хотел сначала к Плеваке идти, слышал про него. Да встретились мне наши володимирские мужички, каменщики, и отсоветовали. Говорят: «Уж если хочешь к настоящему аблакату, так поезжай в Москву в дом Щекина на Садовой улице. Этот тебе, брат, будет почище всякого Плеваки, всякое дело сразу решит — и деньги на стол выложит. Этот уж не выдаст! Сами знаем, судились у него — потому и говорим».

«Почище всякого Плеваки!» Слышите, Федор Никифорович?

Это был апогей моей славы.

КАК У ЛЫСОГО ВЫРОСЛИ ВОЛОСЫ

После таких сравнительно нормальных адвокатских достижений мне оставалось лишь стать чудотворцем, что я и выполнил.

Маленький человек с лысым, как колено балерины, черепом понуро сидел в кресле в моем кабинете.

Прочитав текст повестки, вызывавшей его в мировой суд, я спросил:

— Дело о растрате? Что же и как вы растратили?

— Ничего я не растратил. Был описан за долг, имущество мое описали; мне же сдали на хранение. После расплатился с кредитором вчистую, а лист исполнительный у него остался, забыли мы про него. Потом он умер,

а наследники с меня взыскивают по листу. Пришел пристав, спросил, где имущество, описанное за долг. А у меня давно никакого имущества нет. Значит, говорит, растрата вверенного имущества, уголовное дело.

— Так. Дело ваше плохое.

— Знаю сам, что плохое. Я, батюшка мой, за этот месяц так надергался, что все волосы потерял. Вот извольте посмотреть — голая голова. Не очень было много и раньше, а теперь ничего не осталось.

— А когда все это произошло? Когда у вас пристав был?

— Два года назад, а то и больше.

— Как два года? И вас только сейчас потянули в суд?

Каждый юрист поймет, почему с таким независимым и веселым видом я входил в камеру мирового судьи. Мой унылый клиент ждал меня там с видом уже приговоренного. И правда, грозил ему год и четыре месяца тюрьмы. Но радовать его преждевременно я не рисковал.

Судья нас вызвал. Прежде чем он задал вопрос, я заявил голосом изысканно вежливым и смиренным:

— Господин судья, дело это должно быть прекращено по вашей инициативе.

— То есть как это? Почему?

Тогда, уже более язвительно, я сказал:

— Потому что истекла процессуальная давность: больше двух лет, точнее — два года и четырнадцать дней со дня предполагаемой растраты. Оно, собственно, не могло быть возбуждено.

Судья густо покраснел, сказал: «Ваше заявление будет рассмотрено», пошел совещаться с самим собой и наконец вышел и объявил:

— По указу и прочему дело считать прекращенным.

Месяцем позже зашел ко мне мой клиент веселым и помолодевшим.

— Не тюрьмы было страшно, знаете ли, а волос было жалко. И вот, представьте себе, а лучше всего — извольте сами взглянуть: пушок-с...

— Где пушок? Какой пушок?

— На голове пушок. Волосы начали расти. Доктор говорит: прошло нервное потрясение — вот и волосы появились. И по совести скажу: вы мне волосы вырастили, вам обязан по гроб!

Маклаков, Тесленко, Переверзев, Грузенберг, Слизберг, — было ли в вашей практике что-нибудь подобное?

РЕЗЮМЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ

Я мог бы рассказать еще о нескольких блестящих достижениях в моей адвокатской практике, например о том, как я искренне защищал человека, обвинявшегося в воровстве пальто, убежденный в его невинности, и как он после оправдания поднес мне в виде гонорара две серебряные ложки с клеймом отеля; как я старался горячим призывом к человеколюбию убить формализм судей суда коммерческого (причем блестяще провалился), как в качестве опекуна мирил семью старообрядцев-наследников, поделивших шесть домов, но не смогших поделить свиньи и кучи старого железа, как справкой из кассационных решений сразил ходатая от Иверской. Но что толку все это рассказывать, когда парижские представители адвокатуры и редакторы газет упорно отказывают мне в юбилейном чествовании!

Последнее дело, провести которое мне уже не удалось, было мне поручено московским Сиротским судом. В это время я сидел в тюрьме по собственному делу, грозившему мне смертной казнью (1905 год). Неожиданно в камеру мне прислали из конторы тюрьмы бумагу, гласившую:

«По указу его императорского величества назначаетесь вы опекуном над малолетними такими-то, имущество которых имеете принять» и прочее.

Его величество не мог знать, что мне крайне хлопотно заниматься опекой над малолетними в таком неудобном помещении, бумага же дошла до меня по инерции. Я с особым удовольствием написал на ней, что, будучи очень занят личными делами, от опеки вынужден отказаться, в чем прошу его величество меня извинить.

Думаю, что перечисленных дел моих, проведенных, правда, не в Палате и Сенате, а лишь в милых бывших наших (очаровательных, изумительно, действительно, прекрасных!) мировых судах, достаточно, чтобы признать мои адвокатские заслуги и хотя бы задним числом произвести меня из помощников в присяжные поверенные... Я уж в таком возрасте, что как-то неудобно числиться помощником. Что касается двадцатипятилетнего моего юбилея, то мне остается только настоящей моей жалобой апеллировать к общественному мнению, в которое я еще не утратил веры.

ЧЕЛОВЕК, ПОХОЖИЙ НА ПУШКИНА

Если живали в Москве, то, может быть, встречали на Тверском бульваре фигуру в черном плаще, высоком и широком воротнике, пышном галстуке, а шляпа почти всегда в руках. Смуглое лицо, бакены, кудрявая голова, задумчивость — такое сходство с Пушкиным, вернее, со статуей на памятнике Пушкина, что даже как-то неловко. Появлялся со стороны Никитских ворот, держа в одной руке шляпу и книгу, а в другой толстую палку, медленно проходил весь бульвар и садился против памятника.

Этого человека звали Александром, но не Сергеевичем, а Терентьевичем, а фамилия его была Телятин. Служил по акцизному ведомству маленьким чиновником. Жил в Мерзляковском переулке, в двухэтажном доме, в собственной квартире. Был женат и бездетен.

Утром он вставал, пил с женой чай и шел на службу. Служба была в том, что целый день он заполнял пустые места на цветных бланках. У него был преотличный почерк, а машинка в те времена была еще не в большом ходу, так что почерк ценился. Бланки он заполнял без ропота и без гримас, даже отчасти любясь на свою отчетливую работу; но если кто-нибудь к нему обращался, особенно из заходящих по делам посетителей, то он медленно поднимал от бумаги черно-карие глаза, смотрел устало и отвечал снисходительно. Сослуживцы звали его, конечно, Пушкиным или просто поэтом; но в общем любили, не смеялись над ним, так как он был хороший человек.

В четыре часа возвращался домой; тогда перерывов на обед не было, да и вообще всюду обедали в пятом часу; нынче, говорят, пошли заграничные привычки. Жена встречала его супом. Она была добрейшей женщиной, только толста, непомерно толста, ума же среднего. Александра Терентьевича она очень любила и вышла за него именно потому, что он похож на Пушкина, а Пушкина она все-таки читала, особенно стихи.

Вышла-то за Пушкина как будто легкомысленно, а получила в мужья очень сносного человека, хотя и с небольшим жалованьем. Возвратившись домой, он надевал старый пиджак и садился за стол. И всегда, даже за вторым блюдом, сидел молчаливо и задумчиво. Необходимое говорил, и не дулся или гримасничал, а таким был по своему характеру. После же обеда переодевался в знаменитый свой костюм — воротник, галстук, широкие штаны без

заглажки, надевал плащ, брал широкополую шляпу и книжку — и уходил. А жена провожала его любящим взглядом, более или менее коровьим.

Она знала, куда он идет. Никогда идти с ним не напрашивалась, и это оттого, что она понимала, как ему важно быть одному. Не задумываясь, а просто по хорошему женскому чувству считала, что таково его призвание, как бы указание судьбы — быть похожим на Пушкина и сидеть на Тверском бульваре против памятника. Для чего — неизвестно, но уж значит — так сложилась его жизнь. Любящее сердце не позволяет себе критиковать поступки любимого, а жизнь наша вообще — загадка, и должно в ней быть что-нибудь особенное. Когда он уходил, жена думала: «Вот он сидит там, и все на него смотрят». И на сердце ее становилось легко и приятно.

А он несколько не рисовался. Он тоже чувствовал, что в его судьбе есть странность и что иначе поступать нельзя, как, например, нехорошо зарывать свой талант или уклоняться от исполнения общественного долга. Иногда и погода была плоха, и не совсем здоровилось, — а он все-таки шел на бульвар отбыть положенное время, полчаса или весь час. Был и тут добросовестен и аккуратен, как на службе в акцизном ведомстве. Сначала его смущало внимание прохожих, особенно у самого памятника, где легче проверить сходство. Затем он привык. Обычно сидел, слегка склонив голову, и ловил доносившийся шепот: «Посмотрите, вот удивительное сходство!» Людей он разделял на две категории: на замечавших и ничего не замечавших. Первые были образованными и порядочными людьми, а вторые — бессмысленная чернь, чуждая поэзии. Но никогда он не старался сам каким-нибудь жестом привлечь на себя внимание. Посидев — шел домой в прежней задумчивости. Придя — переодевался, пил чай с баранками, а вечером заполнял взятые со службы бланки, а жена рядом что-нибудь вязала или вышивала. Хотя она была немногим его моложе, но он часто почти по-отечески гладил ее по голове и говорил что-нибудь ласковое, и она была очень этим счастлива. По воскресеньям, по ее просьбе, он читал ей стихи Пушкина, и тогда обоим казалось, что вот он читает ей свое, посвященное ей. Так что, когда он ей читал, например:

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы...—

то ей думалось, что вот тут, во второй строчке, ударение, пожалуй, и неправильно, — но сказать, конечно, не решалась, чтобы не обидеть автора.

Таков был Александр Терентьевич Телятин. Не фигуляр, не актер, не заносчивый человек, а как бы человек, отмеченный перстом судьбы и несший свою участь безропотно, достойно и вполне скромно.

* * *

Мы же были студентами, я и Петька Шулепов, тоже юрист, но большой озорник. Я убеждал его, что не стоит, выйдет какая-нибудь неприятность, но он настоял на своем, а мне, в общем, было тоже любопытно.

Петька подошел первым, снял шляпу, низко поклонился и сказал:

— Александр Сергеевич, от имени русской молодежи, воспитанной на ваших великих произведениях, и от имени всей России — позвольте выразить вам глубочайшую нашу радость, что видим вас опять живым и здоровым!

Сказав, отступил на шаг. Я думал: вот сейчас начнется скандал. Петька, правда, здоровяк и будет биться до последней капли крови, но у Пушкина толстая палка.

И вдруг человек, похожий на Пушкина, поднял голову, посмотрел грустными глазами и ответил:

— Пожалуйста, благодарю вас.

Ко всему мы были готовы, а такого простого ответа как-то не предвидели. Даже Петя Шулепов смутился и забормотал:

— Мы ведь только так... Вот позвольте представить вам моего товарища, он тоже стихи пишет.

Хотя я стихов не писал, но пришлось раскланяться, а Пушкин протянул мне руку и сказал:

— Очень приятно... если у кого талант.

Тут я потянул Петьку за тужурку и говорю вполголоса: «Идем, что ли, будет», — но он шепчет в ответ: «Как-то теперь неудобно уйти» — и опять к Пушкину:

— А что, Александр Сергеевич, может, сделали бы нам честь, зашли бы с нами выпить пивца? О литературе там поговорим и о прочем.

— Покорно благодарю, с удовольствием.

Так и пошли. Мы по бокам, с почтительным смущением, а он посередине, в широкой крылатке, волосы в кудрях, голова немножко книзу — совершенный Пушкин. Публика смотрит с изумлением.

В дверях пивной, пропустив его вперед, немножко задержался, и я спрашиваю Петьку Шулепова:

— На какой черт ты его позвал, он, кажется, сумасшедший?

— Вот вздор, здоровый человек; а может быть, он и впрямь Пушкин!

— Ну, тогда, значит, ты сам рехнулся.

— Да будет тебе! Зайдем выпьем, а там посмотрим.

Нам подали калинкинского; пиво плохое, но свирепое. А к нему этикие маленькие бараночки, вроде обручального кольца, но с солью. Особо заказали раков.

Человек как человек, не смущается, помалкивает, только грустный. Сначала у нас разговор не выходил, но скоро пиво помогло. Через полчаса, за которой-то бутылкой, Петька уже кричал на всю пивную:

— Вы, Александр Сергеевич, поймите, каково это нам читать на вашем памятнике неправильные строчки! Что это за «прелестью стихов я был полезен» — какая польза от прелести? А у вас как написано: «Что в мой жестокий век восславил я свободу»! Вот за это, Александр Сергеевич, мы вас и любим, мы, русское студенчество. Только вы плохо пиво пьете, а раки нынче очень хороши.

Еще через полчаса Петька неистовствовал:

— Вот что, Пушкин, ты слушай! Хочешь, сейчас пойдем к твоему памятнику — и всю надпись к черту! Ты мне верь, Саша, я зря не говорю! Ты меня поцелуй, Саша, вытри бакены и поцелуй, а то как ты сосал рачью клешню, так у тебя и застряла корочка.

Человек, похожий на Пушкина, пил пиво большими глотками, ласково кивал, иногда отвечал односложно, целовал Петю толстыми пушкинскими губами и был, по видимому, доволен. Только к концу дюжины пива я заметил, что если пьян Петя Шулепов, если и мое сознание не очень ясно, то наш гость совсем плох. То ли он не привык пить, то ли мы оглушили его беспардонной болтовней. Голова его склонилась, волосы спутались, галстук сбился набок, — и совсем он не был теперь похож на собственный памятник. Особенно пострадала крылатка, нехорошо им запачканная, когда мы подымали его из-за столика. Одним словом, кончилось это не так приятно, как началось.

Адрес он все-таки нам сказал. Усевшись в пролетку, подъехали к дому в Мерзляковском переулке. С извозчика драгоценный груз нам пришлось тащить обоим, а на не-

истовый Петькин звонок отперла дверь толстая женщина, ахнувшая при виде мужа.

Я еще довольно сносно владел языком и пытался ей объяснить, что вот такая произошла случайность, но что это ничего, даже очень хорошо. Но Петька перебил меня восклицанием:

— Па-л-учите! И вот, Нат-т-талья Гон... Гончарова, к чему п-приводит легко... легкомысленное п-поведение. Мы, На-талья Г-гончарова, мы его привезли п-прямо с дуэли, а вот это (показал на меня), это — сам Дантес, и я ему р-разобью...

— Перестань, Петька, нехорошо!

— Знаю, что нех-хорошо, знаю! И все же не п-позволю обижать великого п-поэта!

Назавтра мы, посоветовавшись, чинно и благородно явились на квартиру нового знакомого извиняться. Его дома не было, а жена встретила нас сначала не очень дружелюбно. Но мы были молоды, а Петька, хоть и буян, — умел быть галантным и милым человеком. Главное — мы искренне раскаивались. Посидевши минут десять и объяснив, что во всем виноваты были мы и что силой затащили «Александра Сергеевича» в пивную, мы смиренно удалились. И, мне кажется, что была, в общем, довольна жена человека, похожего на Пушкина. Ведь все это происшествие было как бы доказательством того, что он — человек особой судьбы, как бы отмеченный роком. А Петька еще догадался вернуть несколько слов о ничтожных делах мира, о святой лире и божественном глаголе. Удивительно, как у этого болтуна все приходилось к месту!

* * *

Очень много — лет пятнадцать — спустя, после всяких житейских скитаний и мытарств, в дни революции, разрухи и московского голода, я вез однажды на детских санках полтора пуда мерзлой картошки. На улице были сугробы снега, а на Тверском бульваре дорожка более или менее протоптана и для санок удобна. И только повернул на бульвар со Страстной площади, как почти столкнулся с человеком странного вида, толстогубым, с полуседыми редкими кудрявыми баками, в легкой, вызеленевшей крылатке — это по зимнему-то морозу! Я был в валенках, а он в каких-то необычных глубоких калошах с меховой оторочкой многолетней давности. Сам — сгорбленный

под кулем какого-то зерна, надо полагать — овса или проса.

В другом месте я бы не вспомнил, а тут, у памятника Пушкина, сразу узнал человека. Теперь о сходстве, конечно, смешно было говорить, — а все-таки что-то осталось, вероятно в глазах или в странности одежды.

Подумал сначала — не заговорить ли? Напомнил бы ему, как подшутили мы над ним в студенческие годы, — ведь быть того не может, чтобы он поминал нас злом. А время сейчас такое, что приятно отвлечь мысли от житейских забот. Но, посмотрев на свои саночки, решил, что накинуть на них еще его мешок — будет слишком тяжело, видеть же, как он надрывается под непосильной ношей, и забавлять его приятными воспоминаниями — как-то нелепо. Так я и не остановил человека, некогда похожего на Пушкина.

Но вот что, помню, пришло мне тогда в голову. Пушкина мы все знаем по его молодым портретам, и умер он молодым. Мне же, — и тут смеяться нечему! — удалось видеть его старым и несчастным. Потому что ведь сходство то, столь разительное, сохранилось бы и в старости!

И еще я подумал: а что этот человек, пушкинский двойник, испытывал, когда изменили надпись на памятнике Тверского бульвара? Вероятно, это было для него некоторым праздником. Может быть, жена, — если еще жива, — его поздравляла, а вечером они, после чаю, читали вслух:

И долго буду тем любезен я народу...

Конечно — мысли праздные. Но не всегда же думать о серьезных делах.

МАРИНАД

— Я извиняюсь, гражданин...

Мне стало сразу грустно. Три красноармейца, человек в черной коже и гудок автомобиля у подъезда. Ясно. Все же я попробовал сделать шаг вперед.

— Гражданин, я фактически прошу вас остановиться.

Пришлось фактически остановиться. Менее чем в четверть секунды припомнил, что у меня в карманах, чье письмо осталось на столе... Не забыть взять с собой подушку и сунуть в башмак огрызок карандаша... Известить

Союз писателей... Помнить, что все это делается для счастья потомства, в интересах социальной справедливости и гражданской свободы... Перед увозом закусить, так как до завтра бурды не дадут...

— Пожалуйста с нами в эту квартиру.

— Я живу выше.

— Не имеет значения, гражданин. Ваше присутствие необходимо при вскрытии.

Волосы зашевелились. Дело выходит хуже обычного. Еще четверть секунды на воспоминания о том, кого я мог убить и чей труп будут вскрывать. Но все же уголовное дело лучше политического.

— Вы, гражданин, не преддомком?

— Нет, я просто жилец.

— Не имеет значения. Можно и так. Потрудитесь удостовериться, что печати целы.

На двери квартиры этажом ниже моей уже с месяц висят печати. Жил здесь врач, но куда-то исчез; говорят — убежал, опасаясь ареста. Квартиру его опечатали, позабыв потушить электричество. Домовый комитет ходатайствовал о временном снятии печатей на предмет поворота выключателя, но совдеп не разрешил. Так и светились окна всю ночь.

Отлегло от души: вскрывают не труп, а квартиру. А я не преступник, а свидетель. Приободрился, повеселел, осмотрел печати:

— Да, все в порядке.

— Фактически удостоверились, гражданин? Во избежание в будущем нареканий на власть.

— Фактически.

— А-атлично. Петь, ломай печати к чертовой матери!

Петь, красноармеец, сломал печати. Ключа не было, но шофер дал ломик вроде фомки и показал, как делается.

— Дверь, гражданин, заперта, по какой причине отворяем при помощи орудий производства.

— Можно бы ключ в домкоме попросить.

— Времени, гражданин, мало, не до ключа.

— Вы там электричество потушить хотите?

— Об электричестве ордера нет, хотя, конечно, потушим, если что горит. Мы же на предмет реквизиции.

Петь, очень добродушный красноармеец, пояснил:

— У нас насчет небели мандат, для домашнего театра. Цельный список имеем. Вот товарищ комиссар нам выдаст. А вы, значит, за понятого.

Вошли в квартиру. Обстановка очень хорошая. Столовая карельской березы, гостиная со всякими пуфами и интимными уголками. Кабинет серьезный, деловой. Шкап с медицинскими книгами, другой с инструментами, третий заперт на ключ. На стенах недурные картины, оригиналы скромных художников.

— Ну, Петь, забирай, что надо. Где список ваш? Вы, гражданин, извольте удостовериться, что все по списку. Номер первый: четыре картины. Забирай, Петь, и выносите, времени у нас мало.

— А какие брать-то? Вон их сколько.

Красноармеец постарше предложил:

— Бери, которые побольше и повиднее.

Но Петь колебался:

— Вы, гражданин, не посоветуете нам, которые брать?

— А вам для чего картины?

— Все для театра. Только я вот не помню, на какой нам лях картины.

Мы обошли комнаты. В спальне и в прихожей висели нелепые полотна в золоченых рамах. Я посоветовал остановиться на них: и ярко и здорово.

Отобрали три, а четвертую Петь облюбовал в кабинете. Сняли со стены.

— Ну, теперь тащи их в машину. Следующий номер: стол столовый один.

— Нам бы взять тот, писчебумажный, из кабинета.

— Сказано: столовый, значит, этот и бери. Тот для учреждения потребуется.

— Этот-то жалко брать, он от цельной обстановки; что ж ее разрушать.

— Есть что жалеть: буржуазную мебель. Бери, что по списку указано. Того стола я фактически не могу позволить. Вот пускай гражданин сам убедится.

— А нам первое дело занавески нужны.

— Занавески? Тут занавески не показаны в списке.

— Как же не показаны. Вот пусть гражданин понятой проверит.

Я взял список, читаю:

— «Четыре гардины, стол столовый один...»

Объясняю:

— Вы, гражданин комиссар, ошиблись. Сказано: четыре гардины, а не картины. Гардины — это и есть занавески.

Петь обрадовался:

— Вот я то же и говорю! Нам главное дело в занавесках.

— Ага. Так, значит, гардины. Это и есть... Эй, товарищ шофер, назад картины. Не нужно. Сымай, Петь, тряпки с окон. Напишут тоже, черти, и не разберешь.

Еще отобрали зеркало, ломберных столиков два, кресел кожаных два, ковер и умывальник.

— Зачем вам умывальник для театра?

— Ну, это уже так, для удобства. Чтобы умываться. Для полной обстановки.

Список кончен. Петь умаялся. Его товарищи расселись на диване и тушат папиросы об исподнюю часть стола, а не то чтобы обо что попало. Один вышел плюнуть в переднюю.

— А славно буржуи живут. Я бы так пожил.

Комиссар заметил:

— Несообразно рабоче-крестьянским интересам; хотя безусловно удобно. Кабинет, например, отличный для серьезных занятий.

В кабинете порылись по ящикам; любопытного было мало. При помощи того же фомки вскрыли шкаф — и ахнули.

— Вот это запасы! — сказал Петь.

— Что же тут у него припрятано? — заинтересовался и комиссар. — Вот, гражданин, потрудитесь взглянуть. Банки стоят, а что в банках...

Петь вскрыл банку и понюхал:

— Ребята, да это спирт!

Оживились все. Перенюхали банку за банкой. Даже комиссар не скрыл удовольствия:

— Спирт безусловный. И не воняет ничем особым. Однако что в нем плавает? Вот, гражданин, не потрудитесь ли удостоверить находку? А главное, не вредно ли? Отрава нет ли?

Я прочел латинскую надпись на банке и охотно удостоверил:

— Нет, это вредным не должно быть.

— Маринад какой?

— Вроде маринада.

— А если попробовать?

— Не знаю. Как вам понравится. Вреда, конечно, не будет.

Комиссар подумал и сказал решительно:

— Придется законфисковать и реквизировать. А ты, Петь, попробуй на язык.

— Кабы чего не вышло.

— Вон гражданин говорит, что вреда не будет.

Соблазн был силен: Петь сначала лизнул языком краешек банки, затем пригубил, наконец отпил глоток, крякнул и вытер рукавом губы:

— Спирт как есть, настоящий. А на чем настоян — не разберешь. Плавает что-то.

Попробовал и комиссар:

— Натуральный спирт. А что же тут написано? Вы, гражданин, по-иностранному знаете?

— Знаю.

— Окажите помощь власти, гражданин. Объясните нам, а мы в протокол запротоколим.

Из простого понятого я был повышен в эксперты.

— Вот тут, товарищи, написано: «Солитер».

— Это что же?

— Это вроде глиста, только не круглый, а ленточкой.

— Тьфу, — сказал Петь. — Это который мы пили?

— Нет, другой.

— Ну, слава тебе, а я испугался. А на нашем что?

— На вашем... как бы вам объяснить... Вроде маленького человека; по четвертому месяцу выкидыш.

Шофер, что стоял в дверях, так и лопнул от хохота, вроде резиновой шины. Петь остолбенел, а комиссар пришел в негодование:

— Я извиняюсь, гражданин, но вы за это ответите. Я вас фактически спрашивал...

— Вы спрашивали, не повредит ли. Я вам ответил, что ничего вредного тут нет.

— Этакую мерзость давать людям пить.

— Кто же вас заставляет. Я тут ни при чем.

Петь пришел в себя, долго вытирал губы, сплевывал на ковер и пугливо косился на шкаф с банками:

— А ничего от этого в нутре не станет?

Шофер оскалил зубы:

— Смотри не забеременей.

Подошел к шкапу, похлопал дверцу и жалостливо прибавил:

— Эх, добра-то сколько загублено. И на что! На паршивых на глистов да на бабье непотребство. Уж действительно!

Из соседней комнаты нас позвал комиссар:

— Вот, гражданин, сообразовите расписать фамилию под списком, что все из квартиры забрано согласно мандата.

Я подписался.

Мы вышли. Дверь снова опечатали. Поднявшись в свой этаж, я услышал гудок отъезжавшего грузовика.

А вечером, выйдя подышать воздухом, увидел освещенные окна квартиры беглого врача. Электричество так и забыли погасить.

ПЕНСНЕ

Что вещи живут своей особой жизнью — кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное письмо подмигивает и рисуется, раздвинутые ножницы кричат, кресло сидит, с точностью копируя старого толстого дядю, книги дышат, ораторствуют, перекликаются на полках. Шляпа, висящая на гвозде, непременно передразнивает своего владельца, — но лицо у нее свое, забулдыжно-актерское. У висящего пальто всегда жалкая душонка и легкая нетрезвость. Что-то паразитическое чувствуется в кольце и особенно в серьгах, — и к ним с заметным презрением относятся вещи-труженики: демократический стакан, реакционная стеариновая свечка, интеллигент-термометр, неудачник из мешчан — носовой платок, вечно юная и суетливая сплетница — почтовая марка.

Отрицать, что чайник, этот добродушный комик, — живое существо, может только совершенно нечуткий человек; именно чайник, так как кофейник, например, живет жизнью менее индивидуальной и заметной.

Но особенно меня всегда занимала одна любопытная черточка в жизни вещей — не всех, а некоторых. Это — страсть к путешествиям. Таковы: коробка спичек, карандаш, мундштук, гребенка, шейная запонка, еще некоторые. Много лет внимательно и любовно изучая их жизнь, я сначала предположил, а впоследствии убедился, что эти вещи время от времени уходят гулять — на минуту, на час, иногда на очень долгий срок. Есть случаи исторические (семисвечник, голубой бриллиант, исторический труд Тита Ливия и пр.), но в таких исчезновениях отчасти замешана человеческая воля, случай, злой умысел; на примере мелких вещей легче установить полнейшую самостоятельность поступков.

Обычно такие исчезновения мы объясняем то своей рассеянностью, то чужой неаккуратностью, а нередко и кражей. Раньше я и сам так думал, и, не приди мне в

голову понаблюдать жизнь вещей без предвзятого представления об их пассивности и «неодушевленности», — я бы и посейчас думал так элементарно.

Все читающие в постели знают, с какой настойчивостью «теряется» в складках одеяла карандаш, разрезной ножик, коробка спичек. Привычным жестом вы кладете на одеяло карандаш. Через минуту — карандаша нет. Вы шарите, ищите, злитесь: нет и нет. Откидываете простыни, смотрите под подушкой, на коврик, на столике: нет нигде. Ворча встаете, лезете в туфли, заглядываете под постель, находите там спички, запонку, открытое письмо — но карандаша нет. Ежась от холода, вы плететесь к столу, берете другой карандаш (обычно он оказывается неочищенным), чините его, возвращаетесь. Подоткнув под себя одеяло, чтобы согреться, вы наконец берете книжку, отложенную потому, что нечем было отчеркнуть нужное место. Раскрываете книжку — карандаш в ней.

Ясно, что сам попасть он в нее не мог, — но не менее ясно, что вы его туда не положили, не могли положить.

Обычно мимо таких фактов проходят, не придавая им значения. Напрасно! Вглядывайтесь внимательнее, и вам откроется целый новый мир вещей, живущих параллельно той жизни, которую мы для них выдумали.

Я помню поразительный случай с моим пенсне: простое пенсне, без оправы — два стекла и легкая дужка.

Сидя в кресле у стены, я читал; на новой главе хотел протереть стекла, вынул платок, и вдруг — пенсне исчезло. Опытный в этих делах, я обыскал не только все карманы, складки одежды, щели в кресле, маленький столик рядом, листы книжки — все решительно. Пенсне не было нигде; не быть и раньше не могло, так как я очень дальнорук и мелкой печати без стекол не разбираю.

Не подумайте, что пенсне мое оказалось на носу; в таких случаях я прежде всего ощупываю переносицу; на ней были две свежие ямки — и ничего больше. Я отодвинул кресло, осмотрел на нем все кисточки и пуговицы, о которых Козьма Прутков сказал, что они выдуманы самым глупым на свете человеком, — и все бесплодно.

Это было настолько чудовищно и нелепо, что я разделся, встряхнул одежду, сам подмел паркет от стены до самой середины комнаты. Усомнившись в себе, я обыскал письменный стол в соседней комнате, заглянул на вешалку, стыдливо пробежал глазом по ванной — все было напрасно.

Тогда я вспомнил, что ясно слышал звук падения пенсне; я еще порадовался, что — судя по звуку — оно не разбилось. И вот я снова ползаю по полу, смотрю сбоку, смотрю снизу, смотрю сверху, топаю ногами — чтобы хоть раздавить его, проклятое, и наконец успокаиваюсь. Никаких!

Так и исчезло — как провалилось. Но в паркете не было ни единой щелочки.

Прошла неделя или больше. Про этот случай я не забыл и много раз о нем рассказывал, показывая и место происшествия. Как обычно, скептики смеялись, практики перещупывали кресло и осматривали пол, прислуга перетерла тряпочкой все предметы, вымела все пылинки и даже вымыла черную лестницу (до следующего этажа). Вся квартира обновилась, посвежела — но пенсне не было.

Один мой знакомый, заинтересовавшись случаем, хотел дойти до разгадки индуктивным способом. Он записал номер пенсне, начертил план комнаты, отметив расставленную мебель, спросил, нет ли у меня в квартире обезьяны, кошки или сороки, где я провел вечер накануне, — и целый день мыслил, пользуясь главным образом, методом исключения. К вечеру, недоверчиво и недружелюбно подав мне руку, он ушел. Жена его рассказывала потом, что он стонал всю ночь. Раньше это был спокойный человек, умеренных политических убеждений, знаток испанской литературы.

И вот сидел я однажды в том же кресле у той же стены, лишь с другой книжкой, по обыкновению отчеркивая карандашом наиболее умные и наиболее глупые места. На носу у меня было уже другое пенсне, новенькое, тугое, раздражающее. И вдруг — раз! — и падает карандаш. Перепуганный (не шутя! тут любопытнейшее психическое переживание!), я бросаюсь вдогонку. Мне почему-то представилось, что и карандаш должен бесследно исчезнуть. Но он лежал спокойно у стены, и... рядом с ним, смиренненько, плотно прижавшись стоямя к стене, блеснули два стекла с тоненькой дужкой.

Вы можете, конечно, смеяться и утверждать, что я слеп (это неправда! я дальновзорок, но вижу отлично), что слепы все мои знакомые, слепа прислуга, ежедневно подметавшая каждый вершок пола, что это просто курьезный случай и прочее. Реалистически мыслящий человек имеет на все готовый ответ. Но нужно было видеть физиономию

моего пенсне, вернувшегося из дальней прогулки, чтобы понять, что это — не случай и не недоглядка.

Еще поблескивая мутными, запыленными стеклами, жалкое, виноватое, словно вдавленное в стенку, оно являло картину такого рабского смирения, такой трусости, точно не оно — наездник моего носа, точно не я без него, а оно без меня не может существовать.

Где оно шлялось? Что оно перевидало (конечно, в преувеличенном виде!)? И чем объяснить такую странную привязанность вещей к человеку, заставляющую их возвращаться, хотя бы им удалось так ловко обмануть его бдительность?

На все эти вопросы ответить трудно. Но что пенсне мое гуляло, и гуляло долго, до изнеможения, до пресыщения и страшной душевной усталости, — в этом я, свидетель его возвращения, сомневаться не могу.

Я сильно наказал гуляку. Я заставил его простоять у стены еще несколько часов, показал его прислуге, знакомым, от которых, впрочем, не услышал ничего, кроме плоских рационалистических рассуждений о том, как оно «странно упало». Действительно, странно! Почему-то с людьми этого никогда не случается!

Мой знакомый, знаток испанской литературы, несколько позже довел до моего сведения, что в цепи его логических рассуждений была допущена ошибка: он искал пенсне, как предмет плоский (?!), лишь в двух измерениях, между тем как оказалось оно именно в третьем. По-моему, это — чепуха.

Между прочим, кончило это пенсне трагически. В тот же вечер, сняв с верхней полки пыльную папку рукописей, я чихнул; пенсне упало плашмя на пол и разбилось в мельчайшие осколки.

Пусть это будет случайностью — мне так легче думать. Я был глубоко огорчен, если бы были объективные данные считать этот «случай» самоубийством. И что могло побудить эту в сущности своей кристальную душу на роковой шаг? Прогулка по свету? Преувеличенный на одну диоптрию взгляд на мир? Или тот публичный позор, которым я обставил возвращение моих загулявших стеклышек?

Мне жаль бедняжку! Мы долго жили дружно и вместе прочли много добрых и глупых книг, в которых людям приписываются и страсти, и разум, и сознательность поступков, а вещам отказывается в праве на малейшее волеизъявление, на мельчайшее проявление индивидуальности.

СТАРИННЫЕ РАССКАЗЫ

Et la posterité refusera d'y croire...¹

ВЫБОР НЕВЕСТЫ

В черевичках на босу ногу Наташенька, Наталья Кирилловна, спускалась утром на погребницу. Шла туда с тремя девками, но сама и замок отпирала и слезала по холодной и скользкой лесенке на лед, где рядами стояли молочные крынки, деревянные чашки с простоквашей, чаны браги и пива, кадушки с соленьями и недельный запас свежей убоины. Охватывало боярышню запахом плесени и пронзительным холодком, который, пожалуй, был даже приятен после сна в душных дядюшкиных горницах. Руками прекрасными и белоснежными подавала снизу девкам разные припасы, сколько было надобно к столу и на дворню, а себе за труды прихватывала моченое яблочко, которое очень любила есть по утрам раньше всего прочего. Отсюда две девки уходили в поварскую, а боярышня с третьей навещала еще подполье, где хранились вина и наливки, — тоже выдать дневной запас. И когда шли по двору — со всех концов сбегались и слетались к ним куры, гуси, кривобокие утки и провожали до крыльца.

Приодевшись со скромностью, но как полагается боярышне, Наталья Кирилловна спешила в приходскую церковь соседнего с Алешней села Желчина. Здесь у нее было свое место — у стенки под правым крылосом, не на виду. Молилась усердно, а о чем молилась — ее дело. Называли ее желчинской черничкой и дивились, что она неохотна до игрищ и хороводов и столь прилежна к молитве. Молодые соседи, дворяне Коробьины, Худековы, Ляпуновы, Остросаблины, Казначеевы, заманивали ее в общее веселье редко и с трудом, а когда удавалось, то все девушки вокруг нее как бы линяли и выцветали, и больше смотреть было не на кого, — смотрели на нее. Ее такое внима-

¹ И потомство откажется этому верить... (фр.)

ние смущало: посидит немного и уходит домой, где дела по хозяйству всегда много, потому что дядюшка, отцов братец, боярин богатейший, только на нее во всем и полагался и любовно называл ее «племянинкой Кирилловой».

Была весна ее жизни, преддверие будущего. И это будущее рисовалось простым: богатые родичи пристроят в замужество за равного человека, хоть незнатного, но с достоинством. И тогда будет свое хозяйство и своя семья.

Была Наташенька очень красива: с юности рост большой, статна, белая, над черными глазами — коромысла бровей, волосы длинные и густы. Характер покладистый, вид смиренный, ласкова, — а что на душе у девушки, про то ни родители, ни подружки не знают.

* * *

Областным и другим городам от царя Алексея Михайловича приказ: через людей доверенных из окольных или дворян с дьяками, под зорким глазом наместников и воевод, осмотреть всех девиц округа, из бояр и простых, званием не стесняясь, и которые девки особо хороши и по всем статьям здоровы, про тех дать знать на Москву. Наилучших отобравши, привозить их для осмотра, помещая на Москве у родичей с почтенными женщинами, а дальше указано будет.

Овдовел царь: не можно царю оставаться вдовым. Выбор невесты — дело нелегкое: не просто царская радость, а мать будущих детей царских. Раньше сгоняли на Москву отборных девиц полторы тысячи и более, ныне примут только отборнейших, одобренных усердием местной власти. Которые окажутся отменно хороши, тех возьмут в верх для царского смотра, а не подошедшим под царский вкус все равно награда. Какая лучше всех — той быть царицей.

С ноября месяца по апрель — полна Москва красавиц. Из них идут первыми Ивлева дочь Голохвастова Оксинья, да Смирнова дочь Демского Марфа, да Васильева дочь Викентьева Марфа, да Анна Кобылина, да Львова дочь Ляпунова Овдотья, да Ивана Беляева дочь черница, может быть, прекраснее ее девки и не найти, кабы не было еще Кирилловой дочери Нарышкина Натальи, которую прислали из деревни, а проживает у боярина Артамона Сергеевича Матвеева, царского первого министра.

Царь Алексей Михайлович смотром не спешит, наверх подымается в месяц три раза, в шести покоях смотреть по девке. Сразу не угадаешь. Ему в помощь боярин Богдан Хитрово, знаток женских статей, и у которой руки худоваты, плечо не ладно скатывается, на лице рябинка, нога в коленке не совершенна, волос не блестит — все это боярин понимает тонко. Доктор Стефан, ученый немец, тот судит по своей части: довольно ли в тазу широка, в груди обильна, да хороша ли кровь, — все в рассуждении будущих детей. По части нужных подробностей — повивальные бабки. Чтобы не было никакой ошибки.

У царя не об одной жене забота: надобно заново украшать кремлевский дворец. Раньше работали русские мастера, упражнялись в простой резьбе. Ныне царь завел немцев и поляков, пошли по стенам золотые кожи, резьба стала фигурной, в Столовой палате на потолке звездотечное небесное движение, в будущих царицыных хоромах у подволоки и от стен атлас зеленый отнят и вместо его обито полотнами и выгрунтовано мелом, а в сенях по углам и стенам обито флемованными дорожники и насыпано стеклярусом по зеленой земле; за письмом стенным и травным наблюдает славный иконописец Симон Ушаков.

Готовится и царская опочивальня: выводят серным цветом обильного клопа, до царской крови жадного. Кровать поставлена новая, ореховая, резная немецкая, на четырех деревянных пуклях, а пукли в птичьих ногтях; кругом кровати верхние и исподние подзоры резные позолочены, резь сквозная, личины человеческие, и птицы, и травы, а со сторон обито камкою цветною, кругом по камке галун серебряной прикреплен гвоздми медными. Поверх кровати жена нага резная золочена, у ней в правой руке шпага, а в левой одежда; по углам на четырех яблоках четыре птицы крылаты золочены. Сама постеля пуховая, наволока — камка кармазин червчата бела-желта-зелена, подушка — наволока атлас червчат. Полог сарапатный полосат большой. Одеяло на соболях, атлас — по серебряной земле репы и травы шелковые, грива — атлас золотой по червчатой земле с шелки с белым, с лазоревым, с зеленым. Завес кизылбашской — по дымчатой земле птицы и травы разных шелков, подложен тафтою зеленою.

И та кровать не самая парадная, и то одеяло не самое ценное. Для будущей царицы заготовлено одеяло — оксамит золотой, по нем полосы на горностаях, грива — по атласу червчатому низано жемчугом, в гриве двадцать

два изумруда и в том числе два камня зеленых граненых. Спать под таким одеялом не можно — задавит тяжестью; взор же радуется самый прихотливый.

С домашними заботами справившись, к ночи назначил тишайший царь осмотр девушек в верхних хоромах, шестерых зараз, среди них Кириллова дочь Нарышкина Наталья.

* * *

Прошла Наташенька через все муки и всякий девичий стыд: третий месяц тайно смотрят ее сенаторы, и боярин Хитрово, и дохтуры, и бабки. Взяли, наконец, к государю в верх, и с ней две тетки и мамка, живут в небольшой комнате, обитой сукнами, постеля велика и содержится бережно, тетки с мамкой спят на боковых скамьях по стенам. Живут неделю, другую, царь на смотрины не удосужился. Девушка даже привыкла, ночью спит сладко в натопленной комнате под легким полотном. Но в день назначенный не дали ни простыни ни сорочки, комнату истопив еще жарче. Уложили рано, тетки с мамкой с вечера стоят на ногах возле постели, ведут беседу тихую, а Наташеньке велено спать, как положили, — и сохрани Боже шевелиться при смотринах! Так она и лежит как бы в огне, в стыду и почти что в бесчувствии от страха.

Тишайший царь на парадах любил надевать немецкое платье, но в обычный день одевался просто: на сорочку и на становой кафтан — обычный легкий зипун, в руках ироговой посох. Так подымался и на смотрины, с дохтуром и старым духовником, да с двумя девками, которые несли каждая по толстой свече. Перед осмотром усердно молился, и чтобы Бог вразумил его, и чтобы мысль не отвлекалась случайной женской прелестью, а всех бы посмотреть со здравым вниманием, избирая не любовницу, а супругу на долгие годы. Но, конечно, по человечеству, не всегда убежал радостного волнения, обходя покои прекраснейших девушек, отобранных знатоками, и случалось, что каждая новая казалась ему лучше всех прежде виденных, и уж краше, пожалуй, и быть не может, не к чему и тянуть дальше томительное вдовство. Однако сдерживался и продолжал смотрины, иных отчетливо и надолго запоминая.

В покоех, обитых и усталых сукнами, царских шагов почти что и не слышно. Когда входили в комнату, представленные женщины молча кланялись в пояс, девки

со свечами становились по обе стороны постели, доктор с попом задерживались у двери, пока царь при надобности не позовет. Сам Тишайший подходил с лицом спокойным и ласковым, не позволяя себе неприличной спешки и торопливости чувств, без смущения, как бы выполняя царский долг или выбирая драгоценный камень для своей короны. Не наклоняясь и не трогая, почтено поглаживая бороду, оглядывал будто бы спящую девицу во всех статьях взглядом не наглым, не оскорбительным, но мужским и опытным, без лишнего ханжества. Оглядевши, молча повертывался и выходил, а девки со свечами забегали вперед. Если уж очень приглянулась ему виденная картина — тихим голосом приказывал дохтуру Стефану ту девицу в подробностях проверить и на случай записать и запомнить.

Февраля в первый день дошло и до Натальи Нарышкиной. Под вечер плакала и охала, трижды мыли ей лицо холодной водой, к ночи хоть и успокоилась, но распылалась, совсем замучила теток и мамку, и едва к нужному времени могли ее уложить и раскидать ровненько и красиво, лучшего не скрывая, ничего слишком не выставляя на вид, а прекрасным лицом прямо на смотрящего, чтобы видел и дуги бровей, и рисунок губ.

И уж если эта картина не хороша, — тогда придется царю искать не дома, а где-нибудь за морем; может быть, там и найдется лучше.

Царь вошел, как входил к другим, и девки со свечами осветили красавицу. И неизвестно, что было бы, если бы не случилось, что Наташенька нарушила запрет открывать глаза. Она и не открыла, а только в одном глазке сделала малую щелочку, едва дрогнувши веком. Когда же сквозь эту щелочку увидала перед собой царскую бороду и два мужских глаза, прямо на нее смотрящие, то так застыдилась, что уже не могла сдержать девичьей застенчивости и, как рассказывают, легонько вскрикнула и закрылась, как могла, «обема руками».

Дело неслыханное, явная царю обида! Тетки с мамкой бросились, чтобы те руки отнять, а как она не давалась, то царь, увидав даже сверх обычного, сам стыдливо засмеялся и поспешил уйти, крепко ударяя в пол инроговым посохом. И было горе в оставленном им покое, потому что женщины решили: всем надеждам отныне конец! Могла девка стать царицей, а теперь прогонят ее с позором.

Еще рассказывают, что в ту же ночь царь досмотрел и еще двух девиц, одна из них — черничка Иванова дочь Беляева Овдотья, которую оберегали и готовили Ивановская посестрия Егакова да старица Ираида. Та черничка была поистине прекрасна и лежала, как положили, не шелохнувшись и вся замерев, будто в настоящем сне. Но чего-то царь на нее, как и на другую, смотрел рассеянно, словно бы думая о постороннем или что вспоминая, так что настоящей ее красоты почти и не заметил.

Смотрел царь невест и еще не раз, до самого месяца апреля, в середине которого все собранные девицы были распущены по домам с подарками, боярину же Артамену Матвееву сказано было его девицу маленько позадержать — царь ее еще на дому у него посмотрит. И когда смотрел, то теперь Наташенька была не как там, а в телогрее атлас зелен полосат с волоченым золотом на пупках собольих, кружило сделано в кружки червчат шелк с золотом и серебром. И была, сказывают, ничуть не хуже, чем там, и от царского взгляда не убежала, только пылала заревом молодого пожара. Царь же смотрел на нее неотрывно, и не как царь, а как неразумный жених, не по обычаю торопливый, не по возрасту молодой.

Дальше известно: стала Наталья Нарышкина русской царицей и тем над всеми возвысилась и осталась памятной в истории, что родила царю сына, а царству — Петра Великого. И выходит, что в выборе супруги тишайший царь Алексей Михайлович не ошибся.

ТАЙНА СЛУЖКИ

Царя-Константинова монастыря наместник иеромонах Зосима, проходя через пустой малый покой, что между кладовкой и большой ризницей, увидел стоявшего неподвижно, носом к углу, но от угла шага на полтора, монастырского служку Акакия.

Игумен был в мягких лапотках, но будь он в каменной обуви и увешан звенящими веригами, — и тогда Акакий не услышал бы его приближения. Только тогда и очнулся, когда игумен толкнул его в бок и спросил:

— Что тут делаешь?

Акакий вздрогнул всем телом, как бы проснулся от глубокого сна и на отца Зосиму взглянул глазами нездешними и восхищенными.

- Слушаю, отец игумен.
- Чего же ты слушаешь?
- Чудный колокол!

Был Зосима строг, и не миновать бы Акакию примерного наказания за безделье и глупость, если бы не поразила игумена ангельская восторженность в простоватом рябом лице монастырского служки. Было его лицо подобно состоянию совершенных в благодати, восшедших на двенадцать степеней; белыми ресницами не моргал, нос же его, похожий на младорослую репку, до поры из земли вытянутую, отражал свет, падавший из верхнего окошечка покоя.

В сей час никаких колоколов не полагалось и быть не могло, и подумал старец Зосима, не повихнулся ли Акакий в разуме. И однако Акакий сказал ему:

- Стань-ка, отец игумен, как я стою, рядом стань!

Стал игумен бок о бок, и оба замолчали. Минуты не прошло, как из неведомой дали донесся до старческого слуха не то и правда — колокол, а может быть, райское пенье. Как поют в раю, про то неизвестно, но уж наверное поют прекрасными голосами, согласно и претайнственно. А то и впрямь колокольный перезвон — угадать нельзя.

Сим звучаньем зачарован, тихо прошептал игумен:

- Откуда сие? Нет такого поблизости.
- Ныне, отец, звон их особый, утренний, уйти от сладости невозможно. При чуде присутствуем!
- Слышал и раньше?
- Три дни слушаю во всякой свободный час. И наслушаться не могу.
- Не вражье ли?
- Быть того не может, отец! Не иначе небесное!

И еще слушали, пока звуки не отмерли, словно бы отнесло их ветром.

Тогда старец Зосима, брови насупив, приказал служке идти по своим делам, да никому про слышанное не болтать, чтобы не было соблазна.

Так завелась тайна между настоятелем и служкой Царевоконстантинова монастыря, что был от города Владимира на Клязьме в пятнадцати верстах, да давно упразднен.

О сказанном чуде ничего из документов узнать нельзя, хотя и есть такой документ от 9-го Января 1753 года. В нем прочитаем, что было разбирательство в домово́й святейшего правительствующего синода члена преосвященного Платона, епископа Владимирского и Яропольского духовной консистории, и кто на том совещании присутствовал, и кого допросили, и как и кто слышал чудный колокольный звон с перебором толстых и тонких голосов во святых вратах монастырских, якобы из земли исходящий, и как прислали в монастырь комиссию консисторских чинов, и как тот звон внезапно прекратился. И что не было в то время никакого звона монастырских колоколов, и нет такого даже в селе Добром, в церкви ближайшей.

Все это описано, и все это не настоящее, а только одна канцелярская сплетня и волокита, начатая уже после того, как про таинственный звон все в монастыре узнали. И все это с истиной не согласно, потому что того звона и пения никто не слышал, кроме служки Акакия и старца Зосимы, а говорили только по любопытной выдумке, чудо приукрашая и сами им приукрашаясь.

Мы же знаем больше, знаем и внешнюю того чуда причину.

Знаем мы, что весной, когда ушла полая вода, монахи, по обычаю, загати́ли речку хворостом и завалили землей, оставив для спуска лишней воды творило, а по-тамошнему — вешняк. И через тот вешняк стекала вода в нижнее русло с шумом и говорком. Шум той водоточины и поблизости был приятен, но никто его не замечал.

И была в старом монастыре комната со сводами и с окошечком наверху. Чрез окошечко доносило ветром звук речной струи, который, дважды в стены ударяясь, слышим был только в одном углу, где и уловило его ухо монастырского служки. Но в том паголосье звук водопада менялся и пел чудесно на разные голоса и на колокольный перезвон то как бы буревой колокол, то будто зазвонный и перечасный, то бурлилой, то лебедью, а то мелким колокольчиком-гормотунчиком, хлопотливым балабончиком, а то и стройным пением нездешних голосов.

Все это мы знаем и можем объяснить, как бы отменив и самое чудо. Но чуда человеческой души не объяснишь разумом. Душевного счастья и волнения служки Акакия

на бумаге не докажешь; старца Зосимы радости и покоя одним отгулом водостока не оправдаешь.

Потому-то, отложив в сторону старовременный документ, тихой ночью проследим тень чернеца, скользящую в мягких лапотках из кельи в малую комнату между ризницей и кладовкой.

* * *

«Господи, побори борющего мене врага и укрепи, слове Божий, обуевающие меня помыслы Твоею тишиною!»

В руке у игумена масляный светильник, и при слабом его свете находит Зосима на полу шестиконечный крестик, намеченный рукой Акакия, чтобы точно знать место, куда ногами становиться. Найдя и установясь лапотками, ставит игумен светильник позади себя на пол, чтобы светом его не отвлекаться.

В угол между стен падает и уходит под своды тень чернеца. Спит монастырь — бодрствует за него старец-настоятель. «Мне мир распяся и аз мирови». Звук чудесный рождается комариком в темном углу, растет мухой, жужжит майским жуком, пластается отдаленным хором и переходит в колокольный дальний перезвон.

Кости Зосимы привыкли к стоянию, и ряса на нем не дрогнет. Замерев, слушает часами, и слышит, что хочет, тайно приказывая, а может быть, и сам подчиняясь приказанию. Иной раз слышит как бы грозу, столь силен гул в его ушах, а то городской шум, голоса и споры, торжественный набат, хор аллилуйный, зычную проповедь и опять — мирный говорок, начало утехи и умиротворения, как бы от молодых борений пошло дело к старости, отказу от желаний и могильному покою. Вроде как бы проходит перед старцем вся его жизнь, событиями небогатая, однако полная незамоленных грехов, и дале уже ждать нечего. Выйдет наружу суетная мысль, что-нибудь из малых злоб истекшего дня — и сейчас же заслонится рядом колоколов и звонцов, нанизанных на жердь и поющих поочередно, одни тяжелым билом, другие трепетливым язычком, но все согласно. И тогда опять возвращается покой, и уступает мысль усердию слуха: «Мне мир распяся и аз мирови».

Откуда сие и почему открылось впервые пустому парню из бельцов?

А когда утренний свет в верхнем окошечке пересилит лампаду, старец Зосима, задув огонек, мягкими лапотками

шуршит по каменным плитам обратно в келью досыпать или додумывать свою чудесную ночь. Утром будет он бодр, потому что ночное стояние в чудных звуках укрепляет и душу и тело; и будет он добр и терпелив, зная больше, чем знают другие, и приобщившись несказуемой тайны.

Иное дело — служба Акакий, весь день заваленный работой. Ему удается слушать явленное чудо только урывками, а лучше всего в послеполуденный час, когда братия отдыхает по кельям.

Еще на дворе Акакий двумя пальцами освобождает нос от излишнего, чтобы не мешать дыханию, пальцы обтирает об испод ряски и, опасливо оглядевшись, чтобы кто не застал его на месте, как однажды застал отец игумен, спешит в полутемный покой, привычно становясь ногами на закрещенное место.

Ему слышится иное, не как отцу Зосиме. Чаще всего слышит он пение, и не всегда духовное. Вдруг из стройного хора выбежит и заиграет голосок, не то женский, не то детский, а то наподобие соловьиного присвиста и раската. Защурив глаза, рот широко распятив, Акакий замирает в слухе, не пытаясь думать, откуда несутся к нему голоса и паголоски, кто он сам, Акакий, какая его жизнь. Так стоять и слушать для него сладостнее меда и сота. Тело его легко и бесчувственно, за спиной крылья, и он летает с поющими птицами, окунается в лесную прохладу, не задевая в полете за ветки шумящих деревьев, перекликается с ангелами ангельским голосом, вторит пению и свободно предстоит накату шумов и гудящих чудесных мух. А когда невидимых уст дуновением звуки временно относятся вдаль и умолкают, Акакий вздыхает негромко, не разрушая молчания, и осторожно переступает затекшими ногами или чешет там, где чешется. Вздыхает и потому, что долго задерживаться ему нельзя, всякая минута у него как бы краденая, работы у него, монастырского служки, всегда в досталь, и как бы его не хватился игумен или отец ключарь.

После бегают Акакий по двору с метлой или поганым ведром в рассеянном небытии и душевном сиянии, не то дурачком, не то блаженным. На оклики отзывается не сразу, но всегда радостно, словно каждый его должен одарить словом и лаской; чаще же всего получает «дурака» и «глухую тетерю», реже — колотушку в бок.

Так прошло лето, и о тайне, объединявшей игумена и служку, никто не знал. Служка думал, что отец игумен

про то дело забыл; сам же, — памятью о запрете и ему радуясь, — никому про чудо не рассказывал.

Но нет ничего тайного, что не открылось бы. Осенью, перед самым рекоставом, поймал Акакия на месте отец ключарь, прибил несильно, тайну выведал и доложил игумену. Тогда-то и возникло дело о чрезвычайном происшествии в Царевоконстантинове монастыре, что слышны там бывают звуки колокола меж монастырских врат, и все прочее. Верно же то, что ни отец ключарь, ни кто другой тех звуков не слышал, а только притворились, будто слышали, так как чудо подтвердил сам игумен Зосима, запрошенный о нем консисторией.

В те самые дни, ожидая осеннего ледоплава, монахи и деревенские спустили плотину. И когда в монастырь, по указу преосвященного Платона, прибыли чины назначенной им комиссии, коих игумен Зосима и повел в отмеченную комнату на отмеченное Акакием место, то никаких звуков больше не было, и то дело пришлось оставить без последствий как сомнительное и недоказанное.

* * *

И в старобытности, и в современности было и есть только одно чудо: чудо человеческой души, когда нисходит в нее бескорыстная и бесполезная радость. И тогда не нужно этому чуду объяснений и никто сторонний его не поймет и не оценит. Рождается оно из ничего и уходит никуда, о сроках не спрашивая.

Для каждого оно разное, рассказать его нельзя и сомневаться в нем законно тому, кто его отродясь не испытывал. А кто испытывал, тому не приходится втолковывать тайный смысл умилительных слов Исаака Сирского:

«Когда находит сия несказанная радость, тогда умолкают уста, и язык, и сердце — хранитель помыслов, ум — кормчий чувств, мысль — пролетающая и неудержимая птица!»

КАРЛИЦА КАТЬКА

С опаской, прилипнув к косяку, пробирается из комнаты в комнату существо в ярких тряпках, похожее на жабу. Природа, опытная стряпуха, лепит людей сотнями и тысячами по одному образцу, потом создаст штуку или

парочку покрасивее и наряднее — всем на загляденье, а из остатков теста скатает заскребыша, жалкое подобие человека, в полроста, руки-ноги обрубками, голова ненужно велика, ни ребенок, ни старик, напрасная зверушка, на горе родителям, на забаву сторонним. Вот такова была и Катька, одна из многочисленных карлиц государыни Анны Иоанновны.

Катька была очень дурна собой, притом слабосильна и запугана. Она была дочерью русской православной мещанской четы Пятаковых, совсем обыкновенных людей, роста среднего и поведения благопристойного, — неведомо почему родилась у них такая уродица. К пятнадцати годам была Катька ростом едва поболее аршина, лицом старообразна и морщиниста, на руках пухлые ребячьи пальчики, ножки бревешками, грудь под самым подбородком и непомерно развита. За такое безобразие взяли ее во дворец шутихой, обучили квакать, кудахтать, драться и петь. Катька пела скрипучим басом, как нетрезвый мужик, так что без смеха невозможно было слушать. В пенье была без соперников, а в остальном всем уступала, получала щипки и колотушки, — а ответить тем же была не в силах. Потому и была запугана, пряталась за других, жалась к стенке и шипела, когда к ней подходили с шутками.

Хотя государыня Анна Иоанновна управляла страной, размеров которой сама не ведала и народов которой не могла бы счесть, но свободного времени у нее было больше, чем занятого государственными делами. Чтобы не скучать, держала при себе уродцев и умных дураков. От державного дядюшки, Петра Великого, она унаследовала его знаменитых шутов, Балакирева и Лакосту, самоедского короля, но оба они уже не смели при ней обижать придворных острыми шутками, а жили как бы в качестве старых преданных слуг; другими шутами жили при ней именитые граф Апраксин, князь Волконский и несчастный, впавший в идиотство князь Голицын Михайло Алексеевич. Верх над другими брал ловкий шут-мошенник итальянец Пьетра Миро, по прозвищу Педрилло, разбогатевший на делах комиссионных и карточной игре. Но Анна Иоанновна тонких шуток не понимала и не ценила, а больше удовольствия находила в играх и забавах с карлами и карлицами или в хороводах своих фрейлин, которых она звала девками. Одной из ее любимиц была Катька, которую она часто трепала и щипала державной рукой.

По чину дура, Катька не была идиоткой. В ее безобразном теле, там, где быть полагается, билось робкое и чувствительное сердце. В месяц раз, не боле, к Катьке приходили родители и вызывали ее тайком через знакомого придворного служителя. И тогда Катька со всякими хитростями, незаметно пробиралась из общих шутовских покоев па свидание в нижние прихожие дворца. Приходила, разряженная в шелковые тряпки, с лицом, обсыпанным мукой, и наведенными бровями. Родители являлись не для того чтобы обнять свое ужасное произведение, а чтобы получить от него подмогу в суровой жизни — дельжонок, лоскутков материи, иногда и съестного, все то, что Катьке удавалось выклянчить, утянуть и прикупить к их приходу. Она стояла между отцом и матерью ряженым зверком и совала им свои припасы, грубым, хриплым голосом высказывая им свою дочернюю нежность. Может быть, мать и приласкала бы ее, да как приступишься к такой парадной государыниной кукле: увидят люди и засмеют. А когда родители уходили, Катька с теми же предосторожностями пробиралась обратно, всхлипывая густым басом и размазывая по старческому пятнадцатилетнему лицу обильные, настоящие человеческие слезы.

* * *

Чем позабавить скучающую императрицу? Большим мастером на выдумки был шут Педрилло, сочинявший всякие забавы. То нарядит всех монахами — понесут хоронить завернутого в холст несчастного Михайлу Голицына, а Катька идет впереди и поет панихиду; то посадит всех большим кругом, друг у дружки на коленях, а потом вышибет одного — и весь круг повалится. А то заранее, до прихода государыни, заготовит ей на потеху «куриное царство».

По двум стенам проходной комнаты уставлены лукошки, а в них карлы и карлицы, разодетые курами, будто спдят на яйцах. И когда пойдет мимо государыня с придворными, куры заклохчут, захлопают крыльями, а самый старый карла, мужичок с бородой, во все горло кричит кукареку. Потом рассыпят по полу конфет и леденцов, и все карлы бросятся подбирать ртами, будто клювом. Петух сам не ест, а кличет жен:

— Сюда, дуры, по сахарному червячка!

Иным даст, у других отнимет. А какую изберет люби-

мицу, на ту скоренько насаждает, и чаще всего это бывает Катька. Государыня изволит весело смеяться и велит еще оделить сладостями. И тогда начинается общая свалка — кто больше захватит. В свалке участвует и Катька, слабосильная, но яростная и жадная до сладостей. Ей самой и не нужно бы, но старается нахватать, чтобы потом было что передать отцу с матерью. Катьку щиплют, толкают, бьют, бородатый карла чинит над ней всякие непристойности на потеху государыне и ее окружению, но Катька бьется из последних сил, подбирая леденцы, орехи и расписные пряники и засовывая себе за шиворот. Мало набрать — надо еще уметь схоронить запасы в тайном месте, чтобы не украли озорники. Подбитая, растерзанная, Катька старается улучшить минуту и удрать, как собачка, уносящая с бою добытую кость.

Когда государыне прискучит драка карликов, шут Педрилло всегда находит случай подразнить Голицына, к которому государыня расположена не меньше, чем к маленьким уродцам. Михайло Алексеевич не всегда был идиотом. Живал хорошо, бывал в чужих краях, по страстной любви женился на итальянке. С женой его насильно разлучили — и он затосковал, перестал есть и пить, стал заговариваться. Впавшему в идиотство человеку знатной фамилии — прямой путь во дворец. Михайлу Алексеевича пристроили в дураки при дворе Анны Иоанновны, и вся его забавность заключалась в том, что он был всегда грустен, отвечал невпопад, застенчиво улыбался, смешно кланялся и был, словно дитя. Настоящих шутов побаивались: Педриллу, Балакирева, Лакосту, людей себе на уме, умевших составить свое благополучие и накопить капитал. Голицына никто не опасался, всякий задевал, а жалеть его могло только существо, еще больше обиженное судьбой и затурканное людьми и еще меньше похожее на человека.

Таким существом была Катька, питавшая к Голицыну материнскую привязанность. В тихие дни, когда государыня не нуждалась в своих забавниках и оставляла их в покое, Катька улучала минутку, добиралась до Михайлы Алексеевича, смотрела на него снизу вверх и хрипло рычала ему нежные слова. И хотя был он ростом вдвое больше против нее, — он ей казался маленьким, как бы ребеночком, нуждающимся в ее заботах. Она приносила ему поесть, совала, став на цыпочках, прямо в рот сладкий леденец, гладила его по руке. Подсев рядышком где-нибудь в уголке, штопала ему прямо на ногу разорванный

чулок, клала на кафтан неуклюжую заплату, а то своими цветными лохмотьями вытирала ему нос. Михайло Алексеевич и ей, как всем, вежливо кланялся и говорил кроткие слова благодарности, ни от кого не отличая. Это и нравилось Катьке, к которой все прочие относились, как к компактной собачке или живой кукле.

Еще была у государыни любимая калмычка, девка на возрасте, ростом невеличка, но много повыше Катьки, уродица знатная. И когда государыня очень заскучала, решено было устроить, на манер петровских времен, шутовскую свадьбу. Невестой была калмычка, а о женихе долго думали, пока Педрилло не присоветовал одарить калмычку княжеской фамилией, выдав ее за Михайлу Алексеевича, согласия которого, конечно, не потребовалось, а впрочем, он всегда и на все был согласен. Свадьба эта была знаменита и парадна, и не нам ее описывать: ее описали многие историки, ее расцвел живописными узорами большой романист, автор «Ледяного дома». Но никто не упомянул в этих рассказах о горе карлицы Катьки, любившей Голицына всем пылом маленького сердца, бившегося в ее уродливой груди.

К свадьбе готовились долго. Из ледяных глыб строили никогда и нигде раньше не бывалый и неслыханный дворец без камня, железа и дерева, а в нем спальню для молодых — с ледяной постелью. Портные обшивали всех шутов и шутих, готовили калмычке богатое приданое, жениху целый набор забавнейших камзолов и кафтанов. Катька была в числе подружек, и приказано было ей разучить подобающие случаю песни, чтобы идти запевалой. Катька учила песни, глотая слезы; на насмешки отвечала бранью, царапалась и кусалась. А когда можно было улучшить минуту — искала злополучного калмычкиного жениха и, не смея теперь проводить с ним время и ласкать его руку, садилась в уголок поодаль и смотрела неотрывно, как он скромненько играл в куклы, сделанные из тряпочек, и строил из чурбашек шаткую колокольню, а достроив, задевал ногой и сам пугался, когда чурбашки обрушивались на пол. Если же кто-нибудь похода обижал жениха, Катька шла за тем следом и находила случай подкатиться обидчику под ноги, чтобы он упал, или ткнуть его иголкой пониже спины. Ее за это били, она яростно шипела и кусалась, но своих проделок не оставляла. Больше ничем иным своей тайной любви она проявить не могла.

В день свадьбы был великий мороз. Кому повезло, тех закатали в бараньи тулупы, надев им поверх шутовские наряды. Завернули и Катьку в шали и тряпки и усадили ее вдвоем с бородатым карлой в малые санки, запряженные парой боровов. Карла, великий озорник, от холода посинел и присмирел, а у Катьки на ресницах налипли соленые ледяные сосульки. Толпы народа собрались смотреть на свадебный поезд—царицыну забаву; были в толпе и родители бедной карлицы, но она их высмотреть не могла. Катались до самого вечера, пока ледяной дом не осветился чудесными огнями. К ночи вернулись во дворец, оставив новоженков на их брачной ледяной постели.

Устав и перемерзнув, все спали, как убитые, кроме Катьки. Ее трясла лихорадка, и уродливое ее тело то корчило от озноба, то пылало огнем. И было в ту ночь карлице много видений. Будто стала она ростом велика, собою прекрасна и будто она стоит перед налоем на шелковом коврикe со своим прекрасным женихом, а кто он такой, посмотреть не решается, но чувствует, что это — самый ее любимый человек, кроткий и незлобный, всеми засмеянный, в ней же нашедший свою утеху. Из храма их ведут прямо в опочивальню, а когда они остаются вдвоем, видит Катька с ужасом, что это не Михайла Алексеевич, а ее бородатый враг, озорник и насильник, прыгающий вокруг нее петухом на общую потеху. У Катьки отбиваться нет сил, и ноги ее, погруженные в снежный сугроб, знобит и колет иглами. Тут ей велят петь веселую песню, и у Катьки из горла вылетает хрип и страшный кашель, от которого ломит грудь. И только успокоилась, как опять все сначала — и санки со свиньями, и венчанье в душевной церкви, и тайная радость, и приключившийся ужасный обман. Мечется в бреду, хочет натянуть на себя покрывало — и лежит, раскинувшись, коротышка и страшная уродица.

Свадебное празднество продолжалось и на следующий день. Катьку подымали и угрозами и щипками, но встать она не могла — не пришла и в сознание. Некогда было с ней возиться, и ее оставили лежать и досматривать бредовые видения. Катьке хотелось пить, и она видела деревянный ковшик, протянутый ей Михайлой Алексеевичем, но едва она подносила ковшик к губам, как вода расплескивалась, и на губы ей ничего не попадало.

Только через день про болезнь Катьки узнала госуда-

рыня, пославшая ей немецкого придворного доктора. Немец пощупал ей живот, вытянул и посмотрел язык и поставил пиявок. А главное — дали ей напиться. И тогда Катьке сразу полегчало, она успокоилась, стала большой и красивой, повидалась с родителями, поведала им, что выходит замуж за любимого человека и что сама царица одарила ее своими милостями. До самого утра Катька лежала спокойно, не то спала, не то ушла из этого неласкового мира, и только одно известно, что доктор, пришедший утром ее посмотреть, поднял ей веко своим немецким пальцем, посвистал и сказал: «Капут!»

В другое бы время Катьке устроили знатные похороны. Но как все были утомлены праздниками, то вызвали ее родителей и передали им маленькое тело, выдав также парчи на покров и сколько-то денег на погребенье. Таких, как Катька, было во дворце много — убыль невелика.

АВВАКУМ

Пятнадцатый год сидит в пустозерском заточении, в земляной тюрьме протопоп Аввакум. Тело изныло и гниет, воля не сломлена. Прожито шесть десятков лет, из них сорок лет в борьбе и вечном гонении. Нет таких мучений, каких не испытал бы и не вынес великий столп истинного православия и двуперстного сложения, ругатель носатого и брюхатого борзого кобеля Никона. Одно осталось — сжечь праведника в срубе. Если сожгут — дым прямым столбом подымется к небу, и все равно черти ненадолго возрадуются: правая вера победит.

Дня своей смерти никто не знает, ни протест, ни искусник, ни философ, ни гадатель; свиньи и коровы знают больше, чем альманашники и зодейщики, измеряющие небо и землю, а часа своей смерти не знающие. Случится — сожгут Аввакума, не случится — выйдет он на волю и всех собак-никонианцев развешает по дубу, лучшему наступит на горло о Христе Иисусе, из сквернейшего выпустит сок, чтобы не поганил веры проклятой ересью.

Сорок лет назад, когда был Аввакум рукоположен во дьяконы, а потом и в попы, возгорелся в нем огнепальный дух, и он вступил в жестокую борьбу с притеснителями-начальниками, был суров и с паствой. Зато был не раз бит жестоко, был преследован и изгнан из своего села Лопатицы. С молодой женой Настасьей Марковной и с рож-

денным сыном побрел в Москву добиваться правды — и вернулся с грамотой духовных отцов; но дом свой нашел разрушенным и хозяйство разоренным. Едва поправился, как опять дьявол воздвиг на него бурю. Пришли в село скоморохи с медведями, с бубнами и с домрами, а Аввакум того не стерпел, скоморохов изгнал, медведей выпустил в поле, а ухари и бубны изломал в щепы и лоскутья. За это боярин Василий Шереметьев, плывя Волгой в Казань на воеводство, затащил Аввакума на судно и велел бросить его в Волгу, да Бог спас. Били нещадно и опять изгнали из села. Побыв в Москве, назначен был протопопом в Юрьевец-Повольский. Тут Аввакум повел борьбу с бабьим блудом — и не прошло восьми недель, как дьявол научил баб, мужиков и попов прийти к патриархову приказу, где Аввакум вершал духовные дела, и вытащить его из приказа на улицу. Мужики были с батошьем, бабы с рычагами; протопопа среди улицы били и топтали ногами, пока замертво не стащили под избной угол. Спас его воевода с пушкарями — умчали на лошади в его дворик, а оттуда на третий день ночью ушел с женой и детьми на Москву.

Таково было начало служения Аввакума, первый десяток лет, еще до Никона. Таковы были цветочки, а ягодки впереди. Когда же на патриарший престол сел Никон — приспе время страдания, и почувял Аввакум, яко зима хочет быти: сердце озябло и ноги задрожали! Приказал Никон в церкви поклоны творить не на колену, а в пояс, и креститься тремя персты. Того не потерпели ревнители истинного православия, и первым среди них Аввакум. Подали жалобу царю Алексею Михайловичу с выписками о кресте и о поклонах из святых книг, а царь отдал Никону. За это дело Никон кого, сняв скуфью, умерил, кого сослал, а протопопа Аввакума взяли от всеобщей Борис Нелединский со стрельцами и на патриаршем дворе посадили на цепь, а потом перевезли в земляную тюрьму, в Андроньев монастырь, и держали без света в яме дни и ночи. Сидя на цепи, протопоп молился и клал поклоны, сам не зная, на восток ли, или на запад, и никто к нему не приходил — только мыши и тараканы, да кричали сверчки и было блох достаточно.

С этой поры и началась жизнь, полная чудес и непереносных страданий. В той самой земляной тюрьме помер бы от голоду, если бы на третий день не явился во тьме не то человек, не то ангел и, молитву сотворя, не подал

Аввакуму кусок хлеба и превкусных щей похлебать. Скорее всего ангел, потому что человеку входа нет, а ангелу никакие пути не заказаны, и дверей он не отворял и не затворял: дивиться нечему. А наутро вывели протопопа и укоряли, что не хочет подчиниться Никону. Поволокли в церковь, драли за волосы, толкали под бока, трясли цепью и плевали в глаза, а после увели обратно в яму, где и сидел он четыре недели, но не подчинился, не принял дьяволовой ереси, а Никона ругал и лаял псом и отступником.

В борьбе неравной ни пяди не уступил протопоп патриарху. Приводили его на патриарший двор, распяливали руки, вступали с ним в богословский спор, убеждали словами и побоями, — все напрасно. В Никитин день был крестный ход, и его в цепи везли на телеге против крестов к соборной церкви, где хотел его Никон расстричь, да заступился царь. На царя Алексея Михайловича у протопопа зла не было: накудесил много, горюн, в жизни сей, яко козел скача по холмам, ветер гоня! И не раз он убеждал царя в письмах: «Перестань-ка ты нас мучить тово! Возьми еретиков тех, погубивших душу твою, и пережги их, скверных собак, латынников и жидов, а нас распусти, природных твоих. Право будет хорошо». И если бы царь дал ему, Аввакуму, волю, он бы их, никониян, что Илья пророк, распластал во один день. Не осквернил бы рук своих, но и освятил. Перво бы Никона того, собаку, рассек бы начетверо, а потом и других, студных и мерзких жрецов. Ну их к черту, не надобны они святой Троице, поганцы, ни к чему не годны!

Но не он их, а они его одолели. Сослали Аввакума в Сибирь, в город Тобольск, с женой и детьми; в то время протопопица родила младенца, — так и волокли телегами, и водою, и саями, по бездорожью тринадцать недель. Ничего, доволокли.

В Тобольске архиепископ устроил Аввакума к месту, но покоя не было и тут. Дьяк Иван Струна захотел напрасно мучить протопопова дьяка Антония, а Антоний скрылся в церковь. Аввакум пел вечерню, когда прибежал Иван Струна и тут же, на крылосе, ухватил Антония за бороду и хотел тащить. Аввакум покинул вечерню, церковные двери запер и того Струну за церковный мятеж посреди церкви постегал кнутом нарочито и отпустил. Тогда сродники Струны, попы и чернецы, возмутили весь город, вломились в избу к Аввакуму, чтобы взять его и

потопить в реке, да он успел бежать; после того Струну посадили на цепь за взятки.

И опять пришло горе — велено было сослать протопопа в Дауры, за тысячу верст от Москвы и больше, и мучить его дорогой за то, что продолжает лаять патриарха Никона. На Тунгуске-реке едва не затонули; протопопица кое-как повытаскала детей из воды. В ссылку протопопа провожал Афонасий Пашков с казаками и мучил напрасно: рычал, как зверь, бил по щекам и в голову, дал по голой спине семьдесят два удара. Сковали руки и ноги и так везли на казенном дощанике под холодным дождем; стало у протопопа кости щемить и жилы тянуть, и сердце зашлось, и умирать стал. Текла вода по брюху и по спине, а когда проходили пороги, то скованным тащили протопопа прямо по камням от места до места. Жену с детьми сослали отдельно, мучили, детей поморозили. В Брацком остроге держали протопопа до Филиппова поста в студеной башне, а после в теплой избе скована вместе с собаками.

Весной поехали дальше и так тащились водой и по суху четыре года, трижды тонули, многожды голодали и ели кобылятину и всякую скверну: что волк не доест, то ели протопоп с протопопицей и малые дети; два сына, не выдержав, померли в пути.

В Даурской земле выстрадано было шесть лет — но дух протопопов не сдался. А когда вызвали его обратно в Москву, пришлось ехать по голому льду на нартах. Дали протопопу под детей и под рухлядь двух кляч, а сам с протопопицей брели пеши. Много раз падала протопопица без сил на скользком — и встать не могла. В слабости иной раз пеняла на мужа:

— Долго ли муки сея, протопоп, будет?

А он ей отвечал:

— Марковна, до самые смерти!

И, встав, говорила протопопица со вздохом:

— Добро, Петрович, ино еще побредем.

Ныне, сидя в срубе пятнадцатый год на цепи и заточенным, вспоминает протопоп протопопицу с лаской и любовью. Радостного мало было — больше страданья непереносного. Вот еще была в пути курочка черненька, помогала нужде путников, весь год давала по два яичка в день. Был такой случай: у одной боярыни переслепли куры и стали мереть; принесла боярыня кур к протопопу, чтобы о них помолился. Протопоп молебен пел, воду свя-

тил, куров кропил и кадил — и куры те исцелели. Одну курочку себе оставил, а как выпала дальняя дорога, взяли и курочку. И та птичка одушевлена, Божие творение, их кормила и сама с ними кашку клевала сосновую из котла, а рыбки прилучится — и рыбку клевала. За такую курочку сто рублей — плюново дело! Да грех случился — задавили ту курочку, на нарте везя. И как на разум придет: жаль протопопу той курочки, подруги верной. Слава Богу, все устроившему благая!

Ехали из Даурской земли долго, плыли реками, волоклись землей. Горы высокие, утесы каменные, птиц zelo много, гуси и лебеди стаями, яко снег. В Байкаловом море рыба: осетры и таймени, стерляди, и омули, и сиги, и прочих родов. Все то Богом наделано для человек, а человек Бога не молит, насыщаясь довольно — лукавствует, яко бес, скачет, яко козел, гневается, яко рысь, покаяние же отлагает па старость и потом исчезает, во свет ли, или во тьму — явит то день судный.

В Енисейске зимовали, лето плыли, в Тобольске опять зимовали, шли до Москвы три года. А в пути и во всех местах не упустил протопоп проповедовать веру истинную и обличать Никонову ересь с великим дерзновением. Усумнился было, жалея жену и детей, через то страдавших: говорить ли ему или молчать? Спросил о том протополицу Настасью Марковну, друга верного и спутника страданий, а она ему:

— Что ты, Петрович, говоришь? Я тебя с детьми благословляю: дерзай проповедовать слово Божье по-прежнему, а о нас не тужи. Поди, поди, Петрович, обличай блудную еретическую!

В Москве встретили протопопу с лаской и лестью — хотели переломить его непреклонную волю, да напрасно. Лаской не взяли, хотели убедить батожем, мучили много. Подержав на цепи в Пафнутьевском монастыре, опять привезли в Москву и в соборном храме расстригли и проклинали, отрезав протопопу и бороду, а потом болотами и грязью свели обратно в монастырь, заточили в темную палатку и держали год без мала. И еще привозили в Москву уговаривать и мучить, и опять заточали, пока не замуравили в Пустозерье. Других же, протопоповых сподвижников, кого пересилили и заставили отречься, а кого казнили смертью лютой: жгли живыми, резали языки, гноили в земле закопанных. А кому резали языки, тем иным Господь отращивал заново и без следа. И огнем пытали, и на

дыбу вешали, антихристовы шиши, извели смертью верных довольно.

Сидя в заточении пятнадцать лет, учил расстрига-протопоп людей, сколько мог, приходящих словом, а дальних — посланиями. И царям писал, Алексею, а по смерти его Федору, зла не помяная, убеждая прогнать тайных римских шишей, богоборцев и прилагатаев, напивавших народ аспидовым ядом. Писал письма верным боярам, слал послания рабам Бога вышнего и отцам поморским, толковал Книгу Притчей и Соломоновых Премудростей, словом казнил Никона, дьяволова сына и овчеобразного волка.

Ни годы, ни страдания не согнули — хоть опять волоки в Сибирь по камениям и льдам, да и здесь в заточении не лучше. «Долго ли муки сея будет?» — «До самые смерти!» — «Добро, Петрович, ино еще побредем!»

* * *

Апреля 14 дня 1682 года за крепкую веру и за великие на врагов праведной веры хулы сожжен был в срубе мученик Аввакум вместе с попом Лазарем, иноком Епифанием и дьяконом Федором, страдальцами безмерными, ране того лишенными языка.

Господь избивенных утешает ризами белыми, а нам дает время ко исправлению. Вечная им память во веки веков!

ШИНКАРКА РОЗУМИХА

Черниговской губернии, Козелецкого уезда в небольшой хутор Лемеша приехали знатные москали целым поездом, с кибитками, подводами, людьми и запасной каретой; таких людей в этих краях раньше и не видавали, и хотя в Лемешах трусов не жилось, а все же на прибывших смотрели исподлобья, шапки не ломая и держась поодаль.

Из передних кибиток вышли паны, одетые петухами, в шитых кафтанах и шляпах пирогом, и стали расспрашивать, где тут найти госпожу Наталью Разумовскую. Им отвечали степенно, что такой госпожи в наших краях отроду не бывало, а есть, коли божаете, Розумиха удова, шинкарка.

— А где нам ту вдову розыскать?

Объяснили, что розыскивать Розумиху не приходится,

потому что полагается ей сидеть в шинке за стойкой и отпускать добрым козакам горилку. А если и еще кто потребуется приедем панам, то все равно идти им в шинок, где все известно и всякого можно найти, потому что день праздничный, в поле никто не пошел, и нет только пастуха Кирилла, Розумихино сына, который ушел с волами.

Чудные те люди забрали из кибиток разное богатое барахло, а один впереди всех понес соболью шубу. Пришли в шинок и, действительно, застали там немало народу, а за стойкой почтенную вдову Розумиху. Увидав ее, приезжие паны отвесили ей поклон в пояс, так что бабу даже напугали, и сказали, что прислал их к ней ее сын, знатный боярин, самой царицы слуга и любимец, Алексей Григорьевич Разумовский. И, конечно, им старуха не поверила:

— Мий сын простой козак, дэ ж' ему знаты таких вальяжных панив?!

Однако должна была шинкарка признать, что есть у нее два сына, один, Кирилл, ходит пастухом, а другой, старший, Алексей, ушел по городам в Московию с певцами, да так о нем и нет никакой вести.

Словам можно и не верить, а как не поверишь подарком, присланным и сыном и самой императрицей.

Нашлись люди, разумевшие по-московски, и через них послы объяснили Розумихе, что ее сыну выпала судьба поистине чудесная. Однажды он пел в хоре во дворцовой церкви, и его отличила сама цесаревна и за голос и за его красоту; сначала он был принят во дворец бандуристом, а вскоре был перед всеми отличен и назначен камерюнкером. Когда же стала Елизавета Петровна царицей, то был Алексей Григорьевич пожалован в действительные камергеры, в поручики лейб-кампании, с чином генерал-аншефа, а потом и обер-егермейстером и высоких орденов кавалером, одним словом особой высокой и знатнейшей, первым при государыне человеком и богатым помещиком, у которого есть теперь крестьян несколько тысяч душ.

Вот какое счастье свалилось на голову шинкарки! Все это она выслушала, спорить не стала, а пригласила по слов выпить горилки, потому что тогда и разговаривать легче. Сама села на соболью шубу, рядом положила кошель с золотом, присланный ей сыном, дочерям Агафье, Анне и Вере приказала потчевать гостей и всех кто был в шинке. Выпили за здоровье государыни, и за здоровье Алексея Григорьевича, и за счастливый отъезд к нему его

матушки Натальи Демьяновны, бывшей Розумихи, а отныне госпожи Разумовской. Послали и за Кириллом, чтобы он со всеми вместе порадовался, а волов за него пока попасет другой хлопец.

Так погладили дорожку, щоб ровна була, а после недолгих сборов повезли послы Наталью Демьяновну с сыном Кириллом и одной из дочерей прямым путем в город Санкт-Петербург.

Этот длинный путь описать трудно. Пришлось старой шинкарке немало дивоваться на разные города и села, на реки и леса, каких она и видеть не надеялась, а по дороге был всякий почет, встречные люди кланялись в пояс, разные царские чиновники являлись справляться о здоровье. На настоящую жизнь, конечно, не похоже, а в сказках бывает и еще чудеснее. Об одном сомневалась Наталья Демьяновна: как на хуторе идут дела в шинке, да здоровы ли волы, свиньи и курочки?

Под самым Петербургом встретил старуху на станции сам Алексей Григорьевич. С лица похож, но уж очень богато одет и вся грудь в лентах и орденах, настоящий вельможа. Не то чтобы не поверила Наталья Демьяновна, а все же попросила его сначала войти в дом, раздеться да показать матери приметы на теле — родимые пятнышки, чтобы уж никакого сомнения не оставалось. И только когда увидала, что все приметы сына на месте, что нет тут ни обмана, ни вражеского наваждения — только тогда залилась счастливыми слезами, обнимая его с материнской любовью.

* * *

На другой же день по приезде стали готовить Наталью Демьяновну к приему императрицы. Показать ее такой, как была, и думать не приходилось: государыня не обидится, а придворные засмеют старуху. Поэтому напустили на Розумиху портных, разрядили ее в фижмы, позвали волосочеса, который провозился над нею не час и не два. Во дворец ее привезли разряженной, «мов на ярмарке», с лицом нарумяненным и набеленным, обклеенным черными мушками, как требовалось по моде. На голову ей навертели огромную куафюру, столь непривычную «писля очипка». Сама собой старуха и идти не могла — вели ее под руки. И заранее научили, что когда появится государыня, то должна она, Наталья Демьяновна, встать перед ней на колени и благодарить ее за все милости себе и сыну.

Шла старуха, как во сне, ноги подкашивались, голова с прической едва держалась на плечах. А когда ввели в зал, то увидела Розумиха перед собой дивное видение — в пух и прах разодетую пани, с лицом размалеванным, с башней на голове; увидав — повалилась на колени и сразу позабыла все слова. Однако сопровождавшие поспешили поднять Наталью Демьяновну, объяснив ей, что это не государыня, а она сама в большом зеркале, чему долго она не хотела верить.

Тут вошла и государыня Елисавет Петровна, женщина красоты удивительной, и хоть одета со всей роскошью, а на чучело не похожа. Едва встала Розумиха на колени, как царица ее подняла и поцеловала, сказавши ей: «Блаженно чрево твое!» и еще много ласковых и простых понятных слов.

Когда прием кончился, Наталью Демьяновну окружили придворные люди, затолкали ласками, запугали подобию страстием, и каждый старался, чтобы она его запомнила. Розумиха стояла ряженой куклой, отвечать не могла, да и кланяться в ответ не могла по причине тяжести головы, украшенной буклями. Однако сразу поняла, что полагается ей держаться важно и в обиду себя не давать, да и кто смеет ее обидеть при таком сыне! Может, и была она раньше шинкаркой, теперь же, милостью императрицы, сделалась она статс-дамой, а что это значит — после сынок расскажет.

И потекли дни странные, жизнь в богатстве и пышности, пища обильная, спрашивай, чего хочешь, и даже любимую цибулю приносит на серебряном подносе разодетый человек. Жила Наталья Демьяновна при дворе, привыкла видеть государыню, всегда к ней ласковую балакала на родном языке с сыновьями и дочерью, научилась ничему не удивляться, даже тому, что и младший ее сын, вчерашний пастушок, вдруг стал важным барином, и так быстро к этому приспособился, словно никогда и не пас волов на хуторе в Лемешах. Поговаривали, что государыня жалует дворянство не только Кириллу, а и всем Розумихиным зятьям, и ткачу Будлянскому, и козаку Дарагану, и закройщику Закревскому, а с дворянством дадут им и хорошие должности. Одно горе: нет здесь лемешинских кумушек и свах, не с кем пощебетать и поделиться чудесами!

Прошло времени не много, поехала государыня и весь двор в Москву на коронацию; в царском поезде, в богатой карете отправилась в Москву и Розумиха.

Как ни была проста лемешская шинкарка, а все же задумывалась, почему свалилось на голову ее сына такое невиданное счастье: стать при царице первым человеком? Что он грамотен да что хорошо поет — таких рядом с ним найдется немало из знатных и родовитых. А вот что он строен и красив, да смел, да нравом прекрасен — это правда. Спросишь его самого — только посмеивается, а про государыню говорит почтительно и любовно, как про дорогого и близкого человека. Сама же царица относится к Наталье Демьяновне не как ко всем, а с особой заботой и любовью, словно бы к родной матери. Скажешь ей: «Здравы булы, пани господинья!» — а она целует в обе щеки, как равную. Что-то тут неспроста, а догадываться боязно.

Если сказкой была петербургская придворная жизнь, то торжество коронавания совсем ослепило Наталью Демьяновну. Увидав горящие смоляные бочки и потешные огни в небе, думала она, что горит вся Москва. Государыня же была так прекрасна, как икона в божьем храме. От шумных праздников кружилась голова, и тут, как никогда, взгрустнулось Розумихе по тихому хутору, по курам, баранам и коровкам, брошенным без хозяйского призора. Там, в деревенской тиши, была бы она сейчас важнейшей важной пани, а здесь не обижают ее только потому, что боятся гнева царицы, про себя же всякий знатный человек подсмеивается над старой шинкаркой, не умеющей ступить шага.

— Добре туточки, тай ладно. А так моркотно — хоть у криницу кидайся!

Пробовала проситься домой: «Мене там свыни тай курки чекают», — но сын просил подождать: есть одно такое дело, что без матушки ему никак обойтись не можно:

— Дело тайное, а какое — о том после узнаешь.

И однажды вывели Наталью Демьяновну из дворца и посадили в карету. Выехали под вечер в трех каретах, а кто в двух других — неизвестно, не было ни гайдуков, ни конвою, а ехали быстро, долго и без остановок. Вышли в каком-то поселке перед скромной церковью, из первой кареты женщина, с головой укутана, из другой Алексей Григорьевич с двумя молодцами, из третьей высадили Наталью Демьяновну.

А в церкви зажжены свечи и ждут поп с дьяконом, а никого народу нет. А когда женщина сняла свои шали, то оказалось, что это сама красавица государыня Елисавет

Петровна в белом платье парчовом и белой тонкой прозрачной тафте. Был посреди храма послан червлёный шелк перед налоем, и на тот коврик разом ступили двое: государыня, яко невеста, а рядом с ней шинкаркин сын Алексей Григорьевич Разумовский, красавец и великан, государыне под пару.

Тут под Натальей Демьяновной ходуном заходил пол, и как упала на колени, так и не вставала до конца венчанья. Думала: может быть, снится ей сон, ни на попа, ни на молодых не смотрела. И только тогда поднялась, когда подошли к ней молодые и государыня ей сказала:

— Матушка, мы твое благословенье заранее знали, а теперь благослови повенчанных на добрую жизнь. Дело это тайное, только между нами и останется.

На обратный путь посадили Розумиху в одну карету с молодыми. И всю дорогу они смеялись и ласкали испуганную старуху, признавшись ей, что друг друга давно полюбили и что любовь свою увенчали законным браком, только об этом разговора нигде быть не должно.

— А теперь, матушка, если тебе с нами не любо, поезжай к своим куркам. Придет время — мы к тебе в гости приедем.

* * *

На голове Натальи Демьяновны, под платком, хоть и новый, но все же привычный очипок, и платье на ней удобное и простацкое, без дурацких фижм, о которых она и вспоминать-то не хочет. Волю, курки, свиньи благоденствуют, числом прибыли безмерно, и хата новая, самая богатая в селе, самая высокая, самая почтенная. Но в шинке сидеть уже нельзя, неудобно пани Разумовской, матери знатнейшего человека на Руси. Прежних приятельниц, соседок и кумушек, пани Разумовская не гнушается, а как начнет рассказывать, так кумушкам ничего не остается, как развесить уши.

И так уж все чудесно, — но могла бы рассказать им старуха такое, что ни одна бы кумушка не решилась впредь сидеть в ее присутствии и на всю округу ни один человек не смел бы стоять перед Розумихой в шапке. Но этого рассказать старуха не может: дала зарок. И сама — помнит, а не верит, был ли то сон, или вправду довелось ей стать свекровью дочери Петра Великого?

СКАЗАНИЕ О ТАБАШНОМ ЗЕЛЬЕ

Когда заходит солнце — распускаются трубчатые чашечки ароматнейшего из цветков, и весь вечер, всю ночь, до нового солнца благоухают. Воспета роза, возвеличена лилия, но их известность ничтожна в сравнении с мировой славой и мировой властью скромного по виду растения с тонким высоким стеблем и клейко-волосистыми овальными листьями.

Его родина — Америка. В половине четырнадцатого века его мелкие, как бурая пыль, семена отправились в путешествие и засеяли теплые побережья Африки и Азии. Двумя веками позже оно появилось в Европе, и хотя его завез сюда как будто испанец Франциско де Толедо, но французам очень хочется увенчать славой такого подвига своего соотечественника, дипломата Жана Нико, и нам, гостям Франции, как-то неудобно не соглашаться. Земля, открытая Колумбом, неправильно названа Америкой; цветок, ввезенный де Толедо, получил ботаническое имя — никотиана. Мы же, курильщики, называем его попросту табашным зельем, отрадой нашей души и отравой нашего тела.

Поехал английский мореплаватель Ричард Ченслер открывать новый путь по холодным морям. Испокон веков англичане суются туда, где их не ждут и куда их не звали. Ледяные поля, ледяные горы, польньи, торосы, глетчеры. Самоеды, олени, собаки, полозья, моржовый жир. Белые медведи, киты, тюлени, пингвины, перелетные гуси и утицы. Ничего не делается аглинскому человеку, потому что ему уже известна дымная прелесть носогрейки; нового пути не открыл, а попал к нам в устье Северной Двины — местечко забавное и достаточно прохладное, а оттуда пробрался и на Москву, к царю Ивану Грозному. Царь Иван Васильевич встретил его приветливо: «Мы торговать очень согласны, — чего изволишь, именитый купец?» Ченслеру понравился наш пушной товар, и наши леса, и тогдашняя наша советская паюсная икра. Говорит: «Со своей стороны можем в обмен предложить английский пластырь, лондонский туман и уморительную травку — и жевать, и курить, и в нос пихать». На этом согласились. Съездил Ченслер домой, привез табашного зелья, забрал наших соболей и куниц, а на обратном пути погиб славный купец и мореплаватель: Бог его покарал за такое жульничество.

Надо думать, что Ченслер завез к нам не только сушенный лист, а и семена благодатного растения. И хотя нелегко прививалось у нас в те времена европейское просвещение, но этот подарок понравился, и повсюду, где климат был теплее, зацвели розовые и зелено-желтые цветочки; от солнца прятались, к ночи распускались пышно. От дней Ивана Грозного до дней Михайлы Федоровича русский человек беспрепятственно пил табак носом, клал его за губу и пускал дымом. Когда же эта сладостная отравка, по царской воле ввезенная и царями благословленная, пройдя весь путь от Москва-реки до реки Иртыша, полюбилась всему русскому народу («Табак да баня, кабак да баба — только и надо!») — тогда стали табашников преследовать, по государеву приказу отымать табак сырой и толченой, и дымной, и на полях сеяной, а кто его жевал, курил и пил с бумашки, тем людям приказано было чинить жестокое наказание: метати их в тюрьму, бити их по торгам кнутом нещадно, рвати им поздри, клеймити им лбы степелями, дворы их, и лавки, и животы их, и товары все имать на государя. А самый тот табак приказано жечь, чтобы однолично табаку нигде, ни у кого не было, а кто наказан, про тех людей велеть бирючу о том их воровском деле кликать по многие дни, и с тех табашников брать заповеди и поручные записи, чтобы впредь им не воровать, табаку самим не пить и никому не продавать.

Горе пошло на Руси!

Ленский воевода стольник Петр Головин сам пивал и жевал табачище; однако, государев приказ получивши строго наказал пятидесятнику Богдану Ленивцеву имати табак у всякого и виновного представлять на воеводский суд.

Пивал с бумашки и за щеку кладывал и Богдашка Ленивцев, да нечего делать: поймал с поличным Семена Сулеша, да Мартынку Кислокваса, да Ондрюшку Козлова да еще многих табашников, — а против поличного нет от вода. Тех людей уличенных бил кнутом на козле енисейский палач Ивашка Кулик. Но нет такой силы, которая осилила бы соблазн душистого заморского цветка, крепко прижившегося и на земле и в тавлинках. От кнутового битья пластом лежат и Мартынка Кислоквас, и Семен, Ондрюшка, а доносчик Ленивцев с палачом Куликом, по кончив работу, тянут носами отобранное добро, косясь друг на друга: кто кого раньше в таком деле выдаст голвой?

Все у нас грубо и жестоко. В просвещенной Европе было гораздо полегче: римский папа Урбан Восьмой положил на табак проклятье, а табашников велел отлучать от церкви; папа Иннокентий и нюхал, и покуривал, однако запрещение подтвердил — не к чему народ портить; папа Бенедикт недаром был тринадцатый: и сам курил-нюхал, и всем разрешил дьявольское зелье. Но доброго папу римского опередил наш Великий Петр, усердный ценитель всякого пьянства и похмелья: с 1697 года опять стала вся Россия и за губу совать, и в нос сыпать, и дымом пускать то зелье невозбранно и беспрепятственно.

Что кому по достатку. Сирый и бедный тянул тютюн; кто поразборчивей — бакон и махорку. Одному по вкусу табачок папушный и шнуровой, другому — бунтиковый, иному — рубанка, а тому трапезунд, американ, унгуш. Саратовский житель держался колонистского, приезжий требовал канастера, амерсфорта, самсона, дюбека; если же человек немецкой выучки, то подай ему винцера, гунди и фридрихсталера. И умел опытный и привычный трубакур не по цвету, так по дыму, сразу угадать: этот — виргинский, этот — мариландский, а тот — фиалковый, по просту крестьянский.

Близко к нашим дням гремел в России повсеместно табачок жуков, при длинном чубуке — сладкое наваждение! А кто баловал нос, те в тертый табак клали малинку, а то гвоздичку, а то и фиалку. Нюхали нафырок, с ногтя большого пальца, огородив его указательным; нюхали и насоколок, из ямки меж тяжей пальца большого; а испанский табак нюхали только с кончика пальца, иначе пропадала тонкость понюшки. От старых времен, от кнута, рваньи ноздрей и клейменья, осталась поговорка: «Пропал ни за понюшку табаку!» Понюхав — чихали многократно, утирая нос и усы цветным платком и говоря друг другу: «На здоровье!»

Памятью благодарной вспомним и наше недавнее прошлое. Доктор курил месаксуди, адвокат — стамболи, эсер — асмолова крепчайший, эсдек — вышесредний, а кадет, конечно, мешаный, середка на половину. И только на одном сходились все партии — на рисовых гильзах Катыка, 250 шт. 18 к. Ныне же все народы земли российской, от Ленинграда до Камчатки, курят сорт единый: советский; едины и гильзы: марксистские. Тот самый сорт, про который сочинен немцами короткий рассказ об охотнике.

Шел охотник по лесу и встретил черта. Черт увидал ружье и спросил:

— Это что за штука?

— Табакерка.

— А ну, дай понюхать!

Охотник выпалил в черта, а черт чихнул и прибавил:

— Дас ист штаркер¹ табак!

* * *

— Несть ли сие вред, яко нос, исполненный сего зелья, изрыгает, яко гора Везувий, нечистые и отвратительные извержения, зане всякому гнушати и отвращати лице свое?

— Сказано: «Очисти нос твой, яко трубу рожану, зане ветром веяти и вихрям играти».

Спорили о табашном зелье великие начетчики, писали о нем богословы, ученые и просто писатели-табашники, и Чехов — лекцию «О вреде табака», и Ремизов — заветный сказ «Что есть табак?». Чехов не договорил, Ремизов переложил, дым вьется струйкой одинаково.

Сей злак есть поганое, блудное, сатанинское зелье. К ревнителям старой веры и душевной благодати пробирался он потайной дверью и совращал молодых и поживших. Бежали его духоборцы, гнали штундисты, проклинали молокане, хулили постники, осуждали равно и беспоповцы, и белопоповцы, и бегуны, и скопцы, и имебожники, и непокорники, и чемреки, ветвь Старого Израиля, и баптисты, и сам Лев Толстой. Кто курил табак, тот хуже пьющих горелое вино и бобом ворожащих! Открещивались от него истовым крестом: большой перст через два великие персты подле меньшого перста и средней великий перст пригнув мало. Но враг рода человеческого силен!..

Говорили старoverы:

— Кто нюхает табáки, тот хуже собаки.

Отвечали им табашники:

— Кто курит табачок, тот Христов мужичок!

И тянули нафырок сыромолотного зеленчака, вертели собачью ножку.

Тюремные стены одолел! Не дают заключенному ни хлеба, ни мяса, только помойную бурду, — а в табаке отказать не могут. Идущему на смертную казнь — последняя

¹ — Das ist starker — крепкий (нем.).

утеха в папиросе. И против всякого горя — испытанное средство с давних лет: «Табаку за губу, всю тоску забуду!» Из всех потреб нужнейшая, из всех надобностей малейшая: «Ребятишкам на молочишко, старику на табачишко». И когда уж совсем плохо, все пошло прахом, тогда говорят: «Дело — табак».

Бежит по реке пароход, на носу матрос-меряльщик. Когда нет дна, кричит: «Не маячить!», когда мель — считает четверти, а если в самый раз, только-только шест царапает по дну, тогда звучит бодрое: «По табак!»

Хлеб-соль вместе, табачок врозь. Последнюю рубашку отдают, глазом не моргнувши, а последнюю папиросу иностранец не даст ни за что, да и русский только «на затяжку», сам из руки не выпуская.

Знаменит табак и во французском участке.

Табакерками жаловали, советскими папиросами жалуют знатных приезжих дипломатов и сейчас. У Лескова в «Леди Макбет» обозвал Сергей Фиону «мирской табакеркой» — обидное название! Но лучше всего говорят про табакерку, уличая святошу и ханжу в нечистой совести:

— Свят, да не искусен: табакерочка в рукаве выпятилась!

* * *

С заката до восхода солнца благоухает никотиана табакум, цветок из семейства пасленовых, пятильчичковый родственник ночной красавицы, одурь-красавицы (беладонны), белены, дурмана, крушины и своего соперника по власти над человеческим родом — винограда. Человек сушит лист, режет, крошит, пакует, набивает, зажигает — и сладкий дымок окутывает всю землю. Там, где табак не растет, там за него отдаст самоед жену, эскимос — стадо оленей. Поэт окуривает рифму, художник полотно, философ идею. Большой сердцем запивает дымом дигиталис и камфору. У старика, немощами пододвинутого к краю могилы, последняя надежда: «Брошу курить!» И о последнюю свою папиросу он закуривает новую, с которой и отходить в вечность — легко, в ароматном облаке, с затуманенной головой. На том свете его ждут курильщики, раньше закончившие земные дела: не донесет ли на одну затяжку? Ангелы его окружают: хоть и воспрещено, а хочется и им. Вот какая сила у скромного на вид цветка! К нему подлетают мотыльки с длинным хоботом, похожим на дамский мундштук, и пьют, трепеща крылышками; мо-

тыльки вечерние и ночные, серые, расписные, запойные, на дневных непохожие. Липкими волосиками ствола и листьев он защищается от мелких букашек, иначе пропасть бы ему от тьмы горьких пьяниц и наркоманов мелкокопического мира,— ему, призванному услаждать серое бытие крупных двуногих животных и обогащать государственные казны гражданским порохом.

И только одного мы не знаем: как же жили люди в древности, со свежими ртами и некопченной ноздрей? И не была ли их жизнь непоправимой ошибкой?

КАЗНЬ ТЕТРАДКИ

Рано утром, 4 декабря 1755 года, в день великомученицы Варвары, бежал в школу солдатский сын Вася Рудный; и хотя был в валенках, но на бегу подпрыгивал, потому что полушубок едва доходил ему до коленок и архангельский холод забирался и снизу, и с ворота, а хуже всего в короткие рукава. Нужно и руки греть, и уши тереть, и не забывать о носе. В безветренный день даже и не щипнет, а тронешь — заместо носу деревянный сучок.

Как раз против дома пробирного мастера Соколова, на полпути в школу, видит Вася: лежит на снегу, на протоптанной тропе, большой пакет синей бумаги. Находка! Наклонился — и поднял свою судьбу. А не подними — ничего бы не случилось с Васей Рудным, солдатским сыном.

Обжигая пальцы о бумагу, развернул пакет и увидел тетрадку, крупно записанную рыжим чернилом; была тетрадь прошита суровой ниткой, половина листов записана, половина чиста. Чистая бумага для школьника — сокровище: пиши и рисуй. В школах бумаги и не видали, а писали на черных досках мелом.

Может быть, и полюбопытствовал бы Вася, что написано в тетрадке; но на морозе не зачитаешься, да и не мастер он был разбирать полууставное скорописное письмо. Сунул тетрадку в карман и припустился бежать весело.

И зачем не выпала та тетрадь у Васи из кармана, как выпала у прохожего! Была бы у Васи своя жизнь, может, вышел бы в люди, протянул положенное человеку счастью и в достатке. Погубила его находка на пятнадцатом году жизни.

Пословица говорит: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь».

За главного был в архангелогородской солдатской школе прапорщик Елагин.

Учителей было, не считая попа, двое: Петр Хромых и Иван Волков, оба из грамотных солдат. Петр Хромых учил счету и географии: где какое государство и какая губерния. Иван Волков учил складам по псалтыри и по Четым Минеям. Пока учил Хромых, Волков либо курил табак в сторожке, либо шарил по карманам в ребятских полшубках. Случалось, что найдет три копейки — тогда шел хлебнуть от безгрешного дохода.

В день холодный Волков шарил особо усердно, — но без толку. В одном кармане нашел солдатскую пуговицу, в другом — тетрадь.

Откуда у малого тетрадь? Кем писана? Разогнул посередине, наложил на строку прокуренный палец с черным ногтем, повел и, сам не сильный в грамоте, прочитал слово за словом, помогая себе губами:

«Оный Бог пребывает на горе под небом и живет с супругой Юнонией, однако, будучи весьма охоч до земных девок, является к оным бычком, либо лебедем, а то золотой монетой, и те девки от Бога брюхатеют. Имеет бороду, лицом пригож и пьет брагу, именуемую нектаром, часто до пьяна».

Не будь солдат Иван Волков брит — стали бы у него волосы дыбом: этакое написано про Бога! Сунул ту тетрадку за голенище и прямым путем пошел доложить про находку прапорщику Елагину.

Прапорщика нашел в кабаке, за первым утренним шкаликом, по причине холода. Был Елагин ростом мал и умом кроток, звезд с неба не хватал, грамоте был почти что не обучен, с солдатами не зверь, с начальством робок. Греться — грелся, но в будний день знал меру и не терял офицерского достоинства. В школе доверял учителям, а сам больше пекся о солдатском продовольствии, муштрой не донимая. Верил в Бога, верил в розгу, служил отечеству без обмана и по правде.

Первым делом порешили школяра Василия Рудного допросить под лозой: откуда взял тетрадь, кто научил богпротивным мыслям, да с кем про эти дела ведался? И хотя день был не субботний, — по субботам драли всех школьников, — но после урока выдвинули скамейку и спустили Васе штаны. Драл его учитель Иван Волков, а до-

прос вел самолично прапорщик Елагин. Драли, по важности случая, всерьез и нещадно.

Сначала Вася запирался, что ничего про ту тетрадку не знает, а нашел ее на улице, прочесть же ее не хватило ни разуму, ни времени. Но когда от ягодич к спине набухли красные полосы и голос Васи от крика стал сдавать, то сообразил он лучше сознаться и наклепать на неизвестного человека, что будто дал он ему ту тетрадку. Будто встретил он на улице не знаю какого посадского человека, всего два раза его и видел, зовут его Семен Никитин, а прозвище неизвестно, и тот посадский дал ему тетрадь, а для чего — неведомо, и ту тетрадь он, Васька, положил в карман не читая, да и забыл, и в том вся правда, и чтобы до смерти его, Ваську, не били, а отпустили, потому что сказывать ему больше нечего, все сказал.

Велев добавить Ваське счетом еще десять, прапорщик Елагин приказал учителю Васькино сознание записать на бумаге и, ту тетрадь приложивши, отправить дело в архангелогородскую губернскую канцелярию, чтобы не было нарекания от начальства за покрытие того Васьки богохульных дел.

* * *

Без лозы и линьков следствие в те времена не производилось. Хоть и назвал солдатский сын Василий Рудный имя посадского человека, а как прозвище он указать не хочет, то взять его, Рудного, и испытать еще раз под лозами, содержать же его в секретной камере, пока человека не укажет и не будет по тому делу решения.

Первое время били Васю многократно, с пристрастием и нещадно, содержа на воде и хлебе в холодной камере. Но как ничего сказать больше он не мог, то дело его затнулось на месяцы.

Что было в богопротивной тетради, то прочитали, но толком понять и растолковать никто не мог, хотя и была в ней явная ересь и хула на Бога и призыв к язычеству с описанием всяких историй, полных соблазна и не известных христианской вере имен. Повальным обыском спрашивали про неведомую женку Юнонию, нет ли такой хлыстовской богородицы, пытали и про распутную девку именем Венера, не знает ли кто и не донесет ли губернской канцелярии. Но, на Васино несчастье, никто про сих еретиков и нехристей ничего не слыхал и разъяснить не мог, сам же Вася ни в чем больше не признавался.

К весне, которая в архангельских краях хоть и позд-

ня, но полна красоты и ласковости: роскошна черемухой и белыми пахучими лесными цветочками, а поля зеленеют просторами, а ручьи шумят, да не могут заглушить щебетанья и гомона прилетных птиц, и дышит человек свободно, на ходу легок, в обращении улыбчив и весел,— к той весне осталась в секретной камере городского острога только тень Васи Рудного, бывшего здорового парнишки. Только кости торчали, а тело сползло, хриплым стало дыхание, и кровь вся истратилась у малолетнего колодника. Кашлял днем, перхал ночью, так что и спал мало, ел же через силу по малости выдаваемый черный хлеб. И словно бы повредился малый в разуме, всякого слова пугался и дрожал весенней осинкой.

Когда зацвела сирень, пришлось Васю перевести из острога в архангелогородский полковой госпиталь, потому что сам он был в холодном поту, а внутри тело пылало печкой, и было крепчайшее запираение в груди, от которого запираения колодник Василий Рудный волею Божьей и помре в начале месяца мая 1756 года.

* * *

Со смертью преступника дело, однако, не кончилось, и кончиться оно не могло, потому что Вася был только сообщником, а главный виновник того прелестного воровского деяния так и не был найден.

Пришлось губернской канцелярии потрудиться и исписать немало по тому делу бумаги. Потрудился и прокурор, подыскивая статьи закона, по которым можно было завершить дело, так и не двинувшееся с первого дня.

Всего труднее, что не было в военных законах никаких указаний на богохульные тетрадки, могущие сеять в народе неверие и соблазн. И случая такого раньше не было.

Нашлось, однако, в военном уставе 1716 года, в артикулах 149 и 150, указание, как будто к случаю подходящее, каковое гласило:

«Кто пасквили и ругательные письма сочинит и распространит и тако кому непристойным образом какую страсть или зло причтет, через то его доброму имени некой стыд причинен быть может, сочинитель же не найден, то палач такое письмо имеет сжечь под виселицей, а сочинителя онаго за бесчестного объявить».

И хотя ни стыда доброму имени, ни вреда от той тетрадки никому, кроме Васи, не причинилось, но, за неиме-

нием закона более подходящего, было дело подведено под эти артикулы, о чем и прочитана публикация в губернской канцелярии, а также назначен день исполнения приговора.

В сей день была поставлена на городской площади легкая виселица на помосте, а под виселицей поставлена железная жаровня, полная раскаленных березовых угольев.

Собирались праздные посадские люди посмотреть на казнь. Кого будут казнить — не все знали, а кто поопытней, говорили, что перед казнью будут прижигать казнимому либо лоб, либо пятки каленым железом, другим же ставить клейма по обычаю. Палача знали хорошо в лицо и уважали, так как он считался одним из лучших в тех краях заплечных мастеров и перевешал немало народа.

Явились на площадь разные начальства из губернской канцелярии и военные власти. Пришел и прапорщик Елагин со взводом солдат, а всех молодецватее красовался унтер, учитель школы солдатских детей Иван Волков, всего торжества главный виновник.

Тетрадь принесли прокурор с копиистом, в той самой синей бумаге, в которой завернутой нашел ее на улице мальчик Вася Рудный. И только тут узнала толпа посадских, что ныне вешать никого не будут, а жечь будут только пасквильную бумагу.

И был барабанный бой. После боя долго читал чтец канцелярское постановление, писанное языком мудрым, подписанное людьми темными. И кто слышал в нем многократное упоминание имени волей Божьей помершего колодника Василия Рудного, тот представлял себе этого колодника высоким и мрачным злодеем, который, попадись ночью или даже днем, — не упустит обобрать человека донага, а то и загубить христианскую душу: лицом зверь, борода рыжая, шея воловья, уши и ноздри рваны, на щеках и на лбу клейма. Такому человеку нипочем загубить чужое доброе имя клеветой и позорным слухом, да не щадит он и имени Божьего, хуля его в угоду самому сатане! И что тот Василий Рудный помре в остроге — в том виден перст Божий, покаравший его ранее всякого человеческого наказания.

По прочтеньи же длинной бумаги опять загредел барабан, и тогда на помост взошел палач в красной рубахе, взял из рук прокурора преступную тетрадку и, огонь в жаровне раздувши, так что пламя едва не опалило ему бороду, бросил ту тетрадь в самый жар.

Отогнулся и, почернев, откинулся первый листочек, за ним второй — точно неведомый дух листает тетрадку. Сгорело писанное и сгорели чистые листы, на которые позарился школьник. Сгорели древние боги, мифы о которых старательно записал прилежный семинарист, потерявший тетрадку на улице.

И когда тетрадка сгорела начисто, палач залил жаровню полуведерком воды. Разошлось начальство и разошлись посадские, пораженные мудростью и справедливостью законов, но не совсем довольные зрелищем: все-таки настоящая казнь, человеческая, много занятнее!

Что здесь рассказано, то случилось в стародавнее время, в российском медвежьем углу, в краю смоляном, деготном и рыбном, среди людей темных и суеверных.

Когда же пройдет еще сотня лет, с полсотней и четвертью, — новый сочинитель расскажет людям про то, как его предки, постигшие и логику, и риторику, и самую философию, жгли соборне на кострах преступные книги в городах больших и славных просвещением.

Ибо возвращается ветер на круги свои, ночь сменяется днем, день ночью, и мало нового в подлунном мире.

МОНСТРЫ

Исецкой провинции в красногорском остроге у дьячка Ивана Кузнецова родился сын. А может быть, и дочь. Возможно, однако, что сын. Главное — как же назвать? Будь дьячок басурманской веры, он мог бы назвать родившееся Жозефом-Марией или Анной-Ромуальдом, что делается сплошь и рядом зря и безо всякой нужды; но по вере православной этого нельзя даже при действительной надобности. А так как дьячок и дьячиха желали иметь сына, то и окрестили родившееся Аврамом: Аврам Иванович Кузнецов.

Случай странный, таинственный и неприятный. Когда же через полтора года дьячиха снова разрешилась от бремени, то дьячок своими глазами убедился в дальнейшей насмешке судьбы: нельзя было без преувеличения считать новое родившееся сыном, но и за дочь принять не вполне точно. Приглашенная для экспертизы баба-повитуха мудро указала, что в данном случае пол младенца вполне зависит от усмотрения родителей, почему новое родившееся было окрещено Терентьем: Терентий Иванович Кузнецов.

Дальше — прямо точно из сказки, а между тем все изложенное и следующее удостоверено документами Камчатской экспедиции и академией наук.

В том же красногорском остроге проживал отставной солдат Василий Яковлев, у которого в те же года от законной жены родилось сначала одно, а затем и другое лицо неопределенного жизненного назначения: не то чтобы сыновья, но не совсем и дочери. Подражая дьячку, отставной солдат окрестил одного младенца Михайлой, а другого Иваном: Михайло и Иван Васильевичи Яковлевы.

Очевидно, в этой местности было такое поветрие, потому что говорить о наследственности совершенно в данном случае невозможно. Иногда приписывают такие явления порче или шуткам врага рода человеческого, но, как увидим дальше, такие предположения противоречат не только просвещенному разуму, но и высочайшему указу.

Родившимся повезло: лет за двадцать пять до их рождения Петром Первым Великим было прорублено окно в Европу. В окно полезли всякие замечательные иностранные новости и интересы из стран просвещенных, но, сравнительно с нашей, маленьких и дрянненьких. На чудеса европейские Петр положил ответить собственными, доморощенными, и, как известно, во многом преуспел и Европу обогнал. Так создалась у нас своя собственная кунсткамера, сначала состоявшая при аптеках, московской и петербургской, а потом переданная в ведение академии наук, царем созданной.

Вначале в кунсткамере чудес было немного: люди скрывали своих уродов, боялись позора. Были, правда, доставлены «два младенца, каждый о двух головах», да еще «два, которые срослись телами»; доставлены были мертвыми и содержались в банках. Поэтому указом 1718 года Петр объявил, что «в таком великом государстве может быть монстров более, но таят невежды, чая, что такие уроды рождаются от действия дьявольского, через ведовство и порчу, чему быть невозможно, ибо един Творец всея твари Бог, а не дьявол, которому ни над каким созданием власти нет; но от поврежденья внутреннего, так же от страха и мнения материнского, как тому многие есть примеры».

За доставку монстров, зверской ли, или птичьей породы, или же человеческих, была назначена денежная награда, а за утайку обещано примерное наказание. При этом, «когда кто принесет какой монструм или урода чело­вечьи,

тому, дав деньги по указу, отпускать не мешкав, отнюдь не спрашивая чье, под потеряннем места и жестокого наказания».

Вот когда посыпались монстры! Достаточно сказать, что в числе других чудес были доставлены в кунсткамеру из Москвы «две собачки, которые родились от девки 60 лет!» В одном чуде сразу четыре: и двойня, и звери, и у девицы, и у достаточно пожилой!

Умер Великий Петр, но дело его не умерло. В 1742 году проезжала по Сибири Камчатская экспедиция с профессором Гмелиным во главе; до Камчатки не добралась, но сделала немало важных дел, в том числе открыла существование в красногорском остроге четверых живых монстров, коих у родителей забрав — отправили в кунсткамеру академии наук.

По-русски монстры звались скопцами, по-ученому же их именовали армофродитами.

В архивах академии сохранилось мало подробностей о проживании при ней живых человеческих монстров. Относясь к архивным документам с полным почтением, добавим догадкой то, что позабыто или упущено. Так, например, по нашим изысканиям, сибирские монстры приехали в Петербург не младенцами, а подростками и прожили дольше, чем выходило по бумагам.

* * *

Пост армофродита при академии наук ответственен, но не требует особой затраты энергии. Приехав в Петербург, Аврам с Терентием Кузнецовы и Михайло с Иваном Яковлевы попали в условия жизни почетной, но праздной.

Было бы много проще для них и для академии, если бы можно было, заливши их спиртом, содержать в банках вместе с прочими человеческими монстрами и в компании двух собачек, рожденных девицей на возрасте. Но они были монстрами живыми, и это вызывало осложнения, особые заботы и накладные расходы.

Ясно, что поместиться на полках и в шкапах кунсткамеры они не могли. Поэтому обычно они проживали: Михайло и Иван — у канцеляриста Худякова, а дьячковы Аврам и Терентий — у капрала Анцыгина, которым и было поручено содержать их «как трактиром, так и покупкою рубашек, чулков и мытьем рубашек».

Требовалась, кроме рубашек, и верхняя одежда. Поду-

мавши, академия заказала им отличительную — по их положению — форму: «мундир зеленого сукна с обшлагами красными, камзол и штаны красные ж, а шляпы с тесьмой». Эта форма армофродита была им выдана под расписку с обязательством содержать одежду во всякой чистоте и сохранности.

И было монстрам, хотя и в мундирах, скучно и бездеятельно. Хорошо, что нашлась компания: еще два живых монстра, про одного из которых известно только, что он был «уродливый малый», а про другого, что он болел животом.

Монстры ели, пили, играли в шашки и зернь и вели жизнь затворническую, так как на публику им показываться не разрешалось. Жалованье им выдавали маленькое — восемнадцать рублей в год и мундир; и то академия ахала, что такой расход ей делать не из чего. А тут еще прислали в кунсткамеру нового монстра: «У левой руки ладонь толщиной в три четверти и пальцы не так, как надлежит, да у правой ноги нет пальцев, а повыше ноги как ниткою перевязано». При этом отец нового монстра засвидетельствовал, что «от рожденья сколько оной сын растет, то у той руки та шишка растет, в четыре месяца в окружении вершок прибавляется и не отворяется никогда».

Приняли и этого, благо освободилась вакансия: монстр, страдавший животом, заявил однажды, что его «прежняя животная болезнь умножается», почему пожелал исповедаться и причаститься, а вслед за тем «после полудня во втором часу оный монстр умре». Анатомил его доктор Дюверноа и, разобрав его тело по частям, «для курьезности все части отдал в кунсткамеру».

Прислали и еще монстра Федора Тарасова одиннадцати лет: «Голова кругом без вершка аршин, лоб и борода в длину четь и полтретья вершка, туловище от шеи до вилок две чети и два вершка, ноги по три чети тонки, нос вершок, рот полвершка, а лицом гладок». Но академии не хотелось обязываться лишним мундиром и жалованием, и от этого монстра она отказалась.

Так монстры и жили вшестером, днем на службе: может быть, кто пожелает их осмотреть, — а в остальное время в размышлении о странной своей судьбе.

Жили год, другой, третий. У Михайлы Яковлева, даром что он мог быть и дочерью, стали пробиваться усики, а Аврам Кузнецов давно уж брил бороду. Видя, что монст-

ры живучи и не скоро удастся их анатомить и рассовать по банкам, академия задумала отдать их в гимназию для обучения русскому и немецкому языкам; однако, при неопределенности пола, это оказалось неудобным.

Отошнела монстрам жизнь. Первым догадался Михайло Яковлев. Почувствовав себя вполне определившимся, он стал убегать из дому и водить компанию на стороне, а однажды ушел — и не вернулся. О пропаже его была послана промемория в полицию, припечатано в «Ведомостях» и опубликовано в пристойных местах с барабанным боем. Указаны были его приметы: «Волос рус, глаза серые, нос плосковат», — но по таким приметам бежавшего армофродита не сыскали.

Вторым вымолил себе отпуск и свободу «уродливый малый», отпросившись пожить к родственникам. Его отпустили, но с тем, что в случае его смерти ближайший к жительству лекарь проанатомит его тело, и «какое из тех частей сего монстра, по его лекарскому рассуждению, найдет примечания достойное, оное отправит в спирте в академию незамедля».

Парню с вечно растущей левой ладонью и беспалой ногой, как ниткою перевязанной, бежать было невозможно, а родственники видеть его совсем не желали. Его шишка росла с правильностью, в четыре месяца на вершок в окружении, и академия не могла на него нарадоваться. О его судьбе сведений у нас нет, но нужно думать, что он в свое время весь или в части попал для курьезности в соответствующую банку.

Что касается до оставшейся тройки армофродитов, то ни один из них в банку не попал и желания к тому не выразил.

За это время произошли в далекой Сибири некоторые события.

Исецкой провинции в красногорском остроге у дьячка Ивана Кузнецова родилась дочь — самая настоящая и подлинная, не внушавшая никаких сомнений.

И тогда же родилась дочь, вполне правильная и бесспорная, у отставного солдата Василия Яковлева.

Надо бы радоваться, — а родители загрустили. Были они уже немолоды, жили скудно и впереди не видели ничего доброго. Старость подкрадется незаметно: кто будет их кормить и о них заботиться? Старшие дети, какие ни на есть, взяты в государеву кунсткамеру, а дочери — не работницы, да еще надобно их вырастить. Девка в семье — отрезанный ломоть.

Нашелся грамотный писарек и, по просьбе родителей, написал им прошение в академию наук:

«Мы, нижайшие, у себя в Сибири имеем еще по младенцу, токмо не скопцы и никакой курьезности нет, и оные наши дети в малых летах, которых нам содержать и пропитать некому, а мы уже при самой старости. И дабы указом ее императорского величества повелело было нам, нижайшим, из помянутых скопцов наших детей по одному, Михайлу да Аврама, для прокормления обретающихся в Сибири родителей и малых детей к ним отдать и отпустить в дома свои».

Была академия в смущении: как вернуть Михайлу, когда Михайло успел самоопределиться и сбежать? С другой стороны — нужно и родителей пожалеть и казну избавить наконец от великого расхода на содержание армофродитов: по восемнадцать рублей в год, да мундир, да шляпа с тесьмой! И притом оные армофродиты, не проявляя желанья перейти по частям или в целом виде в банки со спиртом, делаются с годами, напротив, весьма нахальными, требуют прибавки питания, носят усы и проявляют склонность к развлечениям, по званию их предсудительным.

Но так как в те времена зря швыряться музейными ценностями было не принято, то академия постановила: «Осмотреть оных армофродитов через немецкого доктора Вейтбрехта, много ли осталось в них от прежней курьезности?»

Как все немцы, доктор Вейтбрехт был человеком дошным и в суждениях точным и непреклонным. Исполнив поручение академии, он возмущенно воскликнул:

— Колоссаль!

Вследствие чего и была положена академией следующая резолюция:

«Рассуждая об оных армофродитах, что в оных никакой нужды при академии и курьезности нет, и жалованье они берут напрасно, и плода от оных — не токмо чтоб в гимназии обучались, но и в грамоте русской читать и писать поныне в совершенство не пришли; к тому же сего 9 августа об оных армофродитах подан от доктора Вейтбрехта репорт, в котором объявляет, что оные при нынешнем случае, по осмотру его имеют мужское свойство, постановлено: оных оставшихся бывших армофродитов Аврама, Терентия и Ивана возвратить по принадлежности родителям, мундиры отобрав».

И отправились три бывшие армофродита, своекоштно и пешим хождением, через всю Россию в Сибирь, в место неудачного своего рождения, прославляя мудрость Петра и милость Елизаветы...

СОЖЖЕННЫЙ ДЬЯЧОК

Осенью 1720 года пошло солнышко на убыль, так что под вечер дьячок Василий Ефимов клацал зубами и содрогался, чему соответственно сотрясалась и его косичка, торчавшая крысьим хвостом. Который холод снаружи — на тот управы нет, который же внутри самого человека — тот холод можно изжить приятием обильной пищи и согревающего тела пития. И однако было сие пребедному дьячку недоступно за падением в людях веры и малыми доходами даже священнослужителей, а уж простому дьячку прямо пропадать. И даже жена дьячка Василия спала с тела и видом была не женщина, а как бы копченая смерть.

Разве что случится чудо!

Что чудо может спасти человека, о том дьячок Василий знал доподлинно и видал примеры. Будучи же человеком отчаянного воображения, мечтал о таком чуде денно и ночью, пока не додумался.

А как надумал, то собрал последние грошики и купил у посадских людей кроповой водки три золотника, да росного ладану четверть фунта, принес домой и спрятал в чулане, где спал.

После чего тайно писал дьячок какую-то бумагу ночью, при свете плашки, а как был малограмотен, то писал ее три ночи. На четвертую ночь, под тринадцатое августа, вышел дьячок Василий из дому тайно, жены не потревожа, с собою взяв большой ржавый ключ, кадильницу и закупленные ароматы. Тем ключом, под покровом ночи, отпер он каменное подцерковье обрушившейся церкви Пресвятыя Троицы, что была в Ямской Новинской Слободе Новгорода и при которой он числился в дьячках, из подцерковья же пролез по мусору и камням в самую церковь, даже ободрав локоть и обе коленки после чего проник в деревянный новый притвор в честь великомученицы Параскевы, где свершались служения и куда из старой церкви были снесены богородичные иконы Умиления и Тихвинской.

Лез дьячок не как тать, а для свершения и прославления чуда в помощь немоготе духовенства, с крохотами выгоды и для низших — для себя и исхудалой дьячихи. Сговору ни с кем не имел — сам надумал, сам и выполнял, а там будь что будет.

Был тот дьячок не пуглив и к мраку церкви привычен, а также к крысам. Взятой с собой сереной тросткой возжег свечу, раскадил в кадьнице уголья, положил росного ладану и, став посреди церкви, кадил прилежно, пока не наполнилась вся церковь благоуханиями от низу до самого купола. Пока кадил — думал усердно, достанется ли ему по загровку за подобное воровское и прелестное действо или же выручат его поп Никита Григорьев с причтом, которым предстоящее чудо сулит неисчислимую и безгрешную выгоду. Потом окропил дьячок укропной водкой пелены при образах и помост, побрызгал и в отдаленных углах, чтобы дух был крепче, и наконец зажег перед Умилением и Тихвинской самые большие свечи, завязал в узелок все принесенное и прежним ходом, по мусору — в каменное подцерковье, оттуда — в дверь, ту дверь снова на запор, вышел на улицу, докатился до дому в свой чулан, припрятал узелок и снова вышел — оповестил попа Никиту о чуде в церкви Святой Параскевы Пятницы.

Поп спал крепко, однако, на зельное стучание проснулся, окошко приотворил и услышал:

— Беги, отец Никита, в церковь, где видно в окна сияние необычное!

И началась беготня. Поп позвал другого дьячка, Михайлу, с ним добежал до церкви, а когда отперли замки и проникли внутрь — увидали чудо возжения свечей и неопикуемого благоухания. С ними вошел и дьячок Василий, а войдя — онемел и уже не мог сказать ни единого слова, только мычал и знаками показывал на свой лоб и свои глаза, что он де все это предвидел и постиг в сновидении. Пошли за ключарями Иоанном Иоанновым и Аверкием Иоанновым, а с ними дальше — объявить о происшедшем преосвященному Аарону, который приехал в церковь своей персоной и всех допросил, как то было.

Всех допросил, но дьячка Василия, первого объявителя, допросить не мог по случившейся с тем полной немоте. И вместо словесного объявления дьячок представил своеручное письмо о бывшем ему во сне видении. В том видении открылось де ему, дьячку, еще за три дня, предстоявшее чудо, и как должны приехать к церкви епископ

Аарон да архиерей Иов, да боярыня Анна Головина, да княгиня Марья Татева, у которых те иконы прежде в доме стояли, да их сродичи князь Хилков, да князь Юрий Голицын, и будто с ними во главе весь народ новгородский у той церкви молился. И как в самый день чуда услышал дьячок ночью словно бы гром или хождение колесницы, вскочил от сна в страхе и ужасе, выглянул в окно и увидел над церковью лучи и услышал пение многих ликов и аллилуию, после чего и побежал доложить о том попу Никите, сам же остался нем.

Немым остался дьячок надолго, на целый год, пока шли в церкви молебны, и народ, приняв воровскую прелесть за истину и уверовав в чудо, приходил во множестве и давал неоскудную дачу. Нужно сказать, что из этой дачи перепадало дьячку Василию немного, а промышлял он больше тем, что давал списывать свою пророческую бумагу, взывая малую мзду, или же списывал ее сам, взывая за это побольше. В общем — поправился дьячок, и жена его как бы снова вошла в приличествующее тело.

Когда же слава о чуде, как и всякая слава мирская, человеком измышленная, стала меркнуть и забываться, а с тем окончился и приток доброхотных дач, — прошла по немногу и немота дьячка Василия Ефимова, и прошла на его горе. В пяток первой недели великого поста покаялся он своему духовному отцу Тихону Зотикову на исповеди в своем прелестном притворстве, обещавши поститься весь пост и читать двенадцать псалмов и богородичен акафист каждодневно, за что духовник отпустил ему грех. Потом же, придя в отчаяние от новых своих жизненных бедствий, поведал дьячок о своей проделке и архиерею, который греха не отпустил, а делу дал законный ход.

И с того дня начались мытарства дьячка Василия, пытки его великие и великие страдания, тяжкий ответ за затеянное дело и сплетенный промысел, страшная расплата, закончившаяся даже смертью.

Странствует то дело из архиерейского разряда духовных дел в святейшего правительствующего синода коллегию, а оттуда в юстиц-коллегию, и с тем делом странствует дьячок Василий, во всем давно признавшийся, однако, пытаемый усердно и без сожаления как лживец и богопротивный хульник и составитель и распространитель соблазнительных копий блядословного воровского письма, мутящего народ.

Уже допрошено и сыскано немало замешанных в то

дело людей, уже отсечен от всех иерейских действий добрый духовник дьячка Тихон Зотиков, не донесший вовремя о признании дьячка на исповеди, уже исписано много бумаги, источено много перьев и изданы сотни приказов и публикаций, — пока, наконец, доставлена в юстиц-коллегию и вручена провинциал-инквизитору синода во Новгороде последняя бумага, при коей приложен и сам дьячок Василий и коею объявлено по его царского величества указу:

«Дьячка Василия Ефимова за ложное его воровское в народе разглашение и за богопротивный притвор казнить смертью, сжечь, дабы впредь другим такое дело ложно и притворно затевать и тем народ возмущать было неопасно».

Декабря 29 числа 1721 года из архиерейского разряда писано в синод, что во исполнение приказа — оной дьячок Василий в Новгороде сожжен.

* * *

Но столь велик был дьячков грех, что и сожегши дьячка, — сразу и до конца того дьячка не дожгли, и вышло отсюда новое хлопотное дело, и новая переписка, и новые допросы и сыски.

Жгли дьячка на костре, на еловых дровах, в руку вложив лживую его грамоту о небывшем чуде. Был дьячок худ и изнеможен, горел плохо и невеселым огнем, так что все дрова сгорели, а от жареного дьячка оставалось еще немало, как о том описано в протоколе:

«Голова с шеею остались токмо одне кости и часть груди и рук с перстами и с телом, а в левой руки зажатого о оном ложном чуде списка его дьячковой копии часть, которой и вынять за крепким от онаго жару тоя руки сцеплением невозможно, также и прочих костей не малое число, которых подробну за горением по большей части росписать невозможно».

Прежде всего, хоть о том в протоколе и не помечено, завилась кольцом и сгорела дьячкова косичка, к концу завязанная тонким вервием, дабы зря на ветру не расплеталась. За косичкой запылали дьячковы сальные лохмотья, а как сжигаемый дьячок не был на костре спокоен, то полопались путы на руках и ногах, на лице же дьячковом, когда лизнул его первый огонь, замечено было народом

как бы большое удивление, после чего перестал дьячок жаловаться и кричать.

И было допущено, что стоявший при том сожжении на карауле урядник с солдатами, по согласию ректмейстера, собрал жареные останки того дьячка, уложил их в гроб и доставил в дом к дьячковой жене. Для чего той жене понадобились негоревшие части преступного мужа, о том судить трудно, однако, в народе, падком до соблазна, пошел разговор и дошел до начальства.

С царским приказом не шутят, и начальство взволновалось. А так как о том, что делать дальше с недосоженным дьячком, ясного распоряжения не было, то новгородский провинциал-инквизитор извлек названный гроб из дома дьячихи и приказал поставить в церковном притворе до определительного по тому делу святейшего синода указа.

Сожгли дьячка в декабре, указ же был получен в мае месяце следующего года, так что дьячок, хотя и жареный, лежа в гробу в церковном притворе, начал к весне сильно попахивать, наполняя самую церковь уже не прежним благовонием.

Новый же приказ синода был таков:

«Тот запечатанный гроб с теми оставшимися частями сжечь на том же месте, на котором дьячку та казнь учинена была, а при том сжигании приставить караул и смотреть того накрепко, дабы тот гроб с теми оставшимися частями сгорел весь в пепел».

Приказано было также произвести сыск и допросить в юстиц-коллегии ректмейстера Глебова, урядника Тимофеева и солдат, для чего собирали они кости и отдали дьячковой жене, а если они покажут на других, то и тех сыскать с пристрастием и всех держать под караулом, пока все дело не обнаружится и, в ответ на посланные дознания, не получится окончательное по тому делу решение.

Что было дальше — не знаем, и все дальнейшее уже мало касалось дьячка Василия Ефимова, обращенного на этот раз в совершенный пепел.

Писан настоящий рассказ по синодским документам подлинности бесспорной, а чего в документах не было, те пропуски добавлены сочинителем, ответственным во всей полной мере.

СОЛОВЕЙ

Пойдет сейчас рассказ о доле соловьиной — об участи одного соловья, своей судьбой предсказавшего судьбу патриарха Никона. А сам соловей о том ничего не знал.

Соловей, малая серая пташка, вернулся из теплых стран к себе на родину, в Валдайский уезд Новгородской губернии. Местом жительства избрал тот остров на озере Валдайском, где стоял Никоном построенный Иверский монастырь.

Островок лесистый, и кругом большого озера тоже леса и леса, а само озеро полно рыбы. В уездном городке Валдае жители промышляли литьем колоколов и бубенчиков, от самого большого до самого маленького, годного под дугу; об этом всякий знает по двум стишкам:

И колокольчик, дар Валдая,
Звучит уныло под дугой.

И еще жители были знамениты своими валдайскими баранками отменного вкуса. А чем они занимаются нынче, — не знаю; колокола никому не нужны, заместо бубенцов треплют люди языками, а про баранки рассказывают деткам в сказках, да и то на ухо.

Соловей выбрал себе остров за красоту и спокойствие. Прилетел сюда холостым, повертел хвостом и женился. Вместе с женой вили гнездо, устлали пухом, а дальнейшее — забота женская, пока не выведутся птенцы, которых кормить опять придется вместе. В ожидании соловей занимался прямым своим делом: выступал солистом в ночных концертах.

Соловьиное пенье — дело русское; иностранцы ничего о нем толком не знают, у них даже и нет соловьиной науки. И рассказать им про нее невозможно, потому что у них нет подходящих слов. Никакой переводчик не переведет на иностранный язык всех тонкостей переводов (колен) соловьиного пенья: пульканье, клыкканье, раскат, пленканье, дробь, лешева дудка, кукушкин перелет, гусачок, юлиная стукотня, почин, оттолчка...

Наш валдайский соловей был великим знатоком всех этих переводов, так что мог бы потягаться и с курским. Особенно хорошо умел запускать лешеву дудку и юлиную стукотню (когда у места); по раскату же был первым мастером: где и раскатиться, как не на острове среди озера! И, слушая его, монахи по весне спали «соловьиным сном», — ворочаясь с боку на бок и вздыхая.

И вот однажды, напившись росы с березового листа (это для соловья, как для человека — рюмка спиртного), соловей прочистил нос, пулькнул, булькнул, перекатил дробь и только хотел раскатиться, как слышит: звякнул на монастырской колокольне малый звонец, а за ним загудели колокола, благовестные и полиелейные. И тогда же донеслось до соловья из монастырского собора осьмогласное на два лика пенье. И было это так необыкновенно, что соловей сорвал голос на гусачка, стукнул дважды — и умолк.

Соловья же, сидя в гнезде на яйцах и невольно очнувшись от сладкой дремы, про себя сказала: «Ке-се-ке-се-кеса?»¹

Это было в майскую ночь одна тысяча шестьсот шестьдесят шестого года: заметь, что после тысячи идет число звериное! А по-монастырски, в 174 году.

И возревновал соловей: какие такие могут быть колена, каких он не знал?

Возревновав, — решил побывать на месте, посмотреть и послушать, в чем тут дело. А кстати, шел слух, что в монастыре густо бродят черные тараканы: после мурашиных яиц — первое соловьиное лакомство, как и говорится в пословице: «Падок соловей на таракана, человек — на лстивые речи».

И вот что случилось дальше, как описывает о сем архимандрит Филофей в своей грамоте:

«Мая в 20 число, в шестую неделю по Пасце, в соборной церкви на утрени, на втором чтении, пошел из церкви в притвор северными дверьми дьякон Варсонофей, и в северных де дверях летит ему встречу птица, и тот дьякон чаял, что нетопырь летит, и учал на нё махать и в церковь не пускать, и та де птица мимо его пролетела, и через братию, которые седили подле дверей, полетела вверх через деисусы в олтарь».

Дьякон Варсонофей был человек степенный, почти что не пьющий, — разве для прочистки голоса, — и любил порядок; а виданное ли дело, чтобы нетопыри и птицы залетали в алтарь пачкать? Замахал дьякон широкими руками рясы, а не достав, искусился сшибить незваную гостью ораером, сняв таковой с плеча. Но, как уже описано, не убоялась птица пролететь через деисусы — трой-

¹ «Qu'est ce que c'est que ça?» — «Что это такое?» (фр.)

ную икону Спасителя, Богородицы и Предтечи — и скрылась в алтаре.

Не гнаться же за ней почтенному и грузному Варсонофею, большому мастеру по части ловли рыбной, но в птичьей ловитве неискушенному! И все бы ничего бы, если бы не случилось чудного дела, а именно:

«И как начали петь степенную песнь, первой антифон, и в олтари на горном месте сидя, преж почал посвистывать по обычаю, и защокотал, и запел, и пропел трижды, и то пенье мы, архимарит, и наместник, и строитель, и братья, слышали».

А нуте, монахи, сразимся, кто лучше! Ваши ли распевы строгого неизменного чина: знаменный, трестрочный, демественный уставной, мусикийский киевский — или же наш соловьиный восторг без чинов и запретов: и бульк, и клык, и щелк, и дробь, и всяческая стукотня под любую лесную птицу, хочешь — под кукушку, а то под дятла: а желаете — свисток с горошиной или базарная детская дудочка.

Замерли монахи: откуда такое пенье?

Первым усмотрел в алтаре соловья пономарь и возвестил архимандриту, который с братией пошел в алтарь того соловья посмотреть. И видят: сидит малая птица на горном месте, отведенном великому господину патриарху, где и сам архимандрит и наместник не садятся. Когда же ввалились черные монахи с сизыми носами, — убоился певец и начал биться крыльями в окне, ударяясь о зеленое стекло с переплетами. От монашеского духу захотелось ему на волю.

Может быть, и вылетел бы прежней дорогой — через деисусы в выходную дверь собора, но монахи порешили изловить певчую птичку. Один сбегал за лестницей, другой за клеткой. Молодому послушнику, здоровому детине, приказано было ловить соловья руками и скуфьей.

Знающий человек скажет, что так соловья можно только загубить. Даже на воле соловьев ловят с великой осторожностью: плетеным тайничком, запрокидной сеткой, лучше всего — понцами в два полотна или же лучком — сеткой на обруче. Иначе помнешь, и от перепугу соловей лишится голоса.

Пока бегали — соловей бился в окне, как большая бабочка. А когда малый, взобравшись на лестницу, почал цапать его мужицкими лапами, как ловят муху на стекле, — полетели вниз перышки на святой алтарь. Приняв,

зажал в горсть, сунул в скуфью, слез и принес отцу архимандриту.

Отогнув борток скуфьи, отец архимандрит заглянул внутрь,— а за ним вся черная братия, так что и свет за-слонили. Велел всем расступиться, остались только сам архимандрит Филофей, наместник Паисий и строитель Евфимий. И тогда увидали синеву замкнутых век мерт-вой птички, понапрасну загубленной.

И было так обидно, что дьякон Варсонофей, забыв о святости места, набросился на неловкого парня, дал ему согнутым перстом по затылку и сказал напраслину про его мамашу, каковое слово, за общим говором, осталось незамеченным.

* * *

Про смерть соловья разнесли молву малые пташки: ласточки, синички, воробьи, щеглы, чижики. И весть об этом донеслась до великого господина, святейшего Никона патриарха, который проживал в то время в своем любимом Воскресенском монастыре. Тут тоже, по реке Истре, бы-ли хороши леса и соловьев было немало. Их пенье доно-силось до ушей патриарха, когда он засиживался до глу-бокой ночи за книгами и за раздумьями о новокнижном мятеже. В те дни упрямый Никон готовил последний и жестокий удар своим врагам, ревнителям старой веры, двуперстого сложения и сугубой аллилуйи. Но, занимаясь большим делом, Никон, суетный и капризный, никогда не упустил пугаться в пустяках. Узнав про событие в Ивер-ском монастыре,— взволновался и обиделся, что не был своевременно извещен подначальными монахами про то, как в монастырскую соборную церковь влетел соловей, сел на его, великого господина, горном месте, пел дивно, после чего погиб в руках самого архимандрита. Прове-дают про такой случай враги — распустят небывальщину про великого господина!

И пишет с Никонова голоса приказный Евстафий Глу-милов:

«И как к вам сия грамота придет, и вам бы о том деле отписать, не замотчав (не умедля) ни часу обо всем подробну: как тот соловей появился в церкви, и в кое время, и в коем часу, и как было, и на нашем, великого господина, месте тот соловей пел, и сидел на коем месте, и кто преж его осмотрил, и кто его преж отдал тебе ар-химариту, и как ты его принял, и долго ли у тебя он был в руках и пел на какой перевод?»

Смятение и страх в Иверском монастыре — всех больше перепуган дьякон Варсонофей, который махал орарем и дал подзатыльник малому: как бы и о том не проведал великий господин. Была ли та птичка подослана дьяволом, или загублена чья непорочная душа? И как о том проведал сам патриарх? И какое будет теперь его решение? И кому быть в ответе?

За ответную отписку сел сам архимандрит Филофей, советниками ему иеромонах Паисий и строитель Евфимий, а дьякона даже не допускали в келью. Отписано в подробности, как приказывала грамота, а закончено кроткими словами:

«А есть ли б жив был, и мы хотели его послать тебе, великому господину, простотою своею и не писали, что он умер, и послать некого. И о сем у тебя, милостивого отца, прощения просим, что о том соловье простотою своею к тебе, милостивому отцу, не писали».

Отписку послали с нарочным в месяце июне в двадцать третий день. Что будет — ждали со смирением и надеждою, — да так ничего худого и не случилось.

Улетели соловьи в теплые страны, к весне вернулись на знакомые места и к новой зиме опять отлетели. В декабре 1667 года стояло Валдайское озеро сковано льдом, дьякон Варсонофей возился с рыболовною сетью над прорубью, братия подтапливала печи и отстаивала долгие службы, окрестные жители лили бубенцы и колокольчики, по воскресеньям закусывали бубликами.

И только к новому году добежала до монастыря весть, что великий господин патриарх, крамолами честолюбия вельмож и суеверия раскольников, лишен царского доверия и заточен в Ферапонтов монастырь.

И тогда поняли монахи, что недаром прилетал соловей в церковный алтарь и что своим дивным троекратным пением он возвестил победу великого господина на соборе, а вслед за тем — скорое его падение от грубых рук. Потому он и взволновался, узнав о монастырском событии, потому и послал опрос о дне и часе и о том, на какой перевод пел соловей, и подлинно ли сидел на горном, его, великого господина, месте. Узнав же, — почувал свою судьбу и все, как по писанному и по предсказанному, выполнил.

И только дьякон Варсонофей, умом тугим и непросветленным, так и не мог до конца додумать, что было бы, если бы удалось ему тогда вымахать птицу орарем и не допустить ее до полета через деисусы? Может быть, все

пошло бы по-иному, и великий господин пребывал бы по-прежнему в Новом Иерусалиме.

Но так как о дьяконе Варсонофее, ни об его ораре, ни о подзатыльнике, ни о неосторожной его напраслине, ни о многих иных подробностях в документах ничего не имеется, прибавлено же это по усердию писателя сих строк, то и разрешить дьяконовых сомнений мы не можем. И единственно известно, что как прилетали соловьи на Валдайский остров, так прилетают они и ныне, хотя утекло с той поры не только много воды, но немало и крови, колокольчики же и бубенчики в тех краях звякать и звенеть навсегда перестали.

ПРОДЕЛКА ЛУКАВОГО

Нрав лукавого, его различные шуточки и бытовые привычки изучены во многих подробностях. Его любимое занятие — путать человека, водить его за нос, запрятывать мелкие вещицы, сбивать с толку и панталыку, кружить в лесу и на проселочных дорогах (никогда на железной!), подстрекать на предосудительные поступки. От всего этого можно уберечься, не произнося наиболее распространенного имени лукавого, которое начинается на букву «ч» (полностью из предосторожности не пишу). Безопаснее говорить «лукавый» или звать его по имени и отчеству.

Имена у лукавых христианские, конечно, и отчества. Фамилии в их среде не приняты, разве что лукавый давно живет в доме и потому носит фамилию хозяина. Эти жильцы довольно безобидны, питаются мухами и хлебными крошками, якшаются с тараканами и мышами, живут в чуланах, иногда в конюшнях и, если с ними хорошо обращаться, не душат по ночам даже после сытного ужина. Все же рекомендуется, особенно женщинам, чаще закрещивать рот, через который единственно лукавый может проникнуть в брюхо и причинить немало неприятностей, от простого пучения до падучей болезни и кликушества.

Случай, о котором ниже идет речь, не выдуман, а действительно был и достоверен не только показаниями свидетелей, но и документами архива святейшего правительствующего синода (дело номер 296 за 1737 год). Ничего выдающегося или редкостного в этом случае нет — один из многих подобных; но он отлично показывает, как нуж-

но быть осторожными даже в пустяках, памятуя, что лукавый подстерегает каждый наш жест, прислушивается к каждому слову и готов начудить и накрутить при первой возможности. Так было в дни нашего рассказа — в начале осьмнадцатого века, так это остается и посейчас, только несколько иначе проявляется.

* * *

Кстати, как и в наши дни, в те времена часто давали дочерям имя святой Ирины. Потом это вышло из моды, а лет тому назад тридцать опять привилось и распространилось, чем и объясняется, что пожилых Ирин нет, а Ирин возраста цветущего и отроческого, пожалуй, больше, чем Наташ. В редком современном романе не полулежит на кушетке Ирина с выщипанными бровями и не стоит перед нею, скрестив руки, спортивного вида Глеб или Кирилл.

К нашему рассказу это не имеет ни малейшего отношения. Наша девица Ирина не полулежала, а лежмя лежала на лавке и кричала не своим голосом. Перед нею стояла мать, потом прибежала другая женщина из дворовых боярского сына Мещерина, и обе они говорили о том, что во всем виновата Василиса Лушакова, ихняя по дому соседка и приятельница. А происходило это в городе Томске, в далекой Сибири.

Бывали у Ирины припадки и раньше, еще в детском возрасте: теряла сознание, и изо рта шла у нее сначала пена, потом вроде пара; однако к шестнадцати годам как будто все прошло, — и вдруг возобновилось в утроенной силе, как раз вскоре после отъезда хозяина, боярского сына Мещерина, по торговым делам. Припадочность Ирины объяснялась просто. Когда ей было восемь лет, мать ее уходила на работу, а дочку оставляла под присмотром соседки Василисы. Однажды Василиса стирала белье, а Ирина, проголодавшись, стала просить поесть и заревела. Василиса рассердилась, что девчонка мешает работать, выхватила из печи горшок, плеснула в чашку щей, сунула девочке и пробурчала: «На тебе, жадная, хлебай, да проглоти со щами и лукавого!»

И готово! Только этого и ждал лукавый: моментально — в рот Ирины, со щами — в живот, удобно там прилепился и время от времени устраивал неистовства и причинял и Ирине и ее матери огорчения: судороги, крик, пе-

на, пар,— и проходит до следующего раза. Но, как сказано, в последние годы припадки Ирины прекратились, чему нельзя было не порадоваться, так как девушка вошла в возраст и была во всех отношениях здоровой, приятной, веселой и из себя далеко не дурнушкой. Ее мать, Марина Артемьевна, вдова, смотрела за домом Мещерина, Ирина жила при ней и помогала в хозяйстве. Хозяин, человек почтенный, хотя еще молодой, доверял им вполне, а сам был в постоянных разъездах. В последний раз побывл дома месяца два — да и опять в дорогу, наказав Марине Артемьевне держать дом в чистоте и порядке и подарив Ирине новую шубку добрых мехов: нужно же и девушку побаловать. Хозяин был добрый.

Сначала все было ладно, потом начала Ирина о чем-то задумываться, — и, конечно, лукавый ее задумчивостью воспользовался: опять начал свои безобразия. Вообще — нет ничего хуже, как впадать в грусть! Пока человек весел — лукавый ничего с ним не может сделать; стоит распустить нервы — и он тут как тут. Так замечено еще в старые годы, то же самое говорят и нынешние врачи.

Как-то мать увидала, что Ирина озабоченно щупает живот.

— Ты чего? Али нехорошо поела?

— Да нет,— говорит,— ничего. Малость пучит.

Мать советовала ей поесть хлебной тюри с хреном и квасом,— хорошо помогает, а то помазать пупок маслом из лампадки — еще лучше.

А к вечеру у Ирины припадок. Заметалась, закричала, пала на лавку, корчится, пускает слюну. А когда прибежали мать и проживавшая в доме другая женщина, Ирина сначала как бы замерла, а потом заговорила не своим, а грубым мужеским голосом, выходящим как бы из печной трубы или из самого чрева:

— Слушайте все! Я — лукавый, и девка Ирина должна меня скоро родить. А в утробу ей я попал давно вместе со щами по желанию Василисы Лушаковой. И живу я в той утробе восьмой год, а выйду, где хочу и когда пожелаю. И захочу я и пожелаю выйти из Ириной утробы младенцем, и так тому по сему и быть, слово мое крепко!

Прогудел и замолчал, после чего Ирина как бы проснулась, но ничего из происшедшего с нею не помнила.

И с той поры начало это повторяться постоянно: как только девушка задумается — сейчас же и припадок, а к концу припадка тот же голос.

— Слушайте! Я лукавый, скоро меня родит девка Ири-на-а! — гудит из утробы, словно протодьякон.

— А как тебя зовут?

— А меня зо-вут Ива-ном Лексеевым, по фамилии Ме-ще-риным!

Вот тут и подтвердилось, что лукавые любят называться христианским именем и носят иногда фамилию хозяйскую; боярского сына звали Алексеем Ивановым, а лукавого, значит, наоборот.

Так тянулось с месяц, так что мать даже привыкла к мысли, что в один дурной день родит Ирина Ивана Алексеевича, вернее всего — в виде лягушки, которая потом сгинет у всех на глазах.

Но, как увидим дальше, в дело вступились гражданские и духовные власти, и девка Ирина родила преждевременно, притом не лягушку, а курицу.

* * *

Чесали бабы язык, а ветер разносил. От своей бабы узнал протоколист Соколов, а при случае сообщил приятелю своему, тобольскому протоколисту Крылову.

Тобольский Сибирский приказ отписал о происшествии Московской сенатской конторе: в городе де Томске бесовское наваждение: залез лукавый девке во чрево.

Московская сенатская контора запросила тобольского губернатора: как так ничего нам неизвестно? Немедленно забрать и доставить в Тобольск девку Ирину Артемьеву и всех по делу свидетелей.

Всполошились власти гражданские, власти духовные, власти местные и губернские, и сенат, и синод, и канцелярия тайных розыскных дел.

Ведут девку Ирину этапами из Томска в Тобольск; приставлен к ней отдельный пеший казак Перевозчиков. Бредет девушка запугана, идти ей не вмоготу. Ночью остановились в Рождественском девичьем монастыре; Ирину заперли в келье, казак улегся у дверей: кабы не сбежала с лукавым во чрево!

Едва успел казак заснуть — как будит его громкий голос в Ириной келье, и не женский, а мужской, грубый, как бы из трубы выходящий:

— Эй, казак Перевозчиков! Явись пред мои очи!

Казак вскочил, отворил дверь — никого в келье нет, кроме пересыльной девки, и голос — ее голос, хоть и

сыплет на его голову последние ругательства и сквернословья:

— Что же ты не смотришь, такой и разэдакий! Тебе велено сторожить, а под окнами народ, и все сюда рвутся. Бери свой фўзей и защищай!

Казак выбежал на улицу — и там никого. Доложил матери игуменье. Пришла мать игуменья, а Ирина катается по лавке:

— Ой, лихо мне! Прости меня, мати!

А потом опять мужским голосом:

— Отворите двери, пустите меня выйти!

— Куда тебе идти?

— Иду в воду навсегда и навечно!

Мать игуменья была мудрая — догадалась:

— Оставьте, — говорит, — меня с сею несчастной, да пусть еще одна келейница останется, да принесите теплой водицы. Да чтобы нечистому открыть свободный проход к озеру — не стойте на дороге, скройтесь за угол.

А девка уже кричит:

— Ой, лихо мне, лихо, сейчас бес выйдет!

И подлинно — вышел из нее лукавый, сначала пеной, потом паром, а потом будто бы мокрой курицей. Так написано в документах, свидетелей же, кроме игуменьи с келейницей, не было, а этим тайну разглашать никак нельзя. Около часу плескалась в ведерке с теплой водицей, потом, крыльями махая невидимо, клохча неслышно, улетела на озеро и там сгинула навсегда.

А когда пустили в келью казака и народ, лежала девка Ирина на лавке как бы преображенная, и живот у нее, нечистым вздутый, внезапно опал.

Два дня оставили ее полежать в мире, на третий повели дальше в город Тобольск.

Следствие по делу о дьявольском наваждении велось долго. Приказано было «розыскивать усердно, стараясь, однако, чтобы от оных розысков кто-нибудь не помер, что-бы важное дело не могло скрыться».

И был поставлен вопрос розыскателям: «Узнать точно, откуда выходит голос, чрез отверстие ли уста, или же чрез утробу пронизательно?»

Но узнать было невозможно, потому что мужеский голос перестал выходить из Ирины, что и понятно, когда лукавый уже вышел и утоп в озере монастырском мокрой курицей! И по допросе всех было отписано в канцелярию тайных розыскных дел: «Имеется ли и поныне в указан-

ной утробе дьявольское наваждение, того познать невозможно, поелику о себе не сказывается».

Этим канцелярия, однако, не убедилась. Было приказано допросить девуку с пристрастием накрепко, кто научил ее на такое вымышленное дело и какую хотела от того иметь выгоду? Буте же станет и в застенке таковое утверждать, то, подняв на дыбы, бить розгами за несовершеннолетием.

А чтобы дело было ясно, допросили в застенке с пристрастием также и мать Ирины, и соседку Василису Лушакову, и прочих свидетелей, да кстати доставили в Тобольск и боярского сына Мещерина, фамилией которого называл себя лукавый.

И хотя всякому человеку ясно, что лукавый подлинно квартировал во чреве девки Ирины, оттуда разговаривал и ругался и вышел оттуда же во образе курицы, однако, сама Ирина, после первой дыбы, муки той не вынеся, заявила, что ничего такого не было, никто ее не научал, а притворялась она по девичьей глупости и озорству. И то же самое подтвердила на второй дыбе, когда опять привели ее в застенок из больницы, от первой дыбы малость отдохнувши.

Надо полагать, что тем дело и кончилось — больше не осталось о нем никаких документов в архиве святейшего синода. Что девушка отреклась от чистой видимости — никто ее, замученную, в том не осудит. И на большое ее счастье случилась в дороге добрая игуменья, знавшая, как управиться с шутками лукавого и прогнавшая его на дно озера!

Такой был случай в старину, когда настоящих докторов еще не было и девушек, захворавших от дурного глаза или неосторожного слова, лечить не умели. А лукавый, как был, так и ныне шутит свои шуточки, забираясь куда не следует через незакрещенный трижды рот.

ШАХМАТНЫЙ БОЛВАН

По набросанному нами плану рассказ должен был начинаться описанием сражения, в котором тяжело ранен поляк Воронский; но сочинитель рассказа никогда не участвовал в сражениях и не знает, как это делается. Есть много описаний в современных книгах, можно бы заимствовать из них что-нибудь подходящее, если бы не боязнь сделать

грубую ошибку. Напишешь, например: «Вокруг со страшным грохотом рвались снаряды», — и окажется, что в эпоху первого раздела Польши, к каковой эпохе наш рассказ относится, никакие снаряды не рвались, а просто летели по воздуху чугунными шариками и падали неподалеку. Одним таким ядром не могло оторвать Воронскому сразу две ноги и руку, почему я и предполагаю, что он был ранен как-нибудь иначе. По имеющимся весьма смутным историческим сведениям, левая рука и обе ноги были ампутированы хирургом в больнице, кажется, в Варшаве. Молодой патриот был ранен в уличной схватке, успел укрыться и избежать смерти, но на всю жизнь остался калекой, после чего будто бы «покаялся не показываться людям в своем натуральном виде».

Вот и все о Воронском. От себя прибавим, что это был очень умный, сильный духом и образованный человек маленького роста и что вряд ли после несчастья родины и несчастья личного он мог любить людей. После страшной операции он пролежал полтора года и только потому не лишился рассудка от своих невеселых дум, что играл сам с собой в шахматы.

Не все знают, что шахматы с незапамятных времен были излюбленной игрой не только в Западной Европе, но и в России; и в России, пожалуй, больше, чем в Европе. Раньше, чем появились карты, русские дни и ночи проводили за шахматами и шашками, да еще играли в зернь, игру очень азартную. Иван Грозный умер за шахматной доской — смерть легкая и отличная. Хорошо играл Петр Великий и плоховато Екатерина Вторая. Сейчас шахматы объявлены игрой пролетарской и стали чуть ли не обязательной наукой. Известно также, что на современных международных турнирах кто бы ни победил — все равно он оказывается русским, и с этим решительно ничего не поделаешь.

Понятно поэтому, какой огромный интерес пробудило в России появление в дни Екатерины болвана, механической куклы, которая всех обыгрывала в шахматы. Впервые автомат появился на народном гулянье и сражался с простыми людьми, затем он попал в барские дома, и наконец проник и во дворцы. Пощады не давал никому, а бились с ним игроки хорошие и в своих силах уверенные. Конечно, гроссмейстеров в то время еще не было, как и вообще профессионалов, кроме базарных жуликов. Не было еще и книг с анализами начал и концов, звание кото-

рых превращает прекрасную игру в скучную науку и вызывает зевоту до пятнадцатого хода, после которого объявляется ничья. Но так как наш рассказ пишется не для шахматистов, а для среднего незатейливого читателя, то в технические подробности вдаваться не будем, а прямо перейдем к приключениям шахматного болвана в городе Санкт-Петербурге.

* * *

— Почтеннейший публикум! Сей пленный турок-мусульман, прозванием Осман, не будучи живой, но с отменной головой! Играет в шахматы и шашки, никому не дает поблажки. Старцы и молодцы, приказные и купцы, православной веры бояре и кавалеры, подходите ближе, кланяйтесь ниже! Кто с ним сыграет, того он и обыграет!

На базаре уже знают турецкого болвана и его владельца, наряженного мудрецом, в остроконечной шляпе со звездами. В окружившей его толпе два-три купца, страстные игроки, готовятся к бою и поглаживают бороды. По шахматной части игроков немного, больше в шашки.

— Почему игра?

— Ставь по желанью, а за выигрыш плачу десять раз.

— Какой воровской прелести нет ли?

Маг и волшебник засучивает широкие рукава, задирает турку балахон на голову, обнажает его железный остов с гвоздиками, колесиками и пружинками. Кукла сляпана довольно грубо, ноги просто привешены на двойных крючках и легко снимаются; сделаны они из лакированного дерева и расписаны красками: чулки, сапоги, на сапогах красные каблуки. Для убедительности базарный фокусник выкручивает болвану и левую руку, а в заключение берет за уши турецкую головку и свертывает ее лицом к спине.

— Голова пуста, мозгу хватит на бывалого.

Находятся охотники. Из ящика, к которому приделана кукла, вынимается тавлея и коробка с дамками или с фигурами. Ставится перед туркой на ящик. Под правую руку подкладывается подушечка. Огромным ключом с треском заводится пружина в боку турка.

Начинается игра. Первый ход уступается добровольцу. Едва ход сделан, турок медленно подымает руку над шашечницей, цапает фигуру скрюченными железными пальцами и ставит на место. Внутри куклы слышно поскрипы-

вание. Сделав ход, рука прежним деревянным движением ложится на подушку.

Никакой искусный игрок не может обыграть турка. Бывали такие, которые хотели в неудаче сжульничать: фукнуть туркову пешку или двинуть свою рукавом. В таких случаях, к восторгу толпы, турок медленно, с железным скрипом, повертывал голову единожды вправо и влево, и фокусник, наблюдавший за игрой со стороны, куклы не касаясь, говорил:

— Не по чести играете, купец!

За турка вступалась и публика — и он неизменно побеждал. Играл чинно, никогда не задумываясь, одинаково в поддавки, в крепкую и в шахматы, при том и в простую ферезь, и во всяческую, когда эта ферезь, или царица, ходить может за всякую фигуру, в том числе и за скакуна. Игра была строгая, и раньше игры хозяин уславливался о правилах: «За шашку — так и за место», то есть тронута — сыграна; «Через шах не запирайся» — нельзя рокироваться под шахом. Самый шах кукла объявляла двойным наклоном головы — если шах царю, и простым — царице, которую называли также ферезью, кралей и фрэй.

Слава турка росла и с базаров перекадилась в барские дома. Сюда хозяин привозил свою куклу на расписной повозке в сундуке. Выгружал со слугами осторожно, оберегая сложный механизм, а в покоях вынимал турка из сундука по частям: сначала железный остов с одной рукой, потом руку и ноги. Аккуратненько составлял, свинчивал, мазал где надо маслом, подкреплял винтики, заводил пружину.

Продать своего искусного истукана ни по чем не соглашался, хотя давали ему большие деньги. И даже когда сама императрица, прослышав о столь замечательном автомате, приказала доставить его во дворец, сыграла с ним в шахматы, проиграла и пожелала того автомата купить, — хозяин его отказался, сказав, что продать ту куклу он не может, потому что без него она действовать не будет:

— Не обману великую монархиню. Мы с сим турком, что он — то я, оба вместе, друг без друга не существенны. Сия механика особая, и передать ее никому не могу, за что и прошу униженно не прогневаться.

Екатерина не настаивала и щедро наградила фокусника, который ничего от своего упорства не потерял, так как стали его теперь приглашать во все богатые дома и платили весьма щедро.

Великим шахматным искусником считал себя в то время знатный барин и многих орденов кавалер князь Г., вельможа великодушный, живший пышно и проживавший третье обширное поместье, пожалованное ему императрицей. Прослышал и он про шахматного автомата и пожелал с ним сразиться. Созвал гостей, со многими побился об заклад, потому что не было еще такого игрока, который мог бы супротив него выиграть. Чтобы машина играла лучше человека — тому поверить трудно. Той машиной как-нибудь управляет сам фокусник — человек, и значит, победить его возможно.

— Меня, брат, на кривой не объедешь! Твое имя как?

— Зовусь Кемпеленом, ваша светлость.

— Видно, и ты басурман, как и твой турок. Согласен ли играть три игры? Проиграю — плачу за каждую тысячу золотом, а выиграю из трех одну — отдашь мне твою машину.

— Машины отдать не могу, ваше сиятельство, не обидьте бедного человека. А только выиграть у моего турка невозможно.

— Лучше соглашайся, все равно отсюда не выпущу, доберусь до твоей хитрости. Плачу за проигрыш две тысячи. А проиграешь — пеняй на себя.

Шахматы фокусник расставил видимо без большой охоты. Долго подвинчивал винтики, постукивал пальцем по железной турецкой голове, заводил пружину в боку. Князь наблюдал за ним внимательно; не спускало глаз с фокусника и княжеское окружение. Как началась игра, велели ему отсесть от куклы подале.

Князь повел пешку, турок ответил. Князь другую — турок свою. Князь вывел скакуна — турок слона. Игра завязалась. Играли долго и упорно, и каждую хитрость князя турок отводил ловким ходом. Вывели каждый по пушке, забегала по доске ферезь, и когда князь, долго продумав ход, объявил шах, — турок, не медля, поднял руку, подставил под удар свою ферезь, взял за нее три фигуры и дважды наклонил голову: шах князеву царю! Князь отступил — турок наступил; князь прикрылся — турок наскочил простой пешкой, провел ее в доведи, на последнюю линию, прижал князя на смерть — и игре конец.

Ахнули все, а князь от натуги и смущения развязал тесемки на животе:

— Чистое наважденье! Это зря я дал ему обменять

фerezь. Не обменяй — была бы ему крышка на третьем ходе. А ну, давай еще!

Снова заведена пружина. Уже не смотрит на фокусника — смотрит только на турка, как на живого. Будь тут даже жульничество — невиданное дело, чтобы князь, записной игрок, мог проиграть шарлатану!

Подали вина. Князь выпил, турок не шевельнулся.

— Может, он у тебя и пить знает?

— Запрещается по турецкому закону, ваше сиятельство!

— А ну, пускай теперь он начинает.

Турок поднял руку с подушки и начал пешкой. Каждый ход князь обдумывал подолгу — турок подымал и опускал руку ровно и без задержки. К середине игры князь потерял пешку за слона, да раньше проиграл две пешки. Жилы на его лбу надулись, ерзал на кресле, набивал нос табаком, пил стакан за стаканом. Сделав ловкий ход, отбил целую фигуру, прибодрился, стал наступать на правом крыле — да позабыл прикрыть левое. Когда заметил, было уже поздно: турок продвинул две сцепленные пешки, пришлось бросить атаку и защищаться с жертвами. Однако защита удалась, и как будто игра выправилась, даже вышла к пользе князя, но как раз в этом месте сделал турок совсем неожиданный ход, до того неладный, что князь даже и думать долго не стал: двойным шахом цапнул туркову пушку, приобрел силу — и попал в ловушку: через два хода — нет царю никакого спасенья!

Стукнул кулаком по столу, так что подпрыгнула тавлея и фигуры повалились на пол. И хотя был человеком просвещенным и царедворцем, — пустил крепкое слово и, не сдержавшись, кинул в турецкую голову своей драгоценной табакеркой, — очень уже разгорячился князь.

И вот тут случилась неожиданность. С места не двигаясь, турок мотнул головой и чихнул. Сначала чихнул негромко и подавленно, потом сильнее, потом еще — со свистом и подвизгиванием. И хотя бросился к нему фокусник и начал вытирать голову, опыленную табаком, — турок продолжал чихать неистово и безудержно.

Спервоначально князь и его гости остолбенели: что машина может играть — удивительно, но чтобы она чихала — совсем необыкновенно. Но по растерянному лицу фокусника было видно, что такого механизма, чтобы турок чихал, он не устраивал. И первым наскочил на него проигравший князь:

— Эге, молодчик, да у тебя тут живое спрятано?

Может быть, фокусник и сумел бы убедить князя, что так уж устроена машина, что может и чихать,— но вдобавок ко всему из глубины его машины раздался умоляющий голос:

— Сними голову, дурак! Глаза мне выело!

Под полой железной головой оказалась другая, живая, со слезящимися от табаку глазами, гладко стриженными волосами, потная и нездорового вида.

И когда наскоро, под общий хохот, обмыли глаза вином и обтерли мокрое лицо, голова сказала, притом на отличном французском языке:

— А все-таки, ваше сиятельство, вы проиграли. Играете вы хорошо, да больно увлекаетесь, атакуете, позиций не защитивши. Разрешите, князь, стопку вина благородному инвалиду!

Французский язык победил — и ни турка, ни его слугу Кемпелена не побили. Напротив, князь по-честному расплатился со шляхтичем Воронским, изобретателем замечательной машины, одного не обещав: сохранить его тайну. Вместо этого предложил ему остаться у него жить и, играя с ним, обучать его великому искусству, в котором тот не знал соперников.

НАСТИНЬКИНА МАЕТА

Для молодой барыни со щипаной бровью и красными поганочками на ногтях — всякого романа занятнее должен быть модный журнал. Ну, а мы, козлиная порода, смотрим — не понимаем, в чем интерес: облизанные полудевы в изгибе, точно если стекольщик скатал промежду ладоней замазку, на головах шляпки-бляшки, на дощатом животе пуговица, прочие принадлежности срезаны перочинным ножиком, и материи на копейку. Смотреть нечего: то ли бальное, то ли постельная рубашка!

Ах, не так рядились в старину! Погасла радуга и увял сад цветущий! Было раздолье для выдумки, и праздничная толпа, что на бале, что на улице, играла огнями красок и радовала прихотливый глаз. Даже и на нашей памяти были, например, шляпки, подобные осеннему возу зрелых овощей и фруктов или заморскому попугайному курятнику. А плечи с буфами-фуфырами, а истово подбитый подушками круп, столь прекрасно тончивший та-

лию, а стoverстый шлейф, собиратель блох и окурков, а высокий корсет, стальная чаша для живого мрамора! Какие мамы и какие девушки, и сколько было на них шкур и таинственной шелухи: не нынешний вылущенный боб, а подлинный артишок, отрада гастронома!

Но если по-серьезному говорить об искусстве наряда, то нужно отдалиться ко временам мудрой императрицы Екатерины Великой, матери отечества, когда и мужчина недалеко отставал от женщины, соперничая яркостью камзола с дамской робой. От тех времен остались нам в поучение и модные журналы, и записи благодарных воспоминаний.

* * *

Графинюшка Настинька вышла в невесты. Лет ей шестнадцать, глаза лучисты, личико худовато от частых балов да от Клуба и Воксала, костяк хрупкой, но юность говорит за себя, а приданое — две тысячи душ и столько сундуков, сколько наберется добра до свадьбы. Этим делом она сейчас и занята, под руководством тетеньки Параскевы Михайловны, женщины и основательной, и бывалой, выдавшей и Париж, и Версаль, сподобившейся причесываться у великого придворного версальского волосочеса Леонара. Граф-батюшка отвалил достойной сестре на расходы по покупке дочери приданого такую кучу денег, что только Параскева Михайловна и способна глазом не моргнув истратить все и еще попросить. Теперь все московские модистки завалены работой, и жизнь Настиньки стала трудовой и беспокойной: с утра до вечера покупки, примерки, заботы, огорчения, некогда и с женихом повидаться.

Вставать приходится рано, в десятом часу, и с утра одеваться хоть и просто, а по-модному, потому что у больших модисток встречается целое общество щеголих, бывают и мужчины, а в Гостином ряду настоящее гулянье. Дома причесывает простая босая девка Глашка, и перечесываться приходится в заведении у Бергуана, который по утрам на дом не приходит, а торгует помадой для плешивых, нитяными париками, салом и пудрой, накладками для дамских головок, гулявной водой, амбровыми яблоками, лоделеваном, лодеколоном и всякими притираньями и румянами: кошенилью, огуречным молоком, отваром усопа, зорной и мятной водой. Есть у него и пудермантели, и щипцы, и ложные букли, и расписные веера, и пре-

забавные мушки, от мелкой в соринку — до большой в монету, а вырезные — лисичкой, петушком, жучком, даже каретой цугом и с гайдуками, чтобы налеплять их на щечку (согласна!), под носом (разлука!), у правого глаза (тиран!), на подбородок (люблю, да не вижу!). Много всяких значений — и все их знает модный волосочес.

Чтобы ехать к нему, Настинька, в сопровождении пожилой мамки, сначала заезжает за тетенькой, а дальше уже в ее карете. Приходится думать о том, чтобы не замарать в великой московской грязи красный каблучок башмаков; для этого с крыльца на дощатый тротуар и до самой каретной подножки девка Глашка настиляет половик, а Дунька смотрит, подобрана ли роба, не волочится ли хвост. Батюшкина карета проста, без золота и без форейторов; у тетеньки выезд расписной, на дверцах изображены пасторали, стекла граненые, ободки с золотом, позади гайдук на высоком сиденье, впереди едет выносной с ременным кнутом.

Когда едешь с тетенькой Параскевой Михайловной, особенно на бал, люди смотрят с удивлением и завистью. Тетенька сидит неподвижно, нагнувшись, чтобы не смять о крышу свою высокую прическу в виде висячего сада а ля-Семирамид. Тетенька любит вышитые робы с глазетовой юбкой и русскими рукавчиками позади, а фижмы так велики, что и Настиньку прикрывают и высовываются в отверстие каретное окно. С фижмами в карете вдвоем, конечно, не уместиться, но Настинькино девичье платье всегда проще: летом — сюртучок из тарлатана, зимой к нему — бархатная шуба с золотыми петлицами и ангорской муфтой длинной шерсти. Причесываться в последнее время ей как молодой тетенька указала с пострижкой шейного волоса, как для гильотины, — очень модно и заведено французскими беглыми аристократами.

Лошади месят грязь через пол-Москвы, и только к полудню удастся добраться до знаменитой модистки мамзель Виль, которая, как завидит богатых заказчиц, — бросает всех и пренесенно лебезит. И вот тут поистине разбегаются глаза и разум темнеет. Время такое, что от тяжелых роб стали переходить к платьям легким и воздушным. Конечно, женщина в годах, как тетенька, хоть и великая модница, не оденется Дианой, Галатеей или весталкой, но все же и ей наскучили польские и немецкие фалбалы и палатины, и она завела себе, на случаи менее парадные, де-буффант волосяной материи вместо обычных фижм.

Однако при парадном приеме Параскева Михайловна выплывает всегда в круглом молдаване с хвостом из бархата, штофа, атласа, либо люстрина, гродетюра, гроденапля. На малый выезд, в Клуб и Воксал — скюрточок с фракком, воротничок узенький и высокий, вроде туркеза, рукавички расшнурованы цветными ленточками, лацканы на пуговках, юпка из линобатиста, а шляпа непременно колоколом. Все эти наряды шьет себе теперь и Настинька, потому что не во всяком доме появишься, как смелые щеголихи, Авророй и Омфалой, в тонкой шелковой рубашке хитоном, с сандалями на ногах и прической а ля Титюс! Да этого и папенька не позволят, пока не стала мужней женой и от семьи отрезанным ломтем.

В мастерской мамзель Виль глаза разбегаются еще больше, чем в самых лучших модных лавках «О тампль де гу»¹ и «Мюзее де нувоте»². Самое замечательное у нее — готовые на все вкусы шельмовки, шубки без рукавов, из всякого цвета и всякой добротности материй, и глазетовая, и аглинского сукна, и стриженного меха, и с вышивкой, и с кружевом, и с лентами, и с красной оторочкой. На шельмовках вся Москва помешалась! А как начнет мамзель Виль показывать распашные кур-форме, да фурро-форме, да подкольные кафтанчики, да чепцы всех сортов, величин и форм, всех цветов и материй, да рожки, да сороки, да а ля греки, да «королевино вставанье», да башмачки-стерлядки или же улисточкой, — нет сил оторвать глаза, и хочется забрать все и целый день примеривать дома. В платье, ей заказанное, мамзель Виль советует непременно вставить для пышности проклеенное полотно, прозванное лякриард, потому что оно не только держит материю несмятой, а и само шумит и привлекает всеобщее внимание. Сейчас без этого лякриарда хоть и в общество не показывайся, никто замечать не станет; а вот на балах — не годится, очень размокает, если вспотеешь в модном танце — вальсоне.

От мамзель Виль приходится ехать к другой знаменитой модистке, к мадам Кампиони, которой заказано платье самое поразительное, последний парижский крик, хотя по виду простенькое неглиже. Вы представьте себе белый с пунцовым карако а ля пейзаж: коротенький пиеро из белого лино а жур, без подкладки, с маленькими

¹ «Au temple de goût» — «В храме вкуса» (фр.).

² «Musée de nouveauté» — «Музей новинок» (фр.).

клиньями и белыми флеровыми рукавами, и все сие обшито пунцовою лентою; юбка такая же, как пиеро, конечно, без фижм, но на бедрах с пышностью; на шее белый флеровый, пышной, однако, полуоткрытой платок, как бы говорящий: «Скрываю прелесть, но не жесток»; чепец белого лино гоффри с маленькими круглыми складками, убранный пунцовою ж лентою, к платью подобранный в полном совершенстве; всенепременно носить при этом большие круглые золотые подвески. Говорят, что в Париже стало недостаточно золота, потому что все щеголихи носят его на себе в виде блонд, ожерелий с большими сердцами, серег, бахромы, колец и обручей, даже и на ногах. Но приятнейшее в сём модном неглиже — это пунцовые башмачки, при ходьбе и в танце мелькающие огоньками и обжигающие и глаз, и чувствительное сердце. Помилуй, сколь желаннее цвет пунцовый, нежели желтый с черным а ля контрреволюция, который тщились ввести французы, однако, у нас не понравился! Нужно прибавить, что нелиже а ля пейзан требует особой прически а ля кавальер, с весьма толстым шиньоном и мужескими локонами.

От модисток Настинька с тетенькой спешат домой, где ждут купцы с бельевыми тканями: все белье шьется дома, но из холстов покупных, а свои, деревенские, идут только на дворовых. Опытные девки с утра до ночи кроят и шьют для Настинькиного приданого епанчи, исподницы, камзолы спальные, юпки и юпочки, платки на покрыванье, наволочки на одну и на две особы, на оконштные подушки, на стулья и канапеи, да занавесы постельные и подъемные. Тетенька сама выдает нитки и иголки, кричит на девок, наказывает за плохой шов. И не только о белье думает, а во все входит самолично: аптекарю приказала доставить всяких трав и снадобий, необходимых для домашних притираний: и травы нюфаровой, и воды бобовой, и лимонного соку, и дикой цикории, и уксусу, и козьего сала, и лаудану, и росного ладана, мужжавельных ягод, фиольного корню, гумми бенжуанской и даже тертого хрусталу.

А назавтра с утра ехать смотреть мебели, иногда даже с папенькой, который по этой части сам большой любитель и знаток: сразу отличит, которая мебель по модели Давида, которая работы Жакобовой, а которая русских мастеров — Воронихина, Шибанова, Тропинина. Все же приятнее бывать с папенькой на гулянье, где все

ему кланяются, он же первым кланяется только большим вельможам и старым господам. И сколь парадна и пышна московская знать! Сколь ненаглядно одета бывает приезжая из Санкт-Петербурга графиня Разумовская, та самая, которая прославилась убранством головы: ей великий Леонар, из Версаля бежавший, сделал прическу из красных бархатных штанов, случайно на глаза попавших,— и все щеголихи на придворном бале позеленели от зависти! Из мужчин первый щеголь — старик Нарышкин, знаменитый своим кафтаном: весь кафтан шит серебром, а на спине вышито целое дерево, и ветки, сучки, листья веселым блеском разбегаются по плечам и рукавам. Пожилые мужчины во французских кафтанах, в белом жабо, в чулках и башмаках, в париках пудренных. Князь Лобанов-Ростовский каждый день с новой тростью — у него их не меньше сотни, иные с драгоценными камнями, и, в отличие от других, князь носит бархатные сапоги. Молодежь одета по-модному и в своих волосах, иные выходят на гулянье во фраках с узкими фалдами, в жилетах розового атласа, в огромных галстуках, закрывающих подбородок, четырежды обмотанных вокруг шеи, в широких сапогах с кистями. Но на молодых людей девушке заглядываться не пристало.

День за днем — суета и маета, отдохнуть некогда. До свадьбы еще далеко, девичье личико бледнеет, и рада Настинька, когда вечером, ежели тетенька не везет на бал, с облегчением снимает с худенького тела ужасного тирана корпа, железными тисками сковывающего ей бока и грудь; зато талия у нее совсем в рюмочку — зависть подруг. И кажется: вот проходи еще час-два в мучительном корсете — сердечко станет, дыханье прекратится, и случится, как бывает с тетенькой, столь модный ныне обморок коловратности...

КОНЕЦ ВАНЬКИ-КАИНА

Характер, склонности, нравственное лицо русского человека непременно свидетельствуют о том, какая река в детстве омывала его тело. Некоторых омывал только водопровод,— не будем говорить об этих несчастных, детях свинцовой трубы и медного крана; все же огромное большинство родилось и жило при такой-то речушке, речке или реке. Мы говорим здесь лишь о себе, не желая впу-

тывать иностранцев; дело в том, что в одной только дельте нашей реки Лены в пору разлива с удобством тонет любое европейское государство, обычно без остатка, и только от некоторых остаются рожки и ножки. Так что разговор о реке — наше дело семейное.

Спор рек не менее оживлен и значителен, чем спор горных вершин. Нева, злобедная коротышка, пыталась в свое время оспаривать преимущества красоты и сладости у худенькой и длинной Москва-реки. «Волга впадает в Каспийское море» только потому, что украла это право у Камы, в которую она в действительности впадает и с которой не может сравниться ни глубиной, ни чистой водой, ни мощностью. Споры давние, любопытные. Пером князя М. М. Щербатова было написано «Прошение Москвы о забвении ее»:

«Шумящие струи реки моей не имеют ни пространства, ни чистоты Невских вод, а паче, быв без призрения, ежедневно чистоту свою теряют, но, однако, показывают по живущей в ней нежной рыбе, чтобы они более чистоты могли иметь, и конечно, не отягчают жителей такими болезнями, которые Невские воды производят...»

Волга, украв у Камы тысячу семьсот верст и написав на них свое имя, сумела это имя прославить — тем оправдана. А прославила себя Волга разбойниками и ворами, народными любимцами и героями. Среди них не последним был Иван Осипович, по прозвищу Ванька-Каин.

* * *

Жизнь Ваньки-Каина, славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика, описана им самим при Балтийском порте в 1764 году. Мы ее пересказывать не будем, предполагая, что мало-мальски образованному русскому человеку она должна быть известна: о ней писали историки и любители русского языка. Не верится, конечно, чтобы Ванька-Каин сам написал свою автобиографию; вернее — записана она с его слов грамотным человеком. Кратко: был Ванька московским вором, речным разбойником, предал своих, стал сыщиком и, — как водится во всех гепеу всего мира, — соблюдал свои интересы, страшал, мошенничал и грабил сверх меры. Кончил рваными ноздрями и каторгой.

Такая биография не вполне совпадала с требованиями, предъявляемыми народному герою. Разбойники у нас в

почете, предатели в хуле. Нужно было Ваньке-Каину искупить свое бесчестие,— и в том ему помогла созданная приволжскими деревнями легенда, следы которой остались в воспоминаниях детства одной большой помещицы и барыни.

Ванька-Каин в великой чести у начальства, богат, пьян, неприкосновенен, изловил всех воров, ворует сам и за хорошую мзду возвращает краденое, в трепете держит московских купцов, играет в любовь с их женами, знает все, грабит всех — настоящий начальник столичной полиции. И задумал Ванька последнее дело: уничтожил он воров московских, теперь изловит и всех разбойников дорожных, лесных и речных, от Москвы и до Казани, с которыми сам хаживал и грабил еще в недавние годы.

На такие подвиги сыщик отважился один, без шайки преданных ему головорезов, его полицейских помощников. Один отправился и на Волгу — разыскать бывших товарищей, обойти их кругом, обмануть, заманить в западню и выдать головой всех до единого.

Крадучись и не сказываясь, не забегая и не отставая, последуем и мы за Ванькой-Каином Москва-рекой в Оку, Окой до Нижнего, Волгой на Казань, где лодкой, где плотом, где топким берегом и дремучими лесами.

* * *

Ваньке-Каину, знаменитому разбойнику, бьет челом русская река!

Перед зарей она в молочном тумане. От тумана спит по берегу не только намокшая стрекоза, но и хищная сова; ночной волк бродит подальше, медведь держится берлоги, заяц и не дышит. В реке спит рыба, кроме леща и подлещика, любителей темной воды: в камышах и у крутого бережка они высовывают тупые носы, чмокают воздух, кувыркаются — и камушком на дно.

Вспомни, Ваня, как гулял с кистенем-гостинцем по большой проезжей дороге, выжидал купца и барина, а то и денежного приказчика,— было бы чем поживиться. Не предательство, не опора на начальство, а честный разбойничий труд, своя воля щадить и казнить, богача пощипать, бедного и помиловать, и наградить. Заходили и в богатую деревню, чинно, важно, без ругани и обид. Мужички охотно откупались подарками, собрав всем миром сколько можно денег,— да чтобы подносить с почетом:

хлеб-соль да шитое шелком и золотом полотенце атаману, молодцам ручки и ширинки попроще. Рязанский мужик здоров и работающ, разорять его не надо, кормиться около можно, ему это даже на пользу. А на случай — была крестьянину в разбойнике защита против помещика, и было беглому с какими друзьями спастись. Конокрад — злодей, поджигатель — изверг, а придорожный и лесной разбойник в преступниках не числится: знатный вор и лихой молодец; не злоба к нему, а зависть.

Делали порой набеги и на поместья, и тут ни людей, ни добра не щадили. В ряду подвигов бывали и неудачи — все равно вспоминать приятно. В Спасском уезде Казанской губернии, в селе Танкеевке проживала в то время бодрая старуха, смелая вдова Блудова, Катерина Ермолаевна. Откуда проведала, что идет на нее Ванька-Кайн с ребятами, — так и не допытались. Живо согнала мужичье, окопала ров, выдвинула две пушчонки, забила порохом, дворовым раздала вилы-топоры, сама с палкой — за командира. И вышла плохая потеха для Ваньки со товарищи! Ждали поклона и бабьего визга, считали за верное богатую поживу, подошли не особо крадучись на самой заре. И тут пустила старушонка в самую разбойничью гущу свинца и щебня, многих покалечив и послав спать навечно. Против пушки никакой кистень не выдержит, и бежал тогда Ванька-атаман со всеми товарищи, земли не чувствуя, только бы ноги унести. Далеко за деревней собравшись, — десятка своих недосчитались. И мстить не стали — ушли из тех мест, вспоминая о старухе с почтением и как бы с любовью, потому что храбрость разбойники и в другом уважают.

Вспомни, Ваня, на великой реке расшиву с золоченой кормой, коврами устланную, отнятую у купеческого сына. Сам как бы именитым купцом разлегся атаман Ванька и рядом девица в парчовом шушуне с длинной лентой в длинной косе. Девка была дрянь и распутница, из себя курноса, на ощупь жирна до чрезвычайности. Но для красоты картины произведена в царицы и важничала за первый сорт. Паруса на расшиве подвязаны, идет на веслах; атаману с девицей место на казенке, другим молодцам на носу, а снят в косновской мурье. Расшита расшива на двенадцать весел, кочетки и оключины смазаны дегтем без скупости, оттого и на ходу легка. Главное дело — порядок; косные бурлаки на своих местах, один ходит кашеваром, всем потрафляет.

И было как-то на Оке, обогнали посудину-тихвинку, которая прятала корму. Сложив ладони трубой, приказал Ванька посудине остановиться: чьих хозяев, да чего везете? Подтянулись, сошли на борт, хотели вязать ребят, но те угрюмо заявили:

— Не можно нас трогать, у нас лоцман под бревном!

Лоцман у них помер дорогой. А так как добрый лоцман честью должен довести судно до места, то, по обычаю, привязывают его тело в воде под бревно к рулю и так волокут, держа дело в тайне. И Ванька, и все молодцы поскидали шапки, покрестились двуперсто и отошли с миром. Был таков закон на великих реках — и оставался всегда, пока люди Бога не забыли.

Тихим вечером дух на реке сладок, ранней весной цветет черемуха, за ней сирень, а летом липовый цвет схватит и не отпускает, пока не станешь пьян без вина. А то налетят белыми тучами метлички, поденки-обыденки, которым жизнь только и есть, что один день и тот для любви, а пищи не принимают; с последними лучами солнца падают на воду и всю ее устилают белым покровом, малой рыбке на потеху и обжорство. И тогда начнут заливаться соловьи трелью, свистом и стукотней на все переводы, и кажется атаману, что подле него настоящая заморская царевна и что сам он не разбойник, а мудрый своего княжества правитель.

Вспомни, Ваня, и малые речки — как сушили над огнем купца, выкупав его в речке Суре, чтобы указал свои товары, да как на реке Пьяной забрали лошадей у татарского абыза, скрываясь от погони, и после утекли на них до Боголюбова монастыря; да как много речонок прошли бродом, пробираясь сам-пят, Столяр, Кувай, Легает, Жузла да ты, Ванька, на макарьевскую ярманку путем необычным, минуя большие дороги, и на той ярманке натворили таких дел, что пришлось на целый месяц укрыться в Керженские леса. Избыто много хлопот и тревоги, — а сколь была радостна жизнь вольная, без городской пыли и грязи, без подлых бояр и приказных крючков, без сыска и обмана!

И вот теперь, идя подлым путем сыска и обмана, ища предать былых товарищей, вспоминает Ванька-Каин, неумный московский сыщик, губитель разбойничьих душ, всю свою прежнюю жизнь, города, села, местечки, леса, реки, лишения и подвиги, о которых потом ничего он не

запишет и никому не поведает, а лишь оставит в памяти святым и легким бременем. И с каждым шагом вперед, с каждым оборотом колеса, когда стучит по дорогам в телеге, с каждым топотом коня, всплеском весла косной лодки — уходит его дума дальше от проклятой заботы, а тяга к прежней жизни просыпается в нем с силой истовой и непобедимой.

В лесу его приветствует по давнему знакомству каждый куст и каждая травка; в поле ему кланяется каждый колосок. С детской улыбкой на порочном бородастом лице он вспоминает их имена: на опушках травка-трясунка, высокий аржанец, пушистая полевица, да лисий хвост в желтых цветущих пылинах, да бор-просовик и никчемная занозка; в чистом поле — дряква с мелким синим цветом, красный чередник — собачьи зубы, желтыми пучками вверх яркая горечавка, веселая трава иван-да-марья, при дороге мать-мачеха и крепкий подорожник, в лесу на пнях уразная травка, в оврагах и канавах — дербенник-плакун, в темных местах — заросли папоротников, и дербянка на мокром, и высокий, в рост человеческий, раскорячивший резные выи могучий орляк, и ягольник, и гроздовик, и узкий листом змеязычник.

Где лес пониже, — кланяются Ваньке-Каину кусты бяррышника, лесного ореха, заросли малины, обманной прелести волчьей ягоды. Над ним трясет листом осина, дрожит березка, благоухает липа, черемуху затагнуло белой паутиной, горьким духом цветет рябина, красуется ольха; в гуще леса — и сосны, и ели, и пихта, и светлая лиственница, и бук, и вяз, и приземистый мелколистный дуб. Ближе к воде ива плакучая и толстоствольный осоколь, из коры которого Ваня мальчиком нарезал поплавки не тяжелее перышка. Все травы, все кусты и все деревья знает Каин — и все они знают Каина и рады его приходу в честный лес из развратного города. Поклонился бы ему и подножный гриб, да боится, что зачервивеет и отвалится голова, а жизнь гриба недолгая.

Так об этом и рассказывает приволжская деревенская легенда: все травы, злаки, растения и деревья сговорились, чтобы опять одурманить и зачаровать бывалого разбойника. Чего хотели — того и достигли.

Хорошо ему известными тропинками и переходами дошел Ванька-Каин до места, где с давних пор была условная разбойничья встреча. Шел для того, чтобы притвориться своим, выпытать что надо, подбить молодцев на доход-

ное дело — и выдать всех отрядам отчаянного полковника Редькина, который не раз лавливал и самого Ваньку, да удавалось бежать хорошим подкупом. С этим шел Ванька, истинный Каин, к бывшим братьям, надеясь на великую награду от канцелярии и на высокую славу первейшего на Руси сыщика.

Когда же пришел Ванька к последнему перегону — понял, что такого нечистого дела не сделает он, какой есть убийца и погубитель души.

Такого последнего греха на душу принять не может! И не нужно ему ни наград, ни почестей, а лучше разделить судьбу до конца своих дней с верными товарищами, вольными ворами и славными разбойниками, — с ними остаться и за их честь и доблесть положить голову.

Когда же к ним пришел, то скликал всех, стал посередке круга, шапку с головы сорвал, бросил оземь и голосом не атаманским, а простым и смиренным поведал им всем, как на духу, про свою мерзость и свои предательства, и что пришел он их погубить, и что долгой дорогой леса и поля нашептали ему в уши ужасное покаяние, и хотите — убейте меня, злого предателя, на месте вздерните на дыбу, сожгите на костре, а хотите — помилуйте и примите не за старшого, а за последнего в шайке, за кашевара и кухонную бабу, мазать колеса и платать молодецкие штаны и кафтаны.

И как перед ними стоял — так и повалился в земном поклоне.

И тогда разбойнички Ваньку-Каина простили и поставили опять над собой атаманом. Много лет он с ними гулял и по дорогам, и по Волге, подвигов совершил без числа, а где все они сложили буйные головы, — о том и не знаем, и долго рассказывать.

Такова была легенда о конечном житии Ваньки-Каина, его историкам неизвестная и нигде не написанная, а нами подслушанная в тех самых лесах и по течению великих русских рек.

ЧЕПЧИК НАБЕКРЕНЬ

За давностью времени, — прошло лет сто или сто двадцать, — трудно сказать, та ли это самая помещица, которая боялась неприличных слов, или была еще другая в том же Ново-Оскольском уезде. Но кажется, что та самая:

Марьяна Петровна Тинькова, прославившаяся, между прочим, защитой плотины собственным телом от вторжения неприятельских банд, о чем здесь и будет пересказано со слов ее современников.

Каждому человеку естественно презирать некоторые слова и выражения. Например, император Павел Петрович приходил в истинный гнев от слов «обозрение», «выполнение» и «врач», казалось бы, совсем невинных; несколько понятнее, почему в 1797 году состоялось высочайшее повеление о замене слов «отечество» и «граждане» — словами «государство» и «жители», или «обыватели», а слово «общество» было вообще запрещено употреблять.

Вот точно так же помещица Марьяна Петровна считала совершенно неприличным слово «мельница» и, краснея, поправляла говоривших:

— Ах, что вы! Мукомольня!

Ни разу с ее языка не сошло ужасное слово «яйца», и на птичьем дворе она спрашивала в описательных выражениях:

— Даша, каков ныне урожай куриных фрутков?

Кроме того, она считала неаристократичной и для порядочной женщины неприличной букву «х», по каковой причине не только называла стекло «фрусталем», но и собственный хутор именовала «футором Свистовкой». Она говорила: «Фуже быть не может» — и: «Уж эти мне фудожники!» Собственно, Марьяна Петровна не столько избегала слов и звуков, по ее мнению, неприличных, сколько любила слова изысканные и свидетельствующие о «форошем» воспитании. Различную погоду она называла «коловратной» или, наоборот, «зефир-погодой». Приемные дни «журкниксами». Склянка со скипидаром именовалась «фиалом любви»; это потому, что скипидар она вообще любила до страсти, протирала им полы, мебель, собственную грудь, мазала за ушами, принимала с водой, капала во щи и в кисель и душила им дочерей, пока они наконец не вышли замуж.

Именно Марьяна Петровна ввела в обиход выражение: «Какой пронзительный случай!», и она же отличала благосклонность среди многих ловкого любезника, который обратился к ней с такой фразой:

— Позвольте оконечностям моих пальцев вкрасься в вашу табачную западню, дабы почерпнуть этого мельчайшего порошка для возбуждения моего гумора!

Этим любезником был, как известно, ее сосед по име-

нию Федор Петрович Волков, отличнейший и деликатный человек, добрый хозяин и, как увидим дальше, человек находчивый. Какая обида, что их длительная дружба окончилась так трагически!

* * *

Прежде чем перейти к самому событию, расскажем об удивительной изобретательности помещицы Марьяны Петровны Тиньковой. При всех своих забавных черточках, она была очень хозяйственна и практична и отлично воспитывала своих сенных девушек, которых держала при доме до двух десятков, сносно кормила и заставляла работать. Девушки вышивали гладью, ткали ковры, пряли, вязали и пели хором. Их работы неплохо продавались и окупали содержание с избытком. Летом девушки назначались на работы огородные и полевые, собирали в лесу малину, грибы, по речке — смородину, по полям — землянику и разные лечебные травы.

Хорошо обученная и воспитанная девка, ежели она к тому же не урод, стоила по тем временам двадцать пять — тридцать рублей серебром; но тиньковские девки ценились на рынке куда дороже и были очень известны. Продавать девок отдельно от семьи было запрещено, но Марьяна Петровна была умна и изобретательна: она продавала их на сторону «выводным письмом».

Это делалось так. Продать нельзя, — но ведь может же девушка выйти замуж на сторону, не всегда же в своей деревне! А чтобы выйти за чужого крепостного человека, нужно было получить от своего помещика разрешение, выводное письмо, примерно такое:

«Девке моей такой-то позволяю выйти замуж за крестьянина или дворового такого-то помещика беспрепятственно, в чем и подписуюсь».

Письмо выдавалось на руки не девке, а владельцу жениха. И от священника прилагалось метрическое свидетельство заневестившейся девки.

Такое письмо для каждой девки заготовляла Марьяна Петровна, оставив чистыми места для имен жениха и помещика, а затем, как полагается, везла своих девок самолично на Коренную ярмарку. Там она показывала товар лицом: и что девушка не рябая, собой здоровая, все на месте, работать умеет, всему обучена, одним словом, не какая-нибудь девка — тиньковская, наилучшей марки, с

ручательством. Девку покупали, и помещик получал «выводное письмо» и уж сам выдавал девку за кого хотел, так что и закон соблюдался, и барыне был хороший доход за ее заботы о племенном выводе сенных девушек. Были; конечно, и слезы: девки плакать любят. Поплакавши — утешались, а после, по общему признанию, устраивались счастливо в чужих деревнях и производили здоровых ребят, тем способствуя процветанию российского государства.

* * *

Теперь — о самом происшествии. Как случилось, что Марьяна Петровна повздорила с соседом Федором Петровичем — сведений не осталось. Вышло ли промежду них что-то из-за потравы, а может быть, какая-нибудь проданная Волкову девка оказалась с легким изъядом, и получилось недоразумение, — об этом из документов Ново-Оскольского уездного суда, которыми мы пользуемся, ничего усмотреть невозможно.

И было так, что поля и луга Федора Петровича лежали по ту сторону реки, а проезд к ним был возможен только через плотину, принадлежавшую Марьяне Петровне. Раньше никогда недоразумений не было: крестьяне ездили через плотину, и стало это обычаем. А тут вдруг Марьяна Петровна взбеленилась и объявила, что не пустит больше волковских крестьян ездить через ее плотину:

— Не фочу — и не пуцу!

Время было самое страдное, уборка яровых; пропустишь дни — начнут хлеба осыпаться, а там, пожалуй, пойдут дожди, одним словом, каждая минута хозяину дорога. Двинулись волковские крестьяне с телегами к переезду, а на плотине тиньковские люди с рогатицами:

— Барыня не приказали пускать!

Те побежали за своим помещиком, эти — за своей барыней. Встретились бывшие друзья на самой плотине, и, вероятно, был между ними бойкий разговор, может быть, даже не в самых приличных выражениях, так что забыта была неуместность и «мельницы», и «яиц», и неприличной буквы «х». Опять-таки, известий об этом не сохранилось. Но хорошо известно, что едва попытался помещик Волков гнать своих крестьян с подводами на тиньковскую плотину, как Марьяна Петровна собственной своей персоной, как была, в сиреневом капоте и чепце, легла поперек дороги и заявила:

— Через мой труп!

Так что это ей принадлежит изобретение знаменитого ныне метода поведения женщин при забастовках и манифестациях — ложиться под ноги лошадей: топчите, изверги, если не осталось в вас ни капли человеческого чувства!

Создалось положение поистине безвыходное. Ехать через барыню крестьяне, конечно, не решаются, объезда никакого нет, а барин гневается и ничего поделывать не может. Жаловаться некому, да пока жалоба рассмотрится и выйдет решение, — пройдет не только страдная пора, а, может быть, и целый год.

И вот тут помещик Федор Петрович, — он был хитер, догадлив и очень осторожен, — придумал следующее. Он выбрал парней посильнее и поразумнее и приказал им легонько, со всей вежливостью и всей осторожностью, ни боли, ни увечья не причиняя и — Боже сохрани! — нечаянно не ущипнув и чего-нибудь не прищемивши, — отодвинуть Марьяну Петровну к сторонке с проезжей дороги и держать ее так, пока не проедут все телеги.

Марьяна Петровна стали визжать и биться, однако, совладать с дюжими парнями, конечно, не могли. Были отодвинуты к сторонке и оттуда, гневаясь и истекая разными выражениями, обдумать которые было им некогда, с искренним возмущением наблюдали, как крестьянские телеги со скрипом, но и спокойствием, проехали по собственной, Марьяны Петровны, плотине, а за ними проследовали на сером коне и Федор Петрович, напоследки крикнув парням:

— Пустя ее, ребята!

Дальнейшего никакой художник не опишет, парни же спаслись бегством благополучно.

* * *

И вот начался суд — со всей тогдашней волокитой. И суд не о нарушении собственных прав помещицы Тиньковой, — тут и спора быть не могло, что права нарушены, — а об оскорблении личности помещицей, о насилиях, учиненных женщине; короче говоря, Марьяна Петровна обвиняла Федора Петровича ни больше, ни меньше, как в покушении на убийство. И, правда, могло случиться, что дворянка и рыхлая женщина скончалась бы тут же на месте от непереносного оскорбления.

Было одно затруднение для обеих сторон: отсутствие

свидетелей. По закону крепостные крестьяне не могли давать показания ни за, ни против своих господ, а никого, кроме крепостных, при том происшествии не присутствовало.

И пошло то дело правильным письменным порядком: жалоба, запрос, ответ, доношение, отношение, заявление, отзыв на отношение, справка, извещение, опровержение — и по каждой бумажке хлопоты и великое крючкотворство.

Помещик Волков деяния своего, конечно, не отрицал, ссылаясь же на безвыходность своего положения и насущную деловую необходимость. Однако обращал внимание суда на то, что по его помещицкому приказу вышеупомянутые парни действовали со всею осторожностью, как бы передвигая вещь хрупкую и нежную, лишь временно и случайно мешавшую проезду лошадей, насилия же никакого не чинилось, а было все, напротив того, в пределах полной вежливости и заботливого отношения к женщине и дворянке. Самое же крайнее, что при сем могло случиться, это что у помещицы Марьяны Тиньковой, по случаю отодвигания ее особы к стороне от проезжей дороги, «сбился чепчик набекрень».

Может быть, в конце концов и помирились бы соседи, но этого «чепчика набекрень» Марьяна Петровна перенести не могла, потому что многое можно стерпеть, даже и покушение на жизнь, но нет возможности безнаказанно терпеть оскорбление в судебной бумаге подобным поистине неприличным выражением! И в ближайшей ответной бумаге, поданной в суд, требовала Марьяна Петровна присудить помещика Волкова к жесточайшему наказанию за оскорбление ее дворянской чести словами «чепчик набекрень», обидными и унижительными даже и для лиц податного сословия. И тогда затихшее было дело разгорелось с новой силой.

Сколь часто, однако, исследователям приходится встречаться с отсутствием положительных документов, относящихся к самому важному моменту исследуемого события. Нет сомнения, что по поводу действительно неуместного выражения, пожалуй, даже более неприличного, чем «мельница» и «яйца», должна была существовать немалая переписка и, быть может, даже опрос экспертов и знающих людей. Но именно этого мы в делах уездного суда не находим, и все дело на исходе пятого года кончается краткой резолюцией суда:

«Дворянину Федору Петрову Волкову сделать замеча-

ние за неуместность его выражения «чепчик набекрень», дело же по обвинению его в покушении на убийство дворянской вдовы Марьяны Петровой Тиньковой за отсутствием доказательств и свидетельских показаний производством прекратить и сдать в архив».

Суд мудрый, хоть и не скорый. Думается, что обе стороны остались довольны. А засим — мирно продолжал хозяйствовать Федор Петрович, не упускала своих интересов и Марьяна Петровна, воспитывая сенных девушек на продажу и справляясь у птичницы по утрам:

— А какой ныне урожай куриных фрутков?

ПОВЕСТЬ О НЕКОЕЙ ДЕВИЦЕ

Фигурантка Настя-Коралек, так прозванная за округлость форм и отменный румянец, неистово визжала в театральной уборной и не сдавалась ни на какие уговоры. Перед этим она нахлестала пощечин своей сопернице Авдюше, тоже маленькой балетной пешке, за то, что та выклянула себе место в кордебалете виднее Настиного, хотя также, конечно, «у воды». Подоплекой тому делу было большое расположение к Авдюше начальника балета, который предпочитал худышек девушкам пышной зрелости, — таков был его вкус. А раньше, между прочим, был у него вкус иной. Настя и глаза бы выцарапала Авдюше, да ей помешали. И теперь визжала, как одержимая, пороча Авдюшу нехорошими словами, начальнику же делая явные намеки на его переменчивость.

Кончилось это неблагополучно: Настю-Коральку уволили из балета, будто бы за развратное поведение, — хотя не было ее поведение хуже, чем других. Просто — надоели начальнику и она сама, и ее вечные скандалы.

Грозилась, рыдала, исцарапала самой себе щеки, кричала, что дойдет до губернатора, но кончила тем, что, собрав свой небогатый скарб, уехала в родной Новгород к сестре, женщине почтенной и набожной.

* * *

В трех верстах от Нова-Города гремел славою Юрьев общежительный мужской монастырь, и был в нем игуменом молодой старец, авва Фотий, архимандрит, в мире Петр Спасский.

Сей ратоборец с юных лет умерщвлял плоть, даже обычного питания, чая скверного, сего поганого идоложертвенного зелья не вкушал, духа прелести и заблужденья бежал, терпел телесные удручения и житейские невыгоды и жены не познал.

Привя юношей ангельский чин, почал прежестокую борьбу против дьявола, особенно же противу тайных масонских обществ и всяческих духовных ересей, так что в бытность его в Санкт-Петербурге законоучителем от его доношений и искусных выступлений потрясаясь весь град святого Петра, а князь Голицын, тех вражьих гнезд апостол и пророк сатанин, не знал, как ему и быть: вести ли ему с Фотием дружбу, или же, властью министра духовных дел, того Фотия ущемить.

В лето 1822 усердием Фотия и масонского перевертенья Кушелева, внушивших царю Александру Павловичу страх и опасения, вострепетало в стране неверие, и столпы вражие пошатнулись: были закрыты масонские ложи, и сатана от боли восскрежетал зубами. В том помогла старцу Фотию светлая родом и житием графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, девица лет тридцати пяти от чрева матери, Богом призванная и избранная в честь, славная чистотою и милостью, изобиловавшая всеми земными благами, но искавшая лишь сокровищ небесных.

И хотя оба они, и авва Фотий, и названная дева, были млады, она лишь немногим его постарше, но была она ему яко бы дочь, а остальному, что злые языки про них говорили, веры не придавать.

Удалившись от дел свершенных в Юрьев монастырь, в числе прочих подвигов авва Фотий изгонял также злых бесов. И вот однажды явилась к нему некая девица, из себя пышна и румяна, и, пав перед старцем, каталась по земле и дрыгала ногой неистово, моля изгнать из нее обуйшего беса.

Едва же старец Фотий прочитал над той девицей опытное заклинание, как нечистый дух закричал в той девице тонким голосом: «Выйду, выйду!» — и действительно вышел неприметным паром, после чего девица встала и заявила, что от нечистого духа чувствует себя теперь совершенно свободной.

Возрадовавшись на нее, Фотий спросил:

— Как твое имя?

Она ответила, что доселе имя ее было Настасья, ныне же хочет зваться не иначе, как Фотина, и чтобы принял

ее авва Фотий в свои духовные дщери. По плотскому же отцу она Павловна.

Девицу Фотину Павловну старец позвал в свою келью, но, по обычаю иноческому, в лице девицы не зрел. Девица также ему в лице не зрела, но, сидя рядом на мраморной койке старца, прикрытой лишь власяной материей, вопрошала старца, како соблюсти ей духовное девство, на что он отвечивал:

— Блюди земное — само по себе духовное цело будет. Аще скляница не разбита, а цела, то влияющая масть благовонная и все что-либо потребное сохранно будет. Аще ли скляница диру будет иметь и повреждена будет, то как умно ни стараться себя уверить, что целость есть в склянице, но она будет не в целости, а влияющее прольется сквозь и не сохранится. Ибо когда девица потеряла во плоти девство, то не может себя уверить, что она не потеряла и имеет оное.

Так они беседовали, и хотя та девица старцу призналась, что, злым бесом одержима, была она плясовицею в питерском театре, но мудрость старца Фотия усмотрела в той девице яко бы луч некоего света таинственна, в очах ее зрак душевного утешения, в словах невинность девственную. И той девице он властью игумена разрешил проживать и спасаться в Юрьевом монастыре, почасту приходя для поучения.

* * *

Как жила в монастыре девица Фотина Павловна, того мы подробно не знаем. Однако келейник игумена Иван, неоднократно ночью посылаемый старцем посмотреть, что та девица делает, докладывал, что в ее келье странный свет, ниоткуда исходящий, она же, на земле распростершись, молится истово.

И случилось, что было девице Фотине видение, как бы приказ свыше: для вящего людей спасения и славы того монастыря надобно, чтобы приходили в него все непорочные девицы, окрест монастыря живущие, на вечернее правило, и чтобы одеты они были со всеми иконами одинаково, лишь с отличием, в видении указанным. Ей же, Фотине, явиться в той одежде в куполе монастырского храма, без чего разразился бы над монастырем Божий гнев.

И тем же вечером монахам, в церкви предстоявшим,

действительно явилась в куполе девица Фотина с волосами распущенными, в шелковом коричневом хитоне, у воротника складки, а по талии пояс черный. Явилась она, как бы вися на главном паникадиле, одной рукой держась за балясины верхних хор, ноги же в воздухе довольно свободны до возможного предела.

Было то явление настолько чудесно, что авва Фотий разрешил пошить хитоны для приходящих девиц и допускать их в монастырь беспрепятственно. По бедности, приходящим девицам давались деньги в помощь их скудости, так как средствами монастырь не стеснялся, благодетельствуемый духовной дочерью Анною Орловой-Чесменской.

Стало приходиться девиц из деревень и военных поселений весьма большое число, дальние же, за темнотою, оставались и ночевать под строгим присмотром наиболее престарелых монахов. И было в монастыре благолепно и спасительно, так что все монахи радовались. Однако наущением злых языков начался по окрестным деревням ропот и пошли несправедливые слухи, так что дошли и до новгородского губернатора, который, ночью внезапно приехав, впущен в монастырь, однако, не был по строгим правилам монастырским, как лицо светское и спасению постороннее. Когда же, по жалобе губернатора, прибыл в обитель архиерей, то ему врата были отперты, после чего он женские сборища своею властью воспретил.

Что касается девицы Фотины Павловны, то она продолжала проживать в Юрьевском монастыре, днем ведя со старцем беседы о духовном девстве, ночью же молясь, распростертая пред налоем в своей келейке, как о том постоянно доносил Фотию его верный служка Иван, наблюдавший ее рвение через щель иногда по долгому времени. Сам же старец спал спокойно на мраморном ложе, прикрытый лишь легкой власяницей.

* * *

Но не все отнесли к девице с изгнанным бесом просто и прямодушно. Духовная дочь Фотия, графиня Орлова, зная, что старец дает Фотине много денег для ее полезных дел, заподозрила Фотину в обмане и молила Фотия, говоря:

— Она тебя обманывает ради денег. Отдай ты ей хоть половину моего состояния, но не делай себе бесчестия, держа ее и лаская.

Фотий отвечал ей:

— Ты, знать, говоришь это из ревности!

— Ну, хоть и из ревности. За мою тебе преданность могу я тебе высказать и капризное желание.

Но Фотий ее строго прерывал:

— Не смей и говорить. Не ревнуй человека,— ревнуй, ревнуй о Боге!

Однако помнил Фотий, что в юности был столь беден, что не имел в болезни и срачицы переменить, теперь же щедротами дщери духовной благоденствует весь его монастырь. И когда о Фотине запросил его митрополит Серафим, то Фотий согласился на перевод ее в Феодоровский монастырь в Переяславле, где изредка ее навещал иставлял в девстве.

От вседневных советов старца удаленная, поддалась девица Фотина, бывшая Настя-Коралек, прежней силе беса. В новом монастыре ее держали как богатую вкладчицу; однако, обещанные вклады она истратила сама на пустяки украшений и отлучки. А когда в скором времени старец Фотий, ее покровитель, всю жизнь убивавший плоть, ослабел и от крайнего истощения скончался, то и Фотина монастырь оставила, и, по сказанию, с девством расставшись, вышла замуж за кучера, который неистово ее истязал сыромятными вожжами, стараясь изгнать из нее беса неверности, по каковой причине она и преставилась.

* * *

Осталось предание, что в предсмертном своем томлении авва Фотий взглянул на своего келейника острым взглядом и спросил его:

— Скажи, Иван, в чем ты предо мною тяжко виноват? Вижу по глазам твоим!

Иван упал на колени и признался:

— В том виноват тяжко, что тебя, отец, обманывал, рассказывая, будто Фотина по ночам молилась.

И Фотий ему тот грех отпустил, сказавши:

— О том деле помалкивай!

Осталась в библиотеке Юрьева монастыря рукописная книга, начало которой писано рукой Фотия, дальше рукопись оборвана, как думают, рукой Анны Орловой. Та книга называется: «Повесть зело чудна о некоей девице, избавившейся от нечистого духа».

И как почти все страницы той книги истреблены на-

всегда, то и вознамерился сих строк писатель восстановить их в правде и точности по старым документам и сказаниям и в прославление инока, при жизни бывшего для многих камнем преткновения и соблазна, с коим иноком часто входили в речь и прение люди ученые, профессора, учителя, чада Вольтеровы и чада дьявола и разных новых безбожных отраслей, стремители явного потока зловерия и нечестия,— и тем иноком были все они побеждены и посрамлены. А что могла обмануть его безумная и распутная женка Фотина, в том великий срам ей, а не его достославному безгрешию.

ВОЛОСОЧЕС

Ночью в душевной спальне слышны два дыхания, одно подавленное, придушенное, другое с присвистом, но тоже неровное и тяжелое. Воздух в комнате сперт и многоароматен: пахнет и лоделаваном, и мятной настойкой, и нечистым человеком. На дворе весна, а окна заперты и даже фортки на крючках.

Бывает, что свистящее дыхание прерывается, словно приключилась закупорка; потом пробка выскакивает, и слышится шлепанье губ и бормотанье. И сейчас же в сторонке раздается робкий стук, сопровождаемый вздохом; похоже, что собака под стулом привстала, покружилась, задела хвостом за деревянное, вздохнула и улеглась поудобнее, стукнув костями.

С первым утренним светом белеет пятно постельного изголовья: подушки, кружевной чепчик на огромном черном лице. Потом ясно, что это не лицо, а как бы тыква с пробойной. Однако под стеганым одеялом, сшитым из многоцветных треугольников, шелковых, атласных, бархатных и парчовых, видно очертание тела, кожной лежащего на постеле, обширнейшей, как площадь. Над постелею подобранный кружевной навес с золотыми лентами и золотым же гербом. К ногам постели приставлен темного дерева шкаф неизвестного назначения вроде большой будки, но глухой, на наружном засове, по бокам со скобами на манер ручек. Если там собака, то помещение достаточно и для крупной породы,— скажем для сеттера с добрыми глазами.

Поздним утром в доме шорохи, в будке все чаще постукивает, а то и покашливает, а тыква все лежит не-

подвижно, и из отверстия слышен свист. И не раньше, как в десятом часу из-под стеганого одеяла высовывается рука, поддевает и снимает тыкву и открывает потное бабье лицо с приставшими серыми мокрыми плюшками. Рыхлое тело садится в постеле, а рука тянется к полотенцу, приготовленному на столике рядом.

Человек, хоть сколько-нибудь искусственный в косметике, поймет, что тяжкая маска набита пареной телятиной. А когда приставшие кусочки осторожно сняты полотенцем, — лицо вытирается особым замшевым утиральником Венеры, промятым спермацетной мазью с белилами. Умываться не полагается: кожа портится от воды и казанского мыла.

И только все это выполнив собственноручно, кричит графиня Наталья Владимировна голосом визгливо-хриплым, но барственным:

— Девки!

Темная будка вздрагивает и снова затихает. Две девушки, одна простоволосая, другая во французском чепчике, но обе босые, с робкой спешкой протискиваются в спальню. Обе ждали у двери подоле часу, а впрочем, и ночь спали тут же за дверьми на полу, на холодной подстилке.

* * *

По утрам графиня не одевалась и не прихорашивалась, а слонялась по дому в грязном ватном халате и глухом чепце, покрикивая на челядь, на девок, на поваров, щедро раздавая пощечины, девушкам выкручивая кожу щипком, нехорошо ругаясь. Никого не принимала, да никто в эти часы и не приезжал. Граф Николай Иванович — тот, наоборот, из дому уходил рано, поутру, а случалось, и ночевал во дворце, где был как бы дядькой при великом князе Александре Павловиче, еще не вошедшем в возраст. И весь остальной день был занят у графа Салтыкова, будущего фельдмаршала и князя, — расписан по часам. Оттого и спальни у графа и графини были особые у каждого, что и по возрасту их было понятно: Наталья Владимировна кончала свой шестой десяток.

Для толстой и рыхлой женщины шестьдесят лет — цифирь почтенная! Тело обвисло до потери женского и вообще человеческого образа, лицо в складках и, страшное дело, повылезли у графини последние седые волосы, так что образовалась большая плешь. На ее счастье, в то вре-

мя носили модные прически высоты неимоверной, да еще поверх прически налагали «бонне а цилиндр» — наколку на манер цилиндра ростом в добрую сахарную голову, так что в хороших домах, где собирались модницы, подвешивали ближе к потолку люстры и жирандоли, чтобы — сохрани Боже — не вспыхнули огнем столичные красавицы.

Свою лысину графиня приписывала скверному снадобью старого своего крепостного волосочеса, которого она, жестоко наказавши, сослала помирать в дальнюю деревню. У себя оставила его бывшего помощника, парнишку пятнадцати лет Онисима, делу волосочесания до тонкости обученного, можно сказать, рожденного жения!

Обедала графиня в одиночестве, за большим столом. Ей служило пять прислуг, а при непорядке в блюдах вызывался старший повар и получал в рябое лицо горячую похлебку с графской тарелки или же, в пост, соленого груздя за шиворот. Ела графиня долго, шамкая деснами, ворча на лакея и на девку в чепчике. Ела плотно и жирно, с ужасом думая о том часе, когда Дашка с Малашкой будут с двух сторон затягивать ее в стальную броню. Поевши — крестилась мелким крестиком, покрестившись — ругалась и ослабевшей рукой раздавала оплеухи.

Иногда к обеду приезжала в малом наряде ее сестра, княгиня Козловская, женщина также сиятельная и знаменитая своим изобретением: наказывать дворовых девок, раздевая их догола, и чтобы груди клали на мраморную доску столика, и по тем их белым грудям сама княгиня хлестала их розгами собственноручно и без утомления. Девки боялись ее пуще смерти, особенно с тех пор, как одной она цепкими пальцами разорвала рот до ушей.

Отобедавши, старая графиня часок отдыхала в постеле, на этот раз наложив на лицо легкую, дорогую и модную «маску Попеи», продушенную «Франжипаном». К пяти часам просыпалась, вставала и, подойдя к будке у подножия кровати, стучала согнутым пальцем:

— Можешь!

Тогда начиналась в будке тревожная суэта, стучала крыша, плескало жидкое. Минуты на три графиня выходила из спальни, а возвратившись, спрашивала:

— Готов, что ли?

И голос тихий, нельзя понять — женский, мужской, молодой, старый ли, отвечал поспешно:

— Так точно, ваша светлость.

Отодвинув засов, графиня скоренько отворяла ключом

замок и, зажав нос с выражением страдания, шла впереди, а за нею шла человеческая тень, босая, измятая, в нанковых длинных штанах и русской рубашке. Оба они проходили в соседнюю комнату, а в спальню врывались девки с тряпками и метелками, выносили малую кадучку из шкапа, окуривали внутри можжевельником, выметали, приносили миску с тюрей и хлеба, кувшин воды, опять ставили опорожненную кадучку, а на полу спальни, на каменной плитке, зажигали курительную свечку.

В соседней проходной комнате, маленькой и полутемной, графиня, все с тем же страдательным лицом, как бы принося жертву, прежде всего опрыскивала человеческую тень из особого водяного дульца туалетным уксусом, чтобы от тени не воняло. Потом и графиня и тень проходили в довольно обширную будуварную комнату с венецианским зеркалом у туалетного столика, заставленного пудрами, белилами, банками с кошенилью, бутылками с бодягой для втирания в щеки и дорогими духами: «Вздохи амура», «Франжипан», «Мильфлер».

Здесь графиня надевала пудермантель, а человеческая тень облекалась в серый пыльник, превращаясь в изможденного монашка — кожа да кости.

* * *

Третий год крепостной волосочес Онисим живет безвыходно в шкапу в спальне графини Натальи Владимировны. Выпускает его только сама барыня на два часа для работы: собрать остаточки ее волос, связать их с париком и соорудить ее любимую прическу «ле шьен кушан». Делается посредине головы большая квадратная букля, будто батарея, от нее по сторонам идут косые крупные букли, как пушки, позади шиньон, и вся прическа не ниже полуаршина. И нужно эту прическу ровно и прилежно запудрить благовонной пылью, пока графиня держит против глаз маску на ручке с зеркальцами из слюды, чтобы не запорошило глаз. Пудру она употребляла либо палевую, либо серенькую — а ля ваниль. А потом сама не без искусств налепляла на лицо, подбеленное и подкрашенное, мушку размером в горошину под правым глазом, называемую «тиран».

Никто на свете не должен знать, что у статс-дамы графини Салтыковой, награжденной орденом Екатерины первой степени, облысела голова. Для того и содержится

всегда в особом шкапу волосочес Онисим, и никто не смеет сказать с ним ни слова под страхом жестокой членовредящей порки. Из дому выезжая, графиня запирает спальню, а мажордому приказано никого из челяди и близко не подпускать. Все об этом знают — все молчат. Девки, Дашка с Малашкой, иной раз, жалея Онисима, засовывают ему за нечистую кадушку недоеденную кость с барского стола или лишний кус хлеба. За три года парень отупел, выцвел, потерял голос и стал как бы старцем, без протеста и без желаний, с того света выходец. И только три минуты в день радостен, — и ждет этих трех минут, когда разрешается ему в том шкапу же оправиться; в остальное время терпит, боясь ужасных побоев за несдержанность.

В восемь часов графине подают английский дезоближан к подъезду. Она выходит важная, парадная и торжественная, в обширной шубе или летней накидке на платье «молдаван», с короткими рукавами, какое носит и сама императрица Екатерина, с кружевами, блондами и бахромой. Цвет платья меняется: то — «цвет сладкой улыбки», то — «нескромной жалобы» или «заглушенного вздоха», а то и «совершенной невинности». В жутком ущелье жирной груди, приподнятой корсажем, болтается на золотой цепочке модная блошиная ловушка из слоновой кости с дырочками, куда ввертывается ствол, намазанный кровью и медом; хоть блохи и редко попадают, но без этой игрушечки модные женщины в свете не показываются.

Из дому выезжая покойно и чинно, случается, что возвращается графиня в ваперах и раздраженная. И тогда плохо Дашке с Малашкой!

Три года просидел в шкапу молодой волосочес Онисим. На четвертый год бежал.

* * *

Как и почему бежал Онисим, — про то не могла выведать графиня никакими пытками. Перепороли на конюшне всю дворню, иных засекали до полусмерти. Перепоров, — угнали выживших по деревням, всех сменив новыми. Добрый граф Николай Иванович не вмешивался: на то воля жены, да и некогда ему заниматься домашними делами.

Но так была тяжка и невознаградила потеря графини

Натальи Владимировны, что она лично подала жалобу во дворцовое ведомство о бегстве крепостного, чтобы приказали найти его беспременно и ей возвратить.

Может быть, и нашли бы,— не в разбойники же ушел еле живой парень. Но в одном ошиблась графиня: и все ее люди, и весь Санкт-Петербург, и весь императорский двор знал и про ее лысину, и про скрытого ее в шкапу волосочеса. И не только знали, а и называли графиню второй Салтычихой: уж такова судьба ее фамилии! Но, зная о ней, жалели дядьку великого князя.

И верно потому было решено беглого крепостного не искать, графине не возвращать, а известить ее через полицию, что по наведенному дознанию раб ее и волосочес Онисим, осмнадцать лет, утонул в одном из притоков реки Невы, а тело его не найдено.

Трудно найти другого такого волосочеса, умевшего воздвигать батарею на лысом графинином черепе! Но хоть то хорошо, что парень тот утонул, а не трезвонит по чужим дворам о безволосии статс-дамы и не порочит ее рассказами.

Шкап из спальни графини вынесли, а с новым наступившим царствованием Павла изменились прически и начались гонения против французских мод. Прежней нужды в волосочесе уже не было: стала страшной и тревожной придворная жизнь, и осторожные люди позапирались в домах.

ЗАПЛЕЧНЫЙ МАСТЕР

В тиши роскошного кабинета рыцарь свободы и законности, прекрасная Като, только что закончила очередное длинное письмо Вольтеру. Нелегко переписываться с великим мастером изящного стиля! Царица-реформатор никогда не переставала быть женщиной, и Фарнейский пустынный на восьмом десятке лет не мог, конечно, не улыбнуться ее кокетливой фразе: «Като хороша только издали».

На столе Екатерины сафьяновая папка с листами ее прилежной работы, имеющей целью установить блаженство всех и каждого. Ее Наказом руководствуются созданные ею персоны, вельми разномыслящие,— и недоумевают, как им быть с осуждением пытки, «установления, противоречащего здравому смыслу», — тогда как с мест

пишут чиновники, что при окаменелости сердец и сугубом духе народа избежать пытки не можно?

Никакими подобными вопросами не задается поручик Семен Самойлов в Ярославле, человек простой и исполнительный, к тому же, при всем своем офицерском чине, неграмотный, и ни о Вольтере, ни о философе Дидероте ничего не слыхавший.

Поручику необходимо выпороть нескольких дворцовой вотчины крестьян, — а кто их выпорет? Дело это нелегкое, требуется большое искусство, а заплочный мастер окончательно одряхлел и хорошо сечь не может.

В последний раз, например, поручили ему пороть такого же старца, как он сам, — лет под семьдесят. Чего проще? А он сам умаялся, пока того старца привязывал к деревянной кобыле; поистине — смотреть было тошно. И наказуемый охает, и заплочный мастер охает, возьтятся два старца, и не поймешь, который которого будет драть. Полоснул кнутом поперек костяка — сам едва на ногах удержался: умора! Не будь старец на кобыле очень уж слаб, — умаял бы палача; иначе на десятом ударе отошел; давали пить для роздышки — не восприняли белые губы, и дыханье ушло.

Разве же это правосудие? И кого устрасит?

Нагнув голову, чтобы не сбить лбом притолоки, поручик втискивается в ветхую избу:

— Лежишь, дед?

За деда отвечает старуха:

— Лежит, неможется ему.

— Вот незадача! Он лежит, а сколько ждет народу ненаказанного: полный острог! А не перемогся бы, дед, ну, хоть для останного разу?

— Куды ему, ослеп совсем, и силы никакой.

В огорчении разводит поручик руками:

— Что будешь делать? Сколько ожидает людей, кому — кнут, кому — поздри обязательно рвать; только зря задерживает. Отписали в московскую разыскную экспедицию, нет ли излишнего заплочного мастера, — три месяца без ответа, а ныне получили: «Нельзя, самим надобно».

Лежа на лавке, шамкает старый заплочный мастер:

— Молодого поищите. Старым рукам такое дело не под силу. Еще клещиками туды-сюды, а хомут или, скажем, виска великой силы требуют. Тоже и кнутом работать.

— Легко сказать: молодого! Где его возьмешь? Ныне

на гарнизонный оклад охотников нет. И еще горе: на пожаре все снасти сгорели. Запросили город Романов, не пришлют ли на поддержку ихнии, а тамошний воевода пишет, что у них де тоже был пожар.

Ярославский пожар был опустошителен. Сгорело одних церковей пятнадцать, домов более трехсот, да колодничий острог, да магистрат, да сот пять лавок, да со всеми делами провинциальная канцелярия — жуликам на радость. А главное, сгорели самонужнейшие орудия: дыбы, хомуты, кнутобойная кобыла, самые кнуты в большом числе, клейма для постановки знаков, щипцы для ноздрей и ушей и прочие снасти, подлежащие к учинению колодникам экзекуции.

Как быть правосудию? А тут еще совсем развалился старый заплочный мастер. И тоскует в напрасном ожидании ненаказанный народ, размещенный после пожара по большим избам. Ждут колодники, когда им вырвут ноздри установленным порядком, ждут невыпоротые крестьяне, зря теряя осеннее рабочее время, ждут свидетели из посадских, не испытанные ни кнутом, ни дыбой; иные же, ждуть наскучивши, пытаются бежать.

Нет мастера в Ярославле. Нет мастера и в Пошехонье, тоже срочно требуют. Посылали раньше ярославского, теперь послать некого. Стоят законы без выполнения — истинное несчастье!

* * *

Небольшая комната во дворце приспособлена для ручных работ императрицы. Державной ножкой колебля педаль, точит великая законодательница табаретку. Токарный станок, прелестно украшенный, заграничный, с легким ходом, сам похож на точеную игрушку. Допущены присутствовать только учитель Екатерины, старичок в парике, озабоченный успехами ученицы в столярном деле, да еще европейский гость — философ Дидро.

Придерживая баклажку холеной рукой и осторожно поворачивая, Екатерина ждет от балованного гостя ядовитых слов: «Драгоценные годы текут, и вашему величеству нет возможности заняться своими великими планами для блага страны».

Умный, но непокойный человек. В чем старик, а в чем совсем младенец. Вольтер его ревнует к Северной царице. Любит и Вольтер давать в своих эпистолах бесконечные советы, — но Фарнейский пустынный все это делает

с изяществом и тончайшей лестью, какая не может не нравиться женщине. А этот рубит сплеча: «Нет ничего легче, как приводить в порядок государство, лежа на подушке. Тут все идет как по маслу. А когда приходится принятьсь за самое дело, что уж нечто совсем другое». Как будто сама императрица не сознает этого лучше других! Ее ли он хочет быть умнее? Из двух собеседников Екатерина все же предпочитает далекого швейцарского корреспондента.

Вольтер — Екатерине: «Простите ли, всемилостивейшая государыня, дерзость моей маленькой досады на то, что вы именуется Екатериною? Древние Героини никогда не знаменовали имен у святых: Гомер, Вергилий нашли бы в сих именах великое затруднение. Вы сотворены не для месяцесловов. Но пусть Юнона, Минерва или Церера делают лучший склад в Поэзии всех народов!»

Екатерина — Вольтеру: «Я не думаю иметь право на то, чтобы быть воспевомою. И я не поменяюсь именем с завистливой Юноной; я не так тщеславна, чтобы применять имя Минервы; называться Венерою хочу еще менее, потому что сия красавица слишком прославлена. Мое имя мне всех прочих милее».

Вольтер — Екатерине: «Неприменно надобно, чтобы все люди лишились ума, когда не будут удивляться произведенным Вами великим и полезным деяниям. Умираю в грусти, что не могу увидеть степей, превращенных в великие города, и на две тысячи миль простирающегося государства, очеловечественного Героиней. В истории целого мира нет подобного примера, нет революции славнейшей и изящнейшей. Сердце мое подражает магниту: оно лежит к Северу!»

Кто другой так скажет! И это лишь слабый перевод с нежнейшего французского на грубый русский язык!

* * *

Совсем иного стиля публикация, в те же дни прибывшая на всех уличных перекрестках Ярославля:

«Объявляется во всенародное известие. Не пожелает ли кто из вольных людей в заплечные мастера и быть в штате при ярославской провинциальной канцелярии на казенном жаловании? И если кто имеет желание, тот бы явился в канцелярию в самой скорости».

Но нет палачей-добровольцев, такое несчастье. Не хо-

тят ярославцы идти на казенное жалованье. Уж не заражен ли пристойный город Ярославль фарнейским духом, не ползет ли из него вольтерьянство в города приписные?

Маия в десятый день бояре слушают докладные выписки и важно беседуют.

— Бude охотников не явится — велеть бы выбирать из посадских людей, из самых молодых, или из гулящих людей. Надобен заплочный мастер в каждом городе, чтоб не было задержки.

— Не всякому та наука доступна. Незнающий человек бьет по чем напрасно, один удар в полпальца, другой до костей. Непорядок!

— Точно, что одно битье простое, другое нещадное, по человеку глядя. Одно в проводку, другое на козле, а то с разбегу. Сразу рубить ни к чему, дай отдышаться. И бей по соразмерности. Тут нужен по закону человек пытанный, не случайный.

— Попривыкнет.

— Пока привыкнет — сколько перепортит работы. Пробовал вон пошехонский воевода пристроить к делу нештатного отчаянного пьянчугу, неоднократно дрaного на кобыле. И что же? Сам лежать под кнутом умел, а драть других не способен. Надобно по закону драть ровно, полоса к полосе, с раздышкой; он же спервоначалу бьет накрест, отчего напрасно выпадают клочья. Когда же, воевода пишет, допустили до ноздрей,— убоился, запутался, захватил клещиками губу и тянет зря, не чикая, чистую работу портит.

— Из острога прошедшей ночью утекли десятеро разбойников.

— Этих поймали. Однако потребно тем утеклцам вскорости наложить стемпеля и учинить экзекуцию.

Слушали и постановили:

«В ярославский магистрат сообщить промеморию и требовать, чтобы оный прислал заплочного мастера, выбрав из купцов. А ежели не пришлет, то принудить».

Затронули тем честь ярославского купечества, но только магистрат не послал.

Осталось искать среди гулящих людей. Главная приманка — водка. Полагается доброму мастеру после каждого удара кнутом передышка и стакан водки: пей, пока хочешь. Бой медленный: на двадцать ударов полчаса. При раздышке наказуемого садят на барабан: смотреть, жив ли. И только когда порублен на мясо, тогда завертывают в

сырую баранью шкуру, что иным помогает оправиться.

И нескоро вздохнул поручик Семен Самойлов. Хорошо хоть, что прислала московская канцелярия тридцать кнута новых, да щипцы, да стемпель. Щипцы и стемпель стоимостью рубль двадцать копеек, кнуты по двадцать копеек, что и взыскано. Новую кобылу и виску заказали деревянного дела мастерам.

* * *

Вольтер — Екатерина: «Знают ли все, где рай земной? А я знаю: где Екатерина, там и рай. Повергнитесь все со мною к ногам ее! Мне в идолопоклонстве находиться у ног Вашего величества лучше, нежели быть с глубоким почитанием Вашего храма жрецом! Большой старик фарнейский».

Екатерина — Вольтеру: «Государь мой. Излиянные на несколько сот миль благодеяния, о коих угодно Вам упоминать, не ко мне относятся. Терпимость в числе наших учреждений: она составляет государственный закон, и гонение совсем запрещается. Но ах! кто может поручиться за их совершенство? Я выточила табакерку, которую Вас прошу принять».

Поручик Самойлов — канцелярии: «Сим доношу: подвернулся плечистый молодец из отпетых посадских. Опыта мало, да подучиться может. Спервоначала хлестал криво, потом выправился, с малого же разбега бьет разом до кости. Однако водку пьет неистово. Ныне наказаны ожидавшие и рвано ноздрей утеклцам и разбойным немало, о чем и доношу».

Спасен пристойный город Ярославль. Правосудие отправляется.

САМОБЕГЛАЯ КОЛЯСКА

Если бы не наша непростительная национальная застенчивость, то давно бы весь мир знал, что все великие изобретения и открытия, за исключением парламента и социализма, сделаны русскими. Впрочем, первый самовар найден был при раскопках в Помпеях, а счеты были известны китайцам задолго до христианской эры. Все же остальное, чем гордится наше время, было у нас много раньше, чем в Европе.

Всякому известно, что первую электрическую свечку сделал Яблочков, а радио открыл Попов. Но не всякому известно, что первую летательную машину соорудил «черный московский человек» в 1647 году, за что был бит плетьюми нещадно, машину же сожгли и пепел развеяли по ветру.

Поющую машину, в виде птицы, смастерил крепостной Гришка Плосколик, отделавшийся пустяками: его лишь слегка посекли и приказали впредь ничего не выдумывать.

Аэросани изобрел бумажной мельницы работник Ивашка Культыгин и катался на них изрядно, но, по доносу попа Михайлы Варваринской церкви, был взят в Приказ тайных дел, под пытку покаялся, и был батогами бит нещадко, а сани сожгли.

Моторную лодку изобрел крепостной дядька Семен Петров и катал на той лодке по пруду троих человек свободно, но был за это высечен помещицей на конюшне и сослан в пастухи в дальнюю деревню. Такова же была судьба Анании Звонкова, построившего первую молотилку.

О первой паровой машине, отменно работавшей в Сибири в дни Екатерины Второй, можно прочитать подробное описание, с чертежами и вычислениями, в исторических журналах, — но в Европе об этом никто не знает.

Что же касается автомобиля, то он был изобретен Леонтием Шамуренковым в первой половине восемнадцатого века. Кое-что об этом человеке известно, а что неизвестно — дополним мы нашим творческим воображением.

* * *

Печатью гения Леонтий был отмечен, можно сказать, с младенческого возраста. Грудным младенцем он дважды падал, один раз — с лавки, другой раз — с печки, и все-таки остался жив, только оба раза долго икал. От первого раза остался у Леонтия след — кривая нога; от второго раза — заметный горб. Мать жалела, что Леонтий оказался небьющимся, потому что какой же это работник в крестьянском деле — с горбом и кривоногостью! Того не сообразила, что двойное падение отлично отразилось на мозгах ребенка, который и вырос гениальным изобретателем.

Изобретать он начал с самого раннего детства. Предполагают, что он изобрел машинку для раскачивания зыбки, в которую поступил прямо из чрева матери; но это,

конечно, преувеличение, тем более, что никакой люльки у него не было, иначе не упал бы он с лавки и с печки. Но соску он действительно усовершенствовал, заменив грязную тряпочку собственным пальцем. Когда же он начал ползать, а затем и ходить, его умственное превосходство над прочими детьми сразу обнаружилось. Его стрекозы, проткнутые соломинкой, летали лучше всех; его кубарь не просто кружился, но и гудел, а на сделанной им дудочке-свиристельке можно было играть без усталости все, что угодно. Десяти лет он соорудил такой самострел, что убил наповал петуха, за что был нещадно избит матерью, но стал героем в глазах сверстников. Тогда же он построил первый понтонный мост через ручей, а зимой приспособил к санкам рогожный парус и катался по льду речки, возбуждая общее удивление. За последнее изобретение бил его собственноручно отец, но бил как-то неуверенно, лишь по обычаю и явно без надобности.

К пятнадцати годам он считался на деревне лучшим плотником и слесарем, и ни починка телеги, ни рытье колодца, ни закладка нового сруба не обходились без его участия; советовались с ним даже почтенные домохозяева, на словах с ним не соглашались, но на деле поступали по его указаниям. За советы ему платили обычно подзатыльниками и зуботычиной: не мешайся не в свое дело!..

К занятию крестьянством Леонтий остался неприспособленным, и по двадцатому году был продан неразумным помещиком своей соседке по имению, княгине Г-ной, полная фамилия которой в наших документах не значится.

Княгиня Г-на была одной из тех помещиц, о которых сохранились в народе воспоминания и легенды, рисующие ушедшую в вечность идиллию крепостного права. Из рассказов о патриархальном быте, о чисто родственных отношениях помещиков к крестьянам мы воспользуемся здесь только одним, имеющим ближайшее отношение к биографии нашего героя.

* * *

У княгини была дочка, милая девушка шестнадцати лет, добрая, веселая, несколько шаловливая и капризная. Мать не чаяла в ней души и потакала ее выдумкам. Так, чтобы доставить дочери невинное развлечение, княгиня приказала старосте отбирать каждый день по семи девок, покрепче, поздоровее и покрасивее, и присылать

их на господский двор. Здесь на девушек надевали особую упряжь и впрягали их в шарабан. Затем садилась княжна, рядом с собой, в помощь, сажала кучера, сама брала в руки вожжи и хороший хлыст — и выезжала на прогулку. Девушка любила спорт и ловко правила, подбодряя лошадок вожжами и хлыстом. Если пристяжные отставали от коренника, она изящным в своей простоте движением с великим искусством подхлестывала их, норовя попасть, как делает хороший кучер, по причинному месту, одинаково чувствительному у лошадей и у крестьянских девок.

Так каталась она по часу, по два, объезжая материнские владения, по полям, по лесным дорогам, по пригоркам и оврагам, то рысью, то вскачь, то с раздумцей и тихим ходом. Устав править сама, передавала вожжи кучеру, но следила, чтобы он не портил лошадок, делая им поблажки:

— Подхлестни Анютку, не видишь! Вытяни-ка коренную по хребту!

По возвращении домой звонким голосом окликала мать:

— Мама, лошадкам овса!

Мать выходила, умиленно улыбалась забавам девочки, приказывала принести пряников и леденцов, высыпать кульки в длинную колоду на конюшне и подогнать девок. Угощенья добрая помещица не жалела. Девки должны были стоять у колоды и есть, хватая пряники и конфеты губами, а руками не прикасаясь. Затем, покормив очастливленных девок, отпускали их домой, а на другой день пригоняли новых, чтобы все по очереди испытали помещицью ласку.

Так каталась молоденькая княжна каждый день на новой семерке, разве что облюбует какую-нибудь девку, сивую или караковую, и прикажет запрягать ее ежедневно, пока не наскучит.

Особенно полюбила она Дуньку, лошадку не сильную, но красивую и большеглазую, с длинной русой косой. Ее запрягали чаще других, и всегда на пристяжку.

Эта самая Дунька полюбилась и гениальному горбуну Леонтию. Любовь, конечно, платоническая: горбуну рассчитывать не на что. Когда же однажды пришло княжне в голову взнуздать Дуньку особо, сунув ей в рот железную переборку, — не выдержал Леонтий и решил изобрести такую штуку, чтобы отвлечь внимание княжны от крестьянских девок и соблазнить ее новым развлечением.

Работая малым при конюшне и при кузнице, Леонтий

Шамуренков облюбовал старый брошенный шарабан и стал над ним мудрить. Неделю он только сидел на бревешке против шарабана и смотрел, ничего не предпринимая, обдумывая будущее изобретение. Потом стал мастерить какие-то скрепы и колеса, никому своей затее не открывая. Потом шарабан разобрал на части и опять сложил по-своему. И наконец пришел день, когда горбун, в обеденное время, пользуясь отсутствием свидетелей, залез в свой дырявый шарабан, скрылся под сиденьем, начал там что-то крутить — и шарабан, закачавшись, покатился на колесах без лошади.

* * *

Так, в 1745 году в селе Княз-ке П. уезда (точнее названия нет в документах) пущен был в ход первый в мире автомобиль.

И тут в биографии Леонтия Шамуренкова огромнейший пробел, который нам заполнить нечем. Неизвестно даже, узнал ли кто-нибудь об изобретении Леонтия, били ли его за это изобретение, каталась ли княжна на его самобеглой коляске. Решительно ничего мы не знаем до той минуты, как у сидевшего в нижегородском остроге по своим делам колодника Федора Родионова в 1751 году отобрано заготовленное им прошение в сенат от имени крестьянина Леонтия Шамуренкова. Сам Шамуренков был на воле, а колодник Родионов, хоть и сидел в остроге, слыл за ловкого ходатая по чужим делам и искусного грамотея.

Бумага в сенат, отобранная у колодника, взволновала нижегородское начальство. Было сказано в бумаге, что некий крестьянин Шамуренков может сделать в два счета самобеглую коляску о четырех колесах, чтобы бегала она без лошади на дальнее расстояние, и не только по ровному месту, а и на гору. Править же ею будут два человека разными секретными инструментами, да еще четверо могут сидеть в ней господами и кататься, ни о чем не думая. Кроме того, может тот же Шамуренков сделать при той коляске часы, которые будут ходить на задней оси и показывать, сколько верст проехали, хотя бы даже до тысячи верст, да еще на каждой версте будет звенеть особый колокольчик.

Значит, по нашему — не только автомобиль, а и таксомотор с полным счетом!

Вызвали, конечно, Шамуренкова, посадили и его в острог и допросили, правду ли говорит. Все это Шамуренков подтвердил, прибавив, что по неграмотности все делал самоучкой, по своему разумению, и что прежняя его самобеглая коляска ходила не бойко по неимению средств; сделать же он может очень бойкую и на ходу легкую, на что ему потребуется сумма в тридцать рублей. И еще он может сделать машину, чтобы вытаскивать из земли тяжелый колокол, а также сани без лошади для зимних разъездов; только бы поддержали его скудность немногими деньгами, о чем он и решил просить сенат.

Совещались начальники, как быть с Леонтием Шамуренковым, пытаться ли его с пристрастием или, легонько поучив плетью, отпустить. Однако, побоявшись в сем смутном деле законной ответственности, послали о нем длинную и подробную бумагу в Санкт-Петербург, с приложением всех показаний и всего по делу производства.

Ответ пришел по тому времени скоренько — через девять месяцев. И не только Леонтия освободили, но приказали выдать ему подъемные и доставить его в Петербург, чтобы мог он ту коляску делать.

Тут опять пропуск, хотя известно, что Леонтий в Петербурге был, коляску сделал, но только денег ему дали мало, так что нечем было кормиться, а жаловаться он боялся. Хуже всего, что сенатор, которому было поручено ведать делом Леонтия и рассмотреть его самобеглую коляску, никак не мог за большой занятостью с этим делом справиться. Леонтий же, опасаясь от голода преждевременно скончаться, просил пока что отпустить его в деревню на кормежку и туда прислать ему, Леонтию, ответ. Его отпустили, а о коляске забыли; никак не мог сенатор улучшить время и ту коляску расследовать. Да как-то она и затерялась, а может быть, не умели с ней справиться без помощи самого изобретателя.

Пробовал Леонтий навести справку в столице: когда рассмотрят его самобеглую коляску и какая будет по тому делу резолюция. Сам писать не мог, а писал за него отставной солдат Алешка Михайлов; и то письмо в сенате сохранилось, но ответа на него не последовало по причине неизвестной.

В исследовании же таковой причины приходится сделать предположение, что как раз в те года внимание сената и двора императрицы было отвлечено другим важным делом, а именно: поимкой в городе Казани и достав-

лением в Петербург совсем особенных пушистых сибирской породы котов. По этому делу велась огромная переписка между сенатом и казанским губернатором, и императрица этим делом живейшим образом интересовалась. Посланы были в Казань особые чиновники, и дело было поставлено на широкую ногу, не жалея средств. Известно также, что коты были действительно наловлены в достаточном количестве и отправлены специальным обозом, а казанский губернатор получил благодарственный рескрипт и золотую табакерку.

По этому поводу ходили даже в народе слухи о предстоящей войне, и что будто бы предполагается стрелять по басурманам живыми котами из особых пушек. Еще говорили, что в скором времени всех кошек из восточных губерний переведут в западные, а на их место пошлют корюшку и рыбу салакушку для разведения в реках Волге и Каме, и что все это — по причине предсказанного немецкими учеными солнечного затмения, от которого могут произойти всякие неприятности.

Как бы то ни было, а за всеми этими толками и хлопотами позабыли и о самобеглой коляске, и об ее изобретателе, а когда наконец на пятый год, проглядывая список дел незавершенных, сенатор вспомнил и запросил о самобеглой коляске, то справкою и отношением был извещен, что та коляска приспособлена была для возки дров на нужды канцелярии при помощи лошадиной тяги, но оказалась непрочной и развалилась; устройство же ее осталось неизвестным, так как никаких чертежей не было, а все делал изобретатель самоукой. Однако были будто бы свидетели, что у самого Шамуренкова бегала та коляска бойко по двору, на улицу же выпущена не была, во избежание лишних и опасных толков в народе.

Посему сенатор положил резолюцию: дело производством прекратить.

А не прекрати оно это дело — возможно, что уже Екатерина Великая каталась бы по российским дорогам в отличном автомобиле, и было бы всему миру ведомо имя Леонтия Шамуренкова, первого изобретателя самобеглой коляски!

КОСТИ ЕВРЕЯ

Самое подробное описание жизни старого еврея Менделе из местечка Оржева Ровенского повета, даже такое

описание, в котором будет рассказан всякий его день, и будний и субботний, от рождения до смерти — все равно ничем не будет отличаться от такого же описания жизни любого иного Менделе из соседнего села или даже из дальнего повета Вольнской губернии.

Будем поэтому очень кратки. Когда Менделе исполнилось три года, ему остригли волосы, и каждый из гостей, — а было гостей четверо, — подарил ему по грошу. Еще через три года Менделе отдали в хедер, где, под руководством меламеда, имевшего привычку больно колоть ребят заостренной тайтеле, он постиг премудрость от «алеф» и «бэз» до Торы и Пророков. Но постичь мудрость Талмуда Менделе не пришлось, потому что он был вынужден оставить хедерные науки, едва достигнув того счастливого возраста, бар мицве, религиозного совершеннолетия, когда ответственность за грехи с плеч родителей перекладывается на собственные плечи согрешившего. По крайней и унижительной бедности родителей и всех предков, Менделе не пришлось мечтать не только о ешиботе, откуда выходят великие ученые, но и о бес-медреше, откуда также выходят не полными дубинами. Именно поэтому на плечах Менделе выросла не талмудистская гморе-коп, а самая обыкновенная голова.

А дальше уже совсем нечего рассказывать. Трижды в день Менделе бегал молиться, не пропуская ни шахрис, ни минхе, ни майрив, а в промежутках обделывал делишки мизернейшие и грошовые, для которых у него, однако, никогда не хватало оборотного капитала, почему главные усилия обращались на добывание гмилус-хесед, беспроцентной ссуды, которую приходилось возвращать немедленно, иногда в тот же день, а завтра начинать поиски снова. Так бегал Менделе шесть дней в неделю, а на седьмой день все, кто мог, ели и субботние калачи, и чолент, кугель, а Менделе оставалось только петь в честь субботы змирес, ничем своего пения не закусывая.

Именно так Менделе прожил назначенные ему шестьдесят шесть лет, с утра до вечера бегая и суетясь, причем успел на бегу жениться, на ходу народить детей, и все это совершенно неизвестно как и зачем. За эти годы он имел все болезни, какие полагаются на долю еврея, так что к концу жизни кости его устали и ныли до невозможности. Его жена успела умереть раньше него, а выжившая половина детей разбрелась по разным селениям, поветам и губерниям в поисках судьбы, хоть сколько-нибудь отлич-

ной от Менделевой. Наконец, выпал и для Менделе удачный и счастливый день исполнения желаний: его кости внезапно перестали ныть и томиться, бежать было больше некуда, спешить не к чему, и Менделе, развалившись настоящим паном, важно покачиваясь на чужих руках, отправился занять отведенное ему пространство земли на местном еврейском кладбище.

И действительно, в течение десяти лет кости еврея пребывали в полнейшем покое. Сроки мы установили с полной точностью и можем удостоверить, что Менделе упокоился на самом хвостике осьмнадцатого века, в октябре 1799 года, очевидно, совершенно не желая продолжать ту же канитель и в новом столетии. А событие, о котором мы хотим рассказать, произошло в октябре 1809 года, в чем нет никакого сомнения, потому что именно в этом году во всей Волынской губернии был скотский падеж.

* * *

Коровья смерть ходит обычно на Агафью, пятого февраля. Так она и вышла, откуда знала, а в село Оржево добралась лишь спустя лето. Надо было ее заговорить заранее или заготовить травы-плакуна с Иванова дня,— да как-то не подумали и не удосужились, а после и каялись, да поздно!

Началось с того, что у Осипа Зелюшка на заре пала боденушка, правда недодойка, а все же большое горе. Сначала думали, что объелась росистой травой — и спучило. Наскоро вилами прокололи ей бок, потом брюхо,— но не помогло, околела птрусеня.

Чтобы и другие коровы не поддались черному глазу, Осип Зелюшко принял меры: опахал свой двор сохой на жене. Да, видно, не в тот час, или надо было не посолонь, а напротив. Одним словом, за недодойкой пал теленок-отъемыш, потом у соседа, у Андрея Ковальцова, пала одна яловка да одна переходница, а у Корнея Товчина буренка,— и пошло чистить по дворам и хлевам.

Какие меры ни принимали — ничто не помогало. Каждую ночь высылали девку бить сполох, чтобы напугать ведьму,— но пугались только собаки и лаяли до утра. Потом мужикам не велели выходить, и бабы голыми запрягались в сохи и опахали на себе всю деревню; домой вернуться не успели, как у Романа Жуя свалилась белуха. Не помогали никакие нашёпты и снадобья, ни зола

из семи печей, ни соль из семи изб, ни тирлич-трава, ни медвяная роса, ни сбрызгиванье.

Стали тогда прогонять скот через живой огонь. Два парня терли куски дерева, а когда загорелось, бабы развели огонь в канаве, и над тем огнем провели всех коров, и всех бычков, и всех телят до единого. Думали: ну, теперь болезни конец! А наутро пал бычок, даром что ему опалило огнем брюхо и все отличия.

Нужно сказать правду: не было на деревне хорошего знахаря, так что все лечение шло вслепую, а ведь это целая наука. Грамотеем был на селе только один Роман Жуй, которого и считали чернокнижником. В действительности Роман Жуй иногда промышлял жидокопством: разрывал на еврейском кладбище могилы состоятельных покойников, но дохода с этого имел мало, денег не находил, а какие вещицы — те сбывал за гроши.

И все-таки к Роману Жую пришлось обратиться за последним средством против скотьяго падежа, на этот раз за вернейшим. Всякий знает, что лучше всего против мора помогают кости еврея, вырытые из могилы и перенесенные в хлев. Дело это страшное и ответственное, но уже лучше пойти на это, чем видеть, как валяются и мрут птрус и боденки, мужицкое достояние.

Договорились втайне: Роман Жуй, Осип Зелюшко, Корней Товчин и Андрей Ковальцов, все люди молодые и смелые, готовые поработать для общества. Роман и Осип со своими лопатами, Корней и Андрей с мешками. Ночь выбрали лунную — на девятое октября. Снег еще не выпал, но земля была уже мерзлой.

Повел их Роман Жуй в бедную часть кладбища, где не было на могилах почти никаких отметин. А так как нужны были только кости, то свежих не копали, а наметили холмик постарше с самого края. Что выкопали, то посклали в мешок, стараясь прихватить побольше, потому что ведь это же на все село, на все дворы, где имеются коровы.

Так кончился покой Менделе и началось новое странствие его костей, достаточно усталых при жизни!

* * *

Разборку костей начали у Романа Жуя в его хлеве, тайно от баб. Если к такому делу сразу допустить баб — не оберешься ссор и споров!

Дело в том, что каждому приятно получить костку лучше и полечebнее, а разбираются люди плохо, костесловию не обучены.

Роман Жуй прямо сказал:

— Кому что, а кострец, ребята, мне, как условлено.

И конечно, лучшие косточки поделили между собой, как бы за работу. Осипу Зелюшку — бедренный мосол с вертлюжной головкой; левое стегно — Корнею Товчину, правый будыль — Андрею, а Роману, сверх оговоренного им крестца, дали плечевину. Затем каждому еще по одному позвонку, причем Роман мудро заметил:

— У них, у жидов, через эти косточки становой мозг проходит.

И только потом кликнули баб и других мужиков делить добычу.

Подходили с опаской: все-таки дело нечистое и волшебное. Иные спрашивали: почему такое, что кости темные? Знающие разъясняли:

— Симова кость святая, Афетова белая, а Хамова кость черна!

Бабы прямо в руки не брали, а прихватывали подолом. Кто помоложе, тот пытался острословить:

— Жид попался костливый!

— Костлив окунек, да уха сладка!

— А нет какой косточки-счастливки?

— Скажешь! То бывает от разваренной кошки!

— И что же с нее делается?

— А то и делается, что человек невидим.

— На что ж ему невидиму?

— В чужой дом войти, а то и оброку не платить.

С опаской да с шуткой, все же разобрали весь мешок еврейских костей: кому — лядвея, кому — берцо, этому — плюсна с перстами, иному — цевка, а кто опоздал — удовольствовался пальцами: наладонным, шишом, средним, четвертым, а то и мизинцем.

На расставаньи, вертя в руках оставшуюся бабку, Роман Жуй изрек:

— Теперь, братцы, как приехали в гости старые кости, можно сказать, всем напастям конец; а ежели у кого случится, значит, — пеняй только на себя. А мы для общества постарались.

Мужики хором ответили:

— Чаво уж тут, покорнейше благодарим!

* * *

«В Волынской епархии в последней минувшего 1809 года половине кликуш, притворноюродцев, босых, также и других суеверий не было, кроме что Ровенского повета, как рапортом ныне от тамошнего духовного правления донесено, в селе Оржеве жители вырыли мертвого еврея кости и оные по суеверию держали в своих хлевах ради прекращения скотского падежа, о каковом их поступке произведено ровенским земским судом следствие, и оное отослано для поступления с виновными по законам в тамошний поветовый суд. О чем и что в монастырях, соборах, также соборных и приходских церквах поучения читаются, Святейшему правительствующему синоду по силе указа смиреннейше рапортую епископ Даниил».

* * *

Столь кощунственно и святотатственно похищенные с кладбища кости неизвестного еврея приказано доставлять в канцелярию нижнего земского суда для дальнейшего препровождения в суд поветовый.

Доставлены были отобранные у баб и при обысках в хлеву кости: бедренный мосол один, таранная кость одна, лядвей обе, будыль одна, плюсны обе, череп один без челюсти, пальцы: наладонных два, да шишов два, да средних тоже два, четверных один, мизинец один, другого же не найдено. Да у преступного жидокопа Романа Жуя отобран евреев кость, да цевка, да плечевина, да того же еврея от которой-то ноги бабка.

Вышеозначенные неизвестного еврея кости, по описи оных и миновении в них надобности, препровождены раввину на предмет вторичного оных похоронения на отведенном кладбище, что и исполнено.

Что же касается до ненайденных частей означенного еврея, то их предписано, при случае обнаружения у частных лиц, отбирать для уничтожения вредных суеверий и представлять в нижний суд для восполнения описи, пока не будет собран весь костяк, за исключением ребер, как явно временем уничтоженных еще до выкопания из соответствующей могилы.

* * *

В ночи лунные снует по местечку беспокойная тень старого Менделе, шарит у порогов и у запертых хлевов,

замирает у синагоги — и опять бежит дальше, как и всю свою жизнь суетливо и без остановки бегал Менделе, конечно, за исключением суббот. Не будет полного покоя, пока не все косточки собраны, — а где же их собрать!

Что кости Менделе не знали покоя при его жизни — это и понятно и естественно, потому что такова судьба еврея от самых дней выхода из Египта; но чтобы и по смерти не было костям его покоя, — на это старый Менделе не согласен, и нет на это указания ни у Пророков, ни даже в Талмуде.

По утрам, едва в синагоге соберется десять евреев, невидимо проникает туда и тень Менделе. Прикрывшись невидимым талесом, она вместе с другими совершает давен и все голоса покрывает своей жалобой.

Потому что горе Менделе — превыше всякого человеческого горя, и его впереди всех должен услышать тот, чье имя неназываемо!

ПРИКЛЮЧЕНИЕ КУКЛЫ

Как случилось с Микеланджело, так же точно произошло и с русским кустарем Иваном Рыжевым.

Достался великому Микеланджело преогромный кусок мрамора самой отличной породы; колоть его на части — жалко, а что же высечь из цельного куска? Смотрел-смотрал Микеланджело, и в некий момент встал в его воображении юноша Давид, такой величины, что таких и взрослых не бывает; и весь юноша, вместе с пращей, вошел в кусок мрамора очень ловко и без остатка. Можете убедиться, побывав во Флоренции.

А с Иваном Рыжевым, даровитейшим кустарем-самоучкой, дело было так.

Бил Иван баклуши, — но не в том смысле, как это теперь понимают, а в первоначальном, деловом. Баклуши — деревянные чурочки для всяких поделок, для разного щепного товару. Наколов таких чурок сколько требвалось, приступил Иван к изготовлению монахов.

Раскрашенные куклы монахов и монахинь ходко шли на ярмарках, и купец Храпунов выделывал их на своем кустарном заводе в Богородском уезде Московской губернии, а также заказывал кустарям-одиночкам, которых было много в игрушечном районе близ Сергиева Посада. Делали монахов деревянных с раскраской, делали и глиня-

ных, внутри полых, с горлышком в клубуке — как бы фляга для разных напитков.

· Кто первый сделал монаха — неизвестно. Но известно, кто первый сделал монаха со снопом, а в снопе спрятана женщина: именно Иван Рыжев.

Было так, что одна чурочка оказалась с горбылем: с одной стороны ровная, а с другой закруглилась горбиком от попавшего сучка. Дерево хорошее, бросить жалко. И вот стал Иван Рыжев смотреть, как смотрел когда-то Микеланджело, и усмотрел сноп, перекинутый у монаха через плечо. Самый же сучок в расколе до удивительности напоминал бабье лицо.

Иван заработал ножичком с обычным своим неоцененным искусством. Вырезав — загрузовал белым, а по белому разрисовал, как обычно, яичными красками. И ожил монах!

Идет, старый и длиннородый, согнувшись под тяжестью, в черной манатье, в черном клубуке, несет на плече желтый ржаной сноп, а из того снопа в одну сторону торчит бабья головка, в другую — ножки.

Игрушка-балашка, детская потешка, но богоугодная: видно сразу, что спас монах женщину от какого-нибудь бедствия, вынес ее незаметно в снопе и доставил в безопасное место. И хотя баба внаготку, одежды на ней не видно, но все неподобающее прикрыто соломой, так что никому не зазорно.

Приняв заказ от Ивана Рыжева, купец Храпунов игрушку оценил. Повертел в руках, щелкнул бабу по деревянной пятке, хитро улыбнулся: пойдет! И заказал Рыжеву наделать таких именно монахов, со снопом и с бабой, десятка четыре — на пробу.

На первом базаре в престольный праздник всего бойчее были раскуплены монахи со снопом. Даже и цена на них повысилась. По рыжевской модели стали работать и другие кустари, так что появились монахи со снопом на всех ярмарках и в Москве, на Красной площади, разошлись и по всей России.

* * *

В 1821 году был праздник в Саратовском монастыре и, конечно, ярмарка. Навезли продавцы товаров: разного кустарного барахла, посуды, игрушек, образков, чарочек, фляжек, ложек, тут же и сладости — пряники расписные и подовые, леденцы, постный сахар, орехи, подсолнечное

семя. Сам архимандрит Савва прошелся по рядам балаганов и лотков, особо остановившись посмотреть яркие цветные игрушки. Хороши старик со старухой, она в красном сарафане и ярко-синем повойнике за прялкой, он — в синей рубашке, расцвеченной у ворота красной полосочкой, а между ними на лавке, как статуи, черная кошка. Хорош и пляшущий крестьянин со скрипкой, не хуже всадник на серой лошади в яблоках, и очень забавен для деток Ноев ковчег, игрушечный домик, внутри оклеен обоями, а в нем уложены разные зверушки, семь пар чистых и две пары нечистых, как и полагается по священному писанию.

Хороши херувимчики и серафимчики, розовые и шестикрылые, у иных в задике свистулька — развлечение для детского возраста. Ходит разносчик середь толпы и покрикивает:

— А вот — остатки небесных сил! Штука семишник, за две пяточок!

И монахи хороши — стоят на прилавках рядами, которые подешевле, работы топорной, а которые в блеске красок и лакировки. Иные потоньше, другие в полном теле. Есть и такие, что видно: не пожалел кустарь дерева на иноческое чрево. Но это ничего, обиды в том нет. Смотрит игумен Савва и ухмыляется с добротой: он и сам природой не обижен.

И вот тут-то и попадись ему на глаза рыжевское творение: старый монах со снопом, а в снопе неведомая женщина.

Посмотрел неодобрительно и сурово, ничего не сказал, а вернувшись в монастырь, послал отца-ключаря купить либо просто отобрать у торговца две штуки на просмотр.

Не все понимают чистое искусство, и много в людях напрасной подозрительности.

* * *

Саратовскому преосвященному Амвросию от архимандрита Саввы донесение.

При донесении пакет за монастырской печатью. В пакете расписная кукла-монах со снопом.

Было над чем задуматься! Есть ли сие монашеский подвиг — или соблазн? Задумался преосвященный, долго рассматривал куклу, даже поскоблил ногтем бабью голову у горлышка. Вспоминал, нет ли такого предания о мо-

нахе, спасшем женщину в снопе,— но припомнить не мог. В прежнее время оставил бы донос без внимания, но нынче пошли по духовному ведомству строгости, а черное духовенство имеет сильную руку даже при царском дворе: молодого старца Фотия, а за ним благочестивую девицу графиню Анну Орлову-Чесменскую. Лучше пересолить, чем недосолить!

Первым делом решил преосвященный снести по делу с управляющим Саратовской губернией.

Губернатором был старый генерал, пустяков не любивший. Однако кукла ему понравилась:

— В чем дело? Ну, несет монах бабу — и на здоровье! При чем тут губернаторская власть?

— Ходатайствует преосвященный о воспрещении.

— Пусть и обращается по ведомству министерства финансов.

— Финансовое ведомство, ваше превосходительство, все равно запросит отзыв губернского правления.

— Не хватало, чтобы мы в куклы играли!

И поехал многострадальный монах дальше по путям бумажным, с копией жалобы и отзывом властей губернских.

* * *

Вот он и в городе Санкт-Петербурге у министра духовных дел князя А. Голицына.

Повертел князь Голицын куклу так и сяк, усмехнулся в усы, но кстати вспомнил про главного своего неприятеля Фотия. По архиерейскому докладу выходит, что тайные враги духовенства сеют в народе соблазн. Однако губернское правление в отзыве своем пишет иное:

«При рассмотрении при сем прилагаемого произведения кустарной деревянной промышленности саратовское губернское управление полагает, что данная игрушка служит не соблазном, а лишь примером добродетели, представляя старца, стремящегося спасти невинную жертву от злодеев. На указанном основании губернское правление не видит достаточных оснований для представления в ведомство государственных финансов на предмет ходатайства о воспрещении продажи вышеуказанного образца рыночной торговли оптом и в разнос».

И однако, зачем-то несет монах женщину! А где же разбойники?

В сём спорном деле чиновникам не доверяя, пишет

князь А. Голицын собственноручное письмо министру внутренних дел графу Виктору Павловичу Кочубею, приложивши к тому письму и обвиняемого монаха, несущего сноп с запрещенным содержанием:

«Усматривая, что такое изображение может дать повод к толкам, противным благонравию, и, заражая тем невинные понятия неопытной юности, внушить неуважение к духовенству — поставляю долгом препроводить к вашему сиятельству означенную фигуру, предоставляя на усмотрение ваше, милостивый государь, угодно ли будет вам снести с г. министром финансов о воспрещении продавать и выдвывать на фабриках подобные вещи или не признаете ли нужным поручить мне».

* * *

Перед столом министра внутренних дел стоит секретарь с бумагами.

— А это что за чучело?

— Кукла, ваше сиятельство. При письме князя Голицына.

Граф Кочубей — человек светский, без предрассудков.

— Ловко сделана! Куда же монах несет эту... солому?

— Полагаю, ваше сиятельство, что в безопасное место.

— Не иначе, как в безопасное! А как там сказано, в губернской бумаге?

— Спасает невинную жертву от злодеев, ваше сиятельство.

— Да уж, очевидно, спас, коли несет. Князь, значит, не согласен?

— Высказывает опасение, что сим колеблются невинные понятия неопытной юности.

— Ну, юность тут, пожалуй, ни при чем; монах старенький. Нужно, однако, ответить, а?

— Я бы полагал, ваше сиятельство, препроводить министру финансов на усмотрение, приложив и подлежащий суждению предмет.

— Вы уж напишите сами и дайте мне. А куколка неурна, а?

— Работа отменная, ваше сиятельство.

— Мордочка у бабы словно бы напоминает графиню Орлову. Вы эту отошлите при отношении, а мне постарайтесь раздобыть такую же. Хороша куколка!

* * *

«7-го ноября 1821 года. Циркуляр министра финансов управляющим губерниями. Принимая во внимание, что на некоторых фабриках деревянных изделий изготовляются для продажи фигуры безнравственного содержания, могущие дать повод к толкам, противным благонравию, и, заражая тем невинные понятия неопытной юности, внушить неуважение к духовенству, а также основываясь на жалобе преосвященного саратовской епархии, отзыве управления Саратовской губернии, отношении министерства духовных дел и министерства внутренних дел, предписывается вашему превосходительству воспретить повсеместно во вверенной вам губернии производство и продажу раскрашенной деревянной куклы, изображающей монаха, несущего сноп со включенной в оном женщиной неизвестного происхождения и для невыясненной цели, могущей возбуждать сомнения. О последующих ваших распоряжениях по сему предмету благоволите уведомить немедленно канцелярию господина министра финансов».

— Самый предмет препроводить, ваше высокопревосходительство?

— А сколько прислано образцов?

— Один, ваше выс-ство.

— Как же вы разошлете при всех циркулярах? Соображать надо, молодой человек! Оставьте куклу здесь, я еще рассмотрю. А недурно работают наши кустари!

* * *

У Ивана Рыжева новая изба. Сам уже не бьет баклуши— на то есть помощник. Другой помощник, паренек способный, выделывает монахов начерно, а Иван только доканчивает и раскрашивает саморучно яичными красками.

На ярмарках лотошник пытается у оптовика:

— Чего получше нет, Митрич?

— Какого тебе получше?

— Мне бы пяток со снопом. Цена-то как нынче?

— Цена нынче за штуку рупь.

— Летось по три гривенника давал.

— Ныне не те времена.

Юркий разносчик выглядел покупателя:

— А что, ваше степенство, не нуждается ли в чернец с бабочкой?

— Какой такой чернец?

— Извольте посмотреть в сторонке. Спасение невинной жерты. Душевный иннок избавляет барышню от разбойников. Благородные побуждения престарелого старца.

БОРОДА

На заводи Москва-реки, где ныне Каменный мост, брала рыба почем зря, чуть не на пустой крючок, и рыба не малая: язь, сазан, крупная плотва, окунь и на живца — зубастая щука. Для царского стола ее ловили сетью, а мальчишки и взрослые таскали ее на уду ради простого удовольствия.

Самым главным любителем этого дела был нарышкинский кучер Левонтий, мужик здоровенный, бородатый, душою же — чистый ребенок.

Леску для удочек Левонтий сучил сам, как предками заповедано, из конского волоса, а волос драл из хвоста коней, к которым был приставлен, на что кони нисколько не обижались, только при каждом подергивании пригибали уши, а если сразу три волоса — пристукивали копытом. Когда же пала серая кобыла, отслужившая свой лошадиный срок, Левонтий, чтобы добро не пропадало, догадался отрезать ей хвост начисто про запас. Отрезав, перевязал сыромятным ремешком и повесил на деревянном колышке тут же, в конюшне, чтобы пока чистить о хвост расческу, когда же понадобится — тянуть и на леску.

Хвост повисел-повисел, да и пропал. Всего вернее — играли им ребята и куда-нибудь затащили. А то не раз брала его жена Левонтия, дворовая уборщица, чтобы сбивать паутину в покоях боярыни, где тряпкой не достанешь. Одним словом — пропал хвост, и особого горя в том не было, потому что запас волос в живых лошадиных хвостах не переводился, и не было тогда такой моды, чтобы оставлять упрежженным коням только кисточки.

* * *

О Петре Великом написаны книги, а о Тимофее Архипыче, его современнике, едва сыщешь историческое упоминание. А между тем это были равные силы: Петр Русь ломал и перекраивал — Тимофей Архипыч залечивал и выправлял.

В молодости Тимофей Архипыч был художником-иконописцем. Бродил по монастырям, сам делал кисти, сам тер-варил краски и наводил красоту на церковные стены. Был склонен к шалостям и браге, не уклонялся и от кулачного боя и оставил по себе память во многих женских сердцах. А когда царь Петр принялся стричь именитым людям полы кафтанов и бороды, Тимофей Архипыч стал во главе Руси юродствовавшей и пристроился в покоях царицы Прасковьи Федоровны, жены царя Иоанна Алексеевича. И все, что Петр заводил, все это натыкалось на упорство людей старой веры и старых обычаев, на неколебимую твердыню ханжей, уродов, святош и хитрых дурачков.

Умер Великий Петр, а за ним вскоре преставился и блаженный старец Тимофей Архипыч. Был плач по нем при дворе императрицы, особенно же горевала Настасья Александровна Нарышкина, царицы Прасковьи верный друг и почившего старца усердная почитательница.

Поминали старца кутьей, милостыней и панихидами. Схоронили его в тридцатый день мая в Чудовом монастыре, где в покоях настоятельских имеется его живописный портрет.

Отдыхают старые кости в могиле. Не слышно больше в горницах любимого припева Тимофея Архипыча: дон-дондон. Осиротела семья дур, шутих и юродивых: лишилась главы и начальника. В остальном без особых перемен: прежним руслом течет Москва-река, и кучер Левонтий по глиняному скату сползает к заводи, где у него приспособлены мостки в самом добычливом месте.

Старой женщине, Настасье Александровне, не спится. Жизнь бесшумная и покойная прожита, сын вышел в большие люди и уже внучек входит в возраст; но ими только и держится род Нарышкиных, не благословленный плодородием. Про внука писали, что здоровьем слаб, по весне болел краснухой, едва оправился. Но главное горе не в том, а в падении в людях веры, в непочтении к старине; и сим духом кощунства и гордыни заражены и потомки рода Нарышкиных. Сын бороды не носит и ходит в куцом камзоле, а про старца Тимофея Архипыча осмелился отписать: «Одним дурнем меньше». Куда идут люди — к какой пропасти, к какому огню неугасимому! С верой православной что будет?

В бессонные ночи старая боярыня, оставив теплую постель, уходила в свою моленную и часами была поклоны,

не жалея ни коленок, ни лба, простираясь на холодном деревянном полу, шепча молитвы и заклинания. Знала на память со слов старца лучший заговор из сказания преподобного отца нашего Сисиния о двенадцати трясовицах; об окаянных тресее, гнетее, ледее, гнедее, глухие, грудице, проклятой корноше и злющей вевее, сестре страшной плесовице, коя усекнула главу Иоанну Предтечу. Кто те имена слышит — тому лучше бежать от них за тридцать поприщ! А кто творит против них молитву — тому не будет погибели до скончания века его.

И была такая ночь, что молилась Настасья Александровна даже до полного забвения чувствований, дрожа в холоде и не согреваясь слезами до самой зари, прося Всевышнего, чтобы род ее остался навеки верен истинному православию и за то бы не прекращался никогда. И вот тут-то было ей достопамятное видение. Свет восковой свечи вспыхнул ярко, оторвался, поплыл и остановился посередь моленной, превратившись в лучезарное облако, а на том облаке, как бы на воздушех, явился покойный Тимофей Архипыч с длинной седой бородой, каковая борода, вместе с его, блаженного, ножками, спускалась с облака почти до самого полу.

Видя то, Настасья Александровна обомлела и потряслась страхом, но Тимофей Архипыч успокоил ее знакомым голосом, торжественно произнеши:

— Не бойся, Настасья! По прошению твоему беседовал я нынче с Богом, и Он мне сказал, что полностью просьбы твоей удовлетворить не может; однако обещает, что род твой пребудет в православии и не прекратится, пока будешь ты, твои дети, внуки и правнуки свято хранить сию мою бороду из рода в род, каковую тебе и вручаю.

При этих словах Тимофей Архипыч махнул ручкой, и борода его пала к ногам боярыни, сам же он остался как бы начисто бритым.

Прежде чем видение исчезло, Настасья Александровна, страх преодолевши, успела спросить:

— А как же сам ты, старец блаженный, останешься без бороды?

На что слабый голос из растаявшего облака ей ответил:

— Выращу новую, Настасьюшка, знаю такое верное снадобье.

Очнулась старая боярыня лежащей на холодном полу в забытьи, в руке же сжимала изрядную прядь предлин-

ных седых волос, перевязанную сыромятным ремешком. От слабости на ногах шатаясь, добрела до своей почивальни и, бороды не выпустив, проспала до позднего часу.

* * *

Сей талисман хранился долго в семье Нарышкиных. По приказу Настасьи Александровны был сделан ящик ценного дерева, на дно которого была положена шелковая подушка, набитая лебяжьим пухом, и на ту подушку возложена борода Тимофея Архипыча. При возложении ее созваны были родные, и вся дворня, и все шуты и шутихи, и много бедного призреваемого люда. Кучер Левонтий, ту бороду увидя, обомлел от ужаса и на час потерял способность речи, но и позже про то дело не проронил слова, приказав молчать и жене. Когда же священный талисман увидал сын Настасьи Александровны, наехав погостить из Санкт-Петербурга, то кощунственно заметил:

— Сдается, что это не борода, а лошадиный хвост!

Однако талисман охраняли и берегли свято в память Настасьи Александровны, которая скоро вслед за тем преставилась.

Цари сменялись царями, и катилась история крылатым колесом. В 1812 году пришел на Москву чудовищный Бонапарт, посидел в Кремле и едва унес ноги домой. Внук Настасьи Александровны, вернувшись в Москву, опустошенную пожарами, купил новый дом на Пречистенке. Переезд был долг и хлопотен, перевозили скарб и из старого дома, и из деревни, и была немалая возня с любимыми Ивана Александровича коллекциями, так как человек он был современный и науке не чуждый. Особенно была хороша коллекция белых мышей, которых Иван Александрович разводил любовно за их редкость, а также приручал, так что они ползали у него под фраком, залезали в рукава и выползали через ворот, вызывая не только всеобщее удивление, но и ужас и отвращение женщин, — зато и радость малых детей.

Те белые мыши содержались в больших клетках в особой комнате. А как перевозить их в клетках было невозможно, то Иван Александрович придумал для них иное временное помещение, где им пришлось просидеть дольше намеченного. Все же перевезли их благополучно и опять рассадили по клеткам в новом доме, а ящик, служивший

для перевозки, Иван Александрович приказал отправить на чердак, где он и простоял еще два-три человеческих поколения, до конца прошлого века.

Казалось бы, что ни мыши, ни ящик в нашем рассказе ни при чем. А между тем Иван Александрович, не желая огорчить жену, скрыл от нее странное происшествие. Дело в том, что ящик был тот самый, в котором хранилась борода Тимофея Архипыча; белые же мыши, наголодавшись в ящике, съели не только сырмятный ремешок, но и самую бороду, хотя вкуса в ней не могло быть никакого. Съели не целиком, но все же настолько, что все ее велелепие исчезло, а к тому же сильно попортилась и загрязнилась и подушка. Все это Иван Александрович скрыл, не придав никакого значения, но боясь неприятностей от своей жены Екатерины Александровны, урожденной Строгановой, женщины серьезной и почтительной к заветам старины.

А уж дальше — суеверные могут охать, а маловерные над ними смеяться, но только в тот самый год тяжко заболел за границей внук Ивана Александровича и впоследствии от этого недуга сошел в могилу бездетным, хоть и был женат на девице Кноринг. А так как у второго сына Ивана Александровича детей мужского пола не было, то тем самым эта ветвь дома Нарышкиных вскоре пресеклась, как и было то предсказано явившимся на воздушех г моленной Тимофеем Архипычем.

* * *

Старинные предания поучительны, и не следует относиться к ним с легкомысленным смешком.

И неплохо в вечной тревоге мира сего поступит тот, кто, современности не смущаясь, насмешек не боясь, даст своей бороде произрастать свободно, охранив и ее и себя от напастей заклинаниями отца нашего Сисиния:

«Ты еси окаянная Тресея!

Ты еси окаянная Глухия!

Ты еси окаянная Грудица!

Ты еси окаянная Корноша проклятая!

Ты еси окаянная Вевея — сестра страшная плесовица, усекнула главу Иоанну Предтечу!

ДЕВИЦА, ВЗЫСКУЮЩАЯ ЖЕНИХА

Если бы пристойно было допустить, что высокий архипастырь будет биться в истерике или, придя в последнее неистовство, дубасить кулаками почтенных возрастом женщин, — то, говоря по совести, все права на это имел преосвященный Варлаам, пензенский архиерей, известный своей добротою и вниманием к нуждам духовного сословия. Потому что можно выносить человеческую глупость и тупое упорство месяц; можно, скажем, и год; но изо дня в день семь лет подряд — это уж вне человеческих сил, да вряд ли по плечу и большинству ангелов!

Мы говорим «семь лет», но, может быть, и более. Однако только за семь лет, с 1854 по 1861 год включительно, имеются в пензенской духовной консистории документы по неоконченному «делу девицы Евпраксии, взыскующей жениха».

Конечно, обычай рождает право. Обычай же был таков, что если в селе умирает священник и оставляет совершеннолетнюю дочь, то место в селе зачисляется за нею, с тем, конечно, что она выйдет замуж за семинариста, кандидата в священники. Это не всегда было удобно, но такой обычай оказывал великую помощь бедному сельскому духовенству, — иначе осиротелые семьи шли бы по миру.

Преосвященный Варлаам обычай соблюдал и о девушках-сиротах заботился, и не только зачислением мест, но и подысканием подходящего жениха: и выступал сватом, и помогал денежно. За это его любили и почитали.

Умер отец Сильвестр, священник села Вороновки Городищенского уезда. Остались после него уже престарелая, хотя достаточно бодрая попадья, отличавшаяся невероятной тучностью и соответствующей бесхарактерностью, и дочь Евпраксия, высокая, худая, но характера необыкновенно твердого, что она впоследствии и доказала.

Евпраксия была совершеннолетней; будет точнее сказать что она была в высшей степени совершеннолетней, особенно по тем временам, когда девушки иной раз невестились по тринадцатому году. Девице Евпраксии было не тринадцать и даже не вдвое больше лет, а почти втрое: тридцать семь — к началу дела, сорок три — к последнему консисторскому о том деле документу. При том единственной положительной чертой лица девицы Евпраксии была несокрушимая твердость его выражения, остальные же

черты были, скорее, отрицательными. Твердости не мешала безбровость и способствовал выдающийся нос; о ней говорили сжатые губы, как верхняя, с легкой усатостью, так и нижняя, с зачатками под нею юной, но мужественной бородки. В противоположность своей матери девица Евпраксия отличалась не округленностью, а скорее, прямолинейностью форм, так что, при повороте головы в профиль, было нелегко догадаться, какая часть ее тела может быть предпочтительно принята за фасад, и какая за обратную сторону. Вероятно, поэтому семинаристы в Пензе прозвали девицу Евпраксию «Эвклидовой геометрией».

Внешняя мужественность не препятствовала девице Евпраксии не только ощущать себя женщиной, но и сознавать все свои права иметь достойного мужа, притом немедленно, потому что в серьезных делах промедление смерти подобно, что девица Евпраксия, хотя и неграмотная, прекрасно сознавала. При жизни отца ее право на мужа не имело под собой юридической основы; теперь оно было прочным и несомненным, так как к ранее собранному приданому прибавился отцовский священнический приход — достаточный привесок к личным достоинствам невесты.

Можно себе представить поэтому негодование и возмущение как девицы, так и ее матери, когда на прошение о зачислении места за сиротой преосвященный Варлаам написал:

«Девица вышла из лет, навязывать такую невесту я никому не могу, и если кто будет брать по желанию, на то будет его воля, и какое-либо вспомоществование от попечительства дается».

Это еще не было официальным отказом, который, однако, воспоследовал, когда преосвященный, для верности, запросил консисторию о летах девицы: тридцать семь! Где же найти такой невесте подходящего женика-семинариста! И архипастырь, почерком мелким, спокойным и почти без закорючек, начертил в левом верхнем уголке справки:

«В выдаче этой вышедшей из лет дочери за кандидата священства отказать навсегда. Если же кто из холостых дьячков и ее лет возьмет ее, за такового выдать никто не воспрещает ей».

И вот тогда началась семилетняя война.

Нет греха в том, что почтенный архипастырь любит после утомительной работы закусь, поспать часок и, одр

оставив, выпить чашку-другую чаю с малиновым вареньем и единой ложечкой того, его же и монаси приемлют. В жизни преосвященного Варлаама сии минуты были самыми счастливыми: полнейший покой.

И вот в такое именно время докладывают ему, что пришли две женщины и просят принять их немедленно по сиротскому делу крайней спешности.

— Скажи, пусть придут в час приемный.

— Сказал, да никакого резону не слушают. Полчаса уговаривал, вашему преосвященству не докладывая, и в переднюю пущать не хотел, да где же справиться! Старшая, матушка, будучи объемом шире двери, заперла собою вход, яко пробка, а младшая видом столь грозна, что не доложить побоялся.

Пришлось принять не в очередь — по пастырской доброте.

Сколько времени длился разговор — мы не знаем, но только к остывшей чашке преосвященный вернулся измученным. Ведь вот какой случай! Уверяет вдовая попадья, что хоть ее дочери и вправду больше тридцати лет, но к браку совершенно готова, и что все село Вороновка желает дочь ее Евпраксию иметь у себя священницею.

— Да ведь что ж священницей, когда священника нет!

— Благоволите выдать замуж поскорее, ваше преосвященство.

— Милая моя, где ж я к таким годам почтенным подберу жениха? Нужна хоть тень соответствия. Хотя ваша дочка особа прекрасная, да ведь нельзя же выдать матушку за сына! И ей это неудобно.

— Она, ваше преосвященство, и на молодого согласна, а уж вы прикажите.

— Не могу я приказать, женщина неразумная! Любви человеческой не приказывают; и не должно быть в таинстве брака никакого принуждения.

— По закону полагается.

— Нет такого закону, а обычай тут не у места, ибо вышли года девицы. И не беспокойте вы меня понапрасну, ничего не могу.

— Нельзя девушке без мужа.

— Живут и без мужа Христовы невесты; а если сама найдет человека подходящего и в годах, — благословлю и помогу пособием. Идите с миром, милые, не тревожьте себя напрасными желаниями.

— Ждать невозможно, ваше преосвященство, девушка в беспокойстве...

А девица Евпраксия, голосом мужественным и твердым, долбит голову преосвященному:

— Кому ждать можно, а мне нужен жених немедленно!

— Не обижайте сироту, ваше преосвященство; дочь единственная...

Так ничего и не мог им вдолбить архипастырь, и едва удалось выдворить их из приемной.

Пришли и на другой день, но впущены не были. Каждодневно дежурили у порога, так что преосвященный, прежде чем покинуть покои, посылал справиться, свободен ли проход. То же самое было и в консистории, где матушка с дочкой, не будучи больше допускаемы, ловили у входа за полу каждого чиновника, кого прося, а кому и угрожая. В часы же неприсутственные попадая с дочерью гуляли против окон местной семинарии, приглядывая и в окнах и на улице подходящего семинариста.

Добр был преосвященный Варлаам,— а не выдержал и предписал благочинному:

«Поелику сия с дочерью меня беспокоит совершенно незаконно и явно вопреки моей резолюции, отштрафовать ее в церкви 100 земных поклонов и обязать подпискою более не просить меня о выдаче дочери ее, как 37-летней, за кого-либо из студентов».

Положенную епитимию мать с дочерью отвергли и подписки не дали, а требовали, чтобы муж был предоставлен девице Евпраксии немедленно, и таковой муж намечен ими в лице выпускного студента семинарии Агафангела Мурашенко двадцати одного года, к браку явно весьма склонного, что и сказалось во всем его поведении, особенно же во взглядах, на девицу Евпраксию неоднократно обращенных как из окна, так и проходя на улице.

Отвергнуть епитимию — случай в духовном сословии тревожный и непозволительный. За такое преступление консистория постановила отослать мать с дочерью в пензенский Троицкий монастырь на один месяц «для научения вежливости».

В монастырь они, однако, не поехали, а заявили, что отныне девица Евпраксия согласна выйти немедленно замуж за другого студента семинарии, а именно за Иннокентия Воскресенского, как наиболее подходящего к священству в селе Вороновке, ими же вполне одобренного.

Причем вдовая попадья, подстрекаемая девицей, просила об этом смиренно и со слезой, сама же невеста подтверждала криком, что ей делать в монастыре нечего, Богу молиться не для чего, а нужно ей жениха тотчас же и безусловно, а ждать и разговаривать некогда.

Так тянулось дело не дни и не месяцы, а два года, пока, с помощью полиции, не водворили неразумных женщин в Троицкий монастырь.

Легче вздохнул преосвященный Варлаам, отдохнули немного и консисторские чиновники, — но взвыл весь монастырь с игуменьей Надеждой во главе. Великий соблазн вышел от тучной попадьи и ее мужеобразной дочери; вместо монастырского покоя и благолепия целый день слышались причитания и жалобы матери и крик дочери: «Хочу мужа немедленно и без малейшей задержки!» Смеялись мастеровые, работавшие над отделкой нового храма, смущенно бродили монахини, растревоженные девичьим неистовством. А так как запрошенный игуменьей архипастырь никак не соглашался сократить срок покаяния неистовых женщин, то неизвестно, чем бы кончился этот соблазн, если бы наказуемые не ушли из монастыря самовольно и не явились бы в город Пензу на предмет продолжения ходатайств о немедленном и безусловном предоставлении девице Евпраксии указанных ею женихов из местных семинаристов.

К концу третьего года от домогательства сироты стонала вся Пенза. Пробовали выслать беспокойных в село Вороновку, пытались заключить их в богадельню; но духовная власть в принуждениях слабосильна, а по законам гражданским — искать и желать мужа не возбранено.

Оставались два способа: исключить их обоих из духовного звания и попытаться заключить в дом умалишенных. На первое не мог сразу, по мягкости характера, согласиться добрый архипастырь: женщины — воистину несчастные! Вторым занялась консистория, запросив губернское правление об освидетельствовании умственных способностей настойчивых просительниц.

* * *

Состав комиссии: начальник губернии, советник, товарищ председателя, оператор, акушерка, протоиерей.

— Сколько имеете от роду лет?

— Больше тридцати.

— Почему, имея сорок лет, утруждаете духовное начальство?

— Желая иметь жениха.

Резолюция испытательной комиссии:

«Мать 60 лет, здоровая, толстая, причем никакого в ней расстройства умственных способностей незаметно. Нормальна и дочь, при неуместном своем домогательстве молодого жениха, каковых причин для заключения в дом умалишенных недостаточно».

Выслушав такое решение, мамаша одобрительно закивала головой, дочь же со всею решительностью заявила, что требует от комиссии предоставления ей жениха, притом без малейшего промедления.

И хотя постановила консистория, а архипастырь утвердил, что девица Евпраксия, потерявшая всякий стыд и вышедшая из повиновения, исключается из духовного сословия, — ничему это не помогло. Была отравлена жизнь доброго владыки, замученные бродили теньями чиновники консистории, и не было дома в городе Пензе, куда не заходили бы время от времени престарелая попадья с дочерью на выданье и не жаловались бы на духовную власть, обидевшую сироту.

Так прошло шесть лет; студенты поступали в семинарию юношами, кончали ее степенными кандидатами. И не было среди них такого, на которого не указывала бы девица Евпраксия как на вполне одобренного ею жениха, подавшего ей надежду взглядом или словом. Иным же она угрожала арестом, если немедленно не даст подписку в согласии священствовать с нею в брачном союзе в селе Вороновке.

Неизвестно, вышла ли замуж девица Евпраксия за молодого семинариста. Известно только, что весной 1862 года преосвященный Варлаам в бесчисленный раз просил письменно гражданское начальство «о содействии к удержанию в собственном значении безумной или глупой девки, имеющей уже такие года, в коих нет для нее ни одного сверстника в учениках, окончивших семинарский курс». Еще известно, что в день ухода архипастыря Варлаама на покой в числе провожавших его была девица Евпраксия, требовавшая от него жениха, и что первым просителем, которого принял его преемник, была она же, в сопровождении уже совсем престарелой, но по-прежнему точной мамыши.

Но так как новый владыко просительниц еще не знал, то и вынужден был осведомиться с любопытством:

— А которая же из вас мамаша и которая невеста?

ДВЕ СТРАНИЦЫ

Наша жизнь серенькая, от сегодня на завтра, тянем-потянем, чего-то ждем, ничего нет, первый звонок, второй испуг — и хлоп: чистая отставка!

А когда видим из своей клетушки, что такое же двуногое скачет по горам, ныряет в пропасти, гремит, горит, творит стальным хребтом свое житие — мы следим завистливым глазом, жуя сухими губами свою малость и бескрасочность, и никак не выходит презрительная гримаса: и нам бы хотелось поплавать в бурю, да нет ни бури, ни корабля, ни этой отчаянной страсти и решимости — все познать, от всего вкусить, а конец для всех один. Да, из разного теста ляпает природа людей!

Известного елизаветинского вельможи графа Р. внук — вот была жизнь! Точно имени не знаю — пусть будет Григорий Кириллович. Родился с беспокойной тревогой в душе и с великой жадностью ко всякому цвету, кроме серого: лебедь — так лебедь, а кровь — пусть кровь. Нам этого и не понять! И жизнь его, обильная тайн, поэма многоголосая и страшная.

Кратко: был балованным мальчиком богатейшей семьи, мать по заграницам, отцу некогда, свобода полная. Учился охотно наукам и языкам, еще охотнее водился с уличными мальчишками, и был улицы, полный происшествий и соблазнов, ценил выше скучной роскоши родного дома. Десяти лет стал пропадать на сутки, на неделю, жил где-то, питался чем-то, отчета никому не давал. По четырнадцатому году ушел из дому и пропал на два года. По темным притонам, а то в компании воров и громил, в деревне на мирной работе, с бурлаками на Волге, со старцами в монастыре, с богомолами в пути к святым местам.

Его нашли и вернули. Охотно сел за ученье, ничего из прежнего не забыл, обучился языкам, читал запоем книги, был готов пойти дорогой богатых и знатных. И вдруг — закутил, сначала молодо, по-московски, потом мрачно, безобразно, промотал свое, коснулся чужого — и исчез. Был за границей конюхом, кучером, почтальоном, хлебопашцем, огородником, слугой парижского веселого

дома. Не хотел вернуться домой к родным и к богатству. Но попался все-таки на родине, работая по сбыту фальшивых паспортов и ассигнаций. От правосудия ускользнул в раскольничьи скиты.

В длинной цепи годин был своим у духоборов, бегунов, у серых и белых голубей. Был взят с самосожигателями и заточен в Соловецкий монастырь. Под старость прощен, выпущен, получил свои родовые богатства, выстроил дом вроде крепости — и в том доме заперся в комнате, отделанной с восточной роскошью. Пищу ему подавали в окошечко, и никто его видеть не мог. И чем кончил — неизвестно: то ли был убит в этом доме, то ли убежал в Турцию.

Из жизни этого человека две странички у нас в руках; происхождения они туманного, лучше не доискиваться. Может быть, что и не точно, — но ведь это не история пишется, а рассказывается жизнь великого сумасброда первой половины прошлого столетия.

* * *

Из брички, подкатившей к подъезду гостиницы, вышли двое: барин и слуга. Барин средних лет, с проседью в висках, крепкий и во всех манерах важный и независимый. Слуга молод, лицом черен, несуетлив. Барин спросил две комнаты, себе и слуге. В комнату баринову слуга внес на плече, будто перышко, тяжеленный кованый сундук, держа в другой руке баульчик заморской работы и постельный сверток. Не прошло часа — все в гостинице знали, что приехал на ярмарку французский граф, по имени Жорж, фамилии не выговоришь, по-нашему знает лучше нашего, а слуга у него из арапов — совсем немой.

В тот же вечер граф появился в игорном доме «Мельница», где кутили и играли кавалерийские ремонтеры и помещики, съехавшиеся на ярмарку со всей губернии: а шулера съехались сюда чуть ли не со всей России. Шулеров звали греками — в честь греческого дворянина Апулоса, еще при Людовике Четырнадцатом помогавшего судьбе одаривать достойного. Из Питера приехал великий Чивеничи, из Москвы француз, прозванный Тала-Бала, из Одессы моряк, профессор пестрой магии, изобретатель зрительной трубочки, в которую из соседней комнаты видны были карты партнеров и меченый крап. Шулера друг друга знали. А кто же такой граф Жорж? То

ли пижон, которым стоит заняться, то ли — сам великий мастер?

В первый вечер граф побаловался в рулетку, проставил тысячу, ухмыльнулся и отошел. За столом метал банк приличный человек с табакеркой: на крышке срамная картинка. По позднему времени бил всех абцужным што-сом: две карты пускал на счастье, остальные крыл без промаха. Граф поставил закрытую — проиграл; загнул угол — проиграл. Протянул руку к табакерке:

— Разрешите понюхать?

— Очень прошу!

Задержав табакерку, граф поставил две новые карты, загнул каждую мирандодем. По второму абцугу вскрыл одну: выиграла соника. Перегнул, сказал: «По прокидке», вскрыл другую — взяла и она; перегнул и ее, положил на первую, глазом не моргнув. Через несколько абцугов взяла графова семерка червей — и банкомет бросил талью. Граф забрал деньги и вернул табакерку:

— Прекрасная анакреонтическая картинка! Не продадите?

Шулера зашептались: кто такой? Пробовали угостить графа кукельванцем — вкусный напиток, выбивающий из головы здравый смысл; граф попробовал языком, поморщился, сказал: «Предпочту хлебного кваску».

Уходя домой, отвел в сторонку хозяина:

— Прекрасное заведение держите.

— Рад служить, ваше сиятельство. Прошу быть гостем.

— Побываю. В рулетку я проставил тысячу. Потрудитесь вернуть десять, сроку вам даю пять минут.

Хозяин побагровел:

— На каком основании?

— Забавляй детей! Черные клетки с зажимом, под столом машинка. И мастера знаю, немец Штольц, по прозвищу «старый геометр». Остается вам три минуты, поторопитесь, а то цена вырастет.

Сунув деньги в карман, посоветовал:

— В кукельванец кладите больше мяты, она миндальный дух отбивает. Да скажите крупье, чтобы легче держал коленкой, когда нажимает под столом пуговку. Меня не провожать! Сам знаю дорогу.

Шел домой спокойно, не оглядываясь. На перекрестке улиц подскочило к нему трое молодцов, один успел цапнуть за плечо, но вырос из темноты графов арап, и оба

они в два счета скрутили нападавших. Поправив им скулы, отпустили, и граф наказал:

— Хозяину скажите: завтра утром в восемь часов пришет двадцать. Говорил ему: меня не провожать! За нарушение условий.

Днем у графа посетители. Хозяину игорного дома сбавил пять тысяч. У вчерашнего банкмета табакерку отобрал, как тот ни плакался:

— Стара штука — работать с зеркальцем! Пойдет в мою коллекцию. А помните семерку, что вас доконала? Вот это — произведение искусства! Сделана из чистого серебра, очков на ней шесть, а седьмое появляется при загибе угла. Я заплатил за нее пять тысяч мастеру. Дарю на память — пользуйтесь!

Прожил на ярмарке еще три дня, купил коней и для вспрыска опойл шампанским весь город. На заре выехал с верным арапом,— и больше никто графа не видал.

* * *

Бредут под дождем пещанского зимовья крестьянин Данило, да белый распоп Тимофей, да вдова Куликина с детьми малыми, да вдова тоже Анна с сыном, да ишимской нижней расправы бывший писарь, ныне просветившийся и сбросивший блюдолюбный образ и отрекшийся хмельного питья. И еще некоторые идут всю ночь под капелию, от водяной тяготы изгибая. Льет вода по брюху и по спинам, и бранды у мужиков слиплись. Идут — не жалобятся, а Данило и не мычит: язык у него вырезан весь, только оставлен малый комочек во рту, в горле накость резан: пострадал молодым за старую веру, не хотел тремя перстами креститься и беса тешить, и метания во церкви творить на колену отверг.

Впереди всех и всех ведет высокий старец Григорий, великий подвижник, крестящийся во огне «Тебя ради, Господи». Откуда он пришел — никто того не ведает, но называют, что много христианского народу спас и ввел в рай, пожгя в избах, потопив в реке, прияв на себя грехов искупление. Сила в нем неимоверная, и жар очей дождем не заливают.

Время приспе страдания! Враг рода человеческого взял силу, пришествие антихриста свершилось. Пьют неверные горелое вино и пиво из жидовских рук, ходят в бани с мирскими и новоженами, растят власы и носят на гла-

ве малахан, шапки с разрезом начетверо, песни поют бесовские, играют в карты, и в варганы, и в дуды, бранятся матерны, пляшут и яйца катают, и на качелях качаются, а во вторник и в четверг едят подважды, в дни прочие потрижды.

Ныне не спасет верного ни малая, ни большая печать от горения во огне вечном!

— Как велики адские муки?

— Малейшая более тысящи раз величайша, что на сем свете.

— Имеют ли когда грешники в аду малую отраду?

— Нет, ни на мигновение ока.

— Привыкнут ли они когда к мукам?

— Что далее, то жесточае им будет!

К утру добрались до скрытого селения, неизвестного даже моршихинской конторе. Все без сил, распоп Тимофей едва доволлок ноги, — но бодр и крепок, никакой усталостью не согбен старец Григорий, водитель правильных христиан.

Ныне спасает он новым спасением. У старицы Пелагеи за овином положен от коры свободный древесный ствол расчетом на пять голов. До заката сидели в избе, слушали проповедь Григория, давали клятву за себя и детей, пели духовную песню:

Вечор со другом сидел,
Ныне зрю смерти предел.
О, горе мне, горе великое!
Плоть мою во гроб кладут,
Душу же беси во ад ведут.
О, горе мне, горе великое!

Когда же зашло солнце, надели белые чистые рубахи и с пением вышли за овин. Распоп Тимофей ослаб и отпросился в лесок, да так и не вернулся. Детей вдовицы Куликиной повлек сам старец Григорий, рты зажав дланью, да с них и начал.

Голову клал так, чтобы с бревна свесилась, а волосы откидывал прочь. Пятерых сложив, под пение верных, отделил головы подряд топором весьма острым, творя молитву и про себя, и вслух. После того прикрыли для новых бревно чистым белым платом, и опять пятерых освободил старец Григорий от здешних страданий и бесовского ада. И тогда, вместо распопа, вышла и спаслась Пелагея, а последним, двенадцатым, был пещанского зимовья крестьянин Данило. Так и легли двенадцать, яко двена-

десять бубушков единой лестовки, яко двенадесять апостолов, с Господем по земле ходивших.

Великому старца Григория подвигу спасения грешных — слава!

* * *

Страшна страница, выпавшая из жизни старца Григория и затерявшая в памяти. Не знали о ней и судьи, заточившие его в Соловки. В Соловках на десятом году тот старец покаялся и был прощен с возвращением титула и богатств.

В доме его был приказ: дворецкому приносить, что надо, по бариновой записке, на глаза же никому не являться под страхом смерти!

Дни старости его неизвестны, и конца рассказу нет: ни в книгах, ни в старых архивных делах не сохранился. И зачем конец: конец один и в серенькой жизни, и в жизни бурной!

ПИРОГ С АДАМОВОЙ ГОЛОВОЮ

14 сентября 1842 года пламя пожирало город Пермь на Каме. По молодости лет к изобилию лесов в округе город был деревянным и горел легко. Как загорелся — неизвестно, но, по господствовавшему мнению, его подожгли либо черти, либо поляки.

Скорее всего — черти, чему есть и косвенное доказательство.

Кикимора, при всех ее особых родовых качествах, должна быть отнесена к семье чертей. Кикимора — пожилая особа безобразной наружности, в лесах бегаёт нагишом или в лиственном упрощенном наряде, а в городах носит женское платье, вышедшее из моды, и чепчик.

Именно такую особу видела одна старушка в окне дома Чадина во время пожара. Кругом бушевало пламенное море: один дом горел свечкой, другой пылал костром, третий рушился в вулкане искр, четвертый только занимался. Кикимора сидела в чепчике у окна и спокойно помахивала шейным платочком, отгоняя пламя. Кругом все дома горели — дом Чадина остался невредимым, даже не закоптел от чужого пламени.

Этот прием — отмахивать пламя платком — прост, банален и давно известен; у человека ничего не получается,

а черти потъзуются им постоянно. Предположить, что кто-нибудь из людей жил в доме Чадина, нелепо, потому что не родился тот человек, который решился бы провести в этом доме хотя бы одну ночь: дом был заколдованным и чудовищным. В противоположность другим, он был каменным и крыт железом, но недостроен и неотделан, и никогда никто в нем не жил. Его хозяин, Елисей Леонтьевич Чадин, советник уголовной палаты, умер при страннейших обстоятельствах, о которых скажем ниже. Со дня его смерти начались в новом доме чудеса: раздавались крики, слышались стоны, с треском падали тяжелые предметы, так что весь дом сотрясался. Происходило это главным образом в полночь, и благоразумный прохожий предпочитал обойти квартал стороной, осеняя себя крестным знаменем.

Такие дома встречались в разных городах, бывают и сейчас, и не только в нашей стране, где квартирный кризис и уничтожение опиума для народа свели количество таких домов к минимуму, но и в других странах. Наивные ученые люди подвергают кикимор сомнению,— но все-таки где-нибудь кикиморам жить приходится; неудивительно поэтому, что про такие дома писали и в Италии, и во Франции, то есть в странах совсем не сходного политического строя.

Пермский губернатор И. И. Огарев кикимору отрицал. Следовало бы ему попробовать поселиться в доме Чадина с супругой хоть на неделю и тем доказать торжество просвещения. Вместо этого он позвал старушку, видевшую кикимору собственными глазами, разнес ее за распространение нелепых слухов и пригрозил ей присягой. Старушка сказала, что на присягу готова, что врать ей не приходится, так как она уже доживает свой век, а что собственными глазами видела — то готова подтвердить: видела кикимору самую настоящую, и ошибки быть не может. И губернатор оказался в довольно глупом положении. Он было попробовал:

— Ты что же, баба неразумная, в кикимору веришь?

— Я, батюшка, твое превосходительство, Господа Бога видеть не удостоилась, да и то верю; а эту нечисть своими глазами зрела — как же мне в нее не верить! Да и все знают.

Логика неопровержимая — и старушку отпустили, однако с запретом впредь болтать.

Собственно, этим и заканчивается история. Мы же прибавим: было бы странным, если бы дом Чадина, уже давно не существующий (он снесен нежилым, а на его месте построена женская гимназия — угол Петропавловской и Театральной площади), — если бы этот дом не был заколдованным. Во всем виноват его хозяин и строитель, Елисей Леонтьевич.

Человек — кремень, жила, скуп до невероятности и с людьми жесток. Своих дворовых заставлял не только строить, но и выделывать кирпич. И, подражая великолепным римским папам, обратившим памятники Аппиевой дороги в строительный материал, — Чадин кощунственно грабил местное кладбище.

В лунную ночь выходила партия дрожавших от страха рабочих, под водительством более отчаянных, и направлялась на кладбище. Там, по приказу хозяина, отрывали от могил и забирали с собой чугунные и каменные плиты и на руках переносили их в строящийся дом. На рассвете эти плиты вделывались в пол, стены и печи, надгробными надписями внутрь. Выходило дешево, прочно, и кикимора заранее радовалась таинственной отделке своего будущего жилья.

Отличного семьянина и уважаемого человека надгробная плита послужила подом русской печи.

Покойного диакона плита чугунная, с надписью церковной вязью, пошла на подпорку лестницы.

Младенца плиточка, матерью любовно заказанная и омоченная слезами, ничком легла у самого порога столовой комнаты — для вечного попирания ее нечестивыми ногами.

Грешное дело делали рабочие — и люто ненавидели хозяина, гнавшего из них седьмой пот. Донести на него боялись, так как сами были в большинстве безбумажные бродяги, беглые крестьяне дворянских губерний, люди, знакомые с острогами и с тайгой. Не ровен час — начнется следствие, и всем им пропадать. Грех замаливали по кабакам, пропивая чадинские грошики.

Но, при всей скупости, Чадин умел бывать и хлебосольным — для важных гостей. На рубеже Сибири люди умеют есть подолгу и жирно, пить большими глотками крепчайшее пойло в количестве, для жителя средней России непостижимом и убийственном. Ле-

са под Пермью полны зверья и дичины, Кама обильна рыбой. Оленина, кабаньей и медвежий окорок, утки, глухари, рябчики, белужина, стерлядь кольчиком, раки, грибы всех сортов и всех засолов — все это было местным и обычным, доступным человеку среднего достатка. Кто же хотел угостить на славу, тот после пельменей и сычуга — блюд излюбленных и обязательных — поражал пирогом с такой начинкой, чтобы не сразу угадывали, чем блеснул повар и чьи души на тот пирог загублены. Вино подавалось только для красоты, а пили водку стопочками и чарочками — по первой, по второй, по третьей, колом, соколом, легкой пташечкой, с грибочком, с перцем и с кряканьем, до красноты носа и бледности лба, — а потом повторяли.

В день святого Елисея славится пирог чадинский, и не тонкостью вкуса, а жирностью и сверхъестественными размерами: приносили его четверо слуг и ставили перед хозяином на расчищенный стол. Первый кусок он вырезал себе, а дальше слуги оделяли гостей: в первую голову председателя уголовной палаты Андрея Ивановича Орлова, за ним князя Долгорукова, сосланного в Пермь за чудачества, человека важного и величественного, пока не напьется пьяным до бесчувствия.

Так и было в дни строительства нового чудинского дома — праздновал хозяин свои именины. Гостей подобрал самых в городе важных и самых нужных ему по многим делам. Водка стояла в больших графинах, а запасная на особом столе в четвертях. Разговор был не в обычае — только пили, крякали и жевали. В наибольшем почете оказался соленый груздь в сметане, добрый спутник напитка, предохранитель от напрасного обжога. Мелкий рыжик уже не спасал — приходилось бы глотать его столовыми ложками. Студень прикончили сразу, из ухи лениво вылавливали куски налимьей печенки — ждали.

И вот наступил самый торжественный момент: перед хозяйским местом расчищено целое поле для именинного пирога, чарки налиты заранее, и даже кряканья не слышно. Губы и усы насухо обтерты салфетками. Человек внимательный заметил бы, что и слуги взволнованы: один на ходу лязгает зубами и едва не уронил груды собранных тарелок.

Внесли пирог четверо кухонных молодцов — рожки на подбор арестантские. Чадин охотно держал беспаспортных, живших за стол и кров, менявшихся часто, способных

на всякое порученье. А набирать их советнику уголовной палаты было нетрудно. Они работали и на постройке, и по домашнему хозяйству, и по рыбному промыслу, и по лесной охоте, — как у большого помещика. А в случае провинности — расправа с ними была коротка.

Гигантский пирог двусторонней выпечки поставили перед хозяином-именинником. Пирог покрыт стеганым настилом — чтобы сохранить жар.

Помедлив для пущего впечатления, при общем почти-тельном молчании, хозяин привстал, протянул руку и разом сдернул теплую покрывку. Сдернув — остолбенел, замер, покачнулся и осел в хозяйское кресло. Гости вытянули шеи и тоже замерли, слуги попятнулись и скрылись за дверью.

На пироге, обширном, как могильная плита, отлично испеченном, ясно отпечаталась в самой середине Адамова голова со скрещенными костями, ниже — лестница, а по бокам крупные буквы неразборчивой надписи — читай слева направо.

Заторопился домой председатель Орлов, за ним заспешили и остальные гости. Хозяин сидел с лицом, налитым кровью, качал головой и бормотал невнятное. Достало сил отодвинуть от стола кресло, встать и ухватиться за край скатерти. Затем он повалился на пол, а на него пирог, стаканы, тарелки, грузди, рыжики и солонки с пермской солью. Никто его не поднял — и слуги и гости разбежались. Первым из кухни убежал повар, оставив в горячей русской печи намогильную чугунную плиту, на которой был выпечен именинный пирог доброму хозяину.

* * *

Вот какие страшные вещи рассказывали в городе Перми про Чадина, про его пирог и про его дом.

Сам Чадин вскорости умер, не приходя в полное сознание. Голова тряслась, губы бормотали жалкие слова о покойниках, попавших в начинку пирога. Когда его соборовали, он отворачивал голову от креста, как будто ему совали в рот кусок пирога с Адамовой головой.

И с той поры недостроенный дом Чадина явно для всех стал заклятым и чудовищным. Неизвестно, кто запер и изнутри заложил камнями и бревнами ворота дома, куда ни один здравомыслящий человек заглянуть не решался даже днем. Впрочем, стало известным, что после смерти

хозяйина ранее проживавшая у него и бывшая с ним в любовной связи кикимора переселилась в новый дом и жила там, во всяком случае, до опустошившего Пермь пожара. Днем она спала, по ночам безобразничала, пугая окрестных жителей. Хорошо ее рассмотрела только упомянутая старушка; другим удавалось видеть ночью только тени гостей, пробиравшихся в дом кикиморы, где они скандалили, кричали, стучали и порой доходили до такой наглости, что пели непристойные песни.

Кое-что знал о доме кикиморы пермский полицеймейстер, но он был человеком молчаливым. Был знаменит и тем, что умел отыскивать краденое, если кража совершена у видного в городе человека, готового дать мзду за нахождение пропавших у него вещей. Ездил полицеймейстер в тарантасе, который можно было издали узнать по серой лошади, и когда проезжал мимо дома Чадина, — отворачивался, не из боязни и из презрения к суеверию и напрасным рассказам. Это был человек передовой, бесстрашный и равнодушный к смене губернаторов. Значит, — не боялся и кикиморы.

Дом Чадина простоял лет пятьдесят — так никто в нем и не жил. К концу века он был куплен городским обществом, снесен до основания и на его месте выстроено здание женской гимназии. И тогда все переменялось, по ночам дом стоял молчаливо, а днем в нем раздавались веселые девичьи голоса. А гимназисты, проходя мимо этого дома, выпячивали грудь и пощипывали на губе волосяную рассадку.

Кто в Перми бывал, тот знает и гимназию, и тополе-вый против нее театральный сад, через который удобно ходить наискось на почту и к набережной Камы, прекрасной и полноводной русской реки, которая Волге приходит-ся не младшей, а старшей сестрою.

ЛЮБИТЕЛЬ СМЕРТИ

Аполлон Андреевич, бывший сановник, а теперь просто человек на покое, вставал рано, в седьмом, и пил чай с булочками и разговором. Его собеседницей была старушка Манефа, из крепостных, не то нянька, не то домоправительница, а вернее — утренняя газета.

— Не слыхала чего?

— Как не слыхать, кончается.

- Вторую неделю он кончается!
- Ему не к слеху, а только нынче соборуют.
- А который в Полуэктовом?
- Тот тянет; доктора ездют.

Одевшись с тщательностью, Аполлон Андреевич выходил на прогулку и, если денек ясный, бодро напевал «Житейское море» и «Бога человеком невозможно видети». Выйдя из своего Николо-Песковского, шел по Арбату, потом Воздвиженкой, потом Остоженкой и возвращался бульварами на Арбат. По пути разглядывал знакомые вывески. Над пивной лавкой шипящая бутылка и надпись: «Эко пиво!!» Над музыкальной просто: «Фортепьянист и роялист». А над лавкой гробовщика под обычным красным сундуком (в те времена гробов не рисовали) изображено по-французски: «Кгари», — чтобы и иностранцы знали, куда им при нужде обращаться. В эту лавку Аполлон Андреевич всегда заходил по пути за справками: кто, да где, да в котором часу вынос?

Так — в свободные дни; но свободных утр у него было немного, потому что хоронили главным образом по утрам, и ладно, если освободишься к обеденному часу. Когда выпадала удача провожать знакомого — Аполлон Андреевич отдавал этому занятию весь день, все рвение и все таланты, говорил, утешал, хлопотал, подпевал, бросал первый комок земли, обсуждал будущий памятник, иногда сам платил и всегда при выносе поддерживал гроб еще сильной рукой. Ел кутью на поминальном обеде, вечером подробно рассказывал обо всем старой Манефе. Но знакомые радовали не так часто, и потому приходилось разузнавать, кто при последнем дыхании, кого отсоборовали, с кого уже сняли мерку.

Сам столбовой дворянин, он не брезгал ни купеческим сословием, ни даже простым мастеровым. Узнав, что есть покойник по соседству, притом из простых людей, на расходы не способных, он просто забирал свою походную подушечку и являлся в дом. Если мужчина — помогал омыть тело, нарядить в приличный кафтан, уложить руки по уставу, бегал за свечами, нанимал попику и сам читал над покойным, только на часок позволял себе ночью вздремнуть тут же около гроба. Таких неустроенных в жизни и в смерти любил особенно, потому что им мог оказать помощь самую существенную, вплоть до надписи на кресте или недорогой каменной плите. И в этих надписях он был настоящим мастером, даже поэтом. Если родные на

надпись соглашались, то не только следил за тщательным выполнением заказа, а сам и платил за работу — добродушно и от чистого сердца, с большой деликатностью и скрытно, о том не разглашая.

Были надписи простые:

«Оставил горестных сирот, стремящихся продолжить род»;

«Жил для семьи — и о себе подумал»;

«Любя, вздохнул в последний раз!»

И были посложнее, якобы переключка ушедшего с живыми:

«Паша, где ты? — Я здесь, Ваня! — А Катя? — Осталась в суетах!»

Были опыты проникновения в тайну потустороннего, но с непременной сдержанностью, как, например, в сочиненной им эпитафии булочнику с Арбата:

«Скажи, что есть там? — О, не могу, запрещено!»

А на плитке младенца он велел высечь:

«Не грусти, мамаша, цельный день летаю в качестве серафима».

Дома Аполлон Андреевич записывал очередного покойника в книжечку в черном переплете с изображением мертвой головы, от которой во все стороны шло неистовое серебряное сияние; вписывал имя, а если знал — и все звания, затем день похорон, название кладбища, состояние погоды и текст эпитафии. Записав, ставил свою фамильную печать и расписывался всегда с одним и тем же, довольно замысловатым, росчерком. В конце же листочка, для каждого отдельного, писал мелко-мелко буквы «Н. И. Ч. В. Т.», что должно было означать: «Надеюсь иметь честь встретиться там». Встретиться он желал со всеми равно — независимо от того, встречался ли с ними здесь при их жизни или познакомился только после их смерти. Занеся имя в эту книжку, переписывал его и в обычный маленький поминальник, и дважды в год заказывал в церкви Николая-на-Песках панихиду по всем умершим, которых он имел случай провожать на кладбище и с которыми будет иметь честь встретиться в лучшем мире.

Могут подумать: вот мрачная личность, вот мизантроп! Совсем напрасно: человек добрейший, вполне уравновешенный и приятный в обращении! И поесть любил Аполлон Андреевич, и мог выпить, не слишком от других отставая, конечно, соответственно возрасту. И знал наизусть некоторые задорные и вольные стишки входившего тогда

в моду поэта-арапчонка Александра Пушкина. Но больше всего любил заупокойную службу, ее прекрасные слова и волнующие душу мотивы. Имея средние музыкальные способности, подсаживался дома к клавишам, брал аккорды и хрипловатым баском напевал: «Со святыми упокой», и на словах «надгробное рыда-а-ние» растягивал «а» с дрожью в голосе, как бы прокатывая заоблачный гром по юдоли слез. Красота!

При большой общительности знакомых имел немного; возможно, конечно, что сам их отчасти отпугивал преувеличенным интересом к их здоровью.

— Что-й-то вы похудели, дорогой! Под ложечкой боли не чувствуете?

— Нет, ничего.

— У иных не заметишь. Так, ни с чего, начнет худеть, в лице бледность, легкое недомоганье, а через недельку волокут на Дорогомилово.

Дома говорил Манефе:

— Статского советника Пузырева встретил. Идет бодренький, а в лице что-то нездешнее. Человеку шестой десяток на второй половине, невелики года, а и моложе его, случается, помирают совсем неожиданно. Коробочку приготовила ли?

Одной из обязанностей Манефы было делать из старой бумаги коробочки с крышечкой, и делала она это очень искусно, подмазывая где надо клейстером. В такие коробочки Аполлон Андреевич собирал и рядом укладывал на ватке дохлых мух, а потом хоронил их в саду, всегда в одном и том же месте, ряд за рядом, втыкая в могилку прутик, так как креста мухам, конечно, не полагалось. Близ мушиного кладбища была скамейка, и на ней Аполлон Андреевич любил сиживать на закате в хороший день, думая о грустном.

И вот случилось, что Аполлон Андреевич, при почтенном возрасте человек крепкий и здоровый, заболел серьезно. Была поздняя осень, дождливая, холодная, и надо думать, что он простудился, провожая к вечному упокоению незнакомого, но очень хорошего человека, соседа по улице. Вечером легкий жарок, не прошедший от малинового чаю, а к утру озноб и слабость необычные. Была принята касторка, пятки намазаны горчицей и ноги обуты в шерстяные чулки — и все-таки не легче. Был доктор, велел потеть, но как болезнь не проходила, то на третий день Аполлон Андреевич послал за знакомым гробовщиком,

тем самым, у которого на вывеске было написано: «Кгари».

С приходом его очень оживился: выпростал руки из-под одеял, потребовал бумаги и карандаш и занялся делом с привычной обстоятельностью:

— В длину пусти на четверть подоле, чтобы не стеснять, а главное, Прохор Петрович, вымеряй ты мне плечики. Я в плечах довольно широк, да присчитай подушку, чтобы плечи лежали на ней, дерева прямо не касаясь.

— Будьте покойны.

— Дерево поставь — лучший дуб, полированный, и чтобы без сучков, особенно на крышке. Лаком покроешь белым, ручки и ножки серебряные, под один штиль, а не как бывает, что ручки гладкие, а ножки с львиной лапой.

— Это когда по дешевке...

— Вот то-то. Потом сделай ты замок с ключом и пригони получше. Это уж моя прихоть, сам знаю зачем. Как запрете, ключик просуньте мне через малый прорез, поближе к рукам. Обязательно и ключ и весь замок серебряные, чтобы не ржавели. Деньги тебе вперед платятся, будь покоен.

— Это что же, мы знаем!

— Вот. И еще, Прохор Петрович, в головах на крышке одно оконце, да по бокам два других, и застекли со всей тщательностью; размер четыре вершка на три. И опять же стекла в серебряных рамочках без переплета. Понял ли?

— Будьте покойны.

— Буду покоен, если сделаешь все точно, как и говорю. Насчет покроя сказал: синей парчи с бахромой и кистями. Кисть ставь среднюю, большая зря тянет. Ладан, масло, всё чтобы первого сорта, от меня так и попу скажи: они иной раз такое принесут, что даже неприятно. Насчет свечей Манефа знает. А венчик, милый мой, имеется, ранее особо заказан. Теперь насчет панихид...

Часа два наставлял, а отпустив гробовщика — закачался, потому что в болезненном состоянии забыл многое: на лестнице половичок черный с позументом, и чтобы полотнища чистоты белоснежной и самые крепкие, и в могилу опускать осторожно, не качая, бортов не задевая. И чтобы заказанную надпись золотом по мрамору выбивали сейчас же и представили рисунок самый точный:

— Великая будет обида, коли не успею посмотреть! Ошибку допустят либо поставят букву вкривь!

Никогда еще так не волновался Аполлон Андреевич, заказывая гроб и давая подробные указания; да и понятно: в первый раз хлопотал о себе!

Взволновавшись — основательно пропотел. Пропотевши — выздоровел.

— Видно, придется погодить, Манефа. А заказ не пропадет, заказ пригодится. Оно даже и лучше: все сам проверю основательно.

С тех пор появился у Аполлона Андреевича новый интерес: осматривать заготовленный для себя гроб, вводить некоторые изменения и поправки, дополнять упущенное из виду по болезни и спешке. Раза два в неделю заходил к гробовщику на склад, поглаживал лаковую поверхность крышки, щелкал ключом, приказывал смазать замок маслом да протереть тряпочкой все три оконца. К двум боковым придумал сделать занавесочки из легкого синего шелка, откидные, безо всяких складок; но верхнее оконце оставить свободным.

— А ручки, Прохор Петрович, как будто тускнеют?

— Того быть не может, Аполлон Андреевич, чистое серебро.

— Бывает, и серебро тускнеет. Ты, в случае чего, прикажи почистить тщательно. И ручки, и ножки. И если где на лаке трещина — заново покрыть.

По-прежнему бывая на похоронах — частенько самодовольно сравнивал... вот что значит спешка и малая заботливость! Неопытному глазу незаметно, а знающий не ошибется: и работа не так солидна, и в отделке небрежность, и нет настоящего штиля; гроб почтенный, дубовый, тяжелый, а ножки куриные — дольше месяца не выдержат.

* * *

Торопиться, конечно, некуда, и жизнь Аполлон Андреевич любил. Единственно — хотелось ему блеснуть на собственных похоронах предусмотрительностью и настоящим вкусом. Подмечая у других разные промахи, либо записывал для памяти на календаре, либо строго внушал Манефе, чтобы, в случае чего, понаблюдала, посторонним не очень доверяя.

Года три-четыре готовый гроб простоял без пользы. Но как все люди смертны, то, наконец, пригодилось и Аполлону Андреевичу с такой любовью отстроенное и украшенное новое жилище.

На этот раз ошибки не вышло: подкатила болезнь тяжкая и для старика роковая. Это он понял сразу и радовался, что еще в здоровом состоянии успел подготовить все до мелочей, так что и заботиться больше не о чем. Обмоет Манефа, отпевать будет отец Гавриил от Николы-на-Песках, место давно куплено, памятник готов — и в надписи ни единой ошибки, а буквы стоят прямо.

За два дня до смерти послал напоминание гробовщику: держать гроб в чистоте и готовности, чтобы в углах не было пыли и стекла протерты. В последний раз заметил: как будто левая передняя ножка не то чтобы покривилась, а у гвоздика шляпка непрочна — так чтобы подправили.

И заснул навеки, с улыбкой и уверенностью, что все будет в порядке; в последнюю минуту по его лицу пробежала тень озабоченности: вот только бы дождя не случилось. Покоился потухающим взором на окно, — за окном сияло солнце, — и испустил дух спокойно.

И действительно, погода не подгадила Аполлону Андреевичу. Утром еще был легкий туман, но к точно указанному часу солнце засияло полностью, ручки и ножки гроба ярко заблестели; опустили его на чистых ярко-белых полотнищах, бортов ямы не задевши, — а уж что увидел он в свое окошечко, и когда увидел, сейчас ли или много позже, — про то мы не знаем и допытываться не решаемся.

ПЕНЗЕНСКАЯ ФЛОРА

Июль месяц на исходе. Жарища. На крылечке столик, на столике водка, холодец и огурцы. Отец Василий в полном неглиже, исправник в полной форме. Отец Василий исправнику:

— Спечешься ты, куме, яко яблоко! Хоть фуражку сними.

— Бесполезно, батя. Ума в голове не прибавится.

— О чем так загрустил?

— Загрустишь. Учился на медные пятаки, всю жизнь тянул лямку, дослужился до исправника, — а понимать ничего не могу. От его превосходительства, господина начальника губернии, наистрожайшее предписание, — а что приказывают, понять никак не возможно.

Первая колом, вторая соколом, третья мелкой пташечкой. Холодец тает, огурцы похрустывают.

— Вот ты, батя, в семинарии учился, все знаешь. Прочитай ты сию бумагу и смекни: о чем речь? «От его превосходительства, господина начальника Пензенской губернии, предписывается всем исправникам по получении сего же немедля представить в канцелярию его превосходительства все сведения о ФЛОРЕ вверенных им уездов, с подробным перечислением и описанием существующих и, по мере возможности, представлением образцов».

— Не грусти, кум, дело поправимое!

Водка на доньшке, холодец исчез, огурцов на поповском огороде хватит. Надев очки, отец Василий листает «Академический календарь» со святцами:

— Вот тебе и вся загадка! Сказано: августа 18 дня святых отец Флора и Лавра. И, поверь мне, куме: лучше передать, чем недодать! Ибо говорю тебе: Флора и Лавра неразделимо! Прикажи приставам: они соберут.

От исправника приставам предписание: в кратчайший срок собрать по уездам Инсарскому и Саранскому всех имеющихся в наличности мужского пола Фролов и Лавров, каковых и доставить сначала в уездные города, а оттуда, по назначению к тому непременно члена присутствия, оных препроводить в губернию сего года августа осьмнадцатого дня для представления его превосходительству господину начальнику губернии.

Приказ строгий — исполнение неукоснительное. В достопамятное царствование императора Николая Первого никаких поблажек и проволочек не допускалось: сверху придавят, внизу крякнут — все в полной исправности.

Одно горе — страдная пора! Не везде скошено второе сено, надо убирать овсы, просится под серп рожь, в готовности стоят все яровые. Мужички ропщут, бабы ревут: в такую пору угонять работников неизвестно куда и за чем!

У молодухи Анисьи тащат ребенка; одного его не отпустишь, груди просит, приходится самой молодухе собираться с ним в дальнюю дорогу.

— Нашто его, маленького, прости Господи! По второму году в некруты!

— Да ведь звать-то Лавром! Не реви, дура-баба, вернут из губернии в лучшем виде.

Деду Фролу лет без малого сто, глаза не видят, уши не слышат, лежит на печи; такого без подводы как доставишь? И доедет ли живым?

— Раз приказано — какой разговор! Уж там знают.

Но пуще горе, когда берут молодого работника. Без хозяина сено выгорит, рожь осыпется. До города два дня, до губернии не меньше недели, да пока там разберутся — меньше месяца не управиться. Крестьянскому хозяйству чистое разорение!

— Харчи-то чьи?

Про харчи ничего в приказе не сказано, и выходит — харчи собственные. Может, по именинному делу, после в губернии вернут расходы.

Пристава сбились с ног: укрывают мужики Фролов и Лавров, сказывают другим именем. Проверяют поголовным опросом и через церковные записи. Нелегко управиться в двух уездах за полмесяца, а приказ строг: без малейшего промедления.

В уездном городе Саранске непременный член разве-сил на веревке потертый мундир для проветривания и чистит треуголку. По проверке прибывших и доставленных Фролов и Лавров хлопот не оберешься. Которые разместились по постоянным дворам, других набили в пожарный сарай, иные ночуют под звездным небом. Всего больше мўки с бабами, сопровождающими малых ребят, и с ветхими старцами.

К сроку набралось Фролов и Лавров не точным счетом по двум уездам двести человек. В путь выступили ночью, по холодку, десять телег с бабами, младенцами, стариками, скарбом, остальные пешком, непременный член впереди в дорожной кибитке, мундир и треуголка заботливо уложены в плетеную корзинку. В губернский город Пензу прибыли как раз в обрез: августа семнадцатого дня.

И в пути учил, и по прибытии старательно наставлял мужиков:

— Как придем, которые Фролы — станете направо, а которые Лавры — по левую руку. И ежели его превосходительство изволят спросить: «Кто, дескать, такие?» — всем миром отвечайте каждая сторона за себя: «Фролы, ваше превосходительство!» — или там: «Лавры, ваше превосходительство!» — да кланяйтесь господину начальнику губернии в пояс.

— А чего ему нужно-то, начальнику?

— Ничего неизвестно. Может, хочет поздравить вас с днем ангела, а может, иное что. Поклонитесь ниже — Бог даст, распустит его превосходительство по домам,

долго не задержит. Вины за вами никакой такой особенной не числится.

Ночь, как могли, переспали — и наутро явились.

* * *

Его превосходительство пензенский губернатор Александр Алексеевич Панчулидзев — человек просвещенный и управитель отменный; недаром получил за свое управление от императора Николая Первого золотую табакерку.

Женат его превосходительство на девице Загоскиной, дочери знаменитого писателя, Варваре Николаевне. К губернской скуке Варвара Николаевна привыкла, но, по нежной организации, страдала нервами и бессонницей. С ночи засыпала — ничего, а рано утром просыпалась с зарей — и нет больше сна! Конечно, по летнему времени жарко и душно.

Среди других влиятельных людей Пензенский губернии отметим уездного городищенского предводителя дворянства Павла Тимофеевича Морозова, подлинного виновника предстоящего торжества. Это Павел Тимофеевич задумал собирать по губернии точные статистические сведения о флоре, и по его ходатайству начальник губернии разослал приказы подлежащим исправникам.

Город Пенза и по тому времени был немалым: от заставы Московской до заставы Тамбовской — четыре версты с четвертью, а жителей было душ свыше двадцати тысяч, из них половина еще крестьянствовала. Было в городе заводов по три кожевенных, мыловаренных и чугуноплавильных, да табачная фабрика, да две мельницы с крупчатками. И впадала, как и сейчас впадает, под самым городом река Пенза в реку Суру; по Пензе сплавливали лес, а по Суре, в полую воду, было и судоходство.

Нельзя сказать, чтобы губерния была очень спокойной: крестьяне в ней по тому времени частенько шевелились, а в самом городе скандалил мастеровой человек. Со всем этим его превосходительство умел хорошо справляться, но Варвара Николаевна, как женщина слабая, порой волновалась: придут бунтовщики, подожгут дом губернатора, зарубят всех топорами и косами, — и никакой гарнизон с ними не справится. В столице, в девушках, жилось куда лучше!

К вечеру под осьмнадцатое число появились в городе неизвестные пришлые люди, по виду мирные, а кто их

знает. Дойдя до заставы, расположились неподалеку на ночлег, разложили костры; две-три бабы, остальные мужики. На вопросы толково ответить не хотели, и только сказали, что завтрашние именинники.

Сам губернатор спал бестревожно, а Варвара Николаевна проснулась совсем рано и услышала словно бы шум толпы. Дом губернатора был на горе, при доме — обширный двор, куда и выходили окна почивальни их превосходительств. Варвара Николаевна, протерев глаза кулачком, встала, подошла к окну, откинула занавес, взглянула — и ахнула: полон двор мужичья, а какой-то человек делит пришедших на два отряда, одних — направо, других — налево. Не иначе как крестьянский бунт!

Губернаторша разбудила мужа. Его превосходительство также посмотрели в щелочку и убедились, что на дворе выстроены мужичьи отряды. Будучи, однако, смелым мужчиной, начальник губернии поспешил успокоить жену:

— Милочка, бунтовщики являются нестройной толпой, с кольями, вилами и топорами; а эти, — сама видишь, — безо всякого оружия. Скорее всего — выборные просители, хотя ни о каких просителях мне не докладывали, и пора сейчас в деревне страдная. Мы это выясним.

И как губернаторша ни упрасивала мужа не выходить к толпе, а лучше послать тайно за гарнизонными, как ни толковала ему, что он подвергает себя смертельной опасности, а также и ее, — убедить не могла. Губернатор наскоро умылся, приказал подать себе парадный мундир, — чтобы блеском его поразить неведомо зачем явившуюся толпу, надел шляпу с плюмажем, натянул перчатки и, обняв жену и наказав ей не беспокоиться, двинулся к выходу во двор.

Несомненно — человек был исключительной смелости! Руководился образами героическими и примерами незабываемых подвигов. Помнил, как его величество Николай Первый выехал на площадь, полную черни шумевшей, крикнул величавым голосом: «На колени!» — и вся площадь на колени повалилась. Еще крикнул: «По домам!» — и все мещане до единого разошлись по домам, разделяясь, и залегли спать очень довольные.

Точно так выступил и пензенский губернатор. Быстрым шагом сойдя с черного крыльца прямо во двор и миновав маячившего в стороне человека в треуголке, он приблизился к выстроившимся отрядам крестьян и громким голосом спросил:

— В чем дело? Кто такие?

Ближний отряд довольно стройным хором ответил:

— Фролы, ваше превосходительство!

И поясной поклон.

Не разобрав хорошо ответа, повернулся губернатор к остальным и снова спросил:

— Что такие за люди?

— Лавры, ваше превосходительство!

И тоже все — в пояс!

Тут подоспел неперемный член, в треуголке пирогом поперек, предстал пред начальственные очи и голосом дрожащим произнес заученную речь:

— По собственному вашего превосходительства приказу имею честь представить вашему превосходительству Фролов и Лавров мужеского пола Инсарского и Саранского уездов Пензенской губернии!

Начальник губернии сначала опешил, но быстро собрался с духом и голосом привычным и командирским, ручкою махнув, гаркнул:

— Фролы и Лавры — на колени! По домам!

Дважды приказывать не пришлось. Кинулись мужички наутек, радуясь, что столь скоро и легко избавились от начальственного гнева.

Так рассказывает пензенская хроника.

* * *

Климат в Пензенской губернии несколько более суров, чем можно бы ждать по географическому положению: в конце августа наступает холод.

Столик поставлен в горнице, на столике бутылка, в бутылке — на донышке, огурцы малосольные, соленый гриб груздь.

Отец Василий в рясе, исправник в неглиже, горестным тоном бубнит:

— Вот ты, батя, и в семинарии учился и фи-фи-лософию знаешь; а человека ты загубил.

— Не огорчайся, куме, всяко бывает.

— В-верно! Ошибиться всякому доступно, а только пошли я его превосходительству одних Фролов,— мог бы я и оправдаться. А Лавров-то, Лавров на к-кой черт я послал? А? А ты говоришь: лучше передать, чем недодать!

— Груздя-то, груздя возьми!

— Груздя я могу. А Лаврами ты, батя, загубил человека!

ДВЕ ДУШИ

До писательского уха, хотя бы и не имеющего времени и охоты быть слишком внимательным, все же доносятся иногда критические замечания, с которыми следует считаться. Говорят, например, что не все же было так плохо в «доброе старое время», даже в крепостную эпоху. И люди были всякие, и плохие и хорошие, и немало было такого, о чем и сейчас стоит пожалеть.

Нет ничего справедливее! Вообще прогресс человеческой жизни, а в особенности русской, давно уже поставлен под сомнение. Что касается до внешних жизненных условий, то, вероятно, многие сочли бы за счастье отказаться от курьерских поездов, световых вывесок, воющего радио, перспективы телевидения и ежедневных выпусков бойкой газеты — лишь за право перенестись в прошлое и проехаться в тряской бричке по ухабистым российским дорогам пышными полями, незагубленными лесами, по бревенчатому мостику через рыбную речку, из именья тетеньки в поместье дядюшки, а неделку погостивши, — и обратно под кров родной, сладко поесть, хорошо отдохнуть.

Идиллических картин можно нарисовать сколько угодно, против истины нимало не погрешив. Прекрасный материал для одной из таких картин мы находим в воспоминаниях старой помещицы о своих соседях и соседках по имению в Смоленской губернии, в частности о двудушной Параскеве Прокофьевне.

* * *

Были помещики великодушные, малодушные и бездушные. Из малодушных мельчайшей была Параскева Прокофьевна, вдова, столбовая дворянка, малограмотная, жившая с дочерью Анютой лет пятнадцати. Если бы состояние исчислялось головами скота и количеством земли, то еще туда-сюда. Был лесок, березовая рощица (осенью белый гриб!), было поле и был очень большой старый плодовый сад, несколько запущенный, но отличный, даже довольно доходный. Была птица, три коровы, две лошаденки, козел с семейством, баран с двумя женами, вдовая свинья с поросенком и скворешник со скворцом. Был большой, правда, полуразвалившийся барский дом о семи комнатах, в двух из которых можно было жить с удобством. Для хозяйства крестьянского это было бы настоящим

богатством; по помещичье богатство исчислялось крепостными душами, и вот этих душ у Параскевы Прокофьевны осталось только две: бездетные супруги Прошка с Палашкой, оба на возрасте. Остальные еще при покойном бригадире повымерли или разбежались.

И опять-таки, если бы работать вчетвером, по-крестьянски, то и жизнь была бы достаточной и кое-что припаслось бы на черный день. Но нельзя, нехорошо столбовой дворянке работать наряду с холопами и равнять с ними родную дочь! Сама Параскева Прокофьевна проводила весь день в хлопотах, не столько в работе, сколько в суете, распорядясь по хозяйству, хотя без ее распоряжений оно шло бы не хуже, потому что все было просто и веками впредь установлено; но дочка воспитывалась барышней, то есть ничего не делала и делать не смела, чтобы не ронять дворянского достоинства. Читать было нечего, и Аня в грамоте пошла не дальше мамы; были клавесины, на которых когда-то в молодости Параскева Прокофьевна не всеми пальцами умела играть вальс, похожий и на всякий иной танец, но теперь эти клавесины могли только гудеть, если ударить коленкой в их поцарапанные бока, да сильно и всегда неожиданно потрескивали в большие морозы. Еще от прежнего величия остались две кровати, обе двуспальные, таких размеров, что на каждой могло улечься вдоль и поперек человек по восемь с немалым удобством и без взаимного беспокойства; остались перины и подушки, наваленные горой, так что взбираться на них было непросто даже с высокого табурета. Но вся остальная мебель разладилась и рассыпалась от времени, и обедали мать с дочерью на простом крестьянском некрашеном столе, сидя на самодельных стульях. И пища их была проста, от мужичьей отличаясь только обилием молочного и очень редко мясом. Больше в жилых комнатах дома ничего не было, а в нежилых хранилась картошка и гуляли мыши; наконец, в самой нежилкой ухитрились жить две души старой помещицы: Прошка с Палашкой.

Эти две души работали день-деньской, то ли по охоте, то ли по обязанности, а главным образом потому, что не умели не работать. Прошка работал в саду, косил лужок, засеивал поле, копал огород, чистил конюшню, ковал лошадей, был пахарем, садовником, конюхом, кучером, плотником, слесарем, истопником, посыльным, на все мужские руки. Палашка ходила за коровами и курами, заботилась

о свинье Хавронье и козле Васе, собирала хворост и грибы, мыла полы, убирала все в доме, стирала, варила, жарила, подавала на стол, одевала барыню, причесывала барышню и равнодушно получала пощечины от той и от другой. Прощка с Палашкой для такого хозяйства были бы вполне достаточны, если бы могли работать в покое и когда нужно; но покоя от барыни и барышни было мало: принеси то да се, подай платок, подыми наперсток, замой барышнину кофточку, подштопай чулок, выглади чепчик, принеси из погреба холодной простокваши — и все как раз под руку, занятую делом настоящим и срочным.

И хотя Прощка с Палашкой по природе своей были работниками усерднейшими, но нельзя сказать, чтобы барские глупости исполняли с охотой и без ворчанья. Палашка иногда огрызалась: «Да подождешь, барыня, дай с одним управлюсь!» За эти грубости Палашка получала шлепки и пинки, а в Прощку, тоже не всегда послушного, барыня швыряла чем доведется. И все это не со зла, а больше по обычаю и для оживления слишком уж утомительного и однообразного деревенского бытия, а также с целью воспитательной. Конечно, отучить холопов от грубости могла только розга — средство испытанное и насущно необходимое. Но нельзя же заставить Прощку лупить Палашку, а Палашку драть Прощку, — а лишь две души были у помещицы Параскевы Прокофьевны, и в том заключалась главная и основная трагедия ее отеческого и начальственного управления.

Случаи подобного рода были в крепостное время предусмотрены законами и бытом страны. Существовал становой, обязанный драть, если его об этом просили помещики. Но становой был переобременен подобными мелкими делами и сам наезжал неохотно, и посылать за ним одного из людей, отрывая его от работы, было и накладно, и хлопотно. Положение создавалось невыносимое: люди явно грубят, своими способами барыня справиться не может, власть шатается, нервы портятся, хозяйство расстраивается — государству опасность.

А главное: в чем же тогда отличие столбовой дворянки от любой бабы подлого сословия? Зачем тогда даны человеку, помимо собственной его души, еще души крестьянские? Параскева Прокофьевна, конечно, понимала, что без прошки-палашкиной работы она бы пропала вместе с подрастающей дочкой, и какого-нибудь зла к ним она не

питала. Напротив,— для их же пользы надобно было класть их под розгу от времени до времени. И Прошка с Палашкой, конечно, понимали, что барыня есть барыня и ей не драться и не ругаться никак не возможно, но только барыня-то она не весть какая, хоть и столбовая, и могла бы не мешать им работать на свою и их пользу. Такую барыню, двудушную, в округе не уважали ни помещики, ни крестьяне.

Однако раза два в год все же удавалось Параскеве Прокофьевне примерно наказывать Прошку с Палашкой — не за свежую провинность, а, так сказать, за истекшее время, разом за полугодовые грубости и непослушание. Обычно этого времени поджидали обе стороны: барыня ходила веселее, холопы становились задумчивы. Было это по осени и по весне, в горячее садовое время. Старый сад помещицы пользовался в округе доброй славой, и после первого Спаса у станового всегда оказывались дела поблизости. В таких случаях Параскева Прокофьевна не скупилась на водочку и закуску, выпивала и сама рюмку и вела со становым деловой разговор. Нынче хорошо уродились антоновские и коричневые, да и розмарин поспел, а каковы груши — всем известно, может быть, таких груш нигде больше и нет. Для господина станового ей ничего не жаль, Прошка отсыплет в мешок всякого сорта. Но одолженье за одолженье, и чтобы этот раз настегать Прошку с Палашкой памятным образом и за прошлое и впредь безо всякого снисхождения.

Подумаешь: ну что за зверские нравы! А между тем, как дальше мы и увидим, было все это лишь чистойшей идиллией.

* * *

Становому сделка подходяща, да и подход должен быть тонок! Прошка мешки насыплет,— да не подгадил бы червивыми и паданкой! Ежели же дело по весне и идет о молодых кустах, то не подсунул бы Прошка с поломанными корнями и плохих сортов! А у станового свой сад, с любовью устрояемый. Все нужно предусмотреть.

После легкой закуски становой обедает; и уж в этот день одинаково стараются и Параскева Прокофьевна, и Палашка: стол сытный, к жирным щам пирог — объеденье! Для приличия и для формы Палашка, на стол подавая, всхлипывает и утирает подолом слезу: чует холопка грядущее наказанье! Зато помещица обходительна и весела.

После обеда, часок заснув, приступает становой к отправлению правосудия. Первым вызывается на конюшню Прошка. Он уже заготовил для станового свежего сена — на предмет мягкого расположения. Развалившись на душистом сене, становой коротко говорит:

— Ну, Прошка, ты уж мне не подгадь!

— Будьте покойны!

— Анису положил?

— И анису; ныне анис отменный уродился.

— Коли паданок найду, в другой раз выпорю по-настоящему. Ну, значит, с Богом, начинай.

Прошка ложится у самой двери, сначала скулит и жалуется, потом орет благим матом:

— Ой, матупки, ой, смертушка моя!

Чтобы господина станового не утруждать, Прошка сам бьет по земле кнутом, взвизгивая при каждом ударе. По долголетней привычке бьет и орет, как настоящий актер, чтобы сделать барыне полное удовольствие. Становой лежит на сене, слушает, изредка пускает громко крепкое ругательство или читает Прошке мораль:

— Будешь, сукин сын, барыни не слушаться!

По гордости дворянской, Параскева Прокофьевна из дому не выходит, прислушивается издали. Становой работает над Прошкой с полчаса, с передышками. Утомившись, выпускает Прошку из конюшни и сам идет в горницу отдышаться, — а там уж и чай готов.

— Можете быть покойны, сударыня, — говорит становой. — Себя не пожалел, а уж Прошка запомнит по гроб жизни!

Скрывая удовольствие, помещица говорит:

— Вы к ним больно уж милостивы. С него, мужика, как с гуся вода. Разве такого розгой пробьешь! Он орет, а, может, ему и не больно.

— Как это, сударыня, может быть? У меня рука тяжелая, всем известно. Одначе, если не доверяете, извольте сами его освидетельствовать. Иные господа дворяне так и делают, которые, конечно, не столбовые...

— Что вы, батюшка, чтобы я стала марать свою честь!

После чаю с медом и вареньем — очередь Палашки. Если ловок Прошка, то уж Палашка — настоящий талант. Еще не войдя в конюшню, она ревет навзрыд, а в самой конюшне вопит и визжит, как недорезанная свинья, так что даже сам становой изумляется:

— И где ты так научилась?

Палашку, как женщину, полагается драть меньше — минут пятнадцать.

— Уж нет хуже, как сечь бабу!

— Да вы слезам-то ее не верьте.

— Слезы слезами, а неудобное для мужчины занятие. Коли бы не для вас, Параскева Прокофьевна, — нипочем бы не стал!

— А мне с ними какво! С двумя душами хлопот, как с целым народом.

Исполнив тяжкую обязанность, становой уезжает с мешком или кустиками, которых увозит несколько поболее, чем договорился с двудушной помещицей.

Про хитрость станового знали в округе все — и посмеивались. А мы так думаем: может быть, знала о том и сама Параскева Прокофьевна? Знала — и тоже улыбалась. Улыбались и Прощка с Палашкой. Во всяком случае, очень хотелось бы в быт доброго старого времени внести как можно больше идиллии и беззлобно вспомнить о доброй барыне, преданных ей душах и разумном и добродетельном становом.



КОММЕНТАРИИ

Тексты романа «Сивцев Вражек», «Повести о сестре», рассказов М. А. Осоргина печатаются по его прижизненным изданиям, с сохранением особенностей авторской орфографии и пунктуации.

Выражаем глубокую благодарность за ценные советы, за помощь в поисках печатных и изобразительных материалов Татьяне Алексеевне Осоргиной (Париж), Ирине Николаевне Угримовой, Вадиму Николаевичу Бармашу, Владимиру Аргуновичу Дрибинскому (Москва).

СИВЦЕВ ВРАЖЕК

Печатается по первому изданию — Париж, изд. кн. маг. «Москва», 1928; 2-е изд. — 1929.

Отдельные главы публикуются в газетах: *Вечерняя жизнь*, Москва, 1918, 22 марта/4 апреля, № 12 (гл. «Обезьяний городок»); *Дни*, Берлин, 1924, 27 апреля, № 447; 1925, 18 октября, № 830; *Последние новости*, Париж, 1924, 20 апреля, № 1226; 1926, 31 января, № 1775; 12 декабря, № 2090; 26 декабря, № 2104; 1927, 2 января, № 2111; 10 февраля, № 2150; 13 марта, № 2181; 17 апреля, № 2246; 22 мая, № 2251; 1928, 12 февраля, № 2517; 1939, 2 октября, № 6762 и в журнале *Современные записки*, Париж, 1926, № 27; 1927, № 33; 1928, № 34.

С. 41. *Шел домой в Гирши...* — Гирши — в конце XIX — начале XX в. московский «Латинский квартал», где жили студенты. Расположены в районе Бронных улиц и переулков (Палашевский, Козихинский до Садового кольца). Осоргин жил на Бронной в университетские годы. «Наш мир, наш квартал, наша жизнь», — писал он о Гиршах (Осоргин Мих. *Благословенные дни*/В кн.: Русская земля. Париж, 1928).

С. 43. *Грудь австрийского эрцгерцога...* — Наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд и его жена были убиты в г. Сараево 28 июня 1914 г. участниками группы «Молодая Босния» (Г. Принцип и др.), что и послужило поводом для начала первой мировой войны 1914—1918 гг.

С. 45. *Об опытах Майкельсона и Мореля...* — Майкельсон Альберт Абрахам (1852—1931) — американский физик. Проводил эксперименты по определению скорости света; совместно с Э. У. Морли подтвердил с большой точностью независимость скорости света от скорости движения земли.

С. 51. *Манерка* — походная металлическая фляжка с завинчивающейся крышкой в виде стакана.

С. 52. *В июле была объявлена война...* — 15(28) июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии, 19 июля (1 августа) Германия объявила войну России, 21 июля (3 августа) — Франции, 22 июля (4 августа) Великобритания объявила войну Германии. 10(23) августа на стороне Антанты вступила в войну Япония.

Осоргин писал в 1940 г., что проклинает всякую войну: «Война не имеет основ в законах природы. Природа оболгана! Жизнь всех живых существ основана на гармонии интересов,

на взаимодействии. Дуб не может жить без грибного мицелия, как мицелий не может жить без дуба, растение — без опыляющих его цветы насекомых. Мы говорим о «взаимопожирании» животных и не умеем читать страниц их договора. О, если бы люди пожирали друг друга,— это могло бы быть некоторым оправданием. В мире животных мы знаем только одну войну — муравьев; почти нельзя сомневаться, что будущее человечество организуется по муравьиному образцу: всеобщее счастливое рабство, атрофия мысли и воли, механизация движений, отмена чувств. Мы приближаемся к этому гигантскими шагами» (Осоргин Мих. В тихом местечке Франции. Париж, 1946).

С. 53. Глава «Время».— В октябре—ноябре 1924 г., прочитав несколько глав «Сивцева Вражка», Горький писал Осоргину: «Хорошо и — я скажу — даже образцово у Вас то место, где идет ломовик, в балке дома лопнула от сотрясения тонкая ворсинка, упала капля воды, началось гниение,— вот это правдиво, просто — художественно» (Архив М. Горького. Москва).

С. 60. *Остеология* — раздел анатомии, изучающий строение, развитие и изменения костного скелета.

С. 78. *Устроил юриста Мертваго <...> в Земгор...*— Земгор — объединенный комитет Земского и Городского союзов, созданный 17 июля 1915 г. для помощи правительству в снабжении русской армии.

С. 80. *Обедал Вася в столовой Троицкой...*— О студенческой столовой Ю. А. Троицкой, находившейся у Никитских ворот (д. 28), см. статью М. А. Осоргина в газ. «Власть народа» (1917, 14 ноября, № 160).

С. 92. *Земнии убо от земли создадохся...*— Из надгробной молитвы «Сам Един еси Бессмертный...» (Псалтирь. Последование по исходе души от тела. Песнь 6, Икос).

Спасские казармы.— Располагались на Садовой-Спасской (д. 1). В годы первой мировой войны в Спасских казармах размещался 192-й пехотный запасный полк, солдаты которого участвовали в Февральской и Октябрьской революциях 1917 г.

С. 115. *Арсенал.*— Здание Арсенала, расположенное в Кремле, предназначалось для хранения оружия, снаряжения и трофеев русской армии.

Александровское училище.— Среднее военное учебное заведение для подготовки офицеров пехоты (1863—1917). Находилось на углу Арбатской пл. и ул. Знаменки (ныне ул. Фрунзе). В октябрьские дни было основной базой сопротивления, главным оперативным штабом Московского военного округа. Юнкера училища, а также офицеры под руководством Комитета общественной безопасности участвовали в боях против красногвардейцев. Захватили Манеж, 28 октября (10 ноября) овладели Кремлем, заняли Арбат, захватили Брянский (ныне Киевский) вокзал. Разоружены 3 (16) ноября.

С. 116. *Скарягинский пер.*— с 1960 г. ул. Наташи Качуевской.

Пройтись до Бориса и Глеба...— Церковь Бориса и Глеба на Поварской (иначе Спаса Нерукотворного), построенная в 1804 г., не сохранилась.

Борисоглебский пер.— с 1962 г. ул. Писемского.

С. 117. *Хомяковский дом хмурился степенно...*— Дом № 7 на Собачьей площадке. Построенный в стиле ампир в начале XIX в., дом пережил пожар 1912 г. Принадлежал писателю А. С. Хомяко-

ву. Частыми гостями в этом доме были Гоголь, Аксаковы, Киреевские, Герцен, Грановский, Чаадаев, Языков, Погодин. В 1919 г. в нем был открыт «Бытовой музей 40-х годов». Дом не сохранился.

Обогнуть Николу в Плотниках...— Церковь Николая Чудотворца в Плотниках, построенная при Алексее Михайловиче в 1677 г., находилась в одном из арбатских переулков — Плотниковом. Снесена.

С. 123. *В Чернышевский, к воротам совдепа...*— Большой Чернышевский пер.— с 1922 г. ул. Станкевича.

С. 133. *Памятник Скобелеву...*— Конный памятник генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву (1843—1882), герою русско-турецкой войны 1877—1878 гг., был установлен в 1912 г. по проекту П. А. Самонова. Снесен в 1918 г. Заменен обелиском Октябрьской революции со статуей Свободы (архитектор Д. П. Осипов, скульптор Н. А. Андреев). Разобран в апреле 1941 г. В 1954 г. на этом месте был открыт памятник Юрию Долгорукому (скульптор С. М. Орлов), заложенный в дни празднования 800-летия Москвы (1947).

С. 136. *Владимиро-Долгоруковский пер.*— с 1931 г. ул. Красина.

С. 142. *Ставил форшлаг...*— Мелодическое украшение, состоящее из одного или нескольких звуков и предваряющее какой-либо звук мелодии. Немецкое *Vorschlag* — предудар.

С. 170. *Леонтьевский пер.*— с 1938 г. ул. Станиславского. «Считание удобное, которым всякий человек, купующий и продающий, удобно изыскать может число всякие вещи».— М., 1682. См. об этой кн.: Сопиков П. С. Опыт российской библиографии. Ч. 1. Спб., изд. А. С. Суворина, 1904.

Описание курицы, имеющей в профиле фигуру человека, с присокоплением некоторых наблюдений и ее изображения, изданное профессором Фишером (М.: Университетская тип., 1815). Об этой книге см. статью Мих. Осоргина «О степени интереса» (Последние новости. Париж, 1928, 4 декабря, № 2813). Вошла в кн.: Осоргин М. А. Заметки старого книгоеда. М.: Книга, 1989.

С. 178. *На Благуше...*— Местность на востоке Москвы, соседствующая с Измайловом. Название ее произошло от Благушенской казенной рощи, вырубленной к середине XIX в. Сохранилось в наименовании ул. Благуша.

Покровка — с 1940 г. ул. Чернышевского.

Спиридоновка — с 1945 г. ул. Алексея Толстого.

1-й Зачатьевский пер.— с 1962 г. ул. Дмитриевского.

Николопесковский Большой пер.— с 1924 г. ул. Вахтангова.

Николопесковский Малый пер.— с 1960 г. ул. Федотовой.

Чернышевский Малый пер.— с 1922 г. пер. Елисеевский.

Кисельный Нижний пер.— с 1932 г. 3-й Неглинный пер.

Воскресенская пл.— с 1918 г. пл. Революции.

С. 180. *Советская пл.*— с 1918 г. В августе 1919 г. Осоргин, вспоминая о Piazza del Popolo — площади Народа в Риме, писал: «У нас нет площади Народа. У нас была площадь Скобелевская, ставшая площадью Советской,— до иного мы не додумались. Париж создал площадь Согласия. Но то — Париж. У нас же славный город Рыбинск наименовал лучшую площадь города — площадью Борьбы со Спекуляцией. Мы смеемся, но стыдиться своей глупости еще не научились» (Осоргин Мих. Из маленького домика. <Рига>, 1921).

С. 181. *Церковь Введения на углу...*— Церковь Введения во

храм Пресвятой Богородицы, стоявшая на углу Б. Лубянки и Кузнецкого моста, построенная в 1749 г., снесена.

Малый Харитоньевский пер. — с 1960 г. ул. Грибоедова.

С. 182. *Малая Дмитровка* — с 1944 г. ул. Чехова.

С. 229. *От боярина Кучки...* — Предание, имеющее под собой историческую основу, говорит о том, что на теперешней территории Москвы в XII в. располагались села, принадлежащие боярину С. Кучке. Эти места назывались Кучковым полем (район Лубянки и Сретенки).

На Житном дворе... — Житный двор находился в начале XVIII в. недалеко от Калужских ворот (ныне — Октябрьская пл.). Позже о нем напроголо название Житной улицы.

У Петра и Павла... — Церковь, поставленная в 1700 г. при Петре I у Яузских ворот.

Князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский (ок. 1640—1717) — русский государственный деятель, сподвижник Петра I и фактический правитель страны в его отсутствие. Возглавлял Преображенский приказ, ведавший делами гвардии и тайной полиции, был облечен чрезвычайными полномочиями по политическим розыскам (массовые процессы стрелков, участников Астраханского восстания и др.).

У Вокресенья в Кадашах... — 2-й Кадашевский пер., д. 7. Церковь построена в 1657 г., перестроена в 1687—1718 гг., колокольня возведена в 1695 г.

Одна на рву — собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву, в просторечии «Василий Блаженный». Построен Иваном IV в память покорения Казани.

У великомученицы Варвары... — Церковь построена в 1796 г. на Варварке (ныне ул. Разина).

С. 230. *Общество «Якорь»...* — В доме на углу Большой Лубянки и Варсонофьевского пер. до революции находилась контора правления страхового общества «Якорь».

С. 231. *Ильинка* — с 1935 г. ул. Куйбышева.

С. 232. *Контора Аванесова...* — Аванесов Варлаам Александрович (1884—1930) — советский государственный деятель. Член КПСС с 1914 г. С. 1920 г. — один из руководителей ВЧК.

С. 242. *Малый Златоустинский пер.* — с 1932 г. Малый Комсомольский.

С. 243. *11 ноября 1918 г.* — день капитуляции Германии.

С. 247. *Павлов Иван Николаевич* (1872—1951) — график. Созданные им циклы гравюр, вошедшие в книги «Уходящая Москва», «Старая Москва», «Московские дворики», «Уголки Москвы», несколько раз переиздавались в конце 1910-х — начале 1920-х гг.

С. 248. *Гранатовый пер.* — с 1949 г. ул. Щусева.

От Владимирских ворот... — С Никольской на Лубянскую пл. вели Владимирские (или Сретенские) ворота.

С. 249. *Селедку же хорошо, обернув в газету, коптить в самоварной трубе...* — В 1920 г. Осоргиным была написана рукописная книга «Копчение академической селедки в самоварной трубе».

С. 250. *Сильного серого котика отдавали внаймы соседям...* — «Как прожить на советское жалование, ни в чем не нуждаясь и не нарушая декретов. Краткие практические рецепты домашнего обихода, как-то: отдача взаймы кошки, помощь правосудию, воспитание мнимого поросенка, разведение бобовых и многое прочее» — так называлась рукописная книга Осоргина (1921 г.).

С. 266. *«Лошадь как лошадь»* — название книги В. Г. Шершеневича (М.: Плеяды, 1920).

С. 272. *Взрыв в Леонтьевском...* — Взрыв в здании МК РКП(б) в Леонтьевском пер. (д. 18) произошел 25 сентября 1919 г. Погибло 12 человек, в том числе секретарь МК В. М. Загорский, десятки людей были ранены. Ответственность за этот террористический акт была возложена МЧК на подпольную организацию анархистов и левых эсеров.

С. 283. *25 октября...* — См. примеч. к с. 272.

С. 290. *Что было, то и будет...* — Библия. Ветхий Завет. Книга Екклесиаста, или Проповедника. Гл. 1. ст. 9.

«Если страдание невыносимо...» — См.: Размышления римского императора Марка Аврелия о том, что важно для самого себя (М.: Посредник, 1911, с. 57).

С. 291. *Глава «Встреча»*. — Горький в письме к Осоргину (март 1928 г.) высказал следующую интересную, но спорную мысль: «...Мне кажется, что Ваш гуманизм исходит из «сострадания» Шопенгауэра, и я думаю, что гуманизм этого буддийского типа совершенно исключает всякий суд и всякое осуждение, а осуждений в книге — много и это очень нарушает ее музыку, ее внутреннюю стройность. В первых ее миниатюрах Вами определенно и настойчиво подчеркнуты стихийные процессы разрушения, направленные против человека и против всяческого «дела рук его», а Ваш милейший орнитолог и все, вообще, люди, кроме Астафьева, сделаны подчиненными этим процессам. Это — вполне созвучно первым главам и должно бы нерушимо проходить сквозь всю книгу. Астафьева Вы сделали жестко и разрушили его — жестоко; это, мне кажется, тоже противоречит морали «сострадания». Завалишин показался мне слишком «литературным» (Архив М. Горького. Москва).

ПОВЕСТЬ О СЕСТРЕ

Печатается по первому и единственному книжному изданию — Париж, изд. «Современные записки», 1931.

В 1928 г. в *«Последних новостях»* (15—16 дек., № 2824—2825) были опубликованы воспоминания Осоргина о его сестре Ольге Андреевне Ильиной-Разевиг — прототипе героини «Повести о сестре». Отдельные главы повести публиковались в *«Последних новостях»*, 1929, 31 марта, № 2930; 1 окт., № 1929; 7 дек., № 3181. Полностью повесть была опубликована в журнале *«Современные записки»*, Париж, 1930, № 42—43.

С. 317. *Катюша чувствовала себя Давидом, победившим Голиафа...* — Ветхозаветное предание рассказывает о борьбе израильтян и филистимлян. Юноша-пастух Давид, пришедший в стан израильского царя Саула, поразил великана-филистимлянина Голиафа из пращи и, наступив на него ногой, отрубил ему голову. Гибель силача Голиафа стала причиной победы израильтян — их противники обратились в бегство (Библия. Ветхий Завет. Первая книга царств. Гл. 17).

Фридрих Великий — Фридрих II (1712—1786) — прусский король с 1740 г.

Меровинги — первая королевская династия во Франкском государстве (конец V в.— 751).

С. 326. *Робинзон в русском лесу...*— Имеется в виду книга: Качулова О. Робинзон в русском лесу. Рассказ для детей. Спб., 1881. 295 с. (4-е изд.— 1900 г.). Об этой книге М. А. Осоргин писал во «Временах»: «Автора не помню, но лучшей детской книги не было никогда написано» (Времена. Париж, 1955).

С. 341. *Апостолы любви «без черемухи»...*— Книги С. Малашкина, Л. Гумилевского, П. Романова (в том числе его рассказ «Без черемухи», 1926), посвященные вопросам нового быта и морали, вызвали в 1920-х гг. острую полемику в печати. См. ст. Мих. Осоргина о П. Романове «По полям словесным» (Последние новости, 1927, 15 сент., № 2367).

С. 343. *Подобно Счастливецеву из «Леса» я порою (<...> ловил себя на неотступной мысли: «А не повеситься ли?»*— Речь идет о рассказе Счастливецева о жизни у родственников (А. Н. Островский. Лес. Действ. 2, явл. 2).

С. 344. *Холодный дом...*— Сестра М. А. Осоргина Ольга Андреевна, как и героиня повести, жила в Сокольниках, на Стромынской, 12, в доме мужа — В. А. Разевига, члена Русского горного общества, владельца торгового дома «М. Франке и К°» (лаки, краски).

С. 354. *Бегать по Кисловкам...*— Кисловские Нижний и Средний пер. сохранили свое название. Кисловский Малый — ныне пер. Собиновский; Кисловский Большой — с 1949 г. ул. Семашко.

С. 362. *Панина* Варвара Васильевна (1872—1911) — русская эстрадная певица, исполнительница романсов, цыганских песен.

С. 367. *Читал в «Русском богатстве» Михайловского...*— Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — русский социолог, публицист, литературный критик; народник. Один из редакторов журнала «Русское богатство» (с 1893 г.).

Записался в Румянцевке в очередь на Бельтова и Николая-она...— Псевдонимы Георгия Валентиновича Плеханова (1856—1918) и Николая Францевича Даниельсона (1844—1918) — русского экономиста, публициста, одного из теоретиков либерального народничества. Даниельсон перевел на русский язык «Капитал» К. Маркса.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — русский экономист, философ, историк, публицист.

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865—1919) — русский экономист, историк. Защитил диссертацию «Промышленные кризисы в современной Англии» (Спб., 1894).

Будучи юристом, я слушал лекции по естествознанию Тимирязева и бродил с группой медиков по клиникам Девичьего Поля...— Осоргин вспоминал о своих студенческих годах: «Мы слушали и своих, и «чужих» профессоров, и медик так же неизменно являлся на вступительную лекцию А. Чупрова по политической экономии, как юрист не упускал случая послушать ботаника Тимирязева, орнитолога Мензбира, венеролога Пospelова. Искали общих знаний, а не практической тренировки» (Осоргин Мих. Посолонь//В кн.: Памяти русского студенчества: Сб. воспоминаний. Париж: Свеча, 1934).

Фотография прекрасной, испуганной и негодующей девушки, из рук которой двуглавый орел вырывает книгу законов,— олицетворение Финляндии...— В феврале 1899 г. был издан манифест, в котором царь присвоил себе право издавать для Финляндии законы без согласия Сейма, в компетенцию которого до этого вре-

мени входило все законодательство по внутренним делам Финляндии.

С. 373. *Мы решили поселиться на Грачевке...*— Драчевка, она же Грачевка, получила свое название по местности Драчи, известной с XIV в. (здесь жили «драчи», «дравшие» пшено). Эту же местность позднее стали называть и Грачи, так как здесь изготовлялись снаряды для мортир, называвшихся «грачами». Переименована в Трубную в 1907 г.

С. 378. *К ногам ее он склонился...*— Библия. Ветхий Завет. Книга Судеб Израилевых. Гл. 5, ст. 27.

С. 383. *Кассо* Лев Аристидович (1865—1914) — известный юрист, министр просвещения Российской империи (1910—1914).

С. 421. *Учебник Иловайского* — Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920) — историк, публицист, автор учебников по русской и всеобщей истории.

РАССКАЗЫ

Три рассказа Осоргипа «Вещи человека», «Портрет матери», «Дневник отца» печатаются по книге: Осоргин Мих. Вещи человека. Париж, изд. «Родник», 1929. Все остальные рассказы (до раздела «Старинные...») печатаются по кн.: Осоргин Мих. Чудо на озере. Париж, изд. «Современные записки», 1931.

ЗЕМЛЯ

Впервые: Последние новости, 1929, 1 сентября, № 3084; 7 сентября, № 3090.

С. 417. *Одни жили близ Мурома...*— Муромская ветвь Осоргиных, к которой по бабке принадлежал и Михаил Андреевич, не входила в число первостепенных родов (род Ильиных был знатнее). Осоргины относились к служилому классу — «классу мыслящему, в среде которого возрождались духовные движения, который одинаково выделял из себя и вольнодумцев, и свободомыслящих, и фанатиков старины» (Лихачев Н. П. Грамоты рода Осоргиных. Спб., 1900). Из этого рода происходила причисленная к лику святых Юлиания Лазаревская (муромская помещица Ульяна Устиновна Осоргина) — одна из героинь работы В. О. Ключевского «Добрые люди Древней Руси» (М., 1915).

С. 422. *Бархатная книга* — родословная книга знатных русских боярских и дворянских фамилий. Составлена в 1687 г.

Ибо прах ты — и в прах обратишься — Библия. Книга Екклесиаста, или Проповедника. Гл. 12, ст. 7.

С. 424. *Екатеринбург* — с 1924 г. город Свердловск.

С. 425. *Юнгфрау* — горный массив в Бернских Альпах в Швейцарии.

Скугарийское озеро — устаревшее итальянское название оз. Шкодер — крупнейшего озера Балканского полуострова.

Цетинья — город в Югославии, древняя столица Черногории.

С. 427. *Хребет Черского в Якутии...*— Речь идет о хребте Черского, названном в честь знаменитого исследователя Сибири Ивана Деметьевича Черского (1845—1892).

С. 428. *Мадонна Доленте...* — Доленте — плачевно, жалобно (ит.).

ПОРТРЕТ МАТЕРИ

Впервые: Последние новости, 1927, 12 сентября, № 2364.

С. 430. *Окончила без шифра...* — Шифр — знак отличия, резной вензель государыни, который получали на выпуск институтки.

С. 432. *Максимилиан Первый* (1459—1519) — император Священной Римской империи с 1493 г.

ДНЕВНИК ОТЦА

Впервые: Последние новости, 1927, 16 октября, № 2398.

ЧАСЫ

Впервые: Последние новости, 1929, 19 июля, № 3040.

ВЕЩИ ЧЕЛОВЕКА

Впервые: Последние новости, 1927, 14 января, № 2123.

МУМКА

Впервые: Последние новости, 1929, 3 февраля, № 2874.

В ЮНОСТИ

Впервые: Последние новости, 1930, 20 апреля, № 3315.

С. 466. *Верил (...)* в кита, проглотившего Иону... — Иона — ветхозаветный пророк, получивший от Яхве повеление отправиться в столицу Ассирии Ниневию, чтобы рассказать ее жителям о грядущем возмездии за грехи. Он уклонился от этого и в наказание попал на море в страшную бурю, его проглотил кит, в чреве которого Иона провел три ночи и три дня. Раскаявшегося грешника кит изверг на землю, и Иона отправился проповедовать в Ниневию (Библия. Ветхий Завет. Книга пророка Ионы. Гл. 2).

РЫБОЛОВ

Впервые: Последние новости, 1927, 27 октября, № 2409.

С. 474. *Жерлица* — закидная уда на щук, в которой крючок прикреплен на проволоке, чтобы щука не перекусила леску.

Перемет — снасть, на которую ловили красную рыбу. Издавна была запрещена, так как портила много рыбы.

С. 479. *Лестовка* — кожаные четки староверов, с кистью кожаных лепестков.

ЧУДО НА ОЗЕРЕ

Впервые: Последние новости, 1928, 9 октября, № 2757.

Проф. В. М. Цебрикову. — Рассказ посвящен Владимиру Михайловичу Цебрикову. Умер в Бельгии.

С. 486. *В местечке Мальчевине...* — Осоргин писал об этом местечке, где «летом образовывался кусочек России»: «Большой отель на самом берегу был полон русскими экскурсантами, пос-

ланными сюда московской комиссией образовательных экскурсий. В те года я неизменно ездил на Гарду посмотреть Россию» (Осоргин Мих. Очерки современной Италии. М., 1913. С. 26—27).

Я тогда ведал в Италии экскурсиями русских народных учителей...— См. об этом циклы статей Осоргина, которые публиковались в «Русских ведомостях» (1909, 29 авг., № 198; 1910, 8 авг., № 181; 1911, 22 июля, № 168; 1912, 14 июня, № 136; 24 июня, № 145; 27 июня, № 147; 8 июля, № 157; 15 июля, № 163; 2 авг., № 178; 1913, 14 авг., № 187), а также: «Русские учителя за границей. Изд. Комиссии по организации образовательных экскурсий при Учебном отделе Общества распространения технических знаний» (1910, № 1; 1911, № 2; 1913, № 4; 1914, № 5; 1915, № 6); «Вестник воспитания» (1912, № 7).

ИГРОК

Впервые: Последние новости, 1927, 5 июня, № 2265.

ТЕРРОРИСТ

Впервые: Последние новости, 1929, 10 марта, № 2909.

С. 499. *Община может развиваться по Качоровскому...*— Качоровский Карл Август Романович (1870—?) — экономист, статистик. Участвовал в революционном движении с конца 1880-х гг. В 1890-х гг. в ссылке изучал сельское хозяйство и общину. В 1900 г. вышел в свет первый том его труда «Русская община» (в 1906 г.— 2-й том).

С. 500. *Обсуждали аграрный вопрос по Чернову...*— Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — один из основателей партии эсеров, ее теоретик. В революционном движении участвовал с конца 1880-х гг. В 1917 г. министр земледелия Временного правительства.

КЛИЕНТ

Впервые: Последние новости, 1928, 14 января, № 2488.

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

Впервые: Последние новости, 1927, 13 ноября, № 2426.

С. 515. *Она была хористой оперы Зимина...*— Оперный театр, организованный Сергеем Ивановичем Зиминим (1875—1942), был открыт в Москве в 1904 г.

С. 516. *Артист императорского Большого театра Барцал...*— Барцал Антон Иванович (1897—1927) — певец, профессор Московской консерватории.

С. 517. *Выше Плеваки...*— Плевако Федор Никифорович (1842—1908) — русский юрист, адвокат. Выступал защитником на крупных политических процессах.

С. 519. *Маклаков Василий Алексеевич, Тесленко Николай Васильевич, Переврзев Павел Николаевич, Грузенберг Семен Осипович, Слиозберг Карл Моисеевич* — известные московские и петроградские юристы.

С. 520. *Сиротский суд* — городской сословный орган в России в 1775—1917 гг. Ведал опекой над имуществом купцов, мещан, ре-

месленников и беспоместных личных дворян. Возглавлялся городским головой.

ЧЕЛОВЕК, ПОХОЖИЙ НА ПУШКИНА

Впервые: Последние новости, 1930, 11 июня, № 3367.

С. 521. *Там, где море вечно плещет...* — Стихотворение А. С. Пушкина «Талисман».

С. 524. *Страстная пл.* — с 1931 г. Пушкинская пл.

МАРИНАД

Впервые: Звено. Париж, 1923, 19 ноября. № 42.

ПЕНСНЕ

Впервые: Дни. Берлин, 1924, 25 декабря, № 650.

С. 531. *Исторический труд Тита Ливия* — (59 до н. э.— 17 н. э.)... — Тит Ливий — автор «Римской истории от основания города» (из 142 книг сохранилось 35).

СТАРИННЫЕ РАССКАЗЫ

Печатаются по тексту первого и единственного книжного издания: Осоргин Мих. Повесть о некоей девице. Старинные рассказы. Таллинн, изд. «Русская книга», 1938.

ВЫБОР НЕВЕСТЫ

Впервые: Последние новости, 1934, 31 декабря, № 5030; Сегодня. Рига, 1934, 30 декабря, № 360.

С. 536. *Овдовел царь...* — Первой женой Алексея Михайловича была Мария Ильинична Милославская, от этого брака (1648) родились будущие цари Федор и Иоанн.

Кириллова дочь Нарышкина Наталья — Наталья Кирилловна Нарышкина (1651—1694). Воспитывалась в семье А. С. Матвеева.

Артамон Сергеевич Матвеев (1625—1682) — дипломат. Состоял в родстве и был дружен с царем Алексеем Михайловичем. После его смерти оказался в опале и был сослан.

С. 537. *Боярин Богдан Хитрово* — Богдан Матвеевич Хитрово (ок. 1615—1680), ближний боярин и дворецкий Алексея Михайловича.

Ушаков — Симон Федорович (1626—1686), русский живописец и гравер.

Стала Наталья Нарышкина русской царицей — в 1671 г.

ТАЙНА СЛУЖКИ

Впервые: Последние новости, 1934, 10 июня, № 4826; Сегодня, 1934, 10 июня, № 159.

С. 540. *Царя-Константинова монастыря...* — Царево-Константинов-Еленовский мужской монастырь существовал уже в XIII в.

В 1764 г. за ветхостью зданий переведен в Волосов-Николаевский монастырь.

С. 545. *Исаак Сирский* — отец церкви (VII в.). Оставив кафедру епископа в Ниневии, отдался аскетическим подвигам и ученым трудам (См.: Иже во святых отца нашего Аввы Исаака Сириянина Слова Подвижнические. М. 1854. Сл. 15. С. 75).

КАРЛИЦА КАТЬКА

Впервые: Последние новости, 1935, 1 июля, № 5212; Сегодня, 1935, 30 июня, № 178.

С. 546. *Балакирев* Иван Алексеевич (род. 1699 г.) — доверенный слуга Петра I и Екатерины I. При императрице Анне был ее официальным шутом, с ее смертью (1740 г.) со службы уволен.

Лакоста (Ян д'Акоста) — привезен в Россию из Гамбурга. Петр I любил вступать с ним в богословские споры и за усердную шутовскую службу пожаловал ему титул «самоедского короля», подарив ему один из безлюдных островов Финского залива.

Голицын Михаил Алексеевич (1697—1775) — по прозвищу Квасник.

Пьетро Мира (Педрилло) — неаполитанец, в начале царствования Анны Иоанновны прибыл в Петербург, сделался любимцем императрицы, ее постоянным карточным партнером. После ее смерти вернулся на родину.

С. 549. *Еще была у государыни любимая калмычка...* — Евдокия Ивановна Буженинова (ум. в 1742 г.).

Свадьба эта была знаменита... — Состоялась 6 февраля 1740 г.

Автор «Ледяного дома» — Иван Иванович Лажечников (1792—1869).

АВВАКУМ

Впервые: Последние новости, 1935, 5 августа, № 5247; Сегодня, 1935, 4 августа, № 213.

С. 551. *Протопоп Аввакум* Петрович (1620—1682) — глава старообрядчества, идеолог раскола в православной церкви, писатель.

Никон — (Никита Минов; 1605—1681) — русский патриарх с 1652 г.

С. 554. *Филиппов пост* — Рождественский.

ШИНКАРКА РОЗУМИХА

Впервые: Последние новости, 1935, 4 февраля, № 5065; Сегодня, 1935, 3 февраля, № 34; Русский вестник. Нью-Йорк, 1934, декабрь.

С. 557. *Алексей Григорьевич Разумовский* (1709—1771) — граф, генерал-фельдмаршал. С 1742 г. — морганатический супруг императрицы Елизаветы Петровны.

СКАЗАНИЕ О ТАБАШНОМ ЗЕЛЬЕ

Впервые: Последние новости, 1934, 26 ноября, № 4995; Сегодня, 1934, 26 ноября, № 327.

С. 562. *Испанец Франциско де Толедо* — с 1566 г. стал вице-королем Перу. В 1581 г. вернулся в Испанию, был посажен в тюрьму, где и умер.

Жан Нико де Вильмен (1530—1600) — французский дипломат и ученый. Во время пребывания в Португалии научился разведению табака и перенес это растение на французскую почву. В честь Нико ботаники назвали табак именем *nicotiana*.

Ричард Ченслер (? — 1556) — английский мореплаватель, положивший начало торговле России с Англией. Оставил записки о Московском государстве.

С. 563. *Михайло Федорович* (1596—1645) — первый царь из рода Романовых с 1613 г.

С. 565. *Чезов* — лекция «О вреде табака»... — сцена-монолог в одном действии. 1886 г.

Ремизов — заветный сказ «Что есть табак?»... — В кн.: Ремизов А. М. Заветные сказы. Царь Додон. Что есть табак. Чудесный урожай. Султанский финик. Пг.: Алконост, 1920, 97 с.

Духоборцы, штундисты, молокане, постники, беспоповцы, белопоповцы, безуны, скопцы, ижебожники, непокорники, чжреки, ветвь Старого Израиля, баптисты — религиозные секты (См.: Сахаров Ф. Литература истории и обличения русского раскола. Систематический указатель книг. Вып. 1—3. Тамбов — Спб., 1887 — 1900).

КАЗНЬ ТЕТРАДКИ

Впервые: Последние новости, 1934, 22 июня, № 4838; Сегодня, 1934, 24 июня, № 172.

С. 568. *Четви Минеи* — Церковные книги, содержащие жизнеописания святых в порядке празднования их памяти.

Юнония — в римской мифологии богиня брака, материнства.

МОНСТРЫ

Впервые: Последние новости, 1934, 16 июля, № 4862.

С. 574. *Профессор Гмелин...* — Иоганн Георг Гмелин (1709—1755) — натуралист, академик Петербургской Академии наук. В 1733—1743 гг. путешествовал по Сибири.

СОЖЖЕННЫЙ ДЬЯЧОК

Впервые: Последние новости, 1934, 27 марта, № 4751; Сегодня, 1934, 27 марта, № 86; Новая заря. Сан-Франциско, 1934, 20 апреля, № 1348.

СОЛОВЕЙ

Впервые: Последние новости, 1934, 9 марта, № 4733; Сегодня, 1934, 10 марта, № 69; Новая заря, Сан-Франциско, 1934, 31 марта, № 1336.

С. 583. *Никоном построенный Иверский монастырь...* — Иверский Богородицкий Святозерский монастырь, мужской. Основан в 1653 г.

И колокольчик, дар Валдая... — «Тройка» (1825), стихотворение Ф. Н. Глинки (1786—1880).

С. 584. *Орарь* (орарий) — часть дьяконского облачения, перевязь с крестами по левому плечу.

С. 587. *Великий господин патриарх (...)* заточен в *Ферапонтов монастырь*...— В 1658 г. Никон оставил патриаршество. Собор 1666 г. снял с него сан патриарха. Сослан.

ПРОДЕЛКА ЛУКАВОГО

Впервые: *Последние новости*, 1934, 6 августа, № 4883.
С. 592. *Фузей* (фузея) — ружье (*старин.*).

ШАХМАТНЫЙ БОЛВАН

Впервые: *Последние новости*, 1934, 27 августа, № 4904; Сегодня, 1934, 27 августа, № 236.

С. 593. *В эпоху первого раздела Польши*...— Петербургскими конверсиями 1770—1790-х гг. территория Речи Посполитой была разделена между Пруссией, Австрией и Россией (первый раздел — 1772 г.).

С. 594. *Зернь* — игра в кости, распространенная в XVI—XVII вв.

С. 595. *Тавлея* — шашечница (*старин.*).

НАСТИНЬКИНА МАЕТА

Впервые: *Последние новости*, 1934, 12 ноября, № 4981.

С. 602. *Омфала* — в греческой мифологии царица Лидии, к которой был отдан в годичное рабство Геракл, считается также женой Геракла.

КОНЕЦ ВАНЬКИ-КАИНА

Впервые: *Последние новости*, 1934, 17 декабря, № 5016. Ср.: *Жизнь Ваньки-Кайна* — *Последние новости*, 1932, 8 октября, № 4217. Вошло в кн.: Осоргин М. *Заметки старого книгоеда*. М.: Книга, 1989.

С. 605. *Князь М. М. Щербатов* (1733—1790) — историк, публицист.

ЧЕПЧИК НАБЕКРЕНЬ

Впервые: *Последние новости*, 1934, 10 декабря, № 5009.

ПОВЕСТЬ О НЕКОЕЙ ДЕВИЦЕ

Впервые: *Последние новости*, 1934, 29 апреля, № 4784.

С. 616. *Юрьев общежительный мужской монастырь* — Юрьев-Георгиевский монастырь в Новгородской губернии. Основание его относится к 1030 г. и приписывается князю Ярославу Владимировичу.

Ава — духовный отец (*церк.*).

Фотий (в миру — Петр Никитич Спасский. 1792 — 1838) — известный церковный деятель. В августе 1822 г. назначен настоятелем Юрьева монастыря.

С. 617. *Князь Голицын* — Александр Николаевич Голицын

(1773—1844) — государственный деятель, лицо, близкое императору Александру I. С. 1805 г. — обер-прокурор Священного Синода.

В лето 1822 усердием Фотия и масонского перевертня Кушелева <...> вострепетало в стране неверие... — По докладу одного из гроссмейстеров «Великой ложи Астрея» сенатора Е. А. Кушелева русские масонские ложи были закрыты на основании Указа о «тайных обществах» от 1 августа 1822 г.

Анна Алексеевна Орлова-Чесменская (1785—1848) — фрейлина двора. Отказавшись от светской жизни, поселилась в Юрьевом монастыре, но пострижения не приняла.

ВОЛОСОЧЕС

Впервые: Последние новости, 1934, 9 апреля, № 4764.

С. 622. *Граф Николай Иванович* Салтыков — генерал-фельдмаршал, с 1783 г. руководил воспитанием великих князей Александра и Константина. Сенатор.

С. 626. *Называли графиню второй Салтычихой...* — Салтыкова Дарья Николаевна (1730—1801), помещица Подольского уезда Московской губернии, замучившая десятки крепостных. С 1768 г. — в монастырской тюрьме.

ЗАПЛЕЧНЫЙ МАСТЕР

Впервые: Последние новости, 1934, 22 апреля, № 4777; Сегодня, 1934, 24 апреля, № 113.

С. 626. *Фарнейский пустынный...* — С 1758 г. Вольтер поселился в имение Ферне, на границе Франции и Швейцарии.

Ее наказом... — В 1767 г. Екатерина II написала политический трактат «Наказ, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения».

С. 627. *Дидерот...* — Дени Дидро (1713—1784) в 1773—1774 гг. по приглашению Екатерины II посетил Россию, жил в Петербурге, написал «Замечания на наказ ее императорского величества депутатам Комиссии по составлению законов», 1774.

С. 628. *Романов* — город в Ярославской губернии, с 1918 г. — Тутаев.

Пошехонье — город в Ярославской губернии, с 1918 г. — Пошехонье-Володарск.

С. 629. Переписка *Вольтера* и *Екатерины II* на французском языке издана в 1785 г.; 1-е изд. на русском см.: Философская и политическая переписка с 1763—1778 годов. Спб., 1803.

Минерва — римская богиня, покровительница ремесел.

Церера — древняя италийская богиня произрастания растений и подземного мира.

САМОБЕГЛАЯ КОЛЯСКА

Впервые: Последние новости, 1934, 4 июня, № 4820; Сегодня, 1934, 4 июня, № 153.

КОСТИ ЕВРЕЯ

Впервые: Последние новости, 1934, 10 сентября, № 4918.

С. 638. *Тора* — древнееврейское наименование Пятикнижия.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ КУКЛЫ

Впервые: Последние новости, 1934, 25 июня, № 4841; Сегодня, 1934, 17 июня, № 166.

С. 646. *Князь А. Голицын* — см. примеч. к с. 617.

С. 647. *Граф Кочубей* — Виктор Павлович Кочубей (1768—1834) — дипломат, сенатор, министр внутренних дел.

БОРОДА

Впервые: Последние новости, 1934, 13 апреля, № 4768.

С. 650. *Чудов монастырь* — Чудов Алексеевский Архангело-Михайловский кафедральный монастырь в Московском Кремле. Основан в 1365 г.

С. 651. *Плясовица, коя усекла главу Иоанну Предтече...* — По случаю дня рождения Ирода, правителя Галилеи, танцевала его падчерица Саломея. В награду она получила голову Иоанна Крестителя, которую ей подали на блюде (Новый Завет. Евангелие от Матфея).

С. 652. *Пречистенка* — с 1921 г. ул. Кропоткина.

ДЕВИЦА. ВЗЫСКУЮЩАЯ ЖЕНИХА

Впервые: Последние новости, 1934, 4 сентября, № 4912; Сегодня, 1934, 3 сентября, № 243.

С. 657. *В пензенский Троицкий монастырь...* — Троице-Ковьялевский женский монастырь. Основан в 1842 г.

ДВЕ СТРАНИЦЫ

Впервые: Последние новости, 1934, 15 октября, № 4953.

ПИРОГ С АДАМОВОЙ ГОЛОВОЮ

Впервые: Последние новости, 1934, 23 июля, № 4869.

ЛЮБИТЕЛЬ СМЕРТИ

Впервые: Последние новости, 1934, 13 августа, № 4890; Сегодня, 1934, 10 августа, № 219.

С. 671. *Полужетовый* — с 1955 г. Сеченовский пер.

С. 672. *В церкви Николы-на-Песках* — церковь Николая Чудотворца на песках, находившаяся в переулке Арбата; построена ок. 1825 г.

ПЕНЗЕНСКАЯ ФЛОРА

Впервые: Последние новости, 1934, 19 ноября, № 4988.

С. 679. *Завоскин* Михаил Николаевич (1789—1852) — русский писатель.

ДВЕ ДУШИ

Впервые: Последние новости, 1935, 10 июня, № 5191; Сегодня, 1935, 9 июня, № 159.

С. 685. *После первого Спаса* — медовый Спас 1(14) августа.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>О. Ю. Авдеева</i> «Ласточки непременно прилетят...»	5
СИВЦЕВ ВРАЖЕК <i>Роман</i>	37
ПОВЕСТЬ О СЕСТРЕ	311
РАССКАЗЫ	
Земля	414
Портрет матери	430
Дневник отца	437
Часы	447
Вещи человека	453
Мумка	456
В юности	464
Рыболов	474
Бабушка и внучек	479
Чудо на озере	485
Игрок	492
Террорист	499
Клиент	505
Апелляционная жалоба	511
Человек, похожий на Пушкина	521
Маринад	526
Пенсне	531
СТАРИННЫЕ РАССКАЗЫ	
Выбор невесты	535
Тайна службы	540
Карлица Катька	545
Авакум	551
Шинкарка Розумиха	556
Сказание о табашном зелье	562
Казнь тетрадки	567
Монстры	572
Сожженный дьячок	578
Соловей	583
Проделка лукавого	588
Шахматный болван	593
Настинькина маета	599
Конец Ваньки-Каина	604
Чепчик набекрень	610
Повесть о некоей девице	616
Волосочес	621
Запечный мастер	626
Самобеглая коляска	631
Кости еврея	637
Приключение куклы	643
Борода	649
Девица, взыскивающая жениха	654
Две страницы	660
Пирог с Адамовой головою	665
Любитель смерти	670
Пензенская флора	676
Две души	682
<i>Комментарии</i>	688

Михаил Андреевич Осоргин

СИВЦЕВ ВРАЖЕК

*Роман
Повесть
Рассказы*

Заведующая редакцией

Л. Сурова

Редактор

И. Геника

Художник

А. Лепягский

Художественный редактор

И. Сайко

Технический редактор

Г. Шитова

Корректоры

И. Фридлянд, Т. Семочкина

ИБ № 4364

Сдано в набор 11.07.89. Подписано к печати 22.01.90
Л 22010. Формат 84×108^{1/32}. Бумага офсетная № 2. Гар-
нитура «Обыкновенная новая». Печать офсетная. Усл.
печ. л. 37,80. Усл. кр.-отт. 39,06. Уч.-изд. л. 39,95. Ти-
раж 150 000 экз. Заказ 829. Цена 3 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр,
Чистопрудный бульвар, 8.

Типография издательства «Калининградская правда»,
236000, Калининград обл., ул. Карла Маркса, 18.



Михаил Андреевич Осоргин. Париж, 1930-е гг.
Из собрания Т. А. Осоргиной (Париж)



Детская фотография
М. А. Осоргина (Ильина).
Пермь, 1880-е гг.
Из собрания Т. А. Осоргиной

Ольга Андреевна Ильина-
Разевиг, сестра писателя.
Пермь, 1890-е гг.
*Из собрания М. А. Ильиной
(Москва)*



МИХ. ОСОРГИНЪ
ВЕЩИ ЧЕЛОВѢКА

ПОРТРЕТЪ МАТЕРИ
ДНЕВНИКЪ ОТЦА



1929

Титульный лист книги
М. А. Осоргина с портретом
его матери — Елены Алек-
сеевны Савиной

М. А. Осоргин. Москва,
1903—1904 гг.
Из собрания Т. А. Осоргиной





Италия. Сори, где М. А. Осоргин поселился в 1907 г.



М. А. Осоргин среди русских корреспондентов в Италии.
Март 1911 г.
Из собрания Т. А. Осоргиной



Москва. Общежитие студентов на Малой Бронной
Из собрания В. А. Дрибинского (Москва)

М. А. Осоргинъ

Охранное ==
== отделение
и его секреты.

Студенческое изд-во



„ГРЯДУЩЕЕ“

Москва, Пречистенскій бул. д. № 2
1917 г.

Обложка книги М. А. Осоргина «Охранное отделение и его секреты»



М. А. Осоргин. Италия, 1909—
1910 гг.
Из собрания М. А. Ильиной



Е. Д. Кускова
*Из собрания И. Н. Угримовой
(Москва)*



Москва. Памятник М. Д. Скобелеву на Тверской площади (ныне Советская). По проекту П. А. Самонова.
Из собрания В. А. Дрибинского



Москва. Спасские казармы на Садовой-Спасской улице
Из собрания В. А. Дрибинского



Москва. Обелиск Свободы, воздвигнутый на месте памятника
М. Д. Скобелеву в 1918 г.
Из собрания В. А. Дрибинского



Москва. Сивцев Вражек, дом Ф. И. Толстого (Американца)
Из собрания В. А. Дрибинского



Москва. Тверской бульвар у Никитских ворот (дом Коробковой,
сильно поврежденный во время боев 1917 г.)
Из собрания В. А. Дрибинского



Москва. Большая Лубянка (ныне улица Дзержинского), вид в сторону Лубянской площади (ныне площадь Дзержинского), слева угол Фуркасовского переулка, направо церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (одна из первых церквей, снесенных после революции, в 1924 г.)
Из собрания В. А. Дрибинского



Москва. Тверской бульвар, вдали колокольня Страстного монастыря
Из собрания И. Н. Угримовой

A QUIET STREET

(SIVTZEV VRAZHEK)

BY
MICHAEL OSSORGIN

LONDON
MARTIN SECKER
NUMBER FIVE JOHN STREET
ADELPHI

MICHEL OSSORGUINE

UNE RUE à MOSCOU

(SIVTZEV VRAJEK)

R O M A N

TRADUCTION
LÉO LACK



1947

JEAN VIGNEAU EDITEUR

MICHAEL OSSORGIN
TANJUSCHA
OG
HENDES BEJLERE

HENRIK KOPPELS FORLAG
KØBENHAVN

МИХ. ОСОРГИНЪ

СИВЦЕВЪ
ВРАЖЕКЪ



П А Р И Ж Ъ

Титульные листы романа М. А. Осоргина «Сивцев Вражек» в переводах на английский, французский, датский языки
Из собрания Т. А. Осоргиной



Сидят слева направо: А. Белый, М. А. Осоргин, А. В. Бахрах,
Б. К. Зайцев. Стоят: А. М. Ремизов, В. Ф. Ходасевич, П. П. Му-
ратов, Н. Н. Берберова
Из собрания Т. А. Осоргиной



Москва. Остоженка. Здание больницы, принадлежавшей А. И. Ба-
кунину
Из собрания Т. А. Осоргиной



Зарисовки И. А. Матусевича, сделанные на борту парохода, плывущего в Германию: М. А. Осоргин; профессор С. Л. Франк; редактор газеты «Русские ведомости» В. А. Розенберг с женой; профессора А. А. Кизеветтер и Ю. И. Айхенвальд



**М. А. Осоргин и А. И. Бакунин. Святая Женевьева Лесов, 1930-е гг.
Из собрания Т. А. Осоргиной**



**Е. И. Замятин,
Ю. П. Анненков,
М. А. Осоргин. Свя-
тая Женевьева Лесов,
1930-е гг.
Из собрания Т. А.
Осоргиной**



М. А. Осоргин. Париж, конец 1930-х гг.
Из собрания Т. А. Осориной



В. Л. Андреев. Париж, 1925 г.
*Из собрания А. В. Сосинского
(Москва)*



В. Б. Сосинский. Париж, 1929 г.
Из собрания А. В. Сосинского



Франция. Святая Женеьевва Лесов. Дом, в котором М. А. Осоргин закончил роман «Сивцев Вражек». 1927 г.
Из собрания Т. А. Осоргиной



Гайто Газданов. Париж, 1950 г.



М. А. Осоргин. Париж, 1930-е гг.
Из собрания Т. А. Осоргиной



Река Шер, разделившая
свободную и оккупиро-
ванную фашистами зо-
ны Франции
Из собрания
И. П. Угримовой



Могила М. А. Осоргина
в Шабри
Из собрания
И. П. Угримовой



Е
НИАТОРА

ТОЧКАТ

